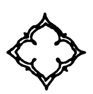
Н. М. КАРАМЗИН



ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

Тома IX–XII

Николай Михайлович
КАРАМЗИН



ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

КНИГА ТРЕТЬЯ

ТОМА IX–XII

Санкт-Петербург
«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
«ДИАМАНТ»
1997

ББК 63.3 (2)
К21

Карамзин Н. М.

К21 История государства Российского: В 3 книгах. Кн. 3: История государства Российского, т. IX - XII/ Примеч., словарь М. Зиминой; родосл. табл. В. Синельникова; оформление Ю. Амбросова; - СПб: ООО "Золотой век", ТОО "Диамант", 1997. - 704 с., ил.
ISBN 5-89215-035-6
ISBN 5-89215-036-4

ISBN 5-89215-035-6
ISBN 5-89215-036-4

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО





Глава I
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИОАННА ГРОЗНОГО
1560—1564 гг.

Перемена в Иоанне. Клевета на Адашева и Сильвестра. Суд. Заточение Сильвестра. Смерть Адашева. Начало злу. Новые любимцы. Первые казни. Война Ливонская. Великодушие Беля. Взятие Феллина. Слово царя казанского. Конец ордена. Переговоры с Швециею. Война с Литвою. Второй брак Иоаннов. Взятие Полоцка. Рождение царевича Василия. Торжество Иоанново. Смерть царевича. Дела крымские. Замысл султана. Происшествия в Ливонии. Перемирие с Швециею. Злонравие супруги Иоанновой. Кончина князя Юрия. Пострижение Иоанновой невестки и матери князя Владимира. Кончина Макария. Сочинение Житий Святых и Степенной книги. Заведение типографии. Издание Библии в Остроге. Полоцкая архиепископия. Белый клобук митрополитов. Посвящение Афанасия в митрополиты.

Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства.

И россияне современные и чужеземцы, бывшие тогда в Москве, изображают сего юного, тридцатилетнего венценосца как пример монархов благочестивых, мудрых, ревностных к славе и счастию государства. Так изъясняются первые: «Обычай Иоаннов

есть соблюдать себя чистым пред Богом. И в храме и в молитве уединенной, и в Совете боярском и среди народа у него одно чувство: *да властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным помазанникам!* Суд нелицемерный, безопасность каждого и общая, целость порученных ему государств, торжество Веры, свобода христиан есть всегдашняя дума его. Обремененный делами, он не знает иных утех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязанность; не хочет обыкновенных *прохлад* царских. Ласковый к вельможам и народу — любя, награждая всех по достоинству — щедростию искореняя бедность, а зло примером добра, сей *Богом урожденный* царь желает в день Страшного Суда услышать глас Милости: *ты еси Царь правды!* и ответствовать с умилением: *се аз и люди, яже дал ми еси ты!*»[1] Не менее хвалят его и наблюдатели иноземные, англичане, приезжавшие в Россию для торговли. «Иоанн, — пишут они, — затмил своих предков и могуществом и добродетелию; имеет многих врагов, и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, ногаи ужасаются русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив; любит разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце, и, несмотря на то, умеет быть повелительным; скажет боярину: *иди!* и боярин *бежит*; изъявит досаду вельможе, и вельможа в отчаянии: скрывается, тоскует в уединении, отпускает волосы в знак горести, пока царь не объявит ему прощения. Одним словом, нет народа в Европе, более россиян преданного своему государю, коего они равно и страшатся и любят. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать, Иоанн во все входит, все решит; не скучает делами и не веселится ни звериною ловлею, ни музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями: как служить Богу, и как истреблять врагов России!»

Вероятно ли, чтобы государь любимый, обожаемый, мог с такой высоты блага, счастия, славы, низвергнуться в бездну ужасов тиранства? Но свидетельства добра и зла равно убедительны, неопровержимы; остается только представить сей удивительный феномен в его постепенных изменениях.

История не решит вопроса о нравственной свободе человека; но предполагая оную в суждении своем о делах и характерах, изъясняет те и другие, во-первых, природными свойствами лю-

---

[1] ...С е а з и л ю д и, я ж е д а л м и е с и т ы! — Это я и народ, который дал мне ты.

дей, во-вторых, обстоятельствами или впечатлениями предметов, действующих на душу. Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом еще более острым, нежели твердым или основательным. Худое воспитание, испортив в нем естественные склонности, оставило ему способ к исправлению в одной Вере: ибо самые дерзкие развратители царей не дерзали тогда касаться сего святого чувства. Друзья отечества и блага в обстоятельствах чрезвычайных умели ее спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце; исхитили юношу из сетей неги, и с помощью набожной, кроткой Анастасии увлекли на путь добродетели. Несчастные следствия Иоанновой болезни расстроили сей прекрасный союз, ослабили власть дружества, изготовили перемену. Государь возмужал: страсти зреют вместе с умом, и самолюбие действует еще сильнее в летах совершенных. Пусть доверенность Иоаннова к разуму бывших наставников не умалилась; но доверенность его к самому себе увеличилась: благодарный им за мудрые советы, государь престал чувствовать необходимость в дальнейшем руководстве, и тем более чувствовал тягость принуждения, когда они, не изменяя старому обыкновению, говорили смело, решительно во всех случаях и не думали угождать его человеческой слабости. Такое прямодушие казалось ему непристойною грубостию, оскорбительною для монарха. Например, Адашев и Сильвестр не одобряли войны Ливонской, утверждая, что надобно прежде всего искоренить неверных, злых врагов России и Христа; что ливонцы хотя и не греческого исповедания, однако ж христиане и для нас не опасны; что Бог благословляет только войны справедливые, нужные для целости и свободы государств. Двор был наполнен людьми преданными сим двум любимцам; но братья Анастасии не любили их, также и многие обыкновенные завистники, не терпящие никого выше себя. Последние не дремали, угадывали расположение Иоаннова сердца и внушали ему, что Сильвестр и Адашев суть хитрые лицемеры: проповедуя Небесную добродетель, хотят мирских выгод; стоят высоко пред троном и не дают народу видеть царя, желая присвоить себе успехи, славу его царствования и в то же время препятствуют сим успехам, советуя государю быть умеренным в счастии: ибо внутренно страшатся оных, думая, что избыток славы может дать ему справедливое чувство величия, опасное для их властолюбия. Они говорили: «кто сии люди, дерзающие предписывать законы царю великому и мудрому, не только в делах государственных, но и в

домашних, семейственных, в самом образе жизни; дерзающие указывать ему, как обходиться с супругою, сколько пить и есть в меру?» ибо Сильвестр, наставник Иоанновой совести, всегда требовал от него воздержания, умеренности в физических наслаждениях, к коим юный монарх имел сильную склонность. Иоанн не унимал злословия, ибо уже скучал излишно строгими нравоучениями своих любимцев и хотел свободы; не мыслил оставить добродетели: желал единственно избавиться от учителей и доказать, что может без них обойтися. Бывали минуты, в которые природная его пылкость изливалась в словах нескромных, в угрозах. Пишут, что скоро по завоевании Казани он, в гневе на одного воеводу, сказал вельможам: «теперь уже не боюсь вас!» Но великодушие, оказанное им после болезни, совершенно успокоило сердца. Тринадцать цветущих лет жизни, проведенных в ревностном исполнении святых царских обязанностей, свидетельствовали, казалось, неизменную верность в любви ко благу. Хотя государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменялся заметно в правилах. Благочиние царствовало в Кремлевском дворце, усердие и смелая откровенность в Думе. Только в делах двусмысленных, где истина или добро не были очевидны, Иоанн любил противоречить советникам. Так было до весны 1560 года.

В сие время холодность государева к Адашеву и к Сильвестру столь явно обнаружилась, что они увидели необходимость удалиться от двора. Первый, занимав дотоле важнейшее место в Думе, и всегда употребляемый в переговорах с европейскими державами, хотел еще служить царю иным способом: принял сан воеводы и поехал в Ливонию; а Сильвестр, от чистого сердца дав государю благословение, заключился в одном пустынном монастыре. Друзья их осиротели, неприятели восторжествовали; славили мудрость царя и говорили: «ныне ты уже истинный самодержец, помазанник Божий, един управляешь землею; открыл свои очи и зришь свободно на все царство!» Но сверженные любимцы казались им еще страшными. Вопреки известной государевой немилости, Адашева честили в войске; самые граждане ливонские изъявляли отменное к нему уважение: все покорялось его уму и добродетели. Не менее и Сильвестр, уже монах смиренный, блистал добродетелями христианскими в пустыне: иноки с удивлением видели в нем пример благочестия, любви, кротости. Царь мог узнать о том, раскаяться, возвратить изгнанников: надлежало довершить удар и сделать государя столь несправедливым, столь виновным

против сих мужей, чтобы он уже не мог и мыслить об искреннем мире с ними. Кончина царицы подала к тому случай.

Иоанн был растерзан горестию: все вокруг его проливали слезы, или от истинной жалости, или в угодность царю печальному — и в сих-то слезах явилась гнусная клевета под личиною усердия, любви, будто бы приведенной в ужас открытием неслыханного злодейства. «Государь! — сказали Иоанну: — ты в отчаянии, Россия также, а два изверга торжествуют: добродетельную царицу извели Сильвестр и Адашев, ее враги тайные и *чародеи*: ибо они без чародейства не могли бы так долго владеть умом твоим». Представили доказательства, которые не убеждали и самых легковерных, но государь знал, что Анастасия со времени его болезни не любила ни Сильвестра, ни Адашева; думал, что они также не любили ее, и принял клевету, может быть желая оправдать свою к ним немилость, если не верными уликами в их злодействе, то хотя подозрением. Сведав о сем доносе, изгнанники писали к царю, требуя суда и очной ставки с обвинителями. Последнего не хотели враги их, представляя ему, что они как василиски ядовиты, могут одним взором снова очаровать его, и любимые народом, войском, всеми гражданами, произвести мятеж; что страх сомкнет уста доносителям. Государь велел судить обвиняемых заочно: митрополит, епископы, бояре, многие иные духовные и светские чиновники собралися для того во дворце. В числе судей были и коварные монахи Вассиан Беский, Мисаил Сукин, главные злодеи Сильвестровы. Читали не одно, но многие обвинения, изъясняемые самим Иоанном в письме к князю Андрею Курбскому. «Ради спасения души моей, — пишет царь, — приближил я к себе иерея Сильвестра, надеясь, что он по своему сану и разуму будет мне споспешником во благе; но сей лукавый лицемер, обольстив меня сладкоречием, думал единственно о мирской власти и сдружился с Адашевым, чтобы управлять царством без царя, ими презираемого. Они снова вселили дух своевольства в бояр; раздали единомышленникам города и волости; сажали, кого хотели, в Думу; заняли все места своими угодниками. Я был невольником на троне. Могу ли описать претерпенное мною в сии дни уничижения и стыда? Как пленника влекут царя с горстию воинов сквозь опасную землю неприятельскую (Казанскую) и не щадят ни здравия, ни жизни его; вымышляют детские *страшила*, чтобы привести в ужас мою душу; велят мне быть выше естества человеческого, запрещают ездить по святым обителям, не дозволяют карать немцев... К сим

беззакониям присоединяется измена: когда я страдал в тяжкой болезни, они, забыв верность и клятву, в упоении самовластия хотели, мимо сына моего, взять себе иного царя, и не тронутые, не исправленные нашим великодушием, в жестокости сердец своих чем платили нам за оное? новыми оскорблениями: ненавидели, злословили царицу Анастасию и во всем доброхотствовали князю Владимиру Андреевичу. Итак, удивительно ли, что я решился наконец не быть младенцем в летах мужества и свергнуть иго, возложенное на царство лукавым попом и неблагодарным слугою Алексием?» и проч. Заметим, что Иоанн не обвиняет их в смерти Анастасии, и тем свидетельствует нелепую ложь сего доноса. Все иные упреки отчасти сомнительны, отчасти безрассудны в устах тридцатилетнего самодержца, который признанием своей бывшей неволи открывает тайну своей жалкой слабости. Адашев и Сильвестр могли как люди ослепиться честолюбием; но государь сим нескромным обвинением уступил им славу прекраснейшего в истории царствования. Увидим, как он без них властвовал; и если не Иоанн, но любимцы его от 1547 до 1560 года управляли Россиею: то для счастия подданных и царя надлежало бы сим добродетельным мужам не оставлять государственного кормила: лучше неволею творить добро, нежели волею зло. Но гораздо вероятнее, что Иоанн, желая винить их, клевещет на самого себя; гораздо вероятнее, что он искренно любил благо, узнав его прелесть, и наконец, увлеченный страстями, только обузданными, не искорененными, изменил правилам великодушия, сообщенным ему мудрыми наставниками: ибо легче перемениться, нежели так долго принуждать себя — и кому? Государю самовластному, который одним словом всегда мог расторгнуть сию мнимую цепь неволи. Адашев, как советник, не одобряя войны Ливонской, служил Иоанну как подданный, как министр и воин усердным орудием для успехов ее: следственно государь *повелевал* и, вопреки его жалобам, не был рабом любимцев.

Выслушав бумагу о преступлениях Адашева и Сильвестра, некоторые из судей объявили, что сии злодеи уличены и достойны казни; другие, потупив глаза, безмолвствовали. Тут старец, митрополит Макарий, близостию смерти и саном первосвятительства утверждаемый в обязанности говорить истину, сказал царю, что надобно призвать и выслушать судимых. Все добросовестные вельможи согласились с сим мнением; но *сонм губителей*, по выражению Курбского, возопил против оного, доказывая, что люди,

осуждаемые чувством государя велемудрого, милостивого, не могут представить никакого законного оправдания; что их присутствие и козни опасны, что спокойствие царя и отечества требует немедленного решения в сем важном деле. Итак, решили, что обвиняемые виновны. Надлежало только определить казнь, и государь, еще желая иметь вид милосердия, умерил оную: послали Сильвестра на дикий остров Белого моря, в уединенную обитель Соловецкую, и велели Адашеву жить в новопокоренном Феллине, коего взятию он способствовал тогда своим умом и распоряжениями; но твердость и спокойствие сего мужа досаждали злобным гонителям: его заключили в Дерпте, где он чрез два месяца умер горячкою, к радости своих неприятелей, которые сказали царю, что *обличенный изменник отравил себя ядом*... Муж незабвенный в нашей истории, краса века и человечества, по вероятному *сказанию его друзей*: ибо сей знаменитый временщик явился вместе с добродетелию царя и погиб с нею... Феномен удивительный в тогдашних обстоятельствах России, изъясняемый единственно неизмеримою силою искреннего благолюбия, коего Божественное вдохновение озаряет ум естественный в самой тьме невежества, и вернее науки, вернее ученой мудрости руководствует людей к великому. — Обязанный милости Иоанновой некоторым избытком, Адашев знал одну роскошь благодеяния: питал нищих, держал в своем доме десять прокаженных и собственными руками обмывал их, усердно исполняя долг христианина и всегда памятуя бедность человечества.

Отселе начало злу, и таким образом. Уже не было двух главных действователей благословенного Иоаннова царствования; но друзья их, мысли и правила оставались: надлежало, истребив Адашева, истребить и дух его, опасный для клеветников добродетели, противный самому государю в сих новых обстоятельствах. Требовали клятвы от всех бояр и знатных людей не держаться стороны удаленных, наказанных *изменников* и быть верными государю. Присягнули, одни с радостию, другие с печалию, угадывая следствия, которые и открылись немедленно. Все, что прежде считалось достоинством и способом угождать царю, сделалось предосудительно, напоминая Адашева и Сильвестра. Говорили Иоанну: «Всегда ли плакать тебе о супруге? Найдешь другую, равно прелестную; но можешь неумеренностию в скорби повредить своему здравию бесценному. Бог и народ требуют, чтобы ты в земной горести искал и земного утешения». Иоанн искренно

любил супругу, но имел легкость во нраве, несогласную с глубокими впечатлениями горести. Он без гнева внимал утешителям — и чрез восемь дней по кончине Анастасии митрополит, святители, бояре торжественно предложили ему искать невесты: законы пристойности были тогда не строги. Раздав по церквам и для бедных несколько тысяч рублей в память усопшей, послав богатую милостыню в Иерусалим, в Грецию, государь 18 августа [1560 г.] объявил, что намерен жениться на сестре короля польского*.

С сего времени умолк плач во дворце. Начали забавлять царя, сперва беседою приятною, шутками, а скоро и *светлыми* пирами; напоминали друг другу, что вино радует сердце; смеялись над старым обычаем умеренности; называли постничество лицемерием. Дворец уже казался тесным для сих шумных сборищ: юных царевичей, брата Иоаннова Юрия и казанского царя Александра, перевели в особенные домы. Ежедневно вымышлялись новые потехи, игрища, на коих трезвость, самая важность, самая пристойность считались непристойностию. Еще многие бояре, сановники не могли вдруг перемениться в обычаях; сидели за светлою трапезою с лицом туманным, уклонялись от чаши, не пили и вздыхали: их осмеивали, унижали: лили им вино на голову. Между новыми любимцами государевыми отличались боярин Алексей Басманов, сын его, кравчий Федор, князь Афанасий Вяземский, Василий Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, готовые на все для удовлетворения своему честолюбию. Прежде они под личиною благонравия терялись в толпе обыкновенных царедворцев, но тогда выступили вперед и, по симпатии зла, вкрались в душу Иоанна, приятные ему какою-то легкостию ума, искусственною веселостию, хвастливым усердием исполнять, предупреждать его волю как Божественную, без всякого соображения с иными правилами, которые обуздывают и благих царей и благих слуг царских, первых в их желаниях, вторых в исполнении оных. Старые друзья Иоанновы изъявляли любовь к государю и к добродетели: новые только к государю, и казались тем любезнее. Они сговорились с двумя или с тремя монахами, заслужившими доверенность Иоаннову, людьми хитрыми, лукавыми, коим надлежало снисходительным учением ободрять робкую совесть царя и своим при-

* Государь спрашивал у митрополита, можно ли ему жениться на сестре польского короля? Макарий отвечал, что, хотя король и в сватовстве с ним, царем, но церковь не запрещает совокупляться браком в шестом колене. (IX, 24.)

сутствием как бы оправдывать бесчиние шумных пиров его. Курбский в особенности именует здесь чудовского архимандрита Левкия, главного угодника придворного. Порок ведет к пороку: женолюбивый Иоанн, разгорячаемый вином, забыл целомудрие, и в ожидании новой супруги для вечной, единственной любви, искал временных предметов в удовлетворение грубым вожделениям чувственным. Мнимая, прозрачная завеса тайны не скрывает слабостей венценосца: люди с изумлением спрашивали друг у друга, каким гибельным наитием государь, дотоле пример воздержания и чистоты душевной, мог унизиться до распутства?

Сие без сомнения великое зло произвело еще ужаснейшее. Развратники, указывая царю на печальные лица важных бояр, шептали: «Вот твои недоброхоты! Вопреки данной ими присяге, они живут адашевским обычаем, сеют вредные слухи, волнуют умы, хотят прежнего своевольства». Такие ядовитые наветы растравляли Иоанново сердце, уже беспокойное в чувстве своих пороков; взор его мутился; из уст вырывались слова грозные. Обвиняя бояр в злых намерениях, в вероломстве, в упорной привязанности к ненавистной памяти мнимых изменников, он решился быть строгим, и сделался мучителем, коему равного едва ли найдем в самых Тацитовых летописях!.. Не вдруг, конечно, рассвирепела душа, некогда благолюбивая: успехи добра и зла бывают постепенны; но летописцы не могли проникнуть в ее внутренность; не могли видеть в ней борения совести с мятежными страстями: видели только дела ужасные, и называют тиранство Иоанново *чуждою бурею*, как бы из недр Ада посланною возмутить, истерзать Россию. Оно началося гонением всех ближних Адашева: их лишали собственности, ссылали в места дальние. Народ жалел о невинных, проклиная ласкателей, новых советников царских; а царь злобился и хотел мерами жестокими унять дерзость. Жена знатная, именем Мария, славилась в Москве христианскими добродетелями и дружбою Адашева: сказали, что она ненавидит и мыслит чародейством извести царя: ее казнили вместе с пятью сыновьями; а скоро и многих иных, обвиняемых в том же: знаменитого воинскими подвигами окольничего, Данила Адашева, брата Алексеева, с двенадцатилетним сыном; трех Сатиных, коих сестра была за Алексием, и родственника его, Ивана Шишкина, с женою и детьми. Князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, сын воеводы, умершего пленником в Литве, погиб за нескромное слово. Оскорбленный надменностию юного любимца государева

Федора Басманова, князь Дмитрий сказал ему: «Мы служим царю трудами полезными, а ты гнусными делами содомскими!» Басманов принес жалобу Иоанну, который в исступлении гнева, за обедом, вонзил несчастному князю нож в сердце; другие пишут, что он велел задушить его. Боярин, князь Михайло Репнин, также был жертвою великодушной смелости. Видя во дворце непристойное игрище, где царь, упоенный крепким медом, плясал с своими любимцами в масках, сей вельможа заплакал от горести. Иоанн хотел надеть на него маску: Репнин вырвал ее, растоптал ногами и сказал: «Государю ли быть скоморохом? По крайней мере я, боярин и советник Думы, не могу безумствовать». Царь выгнал его и через несколько дней велел умертвить, стоящего в святом храме, на молитве; кровь сего добродетельного мужа обагрила помост церковный. Угождая несчастному расположению души Иоанновой, явились толпы доносителей. Подслушивали тихие разговоры в семействах, между друзьями; смотрели на лица, угадывали тайну мыслей, и гнусные клеветники не боялись выдумывать преступлений, ибо доносы нравились государю и судия не требовал улик верных. Так, без вины, без суда, убили князя Юрия Кашина, члена Думы, и брата его; князя Дмитрия Курлятева, друга Адашевых, неволею постригли и скоро умертвили со всем семейством; первостепенного вельможу, знатного *слугу государева*, победителя казанцев, князя Михайла Воротынского, с женою, с сыном и с дочерью сослали на Белоозеро. Ужас крымцев, воевода, боярин Иван Шереметев, был ввержен в душную темницу, истерзан, окован тяжкими цепями. Царь пришел к нему и хладнокровно спросил: «где казна твоя? Ты слыл богачом». *Государь*! — отвечал полумертвый страдалец. — *Я руками нищих переслал ее к моему Христу Спасителю!* Выпущенный из темницы, он еще несколько лет присутствовал в Думе; наконец укрылся от мира в пустыне Белозерской, но не укрылся от гонения: Иоанн писал к тамошним монахам, что они излишно честят сего бывшего вельможу, как бы в досаду царю. Брат его, Никита Шереметев, также думный советник и воевода, израненный в битвах за отечество, был удавлен.

Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стенали жертвы; но... тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим! Нет исправления для мучителя, всегда более и более подозрительного, более и более свирепого; кровопийство не утоляет, но усиливает жажду крови: оно делается лютей-

шею из страстей, неизъяснимою для ума, ибо есть безумие, казнь народов и самого тирана. — Любопытно видеть, как сей государь, до конца жизни усердный чтитель христианского Закона, хотел соглашать его Божественное учение с своею неслыханною жестокостию: то оправдывал оную в виде правосудия, утверждая, что все ее мученики были изменники, *чародеи*, враги Христа и России; то смиренно винился пред Богом и людьми, называл себя *гнусным убийцею невинных*, приказывал молиться за них в святых храмах, но утешался надеждою, что искреннее раскаяние будет ему спасением, и что он, сложив с себя земное величие, в мирной обители Св. Кирилла Белозерского со временем будет примерным иноком! Так писал Иоанн к князю Андрею Курбскому и к начальникам любимых им монастырей, во свидетельство, что глас неумолимой совести тревожил мутный сон души его, готовя ее к незапному, страшному пробуждению в могиле!

Оставим до времени ужасы тиранства, чтобы следовать за течением государственных дел, в коих природный ум Иоаннов еще был виден как луч света посреди облаков темных.

Успехи наши в войне Ливонской заключились ударом сильным, решительным. Государь (в 1560 году) послал в Дерпт еще новую рать, 60 000 конницы и пехоты, 40 осадных пушек и 50 полевых, с знатнейшими воеводами, князьями Иваном Мстиславским и Петром Шуйским, чтобы непременно взять Феллин, главную защиту Ливонии, где заключился бывший магистр Фирстенберг. Полки московские шли медленно берегом реки Эмбаха; тяжелый снаряд огнестрельный везли на судах; а воевода князь Барбашин с 12 000 легких всадников спешил занять дорогу к морю: ибо носился слух, что Фирстенберг отправляет для безопасности богатую казну в Габзаль. Утомив коней, Барбашин отдыхал верстах в пяти от Эрмиса, и в жаркий полдень, когда воины его спали в тени, сделалась тревога: 500 немецких всадников и столько же пехоты, под начальством храброго ландмаршала, Филиппа Беля, с криком и воплем устремились из леса к нашему тихому стану, оберегаемому малочисленною стражею. Россияне хотя и знали о близости неприятеля, но думали, что он не вступит в битву с их превосходною силою. Внезапность дала ему только минутную выгоду: после первого замешательства россияне остановили, стеснили немцев, и всех до единого истребили, взяв в плен 11 командоров и 120 рыцарей, в числе коих находился и главный предводитель. Утрата столь многих чиновников, особен-

но ландмаршала, называемого последним, ревностным защитником, последнею надеждою Ливонии, была величайшим бедствием для ордена. Представленный воеводам московским, сей знаменитый муж не изменился в своей душевной твердости; не таил внутренней скорби, но взирал на них с гордым величием; ответствовал на все вопросы искренно, спокойно, смело. Курбский, хваля его характер, ум, красноречие, повествует следующее:

«Стараясь приветливостию смягчить жестокую долю сего необыкновенного человека, мы за обедом ласково беседовали с ним об истории Ливонского ордена. *Когда,* — сказал он, — *усердие к истинной Вере, добродетель, благочестие, обитали в сердцах наших: тогда Господь явно помогал нам; не боялись мы ни россиян, ни литовских князей. Вы слыхали о той славной, достопамятной битве с грозным Витовтом, в коей легли шесть магистров орденских, один за другим избранных для предводительства,* — *таковы были древние рыцари; таковы и новейшие, с коими имел войну дед нынешнего царя московского Иоанн Великий и которые столь мужественно сражались с вашим славным воеводою Даниилом. Когда же мы отступили от Бога, испровергли уставы истинной Веры, прияли новую, изобретенную умом человеческим в угодность страстям, когда забыли чистоту нравов, вдались в гнусное сластолюбие, необузданно устремились на широкий путь разврата: тогда Бог предал орден в руки ваши. Грады красные, твердыни высокие, палаты и дворы светлые, созданные нашими предками,* — *сады и винограды, ими насажденные, без труда вам достались. Но что говорю о россиянах! По крайней мере вы брали мечом: другие* (поляки) *меча не обнажали, а брали, лукаво обещая нам дружбу, защиту, вспоможение. Вот их дружба: стоим пред вами в узах, и милое отечество гибнет!.. Нет, не думайте, чтобы вы доблестию победили нас: Бог вами казнит грешников!* Тут он залился слезами, отер их и с лицем светлым примолвил: *но я благодарю Всевышнего и в оковах: сладостно терпеть за отечество, и не боюся смерти!* — Воеводы российские слушали его с любопытством, с сердечным умилением и, послав в Москву вместе со всеми пленниками, убедительно писали к государю, чтобы он изъявил милосердие к сему добродетельному витязю, который, будучи столь уважаем в Ливонии, мог оказать нам великие услуги и склонить магистра к покорности. Но Иоанн уже любил тогда жестокость: призвав его к себе, начал говорить с ним гневно.

Великодушный пленник ответствовал, что Ливония стоит за честь, за свободу и гнушается рабством; что мы ведем войну как лютые варвары и кровопийцы. Иоанн велел отсечь ему голову» — за *противное* слово (говорит летописец) и за вероломное нарушение перемирия. Невольно удивляясь смелой твердости Беля, Иоанн послал остановить казнь; но она между тем совершилась.

Полководцы наши, осадив Феллин, разбили пушками стены и в одну ночь зажгли город в разных местах. Тогда воины немецкие объявили Фирстенбергу, что надобно вступить в переговоры. Тщетно сей знаменитый старец убеждал их не изменять чести и долгу, предлагая им все свои сокровища, золото и серебро в награду за мужество: наемники не хотели верной смерти, ибо ни откуда не могли ждать помощи. Фирстенберг требовал, чтобы россияне выпустили его с казною: Совет боярский не принял сего условия, ответствуя, что государь для чести желает иметь магистра пленником, а из великодушия обещает ему милость. Выпустили только воинов немецких (21 августа); но узнав, что они разломали сундуки Фирстенберговы и похитили многие драгоценности, свезенные ливонским дворянством в Феллин, князь Мстиславский велел отнять у них все взятое ими беззаконно, даже и собственность, так что сии несчастные пришли нагие в Ригу, где Кетлер повесил их как изменников. Заняв город, россияне удивились малодушию немцев, которые могли бы долго противиться величайшим усилиям осаждающих, имея в нем три каменные крепости с глубокими рвами, 450 пушек и множество всяких запасов. «Такая робость неприятелей (говорили они) есть милость Божия к царю православному». Когда пленники феллинские прибыли в Москву, Иоанн велел показать их народу и водить из улицы в улицу. Пишут, что царь казанский, находясь в числе любопытных зрителей сего торжества, плюнул на одного немецкого сановника, сказав ему: «За дело вам, безумцам! Вы научили русских владеть оружием: погубили нас и самих себя!» — Государь принял Фирстенберга весьма благосклонно; исполнил все обещания воевод и дал ему костромское местечко Любим во владение, где он и кончил дни свои, жалуясь на Судьбу, но искренно хваля милосердие Иоанново.

Падение Феллина предвестило совершенное падение ордена. Города Тарваст, Руя, Верполь и многие укрепленные замки сдалися. Князь Андрей Курбский разбил нового орденского ландмаршала близ Вольмара, и сведав, что легкие отряды литовские приближаются к Вендену, встретил их как неприятелей, обратил

в бегство, выгнал из пределов Ливонии. Воевода Яковлев, опустошив приморскую часть Эстонии, захватил множество скота и богатства, ибо знатнейшие жители Гаррии укрывались там с своим имением. Он шел мимо Ревеля: смелые граждане, числом менее тысячи, сделали вылазку и были жертвою нашей превосходной силы; легли на месте или отдалися в плен. Вероятно, что россияне могли бы овладеть тогда и Ревелем; но главный воевода, князь Мстиславский, на пути к нему хотел без государева повеления взять крепкий, окруженный вязкими ржавцами[1] Вейсенштейн: стоял под ним шесть недель, не отважился на приступ, издержал все запасы и должен был осенью возвратиться в Россию.

В сие время Ливония уже перестала мыслить о сохранении независимости: изнуренная бесполезными усилиями, она искала только лучшего властелина, чтобы спасти бедные остатки свои от плена и меча россиян. Фридерик, король датский, хотел Эстонии и купил для своего брата, Магнуса, епископство Эзельское: сей юный принц, осужденный быть удивительным игралищем Судьбы, весною 1560 года прибыл в Габзаль с лестными обещаниями для рыцарства. Король шведский не показывал властолюбивых замыслов на орденские земли, но боясь успехов России, дал знать магистру, что он готов снабдить Ревель воинскими запасами; что тамошние жители, в случае осады, могут прислать жен и детей в Финляндию; что Швеция, забывая неверность ордена, искренно ему благоприятствует и никогда не согласится на его уничтожение. Так думал старец Густав Ваза, умерший в конце 1560 года. Новый король Эрик действовал решительнее: представил чинам эстонским, с одной стороны, неминуемую гибель, с другой, защиту, спасение, и без великого труда убедил их объявить себя подданными Швеции, к досаде магистра, который находился в тайных переговорах с Сигизмундом. Сие важное происшествие ускорило развязку драмы. Видя, что ветхое здание ордена рушится, Кетлер, архиепископ рижский и депутаты Ливонии спешили в Вильну, где 28 ноября 1561 года, в присутствии короля и вельмож литовских, навеки уничтожилось бытие знаменитого *Братства меченосцев*, в силу торжественного, клятвою утвержденного договора, по коему Сигизмунд-Август был признан государем Ливонии — с условием не изменять ни Веры ее, ни законов, ни прав гражданских — а Кетлер наследственным герцогом Курлян-

---

[1] Ржавец — ржавое болото, мочежина.

дии, вассалом, или подручником королевским. В сей достопамятной грамоте сказано, что «Ливония, терзаемая лютейшим из врагов, не может спастися без тесного соединения с Королевством Польским; что Сигизмунд обязан вступиться за христиан, утесняемых варварами; что он изгонит россиян и внесет войну в собственную их землю: ибо лучше питаться кровию неприятеля, нежели питать его своею». Возвратясь в Ригу, Кетлер всенародно сложил с себя достоинство магистра, крест и мантию: рыцари также, проливая слезы. Присягнув в верности к королю, он вручил его наместнику, князю Николаю Радзивилу, печать ордена, грамоты императоров и ключи городские; а Радзивил, именем короля, дал ему сан ливонского правителя. — Таким образом, земли орденские разделились на пять частей: Нарва, Дерпт, Аллентакен, некоторые уезды Ервенские, Вирландские и все места, соседственные с Россиею, были завоеваны Иоанном; Швеция взяла Гаррию, Ревель и половину Вирландии; Магнус владел Эзелем; Готгард Кетлер Курляндиею и Семигалиею; Сигизмунд южною Ливониею. Каждый из сих владетелей старался приобрести любовь новых подданных: ибо сам Иоанн, ужасный в виде неприятеля, изъявлял милость народу и дворянству в областях завоеванных. Но конец ордена еще не мог быть концом бедствий для стесненной Ливонии, где четыре северные державы находились в опасном совместничестве друг с другом и где каждая из них желала распространить свое господство.

В то время, когда шведское войско уже вступало в Ревель, Эрик предлагал нам мир и дружбу, но с условием относиться во всем к самому царю, не к наместникам новогородским, и выключить из прежнего договора важную статью, коею Густав Ваза обязывался не помогать ни Литве, ни ордену. Чиновники шведские в переговорах с московскими боярами сказали им в угрозу: «Император, король Сигизмунд и Фридерик Датский убеждают государя нашего вместе с ними воевать Россию. Послы их в Стокгольме: Эрик не дал им решительного ответа, ибо ждет вашего». Бояре объявили, что Россия семь веков следует одной системе политической и не изменяет старых своих обычаев. «В Швеции, — говорили они, — было много владетелей до Эрика: который же не сносился с Новымгородом? Густав Ваза, не хотев того, видел ужасное опустошение земли своей и смирился. Густав славился мудростию, а Эрик еще неизвестен. Легко начать злое дело, но трудно исправить его. Иоанн захотел — и взял два царства: что сделал наш король но-

вый? Или снова утвердите грамоту отца его, или вы еще не доедете до Стокгольма, а война уже запылает — и не скоро угаснет ее пламя. Вы пугаете нас Литвою, цесарем, Даниею: будьте друзьями всех царей и королей: не устрашимся». Сия твердость принудила шведов возобновить старый договор. Хотя Иоанн не мог без досады сведать о происшедшем в Эстонии; хотя чиновники новогородские, посланные в Стокгольм с мирною грамотою, жаловались царю, что Эрик принял их весьма грубо (и даже предлагал им есть мясо в постные дни); хотя они дали знать королю, что мы не будем равнодушными зрителями его властолюбия: однако ж мир состоялся, ибо царь не хотел умножать числа врагов своих до времени, чтобы управиться с главным, то есть с Литвою.

Мы говорили о сватовстве Иоанновом: он не сомневался в успехе его и весьма ошибся, к прискорбию своего самолюбия. Послы наши, отправленные в Вильну, торжественно говорили Сигизмунду о мире, а тайно о желании царя быть ему зятем. Им надлежало выбрать или большую сестру королевскую, Анну, или меньшую, Екатерину, смотря по их *красоте, здоровью и дородству*. Они избрали Екатерину. Сигизмунд ответствовал, что для сего нужно согласие императора, князя Брауншвейгского и короля венгерского, ее покровителей и родственников; что приданое невесты, хранимое в польской казне, состоит из цепей, запон, платья и золота, всего на 100 000 червонных; что хотя и не следовало бы выдать меньшую сестру прежде большой, но он не противится сему браку с условием, чтобы Екатерина осталась в римском Законе[1]. Послы желали представиться невесте: им дозволили видеть ее в церкви и вручили портреты обеих сестер. — Но Сигизмунд, уверенный в необходимости войны за Ливонию, считал бесполезным свойство́ с Иоанном. Прислав в Москву маршалка Шимковича будто бы для договора о мире и сватовстве, он требовал Новагорода, Пскова, земли Северской, Смоленска! Посол уехал, и неприятельские действия началися тем, что литовский гетман Радзивил, вступив с войском в Ливонию, взял город Тарваст: осада продолжалась пять недель, а воеводы московские не успели дать ему помощи; собирались, готовились и не хотели слушаться друг друга, считаясь в старейшинстве между собою. Тогдашняя строгость Иоаннова не унимала зловредного местничества, и государь, казня вельмож за одно слово нескромное, за уко-

[1] Осталась в римском Законе — то есть католичкой.

рительный взгляд, за великодушную смелость, изъявлял снисхождение к сему старому обычаю. Подвиги нашего многочисленного войска состояли единственно в новом опустошении некоторых ливонских селений. Князь Василий Глинский и Петр Серебряный ходили вслед за Радзивилом и побили его отряд близ Пернау. Литовцы, заняв важнейшие крепости, не остались в Тарвасте: Иоанн велел разорить сей город до основания.

Тогда Сигизмунд написал к царю, что, долго и бесполезно убеждав его оставить Ливонию в покое, он должен прибегнуть к оружию; что Радзивил, взяв Тарваст, выпустил оттуда россиян; что виновник кровопролития даст ответ Богу; что мы еще можем отвратить войну, если выведем войско из бывших орденских владений и заплатим все убытки, или Европа увидит, на чьей стороне правда и месть великодушная, на чьей лютость и стыд. Вручителю письма, дворянину Корсаку, единоверцу нашему, бояре объявили, что ему не будет оказано посольской чести, ибо грамота королевская исполнена выражений непристойных; а царь отвечал Сигизмунду: «Ты умеешь слагать вину свою на других. Мы всегда уважали твои *справедливые* требования; но, забыв условия предков и собственную присягу, ты вступаешься в древнее достояние России: ибо Ливония наша, была и будет. Упрекаешь меня гордостию, властолюбием: совесть моя покойна, я воевал единственно для того, чтобы даровать свободу христианам, казнить неверных или вероломных. Не ты ли склоняешь короля шведского к нарушению заключенного им с Новымгородом мира? Не ты ли, говоря со мною о дружбе и сватовстве, зовешь крымцев воевать мою землю? Грамота твоя к хану у меня в руках: прилагаю список ее, да устыдишься... Итак, уже знаем тебя совершенно, и более знать нечего. Возлагаем надежду на Судию Небесного: он воздаст тебе по твоей злой хитрости и неправде».

Тогда Иоанн, уже решительно оставив мысль быть Сигизмундовым зятем, искал себе другой невесты в землях азиатских, по примеру наших древних князей. Ему сказали, что один из знатнейших черкесских владетелей, Темгрюк, имеет прелестную дочь: царь хотел видеть ее в Москве, полюбил и велел учить Закону[1]. Митрополит был ее восприемником от купели, дав ей христианское имя Марии. Брак совершился 21 августа 1561 года; но Иоанн не переставал жалеть о Екатерине, по крайней мере досадо-

---

[1] Учить Закону — православию.

вать, готовясь мстить королю и за Ливонию и за отказ в сватовстве, оскорбительный для гордости жениха.

Однако ж, несмотря на взаимные угрозы, воинские действия с обеих сторон были слабы: Иоанн опасался хана и держал полки в южной России, где предводительствовал ими князь Владимир Андреевич; а Сигизмунд, расставив войско по крепостям в Ливонии, имел в поле только малые отряды, которые приступали к Опочке, к Невлю. Князь Петр Серебряный разбил литовцев близ Мстиславля: Курбский выжег предместие Витебска; другие воеводы из Смоленска ходили к Дубровне, Орше, Копысу, Шклову. Более грабили, нежели сражались. Пан Ходкевич, предводитель Сигизмундова войска в Ливонии, убеждал наших воевод не тратить людей в бесполезных сшибках. Начались было и мирные переговоры: вельможи литовские писали к митрополиту и боярам московским, чтобы они своим ходатайством уняли кровопролитие. Старец Макарий велел сказать им: «знаю только дела церковные; не *стужайте*[1] мне государственными»; а бояре объявили, что Иоанн согласен на мир, если Сигизмунд не будет спорить с нами ни о Ливонии, ни о титуле царском. «Вспомните,— прибавили они,— что и самая Литва есть отчина государей московских! Для спокойствия обеих держав Иоанн хотел жениться на вашей королевне: Сигизмунд отвергнул его предложение — и для чего? Без сомнения в угодность хану! Еще можно исправить зло; пользуйтесь временем!» Но 1563 год наступал; а послы королевские, ожидаемые в Москве, не являлись: уже не боясь хана, который, вступив в южную Россию, бежал назад от города Мценска, Иоанн замыслил нанести важный удар Литве.

В начале зимы собралися полки в Можайске: сам государь отправился туда декабря 23; а с ним князь Владимир Андреевич, цари казанские, Александр и Симеон, царевичи Ибак, Тохтамыш, Бекбулат, Кайбула, и сверх знатнейших воевод двенадцать бояр думских, 5 окольничих, 16 дьяков. Воинов было, как уверяют, 280 000, обозных людей 80 900, а пушек 200. Сие огромное, необыкновенное ополчение столь внезапно вступило в Литву, что король, находясь в Польше, не хотел верить первой о том вести. Иоанн 31 генваря 1563 г. осадил Полоцк, и 7 февраля взял укрепления внешние. Тут узнали, что 40 000 литовцев с двадцатью пушками идут от Минска: гетман Радзивил предводительст-

[1] Стужать — докучать.

вовал ими; он дал слово королю спасти осажденный город, но, встреченный московскими воеводами, князьями Юрием Репниным и Симеоном Палицким, не отважился на битву; хотел единственно тревожить россиян и не успел ничего сделать: ибо город 15 февраля был уже в руках Иоанновых. Тамошний начальник, именем Довойна, услужил царю своею безрассудностию: впустил в крепость 20 000 поселян и, через несколько дней выгнав их, дал случай Иоанну явить опасное в таких случаях великодушие. Сии несчастные шли на верную смерть и были приняты в московском стане как братья: из благодарности они указали нам множество хлеба, зарытого ими в глубоких ямах, и тайно известили граждан, что царь есть отец всех единоверных: побеждая, милует. Между тем ядра сыпались в город; стены падали, и малодушный воевода, в угодность жителям, спешил заключить выгодный договор с неприятелем снисходительным, который обещал свободу личную, целость имения — и не сдержал слова. Полоцк славился торговлею, промышленностию, избытком: Иоанн, взяв государственную казну, взял и собственность знатных, богатых людей, дворян, купцов: золото, серебро, драгоценные вещи; отправил в Москву епископа, воеводу полоцкого, многих чиновников королевских, шляхту и граждан; велел разорить латинские церкви и крестить всех жидов, а непослушных топить в Двине. Одни королевские иноземные воины могли хвалиться великодушием победителя: им дали нарядные шубы и письменный, милостивый пропуск, в коем Иоанн с удовольствием назвал себя великим князем *Полоцким*, приказывая своим боярам, сановникам российским, черкесским, татарским, немецким, оказывать им в пути защиту и вспоможение. Несколько дней он праздновал сие легкое, блестящее завоевание древнего княжества России, наследия достопамятной Горислава, знаменитого в истории наших междоусобий, и ранним подданством Литве спасенного от ига моголов; послал всюду гонцов, чтобы россияне изъявили благодарность Небу за свою новую славу, и писал к первосвятителю Макарию: «се ныне исполнилось пророчество дивного Петра митрополита, сказавшего, что Москва вознесет руки свои на плеща врагов ее!»

Сигизмунд и паны его были в страхе: многолюдный, укрепленный Полоцк считался главною твердынею Литвы, и воеводы московские, не теряя времени, шли на Вильну, к Мстиславлю, в Самогитию, опустошая землю невозбранно: ибо гетман бежал назад в Минск. В сих обстоятельствах вельможи королевские пи-

сали к нашим боярам, что послы их готовы ехать в Москву, если мы остановим неприятельские действия: а царь, приказав ответствовать, что *посла ни секут, ни рубят*, дал Литве перемирие на шесть месяцев. Велев исправить укрепления, отслужив молебен в Софийском полоцком храме и вверив защиту города мужественному князю Петру Шуйскому, государь 26 февраля выступил оттуда со всем войском, распустил его в Великих Луках, спешил в столицу и встретил на пути бояр, высланных к нему из Москвы с поздравлениями от сыновей и супруги. Мать князя Владимира Андреевича, Евфросиния, великолепно угостила его в уделе своего сына, в Старице. Царевич Иоанн ждал родителя в обители Св. Иосифа, Феодор в селе Крылацком. Тут был новый пир; а на другой день, 21 марта, когда государь ехал крылацким полем, явился боярин Траханиотов с вестию, что царица родила ему сына Василия. У церкви Бориса и Глеба, на Арбате, стояло духовенство с хоругвями и крестами: Иоанн благодарил митрополита и святителей за их усердные молитвы; святители благодарили царя за мужество и победу. Он шел в торжестве, от Арбата до соборов, среди вельмож и народа, среди приветствий и восклицаний, точно так, как по взятии Казани... Не доставало народу единственно любви к государю, а государю счастия: ибо его нет для тиранов! — новорожденный царевич жил только пять недель.

Не сомневаясь в продолжении войны с Литвою и надеясь на благоприятное действие своей знаменитой победы, Иоанн известил о том хана; писал к нему с гордостию и с ласкою, напоминал искреннюю дружбу Менгли-Гирееву с великим князем Иоанном, счастливую для обеих держав, и все худые успехи крымских впадений, хотя вредных для России, но еще более для самой Тавриды, уже бедной людьми, оружием и конями; указывал на христианские церкви в Казани, в Астрахани; хвалился усердием верных князей черкесских и ногаев, сожалел о бессильной злобе Сигизмунда, наказанного стыдом, разорением земли его, и говорил: «Все паны королевские били челом боярам нашим, да прекратим их бедствия. Бояре молили князя Владимира Андреевича и вместе с ним пали к ногам моим, вещая: *Государь! у вас одна Вера: на что более проливать кровь? Руки твои наполнились плена*[1] *и богатства; ты взял лучший город у Сигизмунда*. Недруг в слезах, и желает быть

---

[1] Плен — военная добыча.

в твоей воле. Я не хотел оскорбить любезного мне брата и вельмож добрых; мы возвратились!.. Угодно ли тебе быть моим другом?» Уже несколько лет послы вероломного Девлет-Гирея сидели у нас в тесной неволе: их освободили в знак государева к нему благорасположения; но Иоанн в письме своем не хотел его назвать *братом*, и вместо старинного *челобитья* приказал единственно поклон хану. Несмотря на то, посол московский, Афанасий Нагой, должен был за тайну объявить крымским вельможам, что царь удалил от себя Адашевых, воеводу Шереметева и дьяка Ивана Михайлова будто бы за их ненависть к Девлет-Гирею! Ум, ловкость нашего посла и богатые дары произвели действие: хан склонился к миру, года два не тревожил России, и в знак своего доброжелательства открыл нам важную тайну. Мы видели, что могущественный Солиман неравнодушно смотрел на успехи Иоаннова величия и на гибель царств мусульманских: занимаясь другими, ближайшими опасностями и предприятиями, важнейшими для его славолюбия, он медлил; наконец по внушению знатного беглеца астраханского, князя Ярлыгаша, замыслил великое дело: соединить Дон с Волгою прокопом, основать крепость на Переволоке (там, где сии реки сближаются), другую на Волге, где ныне Царицын, третью близ моря Каспийского, чтобы сперва утвердить безопасность своих азовских владений, а после взять Астрахань, Казань, — стеснить, ослабить Россию. Главным орудием или действователем надлежало быть хану: султан велел ему идти к Астрахани, обещая прислать Доном пушки и людей, искусных в строении крепостей. Но, к счастию России, Девлет-Гирей страшился господства турков еще более, нежели ее силы: не хотел уступить им царств Батыевых, и, стараясь доказать султану невозможность успеха, известил Иоанна о сем опасном для нас предприятии, которое осталось тогда без исполнения. — Несмотря на дружелюбные сношения с Крымом, государь ласкал постоянного врага Девлет-Гиреева, главу ногайских владетелей, Исмаила, который оберегал Астрахань, уведомлял нас о вероломных замыслах ее князей, тайных друзей Крыма, и, к сожалению россиян, умер в 1563 году, оставив сына, Тин-Ахмата, начальником Орды Ногайской. Подобно отцу, сей князь усердно искал Иоанновой милости.

Уже Польша, Дания и Швеция воевали за Ливонию; первые две хотели общими силами обуздать властолюбие Эрика: ибо шведы отняли у Сигизмунда Пернау и Вейсенштеин, у датчан Леаль и Габзаль. Король датский, Фридерик, желал союза Иоаннова:

царь утвердил с ним мир, как бы из великодушия уступив ему Эзель и Вик; но гордо отвергнул его посредничество в наших делах с Литвою, сказав: «мы сами умеем стоять за себя, и кроме Божией помощи не хотим никакой». Он велел отвести дворы купцам датским в Новегороде и Нарве, с условием, чтобы и нашим отведены были такие же в Копенгагене и Визби, где россияне издревле торговали. Гофмейстер Фридериков, Эллер Гарденберг, с другими чиновниками был в Москве для договора: князь Ромодановский ездил в Данию для размена грамот.— В то же время и шведы старались всячески улестить опасного царя: Эрик извинялся в неучтивостях, оказанных нашим послам, и прислал шесть знатных сановников в Москву, чтобы заключить *договор о Ливонии* с самим царем, а не с его воеводами. Ответом была грубая насмешка. Иоанн велел сказать Эрику: «Когда я с двором своим переселюсь в Швецию, тогда повелевай и величайся — а не ныне! Я от тебя так далеко, как небо от земли». Шведы уступили. Государь велел боярину Морозову, наместнику ливонскому, дать королю особенное перемирие на семь лет по делам Ливонии; *дозволил* Эрику владеть Ревелем и всеми занятыми им городами в Эстонии, но оставил себе право, по истечении означенного срока, изгнать оттуда шведов как хищников; то есть Иоанн не мешал враждующим за Ливонию державам изнурять друг друга, готовый воспользоваться их ослаблением и присоединить ее к России. Увидим следствия, каких не ожидала его хитрая политика... Теперь будем говорить о внутренних происшествиях сего времени.

Второй брак Иоаннов не имел счастливых действий первого. Мария, одною красотою пленив супруга, не заменила Анастасии ни для его сердца, ни для государства, которое уже не могло с мыслию о царице соединять мысль о царской добродетели. Современники пишут, что сия княжна черкесская, дикая нравом, жестокая душою, еще более утверждала Иоанна в злых склонностях, не умев сохранить и любви его, скоро простывшей: ибо он уже вкусил опасную прелесть непостоянства и не знал стыда. Равнодушный к Марии, Иоанн помнил Анастасию, и еще лет семь, в память ее, наделял богатою милостынею святые монастыри Афонские. Таким же образом государь честил и память своего брата, Юрия, умершего в исходе 1563 года. Сей князь, скудный умом, пользовался наружными знаками уважения, и неспособный ни к ратным, ни к государственным делам, только именем начальствовал в Москве, когда царь выезжал из столицы. Но супруга его,

Иулиания, считалась второю Анастасиею по своим необыкновенным достоинствам: она решилась оставить свет. Иоанн, царица Мария, князь Владимир Андреевич, бояре и народ в глубоком молчании шли за нею от Кремля до Новодевичьего монастыря, где, названная во инокинях Александрою, она хотела кончить дни свои в мире, не предвидя, что сей тронутый ее ревностным, ангельским благочестием царь, исполненный к ней — так казалось — любви и братской нежности, в порыве безумного гнева будет ее свирепым убийцею! Он желал, чтобы невестка его и в виде смиренной монахини имела почести царские: устроил ей в келиях пышный двор, дал сановников в услугу и богатые поместья во владение, как бы желая тем еще привязать ее к суетам мира!

Еще прежде Иулиании, волею или неволею, постриглась мать князя Владимира Андреевича честолюбивая Евфросиния, вместе с сыном заслужив гнев царя по доносу дьяка их, который за свои худые дела сидел в темнице. Государь призвал обвиняемых, митрополита, епископов: *уличил* — как сказано в летописи — мать и сына в *неправде*, но, уважив моление духовенства, из *милосердия* отпустил им вину. Тогда Евфросиния, оставив свет, заключилась в Воскресенском монастыре на Белеозере, куда проводили ее знатные дворские чиновники; а князю Владимиру Иоанн дал *новых* бояр, стольников и дьяков, взяв его собственных к себе в царскую службу: то есть окружил сего князя надзирателями; между тем обходился с ним ласково, ездил к нему гостем в Старицу, в Верею, в села Вышегородские, чтобы пировать и веселиться. Еще внутренняя злоба таилась под личиною дружелюбия.

В последний день 1563 года скончался в глубокой старости знаменитый митрополит Макарий, обвиняемый современниками в честолюбии, в робости духа, но хвалимый за благонравие: не смелый обличитель царских пороков, но и не грубый льстец их. За несколько дней до смерти, открывая душу пред людьми и Богом в грамоте прощальной, Макарий пишет, что, изнуряемый многими печалями, он несколько раз хотел удалиться от дел и посвятить себя *житию молчальному* или пустынному, но царь и святители всегда неотступно убеждали его остаться. Сей пастырь церкви не был, кажется, спокойным зрителем Иоаннова разврата, предпочитая тишину пустыни блестящему сану иерарха. Ревностный к успехам христианского просвещения, он велел перевести греческую минею и прибавил к ней жития святых российских, как древних, так и новейших, для коих собором 26 февраля 1547 года уставил он служ-

бу и празднества: новогородскому архиепископу Иоанну, Александру Невскому, Савватию, Зосиме Соловецким и другим. Макарий велел также сочинить известную *Степенную книгу*, доведенную от Рюрика до 1559 года, и способствовал учреждению первой в Москве типографии. Европа уже около ста лет пользовалась счастливым открытием Гуттенберга, Фауста, Шеффера: государи московские слышали о том и хотели присвоить себе выгоду столь важную для успехов просвещения, им любезного. Великий князь Иоанн III давал жалованье славному любекскому типографщику Варфоломею; царь Иоанн в 1547 году искал в Германии художников *для книжного дела* и, как вероятно, нашел их для образования наших собственных в Москве: ибо в 1553 году он приказал устроить особенный дом книгопечатания под руководством двух мастеров, Ивана Федорова, диакона церкви Св. Николая Гостунского, и Петра Тимофеева Мстиславца, которые в 1564 году издали *Деяния* и *Послания* апостолов, древнейшую из печатных книг российских, достойную замечания красотою букв и бумаги. В прибавлении сказано, что Макарий благословил царя на благое дело доставить христианам вместо неверных рукописей печатные, исправные книги, содержащие в себе и Закон Божий и службу церковную: для чего надлежало сличать древнейшие, лучшие списки, дабы не обмануться ни в словах, ни в смысле. Сие важное предприятие, внушенное христианскою просвещенною ревностию, возбудило негодование многих грамотеев, которые жили списыванием книг церковных. К сим людям присоединились и суеверы, изумленные новостию. Начались толки, и художник Иван Федоров, смертию Макария лишенный усердного покровителя, как мнимый еретик должен был — вместе с своим товарищем Петром Мстиславцем — удалиться от гонителей в Литву. Хотя московская типография, переведенная в Александровскую Слободу, еще напечатала Евангелие; но царь уступил славу издать всю Библию волынскому князю Константину Константиновичу, одному из потомков Св. Владимира. Сей князь, ревностный сын нашей церкви, с любовию приняв изгнанника Ивана Федорова, завел типографию в своем городе Остроге; достал в Москве же (чрез государственного секретаря литовского Гарабурду) полный список Ветхого и Нового завета, сверил его с греческою Библиею, присланною к нему от Иеремии, патриарха константинопольского, исправил (посредством некоторых филологов) и напечатал в 1581 году, заслужив тем благодарность всех единоверцев. — Между достопамятными церковными деяниями Макариева времени заме-

тим еще учреждение полоцкой *архиепископии*, в честь сего древнего княжества и тамошнего знаменитого храма Софийского. Бывший святитель суздальский Трифон Ступишин, постриженник Св. Иосифа Волоцкого, муж добродетельный, но ветхий и недужный, в угодность царю принял сан полоцкого архипастыря.

По кончине Макария все епископы съехались в Москву, чтобы избрать нового пастыря церкви; но еще прежде того, исполняя волю государеву, они Соборною грамотою уставили, что митрополиты российские должны впредь носить *клобуки белые, с рясами и с херувимом*, как изображаются на иконах митрополиты Петр и Алексий, новогородский архиепископ Иоанн и чудотворцы ростовские Леонтий, Игнатий, Исаия. «Для чего, — сказано в сей грамоте, — для чего одни святители новогородские носят ныне белые клобуки, мы искали и не могли найти в писаниях. Да возвратится митрополитам их древнее отличие! Да печатают также, подобно архиепископам новогородскому и казанскому, все грамоты свои *красным воском*. Печать на одной стороне должна представлять образ Богоматери со Младенцем, а на другой руку Благословенную с именем митрополита». Чрез несколько дней 24 февраля 1564 г. был избран в первосвятители инок Чудова монастыря Афанасий, бывший Благовещенский протоиерей и духовник государев. По совершении Литургии владыки, сняв с митрополита одежду служебную, возложили на него *златую икону вратную*, мантию с источниками и белый клобук. Афанасий стал на святительское место, выслушал приветственную речь царя, дал ему благословение, и громогласно молил Всевышнего, да ниспошлет здравие и победы Иоанну. Он уже не смел, кажется, говорить о добродетели!

Глава II
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИОАННА ГРОЗНОГО 1563—1569 гг.

Переговоры и война с Литвою. Бегство россиян в Литву. Измена к. Андрея Курбского. Переписка его с царем. Нападение Литвы и крымцев. Посольство в. магистра немецкого. Таинственный отъезд Иоаннов. Письмо царя к митрополиту и к народу. Ужас в Москве. Учреждение опричнины. Вторая эпоха казней. Александ-

ровская Слобода. Монашеская жизнь Иоаннова. Иноземные любимцы Иоанновы. Великодушие митрополита Филиппа. Третия эпоха убийств. Язва. Воинские действия и переговоры. Земская дума. Перемирие с Литвою. Дела шведские. Важное предприятие султана. Бедствия турков. Сношения с Персиею. Дань сибирская. Торговля. Посольства английские. Замысел Иоаннов бежать в Англию. Злодей Бомелий.

Перемирие, данное Иоанном Сигизмунду, не мешало россиянам и литовцам нападать друг на друга. Первые малочисленными отрядами довершали завоевание Полоцкой области. Слуга Сигизмундов, князь Михайло Вишневецкий, с толпами козаков и белогородских татар опустошал уезды Черниговские, Стародубские: князь Иван Щербатый, северский воевода, разбил его наголову. Послов Сигизмундовых долго ждали в Москве: наконец они приехали, 5 декабря 1563 года, и, следуя обыкновению, требовали от нас Новагорода, Пскова, кроме всех завоеваний деда, отца Иоаннова и его собственных; а бояре наши, также следуя обыкновению, ответствовали, что мы для надежного мира должны взять у Литвы не только Киев, Волынию, Подолию, но и Вильну, которая в древние времена принадлежала России. Они говорили о неправдах, лукавстве, спеси короля, не хотящего именовать Иоанна царем и замышляющего быть государем Ливонии, где еще в XI веке основан Ярославом Великим город Юрьев и где Александр Невский огнем и мечом казнил своих подданных, немцев, за их бунт и непослушание. «Так было,— заключили бояре словом государя,— так было до времен *великого мстителя неправдам*, моего деда; до славного родителя моего, *обретателя древней нашей отчины*, и до меня *смиренного*». Хотя с обеих сторон умерили требования; хотя мы соглашались уже не говорить о Вильне, Подолии, Волынии, и дружелюбно уступали Сигизмунду Курляндию, желая единственно всей Полоцкой земли, чтобы заключить перемирие на 10 или 15 лет: однако ж послы не приняли сего условия. Иоанн изустно сказал им: «Если король не хочет давать мне царского имени, да будет его воля! Не имею нужды в титуле: ибо всем известно, что род мой происходит от Кесаря Августа; а данного Богом человек не отнимет». Такая генеалогия должна была удивить послов: им без сомнения объяснили ее. Надобно знать, что московские книжники сего времени, может быть в угодность Иоаннову честолюбию, призводили пер-

вого князя новогородского Рюрика от мнимого Прусса, Августова брата, который будто бы, оставив Рим, сделался владетелем Пруссии. Послы не спорили о предках Рюриковых, но не хотели утвердить за ними ни Полоцкой области, ни Ливонии и выехали из Москвы 9 генваря 1564 г.

Тогда воеводы московские немедленно выступили, Шуйский из Полоцка, князья Серебряные-Оболенские из Вязьмы, чтобы действовать против Литвы: государь велел им соединиться под Оршею, идти к Минску, к Новугородку Литовскому; назначил станы, предписал все движения. Но князь Петр Шуйский, завоеватель Дерпта, славный и доблестию и человеколюбием, как бы ослепленный роком, изъявил удивительную неосторожность: шел без всякого устройства, с толпами невооруженными; доспехи везли на санях; впереди не было стражи; никто не думал о неприятеле — а воевода троцкий, Николай Радзивил, с двором королевским, с лучшими полками литовскими, стоял близ Витебска; имел верных лазутчиков; знал все, и вдруг близ Орши, в местах лесных, тесных, напал на россиян. Не успев ни стать в ряды, ни вооружиться, они малодушно устремились в бегство, воеводы и воины. Несчастный Шуйский заплатил жизнию за свою неосторожность. Одни пишут, что он был застрелен в голову и найден мертвый в колодезе; другие, что литовский крестьянин изрубил его секирою. Из знатных людей пали еще два брата, князья Симеон и Федор Палецкие. Литовцы взяли в плен воеводу Захария Плещеева-Очина, князя Ивана Охлябинина и несколько детей боярских, так что мы из двадцати тысяч воинов лишились менее двухсот человек: все другие ушли в Полоцк, оставив неприятелю в добычу обозы и пушки. Тело Шуйского с торжеством отвезли в Вильну, а пленников российских представили больному королю в Варшаве: он велел петь молебны и действием радости исцелился от недуга.

Впрочем сия победа не имела дальнейших счастливых следствий для Сигизмунда. Князья Оболенские стояли под Оршею: Радзивил не хотел сразиться с ними; желал единственно, чтобы они вышли из королевских владений, и для того гонец литовский с вестию о бедствии Шуйского нарочно был послан в Дубровну чрез такие места, где ему надлежало встретить россиян: его схватили и привели к воеводам нашим, которые, узнав, что случилось, действительно возвратились к Смоленску, но отмстив неприятелю огнем и мечом: выжгли селения от Дубровны до Кри-

чева; взяли в плен множество земледельцев. Месяцев пять миновало в бездействии с обеих сторон: в июле полководец Иоаннов, князь Юрий Токмаков, с малочисленною пехотою и конницею ходил из Невля к Озерищу в надежде завладеть сим городом. Сведав, что 12 000 литовцев идут из Витебска спасти осажденных, сей воевода, известный мужеством, отпустил снаряд[1] и пехоту на судах в Невль, с одною конницею встретил неприятеля и разбил его передовую дружину; но когда подошло главное войско литовское, он должен был отступить, бесчеловечно умертвив взятых им пленников. Смоленский воевода Бутурлин, предводительствуя детьми боярскими, татарами, мордвою, снова опустошил правый берег Днепра и вывел 4800 пленников обоего пола. Между тем литовцы тревожили впадением область Дерптскую; а козаки Сигизмундовы грабили купцов и посланников Иоанновых на пути из Москвы в Тавриду.— Но скоро война сделалась важнее, по крайней мере для нас опаснее, от неожидаемой измены одного из славнейших воевод Иоанновых.

Ужас, наведенный жестокостями царя на всех россиян, произвел бегство многих из них в чужие земли. Князь Димитрий Вишневецкий служил примером: усердный ко славе нашего отечества, и любив Иоанна добродетельного, он не хотел подвергать себя злобному своенравию тирана: из воинского стана в южной России ушел к Сигизмунду, который принял Димитрия милостиво как злодея Иоаннова[2] и дал ему собственного медика, чтобы излечить сего славного воина от тяжкого недуга, произведенного в нем отравою. Но Вишневецкий не думал лить кровь единоверных россиян: тайно убеждаемый некоторыми вельможами Молдавии изгнать недостойного их господаря, Стефана, он с дружиною верных козаков спешил туда искать новой славы и был жертвою обмана; никто не явился под знамена Героя: Стефан пленил Вишневецкого и послал в Константинополь, где султан велел умертвить его. — Вслед за Вишневецким отъехали в Литву два брата, знатные сановники, Алексей и Гаврило Черкасские, без сомнения угрожаемые опалою. Бегство не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного: *спасаться от мучителя*; но горе гражданину, который за тирана мстит отечеству! Юный, бодрый воевода, в нежном цвете лет ознаменованный

---

[1] Снаряд — здесь: обоз.

[2] Злодей — враг.

славными ранами, муж битвы и совета, участник всех блестящих завоеваний Иоанновых, Герой под Тулою, под Казанью, в степях башкирских и на полях Ливонии, некогда любимец, друг царя, возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников. То был князь Андрей Курбский. Доселе он имел славу заслуг, не имея ни малейшего пятна на сей славе в глазах потомства; но царь уже не любил его как друга Адашевых: искал только случая обвинить невинного. Начальствуя в Дерпте, сей гордый воевода сносил выговоры, разные оскорбления; слышал угрозы; наконец сведал, что ему готовится погибель. Не боясь смерти в битвах, но устрашенный казнию, Курбский спросил у жены своей, чего она желает: видеть ли его мертвого пред собою или расстаться с ним живым навеки? Великодушная с твердостию ответствовала, что жизнь супруга ей драгоценнее счастия. Заливаясь слезами, он простился с нею, благословил девятилетнего сына, ночью тайно вышел из дому, пролез через городскую стену, нашел двух оседланных коней, изготовленных его верным слугою, и благополучно достиг Вольмара, занятого литовцами. Там воевода Сигизмундов принял изгнанника как друга, именем королевским обещая ему знатный сан и богатство. Первым делом Курбского было изъясниться с Иоанном: открыть душу свою, исполненную горести и негодования. В порыве сильных чувств он написал письмо к царю: усердный слуга, единственный товарищ его, взялся доставить оное, и сдержал слово: подал запечатанную бумагу самому государю в Москве, на Красном крыльце, сказав: «от господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича». Гневный царь ударил его в ногу острым жезлом своим: кровь лилася из язвы: слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал. Иоанн оперся на жезл и велел читать вслух письмо Курбского такого содержания:

«Царю, некогда светлому, от Бога прославленному — ныне же, по грехам нашим, омраченному адскою злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному между самыми неверными владыками земли. Внимай! В смятении горести сердечной скажу мало, но истину. Почто различными муками истерзал ты Сильных во Израиле, вождей знаменитых, данных тебе Вседержителем, и святую, победоносную кровь их пролиял во храмах Божиих? Разве они не пылали усердием к Царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками,

2 Зак. № 40

христиан чародеями, свет тьмою и сладкое горьким! Чем прогневали тебя сии предстатели отечества? Не ими ли разорены Батыевы царства, где предки наши томились в тяжкой неволе? Не ими ли взяты твердыни германские в честь твоего имени? И что же воздаешь нам, бедным? Гибель! Разве ты сам бессмертен? Разве нет Бога и правосудия Вышнего для Царя?.. Не описываю всего, претерпенного мною от твоей жестокости: еще душа моя в смятении; скажу единое: ты лишил меня святыя Руси! Кровь моя, за тебя излиянная, вопиет к Богу. Он видит сердца. Я искал вины своей, и в делах и в тайных помышлениях; вопрошал совесть, внимал ответам ее, и не ведаю греха моего пред тобою. Я водил полки твои, и никогда не обращал хребта их к неприятелю: слава моя была твоею. Не год, не два служил тебе, но много лет, в трудах и в подвигах воинских, терпя нужду и болезни, не видя матери, не зная супруги, далеко от милого отечества. Исчисли битвы, исчисли раны мои! Не хвалюся: Богу все известно. Ему поручаю себя в надежде на заступление святых и праотца моего, князя Феодора Ярославского... Мы расстались с тобою навеки: не увидишь лица моего до дни Суда Страшного. Но слезы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся и мертвых: убитые тобою живы для Всевышнего: они у престола Его требуют мести! Не спасут тебя воинства; не сделают бессмертным ласкатели, бояре недостойные, товарищи пиров и неги, губители души твоей, которые приносят тебе детей своих в жертву! — Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и явлюся с нею на суд Божий. Аминь. Писано в граде Вольмаре, в области короля Сигизмунда, государя моего, от коего с Божиею помощию надеюсь милости и жду утешения в скорбях».

Иоанн выслушал чтение письма и велел пытать вручителя, чтобы узнать от него все обстоятельства побега, все тайные связи, всех единомышленников Курбского в Москве. Добродетельный слуга, именем Василий Шибанов (сие имя принадлежит истории) не объявил ничего; в ужасных муках хвалил своего отца-господина; радовался мыслию, что за него умирает. Такая великодушная твердость, усердие, любовь, изумили всех и самого Иоанна, как он говорит о том в письме к изгнаннику: ибо царь, волнуемый гневом и внутренним беспокойством совести, немедленно отвечал Курбскому. «Во имя Бога всемогущего (пишет Иоанн), Того, Кем живем и движемся, Кем цари царствуют и Сильные глаголют, смиренный христианский ответ бывшему российскому боярину, нашему советнику и во-

еводе, князю Андрею Михайловичу Курбскому, *восхотевшему быть ярославским владыкою*... Почто, несчастный, губишь свою душу изменою, спасая бренное тело бегством? Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не хотел умереть от меня, строптивого владыки, и наследовать венец Мученика? Что жизнь, что богатство и слава мира сего? суета и тень: блажен, кто смертию приобретает душевное спасение! Устыдися раба своего, Шибанова: он сохранил благочестие пред царем и народом; дав господину обет верности, не изменил ему при вратах смерти. А ты, от единого моего гневного слова, тяготишь себя клятвою изменников; не только себя, но и душу предков твоих: ибо они клялися великому моему деду служить нам верно со всем их потомством. Я читал и разумел твое писание. Яд аспида[1] в устах изменника; слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобою гонения; но ты не уехал бы ко врагу нашему, если бы мы не излишно миловали вас, недостойных! Я иногда наказывал тебя за вины, но всегда легко, и с любовию; а жаловал примерно. Ты в юных летах был воеводою и советником царским; имел все почести и богатство. Вспомни отца своего: он служил в боярах у князя Михаила Кубенского! Хвалишься пролитием крови своей в битвах: но ты единственно платил долг отечеству. И велика ли слава твоих подвигов? Когда хан бежал от Тулы, вы пировали на обеде у князя Григория Темкина, и дали неприятелю время уйти восвояси. Вы были под Невлем с 15 000 и не умели разбить четырех тысяч литовцев. Говоришь о царствах Батыевых, будто бы вами покоренных; разумеешь Казанское (ибо милость твоя не видала Астрахани): но чего нам стоило вести вас к победе? Сами идти не желая, вы безумными словами и в других охлаждали ревность к воинской славе. Когда буря истребила под Казанью суда наши с запасом, вы хотели бежать малодушно — и безвременно требовали решительной битвы, чтобы возвратиться в домы победителями или побежденными, но только скорее. Когда Бог даровал нам город, что вы делали? Грабили! А Ливониею можете ли хвалиться? Ты жил праздно во Пскове, и мы семь раз писали к тебе, писали к князю Петру Шуйскому: *идите на немцев*! Вы с малым числом людей взяли тогда более пятидесяти городов; но своим ли умом и мужеством? Нет, только исполнением, хотя и ленивым, нашего распоряжения. Что ж вы сделали после с своим мудрым начальником Алексеем Адашевым, имея у себя войско многочислен-

---

[1] Аспид — ядовитая змея; злой человек.

ное? едва могли взять Феллин: ушли от Пайды (Вейсенштейна)! Если бы не ваша строптивость, то Ливония давно бы вся принадлежала России. Вы побеждали невольно, действуя как рабы, единственно силою понуждения. Вы, говорите, проливали за нас кровь свою: мы же проливали пот и слезы от вашего неповиновения. Что было отечество в ваше царствование и в наше малолетство? Пустынею от Востока до Запада; а мы, уняв вас, устроили села и грады там, где витали дикие звери. Горе дому, коим владеет жена; горе царству, коим владеют многие! Кесарь Август повелевал вселенною, ибо не делился ни с кем властию: Византия пала, когда цари начали слушаться эпархов, синклитов и попов, братьев вашего Сильвестра». Тут Иоанн описывает уже известные читателю вины бывших своих любимцев и продолжает: «Бесстыдная ложь, что говоришь о наших мнимых жестокостях! Не губим Сильных во Израиле; их кровию не обагряем церквей Божиих: *сильные*, добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников — и где же щадят их? Константин Великий не пощадил и сына своего; а предок ваш, святый князь Феодор Ростиславич, сколько убил христиан в Смоленске? Много опал, горестных для моего сердца; но еще более измен гнусных, везде и всем известных. Спроси у купцов чужеземных, приезжающих в наше государство: они скажут тебе, что твои *предстатели* суть злодеи уличенные, коих не может носить земля Русская. И что такое *предстатели отечества*? Святые ли, боги ли, как Аполлоны, Юпитеры? Доселе владетели российские были вольны, независимы: жаловали и казнили своих подданных без отчета. Так и будет! Уже я не младенец. Имею нужду в милости Божией, Пречистыя Девы Марии и Святых Угодников: наставления человеческого не требую. Хвала Всевышнему: Россия благоденствует; бояре мои живут в любви и согласии: одни друзья, советники ваши, еще во тьме коварствуют. — Угрожаешь мне судом Христовым на том свете: а разве в сем мире нет власти Божией? Вот ересь манихейская! Вы думаете, что Господь царствует только на небесах, Диавол во аде, на земле же властвуют люди: нет, нет! везде Господня держава, и в сей и в будущей жизни. — Ты пишешь, что я не узрю здесь лица твоего *ефиопского*[1]: горе мне! Какое бедствие! — Престол Всевышнего окружаешь ты убиенными мною: вот новая ересь! Никто, по слову апостола, не может видеть Бога. — Положи свою грамоту в могилу с собою: сим докажешь, что и послед-

[1] Лицо ефиопское — черное, злое, дьявольское.

няя искра христианства в тебе угасла: ибо христианин умирает с любовию, с прощением, а не с злобою. — К довершению измены называешь ливонский город Вольмар областию короля Сигизмунда и надеешься от него милости, оставив своего законного, Богом данного тебе властителя. Ты избрал себе государя лучшего! Великий король твой есть раб рабов: удивительно ли, что его хвалят рабы? Но умолкаю: Соломон не велит плодить речей с безумными: таков ты действительно. — Писано нашея Великия России в царствующем граде Москве, лета мироздания 7072, июля месяца в 5 день».

Сие письмо, наполненное изречениями Ветхого и Нового завета, свидетельствами историческими, богословскими толкованиями и грубыми насмешками, составляет целую книгу в подлиннике. Курбский ответствовал на оное с презрением: стыдил Иоанна забвением властительского достоинства, унижаемого языком бранным, суесловием жалким, непристойною смесию Божественных сказаний с ложью и клеветами. «Я невинен и бедствую в изгнании, — говорит он: — добрые жалеют обо мне: следственно не ты! Пождем мало: истина не далеко». Доселе можем осуждать изгнанника только за *язвительность* жалобы и за то, что он наслаждению мести, удовольствию терзать мучителя словами смелыми по-жертвовал добрым, усердным слугою: по крайней мере еще не видим в нем государственного преступника, и не можем верить об-винению, что Курбский хотел будто бы назваться *государем ярославским*. Но, увлеченный страстию, сей муж злополучный лишил себя выгоды быть правым и главного утешения в бедствиях: внутреннего чувства добродетели. Он мог без угрызения совести искать убежища от гонителя в самой Литве: к несчастию, сделал более: пристал ко врагам отечества. Обласканный Сигизмундом, награжденный от него богатым поместьем Ковельским, он предал ему свою честь и душу; советовал, как губить Россию; упрекал короля слабостию в войне; убеждал его действовать смелее, не жалеть казны, чтобы возбудить против нас хана — и скоро услышали в Москве, что 70 000 литовцев, ляхов, прусских немцев, венгров, волохов с изменником Курбским идут к Полоцку; что Девлет-Гирей с 60 000 хищников вступил в Рязанскую область...

Сия последняя весть изумила царя: он ехал тогда на богомолье в Суздаль, всякой день ожидая новой шертной грамоты от хана, который обещал ему и мир и союз. Грамота в самом деле была написана, и посол Иоаннов Афанасий Нагой уже готовился к отъезду из Тавриды; но золото Сигизмундово все переменило:

взяв его, Девлет-Гирей устремился на Россию, беззащитную, как он думал: ибо король писал к нему, что Иоанн со всеми полками на ливонской границе. Обманутый дружелюбными уверениями хана, царь действительно распустил наши полки украинские[1], так что в Рязани, осажденной Девлет-Гиреем, не было ни одного воина, кроме жителей. Она спаслася геройством двух любимцев государевых, боярина Алексея Басманова и сына его Федора, которые, находясь тогда в их богатом поместье на берегу Оки, первые известили царя о неприятеле, первые вооружились с людьми своими, разбили несколько отрядов ханских и засели в Рязани, где ветхие стены падали, но где ревность, неустрашимость сих витязей, вместе с увещаниями епископа Филофея, одушевили граждан редким мужеством. Крымцы приступали днем и ночью без успеха: трупы их лежали грудами под стенами. Действие нашего огнестрельного снаряда[2] не давало им отдыха и в стане. Узнав, что Иоанн в Москве, что воеводы Федоров и Яковлев с царскою дружиною уже стоят на берегу Оки, что из Михайлова, из Дедилова идет к ним войско — что смелые наездники российские везде бьют крымцев, приближаясь к самому их стану — Девлет-Гирей ушел еще скорее, нежели пришел; не дождался и своих отрядов, которые жгли берега Оки и Вожи. За ним не гналися; но ширинский князь его, Мамай, хотев долее грабить в селах Пронских, был разбит и взят в плен с 500 крымцев; на месте легло их более трех тысяч. Чрез 6 дней все затихло: уже не было слуха о крымцах. Иоанн, оставив царицу и детей в Александровской Слободе, выезжал из Москвы к войску, когда Басмановы донесли ему о бегстве неприятеля: личная доблесть и слава сих двух любимцев еще более оживляла его радость: он дал им золотые медали.

Внимание государя обратилось на Полоцк: и там мы торжествовали, к стыду изменника нашего и гордого пана Радзивила, главного воеводы Сигизмундова. Они расположились станом в двух верстах от города, между реками Двиною и Полотою, в надежде, что возьмут его одним страхом или изменою; но воевода полоцкий, князь Петр Щенятев, ответствовал на их предложения выстрелами, а бывший царь казанский Симеон, князья Иван Пронский, Петр и Василий Оболенские-Серебряные спешили из Великих Лук зайти неприятелю в тыл: ибо государь, угадывая

---

[1] Полки украинские — то есть пограничные.

[2] Огнестрельный снаряд — орудие, пушка.

действие советов Курбского, заблаговременно усилил полки свои на сей границе. Радзивил не имел доверенности к Курбскому (такова участь предателей!): вопреки его мнению, опасался битвы, в коей мог быть между двумя огнями; 17 дней стоял праздно; терял людей от выстрелов из крепости — и 4 октября перешел на литовскую сторону Двины. Сего не довольно: воеводы московские, изгнав литовцев, взяли приступом Озерище, и славный победитель Шуйского не сделал ни малейшего движения, чтобы спасти сию важную крепость. — В ту же осень князь Василий Прозоровский отразил литовцев от Чернигова и, взяв знамя пана Сапеги, заслужил царскую милость. Зимою Курбский с 15 000 воинов королевских входил в область Великих Лук; но подвиги его состояли единственно в разорении сел, даже монастырей. «То сделалось против моей воли, — писал он к Иоанну: — нельзя было удержать хищных ратников. Я воевал мое отечество так же, как Давид, гонимый Саулом, воевал землю Израильскую».

К общему распоряжению короля принадлежали и действия воевод его в Ливонии: чтобы способствовать успехам хана и Радзивила, он велел князю Александру Полубенскому и другим своим воеводам идти к Мариенбургу, Дерпту, в область Псковскую. Было несколько дел, довольно важных: в одном храбрый витязь Иоаннов Василий Вешняков разбил неприятеля, а в другом князь Иван Шуйский и меньший Шереметев уступили ему поле битвы. Литовцы не могли овладеть Красным; не могли защитить окрестностей Шмильтена, Вендена, Вольмара, Роннебурга, откуда мужественный воевода Бутурлин вывел 3200 пленников: за что государь прислал к нему золотые медали. Силы литовцев были разделены: они сражались и с нами и с шведами; последние же на сухом пути с ними, а на море с датчанами, за спорную Ливонию, к удовольствию Иоанна, который внутренне смеялся над их усилиями, считая себя единственным ее законным государем.

Иоанн надеялся еще далее распространить пламя войны Ливонской и найти нового, усердного сподвижника против короля Сигизмунда в великом магистре немецком, Вольфганге: ибо сей древний орден, утратив свое бытие в Пруссии, был восстановлен в Германии, более именем и обрядами, нежели духом и характером. Вольфганг писал к царю, что он мыслит с помощию императора завоевать Пруссию, желает союза России, дабы общими силами наступить на Сигизмунда, и шлет послов в Москву: они действительно приехали (в сентябре 1564 года) с письмами от императора Ферди-

нанда и магистра, но единственно для того, чтобы исходатайствовать свободу пленнику, старцу Фирстенбергу: не было слова о союзе и войне. Государь с досадою ответствовал, что магистр ныне говорит одно, а завтра иное; что если Вольфганг отнимет у Сигизмунда Ригу и Венден, то царь пожалует ими Фирстенберга; что императору не будет ответа, ибо он писал к царю не с своим, а с чужими послами.

Таким образом измена Курбского и замысел Сигизмундов потрясти Россию произвели одну кратковременную тревогу в Москве. Но сердце Иоанново не успокоилось, более и более кипело гневом, волновалось подозрениями. Все добрые вельможи казались ему тайными злодеями, единомышленниками Курбского: он видел предательство в их печальных взорах, слышал укоризны или угрозы в их молчании; требовал доносов и жаловался, что их мало: самые бесстыдные клеветники не удовлетворяли его жажде к истязанию. Какая-то невидимая рука еще удерживала тирана: жертвы были пред ними и еще не издыхали, к его изумлению и муке. Иоанн искал предлога для новых ужасов — и вдруг, в начале зимы 1564 года, Москва узнала, что царь едет неизвестно куда, с своими ближними, дворянами, людьми приказными, воинскими, поимянно созванными для того из самых городов отдаленных, с их женами и детьми. 3 декабря, рано, явилось на Кремлевской площади множество саней: в них сносили из дворца золото и серебро, святые иконы, кресты, сосуды драгоценные, одежды, деньги. Духовенство, бояре ждали государя в церкви Успения: он пришел и велел митрополиту служить Обедню; молился с усердием; принял благословение от Афанасия, милостиво дал целовать руку свою боярам, чиновникам, купцам; сел в сани с царицею, с двумя сыновьями, с Алексеем Басмановым, Михайлом Салтыковым, князем Афанасием Вяземским, Иваном Чеботовым, с другими любимцами, и провождаемый целым полком вооруженных всадников, уехал в село Коломенское, где жил две недели за распутьем: ибо сделалась необыкновенная оттепель, шли дожди и реки вскрылись. 17 декабря он с обозами своими переехал в село Тайнинское, оттуда в монастырь Троицкий, а к Рождеству в Александровскую Слободу.— В Москве, кроме митрополита, находились тогда многие святители: они вместе с боярами, вместе с народом, не зная, что думать о государевом необыкновенном, таинственном путешествии, беспокоились, унывали, ждали чего-нибудь чрезвычайного и, без сомнения, не радостного. Прошел месяц.

3 генваря вручили митрополиту Иоаннову грамоту, присланную с чиновником Константином Поливановым. Государь описывал в ней все мятежи, неустройства, беззакония боярского правления во время его малолетства; доказывал, что и вельможи и приказные люди расхищали тогда казну, земли, поместья государевы: радели о своем богатстве, забывая отечество; что сей дух в них не изменился; что они не перестают злодействовать: воеводы не хотят быть защитниками христиан, удаляются от службы, дают хану, Литве, немцам терзать Россию; а если государь, движимый правосудием, объявляет гнев недостойным боярам и чиновникам, то митрополит и духовенство вступаются за виновных, грубят, стужают ему. «Вследствие чего, — писал Иоанн, — не хотя терпеть ваших измен, мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь». — Другую грамоту прислал он к гостям, купцам и мещанам: дьяки Путило Михайлов и Андрей Васильев в собрании народа читали оную велегласно[1]. Царь уверял добрых москвитян в своей милости, сказывая, что опала и гнев его не касаются народа.

Столица пришла в ужас: безначалие казалось всем еще страшнее тиранства. «Государь нас оставил! — вопил народ, — мы гибнем! Кто будет нашим защитником в войнах с иноплеменными? Как могут быть овцы без пастыря?» Духовенство, бояре, сановники, приказные люди, проливая слезы, требовали от митрополита, чтобы он умилостивил Иоанна, никого не жалея и ничего не страшася. Все говорили ему одно: «Пусть царь казнит своих лиходеев: в животе и в смерти воля его; но царство да не останется без главы! Он наш владыка, Богом данный: иного не ведаем. Мы все *с своими головами* едем за тобою *бить челом государю и плакаться*». То же говорили купцы и мещане, прибавляя: «Пусть царь укажет нам своих изменников: мы сами истребим их!» Митрополит немедленно хотел ехать к царю; но в общем Совете положили, чтобы архипастырь остался блюсти столицу, которая была в неописанном смятении. Все дела пресеклись; суды, приказы, лавки, караульни опустели. Избрали главными послами святителя новгородского Пимена и чудовского архимандрита Левкия; но за ними отправились и все другие епископы: Никандр Ростовский, Елевферий Суздальский, Филофей Рязанский, Матфей Крутицкий, архимандриты Троицкий, Симоновский, Спасский,

---

[1] Велегласно — громко, звучно.

Андрониковский; за духовенством вельможи, князья Иван Дмитриевич Бельский, Иван Федорович Мстиславский, — все бояре, окольничие, дворяне и приказные люди, прямо из палат митрополитовых, не заехав к себе в домы; также и многие гости, купцы, мещане, чтобы *ударить челом государю и плакаться.*

Святители остановились в Слотине, послав доложить о себе Иоанну: он велел им ехать в Александровскую Слободу с приставами и 5 генваря впустил их во дворец. Сказав царю благословение от митрополита, епископы слезно молили его снять опалу с духовенства, с вельмож, дворян, приказных людей, не оставлять государства, царствовать и действовать, как ему угодно; молили наконец, чтобы он дозволил боярам видеть очи царские. Иоанн впустил и бояр, которые с таким же умилением, с такою же силою убеждали царя сжалиться над Россиею, возвеличенною его победами и мудрыми уставами, славною мужеством ее народа многочисленного, богатою сокровищами природы, еще славнейшею благоверием. «Когда, — сказали вместе и духовные и государственные сановники, — когда ты не уважаешь мирского величия и славы, то вспомни, что, оставляя Москву, оставляешь святыню храмов, где совершились чудеса Божественной к тебе милости, где лежат целебные мощи Угодников Христовых. Вспомни, что ты блюститель не только государства, но и церкви: первый, единственный монарх православия! Если удалишься, кто спасет истину, чистоту нашей Веры? Кто спасет миллионы душ от погибели вечной?» — Царь ответствовал с своим обыкновенным многоречием: повторил все известные упреки боярам в их своевольстве, нерадении, строптивости; ссылался на историю: доказывал, что они издревле были виновниками кровопролития, междоусобия в России, издревле врагами державных наследников Мономаховых: хотели (обвинение новое!) извести царя, супругу, сыновей его... Бояре безмолвствовали. «Но, — продолжал царь, — для отца моего митрополита Афанасия, для вас, богомольцев наших, архиепископов и епископов, соглашаюсь паки *взять свои государства*; а на каких условиях, вы узнаете». Условия состояли в том, чтобы Иоанну невозбранно казнить изменников, опалою, смертию, лишением достояния, без всякого стужения, без всяких претительных докук со стороны духовенства. В сих десяти словах Иоанн изрек гибель многим боярам, которые пред ним стояли: казалось, что никто из них не думал о своей жизни; хотели единственно возвратить царя царству — и все со слезами благодарили, славили Иоаннову милость, вельмо-

жи и духовенство, у коего отнимал государь древнее, святое право ходатайствовать не только за невинных, но и за виновных, еще достойных милосердия! — Грозный владыка, как бы смягченный смирением обреченных жертв, велел святителям праздновать с ним Богоявление; удержал в слободе князей Бельского и Щенятева, а других бояр вместе с дьяками отпустил в Москву, чтобы дела не остановились в приказах.

Москва с нетерпением ждала царя, и долго; говорили, что он занимается тайным делом с людьми ближними; угадывали оное не без боязни. Наконец, 2 февраля, Иоанн торжественно въехал в столицу и на другой день созвал духовенство, бояр, знатнейших чиновников. Вид его изумил всех. Опишем здесь наружность Иоаннову. Он был велик ростом, строен; имел *высокие* плечи, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос римский, глаза небольшие, серые, но светлые, проницательные, исполненные огня, и лицо некогда приятное. В сие время он так изменился, что нельзя было узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость; все черты исказились; взор угас; а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса, от неизъяснимого действия ярости, которая кипела в душе его. Снова исчислив вины бояр и подтвердив согласие остаться царем, Иоанн много рассуждал о должности венценосцев блюсти спокойствие держав, брать все нужные для того меры — о кратковременности жизни, о необходимости видеть далее гроба, и предложил устав *опричнины*; имя, дотоле неизвестное! Иоанн сказал, что он для своей и государственной безопасности учреждает особенных телохранителей. Такая мысль никого не удивила: знали его недоверчивость, боязливость, свойственную нечистой совести; но обстоятельства удивили, а следствия привели в новый ужас Россию. 1) Царь объявлял своею собственностию города Можайск, Вязьму, Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин, Ярославец, Суходровью, Медынь, Суздаль, Шую, Галич, Юрьевец, Балахну, Вологду, Устюг, Старую Русу, Каргополь, Вагу, также волости Московские и другие с их доходами; 2) выбирал 1000 телохранителей из князей, дворян, детей боярских и давал им поместья в сих городах, а тамошних вотчинников и владельцев переводил в иные места; 3) в самой Москве взял себе улицы Чертольскую, Арбатскую с Сивцовым Врагом, половину Никитской с разными слободами, откуда надлежало выслать всех дворян и приказных людей, не записанных в царскую тысячу; 4) назначил *особенных* сановников для услуг

своих: дворецкого, казначеев, ключников, даже поваров, хлебников, ремесленников; 5) наконец, как бы возненавидев славные воспоминания Кремлевские и священные гробы предков, не хотел жить в великолепном дворце Иоанна III: указал строить новый за Неглинною, между Арбатом и Никитскою улицею, и подобно крепости оградить высокою стеною. Сия часть России и Москвы, сия тысячная дружина Иоаннова, сей новый двор, как отдельная собственность царя, находясь под его непосредственным ведомством, были названы *опричниною*, а все остальное — то есть все государство — *земщиною*, которую Иоанн поручал *боярам земским*, князьям Бельскому, Мстиславскому и другим, велев старым государственным чиновникам — конюшему, дворецкому, казначеям, дьякам — сидеть в их приказах, решить все дела гражданские, а в важнейших относиться к боярам, коим дозволялось в чрезвычайных случаях, особенно по ратным делам, ходить с докладом к государю. То есть Иоанн по-видимому желал как бы удалиться от царства, стеснив себя в малом кругу частного владетеля, и в доказательство, что *государево* и *государственное* уже не одно знаменуют в России, требовал себе из казны земской 100 000 рублей за издержки его путешествия от Москвы до Слободы Александровской! — Никто не противоречил: воля царская была законом. Обнародовали новое учреждение.

4 февраля Москва увидела исполнение *условий*, объявленных царем духовенству и боярам в Александровской Слободе. Начались казни мнимых изменников, которые будто бы вместе с Курбским умышляли на жизнь Иоанна, покойной царицы Анастасии и детей его. Первою жертвою был славный воевода князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, потомок Св. Владимира, Всеволода Великого и древних князей суздальских, знаменитый участник в завоевании Казанского царства, муж *ума глубокого*, искусный в делах ратных, ревностный друг отечества и христианин. Ему надлежало умереть вместе с сыном, Петром, семнадцатилетним юношею. Оба шли к месту казни без страха, спокойно, держа друг друга за руку. Сын не хотел видеть казни отца, и первый склонил под меч свою голову: родитель отвел его от плахи, сказав с умилением: «да не зрю тебя мертвого!» Юноша уступил ему первенство, взял отсеченную голову отца, поцеловал ее, взглянул на небо и с лицом веселым отдал себя в руки палача. Шурин Горбатого Петр Ховрин (родом грек), окольничий Головин, князь Иван Сухой-Кашин, и кравчий, князь Петр Иванович Горенский, были

казнены в тот же день; а князь Дмитрий Шевырев посажен на кол; пишут, что сей несчастный страдал целый день, но, укрепляемый верою, забывал муку и пел канон Иисусу. Двух бояр, князей Ивана Курадкина и Дмитрия Немого, постригли; у многих дворян и детей боярских отняли имение; других с семействами сослали в Казань. — Один из знатнейших вельмож, ближний родственник добродетельной царицы Анастасии, боярин и воевода Иван Петрович Яковлев, также навлек на себя опалу; но Иоанн в самом ожесточении еще любил хвалиться милосердием: простив Яковлева, взял с него клятвенную грамоту, утвержденную подписями святителей, в том, чтобы не уходить ему из России ни в Литву, ни к папе, ни к императору, ни к султану, ни к князю *Владимиру Андреевичу*, и не иметь с ним никаких тайных сношений. Мы упоминали о ссылке первостепенного боярина, славного воеводы, князя Михаила Воротынского: лишенный имения, он года четыре жил на Белеозере, получая от государевой казны около 100 рублей ежегодно, сверх запаса вин, плодов иноземных, одежды, белья. Наконец Иоанн возвратил сего знаменитого изгнанника ко двору, в Думу: сделал наместником казанским и *державцем*[1] новосильским, обязав его в верности такою же грамотою, как и Яковлева, с прибавлением, что митрополит и епископы были их ходатаями. Не велев духовенству вступаться за опальных, царь желал польстить ему сим милостивым словом. Но ходатаев уже не было! Духовенство могло только слезами орошать алтари и воссылать теплые молитвы к Богу о спасении несчастных! — Другие бояре — Лев Андреевич Салтыков, князья Василий Серебряный, Иван Охлябинин, Захария Очин-Плещеев—долженствовали представить за себя ручателей в неизменной службе государю; а в случае их бегства ручатели (не только именитые сановники, но и купцы) обязывались внести знатную сумму денег в казну: например, за князя Серебряного 25 000 рублей или около полумиллиона нынешних. Предосторожность бесполезная и постыдная для государя; но сей государь был тиран!

После казней Иоанн занялся образованием своей новой дружины. В совете с ним сидели Алексей Басманов, Малюта Скуратов, князь Афанасий Вяземский, и другие любимцы. К ним приводили молодых детей боярских, отличных не достоинствами, но так называемым удальством, распутством, готовностию на все. Иоанн

[1] Д е р ж а в е ц — правитель.

предлагал им вопросы о роде их, о друзьях и покровителях: требовалось именно, чтобы они не имели никакой связи с знатными боярами; неизвестность, самая низость происхождения вменялась им в достоинство. Вместо тысячи, царь избрал 6000, и взял с них присягу служить ему верою и правдою, доносить на изменников, не дружиться с *земскими* (то есть со всеми, не записанными в опричнину), не водить с ними хлеба-соли, не знать ни отца, ни матери, знать единственно государя. За то государь дал им не только земли, но и домы и всю движимую собственность старых владельцев (числом 12 000), высланных из пределов опричнины с голыми руками, так что многие из них, люди заслуженные, израненные в битвах, с женами и детьми шли зимою пешком в иные отдаленные, пустые поместья. Самые земледельцы были жертвою сего несправедливого учреждѐния: новые дворяне, которые из нищих сделались большими господами, хотели пышностию закрасить свою подлость, имели нужду в деньгах, обременяли крестьян налогами, трудами: деревни разорились. Но сие зло казалось еще маловажным в сравнении с другим. Скоро увидели, что Иоанн предает всю Россию в жертву своим опричным: они были всегда правы в судах, а на них не было ни суда, ни управы. Опричник или *кромешник* — так стали называть их, как бы извергов тьмы *кромешней** — мог безопасно теснить, грабить соседа, и в случае жалобы брал с него пеню за бесчестье. Сверх многих иных злодейств, к ужасу мирных граждан, следующее вошло в обыкновение: слуга опричника, исполняя волю господина, с некоторыми вещами прятался в доме купца или дворянина; господин заявлял его мнимое бегство, мнимую кражу; требовал в суде пристава, находил своего беглеца с поличным и взыскивал с невинного хозяина пятьсот, тысячу или более рублей. Не было снисхождения: надлежало или немедленно заплатить, или идти на правеж**: то есть неудовлетворенному истцу давалось право вывести должника на площадь и сечь его всенародно до заплаты денег. Иногда опричник сам подметывал что-нибудь в богатую лавку, уходил, возвращался с приставом, и за сию будто бы украденную у него вещь разорял купца; иногда, схватив человека на улице, вел его в суд, жалуясь на вымышленную обиду, на вымышленную брань: ибо ска-

* В самом деле *кромешник* то же, что *опричник*, от слова *кроме*, опричь. (IX, 148.)

** Устав *правежа*, или взыск с истязанием, древнее времен Иоанновых, но не Батыевых. (IX, 149.)

зать неучтивое слово кромешнику значило оскорбить самого царя; в таком случае невинный спасался от телесной казни тягостною денежною пенею. Одним словом, люди земские, от дворянина до мещанина, были безгласны, безответны против опричных; первые были *ловом*, последние *ловцами*, и единственно для того, чтобы Иоанн мог надеяться на усердие своих разбойников-телохранителей в новых, замышляемых им убийствах. Чем более государство ненавидело опричных, тем более государь имел к ним доверенности: сия общая ненависть служила ему залогом их верности. — Затейливый ум Иоаннов изобрел достойный символ для своих ревностных слуг: они ездили всегда с *собачьими головами* и *с метлами*, привязанными к седлам, в ознаменование того, что *грызут* лиходеев царских и *метут* Россию!

Хотя новый дворец уподоблялся неприступной крепости, но Иоанн не считал себя и в нем безопасным: по крайней мере не взлюбил Москвы и с сего времени жил большею частию в Слободе Александровской, которая сделалась городом, украшенная церквами, домами, лавками каменными. Тамошний славный храм Богоматери сиял снаружи разными цветами, серебром и золотом: на всяком кирпиче был изображен крест. Царь жил в больших палатах, обведенных рвом и валом; придворные, государственные, воинские чиновники в особенных домах. Опричники имели свою улицу; купцы также. Никто не смел ни въехать, ни выехать оттуда без ведома Иоаннова: для чего в трех верстах от *Слободы*, прозванной *Неволею*[1], обыкновенно стояла воинская стража. — В сем грозно-увеселительном жилище, окруженном темными лесами, Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною набожною деятельностью успокоивать душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал *братиею*, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом*; дал им *тафьи*, или скуфейки[2], и черные рясы, под коими носили они богатые золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою; сочинил для них устав монашеский, и служил примером в исполнении

[1] Слобода, прозванная Неволею. — Игра слов: «слобода» и «свобода» есть одно слово, пишет Карамзин в примечаниях. (IX, 152.)

* Сим греческим именем назывались у нас в монастырях пономари. (IX, 153.)

[2] Скуфейка — ало-синяя бархатная шапочка, знак отличия белого духовенства (т. е. не монахов).

онаго. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову: в четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и с Малютою Скуратовым благовестить к заутрене; братья спешили в церковь; кто не являлся, того наказывали осьмидневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В 8 часов опять собирались к обедне, а в 10 садились за братскую трапезу, все, кроме Иоанна, который стоя читал вслух душеспасительные наставления. Между тем братья ели и пили досыта; всякой день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен — то есть царь — обедал после; беседовал с любимцами о Законе; дремал или ехал в темницу пытать какого-нибудь несчастного. Казалось, что сие ужасное зрелище забавляло его: он возвращался с видом сердечного удовольствия; шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного. В 8 часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил в спальню, где трое слепых, один за другим, рассказывали ему сказки: он слушал их и засыпал, но не надолго: в полночь вставал — и день его начинался молитвою! Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных; иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или обедни! Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми *объездами*: посещал монастыри, и ближние и дальние; осматривал крепости на границе; ловил диких зверей в лесах и пустынях; любил в особенности медвежью травлю; между тем везде и всегда занимался делами: ибо земские бояре, мнимо уполномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли. Когда приезжали к нам знатные послы иноземные, Иоанн являлся в Москве с обыкновенным великолепием и торжественно принимал их в новой Кремлевской палате, близ церкви Св. Иоанна; являлся там и в других важных случаях, но редко. Опричники, блистая в своих златых одеждах, наполняли дворец, но не заграждали пути к престолу и старым боярам: только смотрели на них спесиво, величаясь как подлые рабы в чести недостойной.

Кроме сих любимцев, Иоанн удивительным образом честил тогда некоторых ливонских пленников. В июне 1565 года, обвиняя дерптских граждан в тайных сношениях с бывшим магистром, он вывел оттуда всех немцев и сослал в Владимир, Углич, Кострому, Нижний Новгород с женами и детьми; но дал им при-

стойное содержание и христианского наставника дерптского пастора Веттермана, который мог свободно ездить из города в город, чтобы утешать их в печальной ссылке: царь отменно уважал сего добродетельного мужа и велел ему разобрать свою библиотеку, в коей Веттерман нашел множество редких книг, привезенных некогда из Рима, вероятно царевною Софиею. Немцы Эберфельд, Кальб, Таубе, Крузе вступили к нам в службу, и хитрою лестию умели вкрасться в доверенность к Иоанну. Уверяют даже, что Эберфельд склонял его к принятию Аугсбургского исповедания, доказывая ему, словесно и письменно, чистоту оного! По крайней мере царь дозволил лютеранам иметь церковь в Москве и взыскал важную денежную пеню с митрополита за какую-то обиду, сделанную им одному из сих иноверцев; хвалил их обычаи, славился своим германским происхождением*, хотел женить сына на княжне немецкой, а дочь выдать за немецкого князя, дабы утвердить дружественную связь с империею. В искренних беседах он жаловался чужестранным любимцам на бояр, на духовенство, и не таил мысли искоренить первых, чтобы царствовать свободнее, безопаснее с дворянством новым, или с опричниною, ему преданною: ибо она видела в нем своего отца и благодетеля, а бояре жалели о временах Адашевских, когда им была свобода, а царю неволя (так говорил Иоанн)! Естественно не любя России, страшной для соседственных держав, и желая только угождать царю, иноземцы без сомнения не думали выводить его из мрачного заблуждения и гневить смелым языком истины; могли даже с тайным удовольствием видеть сию бурю, которая сокрушала главные столпы великой монархии: ибо царь губил лучших воевод своих, лучших советников государственных. Иноземцы молчали, или, вопреки совести, хвалили тирана. Знаменитые россияне, лишаемые свободного доступа к государю, ознаменованные как бы презрительным именем *земских*, нагло оскорбляемые неистовыми кромешниками, угрожаемые опалою, казнию без вины, также молчали, вместе с духовенством. Но когда старец митрополит Афанасий, изнуренный тяжкою болезнью, а может быть и душев-

---

* ...Флетчер пишет следующее: «Иоанн, велев одному английскому золотарю сделать для него блюдо и хорошенько взвесить отданный ему слиток сего металла, примолвил: *не верь моим русским: они все воры*. Англичанин улыбнулся: царь хотел знать причину. Если угодно Вашему Величеству (сказал золотых дел мастер), то не скрою от вас мысли моей: называя всех русских ворами, забываете, что и вы сами принадлежите к их числу. Нет, отвечал Иоанн: *я не русский: мои предки были немцы*»... (IX, 166.)

ною горестию, оставил (в 1566 г.) митрополию: тогда явился муж смелый добродетелию и ревностною любовию к отечеству, который подобно Сильвестру предприял исправить царя, но, менее счастливый, мог только умереть за царство в венце мученика.

Изъявляя усердие ко благу церкви, Иоанн хотел дать ей пастыря, отличного христианскими достоинствами. Выбор пал сперва на архиепископа казанского Германа, который долго уклонялся от сана опасного в таких обстоятельствах России и при таком царе, но должен был, исполняя решительную волю его, согласиться. Уже все епископы съехалися в Москву; уже написали грамоту избирательную, и Герман несколько дней жил в палатах митрополитских, готовясь к посвящению. В сие время, беседуя с Иоанном наедине, он хотел испытать его сердце: начал говорить с ним, как должно первосвятителю, о грехах и христианском покаянии, тихо, скромно, однако ж с некоторою силою; упомянул о смерти, о Страшном Суде, о вечной муке злых. Иоанн задумался; вышел от него с лицом мрачным, пересказал любимцам своим речи архиепископа и спрашивал, что они думают? Алексей Басманов ответствовал: «Думаем, государь, что Герман желает быть вторым Сильвестром: ужасает твое воображение и лицемерит в надежде овладеть тобою; но спаси нас и себя от такого архипастыря!» Германа изгнали из палат, и царь искал другого первосвятителя.

Среди хладных волн Белого моря, на острове Соловецком, в пустыне дикой, но знаменитой в России святостию своих первых тружеников Савватия и Зосимы сиял добродетелями игумен Филипп, сын боярина Колычова, возненавидев суету мира в самых цветущих летах юности, и служа примером строгой жизни для иноков-отшельников. Государь слышал о Филиппе: дарил его монастырю сосуды драгоценные, жемчуг, богатые ткани, земли, деревни; помогал ему деньгами в строении каменных церквей, пристаней, гостиниц, плотин: ибо сей игумен был не только мудрым наставником братии, но и деятельным хозяином острова, дотоле дикого, неприступного: очистил леса, продолжил дороги, осушил болота каналами; завел оленей, домашний скот, рыбные ловли, соляные варницы; украсил, сколько мог, пустыню; смягчил суровость климата: сделал воздух благораствореннее. Бессмертный Сильвестр кончил дни свои в монастыре Соловецком, любимый, уважаемый Филиппом. Вероятно, что они вместе сетовали о перемене Иоаннова нрава; вероятно, что первый открывал игумену свою душу, некогда блаженную исправлением юного царя, устрой-

ством и счастием царства: сии беседы могли приготовить Филиппа к великому его подвигу, хотя он, ревностию труженика удаленный на *край вселенныя*, и не мог ожидать такой славы. Никто, без сомнения, не мыслил об нем, кроме Иоанна: отвергнув Германа, царь вздумал — мимо святителей, мимо всех архимандритов — возвести Филиппа на митрополию, желая изъявить тем свое особенное уважение к христианским добродетелям, и показать, что самые отдаленные пустыни не скрывают их от глаз его. Филипп, царскою милостивою грамотою призываемый в Москву для *совета духовного*, отслужил Литургию, причастил всю братию, и со слезами выехал из своей любимой обители, как бы предчувствуя, что одно мертвое тело его туда возвратится. За три версты от Новагорода встретили смиренного соловецкого игумена все жители сей древней столицы с приветствием, с дарами и с молением, да ходатайствует за них пред троном: ибо носился слух, что Иоанн угрожает им гневом. Царь принял Филиппа с отменною честию, обедал, беседовал с ним дружелюбно, и наконец объявил, что ему быть митрополитом. Пустынный инок изумился, плакал, не хотел сей блестящей тягости; убеждал его не *вверять бремени великого ладии малой*. Царь был непреклонен. Тогда Филипп предложил условие; сказал царю: «Повинуюся твоей воле; но умири же совесть мою: да не будет опричнины! да будет только единая Россия! ибо всякое разделенное царство, по глаголу Всевышнего, запустеет. Не могу благословлять тебя искренно, видя скорбь отечества». Иоанн имел власть над собою: остановил движение гнева в сердце своем; ответствовал тихо: «Разве не знаешь, что мои хотят поглотить меня; что ближние готовят мне гибель?» — и доказывал необходимость сего учреждения; но скоро выведенный из терпения смелыми возражениями старца, велел ему умолкнуть. Все думали, что Филипп, подобно Герману, будет удален с бесчестием: увидели противное. Иоанн на сей раз не хотел дать ему славы гонимого за добродетель: желал склонить его к безмолвию, явить слабым в глазах России, сделать как бы соучастником в новых правилах своего царствования. Главные пастыри церковные служили для того орудием. Повинуясь воле Иоанновой, они убеждали Филиппа принять сан митрополита без всякого условия, думать единственно о благе церкви, не гневить государя дерзостию, но утолить гнев его и пременить в милосердие кротостию; доказывали, что мнимая твердость Филиппова в сем случае будет действием гордости, несогласной с духом истинного слуги Христова;

что долг святителя есть молиться и наставлять царя единственно во спасении души, а не в делах царства. Некоторые из святителей внутренне одобряли Филиппову смелость, но сами не имели ее; другие — именно Пимен Новогородский, Филофей Рязанский — искали мирской чести и раболепствовали страстям Иоанновым. Убеждения их поколебали Филиппа, не устрашенного царским гневом, не ослепленного блеском архипастырства, как доказало следствие, но, может быть, смятенного мыслию отвергнуть сей верховный сан действительно по внушению тайной гордости, по упрямству и недоверенности к Провидению, которое властвует над царями и не дает им выступать за черту Его вышних уставов, без сомнения мудрых, хотя и неизъяснимых для ума человеческого. Филипп ответствовал: «Да будет, что угодно государю и церковным пастырям!»

Написали грамоту, в коей сказано, что новый, избираемый митрополит дал слово архиепископам и епископам не вступаться в опричнину государеву и не оставлять митрополии под тем предлогом, что царь не исполнил его требования и запретил ему мешаться в дела мирские. Святители утвердили сию хартию своими подписями, и Филипп, заявленный враг опричнины, был немедленно возведен на митрополию, к общему удовольствию народа, к досаде развратных любимцев Иоанновых. Казалось, что государь одержал счастливую победу над собою, воздав честь добродетели. Митрополит уступил, но обнаружив свою важную мысль: россияне узнали, чего он желает, и могли надеяться на будущее, имея такого первосвятителя. Все добрые слушали с восторгом приветственную речь нового митрополита к Иоанну, истинно пастырскую: о долге державных быть отцами подданных, блюсти справедливость, уважать заслуги; о гнусных льстецах, которые теснятся к престолу, ослепляют ум государей, служат их страстям, а не отечеству, хвалят достойное хулы, порицают достохвальное; о тленности земного величия; о победах *невооруженной любви*, которые приобретаются государственными благодеяниями и еще славнее *побед ратных*. Казалось, что сам Иоанн внимал с умилением гласу наставника, уже давно молчавшему в сем храме, что сей некогда любезный для него глас напомнил ему время счастливое и дал вкусить сладость, им забвенную. — Первые дни и месяцы протекли в мире, в надеждах для столицы. Затихли жалобы на кромешников: чудовище вздремало. Царь ласкал митрополита; а сей добродетельный старец, как бы опасаясь

забыть Соловецкую пустыню и строгий обет своей юности, начал строить в Москве церковь во имя ее святых Зосимы и Савватия.

Но сия тишина, действие или угрызений совести или притворства Иоаннова, была предтечею новой бури. Тиран из Слободского вертепа своего свирепо глядел на Москву. Хотев удивить Россию избранием митрополита, о коем никто не думал, Иоанн не замедлил увидеть в нем орудие ненавистных бояр; уверял себя, что они внушили ему мысль требовать уничтожения опричнины и возмущают народ против сей царской дружины: ибо кромешники, посылаемые в столицу для наблюдений, доносили, что граждане бегают от них как от язвы, на улицах и площадях; что все безмолвствует, где явится опричник. В воображении Иоанна составились ковы[1] и заговоры: надлежало открыть, доказать их — и следующее происшествие служило поводом к новым убийствам [1567 г.]. Главным боярам московским, князьям Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому, конюшему Ивану Петровичу Федорову, тайно вручили грамоты, подписанные королем Сигизмундом и литовским гетманом Хоткевичем: король и гетман убеждали их оставить царя жестокого, звали к себе, обещали им уделы; напоминали двум первым, что они литовского роду: третьему, что он был некогда владетельным князем; а конюшему Федорову, что царь уже давал ему чувствовать гнев свой в разных случаях. Бояре, представив сии грамоты Иоанну, ответствовали королю, что склонять верных подданных к измене есть дело бесчестное; что они умрут за царя доброго, ужасного для одних злодеев; что если король желает вызвать их из России, то пусть отдаст им всю Литву, Галицию, Пруссию, Жмудь, Белоруссию, Волынскую и Подольскую земли. Федоров писал к Сигизмунду: «Как мог ты вообразить, чтобы я, занося ногу во гроб, вздумал погубить душу свою гнусною изменою? Что мне у тебя делать? Водить полков твоих я не в силах, пиров не люблю, веселить тебя не умею, пляскам вашим не учился». В письме к гетману Хоткевичу он прибавил: «Чем можете обольстить меня? Я богат и знатен. Угрожаешь мне гневом царя: вижу от него только милости». Сам Иоанн взялся, как вероятно, доставить королю сии ответы, писанные одним слогом; но доставил ли, неизвестно: по крайней мере, любя всегда упрекать Сигизмунда кознями, нигде в сношениях с Литвою не упоминает о таком бесчестном, неосторожном подмане наших вельмож. Если

[1] Ковы — коварное намерение, злоумышление.

государь составлением мнимых королевских грамот испытывал верность бояр своих, то она сим случаем была доказана в его глазах, но не в глазах России: гражданин, дающий врагам надежду склонить его к измене, уже омрачается какою-то подозрительною тению. На сей раз князья Бельский, Мстиславский, Воротынский, уцелели; но Федоров, муж старых обычаев, украшенный воинскою славою и сединою государственной опытности, быв 19 лет в знатном сане конюшего и начальника казенного приказа, вельможа щедрый, пышный, сделался предметом клеветы. Еще он ревностно служил царю, доживая век свой с супругою *святою*, не имея детей, и готовился дать отчет Судии вышнему, когда земный судия объявил его главою заговорщиков, поверив или вымыслив, что сей ветхий старец думает свергнуть царя с престола и властвовать над Россиею. Иоанн спешил разрушить мнимый ужасный заговор: в присутствии всего двора, как пишут, надел на Федорова царскую одежду и венец, посадил его на трон, дал ему державу в руку, снял с себя шапку, низко поклонился и сказал: «Здрав буди, великий царь земли Русския! Се приял ты от меня честь, тобою желаемую! Но имея власть сделать тебя царем, могу и низвергнуть с престола!» Сказав, ударил его в сердце ножом: опричники дорезали старца, извлекли обезображенное тело из дворца, бросили псам на снедение; умертвили и престарелую жену конюшего Марию. Потом казнили всех мнимых единомышленников невинного: князей Ивана Адреевича Куракина-Булгакова, Дмитрия Ряполовского (мужественного воина, одержавшего многие победы над крымцами), и трех князей ростовских. Один из них воеводствовал в Нижнем Новегороде: присланные из Москвы кромешники, числом тридцать, нашли его там стоящего в церкви и сказали: «Князь Ростовский! велением государя ты наш узник». Воевода, бросив на землю властительскую булаву свою, спокойно отдался им в руки. Его раздели, повезли обнаженного и в двадцати верстах, на берегу Волги, остановились: он спросил хладнокровно, зачем? «Поить коней», — ответствовали кромешники. «Не коням (сказал несчастный), а мне пить сию воду, и не выпить!» Ему в то же мгновение отсекли голову; тело кинули в реку, а голову положили к ногам Иоанна, который, оттолкнув ее, злобно смеялся и говорил, что сей князь, любив обагряться кровию неприятелей в битвах, наконец обагрился и собственною. Князь Петр Щенятев, знаменитый полководец, думал укрыться от смерти в монастыре: отказался от света, от имения, от супруги и детей: но убийцы на-

шли его в келии и замучили: жгли на сковороде (как повествует Курбский), вбивали ему иглы за ногти. Князь Иван Турунтай-Пронский, седой старец, служил еще отцу Иоаннову, участвовал во всех походах, во всех битвах, славнейших для России, и также хотел быть, наконец, монахом: его утопили. Казначея государева именем Хозяина Юрьевича Тютина, славного богатством, рассекли на части вместе с женою, с двумя сыновьями-младенцами, с двумя юными дочерьми: сию казнь совершил князь Михайло Темгрюкович Черкасский, брат царицы! Так же истерзали и печатника, или думского дьяка, Казарина Дубровского. Многих других именитых людей умертвили, когда они, ничего не ведая, шли спокойно или в церковь, или в свои приказы. Опричники, вооруженные длинными ножами, секирами, бегали по городу, искали жертв, убивали всенародно, человек десять или двадцать в день; трупы лежали на улицах, на площадях; никто не смел погребать их. Граждане боялись выходить из домов. В безмолвии Москвы тем страшнее раздавался свирепый вопль палачей царских.

Безмолвствовал и добродетельный митрополит для граждан и бояр отчаянных[1]; но Бог видел его сердце, а царь слышал тайные увещания, самые жестокие укоризны, к несчастию бесполезные: убегал, не хотел видеть его. Добрые вельможи приходили к Филиппу, рыдали, указывали ему на окровавленные стогны: он утешал горестных именем Отца Небесного; дал им слово не щадить своей жизни для спасения людей, и сдержал оное.

Однажды [1568 г.], в день воскресный, в час обедни, Иоанн, провождаемый некоторыми боярами и множеством опричников, входит в Соборную церковь Успения: царь и вся дружина его были в черных ризах, в высоких шлыках. Митрополит Филипп стоял в церкви на своем месте: Иоанн приближился к нему и ждал благословения. Митрополит смотрел на образ Спасителя, не говоря ни слова. Наконец бояре сказали: «Святый владыко! се государь: благослови его!» Тут, взглянув на Иоанна, Филипп ответствовал: «В сем виде, в сем одеянии странном не узнаю царя православного; не узнаю и в делах царства... О государь! Мы здесь приносим жертвы Богу, а за олтарем льется невинная кровь христианская. Отколе солнце сияет на небе, не видано, не слыхано, чтобы цари благочестивые возмущали собственную державу столь ужасно! В самых неверных, языческих царствах есть закон и

---

[1] Отчаянный – отчаявшийся.

правда, есть милосердие к людям — а в России нет их! Достояние и жизнь граждан не имеют защиты. Везде грабежи, везде убийства и совершаются именем царским! Ты высок на троне; но есть Всевышний, Судия наш и твой. Как предстанешь на суд Его? обагренный кровию невинных, оглушаемый воплем их муки? ибо самые камни под ногами твоими вопиют о мести!.. Государь! вещаю яко пастырь душ. Боюся Господа единого!» Иоанн трепетал от гнева: ударил жезлом о камень и сказал голосом страшным: «Чернец! Доселе я излишно щадил вас, мятежников: отныне буду, каковым меня нарицаете!» — и вышел с угрозою. — На другой день были новые казни. В числе знатных погиб князь Василий Пронский. Всех главных сановников митрополитовых взяли под стражу, терзали, допрашивали о тайных замыслах Филипповых, и ничего не сведали. Еще не смел Иоанн возложить руку на самого первосвятителя, любимого, чтимого народом более, нежели когда-нибудь; готовил ему удар, но имел терпение — и между тем что делал?

Так пишут очевидцы: в июле месяце 1568 года, в полночь, любимцы Иоанновы князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Василий Грязной с царскою дружиною вломились в домы ко многим знатным людям, дьякам, купцам; взяли их жен, известных красотою, и вывезли из города. Вслед за ними, по восхождении солнца, выехал и сам Иоанн, окруженный тысячами кромешников. На первом ночлеге ему представили жен: он избрал некоторых для себя, других уступил любимцам, ездил с ними вокруг Москвы, жег усадьбы бояр опальных, казнил их верных слуг, даже истреблял скот, особенно в коломенских селах убитого конюшего Федорова; возвратился в Москву и велел ночью развезти жен по домам: некоторые из них умерли от стыда и горести.

Убегая митрополита, царь однако ж видал его в церкви. В день Свв. апостолов Прохора и Никанора, 28 июля, Филипп служил в Новодевичьем монастыре и ходил по стене с крестами: тут был и царь с опричниками, из коих один шел за ним в *тафье*. Митрополит, увидев сие бесчиние, остановился и с негодованием сказал о том государю; но опричник уже спрятал свою тафью. Царя уверили, что Филипп выдумал сказку, желая возбудить народ против любимцев государевых. Иоанн забыл всю пристойность: торжественно ругал митрополита, называл лжецом, мятежником, злодеем; клялся, что уличит его во всем — и приступил к делу по совету с коварным духовником своим, благовещенским протоиереем Евста-

фием, тайным Филипповым ненавистником. Немедленно отправились в Соловки епископ суздальский Пафнутий, архимандрит андрониковский Феодосий и князь Василий Темкин, прежде воин именитый, тогда ревностный слуга тиранства, подобно Басмановым и другим. Надлежало ли так далеко искать клеветников гнусных? Но царь хотел омрачить добродетель в самом ее светлом источнике; где Филипп прославился ею, там открыть его мнимое лицемерие и нечистоту душевную: сия мысль казалась Иоанну искусною хитростию. Послы царские то ласкали, то ужасали монахов соловецких, требуя, чтобы они бесстыдно лгали на своего бывшего игумена: все говорили, что Филипп свят делами и сердцем; но сыскался один, который дерзнул утверждать противное: их глава, игумен Паисий, в надежде сделаться епископом. Изобрели доносы, улики, представили Иоанну, и велели митрополиту явиться на суд. Царь, святители, бояре сидели в молчании. Игумен Паисий стоял и клеветал на святого мужа с неслыханною дерзостию. Вместо оправдания бесполезного, митрополит тихо сказал Паисию, что злое сеяние не принесет ему плода вожделенного; а царю: «Государь, великий князь! Ты думаешь, что я боюся тебя или смерти: нет! Достигнув глубокой старости беспорочно, не знав в пустынной жизни ни мятежных страстей, ни козней мирских, желаю так и предать дух свой Всевышнему, моему и твоему Господу. Лучше умереть невинным мучеником, нежели в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония сего несчастного времени. Твори, что тебе угодно. Се жезл пастырский; се белый клобук и мантия, коими ты хотел возвеличить меня. А вы, святители, архимандриты, игумены и все служители олтарей! Пасите верно стадо Христово; готовьтеся дать отчет и страшитеся Небесного Царя еще более, нежели земного». Он хотел удалиться: царь остановил его; сказал, что ему должно ждать суда, а не быть своим судиею: принудил его взять назад утварь святительскую и еще служить обедню в день Архангела Михаила (8 ноября). Когда же Филипп в полном облачении стоял пред олтарем в храме Успения, явился там боярин Алексей Басманов с толпою вооруженных опричников, держа в руке свиток. Народ изумился. Басманов велел читать бумагу: услышали, что Филипп собором духовенства лишен сана пастырского. Воины вступили в олтарь, сорвали с митрополита одежду святительскую, облекли его в бедную ризу, выгнали из церкви *метлами* и повезли на дровнях в обитель Богоявления. Народ бежал за митрополитом, проливая слезы: Филипп с лицом светлым,

с любовию благословлял людей и говорил им: «молитеся!» На другой день привели его в судную палату, где был сам Иоанн, для выслушания приговора: Филиппу, будто бы уличенному в тяжких винах и в волшебстве, надлежало кончить дни в заключении. Тут он простился с миром, великодушно, умилительно; не укорял судей, но в последний раз молил Иоанна сжалиться над Россиею, не терзать подданных, — вспомнить, как царствовали его предки, как он сам царствовал в юности, ко благу людей и собственному. Государь, не ответствуя ни слова, движением руки предал Филиппа воинам. Дней восемь сидел он в темнице, в узах; был перевезен в обитель Св. Николая *Старого*, на берегу Москвы-реки; терпел голод и питался молитвою. Между тем Иоанн истреблял знатный род Колычовых: прислал к Филиппу отсеченную голову его племянника Ивана Борисовича и велел сказать: «се твой любимый сродник: не помогли ему твои чары!» Филипп встал, взял голову, благословил и возвратил принесшему. Опасаясь любви граждан московских ко сверженному митрополиту — слыша, что они с утра до вечера толпятся вокруг обители Николаевской, смотрят на келию заключенного и рассказывают друг другу о чудесах его святости — царь велел отвезти страдальца в Тверской монастырь, называемый Отрочим, и немедленно избрал нового митрополита, троицкого архимандрита, именем Кирилла, к досаде Пимена, имевшего надежду заступить место Филиппа.

Освободив себя от архипастыря строгого, непреклонного и, дав сей важный сан иноку доброму, но слабодушному, безмолвному, Иоанн мог тем смелее, тем необузданнее свирепствовать; дотоле губил людей: оттоле целые города. Началося с Торжка, где неистовые опричники в день ярмонки завели ссору и драку с жителями: царь объявил граждан бунтовщиками; велел их мучить, топить в реке. То же сделалось в Коломне и такие же были следствия. К сему городу принадлежали поместья несчастного Федорова: жители любили его и казались Иоанну мятежниками.

Одним словом, тиранство созрело, но конец оного был еще далеко! Ничто не могло обезоружить свирепого: ни смирение, ни великодушие жертв, ни самые естественные бедствия сего времени: ибо Россия, омрачаемая ужасами мучительства, была тогда же казнима язвою, пришедшею к нам из Эстонии или Швеции. В июле 1566 года началося моровое поветрие в Новогородской Шелонской пятине, а через месяц и в Новегороде, Полоцке, Озерище, Невле, Великих Луках, Торопце, Смоленске. Люди умирали ско-

ропостижно, *знамением*, как сказано в летописи: вероятно, пятном или нарывом. Многие деревни опустели, многие домы затворились в городах; церкви стояли без пения, лишенные иереев, которые не берегли себя в усердном исполнении своих обязанностей; на место их присылали священников из других городов. Умирало более духовных и граждан, нежели воинских людей. Язва дошла и до Можайска: царь учредил там заставу и не велел никого пускать в столицу из мест зараженных. Сообщение пересеклось между многими городами, мучились страхом, терпели нужду, дороговизну. В разных областях были неурожаи: в Казанской и в соседственных с нею явилось неописанное множество мышей, которые *тучами* выходили из лесов, ели хлеб на корню, в скирдах, в житницах, так что земледельцы не могли защитить себя от сих животных. Поветрие утишилось в начале весны, но еще несколько раз возобновлялось.

В сих внутренних бедствиях государства, в сем унынии вельмож и народа, Иоанн не слабел в делах войны и политики внешней; еще являлся с блеском и величием в отношении к другим державам. Литовцы в нападениях на Россию нигде не имели успеха: из Смоленска боярин Морозов, из Полоцка князь Андрей Ногтев писали к государю, что легкие отряды наши везде бьют неприятеля. С Тавридою мы хотели мира; но казанские беглецы, князь Спат, Ямгурчей-Ази, улан Ахмамет, сильные при дворе хана, доказывали ему, что Иоанн обманывает его: говорит о мире, а велит козакам строить город на Дону, готовит суда на Псле, на Днепре, имея намерение взять Азов, открыть себе путь в Тавриду; что сей царь умнее, счастливее, следственно опаснее всех прежних государей московских; что он, будучи в войне с ханом, умел завоевать Казань, Астрахань, Ливонию, Полоцк, — овладел землею Черкесскою, располагает ногаями; что если Девлет-Гирей выдаст короля Сигизмунда, то царю не станет Польши и на год; что истребив короля, Иоанн на досуге истребит и последний юрт Батыев. Сии представления имели действие; а еще более дары Сигизмунда, который послал вдруг 30 000 золотых в алчную Тавриду — и хан снова обнажил меч, написав к Иоанну: «Вспомни, что предки твои рады были своей земле, а мусульманских не трогали; если хочешь мира, то отдай мне Астрахань и Казань!» Но государь остерегся. В степях донских разъезжали козаки для открытия первых движений неприятеля; в городах стояло войско: другое, главное, под начальством знатнейших бояр, князей Бель-

ского и Мстиславского, на берегу Оки. В сентябре (1565 года) хан перешел Донец, вез тяжелые пушки с собою на телегах, и 7 октября приступил к Болхову. Там были воеводами князья Иван Золотой и Василий Кашин: они сделали вылазку; бились мужественно; не дали крымцам сжечь посада; взяли пленников — а Бельский и Мстиславский уже приближались. Хан бежал ночью, жалуясь на Литву: ибо король, убеждая его воевать Россию, клялся действовать против нас с другой стороны всеми силами, и не исполнил обещания.

Между тем посол наш, Афанасий Нагой, жил в Тавриде; действовал неутомимо; подкупал евреев, чиновников ханских; имел везде лазутчиков; опровергал ложные слухи, распускаемые врагами нашими о кончине Иоанновой; знал все и писал к государю, что Девлет-Гирей сносится с казанскими татарами, мордвою, черемисою: тайные послы сих изменников уверяли хана, что он, вступив в их землю, найдет между ими 70 000 усердных сподвижников, и что ни одного россиянина не останется живого ни в Свияжске, ни в Казани. Когда хан понуждал Афанасия выехать из Тавриды, сей ревностный слуга Иоаннов ответствовал: «умру здесь, а не выеду без окончания дел» — то есть без мира, и не терял надежды. Иногда литовская, иногда наша сторона одерживала верх в ханской Думе, так что Девлет-Гирей с дозволения султанова в 1567 году разорил часть королевских владений за неисправный платеж *дани*, однако ж и с нами не утверждал мира: требовал от Иоанна богатейших даров, какие присылались из Москвы Магмет-Гирею; запрещал России вступаться в Черкесскую землю. Государь несколько раз советовался с боярами: отклоняя требования хана, предлагал ему женить сына или внука на дочери царя Шиг-Алея и взять за нею в приданое город отца ее, Касимов: ибо сей знаменитый изгнанник тогда умер (почти в одно время с другими бывшими царями казанскими, Симеоном и Александром). Но Девлет-Гирей размышлял, колебался и снова требовал невозможного: то есть Астрахани и Казани.

С Литвою мы также были в переговорах. Казалось, что Сигизмунд искренно желал конца войны, для него тягостной; казалось, что и царь хотел отдохновения. С обеих сторон изъявляли редкую уступчивость. Единственно для соблюдения старого обычая великие послы королевские, приехав в Москву, требовали Смоленска, а наши бояре Киева, Белоруссии и Волынии: ни мы, ни они в самом деле не помышляли о сем невозможном возврате.

Сигизмунд уступал нам даже Полоцк; а государь велел сказать послам: «любя спокойствие христиан, я уже не требую царского титула от короля: довольно, что все иные венценосцы дают мне оный». Затруднение состояло в Ливонии: Сигизмунд предлагал, чтобы каждому владеть в ней своею частию, ему и нам; чтобы общими силами изгнать шведов из Эстонии и разделить ее между Польшею и Россиею: в таком случае обязывался быть истинным другом Иоанну и называть его царем. Но царь хотел Риги, Вендена, Вольмара, Роннебурга, Кокенгузена: за что уступал королю Озерище, Лукомль, Дриссу, Курляндию и 12 городков в Ливонии; освобождал безденежно всех пленников королевских, а своих выкупал. Послы стояли за Ригу, за Венден; наконец сказали боярам, что истинный, твердый мир всего скорее может быть заключен между их государями в личном свидании на границе. Сия мысль сперва полюбилась Иоанну. Избрали место: царю надлежало приехать в Смоленск, королю в Оршу, каждому с пятью тысячами благородных воинов. Но послы не брали на себя условиться в обрядах свидания: например, Иоанн желал в первый день угостить Сигизмунда в своем шатре: что им казалось несовместно с достоинством государя их. Миновало около двух месяцев в переговорах.

Тогда (в июле 1566 года) Иоанн явил России зрелище необыкновенное: призвал в Земскую Думу не только знатнейшее духовенство, бояр, окольничих, всех других сановников, казначеев, дьяков, дворян *первой* и *второй* статьи, но и гостей, купцов, помещиков иногородных; отдал им на суд переговоры наши с Литвою, и спрашивал, что делать: мириться или воевать с королем? В собрании находились 339 человек. Все ответствовали — духовенство за себя, бояре, сановники, граждане также особенно, но единогласно — что государю без вреда для России уже нельзя быть снисходительнее; что Рига и Венден необходимы нам для безопасности Юрьева, или Дерпта, самого Пскова и Новагорода, коих торговля стеснится и *затворится*, если сии города ливонские останутся у короля; что государи вольны видеться на границе для тишины христиан, но что Сигизмунд по-видимому намерен только длить время, дабы между тем устроить запутанные дела в своем отечестве, примириться с цесарем, умножить войско в Ливонии. Духовенство прибавило: «Государь! Твоя власть действовать, как вразумит тебя Бог; нам должно молиться за царя, а советовать непристойно». Воинские чиновники изъявили готов-

ность пролить кровь свою в битвах; граждане вызывались отдать царю последнее достояние на войну, если гордый Сигизмунд отвергнет предлагаемые ему условия для мира. Была ли свобода во мнениях, была ли искренность в ответе сей Земской, или Государственной Думы? Но совещание имело вид торжественный, и народ с благоговением видел Иоанна не среди опричников ненавистных, а в истинном величии государя, внимающего гласу отечества из уст россиян знаменитейших: явление достойное лучших времен Иоаннова царствования!

Дума утвердила сей приговор грамотою; а панам королевским сказали, что государь чрез своих послов объяснится с королем, соглашаясь между тем прекратить воинские действия и разменяться пленниками. Сим кончилось дело. Вслед за послами литовскими (в 1567 году) отправились к Сигизмунду наши, боярин Умной-Колычов и дворецкий Григорий Нагой, уполномоченные подписать мир: что было новостию: ибо прежние договоры с Литвою совершались единственно в Москве. Сигизмунд встретил наших бояр в Гродне: когда они вошли к нему, все литовские вельможи встали; но послы увидели тут князя Андрея Курбского и с презрением отвратились: им велено было требовать головы сего изменника! Девять раз они съезжались с королевскими панами и не могли ни в чем согласиться: Иоанн непременно хотел, изгнав шведов и датчан, владеть всею Ливониею, уступая Сигизмунду Курляндию. Несмотря на свое искреннее желание мира, король отвергнул сии предложения; не согласился выдать и Курбского. Решились продолжать войну. «Я вижу,— писал Сигизмунд к Иоанну, — что ты хочешь кровопролития; говоря о мире, приводишь полки в движение. Надеюсь, что Господь благословит мое оружие в защите необходимой и справедливой».

Полки наши действительно шли из Вязьмы, Дорогобужа, Смоленска к Великим Лукам. Целию была Ливония. Основав на литовской границе новые крепости Усвят, Улу, Сокол, Копие, государь с царевичем Иоанном выехал из Москвы к войску. 5 октября [1567 г.], в поле, близ Медного, представили ему посланника королевского Юрия Быковского с упомянутым письмом Сигизмундовым. Иоанн сидел в шатре, вооруженный, в полном доспехе, среди бояр, многих чиновников, также вооруженных с головы до ног, и сказал ему: «Юрий! Мы посылали к брату нашему, Сигизмунду-Августу, своих знатных бояр с предложением весьма умеренным. Он задержал их в пути, оскорблял, бесчестил. Итак,

не дивися, что мы сидим в доспехе воинском: ибо ты пришел к нам от брата нашего с язвительными стрелами». Спросив Юрия о здравии королевском, приказав ему сесть, но не дав руки, Иоанн выслал из шатра всех чиновников ратных, кроме советников, больших дворян и дьяков; выслушал речь посланника, велел угостить его в другой ставке и немедленно отослать — в темницу московскую! Сие нарушение права народного, без сомнения, не извинялось грубыми выражениями письма королевского и тем, что бояре Колычов и Нагой, приехав тогда же в стан к Иоанну, жаловались ему на худые с ними поступки в Литве.

Кроме множества сановников, телохранителей, провождали царя суздальский епископ Пафнутий, архимандрит Феодосий, игумен Никон, до Новагорода, где он жил 8 дней, усердно моляся в древнем Софийском храме и занимаясь распоряжением полков, чтобы идти к ливонским городам Луже и Резице. Но вдруг воинский жар его простыл: встретились затруднения, опасности, коих Иоанн не предвидел, и для того призвал всех главных воевод на совет. Они 12 ноября съехалися близ Красного, в селении Оршанском, и рассуждали с царем, начать ли осаду неприятельских городов или отложить поход: ибо за худыми дорогами обозы с тяжелым снарядом двигались медленно к границе, лошади падали, люди разбегались; надлежало ждать долго и стоять в местах, скудных хлебом. Узнали также, что король собирает войско в Борисове, замышляя идти зимою к Полоцку и Великим Лукам. Боялись утомить рать осадою крепостей, в то время когда неприятель с другой стороны может явиться в наших собственных пределах; а всего более опасались найти язву в Ливонии, где, по слуху, многие люди умирали от заразительных болезней. Решили, чтобы государю ехать назад в Москву, а воеводам стоять в Великих Луках, в Торопце и наблюдать неприятеля.

Таким образом, Иоанн не без внутренней досады возвратился в столицу; но, к утешению его самолюбия, король польский сделал то же: (в 1568 году) собрав 60 000 или более воинов, хваляся по следам Ольгерда устремиться к Москве, и действительно, выступив в поле с двором блестящим, Сигизмунд несколько недель стоял праздно в Минской области, распустил главное войско, и сам, уехав в Гродно, послал только отряды в западную Россию. Под Улою литовцы претерпели великий урон; но имели и некоторые выгоды. Строением новой крепости, названной Копием, управляли князья Петр Серебряный и Василий Палицкий: литовцы

в нечаянном нападении убили Палицкого; а князь Серебряный едва ускакал в Полоцк. Близ Велижа пленив знатного чиновника, Петра Головина, они истребили несколько селений в Смоленской области, и каким-то обманом взяли Изборск (в начале 1569 года); но россияне выгнали их немедленно: громили польскую Ливонию, сожгли большую часть Витебска. Между тем разменивались пленниками на границе: Иоанн освободил королевского воеводу Довойну, Сигизмунд князя Темкина. Жена Довойны умерла в Москве: царь согласился отпустить ее тело в Литву, с условием, чтобы король прислал в Москву тело князя Петра Шуйского: о чем просили добрые сыновья сего несчастного воеводы.

Уважив совет бояр не прерывать мирных сношений с Литвою, государь освободил посланника Сигизмундова, семь месяцев страдавшего в темнице; дал ему видеть лицо свое, говорил с ним милостиво; сказал: «Юрий! Ты вручил нам письмо столь грубое, что тебе не надлежало бы остаться живым; но мы не любим крови. Иди с миром к государю своему, который забыл тебя в несчастии. Мы готовы с ним видеться; готовы прекратить бедствие войны. Кланяйся от нас брату, королю Сигизмунду-Августу». Начались снова переговоры. Гонцы ездили из земли в землю: Сигизмундовы, в речах с боярами, именовали Иоанна *царем*, и на вопрос: что значит сия новость? ответствовали: «так нам приказано от вельмож литовских». Гонцам московским давались также наставления миролюбивые и следующее, достойное замечания: «Если будет говорить с вами в Литве князь Андрей Курбский или ему подобный *знатный* беглец российский, то скажите им: *ваши гнусные измены не вредят ни славе, ни счастию царя великого: Бог дает ему победы, а вас казнит стыдом и отчаянием. С простым же беглецом* не говорите ни слова: только плюньте ему в глаза и отворотитесь... Когда же спросят у вас: что такое московская опричнина? скажите: *Мы не знаем опричнины: кому велит государь жить близ себя, тот и живет близко; а кому далеко, тот далеко. Все люди Божии да государевы*». Наконец Иоанн и Сигизмунд условились остановить неприятельские действия. Послам литовским надлежало быть в Москву для заключения мира, коего желали искренно обе стороны: что изъясняется обстоятельствами времени. Сигизмунд не имел детей: движимый истинною любовию к отечеству, он хотел неразрывным соединением Литвы с Польшею утвердить их могущество, опасаясь, чтобы та и другая держава по его смерти не избрала себе особенно-

го властителя. Намерение было достохвально, полезно, но исполнение трудно: ибо вельможи польские и литовские жили в вечной вражде между собою; одна власть королевская могла обуздывать их страсти. Сигизмунд желал внешнего спокойствия, чтобы успеть в сем важном деле, предложенном тогда люблинскому сейму; а царь желал короны Сигизмундовой: ибо носился слух, что паны мыслят избрать в короли сына его, царевича Иоанна. Гонцам нашим велено было разведать о том в Литве и ласкать вельмож. Государь унял кровопролитие, дабы потушить в литовцах враждебное к нам чувство.

Перемена в отношениях Швеции к России также немало способствовала миролюбию Иоаннову в отношении к Сигизмунду. Чтобы удержать Эстонию за собою вопреки Дании и Польше, король Эрик имел нужду не только в мире, но и в союзе с царем: для чего употреблял все возможные средства и мыслил даже совершить подлое, гнусное злодеяние. Прелестная и не менее добрая сестра Сигизмундова Екатерина, на коей царь хотел жениться, и которая, может быть, спасла бы его и Россию от великих несчастий — Екатерина в 1562 году вступила в супружество с любимым сыном Густава Вазы, герцогом финляндским Иоанном. Завистливый, безрассудный Эрик издавна не терпел сего брата и возненавидел еще более за противный ему союз с королем польским; выдумал клевету и заключил Иоанна. Тут обнаружилось великодушие Екатерины: ей предложили на выбор, оставить супруга или свет. Вместо ответа она показала свое кольцо с надписью: *ничто, кроме смерти* — и четыре года была Ангелом-утешителем злосчастного Иоанна в грипсгольмской темнице, не зная того, что два тирана готовили ей гораздо ужаснейшую долю. Царь предложил, и король согласился выдать ему Екатерину, как предмет странной любви или злобы его за бесчестие отказа. Дело началось тайною перепискою, а кончилось торжественным договором: в феврале 1567 года приехали шведские государственные сановники, канцлер Нильс Гилленстирна и другие, прямо в Александровскую Слободу, были угощены великолепно и подписали хартию союза Швеции с Россиею. Царь назвал Эрика другом и братом, уступал ему навеки Эстонию, обещал помогать в войне с Сигизмундом, доставить мир с Даниею и с городами ганзейскими: за что Эрик обязывался прислать свою невестку в Москву. Думный советник Воронцов и дворянин Наумов поехали в Стокгольм с договорною грамотою, а бояре Морозов, Чеботов, Сукин должны были принять

3 Зак. № 40

Екатерину на границе. Но Провидение не дало восторжествовать Иоанну. Послы наши, встреченные в Стокгольме с великою честию, жили там целый год без всякого успеха в своем деле. Пригласив их обедать с собою, Эрик упал в обморок и не мог выйти к столу: с сего времени послы не видали короля; им сказывали, что он или болен, или сражается с датчанами. Для переговоров являлись к Воронцову только советники Думы королевской и говорили, что выдать Екатерину царю, отнять жену у мужа, мать у детей, противно Богу и Закону; что сам царь навеки обесславил бы себя таким нехристианским делом; что у Сигизмунда есть другая сестра, девица, которую Эрик может *достать* для царя; что послы шведские заключили договор о Екатерине без ведома королевского. Боярин московский не щадил в ответах своих ни советников, ни государя их; доказывал, что они лжецы, клятвопреступники, и требовал свидания с Эриком. Сей несчастный король был тогда в жалостном состоянии: многими жестокими, безрассудными делами заслужив общую ненависть, боялся и народа и дворянства; мучился совестию, терял ум, освободил и думал снова заключить брата; в смятении духа, в малодушном страхе, то объявлял нашим послам, что сам едет в Москву, то опять хотел послать Екатерину к царю. Наконец совершился удар: 29 сентября 1568 года послы московские увидели страшное волнение в столице и недолго были спокойными зрителями оного: воины с ружьями, с обнаженными мечами вломились к ним в дом, сбили замки, взяли все: серебро, меха; даже раздели послов, грозили им смертию. В сию минуту явился принц Карл, меньший брат Эриков: боярин Воронцов, стоя перед ним в одной рубашке, с твердостию сказал ему, что так делается в вертепе разбойников, а не в государствах христианских. Карл выгнал неистовых воинов: изъяснил боярину, что Эрик, как безумный тиран, свержен с престола; что новый король, брат его Иоанн, желает дружбы царя московского; что обида, сделанная послам, не останется без наказания, будучи единственно следствием беспорядка, соединенного с переменою верховной власти. Послы требовали отпуска: выехали из Стокгольма, но 8 месяцев жили в Абове как невольники и возвратились в Москву уже в июле 1569 года донести царю о судьбе его *друга* и *брата*, несчастного Эрика, торжественно осужденного государственными чинами умереть в темнице, за разные злодейства, как сказано в сем приговоре, и за бесчестные, *нехристианские* условия союза с Россиею. Легко представить себе досаду царя: он умел скры-

вать свои чувства; дозволил шведским послам, епископу абовскому, Павлу Юсту, с другими знатными чиновниками быть в Москву и велел их *ограбить*, задержать в Новегороде, точно так, как боярин Воронцов и Наумов были ограблены, задержаны в Швеции. Сие действие казалось ему справедливою местию; но он хотел и важнейшей: хотел немедленно выгнать шведов из Эстонии, и для того примириться на время с Сигизмундом, чтобы не иметь дела с двумя врагами.

Надлежало отвратить еще другую опасность, которая тогда явилась для России, но недолго тревожила Иоанна и дала без победы новую воинскую славу его царствованию. Что замышлял против нас Солиман Великий, то сын его, малодушный Селим, хотел исполнить: восстановить царство мусульманское на берегах Ахтубы: к чему склоняли султана некоторые князья ногайские, хивинцы и бухарцы, представляя ему, что государь российский истребляет магометанскую Веру, и пресек для них сообщение с Меккою; что Астрахань есть главная пристань Каспийского моря, наполненная кораблями всех народов азиатских, и что в казну царскую входит там ежедневно около тысячи золотых монет. Послы литовские, находясь в Константинополе, говорили то же. Один хан Девлет-Гирей доказывал, что к Астрахани нельзя идти ни зимою, ни летом: зимою от несносного для турков холода, летом от безводия; и что гораздо лучше воевать московскую украйну. Не слушая возражений хана, Селим (весною 1569 года) прислал в Кафу 15 000 спагов[1], 2000 янычар и велел ее паше, Касиму, идти к Переволоке, соединить Дон с Волгою, море Каспийское с Азовским, взять Астрахань или, по крайней мере, основать там крепость в ознаменование султанской державы. 31 мая паша выступил в поход; хан также, имея до 50 000 всадников. Они сошлися в нынешней Качалинской станице и ждали судов, которые плыли Доном от Азова с тяжелым снарядом, с богатою казною, имея для защиты своей только 500 воинов и 2500 гребцов, большею частию христианских невольников, окованных цепями. Турки в отмелях выгружали пушки, влекли их берегом, с трудом неописанным. Тысячи две россиян могли бы без кровопролития взять снаряд и казну: невольники ждали их с надеждою, а турки с трепетом — никто не показывался! Донские козаки, испуганные слухом о походе султанского войска, скрылись в дальних степях,

[1] Спаги — кавалерист в армии Османской империи.

и суда 15 августа благополучно достигли Переволоки. Тут началась работа жалкая и смешная: Касим велел рыть канал от Дона до Волги; увидев невозможность, велел тащить суда землею. Турки не хотели слушаться и говорили, что паша безумствует, предпринимая такое дело, для коего мало ста лет для всех работников Оттоманской империи. Хан советовал возвратиться; но, к удовольствию Касима, явились послы астраханские. «На что вам суда? — сказали они, — мы дадим их вам сколько хотите; идите только избавить нас от власти россиян». Паша усмирил войско: 2 сентября отпустил пушки назад в Азов и с 12 легкими орудиями пошел к Астрахани, где жители готовились встретить его как избавителя: надежда их не исполнилась.

Посол Иоаннов, Афанасий Нагой, писал к государю из Тавриды о замысле султановом: письма его, хотя и не скоро, доходили. Война с Турциею не представляла Иоанну ничего, кроме опасностей: собирая многочисленное войско в Нижнем Новегороде и немедленно отрядив мужественного князя Петра Серебряного с легкою дружиною занять Астрахань, он в то же время послал дары к паше кафинскому, чтобы склонить его к миролюбию. Паша взял дары, целовал грамоту Иоаннову, три дня честил гонцов московских, а на четвертый заключил в темницу. Но государь успокоился, сведав о малом числе турков и худом усердии Девлет-Гирея к сему походу; угадывал следствия и не обманулся.

16 сентября паша и хан стали ниже Астрахани, на Городище, где была, как вероятно, древняя столица козарская. Тут ждали их наши изменники астраханские с судами и ногаи с дружественными уверениями: Касим, велев ногаям прикочевать к Волге, начал строить новую крепость на Городище, и турки, к изумлению своему, узнали, что паша намерен зимовать под Астраханью, где горсть бодрых россиян обуздывала измену жителей и казалась ему страшною, так что он не смел отважиться на приступ. В самом деле ничто не могло быть безрассуднее сего намерения: паша давал россиянам время изготовиться к обороне; давал время царю прислать войско в Астрахань, а свое изнурял трудами, голодом: ибо астраханцы не могли доставлять ему хлеба в избытке. Ропот обратился в мятеж, когда услышали турки, что хан по совершении крепости должен возвратиться в Тавриду. Они решительно объявили, что никто из них не останется зимовать в земле неприятельской. Еще Касим упорствовал, грозил; но вдруг 26 сентября зажег сделанные им деревянные укрепления и вместе с ханом уда-

лился от Астрахани: причиною было то, что князь Петр Серебряный вступил в сей город с войском и что за ним, как сказывали, шло другое, сильнейшее. Турки и крымцы бежали день и ночь. В шестидесяти верстах, на Белом озере, встретились им гонцы султанский и литовский: Селим писал к паше, чтобы он непременно держался под Астраханью до весны; что к нему будет новая рать из Константинополя; что летом увидит Россия в недрах своих знамена оттоманские, за коими должен идти и хан к Москве, утвердив союз и дружбу с Литвою. Но Касим продолжал бегство. Путеводитель его, Девлет-Гирей, умышленно вел турков местами безводными, голодною пустынею, где кони и люди умирали от изнурения; где черкесы стерегли их в засадах и томных, полумертвых брали в плен; где россияне могли бы совершенно истребить сие жалкое войско, если бы они не следовали правилу, что надобно давать волю бегущему неприятелю. Турки были в отчаянии: проклиная пашу, не щадили и султана, который послал их в землю неизвестную, в ужасную Россию, не за победою, а за голодом и смертию бесчестною. Касим с толпою бледных теней через месяц достиг Азова, чтобы золотом откупиться от петли. Он приписывал свое несчастие единственно тому, что не мог ранее начать похода; но Девлет-Гирей уверял султана в невозможности взять или удержать Астрахань, столь отдаленную от владений турецких; а крымскому послу нашему сказал: «Государь твой должен благодарить меня: я погубил султанское войско; не хотел ни приступать к Астрахани, ни строить там крепости на старом Городище, во-первых, желая угодить ему, во-вторых, и для того, что не хочу видеть турков властелинами древних улусов татарских». К утверждению нашей безопасности с сей стороны, Азовская крепость со всеми пороховыми запасами взлетела тогда на воздух; не только большая часть города, зажженного, как думали, россиянами, но и пристань с военными судами обратилась в пепел.

Сей несчастный поход войска Селимова описан нами по сказанию очевидца, царского сановника, Семена Мальцова, достойного быть известным потомству. Он ехал из ногайских улусов и встретил неприятеля на берегу Волги: окруженный ими, скрыл государев наказ как неприкосновенную святыню в дереве на Царицыне-острове; сдался уже полумертвый от ран; прикованный к пушке, терзаемый чувством боли, жажды, голода, — ежечасно угрожаемый смертию, не преставал ревностно служить царю своему; стращал турков рассказами: уверял, что астраханцы и ногаи

манят их в сети; что шах персидский есть союзник России; что мы послали к нему 100 пушек и 500 пищалей для нападения на Касима; что князь Серебряный плывет с тридцатью тысячами к Астрахани, а князь Иван Бельский идет полем с несметною силою. Мальцов учил и других наших пленников сказывать то же; склонял греков и волохов, бывших с Касимом, пристать к россиянам в случае битвы; звал сыновей Девлет-Гиреевых к нам в службу; говорил им: «Вас у отца много: он раздает вас по людям. Вы ни сыты, ни голодны; скитаетесь из места в место. В Москве же найдете честь и богатство. Сам отец будет вам завидовать». Без всякой надежды увидеть святую Русь, без всякой мысли о награде, о славе, сей усердный гражданин хотел еще и накануне смерти быть полезным государю, отечеству. Таких слуг имел Иоанн Грозный, упиваясь кровию своих подданных! – Провидение спасло Мальцова. Выкупленный в Азове нашим крымским послом Афанасием Нагим, он возвратился в Москву донести царю, что россияне могут не страшиться оттоманов.

Итак, внешние действия или отношения России к иноземным державам были довольно благоприятны. С Литвою мы ожидали мира, удерживая за собою новые важные завоевания; слабую Швецию презирали; видели тыл и гибель султанской рати; узнав неприязнь хана к туркам, тем менее опасались его впадений, и тем более надеялись с ним примириться. Войско наше было многочисленно, границы укреплены: на самом отдаленном Тереке Иоанн поставил город как для защиты своего тестя, черкесского князя Темгрюка, так и для утверждения своей власти над сим краем. – Шах персидский, Тамас, хотел быть другом Иоанну, который, желая заключить с ним тесный союз против султана, в мае 1569 года посылал в Персию чиновника Алексея Хозникова. Сибирь платила нам дань: около 1563 года новый князь ее, шибанский царевич Едигер, убил там нашего даньщика, за что государь остановил в Москве посла сибирского, но скоро освободил его из уважения к ходатайству Исмаила, ногайского владетеля, и в 1569 году торжественным договором с новым сибирским *царем*, Кучюмом, утвердил сию землю в подданстве России. Иоанн *взял* Кучюма *под свою руку, в оберегание*, с условием, чтобы он давал ему ежегодно тысячу соболей, а посланнику государеву, который приедет за данию, тысячу белок. Боярский сын, Третьяк Чабуков, (в 1571 году) отвез в Сибирь жалованную Иоаннову грамоту, украшенную златою печатию. –

Россия внутри бедствовала—от язвы, голода и тиранства—но торговля ее процветала. Цари Абдула шамаханский и бухарский того же имени, Сеит самаркандский, Азим хивинский присылали дары в Москву, чтобы Иоанн дозволял их подданным купечествовать не только в Астрахани и в Казани, но и в других городах наших. Несмотря на явную вражду султана, россияне еще торговали в Кафе, в Азове, а турки в Москве вместе с армянами. Сам государь из казны своей отправлял за Каспийское море меха драгоценные и купцов московских в Антверпен, в Лондон, даже в Ормус. Ганза не преставала искать милости в Иоанне и менялась с нами товарами в Нарве, завидуя англичанам, которые пользовались благосклонностию царя и правами исключительными в России, особенно с восшествия на престол Елисаветы: ибо сия знаменитая королева, одаренная и великим умом и любезными свойствами, снискала его дружбу. Лондонское Российское Общество дарило царя алмазами; Елисавета писала к нему ласковые письма. Три раза посланник ее, Дженкинсон, был в Москве; ездил оттуда в Персию и с усердием исполнил тайный наказ государев к шаху. Следствием было то, что в 1567 и в 1569 годах Иоанн дал новые выгоды купцам английским: дозволил им ездить из России в Персию, завести селение на реке Вычегде, искать железной руды и плавить ее, с условием выучить россиян сему искусству, а при вывозе железа в Англию платить деньгу с фунта. Англичане должны были все драгоценные вещи показывать государеву казначею; обязывались также продавать царские товары в Англии и в Персии; впрочем могли везде купечествовать свободно, без пошлин, везде строить жилища, лавки и чеканить для себя талеры; судились только судом опричнины, и московский их двор, у церкви Св. Максима, находился в ее ведомстве. Напрасно купцы ганзейские старались вредить англичанам в уме Иоанна; напрасно короли польский и шведский убеждали Елисавету не способствовать выгодами торговли могуществу опасной России. Бывали неудовольствия взаимные, однако ж прекращались дружелюбно. Например, в 1568 году посланник Елисаветин Томас Рандольф около четырех месяцев жил в Москве, не видав царя. Иоанн досадовал на английских купцов за то, что они ежегодно возвышали цену своих товаров; наконец велел Рандольфу быть к себе, но не дал лошадей: люди посольские шли во дворец пешком, и никто из царских сановников не кланялся представителю лица королевина.

Гордый англичанин, оскорбленный сею грубостию, сам надел шляпу во дворце. Ждали гнева, опалы: вместо чего Иоанн принял Рандольфа весьма ласково, уверял в своей дружбе к *любезной сестре* Елисавете и возвратил милость купцам английским; имел с ним другое свидание наедине, ночью; говорил три часа — и послал к Елисавете дворянина Андрея Савина с делом тайным, которое знаем только по ответу Елисаветину, хранящемуся в нашем архиве: оно весьма любопытно и доказывает малодушие Иоанна. Сей монарх, еще победитель, еще гроза всех держав соседственных, не находя ни малейшего сопротивления в своих бедных подданных, невинно им губимых, трепетал в сердце, ждал казни, мечтал о бунтах, об изгнании; не устыдился писать о том к Елисавете и просить убежища в ее земле на сей случай: унижение достойное мучителя! Благоразумная королева ответствовала, что желает ему царствовать со славою в России, но готова дружественно принять его вместе с супругою и детьми, ежели, вследствие *тайного заговора*, внутренние мятежники или внешние неприятели изгонят Иоанна из отечества; что он может жить, где ему угодно в Англии, наблюдать[1] в Богослужении все обряды Веры греческой, иметь своих слуг и всегда свободно выехать назад ли в Россию или в другую землю. В верности сих обещаний Елисавета дала ему *слово христианского венценосца* и грамоту, ею собственноручно подписанную в присутствии всех ее государственных советников, великого канцлера Николая Бакона, лорда Нортамптона, Русселя, Арунделя и других с прибавлением, что Англия и Россия будут всегда соединенными силами противиться их врагам общим. — Донесения Савина, хотя обласканного в Лондоне, не весьма благоприятствовали англичанам: он сказал царю, что королева думает единственно о выгодах лондонского купечества. Иоанн был недоволен и тем, что Елисавета в деле столь важном ответствовала ему чрез его посланника, а не прислала своего; но берег ее дружбу, ибо действительно хотел бежать в крайности за море. Сию мысль вселил в него, как уверяют, голландский доктор Елисей Бомелий, негодяй и бродяга, изгнанный из Германии: снискав доступ к царю, он полюбился ему своими кознями; питал в нем страх, подозрения; чернил бояр и народ, предсказывал бунты и мятежи, чтобы угождать несчастному расположению души Ио-

---

[1] Наблюдать — соблюдать.

анновой. Цари и в добре и в зле имеют всегда ревностных помощников: Бомелий заслужил первенство между услужниками Иоанна, то есть между злодеями России. Казнь Божия для них готовилась; но кровавый пир тиранства был еще в средине. Открывается новый феатр ужасов.

Глава III
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИОАННА ГРОЗНОГО 1569—1572 гг.

Кончина царицы. Четвертая, ужаснейшая эпоха мучительства. Запустение Новагорода. Спасение Пскова. Казни в Москве. Царские шуты. Голод и мор. Сношения с Литвою. Королевство Ливонское. Милость царя к Магнусу. Посольство в Константинополь. Нашествие хана. Сожжение Москвы. Новое супружество Иоанново. Пятая эпоха душегубства. Смерть царицы. Путешествие Иоанново в Новгород. Дела шведские. Четвертый брак Иоаннов. Союз с Елисаветою. Переговоры с Даниею и с Литвою. Отбытие Иоанна в Новгород. Нашествие хана. Знаменитая победа к. Воротынского. Письмо к королю шведскому.

1 сентября 1569 года скончалась супруга Иоаннова, Мария, едва ли *искренно* оплаканная и самим царем, хотя для соблюдения пристойности вся Россия долженствовала явить образ глубокой печали: дела остановились; бояре, дворяне, приказные люди надели *смиренное платье* или траур (шубы бархатные и камчатные *без золота*); во всех городах служили панихиды; давали милостыню нищим, вклады в монастыри и в церкви; показывали горесть лицемерную, скрывая истинную, общую, производимую свирепством Иоанна, который чрез десять дней уже мог спокойно принимать иноземных послов во дворце московском, но спешил выехать из столицы, чтобы в страшном уединении Александровской Слободы вымыслить новые измены и казни. Кончина двух супруг его, столь несходных в душевных свойствах, имела следствия равно несчастные: Анастасия взяла с собою добродетель Иоаннову: казалось, что Мария завещала ему превзойти самого себя в лютых убийствах. Распустив слух, что Мария, подоб-

но Анастасии, была отравлена тайными злодеями, он приготовил тем Россию к ужаснейшим исступлениям своей ярости.

Иоанн карал невинных; а виновный, действительно виновный, стоял пред тираном: тот, кто в противность закону хотел быть на троне, не слушался болящего царя, радовался мыслию об его близкой смерти, подкупал вельмож и воинов на измену — князь Владимир Андреевич! Прошло 16 лет; но Иоанн, как мы видели, умел помнить старые вины и не переставал его опасаться. Никто из бояр не дерзал иметь дружелюбного обхождения с сим князем: одни лазутчики приближались к нему, чтобы всякое нескромное слово употребить в донос. Что спасало несчастного? Естественный ли ужас обагрить руки кровию ближнего родственника? Быть может: ибо есть остановки, есть затруднения для самого ожесточенного тирана: иногда он бывает человеком; уже не любя добра, боится крайностей во зле; тревожимый совестию, облегчает себя мыслию, что он еще удерживается от некоторых преступлений! Но сей оплот ненадежен: злодейства стремят к злодействам, и князь Владимир мог предвидеть свою неминуемую участь, — несмотря на милостивое прощение, ему объявленное в 1563 году, несмотря на лицемерие Иоанна, который всегда честил, ласкал его. В знак милости дав Владимиру большое место в Кремле для нового великолепного дворца и города Дмитров, Боровск, Звенигород, царь взял себе на обмен Верею, Алексин, Старицу, без сомнения для того, что сей князь с новыми поместьями казался менее опасным, нежели с наследственными, где еще хранился дух древней удельной системы. Весною в 1569 году, собирая войско в Нижнем Новегороде для защиты Астрахани, Иоанн не усомнился вверить оное своему мужественному брату; но сия мнимая доверенность произвела опалу и гибель. Князь Владимир ехал в Нижний чрез Кострому, где граждане и духовенство встретили его со крестами, с хлебом и солью, с великою честию, с изъявлением любви. Узнав о том, царь велел привезти тамошних начальников в Москву и казнил их; а брата ласково звал к себе. Владимир с супругою, с детьми, остановился верстах в трех от Александровской Слободы, в деревне Слотине; дал знать царю о своем приезде, ждал ответа — и вдруг видит полк всадников: скачут во всю прыть с обнаженными мечами как на битву, окружают деревню; Иоанн с ними: сходит с коня и скрывается в одном из сельских домов. Василий Грязной, Малюта Скуратов объявляют князю Владимиру, что он умышлял на жизнь государеву и представляют уличителя, царско-

го повара, коему Владимир дал будто бы деньги и яд, чтобы отравить Иоанна. Все было вымышлено, приготовлено. Ведут несчастного с женою и с двумя юными сыновьями к государю: они падают к ногам его, клянутся в своей невинности, требуют пострижения. Царь ответствовал: «Вы хотели умертвить меня ядом: пейте его сами!» Подали отраву. Князь Владимир, готовый умереть, не хотел из собственных рук отравить себя. Тогда супруга его, Евдокия (родом княжна Одоевская), умная, добродетельная — видя, что нет спасения, нет жалости в сердце губителя — отвратила лицо свое от Иоанна, осушила слезы и с твердостию сказала мужу: «Не мы себя, но мучитель отравляет нас: лучше принять смерть от царя, нежели от палача». Владимир простился с супругою, благословил детей и выпил яд: за ним Евдокия и сыновья. Они вместе молились. Яд начинал действовать: Иоанн был свидетелем их терзания и смерти! Призвав боярынь и служанок княгини Евдокии, он сказал: «Вот трупы моих злодеев! Вы служили им; но из милосердия дарую вам жизнь». С трепетом увидев мертвые тела господ своих, они единогласно отвечали: «Мы не хотим твоего милосердия, зверь кровожадный! Растерзай нас: гнушаясь тобою, презираем жизнь и муки!» Сии юные жены, вдохновенные омерзением к злодейству, не боялись ни смерти, ни самого стыда: Иоанн велел обнажить их и расстрелять. — Мать Владимирова Евфросиния, некогда честолюбивая, но в монашестве смиренная, уже думала только о спасении души: умертвив сына, Иоанн тогда же умертвил и мать: ее утопили в реке Шексне вместе с другою инокинею, добродетельною Александрою, его невесткою, виновною, может быть, слезами о жертвах царского гнева.

Судьба несчастного князя Владимира произвела всеобщую жалость: забыли страх; слезы лилися в домах и в храмах. Никто без сомнения не верил объявленному умыслу сего князя на жизнь государеву: видели одно гнусное братоубийство, внушенное еще более злобою, нежели подозрением. Он не имел великих свойств, но имел многие достохвальные: мог бы царствовать в России и не быть тираном! Сносил долговременную, явную опалу свою с твердостию, ждал своей неминуемой гибели с каким-то христианским спокойствием и приводил добрые сердца в умиление, рождающее любовь. Иоанн слышал — если не смелые укоризны, то по крайней мере воздыхания россиян великодушных и хотел открытием мнимого важного заговора доказать необходимость своей жестокости для обуздания предателей, будто бы единомышленников

князя Владимира. Сия новая клевета на живых и мертвых была ли только изобретением смятенного ума Иоаннова или адским ковом его сподвижников в губительстве, которые желали тем изъявить ему свое усердие и питать в нем страсть к мучительству? Надеялся ли Иоанн обмануть современников и потомство грубою ложью или обманывал самого себя легковерием? Последнее утверждают летописцы, чтобы облегчить лежащее на Иоанне бремя дел страшных; но самое легковерие в таком случае не вопиет ли на Небо? уменьшает ли омерзение к убийствам неслыханным?

Новгород, Псков, некогда свободные державы, смиренные самовластием, лишенные своих древних прав и знатнейших граждан, населенные отчасти иными жителями, уже изменились в духе народном, но сохраняли еще какую-то величавость, основанную на воспоминаниях старины и на некоторых остатках ее в их бытии гражданском. Новгород именовался *Великим* и заключал договоры с королями шведскими, избирая, равно как и Псков, своих *судных целовальников*, или присяжных. Дети от родителей наследовали и тайную нелюбовь к Москве: еще рассказывали в Новегороде о битве Шелонской; еще могли быть очевидцы последнего народного веча во Пскове. Забыли бедствия вольности: не забыли ее выгод. Сие расположение тамошнего слабого гражданства, хотя уже и не опасное для могущественного самодержавия, беспокоило, гневило царя, так что весною 1569 года он вывел из Пскова 500 семейств, а из Новагорода 150 в Москву, следуя примеру своего отца и деда. Лишаемые отчизны, плакали; оставленные в ней, трепетали. То было началом: ждали следствия. В сие время, как уверяют, один бродяга волынский, именем Петр, за худые дела наказанный в Новегороде, вздумал отмстить его жителям: зная Иоанново к ним неблаговоление, сочинил письмо от архиепископа и тамошних граждан к королю польскому; скрыл оное в церкви Св. Софии за образ Богоматери; бежал в Москву и донес государю, что Новгород изменяет России. Надлежало представить улику: царь дал ему верного человека, который поехал с ним в Новгород и вынул из-за образа мнимую архиепископову грамоту, в коей было сказано, что святитель, духовенство, чиновники и весь народ поддаются Литве. Более не требовалось никаких доказательств. Царь, приняв нелепость за истину, осудил на гибель и Новгород и всех людей, для него подозрительных или ненавистных.

В декабре 1569 года он с царевичем Иоанном, со всем двором, со всею любимою дружиною выступил из Слободы Александров-

ской, миновал Москву и пришел в Клин, первый город бывшего Тверского великого княжения. Думая, вероятно, что все жители сей области, покоренной его дедом, суть тайные враги московского самодержавия, Иоанн велел смертоносному легиону своему начать войну, убийства, грабеж, там, где никто не мыслил о неприятеле, никто не знал вины за собою; где мирные подданные встречали государя как отца и защитника. Домы, улицы наполнились трупами; не щадили ни жен, ни младенцев. От Клина до Городни и далее истребители шли с обнаженными мечами, обагряя их кровию бедных жителей, до самой Твери, где в уединенной тесной келии Отроча-монастыря еще дышал св. старец Филипп, молясь (без услышания!) Господу о смягчении Иоаннова сердца: тиран не забыл сего сверженного им митрополита и послал к нему своего любимца Малюту Скуратова будто бы для того, чтобы взять у него благословение. Старец ответствовал, что благословляют только добрых и на доброе. Угадывая вину посольства, он с кротостию примолвил: «Я давно ожидаю смерти: да исполнится воля государева!» Она исполнилась: гнусный Скуратов задушил св. мужа; но, желая скрыть убийство, объявил игумену и братии, что Филипп умер от несносного жара в его келии. Устрашенные иноки вырыли могилу за олтарем и в присутствии убийцы погребли сего великого иерарха церкви российской, украшенного венцом мученика и славы: ибо умереть за добродетель есть верх человеческой добродетели, и ни новая, ни древняя история не представляют нам Героя знаменитейшего. Чрез несколько лет (в 1584 году) святые мощи его были пренесены в обитель Соловецкую, а после (в 1652 году) в Москву, в храм Успения Богоматери, где мы и ныне с умилением им поклоняемся.

За тайным злодейством следовали явные. Иоанн не хотел въехать в Тверь и пять дней жил в одном из ближних монастырей, между тем как сонмы неистовых воинов грабили сей город, начав с духовенства и не оставив ни одного дома целого: брали легкое, драгоценное; жгли, чего не могли взять с собою; людей мучили, убивали, вешали в забаву; одним словом, напомнили несчастным тверитянам ужасный 1327 год, когда жестокая месть хана Узбека совершалась над их предками. Многие литовские пленники, заключенные в тамошних темницах, были изрублены или утоплены в прорубях Волги: Иоанн смотрел на сие душегубство! — Оставив наконец дымящуюся кровию Тверь, он также свирепствовал в Медном, в Торжке, где в одной башне сидели крымские,

а в другой ливонские пленники, окованные цепями: их умертвили; но крымцы, защищаясь, тяжело ранили Малюту Скуратова, едва не ранив и самого Иоанна. Вышний Волочек и все места до Ильменя были опустошены огнем и мечом. Всякого, кто встречался на дороге, убивали, для того, что поход Иоаннов долженствовал быть *тайною* для России!

2 генваря [1570 г.] передовая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими заставами, дабы ни один человек не мог спастися бегством. Опечатали церкви, монастыри в городе и в окрестностях; связали иноков и священников; взыскивали с каждого из них по двадцати рублей, а кто не мог заплатить сей пени, того *ставили на правеж*: всенародно били, секли с утра до вечера. Опечатали и дворы всех граждан богатых; гостей, купцов, приказных людей оковали цепями; жен, детей стерегли в домах. Царствовала тишина ужаса. Никто не знал ни вины, ни предлога сей опалы. Ждали прибытия государева.

6 генваря, в день Богоявления, ввечеру, Иоанн с войском стал на Городище, в двух верстах от посада. На другой день казнили всех иноков, *бывших на правеже*: их избили палицами и каждого отвезли в свой монастырь для погребения. Генваря 8 царь с сыном и с дружиною вступил в Новгород, где на Великом мосту встретил его архиепископ Пимен с чудотворными иконами: не приняв святительского благословения, Иоанн грозно сказал: «злочестивец! в руке твоей не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой и всех гнусных новогородцев; знаю, что вы готовитесь предаться Сигизмунду-Августу. Отселе ты уже не пастырь, а враг церкви и Св. Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова!» Сказав, государь велел ему идти с иконами и крестами в Софийскую церковь; слушал там Литургию, молился усердно, пошел в палату к архиепископу, сел за стол со всеми боярами, начал обедать и вдруг завопил страшным голосом... Явились воины, схватили архиепископа, чиновников, слуг его; ограбили палаты, келии, а дворецкий, Лев Салтыков, и духовник государев Евстафий церковь Софийскую: взяли ризную казну, сосуды, иконы, колокола; обнажили и другие храмы в монастырях богатых, после чего немедленно открылся суд на Городище... Судили Иоанн и сын его таким образом: ежедневно представляли им от пятисот до тысячи и более новогородцев; били их, мучили, жгли ка-

ким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и бросали с моста в воду, целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Ратники московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами: кто из вверженных в реку всплывал, того кололи, рассекали на части. Сии убийства продолжались пять недель и заключились грабежом общим: Иоанн с дружиною объехал все обители вокруг города; взял казны церковные и монастырские; велел опустошить дворы и келии, истребить хлеб, лошадей, скот; предал также и весь Новгород грабежу, лавки, домы, церкви; сам ездил из улицы в улицу; смотрел, как хищные воины ломились в палаты и кладовые, отбивали ворота, влезали в окна, делили между собою шелковые ткани, меха; жгли пеньку, кожи; бросали в реку воск и сало. Толпы злодеев были посланы и в пятины новогородские губить достояние и жизнь людей без разбора, без ответа. Сие, как говорит летописец, *неисповедимое колебание, падение, разрушение Великого Новагорода продолжалось около шести недель.*

Февраля 12, в понедельник второй недели Великого поста, на рассвете, государь призвал к себе остальных именитых новогородцев, из каждой улицы по одному человеку: они явились как тени, бледные, изнуренные ужасом, ожидая смерти. Но царь *возрел на них оком милостивым и кротким*: гнев, ярость, дотоле пылавшие в глазах его, как страшный метеор, угасли. Иоанн сказал тихо: «Мужи новогородские, все доселе живущие! Молите Господа о нашем благочестивом царском державстве, о христолюбивом воинстве, да побеждаем всех врагов видимых и невидимых! Суди Бог изменнику моему, вашему архиепископу Пимену и злым его советникам! На них, на них взыщется кровь, здесь излиянная. Да умолкнет плач и стенание; да утишится скорбь и горесть! Живите и благоденствуйте в сем граде! Вместо себя оставляю вам правителя боярина и воеводу моего князя Петра Данииловича Пронского. Идите в домы свои с миром!» Еще судьба архиепископа не решилась: его посадили на белую кобылу в худой одежде, с волынкою, с бубном в руках как шута или скомороха, возили из улицы в улицу и за крепкою стражею отвезли в Москву.

Иоанн немедленно удалился от Новагорода дорогою псковскою, отправив несметную добычу святотатства и грабежа в столицу. Некому было жалеть о богатстве похищенном: кто остался жив, благодарил Бога или не помнил себя в исступлении! Уверя-

ют, что граждан и сельских жителей изгибло тогда не менее шестидесяти тысяч. Кровавый Волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро. Голод и болезни довершили казнь Иоаннову, так что иереи в течение шести или семи месяцев не успевали погребать мертвых: бросали их в яму без всяких обрядов. Наконец Новгород как бы пробудился от мертвого оцепенения: 8 сентября все, еще живые, духовенство, миряне, собралися в поле у церкви Рождества Христова служить общую панихиду за усопших над тамошнею скудельницею, где лежало 10 000 неотпетых тел христианских! (В первом месте стоял нищий старец Иоанн Жгальцо, который один с молитвою предавал мертвых земле в сие ужасное время.) — Опустел Великий Новгород. Знатная часть Торговой, некогда многолюдной стороны обратилась в площадь, где, сломав все уже необитаемые домы, заложили дворец государев.

Иоанн готовил Пскову участь Новагорода, думая, что и жители оного хотели изменить России. Там начальствовал добрый князь Юрий Токмаков и жил славный благочестием отшельник *Салос* (юродивый) Никола: один счастливым советом, другой счастливою дерзостию спасли город. В субботу второй недели Великого поста царь ночевал в монастыре Св. Николая на Любатове, видя Псков, где в ожидании приближающейся грозы никто не смыкал глаз; все люди были в движении; ободряли друг друга или прощались с жизнию, отцы с детьми, жены с мужьями. В полночь царь услышал благовест и звон церквей псковских: сердце его, как пишут современники, чудесно умилилось. Он вообразил живо, с какими чувствами идут граждане к заутрене в последний раз молить Всевышнего о спасении их от гнева царского, с каким усердием, с какими слезами припадают к святым иконам — и мысль, что Господь внимает гласу сердец сокрушенных, тронула душу, столь ожесточенную! В каком-то неизъяснимом порыве жалости Иоанн сказал воеводам своим: «Иступите мечи о камень! Да престанут убийства!..» На другой день, вступив в город, он с изумлением увидел на всех улицах пред домами столы с изготовленными яствами (так было сделано по совету князя Юрия Токмакова): граждане, жены их, дети, держа хлеб и соль, преклоняли колена, благословляли, приветствовали царя и говорили ему: «Государь князь великий! Мы, верные твои подданные, с усердием и любовию предлагаем тебе хлеб-соль; а с нами и животами нашими твори волю свою: ибо все, что имеем, и мы сами твои, самодержец

великий!» Сия неожидаемая покорность была приятна Иоанну. Игумен печерский Корнилий с духовенством встретил его на площади у церквей Св. Варлаама и Спаса. Царь слушал молебен в храме Троицы, поклонился гробу Св. Всеволода-Гавриила, с удивлением рассматривал тяжелый меч сего древнего князя и зашел в келию к старцу *Салосу* Николе, который под защитою своего юродства не убоялся обличать тирана в кровопийстве и святотатстве. Пишут, что он предложил Иоанну в дар... кусок сырого мяса; что царь сказал: «Я христианин и не ем мяса в Великий пост», а пустынник ответствовал: «Ты делаешь хуже: питаешься человеческою плотию и кровию, забывая не только пост, но и Бога!» Грозил ему, предсказывал несчастия и так устрашил Иоанна, что он немедленно выехал из города; жил несколько дней в предместии; дозволил воинам грабить имение богатых людей, но не велел трогать иноков и священников; взял только казны монастырские и некоторые иконы, сосуды, книги и как бы невольно пощадив Ольгину родину, спешил в Москву, чтобы новою кровию утолять свою неутолимую жажду к мучительству.

Архиепископ Пимен и некоторые знатнейшие новогородские узники, вместе с ним присланные в Александровскую Слободу, ждали там конца своего. Миновало около пяти месяцев, но не в бездействии: производилось важное следствие; собирали доносы, улики; искали в Москве тайных единомышленников Пименовых, которые еще укрывались от мести государевой, сидели в главных приказах, даже в совете царском, даже пользовались особенною милостию, доверенностию Иоанна. Печатник, или канцлер, Иван Михайлович Висковатый, муж опытнейший в делах государственных — казначей Никита Фуников, также верный слуга царя и царства от юности до лет преклонных — боярин Семен Васильевич Яковлев, думные дьяки Василий Степанов и Андрей Васильев были взяты под стражу; а с ними вместе, к общему удивлению, и первые любимцы Иоанновы: вельможа Алексей Басманов, воевода мужественный, но бесстыдный угодник тиранства — сын его, крайчий Феодор, прекрасный лицом, гнусный душою, без коего Иоанн не мог ни веселиться на пирах, ни свирепствовать в убийствах — наконец самый ближайший к его сердцу нечестивец князь Афанасий Вяземский, обвиняемые в том, что они с архиепископом Пименом хотели отдать Новгород и Псков Литве, извести царя и посадить на трон князя Владимира Андреевича. Жалея о добрых, заслуженных сановниках, россияне могли с тай-

ным удовольствием видеть казнь Божию над клевретами мучителя, без сомнения невинными пред ним, но виновными пред государством и человечеством. Сии жестокие царедворцы поздно узнали, что милость тирана столь же опасна, как и ненависть его; что он не может долго верить людям, коих гнусность ему известна; что малейшее подозрение, одно слово, одна мысль достаточны для их падения; что губитель, карая своих услужников, наслаждается чувством правосудия: удовольствие редкое для кровожадного сердца, закоснелого во зле, но все еще угрызаемого совестию в злодеяниях! Быв долго клеветниками, они сами погибли от клеветы. Пишут, что царь имел неограниченную доверенность к Афанасию Вяземскому: единственно из рук сего любимого оружничего[1] принимал лекарства своего доктора Арнольфа Лензея; единственно с ним беседовал о всех тайных намерениях, ночью, в глубокой тишине, в спальне. Сын боярский, именем Федор Ловчиков, облагодетельствованный князем Афанасием, донес на него, что он будто бы предуведомил новогородцев о гневе царском, следственно был их единомышленником. Иоанн не усомнился: молчал несколько времени и вдруг, призвав Вяземского к себе, говоря ему о важных делах государственных с обыкновенною доверенностию, велел между тем умертвить его лучших слуг; возвращаясь домой, князь Вяземский увидел их трупы: не показал ни изумления, ни жалости; прошел мимо в надежде сим опытом своей преданности обезоружить государя; но был ввержен в темницу, где уже сидели и Басмановы, подобно ему уличаемые в измене. Всех обвиняемых пытали: кто не мог вынести мук, клеветал на себя и других, коих также пытали, чтобы выведать от них неизвестное им самим. Записывали показания истязуемых; составили дело огромное, предложенное государю и сыну его, царевичу Иоанну; объявили казнь изменникам: ей надлежало совершиться в Москве, в глазах всего народа, и так, чтобы столица, уже приученная к ужасам, еще могла изумиться!

25 июля, среди большой торговой площади, в Китае-городе, поставили 18 виселиц; разложили многие орудия мук; зажгли высокий костер и над ним повесили огромный чан с водою. Увидев сии грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы; что Иоанн хочет истребить их всех без остатка: в беспамятстве страха они спешили укрыть-

---

[1] О р у ж н и ч и й — заведующий оружием.

ся где могли. Площадь опустела; в лавках отворенных лежали товары, деньги; не было ни одного человека, кроме толпы опричников у виселиц и костра пылающего. В сей тишине раздался звук бубнов: явился царь на коне с любимым старшим сыном, с боярами и князьями, с легионом кромешников, в стройном ополчении; позади шли осужденные, числом 300 или более, в виде мертвецов, истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги. Иоанн стал у виселиц, осмотрелся, и не видя народа, велел опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь; не имев терпения ждать, сам поехал за ними, призывая москвитян быть свидетелями его суда, обещая им безопасность и милость. Жители не смели ослушаться: выходили из ям, из погребов; трепетали, но шли: вся площадь наполнилась ими; на стене, на кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: «Народ! увидишь муки и гибель; но караю изменников! Ответствуй: прав ли суд мой?» Все ответствовали велегласно: «Да живет многие лета государь великий! Да погибнут изменники!» Он приказал вывести 180 человек из толпы осужденных и даровал им жизнь, как менее виновным. Потом думный дьяк государев, развернув свиток, произнес имена казнимых; вызвал Висковатого и читал следующее: «Иван Михайлов, бывший тайный советник государев! Ты служил неправедно его царскому величеству и писал к королю Сигизмунду, желая предать ему Новгород. Се первая вина твоя!» Сказав, ударил Висковатого в голову и продолжал: «А се вторая, меньшая вина твоя: ты, изменник неблагодарный, писал к султану турецкому, чтобы он взял Астрахань и Казань». Ударив его в другой — и в третий раз, дьяк примолвил: «Ты же звал и хана крымского опустошать Россию: се твое третие злое дело!» Тут Висковатый, смиренный, но великодушный, подняв глаза на небо, ответствовал: «Свидетельствуюсь Господом Богом, ведающим сердца и помышления человеческие, что я всегда служил верно царю и отечеству. Слышу наглые клеветы: не хочу более оправдываться, ибо земный судия не хочет внимать истине; но Судия небесный видит мою невинность — и ты, о государь! увидишь ее пред лицем Всевышнего!»... Кромешники заградили ему уста, повесили его вверх ногами, обнажили, рассекли на части, и первый Малюта Скуратов, сошедши с коня, отрезал ухо страдальцу. Второю жертвою был казначей Фуников-Карцов, друг Висковатого, в тех же изменах и столь же нелепо обвиняемый. Он сказал царю: «Се кланяюся тебе в последний раз на зем-

ле, моля Бога, да приимешь в вечности праведную мзду по делам своим!» Сего несчастного обливали кипящею и холодною водою: он умер в страшных муках. Других кололи, вешали, рубили. Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копием одного старца. Умертвили в 4 часа около двухсот человек. Наконец, совершив дело, убийцы, облиянные кровию, с дымящимися мечами стали пред царем, восклицая: *гойда! гойда!* и славили его правосудие. Объехав площадь, обозрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей: желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого; приехал к ним в дом, смеялся над их слезами; мучил первую, требуя сокровищ; хотел мучить и пятнадцатилетнюю дочь ее, которая стенала и вопила, но отдал ее сыну царевичу Иоанну, а после вместе с материю и с женою Висковатого заточил в монастырь, где они умерли с горести.

Граждане московские, свидетели сего ужасного дня, не видали в числе его жертв ни князя Вяземского, ни Алексея Басманова: первый испустил дух в пытках; конец последнего — несмотря на все беспримерные, описанные нами злодейства — кажется еще невероятным: да будет сие страшное известие вымыслом богопротивным, внушением естественной ненависти к тирану, но клеветою! Современники пишут, что Иоанн будто бы принудил юного Федора Басманова убить отца своего, тогда же или прежде заставив князя Никиту Прозоровского умертвить брата, князя Василия! По крайней мере сын-изверг не спас себя отцеубийством: он был казнен вместе с другими. Имение их описали на государя; многих знатных людей сослали на Белоозеро, а святителя Пимена, лишив сана архиепископского, в тульский монастырь Св. Николая; многих выпустили из темниц на поруки; некоторых даже наградили царскою милостию. — Три дни Иоанн отдыхал: ибо надлежало предать трупы земле! В четвертый день снова вывели на площадь несколько осужденных и казнили: Малюта Скуратов, предводитель палачей, рассекал топорами мертвые тела, которые целую неделю лежали без погребения, терзаемые псами. (Там, близ Кремлевского рва, на крови и на костях, в последующие времена стояли церкви как умилительный христианский памятник сего душегубства.) Жены избиенных дворян, числом 80, были утоплены в реке.

Одним словом, Иоанн достиг наконец высшей степени безумного своего тиранства; мог еще губить, но уже не мог изумлять россиян никакими новыми изобретениями лютости. Скрепив сердце, опишем только некоторые из бесчисленных злодеяний сего времени.

Не было ни для кого безопасности, но всего менее для людей, известных заслугами и богатством: ибо тиран, ненавидя добродетель, любил корысть. Славный воевода, от коего бежала многочисленная рать Селимова, — который двадцать лет не сходил с коня, побеждая и татар и Литву и немцев, князь Петр Семенович Оболенский-Серебряный, призванный в Москву, видел и слышал от царя одни ласки; но вдруг легион опричников стремится к его дому Кремлевскому: ломают ворота, двери и пред лицом, у ног Иоанна отсекают голову сему, ни в чем не обвиненному воеводе. Тогда же были казнены: думный советник Захария Иванович Очин-Плещеев; Хабаров-Добрынский, один из богатейших сановников; Иван Воронцов, сын Федора, любимца Иоанновой юности; Василий Разладин, потомок славного в XIV веке боярина Квашни; воевода Кирик-Тырков, равно знаменитый и Ангельскою чистотою нравов и великим умом государственным и примерным мужеством воинским, израненный во многих битвах; Герой-защитник Лаиса Андрей Кашкаров; воевода нарвский Михайло Матвеевич Лыков, коего отец сжег себя в 1534 году, чтобы не отдать города неприятелю, и который, будучи с юных лет пленником в Литве, выучился там языку латинскому, имел сведения в науках, отличался благородством души, приятностию в обхождении — и ближний родственник сего воеводы, также Лыков, прекрасный юноша, посланный царем учиться в Германию: он возвратился было ревностно служить отечеству с душою пылкою, с разумом просвещенным! Воевода михайловский, Никита Козаринов-Голохвастов, ожидая смерти, уехал из столицы и посхимился в каком-то монастыре на берегу Оки; узнав же, что царь прислал за ним опричников, вышел к ним и сказал: «Я тот, кого вы ищете!» Царь велел взорвать его на бочке пороха, говоря в шутку, что схимники — Ангелы и должны лететь на небо. Чиновник Мясоед Вислой имел прелестную жену: ее взяли, обесчестили, повесили перед глазами мужа, а ему отрубили голову.

Гнев тирана, падая на целые семейства, губил не только детей с отцами, супруг с супругами, но часто и всех родственников мнимого преступника. Так, кроме десяти Колычовых, погибли многие князья ярославские (одного из них, князя Ивана Шаховского, царь убил из собственных рук булавою); многие князья Прозоровские, Ушатые, многие Заболотские, Бутурлины. Нередко знаменитые россияне избавлялись от казни славною кончиною. Два брата, князья Андрей и Никита Мещерские, мужественно за-

щищая новую Донскую крепость, пали в битве с крымцами: еще трупы сих витязей, орошаемые слезами добрых сподвижников лежали непогребенные, когда явились палачи Иоанновы, чтобы зарезать обоих братьев: им указали тела их! То же случилось и с князем Андреем Оленкиным: присланные убийцы нашли его мертвого на поле чести. Иоанн, ни мало тем не умиленный, совершил лютую месть над детьми сего храброго князя: уморил их в заточении.

Но смерть казалась тогда уже легкою: жертвы часто требовали ее как милости. Невозможно без трепета читать в записках современных о всех адских вымыслах тиранства, о всех способах терзать человечество. Мы упоминали о сковородах: сверх того были сделаны для мук особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы; разрезывали людей по составам, перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали ремни из спины...

И когда, в ужасах душегубства, Россия цепенела, во дворце раздавался шум ликующих: Иоанн тешился с своими палачами и *людьми веселыми*, или скоморохами, коих присылали к нему из Новагорода и других областей вместе с медведями! Последними он травил людей и в гневе и в забаву: видя иногда близ дворца толпу народа, всегда мирного, тихого, приказывал выпускать двух или трех медведей и громко смеялся бегству, воплю устрашенных, гонимых, даже терзаемых ими; но изувеченных всегда награждал: давал им по золотой деньге и более. Одною из главных утех его были также многочисленные шуты, коим надлежало смешить царя прежде и после убийств и которые иногда платили жизнию за острое слово. Между ими славился князь Осип Гвоздев, имея знатный сан придворный. Однажды, недовольный какою-то шуткою, царь вылил на него мису горячих щей: бедный смехотворец вопил, хотел бежать: Иоанн ударил его ножом... Обливаясь кровию, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. «Исцели слугу моего доброго, — сказал царь, — я поиграл с ним неосторожно». *Так неосторожно* (отвечал Арнольф), *что разве Бог и твое царское величество может воскресить умершего: в нем уже нет дыхания*. Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом, и продолжал веселиться. В другой раз, когда он сидел за обедом, пришел к нему воевода старицкий, Борис Титов, поклонился до земли и величал его как обыкновенно. Царь сказал: «Будь здрав, любимый мой воевода: ты достоин

нашего жалованья» — и ножом отрезал ему ухо. Титов, не изъявив ни малейшей чувствительности к боли, с лицом покойным благодарил Иоанна за милостивое наказание: желал ему царствовать счастливо! — Иногда тиран сластолюбивый, забывая голод и жажду, вдруг отвергал яства и питие, оставлял пир, громким кликом сзывал дружину, садился на коня и скакал плавать в крови. Так он из-за роскошного обеда устремился растерзать литовских пленников, сидевших в московской темнице. Пишут, что один из них, дворянин Быковский, вырвал копье из рук мучителя и хотел заколоть его, но пал от руки царевича Иоанна, который вместе с отцом усердно действовал в таких случаях, как бы для того, чтобы отнять у россиян и надежду на будущее царствование! Умертвив более ста человек, тиран при обыкновенных восклицаниях дружины: *гойда! гойда!* с торжеством возвратился в свои палаты и снова сел за трапезу... Однако ж и в сие время, и на сих пирах убийственных, еще слышался иногда голос человеческий, вырывались слова великодушной смелости. Муж храбрый, именем Молчан Митьков, нудимый Иоанном выпить чашу крепкого меда, воскликнул в горести: «О царь! Ты велишь нам вместе с тобою пить мед, смешанный с кровию наших братьев, христиан правоверных!» Иоанн вонзил в него свой острый жезл. Митьков перекрестился и с молитвою умер.

Таков был царь; таковы были подданные! Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении, ибо считали власть государеву властию Божественною и всякое сопротивление беззаконием; приписывали тиранство Иоанново гневу небесному и каялись в грехах своих; с верою, с надеждою ждали умилостивления, но не боялись и смерти, утешаясь мыслию, что есть другое бытие для счастия добродетели и что земное служит ей только искушением; гибли, но спасли для нас могущество России: ибо сила народного повиновения есть сила государственная.

Довершим картину ужасов сего времени: голод и мор помогали тирану опустошать Россию. Казалось, что земля утратила силу плодородия: сеяли, но не сбирали хлеба; и холод и засуха губили жатву. Дороговизна сделалась неслыханная: четверть ржи стоила в Москве 60 алтын или около девяти нынешних рублей серебряных. Бедные толпились на рынках, спрашивали о цене хлеба и вопили в отчаянии. Милостыня оскудела: ее просили и те, которые дотоль сами питали нищих. Люди скитались как тени; умирали на

улицах, на дорогах. Не было явного возмущения, но были страшные злодейства: голодные тайно убивали и ели друг друга! От изнурения сил, от пищи неестественной родилась прилипчивая смертоносная болезнь в разных местах. Царь приказал заградить многие пути; конная стража ловила всех едущих без письменного вида, неуказною дорогою, имея повеление жечь их вместе с товарами и лошадьми. Сие бедствие продолжалось до 1572 года.

Но ни Судьба, ни тиран еще не насытились жертвами. Не заключим, а только прервем описание зол, чтобы с удивлением видеть Иоанна как бы равнодушного, спокойного в его неутомимой политической деятельности.

Весною в 1570 году послы Сигизмундовы приехали в Москву для заключения мира, желая доставить его и королю шведскому; но Иоанн не хотел слышать о последнем. В тайной беседе они сказали царю, что вельможи их думают в случае Сигизмундовой, вероятно не отдаленной смерти предложить ему венец королевский, как государю славянского племени, христианину и владыке сильному. Не изъявив ни удовольствия, ни решительного согласия, Иоанн хладнокровно ответствовал: «Милосердием Божиим и молитвами наших прародителей Россия велика: на что мне Литва и Польша? Когда же вы имеете сию мысль, то вам не должно раздражать нас затруднениями в святом деле покоя христианского». Говорили о мире, но заключили только перемирие на три года, утвержденное Сигизмундом в Варшаве в присутствии наших послов, которые донесли царю, что вельможи литовские желают выдать за него сестру Сигизмундову Софию и видят в нем уже будущего своего властителя; что они не хотят поддаться ни цесарю, худому защитнику и собственных земель его, ни другим государям, более или менее слабым, в сравнении с московским, неприятелем опасным, но и самым надежнейшим покровителем. Честолюбивый Иоанн верил и мысленно уже простирал свою кровавую десницу к венцу Ягеллонов!

Между тем он деятельно занимался Ливониею. Любимцы его, Таубе и Крузе, возвышенные им в сан думных людей, внушили ему мысль составить из бывших орденских земель особенное *королевство* под верховною властию России, уверяя, что все жители в таком случае пристанут к нам душою и сердцем, изгонят шведов, литовцев и будут вместе с королем своим вернейшими подданными великого государя московского. Еще в 1565 году, как пишут, Иоанн в самых милостивых выражениях предлагал знаменитому своему

пленнику Фирстенбергу быть ливонским владетелем и царским присяжником; но сей великодушный старец отвечал, что для него лучше умереть в неволе, нежели изменить совести и святым обетам рыцарства. В 1569 году Таубе и Крузе, пользуясь доверенностию Иоанновою, имели сношения с ревельскими гражданами, склоняя их поддаться царю, обещая им *времена златые*, свободу, тишину и говорили им: «Что представляет Ливония в течение двенадцати лет? картину ужасных бедствий, кровопролитий, разорений. Никто не уверен ни в жизни, ни в достоянии. Мы служим великому царю московскому, но не изменили своему первому, истинному отечеству, коему хотим добра и спасения. Знаем, что он намерен всеми силами ударить на Ливонию: выгнать шведов, поляков и датчан. Где защитники? Германия о вас не думает: беспечность и слабость императора вам известны. Король датский не смеет молвить царю грубого слова. Дряхлый Сигизмунд унижается, ищет мира в Москве, а своих ливонских подданных только утесняет. Швеция ждет мести и казни: вы уже сидели бы в осаде, если бы жестокая язва, свирепствуя в России, не препятствовала царю мыслить о воинских действиях. Он любит немцев; сам происходит от Дома *баварского** и дает вам слово, что под его державою не будет города счастливее Ревеля. Изберите себе властителя из князей германских: не вы, но единственно сей властитель должен зависеть от Иоанна, как немецкие принцы зависят от императора — не более. Наслаждайтесь миром, вольностию, всеми выгодами торговли, не платя дани, не зная трудов службы воинской. Царь желает быть единственно вашим благодетелем!» В то же время они именем Иоанновым предлагали герцогу курляндскому Готгарду сан ливонского короля. Но им не верили как ненавистным слугам московского, уже везде известного тирана. Ревель не хотел изменить Швеции, а Готгард Сигизмунду. Тогда поверенные Иоанновы обратились к принцу датскому Магнусу, владетелю Эзеля, и сей легкомысленный юноша, ими обольщенный, согласился быть орудием Иоанновой политики, без ведома брата своего, короля датского.

В знак доверенности к великим милостям, ему обещанным, Магнус сам поехал к царю. В Дерпте услышал он о судьбе Нова-

* ...Флетчер пишет следующее: «Иоанн, велев одному английскому золотарю сделать для него блюдо и хорошенько взвесить отданный ему слиток сего металла, примолвил: *не верь моим русским: они все воры*. Англичанин улыбнулся: царь хотел знать причину. Если угодно Вашему Величеству (сказал золотых дел мастер), то не скрою от вас мысли моей: называя всех русских ворами, забываете, что и вы сами принадлежите к их числу. Нет, отвечал Иоанн: *я не русский: мои предки были немцы*»... (IX, 166.)

города: остановился, медлил и думал возвратиться с пути от ужаса. Но честолюбие одержало верх: он приехал в Москву с великою пышностию, на двухстах конях, со множеством слуг и чиновников; был принят с особенною благосклонностию, угощаем пирами — и через несколько дней совершилось важное дело: царь назвал Магнуса *королем Ливонии*, а Магнус царя своим верховным владыкою и отцом, удостоенный чести жениться на его племяннице *Евфимии*, дочери несчастного князя Владимира Андреевича. Брак отложили до благоприятнейшего времени. Иоанн обещал невесте пять бочек золота; для своего будущего зятя освободил дерптских пленников; дал ему войско для изгнания шведов из Эстонии. Провожаемый многими немцами и полками российскими, Магнус вступил в Ливонию, объявляя жителям свое королевство, милость Иоаннову, соединение всех земель орденских, начало тишины и благоденствия. Таубе, Крузе, уполномоченные царем, торжественно ручались за его искренность и добрую волю; говорили и писали, что Ливония останется державою свободною, платя только легкую дань государю московскому; что все наши чиновники выедут оттуда; что одни немцы именем короля и закона будут управлять землею. Многие верили и радовались, но недолго. Магнус, жертва честолюбия и легковерия, сделался виновником новых бедствий для несчастной Ливонии.

Слушаясь во всем Таубе и Крузе, он (23 августа) приступил к Ревелю с 5000 россиян и со многочисленною немецкою дружиною в надежде овладеть им без кровопролития: но граждане ответствовали на его предложение, что они знают коварство Иоанна; что тиран своего народа не может быть благотворителем чужого; что неопытный юный Магнус имеет советников или злонамеренных или безрассудных; что ему готовится в России участь князя Михайла Глинского, но что Ревель не хочет уподобиться Смоленску. Началась осада, вылазки и смертоносные болезни как в городе, так и в стане россиян, которые оказывали более терпения, нежели искусства и храбрости. Земляные работы изнуряли осаждающих бесполезно; действие их огнестрельного снаряда было слабо. Заняв высоты пред самыми воротами ревельскими и построив деревянные башни, они пускали гранаты, каленые ядра в крепость без важного вреда для неприятеля. Настала осень, зима. Воеводы московские, боярин Иван Петрович Яковлев, князья Лыков, Кропоткин, не умея взять Ревеля, только грабили села эстонские и в феврале отпустили в Россию 2000 саней, наполненных добы-

чею. Ждали, что голод заставит осажденных сдаться; но шведский флот успел доставить им изобилие в съестных и воинских припасах. Наконец войско уже изъявляло неудовольствие. Магнус был в отчаянии; винил царских советников, Таубе и Крузе; не знал, что делать, и послал духовника своего, Шраффера, с новыми убеждениями к ревельским гражданам. Сей красноречивый пастор бесстыдно уверял их, что Иоанн есть государь истинно христианский, любит церковь латинскую более греческой и легко может пристать к Аугсбургскому исповеданию; что он строг по необходимости для одних россиян, а немцам друг истинный; что Ревель бесполезным сопротивлением удаляет златой век, даруемый Ливонии в особе юного короля. Граждане велели ему идти назад без ответа — и 16 марта, стояв под Ревелем 30 недель, Магнус снял осаду, зажег стан, ушел с своею немецкою дружиною в Оберпален, данный ему царем в залог будущего королевства; а наше войско расположилось в восточной Ливонии.

Сия первая неудача должна была оскорбить царя. В то же время, сведав о мире короля датского с шведским, он изъявил Магнусу живейшее неудовольствие, обвиняя брата его в нарушении союза с Россиею и в дружбе с ее злодеем. Другое неожиданное происшествие еще более встревожило и царя и Магнуса. Обязанные Иоанну свободою, знатностию, богатством, Крузе и Таубе, после несчастной ревельской осады, утратив доверенность нового короля ливонского, боясь утратить и государеву, забыли клятву, честь — вступили в тайные сношения с шведами, с поляками и вознамерились овладеть Дерптом, чтобы отдать его тем или другим. Способ казался легким: они могли располагать дружиною немецких воинов, которые, служа царю за деньги, не усомнились изменить ему. Знатные жители дерптские, быв долго пленниками в России, более других ливонцев ненавидели ее господство: следственно можно было надеяться на их ревностное содействие. С сею мыслию заговорщики вломились в город; умертвили стражу; звали к себе друзей, братьев; кричали, что настал час свободы и мести. Но изумленные граждане остались только зрителями: никто не пристал к изменникам, с коими россияне в несколько минут управились: одних изрубили, других выгнали, и, считая жителей предателями, в остервенении умертвили многих невинных. Таубе и Крузе спаслися бегством: отверженные ревельцами, не хотевшими ни слушать, ни видеть их, они искали убежища в польских владениях, где король и в особенности герцог курляндский при-

няли сих безрассудных с великою честию, в надежде сведать от них важные государственные тайны России, но сведали единственно о всех ужасах тиранства Иоаннова! За год до того времени Таубе и Крузе писали к императору Максимилиану, что один Иоанн может изгнать турков из Европы, имея войско бесчисленное, опытное, непобедимое: изменив России, они уверяли Максимилиана и других европейских государей в ее бессилии и в возможности завоевать или по крайней мере стеснить оную! — Опасаясь быть жертвою их измены и гнева Иоаннова, Магнус, хотя и невинный, спешил уехать из Оберпалена на остров Эзель.

Но царь умел быть твердым в намерениях, скрывать внутреннюю досаду, казаться хладнокровным в самых важных несгодах. Он старался успокоить Магнуса новыми уверениями в своей милости; с горестию известив его о внезапной кончине невесты, юной Евфимии, предложил ему руку малолетней сестры ее, Марии, с такими ж условиями, с тем же богатым приданым и снова обещал завоевать для него Эстонию. Магнус утешился: с благодарностию принял опять имя жениха царской племянницы; ждал с нею королевства и писал к брату, к императору, к князьям Германии, что не суетное честолюбие, но истинное усердие к общему благу христиан заставило его искать союза России, дабы сделаться посредником между империею и сею великою державою, которая может вместе с другими европейскими венценосцами восстать для обуздания Турции. Сию надежду имел и сам император и вся Германия, устрашаемая султанским властолюбием; но Иоанн, как увидим, не думал о славе защитить христианскую Европу от магометанского оружия: думал единственно о выгодах своей особенной политики — о вернейшем способе овладеть всею Ливониею и смирить гордость ревельцев, которые дерзали торжественно именовать его тираном и величались победою, одержанною над россиянами, уставив ежегодно праздновать ее память 16 марта. Он готовил месть, замедленную тогда ужаснейшим бедствием Москвы и всей юго-восточной России.

Следуя правилу не умножать врагов России, Иоанн хотел отвратить новую, бесполезную войну с султаном, коего добрая к нам приязнь могла обуздывать хана: для того (в 1570 году) дворянин Новосильцов ездил в Константинополь поздравить Селима с воцарением. Иоанн в ласковом письме к нему исчислял все дружественные сношения России с Турциею от времен Баязета; удивлялся впадению Селимовой рати в наши владения без объявления

войны; предлагал и мир и дружбу. «Мой государь, — должен был сказать Новосильцов вельможам султанским, — не есть враг мусульманской Веры. Слуга его, царь Саин-Булат, господствует в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве, Ибак в Сурожике, князья ногайские в Романове: все они свободно и торжественно славят Магомета в своих мечетях: ибо у нас всякий иноземец живет в своей Вере. В Кадоме, в Мещере многие приказные государевы люди мусульманского Закона. Если умерший царь казанский Симеон, если царевич Муртоза сделались христианами, то они сами желали, сами требовали крещения». Новосильцов был доволен благосклонным приемом, заметив только, что султан не спрашивал его о здравии Иоанна и, в противность нашему обыкновению, не звал обедать с собою. Но сие посольство и другое (в 1571 году) не имели желаемого следствия, хотя царь, в угодность Селиму, согласился уничтожить новую крепость нашу в Кабарде. Гордый султан хотел Астрахани и Казани, или того, чтобы Иоанн, владея ими, признал себя данником Оттоманской империи. Предложение столь нелепое осталось без ответа. В то же время царь узнал, что Селим просит Киева у Сигизмунда для удобнейшего впадения в Россию; что он велел делать мосты на Дунае и запасать хлеб в Молдавии; что хан, возбуждаемый турками, готовится к войне с нами; что царевич крымский разбил тестя государева, Темгрюка, и взял в плен двух его сыновей. Уже Девлет-Гирей в непосредственных сношениях с Москвою снова начал грозить, требовать дани и восстановления царств Батыевых, Казанского, Астраханского. Уже из Донкова, из Путивля извещали государя о движениях ханского войска: разъезды наши видели в степях пыль необычайную, огни ночью, *сакму*, или следы многочисленной конницы; слышали вдали *прыск* и ржание табунов. Полководцы московские стояли на Оке. Два раза сам Иоанн с сыном своим выезжал к войску, в Коломну, в Серпухов. Уже были и легкие сшибки, в местах рязанских и коширских; но крымцы везде являлись в малом числе, немедленно исчезая, так что государь наконец успокоился — объявил донесения сторожевых атаманов неосновательными — и зимою распустил большую часть войска...

Тем более он встревожился при наступлении весны, хотя хан, вооружив всех своих улусников, тысяч сто или более, с необыкновенною скоростию вступил в южные пределы России, где встретили его некоторые беглецы, наши дети боярские, изгнанные из отечества ужасом московских казней: сии изменники ска-

зали Девлет-Гирею, что голод, язва и непрестанные опалы в два года истребили большую часть Иоаннова войска; что остальное в Ливонии и в крепостях; что путь к Москве открыт; что Иоанн только для славы, только для вида может выйти в поле с малочисленною опричниною, но не замедлит бежать в северные пустыни; что в истине того они ручаются своею головою, и будут верными путеводителями крымцев. Изменники, к несчастию, сказали правду: мы имели уже гораздо менее воевод мужественных и войска исправного. Князья Бельский, Мстиславский, Воротынский, бояре Морозов, Шереметев, спешили, как обыкновенно, занять берега Оки, но не успели: хан обошел их и другим путем приблизился к Серпухову, где был сам Иоанн с опричниною. Требовалось решительности, великодушия: царь бежал!.. в Коломну, оттуда в Слободу, мимо несчастной Москвы; из Слободы к Ярославлю, чтобы спастися от неприятеля, спастися от изменников: ибо ему казалось, что и воеводы и Россия выдают его татарам! Москва оставалась без войска, без начальников, без всякого устройства: а хан уже стоял в тридцати верстах! Но воеводы царские с берегов Оки, не отдыхая, приспели для защиты — и что же сделали? Вместо того, чтобы встретить, отразить хана в поле, заняли предместия московские, наполненные бесчисленным множеством беглецов из деревень окрестных; хотели обороняться между тесными, бренными[1] зданиями. Князь Иван Бельский и Морозов с большим полком стали на Варламовской улице; Мстиславский и Шереметев с правою рукою на Якимовской; Воротынский и Татев на Таганском лугу против Крутиц; Темкин с дружиною опричников за Неглинною. На другой день, мая 24 [1571 г.], в праздник Вознесения, хан подступил к Москве — и случилось, чего ожидать надлежало: он велел зажечь предместия. Утро было тихое, ясное. Россияне мужественно готовились к битве, но увидели себя объятыми пламенем: деревянные домы и хижины вспыхнули в десяти разных местах. Небо омрачилось дымом; поднялся вихрь и чрез несколько минут огненное, бурное море разлилось из конца в конец города с ужасным шумом и ревом. Никакая сила человеческая не могла остановить разрушения: никто не думал тушить; народ, воины в беспамятстве искали спасения и гибли под развалинами пылающих зданий, или в тесноте давили друг друга, стремясь в город, в Китай, но отовсюду гони-

---

[1] Бренный — непрочный.

мые пламенем бросались в реку и тонули. Начальники уже не повелевали, или их не слушались: успели только завалить Кремлевские ворота, не впуская никого в сие последнее убежище спасения, огражденное высокими стенами. Люди горели, падали мертвые от жара и дыма в церквах каменных. Татары хотели, но не могли грабить в предместиях: огонь выгнал их, и сам хан, устрашенный сим адом, удалился к селу Коломенскому. В три часа не стало Москвы: ни посадов, ни Китая-города; уцелел один Кремль, где в церкви Успения Богоматери сидел митрополит Кирилл с святынею и с казною; арбатский любимый дворец Иоаннов разрушился. Людей погибло невероятное множество: более ста двадцати тысяч воинов и граждан, кроме жен, младенцев и жителей сельских, бежавших в Москву от неприятеля; а всех около восьмисот тысяч. Главный воевода князь Бельский задохнулся в погребе на своем дворе, также боярин Михайло Иванович Вороной, первый доктор Иоаннов, Арнольф Лензей, и 25 лондонских купцов. На пепле бывших зданий лежали груды обгорелых трупов человеческих и конских. «Кто видел сие зрелище, — пишут очевидцы, — тот вспоминает об нем всегда с новым ужасом и молит Бога не видать оного вторично».

Девлет-Гирей совершил подвиг: не хотел осаждать Кремля, и с Воробьевых гор обозрев свое торжество, кучи дымящегося пепла на пространстве тридцати верст, немедленно решился идти назад, испуганный, как уверяют, ложным слухом, что герцог или король Магнус приближается с многочисленным войском. Иоанн, в Ростове получив весть об удалении врага, велел князю Воротынскому идти за ханом, который однако ж успел разорить большую часть юго-восточных областей московских и привел в Тавриду более ста тысяч пленников. Не имея великодушия быть утешителем своих подданных в страшном бедствии, боясь видеть феатр ужаса и слез, царь не хотел ехать на пепелище столицы: возвратился в Слободу и дал указ очистить московские развалины от гниющих трупов. Хоронить было некому: только знатных или богатых погребали с христианскими обрядами; телами других наполнили Москву-реку, так что ее течение пресеклось: они лежали грудами, заражая ядом тления и воздух и воду; а колодези осушились или были засыпаны: остальные жители изнемогали от жажды. Наконец собрали людей из окрестных городов; вытаскали трупы из реки и предали их земле. —Таким образом, фиал гнева Небесного излиялся на Россию. Чего не доставало к ее бедст-

виям, после голода, язвы, огня, меча, плена и — тирана?

Теперь увидим, сколь тиран был малодушен в сем первом, важнейшем злоключении своего царствования. 15 июня он приблизился к Москве и остановился в Братовщине, где представили ему двух гонцов от Девлет-Гирея, который, выходя из России, как величавый победитель желал с ним искренно объясниться. Царь был в простой одежде: бояре и дворяне также в знак скорби или неуважения к хану. На вопрос Иоаннов о здравии брата его, Девлет-Гирея, чиновник ханский ответствовал: «*Так говорит тебе царь наш*: мы назывались друзьями; ныне стали неприятелями. Братья ссорятся и мирятся. Отдай Казань с Астраханью: тогда усердно пойду на врагов твоих». Сказав, гонец явил дары ханские: нож, окованный золотом, и примолвил: «Девлет-Гирей носил его на бедре своей: носи и ты. Государь мой еще хотел послать тебе коня; но кони наши утомились в земле твоей». Иоанн отвергнул сей дар *непристойный* и велел читать Девлет-Гирееву грамоту: «Жгу и пустошу Россию (писал хан) единственно за Казань и Астрахань; а богатство и деньги *применяю* к праху[1]. Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве; хотел венца и головы твоей: но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы — и смеешь хвалиться своим царским величием, не имея ни мужества, ни стыда! Ныне узнал я пути государства твоего: снова буду к тебе, если не освободишь посла моего, бесполезно томимого неволею в России; если не сделаешь, чего требую, и не дашь мне клятвенной грамоты за себя, за детей и внучат своих». Как же поступил Иоанн, столь надменный против христианских, знаменитых венценосцев Европы? *Бил челом* хану: обещал уступить ему Астрахань при торжественном заключении мира; а до того времени молил его не тревожить России; не отвечал на слова бранные и насмешки язвительные; соглашался отпустить посла крымского, если хан отпустит Афанасия Нагого и пришлет в Москву вельможу для дальнейших переговоров. Действительно готовый в крайности отказаться от своего блестящего завоевания, Иоанн писал в Тавриду к Нагому, что мы должны по крайней мере вместе с ханом утверждать будущих царей астраханских на их престоле; то есть желал сохранить тень власти над сею державою. Изменяя нашей государственной чести и пользе, он не усомнился изменить и правилам церкви: в

[1] Прах — пыль.

угодность Девлет-Гирею выдал ему тогда же одного знатного крымского пленника, сына княжеского, добровольно принявшего в Москве Веру христианскую; выдал на муку или на перемену Закона, к неслыханному соблазну для православия.

Унижаясь пред врагом, Иоанн как бы обрадовался новому поводу к душегубству в бедной земле своей, и еще Москва дымилась, еще татары злодействовали в наших пределах, а царь уже казнил и мучил подданных! Мы видели, что изменники российские вели Девлет-Гирея к столице: сею изменою Иоанн мог изъяснять успех неприятеля; мог, как и прежде, оправдывать исступления своего гнева и злобы: нашел и другую вину, не менее важную. Скучая вдовством, хотя и не целомудренным, он уже давно искал себе третьей супруги. Впадение ханское прервало сие дело; когда же опасность миновалась, царь снова занялся оным. Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных и незнатных, числом более двух тысяч; каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а после 12, коих надлежало осмотреть доктору и бабкам; долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочел всем Марфу Васильевну Собакину, дочь купца новогородского, в то же время избрав невесту и для старшего царевича, Евдокию Богдановну Сабурову. Отцы счастливых красавиц из ничего сделались боярами, дяди будущей царицы окольничими, брат крайчим; возвысив саном, их наделили и богатством, *добычею опал*, имением, отнятым у древних родов княжеских и боярских. Но царская невеста занемогла; начала худеть, сохнуть: сказали, что она *испорчена* злодеями, ненавистниками Иоаннова семейственного благополучия, и подозрение обратилось на ближних родственников цариц умерших, Анастасии и Марии. Разыскивали — вероятно, страхом и лестию домогались истины или клеветы. Не знаем всех обстоятельств: знаем только, кто и как погиб в сию *пятую* эпоху убийств. Шурин Иоаннов князь Михайло Темгрюкович, суровый азиатец, то знатнейший воевода, то гнуснейший палач, осыпаемый и милостями и ругательствами, многократно обогащаемый и многократно лишаемый всего в забаву царю, должен был с полком опричников идти вслед за Девлет-Гиреем: он выступил — и вдруг, сраженный опалою, был посажен на кол! Вельможу Ивана Петровича Яковлева (прощенного в 1566 году), брата его, Василия, бывшего пестуном старшего царевича, и воеводу Замятню Сабурова, родного племянника несчастной Соломониды, первой супруги отца Иоанно-

4 Зак. № 40

ва, засекли, а боярина Льва Андреевича Салтыкова постригли в монахи Троицкой обители и там умертвили. Открылись казни иного рода: злобный клеветник доктор Елисей Бомелий, о коем мы упоминали, предложил царю истреблять лиходеев ядом и составлял, как уверяют, губительное зелие с таким адским искусством, что отравляемый издыхал в назначаемую тираном минуту. Так Иоанн казнил одного из своих любимцев Григория Грязного, князя Ивана Гвоздева-Ростовского и многих других, признанных участниками в отравлении царской невесты или в измене, открывшей путь хану к Москве. Между тем царь женился (28 октября) на больной Марфе, надеясь, по его собственным словам, спасти ее сим действием любви и доверенности к милости Божией; чрез шесть дней женил и сына на Евдокии; но свадебные пиры заключились похоронами: Марфа 13 ноября скончалась, быв или действительно жертвою человеческой злобы или только несчастною виновницею казни безвинных. Во всяком случае царственный гроб ее, стоящий подле двух супруг Иоанновых, в Девичьем монастыре Вознесенском, есть предмет умиления и горестных мыслей для потомства.

Утешенный местию, Иоанн искал дальнейшего рассеяния в делах государственных. Боясь вторичного ханского нашествия и желая взять меры для безопасности Москвы, он уничтожил ее посады: всех купцов и мещан перевел оттуда в город и запретил им строить *высокие* деревянные домы, опасные в случае пожара; осмотрел, распорядил войско; велел касимовскому царю, Саин-Булату, с передовою дружиною идти на шведов к Орешку, и сам отправился в Новгород. Казалось, что ему нелегко было увидеть сие позорище лютых казней, ужасное знамение его гнева, — то место, где в страшном безмолвии людей камни вопияли на губителя, — место скорби, уныния, нищеты и болезней, которые там еще свирепствовали. Наместники новогородские велели собраться всем жителям пред пустым необитаемым двором архиепископским и читали им грамоту Иоаннову: царь писал, чтобы они были спокойны и готовили, по древнему обычаю, запасы для его прибытия. Очистили ему двор и сад на Никитской улице; поставили в Софийской церкви новое место царское и над ним златого голубя как бы в знак примирения и незлобия; обновили и место святительское в сем без владыки осиротелом храме. Взяли строгие меры для безопасности царского здравия: не велели хоронить в городе людей, умирающих от болезни заразительной; от-

вели для них кладбище на берегу Волхова, близ монастыря Хутынского; с утра до ночи ходили стражи по улицам, осматривая домы и запирая те, в коих сей недуг обнаруживался; не пускали к больным и священников, угрожая тем и другим, в случае непослушания, сожжением на костре. Сия жестокая строгость имела однако ж благодетельное следствие: в начале зимы духовенство объявило торжественно посланнику государеву, что мор совершенно прекратился в Новегороде — и 23 декабря, для обрадования жителей, приехал к ним новый их архиепископ Леонид, поставленный в Москве из архимандритов Чудовского монастыря; а на другой день и сам государь с детьми своими и с знатнейшими чиновниками. Еще двор Иоаннов, несмотря на избиение столь многих вельмож, казался пышным и блестящим; еще являлись у трона мужи, украшенные сединою и заслугами. Походную или воинскую Думу его составляли тогда бояре и князья Мстиславский, Воротынский, Пронский, Трубецкой, Одоевский, Сицкий, Шереметев и знатнейший между ими Петр Тутаевич Шийдяков ногайский; окольничий Василий Собакин; думные дворяне Малюта Скуратов и Черемисинов; печатник Олферьев; дьяки Андрей и Василий Яковлевы Щелкаловы, главные дельцы по смерти злосчастного Ивана Махайловича Висковатого. Полки собирались в Орешке и в Дерпте, чтобы воевать вместе и Финляндию и Эстонию в отмщение королю шведскому за неисполнение Эрикова безумного договора и за неудачу Магнуса под Ревелем.

Но пепел Москвы, оскудение России и новые опасения со стороны хана склоняли Иоанна к миролюбию: он хотел только мира честного. Послы шведские были сосланы в Муром: их привезли в Новгород, где объявили им условия царской милости. Иоанн требовал, чтобы король заплатил 10 000 ефимков за оскорбление Воронцова и Наумова в Стокгольме, уступил нам всю Эстонию и серебряные рудники в Финляндии, заключил с царем союз против Литвы и Дании, а в случае войны давал ему 1000 конных и 500 пеших ратников; наконец, чтобы король именовал его в грамотах *властителем Швеции* и прислал в Москву свой герб для изображения оного на печати царской! Послы, изнуренные жестокою неволею, страшились досадить Иоанну как за себя, так и за слабую Швецию, угрожаемую нападением сильного войска: молили царевичей и бояр убедить государя, чтобы он унял свой меч, отпустил их к королю и согласился мирно ждать ответа; говорили, что в Финляндии нет серебряной руды; что Швеция есть

земля бедная и не в силах помогать нам войском. Представленные Иоанну, они пали ниц: царь велел им встать и сказал: «Я владыка христианский и не хочу земного себе поклонения»; исчислил вины короля: повторил свои требования и примолвил: «да исполнит волю нашу или увидим, чей меч острее». Далее объявил им, что он, требуя Екатерины от Эрика, считал ее вдовою бездетною: следственно не нарушал тем устава Божественного; хотел единственно иметь надежный залог для усмирения Сигизмунда. Послы уверяли, что король во всем *исправится* и *добьет челом* царю за вину свою; обедали с ним и подписали грамоту, в коей сказано, что великий государь российский пременил гнев на милость к Швеции и согласился не воевать ее владений до Троицына дня, с условием, чтобы король прислал к сему времени других послов в Новгород, а с ними 10 000 ефимков за обиду Воронцова и Наумова, 200 конных воинов, снаряженных по *немецкому чину* на службу московскую, и несколько искусных металлургов; чтобы он свободно пропускал в Россию мед, олово, свинец, нефть, серу: также медиков, художников, людей воинских. В ласковой беседе с епископом абовским бояре расспрашивали о летах, уме и дородстве юной сестры королевской; изъявили желание иметь ее живописный образ и дали чувствовать, что царь может на ней жениться. Наконец отпустили послов в Стокгольм с честию и с письмом к королю. Иоанн писал: «Ничем не умолишь меня, если не откажешься от Ливонии. Надежда твоя на цесаря есть пустая. Говори, что хочешь; но словами не защитишь земли своей». Тогда царь объявил войску, что неприятельские действия отлагаются из уважения к челобитью шведов, и пробыв 26 дней в Новегороде — не сделав там никому зла, восстановив к удовольствию жителей старинный обычай судных поединков, дав им в наместники первостепенного боярина князя Мстиславского, и Пронского — 18 генваря [1572 г.] выехал оттуда, провождаемый благословениями народа.

Первым делом его по возвращении в Москву или в Александровскую Слободу было неслыханное дотоле в России церковное беззаконие. Он в *четвертый раз* женился, на Анне Алексеевне Колтовской, девице весьма незнатной, не рассудив за благо требовать святительского благословения; но немедленно усовестился, созвал епископов и молил их утвердить сей брак. Митрополит Кирилл в то время преставился: на Соборе первенствовал новогородский архиепископ Леонид, корыстолюбец, угодник мирской влас-

ти. Так Иоанн говорил святителям (торжественно в храме Успения): «Злые люди чародейством извели первую супругу мою Анастасию. Вторая, княжна черкасская, также была отравлена, и в муках, в терзаниях отошла ко Господу. Я ждал немало времени и решился на третий брак, отчасти для нужды телесной, отчасти для детей моих, еще не достигших совершенного возраста: юность их претила мне оставить мир; а жить в мире без жены соблазнительно. Благословенный митрополитом Кириллом, я долго искал себе невесты, испытывал, наконец избрал; но зависть, вражда погубили Марфу, только именем царицу: еще в невестах она лишилась здравия и чрез две недели супружества преставилась девою. В отчаянии, в горести я хотел посвятить себя житию иноческому; но видя опять жалкую младость сыновей и государство в бедствиях, дерзнул на четвертый брак. Ныне, припадая с умилением, молю святителей о разрешении и благословении». Такое смирение великого царя, как сказано в деяниях сего Собора, глубоко тронуло архиепископов и епископов: они *проливали слезы*, болезнуя о вине и виновном. Читали устав Вселенских Соборов; рассуждали и положили утвердить брак, *ради теплого, умильного покаяния* государева, с заповедию не входить Иоанну в храм до Пасхи, только в сей день причаститься Святых Таин, год стоять в церкви с *припадающими*, год с *верными* и вкушать антидор[1] единственно в праздники; но в случае воинского похода увольняли его от сей эпитимии: брали ее на себя; между тем обязывались молиться за царицу Анну — и дабы беззаконие царя не было соблазном для народа, то грозили ужасною церковною клятвою всякому, кто подобно Иоанну дерзнет взять четвертую жену. Кроме Леонида грамоту разрешительную подписали архиепископы Корнилий ростовский и Антоний полоцкий, семь епископов, несколько архимандритов и знатнейших игуменов. Успокоив Иоаннову совесть, они занялись и другим важным делом: избрали митрополита: сей чести удостоился архиепископ Антоний.

Между тем, желая мира, но готовясь к войне — требуя всех детей боярских на службу, укрепляя города южные, Болхов, Орел, незадолго до сего времени основанный в степи, — Иоанн имел переговоры с разными державами. Он возобновил союз с королевою Елисаветою, быв недоволен ее холодностию к объявленному им намерению искать убежища в Англии и едва не вы-

---

[1] Антидор — просфора.

гнав из России лондонских купцов, обвиняемых в беззаконном корыстолюбии. Чтобы умилостивить царя, Елисавета в четвертый раз прислала к нему Дженкинсона с уверениями в дружестве искреннем и неизменном. «Для чего же королева (сказал Иоанн), занимаясь единственно выгодами английской торговли, не оказала живого участия в обстоятельствах решительных для судьбы моей? Знаю, что торговля важна для государства; но собственные дела царские еще важнее купеческих». Дженкинсон оправдывал Елисавету, виня худых переводчиков, которые не умели истолковать ее слов, одушевленных любовию к царю; спрашивал о преступлении купцов лондонских; исчислил их услуги; доказывал, что они, исполняя волю королевы, содействовали успехам нашего оружия в Ливонии, не дав северным державам заградить морского пути в Нарву и лишить Россию выгод балтийской торговли, Иоанн смягчился; объявил милость всем англичанам, не хотел говорить о вине их, сказав: «Кого прощаю, того уже не виню. Будем друзьями, как были. Прежняя тайна остается тайною. Теперь иные обстоятельства; а в случае нужды откроюсь возлюбленной сестре моей Елисавете с полною доверенностию». То есть, искоренив мнимых внутренних врагов, он уже не мыслил о бегстве в Лондон! Снова исходатайствовав для купцов своих милостивое дозволение торговать в России, предложив основать контору в Астрахани для мены с Персиею и гостиный двор в Колмогорах, Дженкинсон требовал еще 1) свободного отпуска английских художников и ремесленников из Москвы в Лондон; 2) платежа за товары, взятые у англичан в долг некоторыми опальными, *казненными* дворянами царскими и 3) за все, что сгорело у сих купцов во время московского пожара. Сии требования, кажется, были неприятные Иоанну: он сказал, что иноземцы вольны жить или не жить у нас; что велит справиться о долгах, а впредь не хочет о них слышать; что государь не ответствует за огонь и за гнев Божий, который обратил Москву в пепел. Дженкинсона отпустили с честию и с ласковым письмом к Елисавете.

В новых сношениях с Даниею и с Литвою Иоанн следовал старым правилам гордой непреклонности. Король Фредерик не давал ему знать о своем мире с Швециею, не изъявлял ни малейшего участия в судьбе Магнуса, но уверял царя в неизменном дружестве; жаловался, что россияне отнимают у норвежцев земли и рыбные ловли; просил *опасной грамоты* для послов императора Максимилиана, едущих в Москву за важным делом. Царь сказал: «Фредерик

хорошо делает, что желает нам быть верным другом до конца жизни; но то не хорошо, что без нашего веления мирится с неприятелем России. Да исправится; да стоит с нами заедино; да убедит шведов повиноваться воле моей! О делах норвежских разведаем и не замедлим в управе. Послов брата нашего, Максимилиана, ожидаем: им путь свободен сюда и отсюда». Сигизмундов посланник Гарабурда объявил Иоанну, что во многих немецких городах ходят от его имени письма бранные, весьма оскорбительные для короля, исполненные лжи и нелепостей; что царь должен торжественно отказаться от сих злобою рассеянных клевет; что герцог Магнус с помощию россиян воевал королевские мызы[1]; что мы в противность договору заняли Тарваст; что Сигизмунд желал бы охотно уступить нам некоторые из ливонских городов за Полоцк. Дьяк царский, Андрей Щелкалов, ответствовал, что бранные письма о короле сочинены немцами Таубе и Крузе в опровержение Сигизмундова злословия, как они доносили Иоанну; что сии два негодяя бежали в Литву; что королю должно прислать их в Москву для казни и что тогда царь немедленно известит всех государей европейских о подлоге оскорбительных для Сигизмунда грамот; что Тарваст занят нами, ибо он наш; что Магнус воевал не польские, а шведские владения; что если король уступит России всю Ливонию, то мы готовы уступить ему и Полоцк и Курляндию; что Иоанн, для дела столь важного, будет ждать великих послов королевских во Пскове: ибо царь опять ехал в Новгород, чтобы заключить мир или воевать с Швециею презираемою, в то время, когда, не имея вестей из Тавриды, мог угадывать злое намерение хана; когда уже носился слух о близости его нового нашествия; когда безопасность и Москвы и России требовала царского присутствия в столице, возникающей из пепла, слабой, робкой в ужасных воспоминаниях своего недавнего бедствия! Иоанн как бы искал единственно личной безопасности в стране отдаленной: послал в Новгород 450 возов с казною; взял туда с собою и юную супругу, обоих сыновей, царевича Михайла (Кайбулина сына), молдавского воеводича Стефана и волошского Радула, братьев царицы, Григория и Александра Колтовских, немногих бояр, всех любимцев, лучших дьяков и войско отборное, а на случай осады (следственно им предвиденной!) вверил защиту Москвы князьям Юрию Токмакову и Тимофею Долгорукому. Но осталось войско и в поле: знаменитый муж,

---

[1] Мыза — отдельно стоящая загородная усадьба с хозяйственными постройками (преимущественно в Прибалтике).

князь Михайло Воротынский, с достойными товарищами, с боярином Шереметевым, с князьями Никитою Одоевским, Андреем Хованским, стояли на Оке, чтобы ждать, отразить хана. Государь дал им и свою семитысячную дружину немецкую с ее предводителем Георгием Фаренсбахом; только сам — был уже далеко!

Приехав в Новгород, Иоанн усилил войско в Дерпте, Феллине, Лаисе; ждал вестей от короля шведского и писал к Сигизмунду, что успех государственных дел зависит от выбора людей; что каштелян троцкий Евстафий Волович и писарь Михайло Гарабурда скорее всех иных литовских панов могут доставить своему отечеству надежный мир с Россиею. Король не хотел, кажется, исполнить желания Иоаннова, ответствуя, что послами его будут сановники равной знатности с Воловичем и с Гарабурдою. Сие письмо было последним Сигизмундовым словом к царю: он умер 18 июля, дав совет вельможам предложить корону Ягеллонов государю российскому. По крайней мере они спешили известить царя о Сигизмундовой смерти, обещая немедленно вступить с ним в важные переговоры. Открылись новые благоприятные виды для честолюбия Иоаннова... Но в сие время он думал более о спасении своего царства, нежели о приобретении чуждого.

Еще не довольный ни разорением московских областей, ни унижением гордого Иоанна и в надежде вторично обогатиться пленниками без сражения, убивать только безоружных, достигнуть нашей столицы без препятствия, даже свергнуть, изгнать царя, варвар Девлет-Гирей молчал, отдыхал *не расседлывая коней*, и вдруг, сказав уланам, князьям, вельможам, что лучше не тратить времени в переписке лживой, а решить дело об Астрахани и Казани с государем московским изустно, лицом к лицу, устремился старым, знакомым ему путем к Дону, к Угре, сквозь безопасные для него степи, мимо городов обожженных, чрез пепел разрушенных сел, с войском, какого после Мамая, Тохтамыша, Ахмета не собирали ханы — с ногаями, с султанскими янычарами, с огнестрельным снарядом. Малочисленные россияне сидели в крепостях неподвижно; в поле изредка являлись всадники не для битвы, а для наблюдений. Хан уже видел Оку пред собою — и тут увидел наконец войско московское: оно стояло на левом берегу ее, в трех верстах от Серпухова, в окопах, под защитою многих пушек. Сие место считалось самым удобнейшим для переправы; но хан, заняв россиян жаркою пальбою, сыскал другое, менее оберегаемое, и в следующий день уже был на левом берегу Оки, на Московской дороге... Иоанн уз-

нал о сем 31 июля в Новегороде, где он, скрывая внутреннее беспокойство души, пировал в монастырях с боярами и праздновал свадьбу шурина своего Григория Колтовского и топил в Волхове детей боярских. Еще имея полки, но уже не имея времени защитить ими столицу, царь праздно ждал дальнейших вестей; а Москва трепетала, слыша, что хан уже назначал в ее стенах домы для вельмож крымских. Настал час решить, справедливо ли государь гневный всегда обвинял полководцев российских в малодушии, в нерадении, в холодности ко благу и ко славе отечества!

Воротынский, кинув укрепления бесполезные, ринулся за неприятелем, гнал его по пятам, настиг, остановил, принудил к битве 1 августа, в пятидесяти верстах от столицы, у Воскресения в Молодях. У хана было 120 000 воинов: наших гораздо менее. Первым надлежало победить и для того, чтобы взять Астрахань с Казанью, и для того, чтобы спастися или открыть себе свободный путь назад, в отдаленные свои улусы; а россияне стояли за все, что еще могли любить в жизни: за Веру, отечество, родителей, жен и детей! Москва без Иоанна тем более умиляла их сердца жалостию, восстав из пепла как бы единственно для нового разрушения. Вступили *в бой на смерть* с обеих сторон. Берега Лопасни и Рожая облилися кровию. Стреляли, но более секлись мечами в схватке отчаянной; давили друг друга; хотели победить дерзостию, упорством. Но князь Воротынский и бился и наблюдал: устроивал, ободрял своих; вымышлял хитрости; заманивал татар в места, где они валились грудами от действия скрытых им пушек — и когда обе рати, двигаясь взад и вперед утомились, начали слабеть, невольно ждали конца делу, сей по́том и кровию орошенный воевода зашел узкою долиною в тыл неприятелю... Битва решилась. Россияне победили: хан оставил им в добычу обозы, шатры, собственное знамя свое; ночью бежал в степи и привел в Тавриду не более двадцати тысяч всадников, как уверяют. Лучшие князья его пали; а знатнейший храбрец неверных, бич, губитель христиан, Дивий мурза ногайский, отдался в плен суздальскому витязю Алалыкину. Сей день принадлежит к числу великих дней воинской славы: россияне спасли Москву и честь; утвердили в нашем подданстве Астрахань и Казань; отмстили за пепел столицы и если не навсегда, то по крайней мере надолго уняли крымцев, наполнив их трупами недра земли между Лопаснею и Рожаем, где доныне стоят высокие курганы, памятники сей знаменитой победы и славы князя Михайла Воротынского.

6 августа привезли радостную весть в Новгород сановник Давыдов и князь Ногтев, свидетели, участники победы с лицом ве-

селым, какого уже давно не видал Иоанн пред собою, вручили ему трофеи: два лука, две сабли Девлет-Гиреевы; смиренно били челом от воевод доблих[1], которые всю славу приписывали Богу и государю. Чуждый умиления благодарности, он был счастлив концом своего мучительного страха: осыпал вестников и воевод милостями; велел звонить в колокола, петь молебны день и ночь, три дни сряду, и в обличение своего малодушия — в доказательство, что не Ливония, не Швеция, но боязнь ханского нашествия заставила его оставить Москву — спешил возвратиться в столицу с супругою, с царевичами, со всем двором, чтобы принять благодарность народа за спасение отечества!..

Пред выездом из Новагорода Иоанн написал грозное письмо к королю шведскому. «Думая, — говорил он, — что ты и земля твоя, казненная нашим гневом, уже образумились, я ждал послов от тебя: они не едут, и ты распускаешь слух, будто я *прошу* у вас мира!.. Тебе не жаль земли шведской; надеешься на свое богатство!.. Спроси, что было хану крымскому от воевод моих! Мы едем ныне в Москву, а к декабрю будем опять в Великом Новегороде. Тогда увидишь, как царь российский и его войско *просят мира* у шведов».

Глава IV
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИОАННА ГРОЗНОГО 1572—1577 гг.

Уничтожение опричнины. Годунов. Дела крымские. Сношения с Литвою. Война в Эстонии. Бунт в Казанской области. Брак Магнуса. Перемирие с Швециею. Дела польские. Союз с Австриею. Избрание Батория в короли. Война Ливонская. Измена Магнусова. Письмо к Курбскому. Шестая эпоха казней. Местничества. Пример верности. Пятое и шестое супружество Иоанново.

Иоанн въехал в Москву с торжеством и славою. Все ему благоприятствовало. Бедствия, опасности и враги исчезли. Смертоносные болезни и голод прекратились в России. Хан смирился.

[1] Доблий — доблестный.

Султан уже не мыслил о войне с нами. Литва, Польша, сиротствуя без короля, нелицемерно искали Иоанновой дружбы. Швеция не имела ни сил, ни устройства; а царь, оставив в Ливонии рать многочисленную, нашел в Москве 70 000 победителей, готовых к новым победам. Но и без оружия, без кровопролития он мог совершить дело великое, исполнить важный замысл своего отца, возвратить, чего мы лишились в злосчастные времена Батыевы и еще соединить с Россиею древнее достояние Пиастов[1] — то есть вследствие мирного, добровольного избрания быть королем польским. Один внутренний мятеж сердца злобного мешал Иоанну наслаждаться сими лестными для его честолюбия видами; но казалось, что Небо, избавив Россию от язвы и голода, хотело тогда смягчить и душу ее царя.

Беспримерными ужасами тиранства испытав неизменную верность народа; не видя ни тени сопротивления, ни тени опасностей для мучительства; истребив *гордых, самовластных* друзей Адашева, главных сподвижников своего доброго царствования; передав их знатность и богатство сановникам новым, безмолвным, ему угодным: Иоанн, к незапной радости подданных, вдруг уничтожил ненавистную опричнину, которая, служа рукою для губителя, семь лет терзала внутренность государства. По крайней мере исчезло сие страшное имя с его гнусным символом, сие безумное разделение областей, городов, двора, приказов, воинства. Опальная *земщина* назвалась опять Россиею. Кромешники разоблачились, стали в ряды обыкновенных царедворцев, государственных чиновников, воинов, имея уже не атамана, но царя, единого для всех россиян, которые могли надеяться, что время убийств и грабежа миновало; что мера зол исполнилась, и горестное отечество успокоится под сению власти законной.

Некоторые действия правосудия, совершенные Иоанном в сие время, без сомнения также питали надежду добрых. Объявив неприятелей великодушного иерарха Филиппа наглыми клеветниками, он заточил соловецкого игумена, лукавого Паисия на дикий остров Валаам; бессовестного Филофея, епископа рязанского, лишил святительства; чиновника Стефана Кобылина, жестокого, грубого пристава Филиппова, сослал в монастырь Каменного острова, и многих иных пособников зла с гневом удалил от лица

---

[1] П и а с т ы — древний княжеский род, от которого, по преданию, происходили польские короли.

своего, к утешению народа, который в их бедствии видел доказательство, что Бог не предал России в жертву слепому случаю; что есть Всевышний Мститель, закон и правда Небесная!

Оставался еще один, но главный из клевретов тиранства, Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, наперсник Иоаннов до гроба: он жил вместе с царем и другом своим для суда за пределами сего мира. Любовь к нему государева (если тираны могут любить!) начинала тогда возвышать и благородного юношу, зятя его, свойственника первой супруги отца Иоаннова, Бориса Федоровича Годунова, в коем уже зрели и великие добродетели государственные и преступное властолюбие. В сие время ужасов юный Борис, украшенный самыми редкими дарами природы, сановитый, благолепный, прозорливый, стоял у трона окровавленного, но чистый от крови, с тонкою хитростию избегая гнусного участия в смертоубийствах, ожидая лучших времен, и среди зверской опричнины сияя не только красотою, но и тихостию нравственною, наружно уветливый, внутренне неуклонный в своих дальновидных замыслах. Более царедворец, нежели воин, Годунов являлся под знаменами отечества единственно при особе монарха, в числе его первых оруженосцев, и еще не имея никакого знатного сана, уже был на Иоанновой свадьбе (в 1571 году) дружкою царицы Марфы, а жена его, Мария, свахою: что служило доказательством необыкновенной к нему милости государевой. Может быть, хитрый честолюбец Годунов, желая иметь право на благодарность отечества, содействовал уничтожению опричнины, говоря не именем добродетели опальной, но именем снисходительной, непротивной тиранам политики, которая спускает им многое, осуждаемое Верою и нравственностию, но будто бы нужное для их личного, особенного блага, отвергая единственно зло бесполезное в сем смысле: ибо царь не исправился, как увидим, и сокрушив любезное ему дотоле орудие мучительства, остался мучителем!..

Довольный расположением признательного народа, свободный от стыда и боязни, Иоанн по возвращении в столицу величаво принял гонца ханского. Девлет-Гирей писал, что он совсем не думал воевать России, а ходил к Москве единственно для заключения мира; что наши воеводы хвалятся победою мнимою, вымышленною; что ногаи, утомив коней своих, слезами убедили его идти назад, и что бывшие маловажные сшибки доказали превосходное мужество крымцев, а не россиян. «Долго ли, — говорил хан, —

враждовать нам за Астрахань и Казань? Отдай их, и мы друзья навеки. Тем спасешь меня от греха: ибо, по нашим книгам, не можем оставить царств мусульманских в руках у неверных. Казны твоей не требуем: с одной стороны у нас Литва, с другой черкасы: станем их воевать по соседству, и не будем голодны». Он *просил* хотя одной Астрахани, но Иоанн ответствовал ему уже как победитель: «Удаляясь от кровопролития, мы доселе *тешили* брата своего Девлет-Гирея, но ничем *не утешили*. Его требования безрассудны. Ныне видим против себя одну *саблю*, Крым; а если отдадим хану завоеванное нами, то Казань будет *вторая сабля*, Астрахань третья, ногаи четвертая». Девлет-Гирей, отпустив наконец знаменитого российского посла Афанасия Нагого в Москву, желал, чтобы государь освободил и крымского, Ян-Болдыя, который 17 лет томился у нас в неволе; но сей вельможа ханский, получив свободу, не успел ею воспользоваться и кончил жизнь в Дорогобуже. Один из любимцев Иоанновых, Василий Грязной, был взят крымцами в разъезде на Молошных Водах: хан предлагал царю обменять сего пленника на мурзу Дивия. Иоанн не согласился, хотя и жалел о судьбе Грязного, хотя и писал к нему *дружественные письма*, в коих, по своему характеру, милостиво издевался над его заслугами, говоря: «Ты мыслил, что воевать с крымцами так же легко, как шутить за столом моим. Они не вы: не дремлют в земле неприятельской и не твердят беспрестанно: *время домой*! Как вздумалось тебе назваться знатным человеком? Правда, что мы, окруженные боярами-изменниками, должны были, удалив их, приблизить вас, низких рабов к лицу нашему; но не забывай отца и деда своего! Можешь ли равняться с Дивием? Свобода возвратит тебе мягкое ложе, а ему меч на христиан. Довольно, что мы, жалуя рабов усердных, готовы искупить тебя нашею казною». — «Нет, государь, — писал в ответ Василий Грязной, раб умом и душою, хвастливый и подлый, — я не дремал в земле неприятельской: исполняя приказ твой, добывал языков для безопасности Русского царства; не верил другим: сам день и ночь бодрствовал. Меня взяли израненного, полумертвого, оставленного робкими товарищами. В бою я губил врагов христианства, а в плену твоих изменников: никто из них не остался здесь в живых; все тайно пали от руки моей!.. Шутил я за столом государевым, чтобы веселить государя; ныне же умираю за Бога и за тебя; еще дышу, но единственно по особенной милости Божией, и то из усердия к твоей службе, да возвращусь вновь те-

шить царя моего. Я телом в Крыму, а душою у Бога и у тебя. Не боюся смерти: боюся только опалы». Имея нужду в таких людях для своей забавы и (как он думал) безопасности, Иоанн выкупил Грязного за 2000 рублей; а Дивий умер невольником в Новегороде, к сожалению царя: ибо хан готов был клятвенно утвердить союз с нами для освобождения сего важного пленника, уже не требуя Астрахани. Между тем гонцы московские ездили в Крым с дружескими письмами не столько для заключения мира, сколько для вестей, которые были весьма благоприятны для спокойствия России: ужасный голод свирепствовал в Тавриде; козаки донские и днепровские непрестанными набегами опустошали улусы ее: первые взяли даже Азов, и хотя не могли в нем удержаться, но сею смелостию изумили Константинополь. Хан жил в непрестанной тревоге: боялся гнева султанского и внутреннего мятежа; слышал о намерении вельмож литовских возвести Иоанна на престол их отечества и страшился нового могущества России.

Сии обстоятельства, утверждая безопасность наших юго-восточных пределов, дозволяли царю свободно заниматься иными важными делами его внешней политики. Вельможи коронные и литовские убеждали Иоанна из жалости к осиротелому их государству не тревожить оного никакими воинскими действиями, ни самой Ливонии, до будущего вечного мира. Призвав к себе литовского посланника Воропая, он торжественно изъявил ему желание быть Сигизмундовым преемником, хвалился могуществом и богатством, искренно винился в своей жестокости, но извинял ее, как обыкновенно, вероломством бояр. Сия любопытная речь, ознаменованная каким-то *искусственным* простосердечием, снисхождением, умеренностию, принадлежит к достопамятным изображениям ума Иоаннова. Царь сказал посланнику: «Феодор! ты известил меня от имени панов о кончине брата моего Сигизмунда-Августа: о чем я хотя уже и прежде слышал, но не верил: ибо нас, государей христианских, часто объявляют умершими; а мы, по воле Божией, все еще живем и здравствуем. Теперь верю и сожалею, тем более, что Сигизмунд не оставил ни брата, ни сына, который мог бы радеть о душе его и доброй памяти; оставил двух сестер: одну замужем (но какова жизнь ее в Швеции? к несчастию, всем известно); другую в девицах, без заступника, без покровителя — но Бог ее покровитель! Вельможные паны теперь без *главы*: хотя у вас и много *голов*, но нет ни единой превосходной, в коей соединялись бы все думы, все мысли государственные, как

потоки в море... Не малое время были мы в раздоре с братом Сигизмундом; вражда утихла: любовь начинала водворяться между нами, но еще не утвердилась — и Сигизмунда не стало! Злочестие *высится*, христианство *никнет*. Если бы вы признали меня своим государем, то увидели бы, умею ли быть государем-защитником! Престало бы веселиться злочестие; не унизил бы нас ни Царьград, ни самый Рим величавый! В отечестве вашем ославили меня злобным, гневливым: не отрицаю того; но да спросят у меня, на кого злобствую? Скажу в ответ: на злобных; а доброму не пожалею отдать и сию златую цепь и сию одежду, мною носимую»... Тут вельможа Малюта Скуратов, прервав речь Иоаннову, сказал: «Царь самодержавный! Казна твоя неубога: есть чем жаловать слуг верных!» — Государь продолжал: «В Вильне, в Варшаве знают о богатстве моего отца и деда: я вдвое богатее и сильнее. Упоминаю о том единственно мимоходом. Удивительно ли, что ваши короли любят своих подданных, которые их взаимно любят? А мои желали предать меня в руки хану и, быв впереди, не сразились: пусть не одержали бы победы, но дали бы царю время изготовиться к новой битве. Я с благодарностию принял бы от них, во знамение усердия, хотя один бич, одну плеть татарскую! Имея с собою не более шести тысяч воинов, я не испугался многочисленности врагов; но видя измену своих, только устранился. Одна тысяча мужественных спасла бы Москву; но люди знатные не хотели обороняться: что было делать войску и народу? Хан сжег столицу, а мне и знать о том не дали. Вот дела бояр моих! Я казнил изменников: не милуют их и в Вильне, где, например, казнили злодея Викторина, уличив его в намерении извести брата моего, Сигизмунда, и распустив слух, что будто бы я участвовал в сем замысле: клевета гнусная, нелепая!» Сей Викторин был четвертован в Вильне около 1563 года за тайное сношение с царем московским. Иоанн продолжал: «Кто меня злословит в вашем отечестве? Мои ненавистники, предатели, Курбский и подобные ему... Курбский!.. сей человек отнял у него мать (тут он указал на царевича Иоанна)... отнял у меня супругу милую; а я хотел только на время лишить его боярского сана и жалованного имения, не думая о казни смертной: в чем свидетельствуюсь Богом! Одним словом: желаете ли узнать злость или до-броту мою? пришлите своих детей служить мне верно... осыпанные милостями царскими, они увидят истину! Если угодно Всевышнему, чтобы я властвовал над вами, то обещаю ненарушимо блюсти все

уставы, права, вольности ваши, и еще распространить их, буде надобно. Если паны вздумают избрать в короли моего царевича, то знайте, что у меня два сына как два ока: не расстанусь ни с единым. Если же не захотите признать меня своим государем, то можете чрез великих послов условиться со мною о мире. Не стою за Полоцк; соглашусь придать к нему и некоторые из моих наследственных владений, буде уступите мне всю Ливонию по Двину. Тогда обяжемся клятвою, я и дети мои, не воевать Литвы, доколе царствует Дом наш в России православной. — Перемирия не нарушу до срока; даю тебе *опасную грамоту* для послов, и буду ожидать их. Время дорого».

За сим Иоанн в глубокую осень выехал из Москвы с обоими сыновьями, чтобы устроить войско в Новегороде и сдержать данное королю шведскому слово. Полки стояли уже в готовности и двинулись к Нарве: сам государь предводительствовал ими, имея с собою всех знатнейших бояр, царя Саин-Булата и короля Магнуса, вооруженною рукою взятого в Аренсбурге и привезенного к Иоанну более в виде пленника, нежели будущего зятя. В один день вступило 80 000 россиян в Эстонию, где никто не ожидал их и где мирные дворяне в замках своих весело праздновали Святки, так что передовые наши отряды везде находили пиры, музыку, пляски. Царь велел не щадить никого: грабили домы, убивали жителей, бесчестили девиц. Не было сопротивления до крепости Виттенштейна, где 50 шведов с гражданами и земледельцами решились дать отпор всему войску Иоаннову. Россияне взяли приступом Виттенштейн; но царь лишился друга: Малюта Скуратов умер честною смертию воина, положив голову на стене, как бы в доказательство, что его злодеяния превзошли меру земных казней! Иоанн изъявил не жалость, но гнев и злобу: послав с богатою вкладою[1] тело Малюты в монастырь Св. Иосифа Волоцкого, где лежали отец, мать и сын его, он сжег на костре всех пленников, шведов и немцев: жертвоприношение, достойное мертвеца, который жил душегубством!

Овладев сею важною крепостию [1573 г.], Иоанн написал к шведскому королю новое ругательное письмо. «Казним тебя и Швецию, — говорил он: — правые всегда торжествуют! Обманутые ложным слухом о вдовстве Екатерины, мы хотели иметь ее в руках своих единственно для того, чтобы отдать королю польскому,

[1] С богатою вкладою — с большим приношением.

а за нее без кровопролития взять Ливонию. Вот истина, вопреки клеветам вашим. Что мне в жене твоей? Стоит ли она войны? Польские королевны бывали и за конюхами. Спроси у людей знающих, кто был Войдило при Ягайле? Не дорог мне и король Эрик: смешно думать, чтобы я мыслил возвратить ему престол, для коего ни он, ни ты не родился. Скажи, чей сын отец твой? Как звали вашего деда? Пришли нам свою родословную; уличи нас в заблуждении: ибо мы доселе уверены, что вы крестьянского племени. О каких *древних королях шведских* ты писал к нам в своей грамоте? Был у вас один *король* Магнус, и то самозванец: ибо ему надлежало бы именоваться *князем*. Мы хотели иметь печать твою и титло *государя шведского* не даром, а за честь, коей ты от нас требовал: за честь сноситься прямо со мною, мимо новогородских наместников. Избирай любое: или имей дело с ними, как всегда бывало, или нам поддайся. Народ ваш искони служил моим предкам: в старых летописях упоминается о варягах, которые находились в войске самодержца Ярослава-Георгия: а варяги были шведы, следственно его подданные. Ты писал, что мы употребляем печать римского царства: нет, собственную нашу, прародительскую. Впрочем и римская не есть для нас чуждая: ибо мы происходим от Августа-Кесаря. Не хвалимся и тебя не хулим, а говорим истину, да образумишься. Хочешь ли мира? да явятся послы твои пред нами!»

Иоанн возвратился в Новгород, оставив царя Саин-Булата и Магнуса с полками воевать Эстонию. Они взяли Нейгоф и Каркус; но шведский генерал Акесон разбил отряд наш близ Лоде, взял обоз, пушки и знамена. Ливонские историки пишут, что шведов было менее двух тысяч, а россиян 16 000, и что сия славная победа, доказав искусство первых, склонила Иоанна к миру. По крайней мере царь, выслушав донесения своих воевод и мнение боярского Совета, написал новое письмо к шведскому королю, уже не бранное, но миролюбивое, уведомляя, что воеводам нашим велено остановить все неприятельские действия до прибытия в Новгород послов его, ожидаемых с нетерпением для утверждения истинного дружества между обоими государствами. Сия перемена в расположении Иоанновом изъясняется не столько успехом генерала Акесона, сколько другим важным обстоятельством, которое тогда нечаянно встревожило и царя и Москву: сильным бунтом в Казанской области, где свирепый, дикий народ черемисский, луговый и горный, имея тайные связи с ханом Дев-

лет-Гиреем, явно отложился от России, так что государь должен был немедленно послать многочисленную рать к берегам Волги. К счастию, мятежники скоро увидели свое неблагоразумие: хан не мог дать им войска, а российское уже стояло в Муроме, готовое казнить их огнем и мечом. Они смирились.

В сие время Иоанн, прекратив войну в Ливонии, торжествовал в Новегороде бракосочетание Магнуса с юною княжною Мариею Владимировною: пировал, веселился с своими любимыми гостями немецкими; сам распоряжал пляскою и пел с монахами духовные песни. Уже Магнус, честимый, ласкаемый, надеялся быть действительным королем, воображая, что царь, сверх богатого, обещанного вена, отдаст ему все города ливонские, занятые россиянами; но, вместо *пяти бочек золота* привезли к нему в дом несколько сундуков с бельем и с нарядными одеждами молодой королевы; вместо всей Ливонии государь пожаловал своему зятю городок Каркус с следующим словесным и письменным наставлением: «Король Магнус! иди с супругою в удел, для вас назначенный. Я хотел ныне же вручить тебе власть и над иными городами ливонскими вместе с богатым денежным приданым; но вспомнил измену Таубе и Крузе, осыпанных нашими милостями... Ты сын венценосца и следственно могу иметь к тебе более доверенности, нежели к слугам подлым; но — ты человек! Если изменишь, то золотом казны моей наймешь воинов, чтобы действовать заодно с нашими врагами, и мы принуждены будем своею кровию вновь доставать Ливонию. Заслужи милость постоянною, испытанною верностию!» Таким образом Магнус с печальным сердцем уехал в Каркус, из Каркуса в Оберпален, где в ожидании государства жил весьма бедно, *не имея более трех блюд на столе* (как писал его брат Фридерик, король датский, к своему тестю герцогу мекленбургскому), *веселя тринадцатилетнюю жену детскими игрушками, питая сластями и, к неудовольствию россиян, одев ее в немецкое платье*. Сей герцог, Иоанн Альбрехт, находился тогда в сношениях с царем: присылал в Новгород сановника мекленбургского, доктора Фелинга, и хотел, чтобы Россия утвердила право его (Альбрехтова) сына на Ригу, обещанную ему королем польским Сигизмундом-Августом. Фелинг от имени герцога поднес Иоанну в дар золотого, алмазами и яхонтами украшенного льва с объяснением, что *лев ужасает всех зверей, а государь московский всех неприятелей*. Царь ответствовал: «Благодарю за смирение и ласку, но не могу отдать, чего еще

не имею, хотя Ливония с Ригою и моя отчина, а не королевская. Я намерен отправить посольство к немецкому императору для заключения с ним союза против неверных и для дел ливонских. Советую герцогу вооружиться терпением: могу отдать ему Ригу, когда возьму ее договором или саблею».

Между тем Иоанн не без досады видел, что король шведский, им презираемый, начал изъявлять гордость. Долго не было никакой вести из Стокгольма; наконец король отвечал, что никогда послы его не будут в такой земле, где народное право неизвестно, — где их грабят, сажают в темницу; что царь может прислать своих к нему, если действительно желает мира, или по крайней мере на границу, куда выедут и шведские уполномоченные; что о перемирии надлежало бы говорить тремя годами ранее, а не тогда, как войско шведское выступает в поле. Сего мало: гонец наш, будучи в Стокгольме, терпел обиды, неслыханные в державах образованных. «Вельможи королевские, — доносил он царю, — хотели прежде времени знать содержание твоей грамоты. Я доказывал им нелепость сего требования: за что один из них ударил меня в грудь, поносил словами непристойными. *Если бы*, — отвечал холоп твой нахалу шведскому, — *если бы я сидел на коне вооруженный, ты не дерзнул бы бесчинствовать, ни поднять руки, ни открыть гнусного рта своего; но мы здесь не для битвы*... Другой вельможа хотел удержать меня, идущего к престолу королевскому, говоря: *дай письмо, а на сукно тронное не ступай*. Я стал на сукно и вручил письмо королю... В следующее утро сановник шведский Христофор Флеминг сказал мне: *знай, что ты вчера не видал государя: я сидел на его месте, а он стоял между вельможами, ибо не хотел взять грамоты царя вашего, думая, что в ней могут быть новые ругательства, коих нельзя читать и простому мещанину*... Отпуская меня, король молвил: *царь сделался миролюбив; но я не хочу с ним мириться и его не боюся*». Одним словом, Швеция ободрилась, наняв 3000 шотландцев и 2000 англичан; а царь, имея более ста тысяч воинов в Ливонии и Новегороде, изъявил кротость, не вступился за обиду гонца своего, снес насмешки и сделал угодное королю: то есть выслал бояр, князя Сицкого с товарищами, на реку Сестру (которая служила границею между Финляндиею и Россиею) для переговоров о мире с адмиралом Класом Флемингом и другими королевскими чиновниками. Долго спорили о месте свидания: Флеминг требовал, чтобы оно было на мосту, в шатрах; но князь Сиц-

кий заставил шведов перейти на российский берег реки. Далее ни в чем не могли согласиться. Царь хотел взять Эстонию и в таком случае давал королю право сноситься прямо с ним; а король хотел последнего без всякой уступки, явив длинную родословную светлейшего дому Ваз, дабы убедить Иоанна в древней знаменитости оного. Заключили только перемирие (от Ильина дня 1575 до 1577 года) между Финляндиею и нашими северными владениями: Россия обязывалась не воевать первой[1], а Швеция Новогородской земли, Корелы, Орешка и других мест. Не было слова о Ливонии, которая оставалась театром войны. Иоанн удовольствовался обещанием, что скоро будут к нему шведские послы для нового мирного договора и торжественно обязался принять их с честию, не лишать ни свободы, ни имения, — не оскорблять ни делом, ни словом! С того времени короли шведские перестали относиться[2] к Новугороду: что всегда казалось им унизительно, происходило действительно от малого уважения государей московских к сим венценосцам и было дотоле непременным законом нашей гордой политики.

Если снисходительность царя казалась для него бесполезною, то и королю не доставила она никакой *существенной выгоды*: неприятельские действия продолжались в Ливонии. Шведы с своими шотландскими наемниками без успеха приступали к Везенбергу: россияне опустошили все места вокруг Ревеля и взяли город Пернау, который стоил им семи тысяч воинов, убитых в его укреплениях. Там полководец Иоаннов Никита Романович Захарьин-Юрьев изумил жителей великодушием, оставив на волю каждому или присягнуть царю, или выехать со всем достоянием. Следствием политики столь человеколюбивой и благоразумной было то, что замки Гельмет, Эрмис, Руэн, Пургель, Леаль, Лоде, Фиккель сдалися без сопротивления, а скоро и важная крепость Габзаль, где находилось множество всяких запасов, немало воинов и дворян, которые всегда любили хвалиться мужеством. Пишут, что сии мирные Герои, уверенные царским воеводою в совершенной безопасности, тешились и веселились в самый тот час, когда россияне входили в город; что один из наших молодых князей, видя их забавы, сказал своему приятелю немцу: «Если бы мы, рус-

---

[1] Не воевать первой — не завоевывать первую, то есть вышеупомянутую Финляндию.

[2] Относиться к Новугороду — то есть обращаться (к Москве) через Новгород.

ские, живые сдали неприятелю такую крепость: что сделал бы с нами царь? и кто из нас смел бы взглянуть прямо в лицо доброму христианину? А вы, немцы, празднуете стыд свой!» Они праздновали среди могил и пепла. Казалось, что Ливония, истерзанная всеми бедствиями войны долговременной, жертва и добыча всех народов соседственных, уже не могла испытать ничего злейшего. Голод, нищета свирепствовали не только в хижинах, но и в замках. Так летописец говорит, что жена знатного рыцаря фон Тедвена, имев прежде великолепный дом, блистав пышностию удивительною для самых богатых людей, умерла тогда в Габзале на соломе и положена в землю нагая!.. Но судьба еще готовила новые ужасы для сей страны несчастной; еще Иоанн удерживал свою руку, мечом и пламенем вооруженную для ее покорения или гибели. Остерегаясь, хотя уже и не страшась Девлет-Гирея, он должен был, в угрозу ему, от времени до времени собирать полки на берегах Оки; сам выехав из Новагорода (летом в 1574 году), осматривал войско многочисленное в Серпухове; посылал отряды и в степи, где являлись иногда толпы ханские для разбоев; всего же более занимался происшествиями варшавскими, которые, польстив его властолюбию, имели следствия неожидаемые, оскорбительные для царя и вредные для России.

В начале 1573 года открылся сейм в Варшаве, чтобы избрать короля. Главными кандидатами были: 1) юный Эрнест, сын императора Максимилиана; 2) герцог д'Анжу, брат Карла IX; 3) король шведский или сын его, Сигизмунд; 4) государь российский. За первого ходатайствовали послы испанский и Максимилианов, за второго французский, за третьего шведские: наших не было. Царь ждал к себе послов от сейма, рассуждая: «я им нужен, а не они мне!» Несмотря на сию гордость, многие коронные, и в особенности литовские вельможи думали избрать Иоанна, чтобы сим способом утвердить навеки счастливый союз с опасною, могущественною Россиею: мысль, внушенная политикою здравою и дальновидною! Зная без сомнения всю его жестокость, они надеялись, что законы их республики обуздают тирана — и могли обмануться! Но Судьба устранила сей *опыт*. Условия, с обеих сторон предложенные, были равно неумеренны, равно противны той и другой. Выслушав в Новегороде посла литовского, Михайла Гарабурду, Иоанн (28 февраля 1573 года) дал ему следующий ответ: «Долговременное молчание ваших панов, в деле столь важном, меня удивляло: ибо худо государству быть без государя. Вы

извиняетесь бедствиями язвы, которая свирепствовала в земле вашей: сожалею; это воля Божия. Ныне спрашиваете, сам ли я желаю властвовать над Литвою и Польшею или дать вам царевича Феодора в короли, и требуете от нас клятвы в верном соблюдении ваших уставов; хотите еще, чтобы мы, отпустив к вам сына, возвратили княжеству литовскому Смоленск, Полоцк, Усвят, Озерище, а ему, Феодору, пожаловали некоторые особенные города из древних владений российских. Одно естественно, другое непристойно. Естественно, чтобы всякая земля хранила свои обычаи, уставы, законы, и мы конечно можем утвердить присягою ваши права; но дельно ли требовать от нас Смоленска, Полоцка, даже наследственных городов московских, в *приданое* князю Феодору? разве он девица и невеста? Славно увеличивать, а не умалять государства. Польское и литовское нескудно городами: есть где жить королю. И не вы, а мы должны требовать возмездия. Слушайте: если желаете иметь Феодора своим государем, то 1) пишите весь мой титул, как уставлено Богом; называйте меня *царем*, ибо я наследовал сие достоинство от предков и не присвоиваю себе чуждого. 2) Когда Господь возьмет моего сына из здешнего света, да властвуют над вами его сыновья правом *наследия*, а не *избрания*; когда же не останется у него сыновей, то Литва и Польша да будут *нераздельны с Россиею*, как собственность моих наследников во веки веков, но без всякого изменения прав и вольностей народных, *с особенным именем Королевства Польского и Великого Княжества Литовского в титуле государей российских*. Пристойно ли сыну короля не быть наследником его престола? И для общего блага сих трех держав им должно иметь единого владыку. Знаю, что Австрия и Франция гораздо снисходительнее в переговорах с вами; но они не пример для России: ибо мы верно знаем, что кроме нас и султана нет в Европе государей, коих род царствовал бы за 200 лет пред сим: одни из князей, другие иноземцы и для того пленяются честию королевства; а мы цари *изначальные* и происходим от Августа Кесаря (что всем известно). 3) Кто из моих наследников скончается в земле вашей, тело его да будет привезено в Москву для погребения. 4) Город Киев, древнейшее достояние России, да присоединится к ее владениям: за что, из любви к тишине и согласию христианскому, уже не буду отыскивать наших старых владений в Литве по реку Березу. 5) Ливония вся останется за Россиею! — Вот условия, на коих могу отпустить к вам моего любезного сына. Но

он еще слишком молод и не в силах противиться врагам, своим и нашим. Сверх того знаю, что многие из панов хотят в короли меня, а не царевича. Если они говорят вам иное, то притворствуют. Слышу еще, что будто вы думаете взять у меня сына обманом с намерением выдать его туркам, для заключения с ними мира. Правда ли, ложь ли, не знаю; но не могу скрыть сего от тебя в беседе искренней».

Видя, что Иоанн желает королевства более для себя, нежели для сына, умный посол сказал: «Государь! все мы хотели бы иметь такого сильного и мудрого властителя, как ты; но Москва далека от Варшавы, а присутствие короля необходимо для внешней безопасности, для внутреннего устройства и правосудия. У нас нет обычая, чтобы король выезжал из государства и вместо себя оставлял наместников. *К тому же без принятия Веры римской ты не можешь быть коронован».* — Иоанн велел послу удалиться.

На другой день снова призвав Гарабурду, царь сказал: «Мы размыслили — и находим, что можем управлять вместе тремя государствами, переезжая из одного в другое, и что легко устранить препятствия, о коих ты говорил нам. Требую только Киева без всех иных городов и волостей. Отдам Литве Полоцк и Курляндию. Возьму Ливонию до реки Двины. Титул наш будет: Божиею милостию господарь царь и Великий князь всея России, Киевский, Владимирский, Московский, Король польский и Великий князь *литовский*. Имена всех других областей распишем по их знатности: польские и литовские могут стоять выше российских. Требую уважения к Вере греческой; требую власти строить церкви православия во всех моих государствах. *Да венчает меня на королевство не латинский архиепископ, а митрополит российский!..* Но не изменю ни в чем ваших прав и вольностей: буду раздавать места и чины с согласия Думы польской и литовской. Когда же, изнуренный летами в силах душевных и телесных, вздумаю оставить свет и престол, чтобы в уединенной обители жить молитвою: тогда изберите себе в короли любого из сыновей моих, но не чуждого, не иноплеменного князя. Паны говорят, что Литва и Польша нераздельны: их воля; но скажу, что я хотел бы лучше быть единственно великим князем первой: тогда, утвердив все ее законы моим крестным целованием, возьму к России один Киев, а Литве возвращу, силою или договорами, все ее древние владения, отнятые поляками, и буду писаться в титуле Великим князем московским и литовским. — Слушай далее. Могу, но не

без труда, ездить из земли в землю: ибо приближаюсь к старости; а государю надобно все видеть собственными глазами. Итак, не лучше ли вам избрать в короли сына цесарева[1], заключив с нами мир и союз на сих условиях: 1) Киев и Ливония к России, Полоцк и Курляндия к Литве; 2) мне, цесарю и сыну его помогать друг другу войском или деньгами против наших общих врагов? Тогда буду желать добра Литве и Польше столько же, как моей России — и в сем тесном союзе кого убоимся? Не захотят ли и все иные государи европейские присоединиться к оному, чтобы восстать на злодеев христианства? Какая слава и какая польза!.. Наконец приказываю тебе сказать панам, чтобы они не избирали князя французского: ибо сей князь будет другом злочестивых турков, а не христиан; а если изберете его, то знайте, что я не останусь спокойным зрителем вашего неблагоразумия. — Еще объяви панам, что многие из них писали к нам тайные грамоты, советуя мне идти с войском в Литву, чтобы страхом вынудить себе королевство. Другие просили у меня золота и соболей, чтобы избрать моего сына. Да знает о том ваша Дума государственная!»

С таким ответом Гарабурда поехал в Варшаву. Вероятно, что паны литовские единственно для вида и для соблюдения *пристойности* требовали Смоленска и городов российских; что они в самом деле не ждали столь великой уступчивости от царя и без дальнего упрямства отказались бы от сего требования: тем непреклонней был царь в своих условиях, единогласно отверженных сеймом, который немедленно исключил его из кандидатов. Переменились ли Иоанновы мысли: уверился ли он в невозможности господствовать над Польшею и Литвою, *как бы* ему хотелось? боялся ли примера своевольных вельмож их для России безмолвной? Рассудил ли, что сей тесный союз имел бы истинные выгоды для первых двух держав, а не для нашего отечества; что не они нам, но мы им долженствовали бы помогать и людьми и казною в случае войны с Турциею, с Австриею, с Тавридою; что имя короля с властию ограниченною, ненадежною, не стоило умножения опасностей и расходов для государя наследственной, великой державы, которой Небо судило быть сильною не чуждыми, а собственными, природными силами? Или царь думал, что сейм *мог* согласиться на такие предложения строгие, уничтожить коренные законы республики, добровольно отменить избрание ко-

---

[1] Сын цесаря — эрцгерцог Эрнест.

ролей, уставить верховную власть наследственную, отдать нам Киев и святителю иноверному вручить венец Ягеллонов для возложения на Иоанна? Трудно вообразить, чтобы надменность ослепляла его до сей степени безрассудности: гораздо вероятнее, что он, изъявив сперва искреннее желание заступить место Сигизмунда-Августа, по основательном соображении всех обстоятельств уже сделался равнодушнее к такой чести.

Но избрание эрцгерцога в короли, им одобренное, не угрожало ли нам опасным соседством с австрийскою, сильною державою, тем более, что ее посол, ходатайствуя за Эрнеста, торжественно обещал панам усердное вспоможение императора в войнах с Россиею? Иоанн не долженствовал ли скорее благоприятствовать исканиям Франции отдаленной и следственно менее для нас опасной? Не можем осудить его политики. Зная дружественную связь Парижа с Константинополем, он мыслил, что Генрик д'Анжу будет располагать силами Турции против нашего отечества; а султаны, кроме их зловерия, были страшнее императоров славою войск и побед многочисленных. — К досаде царя и Максимилиана варшавский сейм избрал Генрика, обольщенный хитростями французского посла Монлюка, который в пышных речах своих бесстыдно хвалил вельмож польских и литовских, сравнивал их с древними римлянами, называл ужасом тиранов, Героями добродетели, обещая им миллион флоринов, сильное войско для изгнания россиян из Ливонии и совершенную зависимость короля от верховного совета.

Такое, как говорил Иоанн, *ослушание* сейма соединило виды нашей политики с австрийскою. Император спешил воспользоваться добрым расположением царя: писал к нему ласково; жаловался на «злодейство Карла IX, истребившего более ста тысяч верных подданных в день Св. Варфоломея, единственно за то, что они имели свою Веру особенную»; говорил с негодованием о приязни французов с султаном, коего ревностным вспоможением дается Генрику венец Ягеллонов; убеждал Иоанна вступиться за христиан; предлагал ему взять Литву, а Польшу уступить Австрии и заключить тесный союз с империей против турков. Царь немедленно отправил гонца к Максимилиану, советуя ему употребить все способы для задержания Генрика на пути в Варшаву; желал видеть скорее послов императорских в Москве, чтобы утвердить вечный союз Австрии с Россиею, и писал: «Мы все будем стараться о том, чтобы Королевство Польское и Литва *не отошли* от наших государств; а мне все одно, мой ли, твой ли

сын сядет там на престоле... Ты, брат наш любезный, сетуешь об ужасном истреблении невинных людей и младенцев в день Св. Варфоломея: все государи христианские должны скорбеть о сей бесчеловечной жестокости короля французского, пролившего *без ума* столь много крови!»

Однако ж Иоанн, следуя миролюбивой системе, не хотел прежде времени объявить себя врагом нового короля польского: напротив того, узнав об его прибытии и торжественном короновании в древней столице Пиастов, он готовился послать к нему знатного чиновника с приветствием. Но Генрик предупредил царя: известил о своем восшествии на трон; убеждал не нарушать перемирия с республикою до 1576 года; писал, что он в горести; что король французский умер; что ему должно ехать в Париж и что сие временное отсутствие не мешает царю сноситься в делах с вельможными панами. Иоанн ответствовал: «Брат наш Генрик! о твоем восшествии на престол радуемся, о твоей печали сожалеем. Кончина государей христианских есть бедствие для христиан и веселие для неверных. Мы хотим жить в любви с тобою. Послы мои будут в Варшаву, когда ты возвратишься: ожидаю твоих в Москву; а без тебя мне непристойно иметь дело с панами. О сохранении перемирия мы дали указ своим воеводам». Но Генрик был уже королем-беглецом! Искав венца польского единственно в угодность матери, честолюбивой Екатерине Медицис[1], которая действовала в сем случае по внушению хитрого карлы и бродяги Иоанна Красовского, Генрик, ленивый, сладострастный, в три месяца не государственной деятельности, а пиров, неги и звериной ловли успел возненавидеть свое королевство и власть ограниченную; тайно изготовился к отъезду и ночью ускакал от одного престола к другому; спешил наследовать державу и несчастие своего брата, подобно ему царствовать среди мятежей, измен и злодейств, оказать себя малодушным, вероломным, но умереть с прекрасным словом, которое навеки осталось в истории и достойно наилучшего из царей*. Изумленные бегством короля, паны должны были искать другого. Тогда многие из них — архиепископ гнезненский, кастеллан минский, Ян Глебович, и другие — снова обратились к царю: советовали ему немедленно прислать

---

[1] Екатерина Медицис — Екатерина Медичи.

* Слово Генриково: «Господи! если жизнь моя полезна, то дай мне жить; если вредна или бесполезна, то прекрати ее!» (IX, 436.).

умных бояр в Варшаву с такими условиями, на каких был избран Генрик; отнестися письменно к духовенству, к рыцарству и к каждому вельможе в особенности; *просить* их об избрании его (Иоанна) в короли; сказать в грамоте, что он не еретик, а христианин и действительно крещен во имя Троицы: что поляки и россияне, будучи единого племени, славянского, или сарматского, должны как братья иметь единого отца-государя. Иоанн писал к ним весьма дружелюбно, благодарил за доброе намерение, обещал выслать бояр своих к сейму, но не сказал ничего решительного в рассуждении условий, ибо ждал послов цесаревых, которые уже ехали в Москву.

Гонец наш, Скобельцын, в августе 1574 года возвратился из Вены без всякого ответа, сказывая, что император хотел писать к царю с своим человеком. Сия странность объяснилась: новый гонец Максимилианов привез к Иоанну жалобу, что Скобельцын не взял ответной грамоты, будто бы надписанной без полного царского имени, и самовольно уехал: сверх чего вел себя непристойно и злословил императора. Максимилиан уверял царя в искренней дружбе и благодарности, а царь известил его, что он *возложил* на Скобельцына *опалу*. После того были в Москве и другие чиновники австрийские, с извинением, что Максимилиан *за большими недосугами* медлит условиться с Иоанном о делах польских. В знак усердия один из сих гонцов донес боярам, что паны тайно склоняют Магнуса изменить России, обещая ему город Ригу. Наконец в генваре 1576 года приехали к нам знатные австрийские сановники Ян Кобенцель и Даниил Принц. Государь встретил их в Можайске великолепно и пышно: *в русском саженом*[1] платье сидел на троне, в венце и в диадеме, держа в руке скипетр; престол окружали все бояре и дворяне в златых одеждах. Иоанн и царевич встали, спрашивая о здравии императора, который прислал в дар своему *брату* и *союзнику* золотую цепь, украшенную драгоценными каменьями с изображением имени Максимилианова ценою в 8000 талеров. Император *молил* Иоанна способствовать ему словом и делом, грамотами и мечом, в возведении Эрнеста на трон польский и не воевать Ливонии, области, *издавна принадлежащей к Римской империи*. «Тогда, — говорили послы Максимилиановы Иоанну, — вся Европа христианская заключит союз с тобою, чтобы одним ударом, на морях и на суше, низвергнуть высокую державу оттоманов. Вот по-

---

[1] С а ж е н о е п л а т ь е — длинное (в сажень) платье.

двиг, коим ты можешь навеки прославить себя и Россию! Изгоним турков из Константинополя в Аравию, искореним Веру Магометову, знамением креста снова осеним Фракию, Элладу — и все древнее царство Греческое *на восход солнца* да будет твое, о царь великий! Так вещают император, Св. Отец папа и король испанский». Иоанн слушал холодно, не пленяясь мыслию царствовать на берегах Воспора и Геллеспонта; сказал, что его слово всегда твердо и ненарушимо; что он не переменил своих мыслей в рассуждении Королевства Польского: отдает его Эрнесту и снова напишет о том к вельможам коронным; но что Литва и Киев должны навеки соединиться с Россиею; что Ливония наша, была и будет; что прежде никто не мыслил об ней, а когда мы взяли оную, тогда император, Дания, Швеция, Польша вздумали объявить свои мнимые права на сию землю; что для заключения союза против неверных надлежит быть в Москву послам короля испанского, датского, князей немецких и других государей; что в России известна судьба Людовика Венгерского, который, веря обещаниям императора, выступил в поле, но, всеми оставленный, в неравной битве с турками лишился жизни. Послы цесаревы, соглашаясь уступить нам Ливонию и Киев, доказывали невозможность отделить Литву от Польши, которые хотят иметь одного властителя. «Знаете ли, — сказали они московским боярам, — тайный замысл некоторых мятежных ляхов взять себе в короли данника оттоманов, князя седмиградского, в угодность султану и ко вреду христианства?» *Сего не будет*, ответствовал царь, требуя, чтобы послы клятвою утвердили договор о Ливонии; но Кобенцель и Даниил Принц объявили, что государь их, в знак особенного уважения к Иоанну, пришлет для того в Москву других, *великих людей, князей владетельных*, впрочем уверяли, что все сделается, как угодно царю, и дали слово, что император склонит шведского короля к покорности. Иоанн был доволен; угостил их во дворце обедом и привел в удивление великолепием: сидел с сыном за особенным столом в бархатной малиновой одежде, усыпанной драгоценными каменьями и жемчугом, — в остроконечной шапке, на коей сиял необыкновенной величины яхонт; две короны (царя и царевича), блестящие крупными алмазами, алами, изумрудами, лежали подле; серебро, золото стояло горами в комнатах... «И всякой дворец (писал Кобенцель к австрийским министрам) имеет особенную кладовую, наполненную такими чашами и блюдами; а кремлевский превосходит богатством все иные... Одним словом, я видел сокровища его императорского величества, королей

испанского, французского, венгерского, богемского, герцога тосканского, но не видал подобных Иоанновым... Когда мы ехали в Россию, вельможи польские стращали нас несносною грубостию московского двора: что ж оказалось? ни в Риме, ни в Испании не нашли бы мы лучшего приема: ибо царь знает, с кем и как обходиться: унижая поляков, шведов, честит, кого уважает и любит». Отдарив Максимилиана черными соболями в 700 рублей, Иоанн послал к нему, в сане *легких послов*[1], князя Сугорского и дьяка Арцыбашева с убедительным представлением, что надобно скорее заключить договор, ясный, торжественный между Австриею и Россиею: а к вельможам коронным написал, чтоб они выбрали Эрнеста, если хотят быть в вечной дружбе с сильным Московским государством и не принимали властителя от *султанской руки*, если не хотят ответствовать Богу за ужасное кровопролитие. Тогда же в грамоте к панам литовским он изъявил желание быть их великим князем или дать им царевича Феодора в государи, прибавив: «если же вы не рассудите за благо иметь особенного властителя, то вместе с Польшею изберите Максимилианова сына».

Нет сомнения, что Иоанн и цесарь могли бы предписать законы сейму, если бы, решительно объявив ему свои требования, подкрепили оные движением войска с обеих сторон, как писали к царю доброхотствующие нам вельможи литовские, зная расположение умов в Вильне и в Варшаве; но Максимилиан, уже слабый телом и душою, медлил: честил наших послов в Регенсбурге, а своих не присылал в Москву и в новых бесполезных сношениях с Иоанном, чрез гонцов, досаждал ему, во-первых, тем, что затруднялся называть его *императором* или *царем России*, называя только *царем казанским и астраханским*; во-вторых, не переставал ходатайствовать о *жалкой, убогой* Ливонии и твердить, что она есть область Германии. Ответствуя Максимилиану всегда учтиво, всегда дружелюбно, царь хладел в усердии доставить Эрнесту корону польскую и слышал без гнева, что рыцарство и шляхта противятся вельможам в сем избрании. Сейм объявил тогда кандидатами: 1) Эрнеста; 2) Фердинанда, брата Максимилианова; 3) короля или принца шведского; 4) Альфонса, князя моденского. О царе не было слова: ибо он не отступился торжественно от сделанных им в 1574 году предложений, столь несогласных с законами республики, и вторично не рассудил за благо

[1] Легкие послы – то есть временные.

прислать знатных уполномоченных сановников в Варшаву, довольствуясь угрозами и тайными сношеними с некоторыми из панов. Между тем гонцы наши извещали его о всех движениях сейма. Иоанн из слободского дворца своего видел игру и борение страстей на сем шумном феатре, где ум и красноречие заслуживали рукоплескание, а золото и сила решили; где не только спорили, вопили, но и мечи обнажались, и копья сверкали; где, отвергнув всех кандидатов, выбрали наконец двух королей: вместо Эрнеста — самого императора; и Стефана Батория: имя дотоле мало известное, но коему надлежало прославиться в истории российской, к бесславию Иоанна!

Еще в 1574 году, узнав о бегстве Генрика, султан Селим дал знать вельможным панам, что если королем их будет принц австрийский, воспитанный в ненависти к Оттоманской империи, то война и кровопролитие неминуемы для обеих держав; что князь российский также опасен; что они могут возложить венец на добродетельнейшего из вельмож, сендомирского воеводу, или на короля шведского, или— если хотят *лучшего* — на князя седмиградского[1] Батория, мужа знаменитого разумом и великодушием, который принесет к ним и счастие и славу, будучи верным другом могущественной Порты. Сие предложение не осталось без действия: ибо султан был страшнейшим из врагов Королевства Польского. В Варшаве, в Кракове говорили о Стефане, обязанном своею княжескою честию и властию не предкам, а собственному уму и характеру, избранию вельмож и народа седмиградского. В сей стране полудикой, необразованной, населенной людьми грубыми, духа мятежного, происхождения и Закона разного, он утвердил тишину, безопасность, терпимость Вер: исповедуя римскую, приобрел любовь и лютеран и кальвинистов; снискал доверенность султана и в то же время оказывал важные услуги императору; не менее отличался и храбростию, сведениями в науках, красноречием — и самою величественною наружностию: имея 42 года от рождения, еще был прекрасным мужем. Одним словом, усердные к государственному благу поляки не могли желать достойнейшего венценосца. Сторона их усилилась ходатайством вельможи Самуила Зборовского, бывшего изгнанником в Трансильвании и там облаготворенного Стефаном. Действовали и любовь к отечеству, и золото Баториево; еще более закоренелая на-

---

[1] С е д м и г р а д с к и й — от русского названия Трансильвании: Семиградье (Седмиградье).

родная ненависть к австрийскому Дому. Сенат усердствовал императору и Эрнесту; но в решительный час избрания раздался голос: «Хотим Батория! он даст нам мир с турками и победу над всеми иными врагами!» Шляхта завопила: «Батория!» Напрасно многие вельможи представляли, что он есть данник неверных, что стыдно христианской республике иметь главою раба султанского. Коронный гетман Ян Замойский, епископ краковский и знатная часть дворянства наименовали королем седмиградского князя, а примас и сенаторы польские Максимилиана, старого, недужного, как бы для того, чтобы вероятною близостию нового выбора угодить мятежной шляхте, которая любила законодательствовать на сеймах. Та и другая сторона уведомили избранного ею о сей чести, и Максимилиан, уже с смертного одра, писал в Москву, что он король польский. «Радуюсь,— отвечал царь:— но Баторий уже в Кракове!» Он действительно прибыл туда с хоругвию султанскою и с именем короля, к искреннему огорчению многих литовских вельмож, усердно хотевших иметь Феодора своим государем в надежде, что сей юный царевич, невинный в жестокостях родителя, будет всегда жить в Литве, примет их обычаи и нравы, полюбит сию страну единоверную как второе отечество, утвердит ее целость миром с россиянами и возвратит ей не только Полоцк, но, может быть, и Смоленск, и всю землю Северскую. «Для чего,— говорили они в Вильне чиновнику Иоаннову, Бастанову, — для чего Иоанн не хотел для себя славы, а для нас счастия? Для чего послы его не были на сейме с объявлением условий, согласных с истинным благом обеих держав? Мы не любим цесаря, не терпим Батория, как присяжника Селимова». Некоторые из них даже мыслили, что еще не ушло время действовать; что можно уничтожить беззаконный выбор двух королей, если Иоанн отнесется с ласкою и с дарами к главным польским вельможам; если наше войско немедленно вступит в Литву... Но Максимилиан умер (12 октября 1576), а Баторий сел на престоле в Кракове, дав торжественное обязательство свято наблюдать договор Генриков и все уставы республики, жениться на пятидесятилетней сестре Августа-Сигизмунда, Анне,— заключить союз с Оттоманскою империею, смирить хана, освободить мечом или выкупить всех христианских пленников в Тавриде, оградить безопасность государства крепостями, всегда лично предводительствовать ратию и снова присоединить к Литве все ее земли, завоеванные царями московскими, если сенат и народ хотят войны с Россиею. «Да исчезнет

боязнь малодушная! — говорил он: — имею дружину опытную, силу в руке и доблесть в сердце!» Раздоры кончились; недовольные умолкли. Польша и Литва единодушно воскликнули: «Да здравствует король Баторий!»

Иоанн казался равнодушным и спокойным. Сведав, что едут к нему посланники Стефановы, он велел оказать им надлежащую честь. Бояре спрашивали у них о роде Батория; хотели знать, какой титул дают ему в письмах султан, император и другие государи? Посланники ответствовали: «Царь увидит титул Стефанов в его грамоте». Их представили. Иоанн сидел на троне в венце; подле него старший царевич; бояре на скамьях в тронной, дворяне и дьяки в сенях; дети боярские стояли на крыльце и в переходах до набережной палаты; близ сей палаты, у перил и до церкви Благовещения, гости и люди приказные, все без исключения в *золотой одежде*, на площади стрельцы с ружьями. Взяв грамоту Баториеву, царь спросил о здоровье короля, но не звал посланников к обеду. В письме, учтивом и скромном, Стефан обещал наблюдать *до урочного времени соседственную дружбу*, требуя *вида*, или *опасной грамоты*, для свободного проезда великих литовских послов в Москву; уверял в своем искреннем миролюбии; жаловался на Максимилиана, который в досаде и ненависти злословил его, называл данником турецким, а сам платил султану в десять раз более, и более седмиградских князей ему раболепствовал. Бояре именем государя сказали посланникам, что король Стефан явно идет на кровопролитие: ибо 1) в грамоте своей не дает Иоанну титула царского, ни смоленского, ни полоцкого князя, каким все признают его, кроме бессмысленных ляхов, именующих *Густава* шведского, хотя и не венценосца, королем; 2) дерзает называть царя *братом* своим, будучи воеводою седмиградским, подданным короля венгерского и следственно не выше князей Острожских, Бельских или Мстиславских; 3) величает себя государем ливонским. Их отпустили с приказом: «если король желает братства с Иоанном, то должен не вступаться в Ливонию и писать его *царем*, великим князем смоленским и полоцким», но дали им *опасную* для послов *грамоту*.

Сие было в ноябре 1576 года. Угадывая характер своего противника, твердость, непреклонность Стефанову — не имея надежды достигнуть цели одними угрозами и склонить его к тому, чтобы он добровольно отдал нам Ливонию, Иоанн решился всеми силами наступить на шведские и польские владения в сей земле.

Время казалось ему благоприятным: король шведский, в угодность жене своей, окружив себя иезуитами, вводя снова латинскую Веру в сем государстве, теряя любовь народа, производя мятежи, расколы, не мог и мыслить тогда о сильном сопротивлении россиянам в Ливонии; а Стефан воевал в Пруссии и должен был заняться кровопролитною осадою бунтующего Данцига. Хан Девлет-Гирей, боясь долговременным бездействием заслужить презрение россиян, отважился было (в 1576 году) явиться в поле с пятьюдесятью тысячами всадников; но с Молошных Вод ушел назад, сведав, что полки московские стоят на берегах Оки; что сам Иоанн в Калуге; что донские козаки в смелом набеге взяли Ислам-Кирмен. Сделав все нужные распоряжения для безопасности государственной; умножив войско в крепостях юго-восточной и западной России для отражения хана и Литвы; составив, сверх того, значительную рать судовую на Волге из двинян, пермичей, суздальцев, чтобы обуздывать мятежную черемису, Астрахань, ногаев, и вместе с донскими козаками действовать против самой Тавриды, Иоанн готовился решить судьбу Ливонии.

Настал 1577 год, ужаснейший для сей земли несчастной, предзнаменованный (как думал народ) страшными осенними ветрами и неслыханными зимними метелями, так что море Балтийское покрылось остатками разбитых кораблей, а берега и пути трупами людей, утопших во глубине вод и снегов, равно бурных. В сие время 50 000 россиян шло от Новагорода к Ревелю, коего граждане тщетно ждали вспоможения морем, из Финляндии, Швеции, Любека: корабли с запасами и с воинами тонули, или, уступая силе противных ветров, обращались назад. Все было в ожидании и в страхе; а король шведский, как бы в шутку, писал к Иоанну, что им нет никакой причины воевать друг с другом; что Швеция продает Ревель немецкому императору и что царь, желая иметь сей город, может требовать его от наследника Максимилианова!

Но ревельцы ободряли себя воспоминанием 1571 года—то есть Магнусова бегства от их стен—и под начальством шведского генерала Горна встретили россиян с хладнокровным мужеством. Первыми воеводами царскими были юный князь Федор Иванович Мстиславский и старший из московских полководцев Иван Васильевич Меньший Шереметев, который дал слово государю взять Ревель или положить там свою голову. Тяжелым снарядом огнестрельным управлял князь Никита Приимков-Ростовский, имея многих пушкарей немецких и шотландских. 23 генваря на-

5 Зак. № 40

чалась осада, 27 пальба изо всех наших укреплений — и продолжалась недель шесть без всякого решительного действия. Церкви, домы загорались; но граждане тушили огонь, ответствовали на пальбу пальбою и в частых вылазках иногда одерживали верх, так что число россиян от битв, холода и болезней значительно уменьшалось. Шереметев сдержал слово: не взял Ревеля, но положил свою голову, убитый ядром пушечным. Тело сего храброго воеводы отвезли в Москву вместе с добычею и пленниками эстонскими и *финляндскими*: ибо князь Мстиславский, несмотря на заключенное двухлетнее перемирие с Финляндиею, посылал татарскую конницу через лед залива опустошать сию землю. Для устрашения ревельцев и для ободрения своих воеводы московские распускали слух, что сам государь к ним едет; но первые знали (от изменника, мурзы Булата, ушедшего из стана в крепость), что царь в Москве; что в полководцах наших нет бодрости, а в воинах нет доверенности к полководцам — и с гордостию отвергали все миролюбивые предложения Мстиславского. 13 марта россияне зажгли стан, наполненный трупами и, велев сказать гражданам, что прощаются с ними ненадолго, удалились.

Следствием сего вторичного торжества ревельцев было опустошение всех Иоанновых владений в Ливонии: не только шведы и немцы, но и самые эстонские крестьяне везде нападали на малочисленных россиян. Явился витязь, сын ревельского монетчика, Ив Шенкенберг, прозванный Аннибалом за смелость: предводительствуя толпами вооруженных земледельцев, он взял Виттенштейн, сжег Пернау, ограбил несколько городков и замков в Ервене, в Вирландии, близ Дерпта; злодейски мучил, убивал наших пленников и тем возбудил жестокую месть, которая скоро пала на Ливонию: ибо войско, столь неудачно осаждавшее Ревель, было только нашим передовым отрядом.

Иоанн весною с обоими сыновьями прибыл в Новгород: там и во Пскове соединились все ратные силы его обширного царства, всех земель и городов, южных и полунощных, христианских и неверных, с берегов моря Каспийского и Северного, черкасы и ногаи, мордва и татары, князья, мурзы, атаманы — наконец все воеводы, кроме сторожевых, оставленных блюсти границу от Днепра до Воронежа. Под Иоанном начальствовал бывший царь касимовский Саин-Булат, который тогда, уже будучи христианином, именовался *Симеоном, великим князем тверским*. Князья Иван Шуйский, Василий Сицкий, Шейдяков, Федор Мстислав-

ский и боярин Никита Романович Захарьин-Юрьев предводительствовали особенными полками. Давно Россия не видала такого сильного войска. Все думали, что оно устремится на Ревель. «Мужайтесь снова,— писали к его гражданам рижане, отправив к ним суда с хлебом и воинскими снарядами: — готовьтесь к третьей, ужаснейшей буре — и в третий раз да спасет вас Господь от злочестивого тирана!» 15 июня, выехав из Новагорода, царь около месяца жил во Пскове, где явился к нему и Магнус, уже с трепетом, уже вероломный, как увидим; но еще царь не знал сего тайного коварства и велел ему с его немецкою дружиною идти к Вендену, а сам, 25 июля, вступил в южную Ливонию, к изумлению поляков, которые там господствовали, считая себя в мире с Россиею. Таким образом, началася война Иоаннова с Баторием, столь важная последствиями! Главный воевода Стефанов, Хоткевич, нимало не готовый к обороне, бежал: за ним и другие. Царь в несколько дней взял Мариенгаузен, Луицен, Розиттен, Дюнебург, Крейцбург, Лаудон; защитники их, поляки и немцы, не обнажили меча, требуя милосердия: которые сдавались без размышления, тех выпускали свободными; которые медлили, тех брали в плен. До основания разорив Лаудон, а все другие крепости заняв московскими дружинами, Иоанн отрядил воеводу Фому Бутурлина к городу Зесвегену, где начальствовал брат изменника Таубе. Россияне овладели посадом; но Бутурлин известил царя, что немцы, отвергнув милость, *сели на смерть* в крепости. Государь пришел сам и велел стрелять из пушек: стены пали, а с ними и немцы к ногам его. Уже не было милости: знатнейших из них посадили на кол; других продали татарам в неволю. Берсон, Кальценау покорились без условия: Иоанн отпустил всех тамошних немцев, с женами и детьми, в Курляндию. — С другой стороны, Магнус также брал города, не силою, а добровольно. «Хотите ли спасти жизнь, свободу, достояние? — писал он к ливонцам: — покоритесь мне, или увидите над собою меч и оковы в руках москвитян». Все с радостию признавали его королем, на условиях, выгодных для их безопасности, и в надежде избавиться тем от грозы Иоанновой. Магнус без ведома государева занял Кокенгузен, Ашераден, Ленвард, Роннебург и многие иные крепости; наконец Венден и Вольмар, где граждане выдали ему воеводу Стефанова князя Александра Полубенского. С легкомысленною гордостию известив царя о сих успехах, он требовал, чтобы россияне не беспокоили ливонцев, уже верных законному королю

своему, и в числе городов, ему подвластных, называл даже самый Юрьев, или Дерпт. Иоанн изумился!

Мы видели, что царь, избрав Магнуса в орудие нашей политики, не ослеплялся излишнею к нему доверенностию; помнил измену Таубе и Крузе; знал, что союз родственный не есть надежное ручательство в усердии властолюбивого. Он, конечно, не оставил без внимания и не забыл слухов о тайных Магнусовых сношениях с панами; но молчал, скрывал подозрение до сего времени: тут закипел гневом; устремился к Кокенгузену; велел умертвить там 50 немцев Магнусовой дружины и всех жителей продать в неволю; а к зятю написал следующее: «*Гольдовнику*[1] нашему, Магнусу королю. Я отпустил тебя из Пскова с дозволением занять единственно Венден... а ты, следуя внушениям злых людей или собственной безрассудности, хочешь всего! Знай, что мы недалеко друг от друга. Управа легка: имею воинов и сухари; а более мне ничего ненадобно. Или слушайся, или — если ты недоволен городами, мною тебе данными — иди за море в свою землю. Могу отправить тебя и в Казань; а Ливонию очищу и без твоего содействия». Послав воевод своих в Ашераден, Ленвард, Шваненбург, Тирсен, Пебальге, царь два дня отдыхал в Кокенгузене, где, любя прения богословские, мирно беседовал с главным пастором о Вере евангелической, но едва было не предал его казни за нескромное сравнение Лютера с апостолом Павлом. Узнав, что крепости южной Ливонии не противятся нашему войску, он выступил к Эрле, пленил всех ее жителей за то, что они не вдруг сдалися, и спешил к Вендену. В то же время Богдан Бельский с московскими стрельцами окружил Вольмар, где начальствовал сановник Магнусов, Георг Вильке. Сия крепость считалась одною из важнейших. Вильке не хотел впустить россиян, ответствуя, что она *взята королевскою саблею*; но видя изготовления к приступу, выехал к нашему воеводе и сказал: «Знаю, что мой король присяжник царя: удерживаюсь от кровопролития. Возьмите город: еду к Магнусу». Его послали к Иоанну с двадцатью немцами; а других Магнусовых людей, числом семьдесят, изрубили; купцов и всех жителей оковали; их имение и домы опечатали. В знак своего особенного удовольствия Иоанн наградил Бельского золотою цепью, а бывших с ним дворян золотыми медалями.

---

[1] Гольдовник — вассал.

В Вендене находился сам Магнус, который не хотел ехать к царю на встречу, но, исполняя волю его, прислал к нему воеводу Стефанова князя Полубенского и двух знатных сановников с извинениями. Обласкав первого, Иоанн, как пишут, выведал от него важную тайну: узнал вероломство своего присяжника; узнал, что Магнус сносится с герцогом курляндским и мыслит покориться с ливонскими городами Баторию, внутренне ненавидя россиян или царя их. Что заставило сего воеводу Стефанова изменить доверенности Магнуса? Желание ли отомстить ему за бунт вольмарских жителей? малодушный ли страх? неожидаемая ли милость Иоаннова? Как бы то ни было, царь мог законно казнить изменника, мог предаться естественному, праведному гневу — но, умея иногда обуздывать себя, хладнокровно велел двух послов Магнусовых высечь розгами и сказать ему, чтобы он немедленно явился в нашем стане. Магнус трепетал; не смел ослушаться и с двадцатью пятью чиновниками поехал на страшный суд; увидел Иоанна, сошел с коня, пал к ногам царским. Иоанн поднял его и говорил так, более с презрением, нежели с гневом: «Глупец! ты дерзнул мечтать о королевстве ливонском? ты, бродяга, нищий, принятый в мое семейство, женатый на моей возлюбленной племяннице, одетый, обутый мною, наделенный казною и городами — ты изменил мне, своему государю, отцу, благодетелю? Дай ответ! Сколько раз слышал я о твоих замыслах гнусных? но не верил, молчал. Ныне все открылось. Ты хотел обманом взять Ливонию и быть слугою польским. Но Господь милосердый сохранил меня и предает тебя в мои руки. И так будь жертвою правосудия; возврати мое и снова пресмыкайся в ничтожестве!» Магнуса со всеми его чиновниками заперли в одном пустом ветхом доме, где он несколько дней и ночей провел на соломе. Между тем, что делалось в Вендене?

Россияне без сопротивления вступили в город. Воеводы, князь Голицын и Салтыков, не велели им трогать жителей; везде поставили крепкую стражу; очистили домы для государя и бояр. Все казалось мирно и тихо. Но Магнусовы немцы, боясь свирепости Иоанновой, с женами, с детьми, с драгоценнейшим имением укрылись в замке и не отворяли его. Россияне хотели употребить силу: немцы начали стрелять, убили многих детей боярских, ранили воеводу Салтыкова; не слушались даже и Магнуса, который приказывал им сдаться. Узнав о том, гневный царь велел знатного пленника, Георга Вильке, посадить на кол, пушками разбить

замок, умертвить всех немцев. Три дня громили стены: они валились; не было спасения для осажденных. Тогда один из них сказал: «Умрем, если так угодно Богу; но не дадим себя тирану на муки. Подорвем замок!» Все изъявили согласие, даже и пасторы, с ними бывшие. Наполнили порохом своды древнего магистерского дома; причастились Святых Таин; стали на колена, рядом, семействами: мужья с женами, матери с детьми; молились усердно — и видя стремящихся к ним россиян, дали знак: сановник Магнусов Генрик Бойсман бросил в окно горящий фитиль на кучу пороха... с ужасным треском взлетело здание. Все погибли, кроме Бойсмана, оглушенного ударом, изувеченного, но еще живого, найденного в развалинах. Чрез несколько минут он испустил дух, и мертвый был посажен на кол! Страшная месть пала и на мирных жителей: мучили и казнили, секли и жгли их, на улицах бесчестили жен и девиц. Трупы лежали вокруг города непогребенные. Одним словом, сия *венденская кара* принадлежит к ужаснейшим подвигам Иоаннова тиранства: она удвоила ненависть ливонцев к россиянам.

Оттуда царь пошел [12 сентября 1577 г.] к Роннебургу, Трикату, Шмильтену; сии крепости, занятые литовцами, ему не противились. Начальники мирно встречали его, довольные свободою возвратиться в отечество без оружия и без имения; а немцев с женами и с детьми брали в плен. Оставалось только взять Ригу; но предвидя осаду кровопролитную, Иоанн спешил в Вольмар торжествовать свои победы; дал великолепный пир воеводам российским и знатным литовским освобожденным пленникам; в особенности ласкал князя Александра Полубенского; одарил их шубами и кубками; сказал им гордо: «Идите к королю Стефану; убедите его заключить мир со мною на условиях, мне угодных: ибо рука моя *высока*. Вы видели: да знает и он!» Вольмар напомнил Иоанну беглеца Курбского: он написал к нему письмо такого содержания (и вручил оное князю Полубенскому для доставления): «Мы, великий государь всея России, к бывшему московскому боярину... Смирение да будет в сердце и на языке моем. Ведаю свои беззакония, уступающие только милосердию Божию: оно спасет меня, по слову Евангельскому, что Господь радуется о едином кающемся грешнике более, нежели о десяти праведниках. Сия пучина благости потопит грехи мучителя и блудника!.. Нет, не хвалюся честию: честь не моя, а Божия... Смотри, о княже! судьбы Всевышнего. Вы, друзья Адашева и

Сильвестра, хотели владеть государством... и где же ныне? Вы, сверженные правосудием, кипя яростию, вопили, что не осталось мужей в России; что она без вас уже бессильна и беззащитна: но вас нет, а тверди немецкие пали пред силою Креста Животворящего! Мы там, где вы не бывали... Нет, ты был здесь, но не в славе победы, а в стыде бегства, думая, что ты уже далеко от России, в убежище безопасном для измены, недоступном для ее мстителей. Здесь ты изрыгал хулы на царя своего; но здесь ныне царь, здесь Россия!.. Чем виновен я пред вами? Не вы ли, отняв у меня супругу милую, сделались истинными виновниками моих человеческих слабостей? Говорите о лютости царя, хотев лишить его и престола и жизни! Войною ли, кровию ли приобрел я государство, быв государем еще в колыбели? И князь Владимир, любезный вам, изменникам, имел ли право на державу не только по своему роду, но и по личному достоинству, князь равно бессмысленный и неблагодарный, вашими отцами вверженный в темницу и мною освобожденный? Я стоял за себя; остервенение злодеев требовало суда неумолимого... Но не хочу многословия; довольно и сказанного. Дивися промыслу Небесному; войди в себя; рассуди о делах своих! Не гордость велит мне писать к тебе, а любовь христианская, да воспоминанием исправишься, и да спасется душа твоя». — Сие мнимое *смирение* конечно не исправило и не обмануло изменника, но могло растравить язву сердца его к удовольствию мстительного царя. Курбский, также мстительный, ждал благоприятного времени для ответа: оно приближалось!

Доселе Иоанн брал, что хотел; свирепствовал, казнил Ливонию беспрепятственно; смеялся над слабостию врагов; с надменностию воображал ужас, отчаяние королей шведского и польского; думал, что оружие уже все решило; что остальное прибавят договоры сильного с бессильными. Отрядив часть конницы к Ревелю для нового опустошения шведских владений, расставив войско по городам, вверив оное великому князю тверскому Симеону, князьям Ивану Шуйскому и Василию Сицкому, царь поехал в Дерпт. За ним везли изменника Магнуса и знатных дворян его, которые ежечасно ждали смерти; но Иоанн, не уважая законов государственной нравственности, государственного неумолимого правосудия, умел быть снисходительным к измене для выгод политики. Так он, будучи в Дюнебурге, *милостиво* сносился с беглецами Крузе и Таубе; ибо сии вероломные, видя успехи его,

дерзнули снова предложить ему свои услуги, искренно или коварно, с обещанием способствовать нам в дальнейших завоеваниях. Так Иоанн, к общему удивлению, простил и Магнуса в Дерпте, взяв с него клятву в верности, с обязательством заплатить России 40 000 венгерских гульденов; возвратил ему свободу и владение, Оберпален, Каркус; еще прибавил к сим городам Гельмет, Зигесвальде, Розенберг и другие; оставил Магнусу имя короля, а себе верховного повелителя Ливонии, и велел там изобразить в церквах следующую надпись худыми немецкими стихами, им самим, как уверяют, сочиненными: «Есмь Иоанн, государь многих земель, исчисленных в моем титуле. Исповедаю Веру предков своих, истинно христианскую, по учению Св. апостола Павла, вместе с добрыми москвитянами. Я их царь природный: не вымолил, не купил сего титула; а мой царь есть Иисус Христос». — Из Дерпта приехав во Псков, Иоанн осмотрел всех пленников ливонских, некоторых освободил, других скованных послал в Москву, и сам, как бы утружденный великими подвигами, спешил отдохнуть в уединении Слободы Александровской.

Здесь конец наших воинских успехов в Ливонии, хотя и не весьма важных для потомства, но знаменитых, блестящих для тогдашних россиян, которые славились взятием *двадцати семи городов* в два или три месяца. Увидим жестокий оборот Судьбы, злополучие отечества и стыд царя; увидим новое доказательство, что малодушие свойственно тирану: ибо бедствия для него казнь, а не искушение, и доверенность к Провидению столь же чужда его сердцу боязливому, сколь и доверенность к народному усердию!.. Но прежде описания войны, какой дотоле мы не имели, в последний раз еще явим Иоанна губительным Ангелом Тьмы для россиян, обагренным святою кровию невинности.

Уже не было имени опричников, но жертвы еще падали, хотя и реже, менее числом; тиранство казалось утомленным, дремлющим, только от времени до времени пробуждаясь. Еще великое имя вписалось в огромную книгу убийств сего царствования смертоносного. Первый из воевод российских, первый *слуга государев* — тот, кто в славнейший час Иоанновой жизни прислал сказать ему: *Казань наша*, кто, уже гонимый, уже знаменованный опалою, бесчестием ссылки и темницы, сокрушил ханскую силу на берегах Лопасни и еще принудил царя изъявить ему благодарность отечества за спасение Москвы — князь Михайло Воротынский чрез десять месяцев после своего торжества был предан на смертную муку, об-

виняемый рабом его в чародействе, в тайных свиданиях с злыми ведьмами и в умысле извести царя; донос нелепый, обыкновенный в сие время и всегда угодный тирану! Мужа славы и доблести привели к царю окованного. Услышав обвинение, увидев доносителя, Воротынский сказал тихо: «Государь, дед, отец мой учили меня служить ревностно Богу и царю, а не бесу; прибегать в скорбях сердечных к алтарям Всевышнего, а не к ведьмам. Сей клеветник есть мой раб беглый, уличенный в татьбе: не верь злодею». Но Иоанн хотел верить, доселе щадив жизнь сего *последнего* из верных друзей Адашева, как бы невольно, как бы для того, чтобы иметь хотя единого победоносного воеводу на случай чрезвычайной опасности. Опасность миновалась — и шестидесятилетнего Героя связанного положили на дерево между двумя огнями; жгли, мучили. Уверяют, что сам Иоанн кровавым жезлом своим пригребал пылающие уголья к телу страдальца. Изожженного, едва дышущего взяли и повезли Воротынского на Белоозеро: он скончался в пути. Знаменитый прах его лежит в обители Св. Кирилла. «О муж великий! — пишет несчастный Курбский: — муж крепкий душою и разумом! священна, незабвенна память твоя в мире! Ты служил отечеству неблагодарному, где добродетель губит и слава безмолвствует; но есть потомство, и Европа о тебе слышала: знает, как ты своим мужеством и благоразумием истребил воинство неверных на полях московских, к утешению христиан и к стыду надменного султана! Приими же здесь хвалу громкую за дела великие, а там, у Христа Бога нашего, вечное блаженство за неповинную муку!» Знатный род князей Воротынских, потомков св. Михаила Черниговского, уже давно пресекся в России: имя князя Михаила Воротынского сделалось достоянием и славою нашей истории.

Вместе с ним замучили боярина воеводу князя Никиту Романовича Одоевского, брата злополучной Евдокии, невестки Иоанновой, уже давно обреченного на гибель мнимым преступлением зятя и сестры; но тиран любил иногда отлагать казнь, хваляся долготерпением или наслаждаясь долговременным страхом, трепетом сих несчастных! Тогда же умертвили старого боярина Михаила Яковлевича Морозова с двумя сыновьями и с супругою Евдокиею, дочерью князя Дмитрия Бельского, славною благочестием и святостию жизни. Сей муж прошел невредимо сквозь все бури московского двора; устоял в превратностях мятежного господства бояр, любимый и Шуйскими, и Бельскими, и Глинскими; на первой свадьбе Иоанновой, в 1547 году, был дружкою, следственно ближним цар-

ским человеком; высился и во время Адашева, опираясь на достоинства; служил в посольствах и воинствах, управлял огнестрельным снарядом в казанской осаде; не вписанный в опричнину, не являлся на кровавых пирах с Басмановыми и с Малютою, но еще умом и трудами содействовал благу государственному; наконец пал в чреду свою, как противный остаток, как ненавистный памятник времен лучших.—Так же пал (в 1575 году) старый боярин князь Петр Андреевич Куракин, один из деятельнейших воевод в течение тридцати пяти лет, вместе с боярином Иваном Андреевичем Бутурлиным, который, пережив гибель своих многочисленных единородцев, умев снискать даже особенную милость Иоаннову, не избавился опалы ни заслугами, ни искусством придворным. В сей год и в следующие два казнили окольничих: Петра Зайцева, ревностного опричника; Григория Собакина, дядю умершей царицы Марфы; князя Тулупова, воеводу *дворового*, следственно любимца государева, и Никиту Борисова; крайчего, Иоаннова шурина, Марфина брата, Калиста Васильевича Собакина, и оружничего, князя Ивана Деветелевича. Не знаем вины их, или, лучше сказать, предлога казни. Видим только, что Иоанн не изменял своему *правилу смешения* в губительстве: довершая истребление вельмож старых, осужденных его политикою, *беспристрастно* губил и новых; карая добродетельных, карал и злых. Так он, в сие же время, велел умертвить псковского игумена Корнилия, мужа святого — смиренного ученика его, Вассиана Муромцева, и новогородского архиепископа Леонида, пастыря недостойного, алчного корыстолюбца: первых каким-то мучительским орудием раздавили: последнего обшили в медвежью кожу и затравили псами!.. Тогда уже ничто не изумляло россиян: тиранство притупило чувства... Пишут, что Корнилий оставил для потомства историю своего времени, изобразив в ней бедствия отечества, мятеж, разделение царства и гибель народа от гнева Иоаннова, глада, мора и нашествия иноплеменников.

Здесь Курбский повествует еще о гибели добродетельного архимандрита Феодорита. Сей муж, быв иноком Соловецкой обители, другом Св. Александра Свирского и знаменитого старца Порфирия, гонимого отцом Иоанновым за смелое ходатайство о несчастном князе Шемякине, имел славу крестить многих диких лопарей; не убоялся пустынь снежных; проник во глубину мрачных, хладных лесов и возвестил Христа Спасителя на берегах Туломы; узнав язык жителей, истолковал им Евангелие, изобрел для них письмена, основал монастырь близ устья Колы, учил, благотво-

рил, подобно Св. Стефану Пермскому, и с сердечным умилением видел ревность сих мирных, простодушных людей к Вере истинной, В 1560 году, по воле Иоанна, он ездил в Константинополь и привез ему от тамошнего греческого духовенства *благословение на сан царский вместе с древнею Книгою венчания императоров византийских*. После того жил в Вологде в монастыре Св. Димитрия Прилуцкого и несмотря на старость, часто бывал в своей любимой Кольской обители, у новых христиан лапландских; ездил из пустыни в пустыню, летом реками и морем, зимою на оленях; находил везде любовь к нему и внимание к его учению. Всеми уважаемый, и самим царем, Феодорит возбудил гнев Иоаннов дружбою к князю Курбскому, бывшему духовному сыну сего ревностного христианского пастыря: дерзнул напомнить государю о жалостной судьбе знаменитого беглеца, столь же несчастного, сколь и виновного; дерзнул говорить о прощении. Феодорита утопили в реке, по сказанию некоторых; другие уверяли, что он хотя и заслужил опалу, но мирно преставился в уединении.

Не щадя ни добродетели, ни святости, — требуя во всем повиновения безмолвного, Иоанн в то же время с удивительным хладнокровием терпел непрестанные *местничества* наших воевод, которые в сем случае не боялись изъявлять самого дерзкого упрямства: молча видели казнь своих ближних; молча склоняли голову под секиру палачей: но не слушались царя, когда он назначал им места в войске не по их родовому старейшинству. Например: чей отец или дед воеводствовал в *большом полку*, тот уже не хотел зависеть от воеводы, коего отец или дед начальствовал единственно в *передовом* или в *сторожевом*, в *правой* или в *левой руке*. Недовольный отсылал указ государев назад с жалобою, требуя суда. Царь справлялся с Книгами разрядными и решил тяжбу о старейшинстве, или, в случаях важных, ответствовал: «*быть воеводам без мест*, каждому оставаться на своем впредь до разбора». Но время действовать уходило, ко вреду государства, и виновник не подвергался наказанию. Сие местничество оказывалось и в службе придворной: любимец Иоаннов Борис Годунов, новый крайчий, (в 1578 году) судился с боярином князем Василием Сицким, которого сын не хотел служить наряду с ним за столом государевым; несмотря на боярское достоинство князя Василия, Годунов царскою грамотою был объявлен выше его *многими местами* для того, что дед Борисов в старых разрядах стоял выше Сицких. — Дозволяя воеводам спорить о

первенстве, Иоанн не спускал им оплошности в ратном деле: например, знатного сановника князя Михаила Ноздреватого высекли на конюшне за худое распоряжение при осаде Шмильтена.

«Но сии люди, — пишет историк ливонский, — ни от казней, ни от бесчестия не слабели в усердии к их монарху. Представим достопамятный случай. Чиновник Иоаннов, князь Сугорский, посланный (в 1576 году) к императору Максимилиану, занемог в Курляндии. Герцог, из уважения к царю, несколько раз наведывался о больном чрез своего министра, который всегда слышал от него сии слова: *жизнь моя ничто: лишь бы государь наш здравствовал*! Министр изъявил ему удивление. *Как можете вы*, — спросил он, — *служить с такою ревностию тирану*? Князь Сугорский ответствовал: «*Мы, русские, преданы царям, и милосердым и жестоким*». В доказательство больной рассказал ему, что Иоанн незадолго пред тем велел за малую вину одного из знатных людей посадить на кол; что сей несчастный жил целые сутки, в ужасных муках говорил с своею женою, с детьми, и беспрестанно твердил: «Боже! помилуй царя!»... То есть россияне славились тем, чем иноземцы укоряли их: слепою, неограниченною преданностию к монаршей воле в самых ее безрассудных уклонениях от государственных и человеческих законов.

В сии годы необузданность Иоаннова явила новый соблазн в преступлении святых уставов церкви, с бесстыдством неслыханным. Царица Анна скоро утратила нежность супруга, своим ли бесплодием или единственно потому, что его любострастие, обманывая закон и совесть, искало новых предметов наслаждения: сия злосчастная, как некогда Соломония, должна была отказаться от света, заключилась в монастыре Тихвинском, и названная в монашестве или в схиме Дариею, жила там до 1626 года; а царь, уже не соблюдая и легкой пристойности, уже не требуя благословения от епископов, без всякого церковного разрешения женился (около 1575 года) в пятый раз на Анне Васильчиковой. Но не знаем, дал ли он ей имя царицы, торжественно ли венчался с нею: ибо в описании его бракосочетаний нет сего *пятого*; не видим также никого из ее родственников при дворе, в чинах, между царскими людьми ближними. Она схоронена в Суздальской девичьей обители, там, где лежит и Соломония. *Шестою* Иоанновою супругою, или, как пишут, *женищем*[1] — была прекрасная вдова, Василисса Мелентье-

[1] Женище — невенчаная жена.

ева: он, без всяких иных священных обрядов, *взял только молитву* для сожития с нею! Увидим, что сим не кончились беззаконные женитьбы царя, ненасытного в убийствах и в любострастии!

Глава V
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИОАННА ГРОЗНОГО 1577—1582 гг.

Переговоры с Австриею. Договор с Даниею. Дела крымские. Переговоры и война с Баторием. Чудесное дело московских пушкарей. Взятие Полоцка, Сокола. Письмо Курбского. Собор в Москве. Посольство к императору и к папе. Завоевание Великих Лук. Бедствия России. Седьмое супружество Иоанново. Неслыханное уничижение. Письмо к Баторию: ответ его. Посольство от папы. Славная осада Пскова. Шведы берут Нарву. Переговоры о мире. Заключение перемирия. Сыноубийство. Мысль Иоаннова оставить свет. Врач Строганов. Беседы Иоанновы с римским послом.

Торжествуя в Москве свои ливонские завоевания, презирая Батория и Швецию, Иоанн, кажется, не видал, не угадывал великих для себя опасностей; однако ж искал союзников: писал к новому императору Рудольфу в ответ на его уведомление о кончине Максимилиановой; изъявлял готовность заключить с ним договор о *любви* и *братстве*, посылал в Вену дворянина Ждана Квашнина в надежде склонить цесаря к войне с общим недругом, чтобы изгнать Стефана, разделить Польшу, Литву,— наконец ополчиться со всею Европою на султана; главная мысль сего времени, внушенная папами императорам! При дворе венском жил тогда знаменитый беглец, сирадский воевода Албрехт Ласко, враг Стефанов, который имел тайные сношения с Иоанном: государь убеждал его одушевить умом своим и ревностию медленную, слишком хладнокровную политику австрийскую. Заметим, что Квашнин должен был разведать в Германии, дружен ли папа с императором, с королями испанским, французским, шотландским, Елисаветою английскою; усмирились ли внутренние мятежи во Франции; какие переговоры идут у цесаря с нею и с другими державами; сколько у него доходу и войска? Так со времен

Иоанна III, первоначальника державы Российской и государственной ее системы, цари наши уже не чуждались Европы; уже всегда хотели знать взаимные отношения государств, отчасти из любопытства, свойственного разуму деятельному, отчасти и для того, чтобы в их союзах и неприязни искать непосредственной или хотя отдаленной выгоды для нашей собственной политики. Но Квашнин возвратился только с обещанием, что император не замедлит прислать кого-нибудь из первых вельмож в Москву, желая утвердить дружбу с нами; и, к неудовольствию Иоанна, Рудольф жаловался ему на бедственное опустошение Ливонии, несогласное ни с их *братством*, ни с человеколюбием, ни с справедливостию. Квашнин привез также грамоту от венгерского воеводы Роберта, который, хваля ум сего царского посланника, молил Иоанна, как *второго* христианского венценосца, быть спасителем Европы, обещал ему знатное вспоможение золотом и людьми в войне с турками, убеждал его взять Молдавию, *отказанную России* умершим в Москве господарем Богданом. Сие письмо было тайное: ибо австрийский кабинет, издавна опасливый, без сомнения не дозволил бы магнату венгерскому от имени своего народа сноситься с чужеземным государем о делах столь важных. Роберт уже знал императора, искусного химика, астронома и всадника, но весьма худого монарха; предвидел грозу для Венгрии от властолюбия султанов и желал противоборствовать оному новым властолюбием России, ославленной тогда могуществом: ибо Максимилиановы послы, бывшие у нас в 1576 году, распустили слух в Европе о несметности Иоаннова войска. Но слабодушный преемник Максимилианов хотя и ненавидел Батория, хотя и трепетал султана, но не думал воспользоваться союзом царя для того, чтобы взять Польшу и спасти Венгрию.

Другим естественным союзником нашим мог быть король датский Фридерик: несмотря на мир с Швециею, он не верил ее дружбе, искал Иоанновой, и (в 1578 году) прислал в Москву знатных чиновников, Якова Ульфельда и Григория Ульстанда, с жалобою, что россияне заняли в Ливонии некоторые датские владения: Габзаль, Леаль, Лоде, и с предложением вечного мира на условиях, выгодных для обеих держав. Фридерик желал иметь часть Эстонии и способствовать нам в изгнании шведов, хваляся тем, что он не принял никаких льстивых обещаний врага нашего, Стефана. Но гордые, непреклонные бояре московские, как пишет Ульфельд, думали только о выгодах собственного властолюбия; не оказали ни

малейшего снисхождения; не хотели слушать ни требований, ни противоречий; отвергнули искренний союз Дании, вечный мир, и заключили единственно перемирие на 15 лет, коего условия были следующие: 1) король признает всю Ливонию и Курляндию собственностию царя, а царь утверждает за ним остров Эзель с его землями и городами; 2) первому не давать ни людей, ни денег Баторию, ни шведам в их войне с Россиею, которая также не будет помогать врагам Дании; 3) в Норвегии восстановятся древние границы между российскими и датскими владениями; 4) с обеих сторон объявляется полная свобода для купцов и безопасность для путешественников; 5) Фридерик не должен останавливать немецких художников на пути в Москву. За сей договор, явно выгодный для одного царя, Ульфельд лишился Фридериковой милости, и злобясь на россиян, в описании своего путешествия клянет их упрямство, лукавый ум, необузданность беспримерную.

Желая если не союза, то хотя мира с Девлет-Гиреем, уже слабым, издыхающим, Иоанн не преставал сноситься с ним чрез гонцов; если не уступал, то и не требовал ничего, кроме шертной грамоты и мирного бездействия от хана. Девлет-Гирей умер (29 июня 1577), и сын его, Магмет-Гирей, заступив место отца, весьма дружелюбно известил о том Иоанна; сделал еще более: напал на Литву, разорил и выжег немалую часть земли Волынской, исполняя совет вельмож, которые говорили, что новый хан должен ознаменовать свое воцарение пожарами и кровопролитием в землях соседственных! Иоанн спешил отправить к нему знатного сановника князя Мосальского, с приветствием, с богатыми дарами, каких дотоле не видала Таврида, и с наказом весьма снисходительным; например: «*Бить челом* хану; обещать дары *ежегодные* в случае союза, но не писать их в шертную грамоту; требовать, но без упорства, чтобы Магмет-Гирей называл великого князя царем; вообще вести себя *смирно*, убегать речей колких, и если хан или вельможи его вспомянут о временах Калиты и царя Узбека, то не оказывать гнева, но ответствовать тихо: *не знаю старины; ведает ее Бог и вы, государи!*» Столь домогался Иоанн найти сподвижника в новом хане, чтобы обуздать Стефана ужасом крымских, гибельных для Литвы набегов! Но сия политика, счастливая только в государствование Иоанна III, ни для сына, ни для внука его не имела успеха. Магмет-Гирей за свою дружбу хотел Астрахани, обещая отдать нам Литву и Польшу! Хотел также, чтобы царь свел козаков с Днепра и с Дона. Сии требования были объявлены ханскими по-

слами в Москве. Им сказали, что днепровские и донские козаки не зависят от нас; что первые служат Баторию, а вторые суть беглецы российские и литовские, коих велено казнить, где явятся в наших пределах; что оружие и Вера навеки утвердили Астрахань за Россиею; что там уже воздвигнуты храмы Бога христианского, основаны монастыри, живут коренные христиане. Магмет-Гирей твердил царю: «Ты уступал нам сей город: исполни же *обещание*! Тогда вдовы и сироты ваши могут спокойно ходить в серебре и золоте: никто из моих воинов не тронет их на самых пустынных дорогах». Между тем он просил четырех тысяч рублей: государь послал ему тысячу; не жалел даров ни для жен, ни для вельмож его, но не достиг цели: Стефан предупредил нас, и купив постыдное дружество сего атамана разбойников, мог действовать всеми силами против России.

Любя великие дела и славу, но умея ждать времени и случая, Баторий, занятый осадою Данцига, как бы равнодушно видел успехи Иоанновы в Ливонии; без сомнения знал, что не переговорами, а мечом должно решить дело, однако ж писал к царю, что он удивляется его явному недружелюбию и предлагает не лить крови, буде еще можно согласить миром выгоды, честь, безопасность обеих держав, России и Польши. «Твоя досада неосновательна,— ответствовал ему Иоанн:— взяв города свои в Ливонии, я выслал оттуда людей ваших без всякого *наказания*. Ты король, но не ливонский». Послы Стефановы, воеводы мазовецкий и минский, прибыв в Москву (в генваре 1578), торжественно объявили боярам, что король мыслит единственно о спокойствии держав христианских, хочет жить в дружбе со всеми и в особенности с Россиею; что перемирие нарушено неприятельскими действиями царя в Ливонии; что Стефан уполномочил их (послов) восстановить тишину навеки. Для сего бояре требовали, чтобы король, именуя Иоанна царем, великим князем смоленским и полоцким, не вступался ни в Ливонию, ни в Курляндию, нераздельную с нею, и еще отдал России Киев, Канев, Витебск с другими городами; а паны королевские требовали не только всей Ливонии, но и всех древних российских областей от Калуги до Чернигова и Двины. Видя невозможность мира, согласились единственно возобновить перемирие на три года, но в русскую грамоту включили слова: *королю не вступаться в Ливонию* (чего не было в польской грамоте), и государь, утверждая сей договор обыкновенною присягою, сказал: «целую крест *соседу* моему, Стефану

королю, в том, что исполню условия; а Ливонской и Курляндской земли не отступаюсь». Сановники Карпов и Головин поехали к Стефану быть свидетелями его клятвы и разменяться записями. Но сей договор остался без действия и не унял кровопролития.

Уже обстоятельства начали изменяться, к досаде Иоанна и ко вреду России. Еще в 1577 году шведский адмирал Гилленанкер с вооруженными судами явился перед Нарвою, сжег там деревянные укрепления, умертвил и взял в плен несколько россиян; другая толпа шведов опустошила часть Кексгольмского уезда. Ревельцы и Шенкенберг-Аннибал также непрестанными впадениями тревожили Эстонию российскую; а воеводы Иоанновы спокойно отдыхали в городах, презирая слабых врагов, и своим бездействием вселяя в них смелость. Пишут, что литовские сановники, желая отнять у нас Дюнебург, употребили хитрость: как бы в знак дружбы прислали тамошним московским воинам бочку вина, ночью ворвались в крепость и всех их умертвили пьяных. Немцы, служащие Баторию, столь же внезапно и легко взяли еще гораздо важнейшее место, Венден, прославленный великодушною гибелию Магнусовой дружины и жестокою местию царя. Оплошные воеводы не видали, не слыхали, как немцы, подделав ключи к воротам венденским, вступили в город, чтобы резать сонных россиян. В то же время сведал Иоанн, что тень мнимого Королевства Ливонского, изобретение хитрой его политики, исчезла наконец бегством мнимого короля. Измена, уже давно замышляемая, совершилась: жертва честолюбия и страха, Магнус, снова присягнув в верности к Иоанну, снова обратился к Баторию, заключил с ним договор и тайно уехал из Оберпалена в Курляндию, в городок Пильтен, вместе с юною супругою, которая не без горести пожертвовала ему своим отечеством, хотя и не могла любить дяди, убийцы несчастных ее родителей.

Легковерие не было свойственно Иоанну: он, конечно, не удивился бегству Магнуса, желав только на время иметь в нем орудие для своей политики; но казался изумленным, винил себя в излишнем милосердии к вероломному и послал знатнейших воевод к Вендену, князя Ивана Федоровича Мстиславского с сыном, боярина Морозова и других, чтобы землю, омоченную там кровию россиян, омочить немецкою; но воеводы не умели взять крепости: стреляли из пушек и, сделав пролом в стене, удалились: ибо сведали, что на них идут воеводы Баториевы Дембинский, Бюринг и Хоткевич. Сию неудачу загладили младшие сановники

царские, князь Иван Михайлович Елецкий и дворянин Леонтий Григорьевич Волуев: с горстию людей осажденные в Ленвардене рижскими немцами и литовским воеводою, не имея хлеба, имея только железо и порох, они бились как Герои в течение месяца: питались лошадиным мясом, кожами и своим мужеством, своим терпением победили неприятеля: он ушел, оставив множество трупов под стенами. Между тем шведы и неутомимый Шенкенберг-Аннибал сожгли предместие Дерпта и всех захваченных ими россиян умертвили, жен и детей. Не было милосердия, ни человечества: обе стороны в ужасных своих лютостях оправдывались законом мести.

В конце лета [1578 г.] воеводы московские, князья Иван Юрьевич Голицын, Василий Агишевич Тюменский, Хворостинин, Тюфякин, приступили к Оберпалену, занятому шведами после Магнусова бегства с согласия тамошних немцев. Взяв сию крепость и 200 пленников, воеводы отослали их в Москву на казнь и смерть; должны были идти немедленно к Вендену, но споря между собою о начальстве, не исполняли царского указа: Иоанн с гневом прислал в Дерпт знаменитого дьяка Андрея Щелкалова и любимого дворянина своего Данила Салтыкова, велев им сменить воевод в случае их дальнейшего ослушания. Наконец они выступили, дав время изготовиться неприятелю и литовцам соединиться с шведами; осадили Венден и чрез несколько дней (21 октября) увидели неприятеля за собою: Сапега с литвою и немцами, генерал Бое с шведами напали на 18 000 россиян, едва успевших построиться вне своих окопов. Долго бились мужественно; но худая конница татарская в решительный час выдала нашу пехоту и бежала. Россияне дрогнули, смешались, отступили к укреплениям, где сильною пальбою еще удерживали стремление неприятеля. Ночь прекратила битву: Сапега и Бое хотели возобновить ее, ждали утра; но первый вождь московский Голицын, окольничий Федор Шереметев, князь Андрей Палицкий, вместе с дьяком Щелкаловым, равно умным и малодушным, в безумии страха уже скакали на борзых[1] конях к Дерпту, оставив войско ночью в ужасе, коего следствием было общее бегство. Еще некоторые говорили о долге и чести; их не слушали — но они говорили, что думали, и явили пример достойный лучших времен Рима: воеводы, боярин князь Василий Андреевич Сицкий, окольничий Василий Федорович Воронцов (начальник ог-

[1] Борзый — резвый.

нестрельного снаряда), Данило Борисович Салтыков, князь Михайло Васильевич Тюфякин, не тронулись с места, хотели смерти, и нашли ее, когда неприятель в следующее утро, видя единственно горсть великодушных в стане, всеми силами на них ударил; окольничего Татева, князей Хворостинина, Семена Тюфякина, дьяка Клобукова взял в плен; кинулся на снаряд огнестрельный, и с изумлением увидел редкое действие воинской верности: московские пушкари, ужасаясь мысли отдаться неприятелю, повесились на своих орудиях... Сии люди не мечтали о славе; имена их остались неизвестными: самое дело не дошло бы до потомства, если бы умный секретарь королевский, Гейденштейн, не внес оного в свою историю, с удивлением души благородной, чувствительной к великому и в самых неприятелях. Добычею победителей были 17 пушек, весь обоз и множество коней татарских. Число убитых россиян простиралось за 6000. Так начался важные успехи Баториевы и несгоды Иоанновы в сей войне злосчастной, но не бесславной для России, которая все имела для победы: и силу и доблесть, но не имела великодушного отца-государя!

Доселе Иоанн не мыслил искренно о мире: без сомнения думал, что и перемирие не будет утверждено королем с обязательством не вступаться в Ливонию; ждал вестей, с одной стороны, от послов московских из Кракова, с другой — от воевод о чаемом, легком взятии Вендена, и не хотел видеть Стефанова гонца, присланного к нему с убеждением заключить особенный договор о городах ливонских. Встревоженный судьбою нашего войска под Венденом, Иоанн немедленно ответствовал на письмо Баториево, что он согласен дружелюбно решить судьбу Ливонии, будет ждать для того новых послов королевских в Москву, удивляется невозвращению наших из Кракова и ревностно желает честного мира. Но Баторий уже изготовился к войне, смирив Данциг.

Сей опасный враг, изъявляя нам миролюбие, в то же время предлагал варшавскому сейму необходимость утвердить оружием безопасность государства. «Имеем двух злых неприятелей,— сказал он:— крымцы жгут, россияне берут наши владения. Идти ли на обоих вместе? или с кого начать?» Уже присутствие великого мужа одушевляло вельмож и дворянство ревностию ко благу отечества: Баторий знал худо язык, но твердо историю Литвы и Польши; исчислил земли, отнятые у них Россиею; винил слабость королей, льстил народному самолюбию, указывал на меч свой и слушал рассуждения сейма. «Таврида,— говорили паны,—зависит

от султана: наступательная война с нею может раздражить его; когда мы будем в Тавриде, оттоманы будут в Польше. И что корысти? Сей дикий неприятель всегда грабит и всегда беден. Лучше до времени искать мира с ханом. — Государство Московское велико и сильно: тем славнее победа! Оно цветет изобилием природы и торговлею: тем более добычи!» Решили единогласно воевать Россию; велели собирать многочисленное войско; обременили неслыханными дотоле налогами владельцев и граждан: никто не противился; вооружались и платили с чувством или с видом усердия. Не обольщая себя излишнею надеждою на собственные силы, Баторий требовал вспоможения от других держав, от султана и папы! Желая снискать особенное благоволение первого, он не усомнился нарушить святую обязанность чести: ибо думал, что совесть должна молчать в политике, и что государственная выгода есть главный закон для государя. В самое то время, когда Стефан везде искал мира и союза, чтобы усильно действовать против нас, бедный козак днепровский, родом волох, славный наездник и силач (одною рукою ломавший надвое подкову и для сего прозванный *Подковою*), умел с толпою бродяг нечаянно завоевать Валахию, где властвовал присяжник султанский, друг Баториев, господарь Петр. Оскорбленный таким успехом дерзости, Стефан послал войско изгнать хищника. Но мужественный козак, воеводами и словом Батория удостоверенный в личной безопасности, сдался им добровольно. Что же сделал король? Велел отсечь ему голову в угодность султану и в присутствии его посла, сказав вельможам: «для народного права[1] не раздражу сильного, ко вреду государства!» Сие вероломство доставило Баторию одну ласку Амуратову: умный визирь Махмет сказал послам Стефановым в Цареграде: «Желаем королю славы и победы; возможно, хотя и нелегко одолеть царя московского, коего один султан превосходит грозою». Папа обещал Баторию ходатайствовать за него во всех кабинетах Европы и прислал меч с благословением, а курфирст бранденбургский несколько пушек. Король датский, тайно доброхотствуя врагу нашему, колебался, ждал следствия; но шведский немедленно заключил с ним оборонительный и наступательный союз. Хан требовал даров от Литвы и получил их с условием содействовать ей в войне российской. Из Трансильвании шла к Стефану его старая, опытная дружина, из земли Немецкой рать наем-

---

[1] Для народного права — то есть в угоду международному праву.

ная. Еще недоставало доходов государственных для всех воинских издержек: он умерил расходы двора; сыпал в казну собственное золото и серебро; занимал, где мог; осматривал, учил войско; готовил съестные припасы — и как бы еще имея много свободного времени, учреждал новые судилища, давал новые уставы государственные, льстил дворянству, утверждал власть королевскую.

В сих обстоятельствах прибыли к нему послы Иоанновы, Карпов и Головин, с мирною грамотою. Чиновники королевские долго задерживали их в пути; спорили с ними о титуле обоих государей; отвергали пустое имя *соседа*, кое царь давал Баторию; хотел равенства; не таили, что договор, написанный в Москве, останется без исполнения. Встретили послов с честию; но Баторий, сидя на троне величаво, не хотел для них встать, ни спросить о здравии царя и равнодушный к их неудовольствию, велел сказать им, что они могут идти вон из дворца и ехать назад; что литовский гонец доставит Иоанну ответ королевский. Послы уехали, и вслед за ними король выступил с войском, отправив чиновника Лопатинского с письмом в Москву.

Но Иоанна уже не было в столице. Зная, что происходило на сейме варшавском—долго не имея вести от Карпова и Головина—слыша о сильном, беспримерном вооружении Литвы и Польши, он сам не терял времени: в общем Совете бояр и духовенства объявил, что настала *година великого кровопролития*; что он, прося милости Божией, идет на дело *отечественное* и *свое*, на землю Немецкую и Литовскую; двинул все полки к западу; расписал им пути и места; оставляя войско в *осьмидесяти* городах для их обороны, на берегах Волги, Дона, Оки, Днепра, Двины, указал соединиться главным силам в Новегороде и Пскове, европейским и азиатским: кроме россиян, князья черкесские, шевкалские, мордовские, ногайские, царевичи и мурзы древней Золотой Орды, Казанской, Астраханской, день и ночь шли к Ильменю и Пейпусу. Дороги заперлися пехотою и конницею. Зима, весна, часть лета миновали в сих движениях. Наконец, поручив Москву князю Андрею Петровичу Куракину, взяв с собою всех бояр, думных дворян, множество дьяков для воинских и государственных дел, царь в июле выехал из столицы в Новгород, где все воеводы ждали его дальнейших повелений. Туда прибыли к Иоанну и наши послы из Литвы с донесением, что Баторий, отвергнув перемирную грамоту, идет на Россию; что у него сорок тысяч воинов, но что сие число умножается подходящими дружинами из Трансиль-

вании, из Немецкой земли и литовскою вольницею. Вот сила неприятеля, замышлявшего потоптать Россию! А царь в одном своем особенном полку имел сорок тысяч; дворян, детей боярских, стрельцов, козаков, сверх главной новогородской, сверх псковской рати, под начальством великого князя тверского Симеона Бекбулатовича, князей Ивана Мстиславского, Шуйских, Ногтева, Трубецкого и многих иных воевод. Одно слово Иоанново могло бы устремить сию громаду на Литву, где народ и дворянство не весьма благоприятствовали воинственным замыслам Стефановым, внутренне желая мира с Россиею и где вопль ужаса раздался бы от Двины до Буга. Но тени Шуйского, Серебряного, Воротынского мечтались воображению Иоаннову, среди могил новогородских, исполненных жертвами его гнева: он не верил усердию воевод своих, ни самого народа; доверенность свойственна только совести чистой. Изгубив Героев, царь в сие время щадил воевод недостойных: князья Иван Голицын, Палицкий, Федор Шереметев, запечатленные стыдом венденского бегства, снова начальствовали в рати! Видя опасную войну пред собою, он не смел казнить их, чтобы другие, им подобные, не изменили ему и не ушли к Баторию! Думая так о своих полководцах, Иоанн считал медленность, нерешительность благоразумием; хотел угрожать неприятелю только числом собранного войска; еще надеялся на мир, или ждал крайней необходимости действовать мечом — и дождался! Узнав, что Баториев чиновник Лопатинский едет в Москву, царь велел остановить его в Дорогобуже. Сей гонец прислал к нему письмо Стефаново, весьма плодовитое, не красноречивое, сухое, но умное. Стефан писал (из Вильны, от 26 июня), что наша перемирная грамота есть подложная; что бояре московские обманом включили в нее статью о Ливонии; что Иоанн, говоря о мире, воюет сию землю королевскую и выдумал басню о своем происхождении от кесарей римских; что Россия беззаконно отняла у Литвы и Новгород, и Северские области, и Смоленск и Полоцк; что Карпов и Головин, ничего не сделав, ничего не сказав, уехали из Кракова; что дальнейшие посольства будут бесполезны; что он (Стефан) с Божиею помощию решился искать управы оружием. В то же время известили царя, что Баторий уже в пределах России.

Честно объявив нам войну, король советовался в Свире с вельможами своими и полководцами, где и как начать оную? Многие из них предлагали вступить в Ливонию, изгнать россиян, осадить

Псков, город важный, богатый, но — как они думали — худо укрепленный. Король был иного мнения, доказывая, что трудно вести войну в Ливонии опустошенной, неблагоразумно оставить ее за собою, опасно удалиться от границ; что лучше взять Полоцк, ключ Ливонии и самой Литвы; что сие завоевание, надежный щит для их тыла, откроет им Россию, утвердит безопасное сообщение с Ригою посредством Двины, доставит выгоды и для ратных действий и для торговли; что должно завоевать Ливонию вне Ливонии; что Полоцк крепок, но тем славнее, тем желательнее взять его для ободрения своих, для устрашения неприятеля. Говорил муж великий: его слушались. Войско Стефаново, подобно Аннибалову, было составлено из людей чуждых друг другу языком, обычаями, Верою: из немцев, венгров, ляхов, древних славян галицких, волынских, днепровских, кривских и коренных литовцев: Баторий умел дать ему единодушие и соревнование. Выступив из Свира, он издал манифест к народу российскому; объявил, что извлекает меч на царя московского, а не на мирных жителей, коих будет щадить, миловать во всяком случае; что любя доблесть, гнушается варварством, желает победы, а не разрушения, не кровопролития бесполезного. Сказал и сделал: никогда война не бывала для земледельцев и граждан тише, человеколюбивее сей Баториевой; говоря как христианин, он действовал как политик: хотел преклонить к себе жителей, ибо хотел завоеваний прочных. — В начале августа Баторий осадил Полоцк.

Там было мало войска: ибо царь не ожидал сильного нападения на литовской границе, думая, что феатром важных неприятельских действий будет Ливония; но Полоцк издревле славился своими укреплениями, исправленными, распространенными с 1561 года. Две крепости, Стрелецкая и так называемый Острог, обтекаемые Двиною и Полотою, соединяемые мостом, воздвигнутые на крутых высотах, служили защитою *большому городу*, сверх его глубоких рвов, деревянных стен и башен. Князь Василий Иванович Телятевский начальствовал в городе, Петр Волынский в Остроге, князь Дмитрий Щербатый и Дьяк Ржевский в крепости, имея довольно запасов и снарядов, много усердия и мужества, гораздо менее искусства, как сказано в наших Разрядных книгах. Чтобы устрашить неприятеля и не оставить себе на выбор ничего, кроме победы или смерти, они, захватив несколько литовских пленников, велели их умертвить, привязать к бревнам и кинуть в Двину на позорище войску королевскому... Приступ начался с города: рос-

сияне малочисленные сами зажгли его, оставили, ушли в крепость, где более трех недель оборонялись мужественно. Время им благоприятствовало: лили дожди; бойницы осаждающих действовали худо; обозы их с хлебом тонули в грязи; лошади падали; войско терпело голод: приступало к крепости, но без успеха. Воспользовался ли царь сими обстоятельствами?

1 августа Иоанн, будучи во Пскове, отрядил воевод, князя Хилкова и Безнина, с двадцатью тысячами азиатских всадников за реку Двину в Курляндскую землю, где дело их состояло в одном безопасном губительстве; тогда же послал другое войско защитить Корелию и землю Ижерскую, опустошаемую шведами; усилил *засады*, или гарнизоны, в Ливонии — но еще имел столько войска, что мог бы смело идти на Вильну и Варшаву. Встревоженный известием о нечаянной осаде полоцкой, он велел Шеину, князьям Лыкову, Палицкому, Кривоборскому с дружинами детей боярских и донских козаков спешить к сему городу, вступить в него хитростию или силою, а в случае невозможности занять крепость Сокол, тревожить неприятеля, мешать его сообщению с Литвою, в ожидании нашей главной рати. Шеин приблизился к Баториеву стану: не дерзнул на битву и занял Сокол, распустив слух, что сам Иоанн немедленно будет там с войском сильным. Но король не устрашился: чувствовал единственно необходимость скорее решить судьбу осады. Видя слабое действие бойниц, он предложил венгерским удальцам взойти на высоту крепости и зажечь ее стену, обещая им славу и золото. Для успеха их смелости, как бы нарочно, сделалось ясное, сухое время: с пылающими факелами они устремились к стенам... Многие пали мертвые; некоторые достигли цели, и чрез пять минут вспыхнула крепость. Тут, воскликнув победу, вся дружина венгерская кинулась на приступ, не слушая ни своих вождей, ни короля. Осыпаемые ядрами, пулями, головнями, венгры сквозь огонь падающих стен вломились в крепость; но россияне отчаянно стали грудью, резались, вытеснили неприятеля: он возвратился, усиленный толпами немцев, поляков, и снова уступил остервенению наших. Сам король, забыв личную опасность, находился в сей кровопролитной битве, чтобы восстановить порядок, удержать, соединить бегущих. Час был решительный. Если бы Шеин, князья Лыков, Палицкий, ударили на Литву, то могли бы спасти и крепость и честь России. Они видели пожар, могли издали видеть самую битву и слышать громкий клик осажденных, победителей в сию

минуту, призывный клик к своим братьям Сокольским... Но прозорливый Баторий занял дорогу: выслал свежее войско к Дриссе, чтобы остановить россиян в случае их движения к Полоцку. В то же время донские козаки изменили нашим воеводам в Соколе: самовольно ушли восвояси, к извинению Шеина и его товарищей. Стефан ждал весь день, всю ночь опасного их нападения; успокоился и спешил загладить неудачу.

Отбив приступ, россияне угасили огонь в крепости: неприятель сделал новые бойницы, новые окопы, приближился к стенам, отчасти разрушенным, и калеными ядрами опять зажег башни. Еще несколько дней упорствовали осажденные; едва могли дышать от дыма и жара; падали от литовских ядер, от усталости, непрестанно гася огонь; ждали помощи, освобождения; наконец, утратив всю бодрость, требовали переговоров. Сперва воеводы и достойный архиепископ Киприан не хотел о том слышать, говоря: «страшимся не злобы Стефановой, а гнева царского!» В отчаянии великодушном они думали взорвать крепость, чтобы погребсти себя в ее развалинах. Но слабый духом Петр Волынский и стрельцы не дали им исполнить сего намерения и предложили условия Стефану, который, из уважения ли к оказанной ими храбрости, или боясь длить время, согласился отпустить и сановников и рядовых (из острога и крепости) в Россию с семействами, с имением, а желающим вступить к нему в службу обещал великие милости. Воеводы, не хотев участвовать в сем договоре, заперлись вместе с архиепископом в древней церкви Софийской, откуда силою извлекли и представили их Баторию, смиренных без уничижения. Историк-очевидец пишет, что россияне, живо чувствуя великодушие и человеколюбие короля, никак однако ж не захотели служить ему; что почти все, ожидая неминуемой казни от гневного царя, с твердостию шли на оную и не внимали льстивым обещаниям Стефановым: «доказательство удивительной любви к отечеству!» прибавляет сей историк. Но Стефан, вопреки условию, не скоро отпустил сих пленников, как бы опасаясь возвратить неприятелю таких верных, доблих воинов. Велев очистить крепость, наполненную трупами, король въехал в нее торжественно; объявил Полоцк литовским воеводством; указав строить там великолепную церковь римского исповедания, оставил Софийскую христианам греческим; дал им в епископы бывшего святителя витебского и грамотою утвердил свободу нашей Веры, имея в виду дальнейшие завоевания в России и желая угодить ее народу сею благоразумною тер-

пимостию, вопреки своим любимцам, иезуитам, коим он дал тогда богатые местности и земли в Белоруссии с обязательством исправлять нравы жителей учением и примером.— С сего времени древний наш Полоцк, удел племени Владимирова и Рогнедина, легко взятый, бесславно утраченный Иоанном, быв 18 лет областию государства Московского, сделался вновь собственностию Литвы, до царствования Екатерины бессмертной.

Стефан послал войско к Соколу, а легкую конницу к самому Пскову, чтобы наблюдать движения Иоанновой рати. 19 сентября литовцы осадили Сокол; 25 зажгли башни и с трубным звуком устремились к стенам. Россияне тушили огонь; но вдруг запылали многие бренные здания, так что не оставалось в городе места безопасного для пяти или шести тысяч бывших там воинов. Они сделали вылазку; бились долго; уступив, наконец, превосходной силе, обратились назад, а немцы вместе с ними втеснились в крепость. Тут началася ужасная сеча, отчаянная для тех и других: ибо россияне захлопнули ворота, опустили железную решетку и не оставили возможности спасения ни себе, ни врагам; резались в пламени, задыхались и горели, до той минуты, как литовцы и поляки вломились в город для совершенного истребления наших, коих пало 4000; пленили только Шереметева с малым числом детей боярских. В остервенении злобы немцы, терзая мертвых, исказили трупы Шеина и многих иных россиян.— Литовцы взяли Красный, Козьян, Ситну, Туровль, Нещерду; опустошили землю Северскую до Стародуба; выжгли 2000 селений в Смоленской области… а царь стоял неподвижно во Пскове!

В то время, когда гибли добрые россияне, предаваемые в жертву врагам Иоанновою боязливостию; когда отечество сетовало в незаслуженном уничижении, торжествовал, к вечному стыду своему, один россиянин, некогда любезный отечеству: князь Андрей Курбский. Преступлением лишенный имени русского, он в злобе своей искал нового утешения мести и находился под знаменами Баториевыми, вместе с другим беглецом московским, Владимиром Заболоцким; деятельно способствовал успехам королевского оружия и с свежего пепла завоеванной крепости полоцкой, где дымилась кровь россиян, написал ответ на вольмарское к нему письмо Иоанново. «Где твои победы?— говорил он:— в могиле Героев, истинных воевод Святой Руси, истребленных тобою. Король с малыми тысячами, единственно мужеством его сильными, в твоем государстве, берет области и твердыни, некогда нами взятые, нами

укрепленные; а ты с войском многочисленным сидишь, укрываешься за лесами или бежишь, никем не гонимый, кроме совести, обличающей тебя в беззакониях. Вот плоды наставления, данного тебе лжесвятителем Вассианом! Един царствуешь без *мудрых* советников; един воюешь без гордых воевод — и что же? вместо любви и благословений народных, некогда сладостных твоему сердцу, стяжал ненависть и проклятия всемирные; вместо славы ратной стыдом уповаешься: ибо нет доброго царствования без добрых вельмож и несметное войско без искусного полководца есть стадо овец, разгоняемое шумом ветра и падением древесных листьев. Ласкатели не синклиты[1], и карлы[2], увечные духом, не суть воеводы. Не явно ли совершился Суд Божий над тираном? Се глады и язва, меч варваров, пепел столицы и — что всего ужаснее — позор, позор для венценосца, некогда столь знаменитого! Того ли мы хотели, то ли готовили ревностною, кровавою службою нашему древнему отечеству?»... Письмо заключалось хвалою доблести Стефановой, предсказанием близкой гибели всего царского Дому и словами: «кладу перст на уста, изумляюся и плачу!»... Движимый ненавистию к Иоанну, Курбский мог оправдывать себя умом, но не в совести, которая тревожила его до конца жизни; владея городами и селами в Волынии, ни в богатстве, ни в знатности не находил успокоения; женился там на княгине Дубровицкой, но не любил ее; искал утешения в дружестве и в учении; зная язык латинский, переводил Цицерона; описал славное взятие Казани, войну Ливонскую, мучительства Иоанна; пережил его, и в старости еще тосковал о России, с чувством называя оную своим *любимым отечеством*. Мрак неизвестности сокрыл последние дни и могилу мужа, ознаменованного славою ратных дел, ума, красноречия — и бесславием преступления!

Иоанн уже не отвечал Курбскому: ибо не мог ничем хвалиться, ни грозить в тогдашних обстоятельствах и в расположении своего духа. Он написал в Москву к государственному дьяку Андрею Щелкалову, что должно объявить успехи неприятеля жителям ее хладнокровно и спокойно. Созвав граждан, умный дьяк сказал им: «Добрые люди! Знайте, что король взял Полоцк и сжег Сокол: весть печальная; но благоразумие требует от нас твердости. Нет постоянства в свете; счастие изменяет и великим

---

[1] С и н к л и т — собрание высших сановников.

[2] Карлы — *здесь*: шуты.

государям. Полоцк в руках у Стефана: вся Ливония в наших. Пали некоторые россияне: пало гораздо более литовцев. Утешимся в малой несгоде воспоминанием столь многих побед и завоеваний царя православного!» Удостоверенный в тишине, в спокойствии Москвы, Иоанн велел боярам написать к литовской Думе, что он мыслил немедленно идти на короля, но что советники государственные, жалея слез христианских, умолили его, хотя и не без великого труда, остановить все неприятельские действия; что Стефан докажет свою истинную любовь к человечеству и справедливости, если, уняв кровопролитие, вступит с царем в переговоры о вечном мире, *о родстве* и дружбе искренней. С такою миролюбивою грамотою послали гонца в Вильну. Сам Баторий прислал чиновника к Иоанну, но с письмом весьма грубым, объявляя, что воюет за Ливонию, для обуздания его безрассудного властолюбия, и требуя, чтобы Лопатинский, не выпускаемый из Дорогобужа, был освобожден согласно с народным правом. Сей гонец неприятельский обедал у царя в Новегороде, угощаемый как бы вельможа дружественной державы: чего дотоле не бывало. «Не хочу (ответствовал Иоанн королю) возражать на упреки: ибо хочу быть в братстве с тобою. Даю *опасную грамоту* для твоих послов, коих ожидаю с доброжелательством. Между тем да будет тишина в Ливонии и на всех границах! А в залог мира отпусти пленников российских, на обмен или выкуп». То же писал Иоанн и с Лопатинским, немедленно освобожденным, и с новым гонцом, посланным к королю; несколько месяцев занимался спорами воевод своих о первенстве и не думал идти на Стефана, будучи доволен некоторыми успехами нашей оборонительной системы в Ливонии, где россияне, в жаркой схватке, пленили наконец славного разбойника Аннибала (после казненного во Пскове), мужественно отразили шведов от Нарвы и гнали их до Ревеля. Сим заключился 1579 год. Царь уже был в Москве, и не праздно.

В генваре 1580 года он созвал знаменитейшее духовенство в столицу: архиепископа Александра Новогородского, Иеремию Казанского, Давида Ростовского, всех епископов, архимандритов, игуменов, славнейших умом или благочестием иноков; торжественно объявил им, что церковь и православие в опасности; что бесчисленные враги восстали на Россию; что с одной стороны неверные турки, хан, ногаи, — с другой Литва, Польша, венгры, немцы, шведы как дикие звери разинули челюсти, дабы поглотить нас; что он с сыном своим, с вельможами и воеводами бодр-

ствует день и ночь для спасения державы, но что духовенство обязано содействовать им в сем великом подвиге; что мы, имея людей, не имеем казны достаточной; что войско скудеет и нуждается, а монастыри богатеют; что государь требует жертвы от духовенства, и что Всевышний благословит его усердие к отечеству. Предложение было важно и затруднительно. Великий дед Иоаннов хотел коснуться церковного достояния, но оставил сию мысль, встреченный сильным прекословием святителей: внук умерил требования, и Собор приговорил грамотою, что земли и села *княжеские*, когда-либо отказанные митрополитам, епископам, монастырям и церквам, или купленные ими, оттоле будут государевыми, а все другие остаются навеки их неотъемлемым достоянием; что впредь они уже не должны присваивать себе имений недвижимых, ни добровольною уступкою, ни куплею, и что *заложенные* им земли также отдаются в казну. — Сим легким способом умножив владения и доходы государственные, Иоанн непрестанно умножал и войско: чиновники ездили из области в область с списками детей боярских; отыскивали всех, кто укрывался или бегал от службы; наказывали их телесно и за порукою отсылали во Псков или Новгород, где стояла главная рать, упуская благоприятное время действовать наступательно: ибо россияне любили всегда выходить в поле, когда другие уходили в домы от ненастья и морозов.

Хотя Баторий не мыслил дать нам перемирия, но осень и зима остановили его блестящие успехи. Наемники требовали денег, свои — отдохновения. Расположив войско в привольных местах близ границы, он спешил в Вильну и на сейм в Варшаву готовить новые средства победы, наслаждаться славою, испытать, устыдить неблагодарность и все одолеть, чтобы достигнуть цели. В Вильне граждане и дворянство встретили его с громогласными благословениями, а в Варшаве многие паны с мрачными лицами и с ропотом неудовольствия — те, которые любили законную и беззаконную власть свою более отечества, расслабленного их своевольством, негою, корыстолюбием. Великих мужей славят и злословят: устрашенные сильною волею, сильными мерами короля, паны жаловались на его самовластие и доверенность к чужеземцам; распускали слух, что он воюет только для вида, налогами тяготит землю и мыслит тайно уехать в Трансильванию с богатою казною королевскою. Действием сей клеветы мог быть отказ в государственных пособиях, необходимых для войны. Бато-

рий предстал сейму: клевета умолкла. Сказал, что сделал и сделает: единодушно, единогласно одобрили все его предложения; уставили новые налоги, велели собирать новое войско...

А царь домогался мира. Когда гонцы наши возвратились с ответом, что король не хочет и слышать о посольстве в Москву, готовый единственно из снисхождения принять Иоанново в своей столице, если мы действительно расположены к умеренности и договорам честным; что пленников не отпускают во время кровопролития; что они в земле христианской, следственно в безопасности и не в утеснении: тогда Иоанн вторично написал к Стефану письмо дружелюбное. «В московских перемирных грамотах (говорил он) были слова *разные*, внесенные в них с ведома и согласия твоих послов. Ты мог отвергнуть сей договор; но для чего же укоряешь нас обманом? Для чего без дела выслал наших послов из Кракова, и столь грубо, и писал к нам в выражениях столь язвительных? Забудем слова гневные, вражду и злобу. Не в Литве и не в Польше, а в Москве издревле заключались договоры между сими державами и Россиею. Не требуй же нового! Здесь мои бояре с твоими уполномоченными решат все затруднения к обоюдному удовольствию государств наших». Но гонец московский, в случае упрямства и явной готовности Баториевой к возобновлению неприятельских действий, должен был тайно сказать ему, что царь согласен прислать бояр своих в Вильну или в Варшаву. — Уничижение бесполезное: король ответствовал, что дает Иоанну пять недель сроку и будет ждать послов наших в мирном бездействии, хотя войско его готово вступить в Россию, пылая нетерпением мужества. Уже знатные сановники царские, стольник князь Иван Сицкий, думный дворянин Пивов и дьяк Петелин ехали в Вильну, когда узнали в Москве, что Баторий с войском в пределах России. «Назначенный срок минул, — писал он к царю, — ты должен отдать Литве Новгород, Псков, Луки со всеми областями Витебскими и Полоцкими, также всю Ливонию, если желаешь мира».

Сие нападение казалось Иоанну вероломством: по крайней мере он не чаял его в конце лета; советовался с боярами и спешил отправить гонца (Шевригина) к императору, даже к папе, с убеждением, чтобы они вступились за нас; в грамоте к первому доказывал, что Стефан воюет Россию за ее тесную дружбу с Максимилианом; требовал, чтобы Рудольф исполнил свое обещание и прислал уполномоченных в Москву для возобновления союза

против общих врагов; жаловался папе на злобу и вероломство Баториево; предлагал ему усовестить, отвести его от ненавистной связи с турками; уверял, что ревностно желает вместе со всеми европейскими государями ополчиться на султана и быть для того в непрестанных, дружественных сношениях с Римом. Имея силу в руках, но робость в душе, Иоанн унижался исканием чуждого, отдаленного вспоможения, ненужного и невероятного. Он не думал сам выступить в поле; расположил войско единственно для обороны и, не зная, куда устремится Баторий, направлял полки к Новугороду и Пскову, Кокенгузену и Смоленску; занял и берега Оки близ Серпухова, опасаясь хана. Сия неизвестность продолжалась около двух или трех недель, и Баторий опять явился там, где его не ожидали.

Историк Стефанов с пышным красноречием описывает устройство, ревность войска, одушевленного Гением начальника. Конницею предводительствовали сенаторы и лучшие воеводы; многие из знатных чиновников, гражданских и придворных, служили в ней наряду с простыми всадниками. Большая часть пехоты нового набора еще не видала огня: немецкие и седмиградские опытные воины составляли ее твердую основу, и между ими отличался бодростию изменник наш, датский полковник, Георгий Фаренсбах, который знал силу и слабость россиян, быв предводителем Иоанновой ливонской дружины. Неприятель шел болотами и лесами дикими, где 150 лет не ходило войско; где только Витовт в 1428 году умел открыть себе путь к областям Новогородским и где некоторые места еще назывались его именем. Баторий, подобно Витовту, просекал леса, делал гати, мосты, плоты; сражался с трудностями, терпел недостаток; вышел к Велижу, к Усвяту; взял ту и другую крепость, наполненные запасами, и, разбив легкий отряд нашей конницы, приступил в исходе августа к Великим Лукам. Сей город, красивый местоположением, богатый и торговый, ключ древних южных владений новогородской державы, обещал знатную добычу корыстолюбивому войску, близостию своею к Витебску и другим литовским крепостям представляя удобность для осады. Там находилось тысяч шесть или семь россиян; но в Торопце стоял воевода князь Хилков с полками, довольно многочисленными. Были вылазки смелые, иногда и счастливые; в одной из них осажденные взяли знамя королевское. Хилков, избегая общего сражения, везде стерег литовцев, хватал их в разъездах, истреблял целыми толпами и ждал других

воевод из Смоленска, Пскова, Новагорода.

В сие время, когда надлежало восстать России и подавить дерзкого Батория, спешили к нему в стан уполномоченные Иоанновы, князь Сицкий и Пивов, для унизительных договоров. Стефан принял их в шатре, величаво, надменно; сидел в шапке, когда они ему *кланялись* от царя; не хотел сказать им учтивого слова. Послы требовали, чтобы король немедленно снял осаду: вместо ответа загремели пушки литовские. Тут послы изъявили снисхождение: сказали, что еще в первый раз московский государь начинает переговоры с Литвою вне Москвы; что он будет именовать Стефана *братом*, если король возвратит нам Полоцк; соглашались не требовать и Полоцка; уступали Курляндию и двадцать четыре города в самой Ливонии. Но Стефан хотел всех областей ливонских, даже Великих Лук, Смоленска, Пскова, Новагорода. Тут Сицкий и Пивов, объявив, что уже не могут уступить ничего более, потребовали отпуска или дозволения писать к Иоанну. Отправили гонца в Москву — и в тот же день, сентября 5, от взрыва башни, наполненной порохом, взлетела на воздух часть крепости; огонь довершил разрушение стен, а меч неприятельский гибель россиян: король взял пепелище, омоченное их кровию, покрытое истерзанными телами и членами. Велев немедленно восстановить укрепления сего важного места, он напал на Хилкова близ Торопца и разбил его. В сем жарком деле пленили сановника царского Григорья Нащокина, употребляемого в посольствах, думного дворянина Черемисинова, любимца Иоаннова, и 200 детей боярских. В то же время литовский вельможа Филон Кмита с девятью тысячами всадников приблизился к Смоленску в надежде сжечь его предместия; но встреченный в поле тамошними храбрыми начальниками, Данилом Ногтевым и князем Федором Мосальским, бежал, кинув знамена, обоз и 60 легких пушек. Сии единственные наши трофеи, вместе с тремя стами восьмидесятью взятыми пленниками, были посланы в Москву, за что Иоанн наградил воевод золотыми медалями. Еще Баторий, несмотря на глубокую осень, усильно продолжал войну. Невель, Озерище ему сдалися. Заволочье, крепостию места и мужеством воеводы Сабурова, держалось и стоило неприятелю дорого; наконец также сдалося, и Баторий выпустил оттуда россиян с честию. Сим заключился его поход. Войско изнемогало от трудов и недугов; сам король лежал больной в Полоцке и еще с бледным лицом явился на сейме варшавском дать отчет в делах своих. «Радуйтесь победе, — говорил он панам, — но сего не довольно: умей-

те пользоваться ею. Судьба предает вам, кажется, все государство Московское: смелость и надежда руководствуют к великому. Хотите ли быть умеренными? Возьмите, по крайней мере, Ливонию, которая есть главная цель войны, и присоединенная навеки к империи ляхов, останется для потомства знаменитым памятником вашего мужества. Дотоле нет для нас мира!» Требуя нового вспоможения людьми и деньгами, король жаловался панам, что они не дают ему способов вести войну непрерывно; что время теряется для него в переездах и шумных прениях сейма, а войско слабеет духом в праздности и Россия отдыхает. Баторий действительно тратил время; но литовские воеводы и зимою еще тревожили Россию: внезапным набегом взяли Холм, выжгли Старую Русу, обогатились в ней добычею; в Ливонии взяли Шмильтен; опустошили вместе с изменником Магнусом часть дерптских и самых псковских владений. С другой стороны показались и шведы: завоевали Кексгольм, осадили Падис, где малочисленные россияне, томимые голодом, ели собак, кошек, даже мертвые тела младенцев, но застрелили шведского чиновника, предлагавшего им сдать крепость. Там с горстию отчаянных сидел воевода старец Данило Чихачев. Шведы, овладев замком, нашли в нем не людей, а тени: умертвили всех, кроме одного молодого сановника князя Михаила Сицкого. В течение зимы они взяли на договор и Везенберг, где находилось около тысячи стрельцов московских, которые вышли оттуда с одними деревянными иконами.

Россия казалась слабою, почти безоружною, имея до восьмидесяти станов воинских или крепостей, наполненных снарядами и людьми ратными — имея сверх того многочисленные воинства полевые, готовые устремиться на битву! Зрелище удивительное, навеки достопамятное для самого отдаленнейшего потомства, для всех народов и властителей земли; разительное доказательство, сколь тиранство унижает душу, ослепляет ум привидениями страха, мертвит силы и в государе и в государстве! Не изменились россияне, но царь изменил им! Укрываясь в Слободе Александровской, он написал к главным воеводам во Ржев или в Вязьму, к великому князю тверскому Симеону Бекбулатовичу и князю Ивану Мстиславскому: «Промышляйте делом государевым и земским, как Всевышний вразумит вас и как лучше для безопасности России. Все упование мое возлагаю на Бога и на ваше усердие». Воеводы, смятенные нерешительностию царя, сами опасались действовать решительно; посылали отряды для наблюдения,

6 Зак. № 40

для защиты границ и только однажды дерзнули вступить в неприятельскую землю: князья Михайло Катырев-Ростовский, Дмитрий Хворостинин, Щербатой, Туренин, Бутурлин, соединясь в Можайске, ходили к Дубровне, Орше, Шклову, Могилеву, Радомлю; выжгли уезды и посады сих городов; разбили литовцев под стенами Шклова (где в самых воротах пал мужественный Бутурлин), и привели в Смоленск множество пленников. Иоанн дал им золотые медали, но не ободрился в духе, как увидим.

В то время, когда Герой Баторий в излишней надменности обещал вельможным панам всю Россию, царь ее праздновал свадьбы: женил второго сына своего, Феодора, на сестре знаменитого Бориса Годунова Ирине, и сам женился в шестый или в седьмый раз, без всякого церковного разрешения, на девице Марии, дочери сановника Федора Федоровича Нагого: два брака ужасные своими неожиданными следствиями для России, вина и начало злу долговременному! Уже Годунов, возведенный тогда на степень боярства, усматривал, может быть, вдали, неясно, смелую цель его властолюбия, дотоле беспримерного в нашей истории! Как любимец государев он мог завидовать только Богдану Яковлевичу Бельскому, оружничему, ближнему слуге, днем и ночью неотходному хранителю особы Иоанновой; как шурин царевича делился уважением и честию с царскими свойственниками, с князем Иваном Михайловичем Глинским и с Нагими, коими вдруг наполнился дворец Иоаннов; как думный советник видел еще многих старейших бояр, Мстиславских, Шуйских, Трубецких, Голицыных, Юрьевых, Сабуровых, но ни единого равного ему в уме государственном. На сих двух роковых свадьбах, празднуемых Иоанном только с людьми ближними, в Слободе Александровской, во дни горестные для отечества, под личиною усердных слуг и льстецов скрывались два будущие царя и третий гнусный предатель России: Годунов был дружкою Марии, князь Василий Иванович Шуйский Иоанновым, Михайло Михайлович Кривой-Салтыков чиновником поезда! С ними же пировал и другой, менее важный, хотя и равно презрительный изменник, свойственник Малюты Скуратова Давид Бельский, который чрез несколько месяцев бежал к Стефану. Не знаем ни опал, ни казней сего времени, кроме одной, весьма достопамятной и всеми одобренной. Мы упоминали о медике Бомелии, ненавистном советнике убийств: незадолго до бракосочетания Иоаннова с Нагою он был всенародно сожжен в Москве, уличенный в тайной связи с Баторием. Другие пишут, что россияне, выведенные из

терпения злобою сего наушника царского, искали и нашли способ погубить его: что он, клеветою губив невинных, сделался жертвою навета, ко славе Небесного правосудия. Может быть, доносы, ложные или справедливые, коснулись тогда и Бельского: может быть, подобно Курбскому, он ушел невинным, но оказался преступником, ибо начал давать советы Баторию ко вреду России.

Из сей несчастной Александровской Слободы (где тиран обыкновенно свирепствовал или пировал, ужасал верных подданных или трепетал врагов отечества) царь, сведав о падении Великих Лук, дал новый наказ Сицкому и Пивову, которые вслед за Баторием ездили из места в место, будучи смиренными, жалкими свидетелями торжества его. В Варшаве [январь 1581 г.] они уступали ему еще несколько областей ливонских за взятые им города российские, убеждая Стефана отправить послов в Москву для мирных условий и прекратить войну; но им велено было ехать к царю с ответом: «не будет ни посольства, ни мира, ни перемирия, доколе войско российское не очистит Ливонии!» Более и более снисходительный, Иоанн в ласковом письме именовал Стефана *братом*, жаловался, что литовцы не престают тревожить России нападениями; молил его не собирать войска к лету, не истощать тем казны государственной — и немедленно послал к нему думных дворян Пушкина и Писемского, велев им не только быть смиренными, кроткими в переговорах, но даже (неслыханное уничижение!) терпеть и побои! Так Иоанн пил чашу стыда, им, не Россиею заслуженного! Новая уступчивость производила новые требования: Баторий, кроме всей Ливонии, хотел городов северских, Смоленска, Пскова, Новагорода, — по крайней мере Себежа; хотел еще взять с России 400 *тысяч золотых венгерских* и прислал гонца в Москву за решительным ответом! Наконец Иоанн изъявил досаду: принимая гонца литовского, не встал с места, не спросил о здоровье короля и написал к Стефану: «Мы, смиренный государь всея России, *Божиею, а не человеческою многомятежною волею*... Когда Польша и Литва имели также венценосцев наследственных, законных, они ужасались кровопролития: ныне нет у вас християнства! Ни Ольгерд, ни Витовт не нарушали перемирия; а ты, заключив его в Москве, кинулся на Россию с нашими злодеями Курбским и другими; взял Полоцк изменою, и торжественным манифестом обольщаешь народ мой, да изменит царю, совести и Богу! Воюешь не мечом, а предательством — и с каким лютым зверством! Воины твои режут мертвых... Наши послы едут к

тебе с мирным словом, а ты жжешь Луки калеными ядрами (изобретением новым, бесчеловечным); они говорят с тобою о дружбе и любви, а ты губишь, истребляешь! Как христианин я мог бы отдать тебе Ливонию; но будешь ли доволен ею? Слышу, что ты клялся вельможам присоединить к Литве все завоевания моего отца и деда. Как нам согласиться? Хочу мира, хочешь убийства; уступаю, требуешь более, и неслыханного: требуешь от меня золота за то, что ты беззаконно, бессовестно разоряешь мою землю!.. Муж кровей! вспомни Бога!» Но Иоанн, несмотря на досаду свою, еще уступал Литве все завоеванные Баторием крепости российские, желая единственно удержать восточную Эстонию и Ливонию, Нарву, Вейсенштейн, Дерпт и на таком условии заключить семилетнее перемирие. Ответом на сию грамоту было *третие* выступление Баториево в поле и письмо, исполненное язвительных укоризн, равно плодовитое и непристойное для венценосца. «Хвалишься своим наследственным государством, — писал Стефан, — не завидую тебе, ибо думаю, что лучше достоинством приобрести корону, нежели родиться на троне от Глинской, дочери Сигизмундова предателя. Упрекаешь меня терзанием *мертвых*: я не терзал их; а ты мучишь *живых*: что хуже? Осуждаешь мое вероломство мнимое, ты, сочинитель подложных договоров, изменяемых в смысле обманом и тайным прибавлением слов, угодных единственно твоему безумному властолюбию! Называешь изменниками воевод своих, честных пленников, коих мы должны были отпустить к тебе, ибо они верны отечеству! Берем земли доблестию воинскою и не имеем нужды в услуге твоих мнимых предателей. Где же ты, *Бог* земли русской, как велишь именовать себя рабам несчастным? Еще не видали мы лица твоего, ни сей *крестоносной* хоругви, коею хвалишься, ужасая *крестами* своими не врагов, а только бедных россиян. Жалеешь ли крови христианской? Назначь время и место; явися на коне, и един сразися со мною единым, да правого увенчает Бог победою!» Не соглашаясь оставить за Россиею ни пяди земли в Ливонии, Баторий не хотел далее говорить с нашими послами, выгнал их из своего ратного стана и с насмешкою прислал к Иоанну изданные в Германии на латинском языке книги о российских князьях и собственном его царствовании в доказательство (как он изъяснялся), что древние государи московские были не Августовы родственники, а данники ханов перекопских; советовал ему также читать пятидесятый псалом Давидов и христиански узнать самого себя. Сию бранную Стефанову

грамоту подал Иоанну гонец литовский; царь, выслушав оную, тихо сказал ему: «мы будем отвечать *брату* нашему, королю Стефану», и встав с места, примолвил учтиво: «кланяйся от нас своему государю!» То есть, Иоанн, приведенный в новый страх движением литовского войска, хотел снова искать мира в надежде на важного посредника, который тогда явился между им и Баторием.

Гонец московский, Шевригин, посланный в Вену и в Рим, возвратился. Слабый, беспечный Рудольф ответствовал, что он не может ничего сделать без ведома князей имперских; что его вельможи, коим надлежало ехать в Москву для заключения союза, или умерли или больны. Но папа, славный ревностию к успехам латинской веры — тот, который осветил Рим потешными огнями, сведав о злодействах Варфоломеевской ночи во Франции – Григорий XIII изъявил живейшее удовольствие, видя, как он думал, случай присоединить Россию к своей обширной пастве. Еще в 1576 году Григорий хотел послать в Москву одного священника, именем Рудольфа Кленхена, знавшего обычаи и язык России, с письменным наставлением, весьма умным и хитрым, в коем сказано (для объявления царским вельможам), что папа, много слышав о силе, завоеваниях, геройстве, мудрости, благочестии и всех великих свойствах Иоанновых, равно удивительных и любезных, исполняет, наконец, свое давнишнее ревностное желание изъявить столь необыкновенному венценосцу сердечную приязнь и надежду, что ему угодно будет смирить ненавистников христианства, оттоманов, и восстановить целость Святой Веры на земном шаре. Вероятно, что сию мысль внушил Григорию посол императорский Кобенцель: ибо он славил в Европе не только могущество, но и мнимое доброжелательство россиян к латинской церкви, говоря в донесении к венскому министерству: «Несправедливо считают их врагами нашей Веры; так могло быть прежде: ныне же россияне любят беседовать о Риме; желают его видеть; знают, что в нем страдали и лежат великие Мученики христианства, ими еще более, нежели нами уважаемые; знают, лучше многих немцев и французов, святость Лоретты; не усомнились даже вести меня к образу Николая Чудотворца, главной святыне сего народа, слыша, что я древнего Закона, а не Лютерова, для них ненавистного». Но Кленхен, кажется, не был в Москве: наставление, ему данное, осталось только в римских архивах. Ласково приняв Шевригина, одарив его золотыми цепями и бархатными ферезями, папа велел славному богослову, иезуиту Антонию Поссевину,

ехать к Баторию и в Москву для примирения воюющих держав. Антоний нашел короля в Вильне. «Государь московский (сказал Баторий иезуиту) хочет обмануть Св. Отца; видя грозу над собою, рад все обещать: и соединение Вер и войну с турками; но меня не обманет. Иди и действуй: не противлюсь; знаю только, что для выгодного и честного мира надобно воевать: мы будем иметь его; даю слово». И миротворец Антоний, благословив короля на дела, достойные Героя и христианина, поехал к царю; а Баторий след за ним со всем войском, вновь усиленным, быстро двинулся ко Пскову, в августе месяце.

Сие нападение уже не было нечаянным: Иоанн ожидал его и вверил защиту Пскова воеводам надежным: боярам, князьям Шуйским, Ивану Петровичу и Василию Федоровичу (Скопиным), Никите Ивановичу Очину-Плещееву, князю Андрею Хворостинину, Бахтеярову, Ростовскому-Лобанову; дал им письменный наказ, и в храме Успения, пред Владимирскою иконою Богоматери, взял с них торжественную присягу, что они не сдадут города Баторию до своей смерти. Воеводы такою же клятвою обязали и детей боярских, стрельцов, граждан псковских, *старых* и *малых*; все целовали крест в восторге любви к отечеству, взывая: «умрем, но не сдадимся!» Их было тридцать тысяч. Исправили ветхие укрепления, расставили пушки, ручницы, пищали; назначили места, где быть каждому воеводе с своею особенною дружиною для обороны кремля, города Среднего и Большого, Запсковья и так называемой *окольней*, или внешней стены на пространстве семи или осьми верст. Царь непрестанно писал к сановникам и войску, чтобы они помнили клятву и должность. То же писал к ним и новогородский владыка Александр. Игумен печерский, добродетельный Тихон, оставив свою обитель, явился на феатре будущего кровопролития, чтобы увещаниями и молитвою служить отечеству. Все изготовилось принять Батория с тем великодушием, коего он не любил в россиянах, но коему умел отдавать справедливость. В Новегороде было 40 000 воинов с князем Юрием Голицыным, во Ржеве тысяч пятнадцать для вспоможения угрожаемому Пскову. На берегах Оки стояли князья Василий Иванович Шуйский и Шестунов, чтобы действовать оборонительно в случае ханского впадения; в Волоке великий князь тверской Симеон, Мстиславские и Курлятев с главными силами, так что государь имел в поле до трехсот тысяч воинов: рать, какой не видала ни Россия, ни Европа с нашествия моголов! Иоанн выехал, наконец, из Слобо-

ды Александровской и прибыл в Старицу со всем двором, с боярами, с дружиною царскою – казалось, для того, чтобы лично предводительствовать войсками, взять и двинуть их громаду, по примеру Героя Донского, навстречу к новому Мамаю... Но Иоанн готовился к хитростям и лести, а не к битвам!

18 августа приехал к государю в Старицу нетерпеливо ожидаемый им иезуит Поссевин, коего от Смоленска до сего места везде честили, приветствовали с необыкновенною пышностию и ласкою. Дружины воинские, блестящие золотом, стояли в ружье пред иезуитом; чиновники сходили с коней, низко кланялись и говорили речи. Никогда не оказывалось в России такого уважения ни королевским, ни императорским послам. Чрез два дни, данные путешественнику на отдохновение, Антоний с четырьмя братьями своего ордена был представлен государю, удивленный великолепием двора, множеством царедворцев, сиянием драгоценных металлов и каменьев, порядком и тишиною. Иоанн и старший царевич встали при имени Григория XIII и с великим вниманием рассматривали дары его: крест с изображением Страстей Господних, четки с алмазами и книгу в богатом переплете о Флорентийском Соборе. Григорий писал особенно и к царевичам и к царице (именуя Марию *Анастасиею*), называл Иоанна, в письме к нему, своим сыном возлюбленным, а себя единственным наместником Христовым; уверял Россию в усердном доброжелательстве; обещал склонить Батория к миру, нужному для общего блага христианских держав, и к возвращению отнятого несправедливо, в надежде, что Иоанн умирит церковь соединением нашей с *апостольскою*, вспомнив, что Греческая империя пала от неприятия уставов Флорентийского Собора. Антоний объявил на словах думным дворянам и дьяку Андрею Щелкалову, что он, исполняя волю папы, и готовый отдать душу за царя, склонил Батория не требовать с нас денег за убытки войны; что Стефан удовольствуется одною Ливониею, но всею; что, заключив мир с ним и с королем шведским (чего желает папа), Иоанн должен вступить в тесный союз с Римом, с императором, с королями испанским, французским, с Венециею и с другими европейскими державами против Оттоманской; что папа даст 50 000 или более воинов в состав сего христианского ополчения, в коем и шах персидский может взять участие. Наконец Антоний просил государя, чтобы он дозволил венецианам свободно торговать и строить церкви в России. Ему ответствовали ласково, однако ж с некоторою твердостию. Царь благода-

рил папу за любовь и доброжелательство; хвалил за великую мысль наступить на турков общими силами Европы; не отвергал и соединения церквей и мира с Швециею, в угодность Григорию, но прежде хотел мира с Баторием; изъявлял доверенность к Поссевину; сказал, чтобы он снова ехал к королю для совершения начатого им дела; что Россия, от времен Ярослава I владев Ливониею, уступает в ней Стефану 66 городов и сверх того Великие Луки, Заволочье, Невель, Велиж, Холм, удерживая за собою единственно 35 городов ливонских, Дерпт, Нарву и проч.; что более ничего уступить не может, и что от Стефана зависит прекратить войну на сих условиях. Позволяя италианским купцам торговать в России, иметь латинских священников и молиться Богу, как им угодно, Иоанн примолвил: «а церквей римских у нас не бывало и не будет».— Во время сих переговоров смиренные иезуиты обедали у государя на золоте, вместе с боярами и людьми знатнейшими. «Я видел (пишет Антоний) не грозного самодержца, но радушного хозяина среди любезных ему гостей, приветливого, внимательного, рассылающего ко всем яства и вина. В половине обеда Иоанн, облокотясь на стол, сказал мне: *Антоний! укрепляйся пищею и питием. Ты совершил путь дальний от Рима до Москвы, будучи послан к нам святым отцом, главою и пастырем римской церкви, коего мы чтим душевно*». Исполненный надежды услужить царю миром и тем содействовать важным намерениям папы в отношении к России, Антоний поехал к Стефану и нашел его уже среди кровопролития.

Сведав, что Стефан идет прямо на Псков, тамошние воеводы и воины, духовенство и граждане с крестами, чудотворными иконами и мощами Св. князя Всеволода-Гавриила обошли вокруг всех укреплений; матери несли младенцев на руках. Молились, да будет древний град Ольгин неодолимою твердынею для врагов, да спасется и спасет Россию! Услышав, что Баторий взял Опочку, Красный, Остров и на берегах Черехи разбил легкий отряд нашей конницы, воеводы (18 августа) зажгли предместие, сели на коней, велели звонить в *осадный колокол*, и скоро увидели густые облака пыли, которые сильным южным ветром неслися к городу. Явилась и рать Стефанова: она шла медленно, осторожно, толпами необозримыми; заняла дорогу Порховскую и стала вдоль реки Великой. Россияне сделали жаркую вылазку: с обеих сторон взяли пленников; узнали силу неприятеля. Разноплеменное войско Баториево состояло из поляков, литвы, мазов-

шан, венгров, немцев брауншвейгских, любских, австрийских, прусских, курляндских, из датчан, шотландцев, числом до ста тысяч, конных и пеших, исправных, вооруженных столь красиво, что посол оттоманский, прибыв в стан к королю и смотря на его блестящую рать, сказал в восторге: «ежели султан и Баторий захотят действовать единодушно, то победят вселенную». Но сие многочисленное, прекрасное войско убоялось трудностей, видя крепость города, обширного, наполненного запасами, снарядами и воинами, которые в самой первой битве оказали необыкновенное мужество. Еще в Вильне изменник наш Давид Бельский советовал королю не ходить к Новугороду, ни к Пскову, городам, окруженным болотами и реками, твердыми и каменными стенами и духом русским, но осадить Смоленск, менее недоступный, менее чуждый литовского духа. Король отвергнул сей совет благоразумный; не слушал и воевод, которые думали, что скорее можно взять Новгород. Непреклонный Баторий страшился изъявить опасение и слабость; хотел быть уверенным в своем счастии и в мужестве войска; любил одолевать трудности — и начал достопамятную осаду Пскова.

26 августа неприятель обступал город под громом всех наших бойниц, заслоняясь лесом от их пальбы, но теряя немало людей, к удивлению Стефана, не хотевшего верить столь меткому и сильному действию российских пушек. Он стал в шатрах на Московской дороге, близ Любатовской церкви Св. Николая, и должен был снять их, чтобы удалиться от свиста летающих над ним ядер к берегам Черехи, за высоты и холмы. Пять дней миновало в тишине. Неприятель укреплял стан на берегу Великой, осматривал город и 1 сентября начал *копать борозды* (или вести траншеи) к воротам Покровским, вдоль реки; работал день и ночь; прикатил туры, сделал осыпь. Воеводы псковские видели работу, угадывали намерение и в сем опасном, угрожаемом месте заложили новые внутренние укрепления, деревянную стену с раскатами[1]; выбрали лучших детей боярских, стрельцов и смелого вождя князя Андрея Хворостинина, для ее защиты; велели петь там молебны и кропить Святою водою землю, готовую ороситься кровию воинов доблих. Тут были неотходно и князья Шуйские и дьяки государевы, данные им для совета. Поляки 7 сентября, устроив

---

[1] Раскат — земляная насыпь с внутренней стороны крепостной стены для размещения орудий.

бойницы, на самом рассвете открыли сильную пальбу из двадцати тяжелых орудий; громили стены между воротами Покровскими и Свиными; в следующий день сбили их в разных местах — и король объявил своим воеводам, что путь в город открыт для Героев; что россияне в ужасе, и время дорого. Воеводы, обедая в шатре королевском, сказали Баторию: «Государь! мы будем ныне ужинать с тобою в замке псковском». Спешили к делу, обещая воинам все богатства города, корысть и плен без остатка. Венгры, немцы, поляки устремились к проломам, распустив знамена, с трубным звуком и с воплем. Россияне ждали их: извещенные о приступе звоном *осадного колокола*, все граждане простились с женами, благословили детей, стали вместе с воинами между развалинами каменной стены и новою деревянною, еще не достроенною. Игумен Тихон и священники молились в храме соборном. Господь услышал сию молитву: 8 сентября осталось в истории славнейшим днем для Пскова.

Невзирая на жестокий огонь городских бойниц, неприятель по телам своих достиг крепости, ворвался в проломы, взял башню Покровскую, Свиную и распустил на них знамена королевские к живейшей радости Батория, смотревшего битву с колокольни Св. Никиты Мученика (в полуверсте от города). Поляки в отверстиях стены резались с гражданами, с детьми боярскими и стрельцами; из башен, занятых венграми и немцами, сыпались пули на россиян, слабеющих, теснимых. Тут князь Шуйский, облитый кровию, сходит с раненого коня, удерживает отступающих, показывает им образ Богоматери и мощи Св. Всеволода-Гавриила, несомые иереями из соборного храма: сведав, что Литва уже в башнях и на стене, они шли с сею святынею, в самый пыл битвы, умереть или спасти город Небесным вдохновением мужества. Россияне укрепились в духе; стали непоколебимо — и вдруг Свиная башня, в решительный час ими подорванная, взлетела на воздух с королевскими знаменами... ров наполнился трупами немцев, венгров, ляхов; а к нашим приспели новые дружины воинов из дальних, безопасных частей города: все твердо сомкнулись, двинулись вперед, воскликнув: «не предадим Богоматери и Св. Всеволода!» дружным ударом смяли изумленных врагов, вытеснили из проломов, низвергнули с раскатов. Долее иных упорствовали венгры, засев в Покровской башне: их выгнали огнем и мечом. Кровь лилася до вечера (ибо Стефан свежим войском усилил поляков), но уже вне крепости, где оставались только больные, старцы и дети: самые жены, уз-

нав, что *стена очищена от ног литовских* — что царские знамена опять стоят на ее раскатах и что неприятель бросил несколько легких пушек в воротах — явились на месте битвы: одне с веревками, чтобы тащить сии взятые орудия в кремль; другие с холодною водою, чтобы освежить запекшиеся уста воинов, изнемогающих от жажды; многие даже с копьями, чтобы помогать мужьям и братьям в сече. Наконец все нерусское бежало. С трофеями, знаменами, трубами литовскими и с великим числом пленников возвратились победители в город, уже ночью, воздать хвалу Богу в соборной церкви, где воеводы сказали ратникам и гражданам: «Так миновал для нас первый день трудов, мужества, плача и веселия! Совершим, как мы начали! Пали сильные враги наши, а мы слабые с их доспехами стоим пред алтарем Всевышнего. Гордый *исполин лишился хлеба*, а мы в христианском смирении насытились милосердием Небесным. Исполним клятвенный обет, данный нами без лукавства и хитрости; не изменим церкви и государю ни робостию, ни малодушным отчаянием!» Воины и граждане ответствовали со слезами умиления: «Мы готовы умереть за Веру Христову! как начали, так и совершим с Богом, без всякой хитрости!» — Послали гонца в Москву с радостною вестию: он счастливо миновал стан литовский. Велели успокоить и лечить раненых из казны государевой. Их было 1626 человек, убитых же 863. Неприятелей легло около пяти тысяч, более осьмидесяти знатных сановников, и в числе их Бекези, полководец венгерский, отменно уважаемый, любимый Стефаном, который с досады заключился в шатре и не хотел видеть воевод своих, обещавших ужинать с ним в замке псковском.

Но, как бы устыдясь сего душевного огорчения, Баторий на другой день вышел к войску с лицом покойным; созвал Думу; сказал, что должно умереть или взять Псков, осенью или зимою, невзирая ни на какие трудности; велел делать подкопы, стрелять день и ночь в крепость, готовиться к новым приступам, и написал к воеводам российским: «Дальнейшее кровопролитие для вас бесполезно. Знаете, сколько городов завоевано мною в два года! Сдайтеся мирно: вам будет честь и милость, какой не заслужите от московского тирана, а народу льгота, неизвестная в России, со всеми выгодами свободной торговли, некогда процветавшей в земле его. Обычаи, достояние, Вера будут неприкосновенны. Мое слово закон. В случае безумного упрямства гибель вам и народу!» С сею бумагою пустили стрелу в город (ибо осажденные не хотели иметь

никакого сношения с врагами). Воеводы таким же способом отвечали королю: «Мы не жиды: не предаем ни Христа, ни царя, ни отечества. Не слушаем лести, не боимся угроз. Иди на брань: победа зависит от Бога». Они спешили довершить деревянную стену, защитили ею пролом, выкопали ров между ими, утвердили в нем дубовый острый частокол; пели молебны в укреплениях, под ядрами литовских бойниц; спокойно ждали битв и в течение пяти или шести недель славно отражали все нападения. Бодрость осажденных возрастала: осаждающие слабели духом и телом, терпя ненастье, иногда и голод; роптали; не смея винить короля, винили главного воеводу, Замойского; говорили, что он в академиях италиянских выучился всему, кроме искусства побеждать россиян; без сомнения уедет с королем в Варшаву блистать красноречием на сейме, а войско будет жертвою зимы и свирепого неприятеля. Баторий велел рыть землянки; запасался порохом и хлебом; не слушал ропота; надеялся на действие подкопов. Но Шуйский, узнав от беглеца литовского о сих тайных девяти подкопах, умел *перенять*[1] некоторые из них; другие сами обрушились. Тщетны были все дальнейшие опыты, хитрости, усилия Баториевы; ни огненные ядра его, столь бедственные для Великих Лук и Сокола, ни отчаянная смелость не производили желаемого действия. Так в один день (октября 28), при ужасной пальбе всех литовских бойниц, королевские гайдуки устремились от реки Великой прямо к городу с кирками и с ломами; начали, между угольною[2] башнею и воротами Покровскими, разбивать каменную стену, закрывая себя широкими щитами; лезли в отверстия и хотели сжечь внутренние деревянные укрепления. Россияне удивились, но в несколько минут истребили сих Баториевых смельчаков: лили на них пылающую смолу, кидали гранаты (*кувшины с зелием*), зажигали щиты; одних кололи в отверстиях, других били каменьями, из ручниц, самопалов[3]: немногие спаслися бегством. В следующие пять дней пальба не умолкала; оказался новый пролом в стене, от реки Великой, и Баторий (2 ноября) хотел в *последний раз* испытать счастие приступом. Литовцы густыми толпами шли по льду реки, сперва отважно и бодро; но вдруг, осыпанные ядрами из крепости, стали, замешались. Напрасно воеводы Стефановы, разъезжая на конях, крича-

---

[1] П е р е н я т ь — здесь: захватить, отнять.

[2] У г о л ь н а я — угловая.

[3] Р у ч н и ц а — пищаль, ружье; с а м о п а л — фитильное ружье.

ли, махали саблями, даже секли робких: второй сильный залп из города обратил в бегство и воинов и воевод, в виду короля! Он имел твердость и нужду в ней. К умножению Баториевой досады, голова стрелецкий, Федор Мясоедов, с свежею, довольно многочисленною дружиною сквозь цепь неприятельских полков открыл себе путь и вступил в славный Псков к несказанной радости его защитников, неутомимых в мужестве, но уменьшенных числом. Наконец Стефан дал повеление оставить укрепления, вывезти пушки, снять туры, и деятельную, жестокую осаду превратить в тихое облежание, думая изнурить осажденных голодом. Россияне ликовали на стенах, видя, как неприятель удалялся, бежал от крепости с огнестрельным снарядом.

Сего мало! Чтобы каким-нибудь легким завоеванием ободрить унылую рать свою и потешить корыстолюбивых наемников, Баторий хотел взять в пятидесяти шести верстах от Пскова древний Печерский монастырь, в 1519 году обновленный, украшенный великокняжеским дьяком Мунехиным, и с того времени славный чудесами исцеления для набожных, богатыми вкладами, красотою зданий. Там, кроме монахов, находилось для защиты каменных стен и башен 200 или 300 воинов, которые, имея отважного вождя Юрья Нечаева, беспрестанными нападениями тревожили подвозы литовские. Витязь Георгий Фаренсбах с немцами и воевода королевский Борнемисса с венгерскою дружиною, приступив к монастырю, требовали немедленной сдачи; но добрые иноки ответствовали им: «Похвально ли для витязей воевать с чернцами? Если хотите битвы и славы, то идите ко Пскову, где найдете бойцов достойных. А мы не сдаемся». Монахи еще лучше действовали, нежели говорили: вместе с воинами, с их женами и детьми, отразили два приступа; взяли молодого Кетлера, герцогова племянника, и двух знатных ливонских сановников. — С того времени многочисленная рать неприятельская сражалась более всего с холодом и голодом. Воины на часах замерзали, цепенели в шатрах. За четверть ржи в Баториевом стане платили не менее *десяти* нынешних серебряных рублей, за яловицу около *двадцати пяти*, кормовщиков надлежало посылать с великою опасностию верст за 150; лошади, скудно питаемые сеном и соломою, умирали. Казна истощалась; войску не выдавали жалованья, и 3000 немцев ушло восвояси. «Король хочет сдержать слово, — писали вожди литовские к друзьям своим в Вильну: — не возьмет города, но может умереть в снегах псковских».

Гибель действительно казалась вероятным следствием Баториева упрямства. Если бы князь Юрий Голицын из Новагорода, Мстиславские из Волока, Шуйский из Пскова вдруг наступили на Батория, то он увидел бы, что судьба еще *не предает ему всей державы Российской*. Но один Шуйский действовал, беспокоил неприятеля вылазками. Голицын, славный беглец, сидел крепко в стенах каменных, и слыша, что литовские козаки жгут Русу, едва не обратил всей Торговой стороны в пепел, боясь осады. Великий князь тверской Симеон и Мстиславские стояли неподвижно, охраняя Москву и государя; а государь, встревоженный вестию о новых успехах шведов в Ливонии и еще более приближением Радзивила с легким отрядом Баториевым к самому Ржеву, ускакал из Старицы в Александровскую Слободу.

Отважный набег литовцев на берега Волги, испугав Иоанна, не доставил им иной, существенной выгоды: Радзивил бежал, встретив превосходную силу воевод московских; хотел взять Торопец, не мог, и возвратился к королю. Но происшествия ливонские были важны. Баторий требовал, чтобы шведы напали морем на северные берега России, истребили гнездо нашей торговли с Англиею, взяли гавань Св. Николая, Колмогоры и Белозерск, где хранилась главная казна царская. Сия мысль, действительно смелая, казалась шведам дерзостию безрассудною: ужасаясь отдаленных, хладных пустынь российских, они, к досаде Батория, искали ближайших, вернейших, прочных завоеваний в Ливонии и не думали уступить ему всех областей ее без раздела; пользуясь долговременною осадою Пскова, бездействием воевод Иоанновых, в два или три месяца отняли у нас Лоде, Фиккель, Леаль, Габзаль, самую Нарву, где в кровопролитной сече легло 7000 россиян, стрельцов и жителей; где мы уже двадцать лет торговали с Европою: с Даниею, с Германиею, с Нидерландами; где находилось множество товаров и богатства. Чрез несколько дней знаменитый вождь шведский француз де-ла-Гарди поставил ногу и на древнюю Русь: завоевал Иваньгород, Яму, Копорье; пленил дружину московских дворян и в числе их нашел опасного для нас изменника Афанасия Бельского, который, будучи достойным родственником Малюты Скуратова и беглеца Давида, предложил свои ревностные услуги шведам. Овладев и крепким Виттенштейном, величавый де-ла-Гарди торжествовал победу в Ревеле, и навел, как пишут, такой *ужас* на россиян, что они уставили молебствия в церквах, да спасет их Небо от сего врага лютого.

По крайней мере Иоанн был в *ужасе*, не видал сил и выгод России, видел только неприятельские и ждал спасения не от мужества, не от победы, но единственно от иезуита папского Антония, который писал к нему из Баториева стана, что сей Герой истинно христианский, не обольщаясь славою, готов, как и прежде, дать мир России на условиях, известных царю, отвергая все иные, и ждет для того наших уполномоченных сановников; что войско литовское бодро и многочисленно; что дальнейшее кровопролитие угрожает нам великими бедствиями. Сего было довольно для Иоанна: он положил на совете с царевичем и с боярами: «уступить необходимости и могуществу Батория, союзника шведов, располагающего силами многих земель и народов; отдать ему, но только *в конечной неволе, всю* российскую Ливонию с тем, чтобы он возвратил нам все иные завоевания и не включал шведов в договор, дабы мы на свободе могли унять их».

С таким наказом отправили к Стефану дворянина, князя Дмитрия Петровича Елецкого и печатника Романа Васильевича Олферьева, чтобы заключить мир или перемирие. Между Опоками и Порховым, в селе Бешковичах, ждал их римский посол, иезуит Антоний Поссевин, и вместе с ними декабря 13 прибыл в деревню Киверову гору, в пятнадцати верстах от Запольского Яма, где уже находились уполномоченные Стефановы, воевода Януш Збаражский, маршалок князь Албрехт Радзивил и секретарь великого княжества литовского известный Михайло Гарабурда. В сих местах, разоренных, выжженных неприятелем, среди пустынь и снегов, вдруг явились великолепие и пышность: чиновники Иоанновы и люди их блистали нарядами, золотом одежд своих и приборов конских; купцы навезли туда богатых товаров и раскладывали их в шатрах, согреваемых пылающими кострами. Но все жили в дымных избах, питались худым хлебом, пили снежную воду: одни послы наши имели мясо, доставляемое им из Новагорода, и могли ежедневно угощать иезуита Антония. — Немедленно начались переговоры; а Баторий, дав все нужные наставления своим поверенным и главному воеводе Замойскому, уехал в Варшаву, последним его словом было: «еду с малою, утомленною дружиною за сильным, свежим войском».

Сей отъезд, без сомнения необходимый для истребования новых пособий от сейма, был в тогдашних обстоятельствах величайшею для короля смелостию. Войско изнуренное оказывало дух мятежный; проклинало бедственную осаду Пскова, требова-

ло мира и кричало, что Стефан воюет за Ливонию в намерении отдать ее своим племянникам. Присутствие короля еще обуздывало недовольных: без него мог вспыхнуть общий бунт. Но король верил Замойскому, как самому себе, и не обманулся: сей вельможа-полководец, презирая жестокие укоризны, язвительные насмешки, угрозы, смирил мятежников строгостию, ободрил слабых надеждою. «Послы московские, — говорил он, — смотрят на вас из Запольского Яма: если будете мужественны и терпеливы, то они все уступят; если изъявите малодушие, то возгордятся, и мы останемся без мира или без славы, утратив плоды столь многих побед и трудов!» Но, имея твердость великодушную, Замойский не стыдился коварства: вымыслил или одобрил гнусную хитрость, чтобы погубить главного защитника псковского. К нашим воеводам явился российский пленник, без всякого условия отпущенный из литовского стана, с большим ларцем и с следующим письмом от немца Моллера к Шуйскому: «Государь князь Иван Петрович! Я долго служил царю вместе с Георгом Фаренсбахом; ныне вспомнил его хлеб-соль; желаю тайно уйти к вам и шлю наперед казну свою: возьми сей ящик, отомкни, вынь золото и блюди до моего прихода». К счастию, воеводы усомнились: велели искусному мастеру бережно открыть ящик и нашли в нем несколько заряженных пищалей, осыпанных порохом. Если бы сам Шуйский неосторожно снял крышку, то мог бы лишиться жизни от выстрелов и разорвания пищалей. Спасенный Небом, он написал к Замойскому, что храбрые убивают неприятелей только в сечах; предлагал ему бой честный, единоборство, как Баторий Иоанну. Уже воеводы наши знали о съезде поверенных, но все еще бодрствовали, не отдыхали, днем и ночью тревожили, били слабеющих литовцев, коих оставалось наконец не более двадцати шести тысяч.

Мужи ратные делали свое дело: думные также. Если князь Елецкий и Олферьев, исполняя в точности волю Иоаннову, не могли сохранить достоинства и всех выгод России, то не их вина; по крайней мере они умели наблюдать обстоятельства, извещая государя о крайности неприятеля; умели длить время, медлить в уступках, ожидая новых повелений и счастливой перемены в духе робкого Иоанна; объяснялись с литовскими сановниками тихо, но благородно, не унижаясь; обличали их хвастливость без грубости. «Когда вы (говорил пан Збаражский) приехали сюда за делом, а не с пустым многоречием: то

скажите, что Ливония наша и внимайте дальнейшим условиям победителя, который уже завоевал немалую часть России, возьмет и Псков и Новгород, ждет решительного слова и дает вам три дни сроку». Российские сановники ответствовали: «Высокомерие не есть миролюбие. Вы хотите, чтобы государь наш без всякого возмездия отдал вам богатую землю и лишился всех морских пристаней, необходимых для свободного сообщения России с иными державами. Вы осаждаете Псков уже четыре месяца, конечно с достохвальным мужеством, но с успехом ли? имеете ли действительно надежду взять его? а если не возьмете, то не погубите ли и войска и всех своих завоеваний?» Вместо трех дней, назначенных Баторием, миновало более трех недель в съездах, в прениях, с нашей стороны хладнокровных, жарких с литовской. Послы Иоанновы уступали королю 14 городов ливонских, занятых российским войском,— Полоцк со всеми его пригородами, Озерище, Усвят, Луки, Велиж, Невель, Заволочье, Холм, чтобы удержать единственно Дерпт с пятнадцатью крепостями. Стефановы вельможи не соглашались; требовали и Ливонии и денег за убытки войны; хотели также включить шведского короля в договор. Напрасно Елецкий и Олферьев просили доброго содействия Поссевинова: иезуит хитрил, угадывал тайный наказ царский, славил неодолимого Батория и коварно жалел о новых, неминуемых бедствиях России в случае продолжения войны от нашего упрямства. Доброе содействие было только от воевод псковских: они 4 генваря [1582 г.] еще сильно напали на Замойского с конницею и пехотою: взяли знатное число пленных, убили многих сановников неприятельских, и с трофеями возвратились в город. Сия вылазка была сорок шестая— и *прощальная*: ибо Замойский дал знать своим послам, что терпение войска уже истощилось; что надобно подписать договор или бежать. Настала минута решительная. Збаражский объявил, что Стефан велел кончить переговоры и сею твердостию победил нашу: видя крайность, не смея ехать в Москву без мира, не смея ослушаться государя, Елецкий и Олферьев должны были принять главное условие: то есть именем Иоанновым отказались от Ливонии; уступили и Полоцк с Велижем; а Баторий согласился не требовать с нас денег, не упоминать в записи ни о шведском короле, ни о городах эстонских (Ревеле, Нарве), возвратить нам Великие Луки, Заволочье, Невель, Холм, Себеж, Остров, Красный, Изборск,

Гдов и все другие псковские занятые им пригороды. На сих условиях положили быть десятилетнему перемирию от 6 генваря 1582 года. Но еще несколько дней спорили о титулах и словах, однажды с таким жаром, что смиренный иезуит Антоний вышел из себя: вырвал черную запись из рук Олферьева, бросил на землю, схватил его за ворот. Теряя Ливонию, Иоанн желал еще именоваться, в договоре, *ливонским властителем* и *царем*, в смысле *императора*: о чем ни послы Стефановы, ни папский не хотели слышать. Первые, как бы в насмешку, требовали Смоленска, Великих Лук и всех городов северских, чтобы назвать Иоанна царем, но единственно казанским и астраханским в таком смысле, в каком молдавских воевод называют господарями; а Поссевин утверждал, что один папа может возвышать венценосцев новыми титулами. Наконец условились дать Иоанну только в российской перемирной грамоте имя *царя*, властителя *смоленского* и *ливонского*, в королевской же просто *государя*, а Стефану титул *ливонского*! Утвердив грамоты крестным целованием, поверенные обеих держав обнялися как друзья, и 17 генваря известили воевод псковских о замирении. Тихий, полумертвый стан литовский ожил шумною радостию: защитники Пскова с умилением принесли жертву благодарности Небу, совершив свой подвиг с честию для России. Замойский звал их на пир: князь Иван Шуйский отпустил к нему воевод младших, но сам не поехал: успокоился, но не хотел веселиться.

Так кончилась война трехлетняя, не столь кровопролитная, сколь несчастная для России, менее славная для Батория, чем постыдная для Иоанна, который в любопытных ее происшествиях оказал всю слабость души своей, униженной тиранством; который, с неутомимым усилием домогаясь Ливонии, чтобы славно предупредить великое дело Петра, иметь море и гавани для купеческих и государственных сношений России с Европою — воевав 24 года непрерывно, чтобы медленно, шаг за шагом двигаться к цели — изгубив столько людей и достояния — повелевая воинством отечественным, едва не равносильным Ксерксову, вдруг все отдал,— и славу и пользу, изнуренным остаткам разноплеменного сонмища Баториева! В первый раз мы заключили мир столь безвыгодный, едва не бесчестный с Литвою и если удерживались еще в своих древних пределах, не отдали и более: то честь принадлежит Пскову: он, как твердый оплот, сокрушил *непобедимость* Стефанову; взяв его, Баторий не

удовольствовался бы Ливониею; не оставил бы за Россиею ни Смоленска, ни земли Северской; взял бы, может быть, и Новгород в *очаровании* Иоаннова страха: ибо современники действительно изъясняли удивительное бездействие наших сил очарованием; писали, что Иоанн, устрашенный видениями и чудесами, ждал только бедствий в войне с Баторием, не веря никаким благоприятным донесениям воевод своих; что явление кометы предвестило тогда несчастие России; что громовая стрела зимою, в день Рождества Христова, при ясном солнце зажгла Иоаннову спальню в Слободе Александровской; что близ Москвы слышали ужасный голос: *бегите, бегите, русские*! что в сем месте упал с неба мраморный гробовый камень с таинственною, неизъяснимою надписью; что изумленный царь сам видел его и велел разбить своим телохранителям. Сказка, достойная суеверного века; но то истина, что Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности, и память сей важной заслуги не изгладится в нашей истории, доколе мы не утратим любви к отечеству и своего имени.

4 февраля Замойский выступил в Ливонию, чтобы принять от нас ее города и крепости. Сподвижники его, удаляясь с радостию, не хотели смотреть на стены и башни псковские, окруженные могилами их братьев. Только в сей день отворились, наконец, ворота Ольгина града, где все жители и воины, исполнив долг усердия к отечеству и славно миновав опасности, наслаждались живейшим для человека и гражданина удовольствием. Не таковы были чувства россиян в Ливонии, где они уже давно жительствовали как в отечестве, имели семейства, домы, храмы, епископию в Дерпте: согласно с договором, выезжая оттуда в Новгород и Псков с женами, с детьми — в последний раз слыша там благовест православия и моляся Господу по обрядам нашей церкви, смиренной, изгоняемой, все горько плакали, а всего более над гробами своих ближних. Около шестисот лет именовав Ливонию своим владением — повелевав ее дикими жителями еще при Св. Владимире, строив в ней крепости при Ярославе Великом и в самое цветущее время ордена собирав дань с областей Дерптских, Россия торжественно отказалась от сей, нашею кровию орошенной земли, надолго, до Героя полтавского. — Между тем народ, всегда миролюбивый, в Москве и везде благословил конец войны разорительной; но Иоанн насладился ли успокоением робкой души своей? По крайней мере

Бог не хотел того, избрав сие время для ужасной казни его сердца, жестокого, но еще не совсем окаменелого — еще родительского, не мертвого.

В старшем, любимом сыне своем, Иоанне, царь готовил России *второго себя*: вместе с ним занимаясь делами важными, присутствуя в Думе, объезжая государство, вместе с ним и сластолюбствовал и губил людей* как бы для того, чтобы сын не мог стыдить отца и Россия не могла ждать ничего лучшего от наследника. Юный царевич, не быв вдовцом, имел тогда уже третью супругу, Елену Ивановну, роду Шереметевых: две первые, Сабурова и Параскева Михайловна Соловая, были пострижены. Своевольно или в угодность родителю меняя жен, он еще менял и наложниц, чтобы во всем ему уподобляться. Но, изъявляя страшное в юности ожесточение сердца и необузданность в любострастии, оказывал ум в делах** и чувствительность ко славе или хотя к бесславию отечества. Во время переговоров о мире страдая за Россию, читая горесть и на лицах бояр — слыша, может быть, и всеобщий ропот — царевич исполнился ревности благородной, пришел к отцу и требовал, чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля, освободить Псков, восстановить честь России. Иоанн в волнении гнева закричал: «Мятежник! ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола!» и поднял руку. Борис Годунов хотел удержать ее: царь дал ему несколько ран острым жезлом своим и сильно ударил им царевича в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кровию***. Тут исчезла ярость Иоаннова. Побледнев от ужаса, в трепете, в исступлении он воскликнул: «Я убил сына!» и кинулся обнимать, целовать его; удерживал кровь, текущую из глубокой язвы; плакал, рыдал, звал лекарей; молил Бога о милосердии, сына о прощении. Но Суд Небесный совершился!.. Царевич, лобызая руки отца, нежно изъявлял ему лю-

---

* Гваньини: «Царевич топтал тела казненных, и вонзая им в голову острый конец своего жезла, говорил: *Вы злодеи, восставали на Царя вашего и на меня*». Одерборн пишет следующее: «Любовница жаловалась царевичу, что некоторые женщины смеются над нею; царевич пожаловался отцу, который, велев привести их и раздеть донага, зимою, на снегу, в присутствии многих людей, сказал оскорбленной любовнице сына: *теперь смейся над ними*!.. Она была прежде наложницею самого царя». (IX, 608.)

** В рукописной Степенной книге Латухинской сказано: *сиял мудрым смыслом.* (IX, 609.)

*** Гейденгшт пишет, что царь хвалился своим богатством и сокровищами перед сыном; что царевич сказал ему: «Доблесть гораздо лучше, ибо с нею можно все отнять у тебя»; что отец в гневе ударил его в голову и тем произвел в нем падучую болезнь, от коей он скоро умер. (IX, 610.)

бовь и сострадание; убеждал его не предаваться отчаянию; сказал, что умирает верным сыном и подданным... жил четыре дни и скончался 19 ноября в ужасной Слободе Александровской... Там, где столько лет лилася кровь невинных, Иоанн, обагренный сыновнею, в оцепенении сидел неподвижно у трупа без пищи и сна несколько дней... 22 ноября вельможи, бояре, князья, все в одежде черной, понесли тело в Москву. Царь шел за гробом до самой церкви Св. Михаила Архангела, где указал ему место между памятниками своих предков. Погребение было великолепно и умилительно. Все оплакивали судьбу державного юноши, который мог бы жить для счастия и добродетели, если бы рука отцовская, назло природе, безвременно не ввергнула его и в разврат и в могилу! Человечество торжествовало[1]: оплакивали и самого Иоанна!.. Обнаженный всех знаков царского сана[2], в ризе печальной, в виде простого, отчаянного грешника, он бился о гроб и землю с воплем пронзительным.

Так правосудие Всевышнего Мстителя и в сем мире карает иногда исполинов бесчеловечия, более для примера, нежели для их исправления, ибо есть, кажется, предел во зле, за коим уже нет истинного раскаяния; нет свободного, решительного возврата к добру: есть только мука, начало адской, без надежды и перемены сердца. Иоанн стоял уже далеко за сим роковым пределом: исправление *такого* мучителя могло бы соблазнить людей слабых... Несколько времени он тосковал ужасно; не знал мирного сна: ночью, как бы устрашаемый привидениями, вскакивал, падал с ложа, валялся среди комнаты, стенал, вопил; утихал только от изнурения сил; забывался в минутной дремоте, на полу, где клали для него тюфяк и изголовье; ждал и боялся утреннего света, боясь видеть людей и явить им на лице своем муку сыноубийцы.

В сем душевном волнении Иоанн призвал знатнейших мужей государственных и сказал торжественно, что ему, столь жестоко наказанному Богом, остается кончить дни в уединении монастырском; что меньший его сын, Феодор, неспособен управлять Россиею и не мог бы царствовать долго; что бояре должны избрать государя достойного, коему он немедленно вручит державу и сдаст царство. Все изумились: одни верили искренности Ио-

---

[1] Человечество торжествовало — человечность победила.

[2] То есть без знаков царского сана.

анновой и были тронуты до глубины сердца; другие опасались коварства, думая, что государь желает только выведать их тайные мысли, и что ни им, ни тому, кого они признали бы достойным венца, не миновать лютой казни. Единодушным ответом было: «не оставляй нас; не хотим царя, кроме Богом данного, тебя и твоего сына!» Иоанн как бы невольно согласился носить еще тягость правления; но удалил от глаз своих все предметы величия, богатства и пышности; отвергнул корону и скипетр; облек себя и двор в одежду скорби; служил панихиды и каялся; послал 10 000 рублей в Константинополь, Антиохию, Александрию, Иерусалим, к патриархам, да молятся об успокоении души царевича — и сам наконец успокоился! Хотя, как пишут, он не переставал оплакивать любимого сына и даже в *веселых* разговорах часто вспоминал об нем со слезами, но, следственно, мог снова *веселиться*, снова, если верить чужеземным историкам, свирепствовал и казнил многих людей воинских, которые будто бы малодушно сдавали крепости Баторию, хотя сами враги наши должны были признать тогда россиян храбрейшими, неодолимыми защитниками городов. В сие же время, и под сим же видом правосудия, Иоанн изобрел необыкновенное наказание для отца супруги своей. Долго не видя Годунова, избитого, израненного за царевича, и слыша от Федора Нагого, что сей любимец не от болезни, но единственно от досады и злобы скрывается, Иоанн хотел узнать истину: сам приехал к Годунову; увидел на нем язвы и заволоку[1], сделанную ему купцом Строгановым, искусным в лечении недугов; обнял больного и, в знак особенной милости, дав его целителю право *именитых* людей называться полным отчеством или *вичем*[2], как только знатнейшие государственные сановники именовались, велел, чтобы Строганов в тот же день сделал самые мучительные заволоки на боках и на груди клеветнику Федору Нагому! Клевета есть, конечно, важное преступление; но сия *замысловатость* в способах муки изображает ли сердце умиленное, сокрушенное горестию? Тогда же в делах государственных видим обыкновенное хладнокровие Иоанново, его осмотрительность и спокойствие, которое могло происходить единственно или от удивительного величия души, или от малой чувст-

---

[1] З а в о л о к а — подкожный разрез, прокол, в который продергивался шнурок для вызывания нагноения в лечебных целях.

[2] Борисом Федоро*вичем*, а не просто Борисом Федоровым (Годуновым).

вительности в обстоятельствах столь ужасных для отца и человека. 28 ноября в Москве он уже слушал донесение гонца своего о псковской осаде; во время переговоров знал все и разрешал недоумения наших поверенных, которые в феврале месяце возвратились к нему с договором.

Скоро явился в Москве и хитрый иезуит Антоний, принять нашу благодарность и воспользоваться его, то есть достигнуть главной цели его послания, исполнить давнишний замысел Рима соединить Веры и силы всех держав христианских против оттоманов. Тут Иоанн оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость, благоразумие, коим и сам иезуит должен был отдать справедливость. Опишем сии любопытные подробности.

«Я нашел царя в глубоком унынии, — говорит Поссевин в своих записках: — Сей двор пышный казался тогда смиренною обителию иноков, черным цветом одежды изъявляя мрачность души Иоанновой. Но судьбы Всевышнего неисповедимы: самая печаль царя, некогда столь необузданного, расположила его к умеренности и терпению слушать мои убеждения». Изобразив важность оказанной им услуги государству Российскому доставлением ему счастливого мира, Антоний прежде всего старался уверить Иоанна в искренности Стефанова дружества и повторил слова Баториевы: «Скажи государю Московскому, что вражда угасла в моем сердце; что не имею никакой тайной мысли о будущих завоеваниях, желаю его истинного братства и счастия России. Во всех наших владениях пути и пристани должны быть открыты для купцов и путешественников той и другой земли, к их обоюдной пользе: да ездят к нему свободно и немцы и римляне чрез Польшу и Ливонию! Тишина христианам, но месть разбойникам крымским! Пойду на них: да идет и царь! Уймем вероломных злодеев, алчных ко злату и крови наших подданных. Условимся, когда и где действовать. Не изменю, не ослабею в усилиях: пусть Иоанн даст мне свидетелей из своих бояр и воевод! Я не лях, не литвин, а пришлец на троне: хочу заслужить в свете доброе имя навеки». Но Иоанн, признательный к дружественному расположению Баториеву, ответствовал, что мы уже не в войне с ханом: посол наш, князь Василий Мосальский, жив несколько лет в Тавриде, наконец заключил перемирие с нею: ибо Магмет-Гирей имел нужду в отдыхе, будучи изнурен долговременною войною Персидскою, в коей он невольно помогал туркам и которая спасала Россию от его опасных наше-

ствий в течение пяти лет. Далее Антоний, приступив к главному делу, требовал особенной беседы с царем о соединении Вер. «Мы готовы беседовать с тобою (сказал Иоанн), но только в присутствии наших ближних людей и без споров, если возможно: ибо всякий человек хвалит свою Веру и не любит противоречия. Спор ведет к ссоре, а я желаю тишины и любви». В назначенный день (февраля 21) Антоний с тремя иезуитами пришел из *советной палаты* в тронную, где сидел Иоанн только с боярами, дворянами *сверстными*[1] и князьями *служилыми*: стольников и младших дворян выслали. Изъявив послу ласку, государь снова убеждал его не касаться Веры, примолвив: «Антоний! мне уже 51 год от рождения и недолго жить в свете: воспитанный в правилах нашей *христианской* церкви, издавна несогласной с *латинскою*, могу ли изменить ей пред концом земного бытия своего? День Суда Небесного уже близок: он явит, чья Вера, ваша ли, наша ли, истиннее и святее. Но говори, если хочешь». Тут Антоний с живостию и с жаром сказал: «Государь светлейший! из всех твоих милостей, мне поныне оказанных, самая величайшая есть сие дозволение говорить с тобою о предмете столь важном для спасения душ христианских. Не мысли, о государь! чтобы Св. Отец нудил тебя оставить Веру греческую: нет, он желает единственно, чтобы ты, имея ум глубокий и просвещенный, исследовал деяния первых ее Соборов и все истинное, все древнее навеки утвердил в своем царстве как закон неизменяемый. Тогда исчезнет разнствие между восточною и римскою церковию; тогда мы все будем единым телом Иисуса Христа, к радости единого истинного, Богом уставленного пастыря церкви. Государь! моля Св. Отца доставить тишину Европе и соединить всех христианских венценосцев для одоления неверных, не признаешь ли его сам главою христианства? Не изъявил ли ты особенного уважения к апостольской римской Вере, дозволив всякому, кто исповедует оную, жить свободно в российских владениях и молиться Всевышнему по ее Святым обрядам, ты, царь великий, никем не нудимый к сему торжеству истины, но движимый явно волею Царя Царей, без коей и лист древесный не падает с ветви? Сей желаемый тобою общий мир и союз венценосцев может ли иметь твердое основание без единства Веры? Ты знаешь, что оно утверждено Собором Фло-

[1] Сверстный — в возрасте, старший.

рентийским, императором, духовенством Греческой империи, самым знаменитым иерархом твоей церкви Исидором: читай представленные тебе деяния сего осьмого Вселенского Собора и если где усомнишься, то повели мне изъяснить темное. Истина очевидна: прияв ее в братском союзе с сильнейшими монархами Европы, какой не достигнешь славы, какого величия? Государь! ты возьмешь не только Киев, древнюю собственность России, но и всю империю Византийскую, отъятую Богом у греков за их раскол и неповиновение Христу Спасителю». Царь спокойно ответствовал: «Мы никогда не писали к папе о Вере. Я и с тобою не хотел бы говорить об ней: во-первых, опасаюсь уязвить твое сердце каким-нибудь жестоким словом; во-вторых, занимаюсь единственно мирскими, государственными делами России, не толкуя церковного учения, которое есть дело нашего богомольца, митрополита. Ты говоришь смело, ибо ты поп и для того сюда приехал из Рима. Греки же для нас не Евангелие: мы верим Христу, а не грекам. Что касается до Восточной империи, то знай, что я доволен своим и не желаю никаких новых государств в сем земном свете; желаю только милости Божией в будущем». Не упоминая ни о Флорентийском Соборе, ни о всеобщем христианском союзе против султана, Иоанн в знак дружбы своей к папе снова обещал свободу и покровительство всем иноземным купцам и священникам латинской Веры в России с тем условием, чтобы они не толковали о Законе с россиянами. Но ревностный иезуит хотел дальнейшего прения; утверждал, что мы *новоуки* в христианстве; что Рим есть древняя столица оного. Уже царь начинал досадовать. «Ты хвалишься православием (сказал он), а стрижешь бороду; ваш папа велит носить себя на престоле и целовать в туфель, где изображено распятие: какое высокомерие для смиренного пастыря христианского! какое уничижение святыни!»... «Нет уничижения,— возразил Антоний,— достойное воздается достойному. Папа есть глава христиан, учитель всех монархов православных, сопрестольник апостола Петра, Христова сопрестольника. Мы величаем и тебя, государь, как наследника Мономахова; а Св. Отец...» Иоанн, перервав его речь, сказал: «У христиан един Отец на небесах! Нас, земных властителей, величать должно по мирскому уставу; ученики же апостольские да смиренномудрствуют! Нам честь царская, а папам и патриархам святительская. Мы уважаем митрополита нашего и требуем его благословения; но он ходит по

земле и не возносится выше царей гордостию. Были папы, действительно, учениками апостольскими: Климент, Сильвестр, Агафон, Лев, Григорий; но кто именуется Христовым сопрестольником, велит носить себя на седалище как бы на облаке, как бы Ангелам; кто живет не по Христову учению, тот папа есть волк, а не пастырь»... Антоний в сильном негодовании воскликнул: «Если уже папа волк, то мне говорить нечего!» ...Иоанн, смягчив голос, продолжал: «Вот для чего не хотел я беседовать с тобою о Вере! Невольно досаждаем друг другу. Впрочем называю волком не Григория XIII, а папу, не следующего Христову учению. Теперь оставим». Государь с ласкою положил руку на Антония, отпустил его милостиво и приказал чиновникам отнести к нему лучшие блюда стола царского.

На третий день снова позвали иезуита во дворец. Царь, указав ему место против себя, сказал громко, так, чтобы все бояре могли слышать: «Антоний! прошу тебя забыть сказанное мною, к твоему неудовольствию, о папах. Мы несогласны в некоторых правилах Веры; но я хочу жить в дружбе со всеми христианскими государями, и пошлю с тобою одного из моих сановников в Рим; а за твою оказанную нам услугу изъявлю тебе признательность». Царь велел ему говорить с боярами, коим Антоний опять силился доказывать истину римского исповедания и согласно с их желанием (как он уверяет) в три дни написал целую книгу о мнимых заблуждениях греков, основываясь на богословских творениях Геннадия, Константинопольского патриарха, утвержденного в первосвятительстве Магометом II! Именем папы он убеждал царя послать в Рим несколько грамотных молодых россиян с тем, чтобы они узнали там истинные *догматы древней греческой церкви*, выучились языку италиянскому, или латинскому, и выучили италиянцев нашему для удобной переписки с Москвою; убеждал также, чтобы Иоанн выгнал ядовитых *Лютерских магистров*, отвергающих Богоматерь и святость Угодников Христовых, а принимал единственно латинских иереев. Ему ответствовали, что царь будет искать людей, способных для науки, и *если* найдет, то пришлет их к Григорию; что лютеране, как и все иноверцы, живут свободно в России, но не смеют сообщать другим своих заблуждений. Антоний желал еще примирить Швецию с Россиею; всего же более настоял в том, чтобы мы заключили союз с Европою для усмирения турков. «Пусть король шведский (сказал Иоанн) сам изъявит мне миролюбие: тогда увидим его

искренность. Унять неверных желаю; но папа, император, король испанский, французский и все другие венценосцы должны прежде чрез торжественное посольство условиться со мною в мерах сего христианского ополчения. Теперь не могу войти ни в какое обязательство». То есть Иоанн, уже не страшась Батория, явно охладел к мысли изгнать турков из Европы: иезуит видел сию перемену, и жалуется на его лукавство. «Не ожидая ничего более от Св. Отца для выгод своей политики (пишет он), царь выдумал хитрость, чтобы успокоить суеверных россиян, не довольных моим смелым суждением об их Законе. Что ж сделал? призвал меня во дворец, в первое воскресение Великого Поста, и сказал: *Антоний! зная, что ты желаешь видеть обряды нашей церкви, я велел ныне отвести тебя в храм Успения (где буду и сам), да созерцаешь красоту и величие истинного Богослужения. Там обожаем мы небесное, а не земное; чтим, но не носим митрополита на руках... и Св. Апостола Петра также не носили верные: он ходил пеш и бос; а ваш папа именует себя его наместником!..* Государь! отвечал я хладнокровно, удивленный сею новою грубостию: всякое место свято, где славят Христа; но пока не согласимся в некоторых догматах и пока митрополит российский не будет в сношениях с Св. Отцом, я не могу видеть вашего Богослужения. Вторично скажу тебе, что воздавать честь архипастырю церкви есть долг, а не грех. Вы не носите митрополита, но моете себе глаза водою, которою он моет руки свои. — Изъяснив мне, что сей обряд уставлен в воспоминание страстей Господних, а не в честь митрополиту, Иоанн дал знак, — и толпы сановников двинулись вперед, к дверям; увлекли и меня с собою; а царь издали сказал мне громко: *Антоний! смотри, чтобы кто-нибудь из лютеран не вошел за тобою в церковь.* Но я сам не хотел войти в нее; ждал минуты и тихонько ушел, когда царедворцы остановились пред собором. Все думали, что мне не миновать беды; но Иоанн, изумленный моим ослушанием, задумался, потер себе лоб рукою и сказал: *его воля*!.. Какое было намерение царя? представить россиянам торжество Веры своей: посла римского, молящегося в их храме, лобызающего руку у митрополита во славу церкви восточной, к уничижению западной и тем вывести народ из соблазна, произведенного необыкновенными знаками царского уважения к папе». Поссевин, как вероятно, не обманывался в своей догадке; но обманулся в надежде присоединить нас к римской церкви!

Впрочем до самого отъезда своего он видел знаки Иоанновой к нему милости: его встречали, провожали во дворце знатные сановники, водили обыкновенно сквозь блестящие ряды многолюдной царской дружины: честь, какой, может быть, никогда и нигде не оказывали иезуиту! Он выпросил свободу осьмнадцати невольникам, испанцам, ушедшим из Азова в Россию и сосланным в Вологду; исходатайствовал также облегчение литовским и немецким пленникам, впредь до размены: их выпустили из темниц, отдали в домы гражданам, велели довольствовать всем нужным. Но Иоанн снова отринул сильные домогательства иезуитовы о строении латинских церквей в России. «Католики вольны (сказали Антонию) жить у нас по своей Вере, *без укоризны и зазору*: сего довольно». Беседуя с думными советниками о наших обычаях, странных для Европы, он ссылался на Герберштейнову книгу о России, где сказано, что царь, давая целовать руку немецким послам, в ту же минуту моет ее водою, как бы осквернив себя их прикосновением; но бояре объявили Герберштейна, два раза столь обласканного в Москве, неблагодарным клеветником, всклепавшим небылицу на государей московских. С удивлением также слыша от Поссевина, что будто бы отец Иоаннов великий князь Василий обещал императору Карлу V тридцать тысяч воинов за отпуск в Россию многих немецких художников, бояре отвечали: «людей ратных дают государи государям по договорам, а не в обмен за ремесленников». — Наконец, в день отпуска, Иоанн торжественно благодарил Поссевина за деятельное участие в мире; уверил его в своем личном уважении; встав с места, велел кланяться Григорию и королю Стефану; дал ему руку — и прислал несколько драгоценных черных соболей для папы и для Антония. Иезуит не хотел было взять своего дара, славя бедность учеников Христовых; однако ж взял и выехал из Москвы (15 марта) вместе с нашим гонцом Яковом Молвяниновым, с коим царь написал к папе ответ на грамоту его, уверяя, что мы готовы участвовать в союзе христианских держав против оттоманов, но ни слова не говоря о соединении церквей.

Сим на долгое время пресеклись сношения Рима с Москвою, бесполезные и для нас и для папы: ибо не ходатайство иезуита, но доблесть воевод псковских склонила Батория к умеренности, не лишив его ни славы, ни важных приобретений, коими сей Герой обязан был смятению Иоаннова духа еще более, нежели своему мужеству.

Глава VI
ПЕРВОЕ ЗАВОЕВАНИЕ СИБИРИ
1581—1584 гг.

Первые сведения о Сибири. Известия о татарской державе в Сибири. Древнейшее путешествие россиян в Китай. Знатные купцы Строгановы. Неверность царя Кучюма. Разбой козаков. Ермак. Поход на Сибирь. Гнев Иоаннов. Подвиги Ермаковы. Битвы. Ночной совет козаков. Решительная битва. Взятие Искера, или города Сибири. Строгость Ермака. Пленение царевича Маметкула. Дальнейшие завоевания. Посольство в Москву. Радость в Москве. Послание рати в Сибирь. Новые завоевания. Жалованье царское. Болезни и голод в Сибири. Неосторожность козаков. Осада Искера. Последние завоевания Ермаковы. Гибель Ермака. Изображение Героя сибирского. Козаки оставляют Сибирь.

В то время, когда Иоанн, имея триста тысяч добрых воинов, терял наши западные владения, уступая их двадцати шести тысячам полумертвых ляхов и немцев,— в то самое время малочисленная шайка бродяг, движимых и грубою алчностию к корысти и благородною любовию ко славе, приобрела новое царство для России, открыла *второй новый мир* для Европы, безлюдный и хладный, но привольный для жизни человеческой, ознаменованный разнообразием, величием, богатством естества, где в недрах земли лежат металлы и камни драгоценные, в глуши дремучих лесов витают пушистые звери, и сама природа усевает обширные степи диким хлебом; где судоходные реки, большие рыбные озера и плодоносные цветущие долины, осененные высокими тополями, в безмолвии пустынь ждут трудолюбивых обитателей, чтобы в течение веков представить новые успехи гражданской деятельности, дать простор стесненным в Европе народам и гостеприимно облагодетельствовать излишек их многолюдства. Три купца и беглый атаман волжских разбойников дерзнули, без царского повеления, именем Иоанна завоевать Сибирь.

Сие неизмеримое пространство Северной Азии, огражденное Каменным Поясом, Ледовитым морем, океаном Восточным[1], це-

---

[1] Океан Восточный — Тихий океан.

пию гор Альтайских и Саянских — отечество малолюдных племен могольских, татарских, чудских (финских), американских[1] — укрывалось от любопытства древних космографов. Там, *на главной высоте земного шара*, было, как угадывал великий Линней, первобытное убежище Ноева семейства после гибельного, всемирного наводнения; там воображение Геродотовых современников искало *грифов, стрегущих золото*: но история не ведала Сибири до нашествия гуннов, турков, моголов на Европу: предки Аттилины скитались на берегах Енисея; славный хан Дизавул принимал Юстинианова сановника Земарха в долинах Альтайских; послы Иннокентия IV и Св. Людовика ехали к наследникам Чингисовым мимо Байкала, и несчастный отец Александра Невского падал ниц пред Гаюком в окрестностях Амура. Как данники моголов узнав в XIII веке юг Сибири, мы еще ранее, как завоеватели, узнали ее северо-запад, где смелые новогородцы уже в XI веке обогащались мехами драгоценными. В исходе XV столетия знамена Москвы уже развевались на снежном хребте Каменного Пояса, или древних гор Рифейских, и воеводы Иоанна III возгласили его великое имя на берегах Тавды, Иртыша, Оби, в пяти тысячах верстах от нашей столицы. Уже сей монарх именовался в своем титуле *югорским*, сын его *обдорским* и *кондинским*, а внук *сибирским*; обложив данию сию могольскую, или татарскую, державу, которая составилась из древних улусов ишимских, тюменских или шибанских, известных нам с 1480 года и названных так, вероятно, по имени брата Бытыева, Шибана, единовластителя Северной Азии, на восток от моря Аральского.

Пишут, что «князь Ивак или Он, племени *ногайского*, Веры Магометовой, жил на реке Ишиме, повелевая многими татарами, остяками и вогуличами; что какой-то мятежник Чингис свергнул Ивака, но из любви к его сыну Тайбуге, дал ему рать для завоевания берегов Иртыша и великой Оби, где сей юный князь основал Сибирское ханство и город Чингий на Туре, в коем властвовали после сын Тайбугин, Ходжа, и внук Мар, отец Адера и Яболака, женатый на царевне *казанской*, сестре Упаковой; что Упак убил Мара, а сын Адеров, Магмет, убив Упака, построил Искер, или Сибирь, на Иртыше (в шестнадцати верстах от нынешнего Тобольска); что преемниками Магметовыми были Агиш, сын Яболаков,

---

[1] Американские племена — чукчи, камчадалы и др., заселявшие как Аляску, так и Дальний Восток.

Магметов сын Казый и дети Казыевы, Едигер (данник московский) и Бекбулат, сверженные Кучюмом, сыном киргизского хана Муртазы, *первым царем сибирским*» (также Иоанновым данником). Сказания не весьма достоверные, слышанные россиянами от магометанских жителей Сибири и внесенные в ее летописи без всякого критического исследования! В царской же грамоте 1597 года наименован первым ханом сибирским *Ибак*, дед Кучюмов, вторым Магмет, третьим Казый, четвертым Едигер, князья Тайбугина рода. Заметим, что полки московские, в 1483 году воюя на берегах Иртыша, еще не видали *татар* в сих местах, где уже существовала крепость *Сибирь* и властвовал *князь Лятик*, без сомнения югорский или остяцкий: следственно ишимские ногаи, соединясь с тюменскими, завладели устьем Тобола едва ли ранее XVI века и не *основали*, а *взяли* городок *Сибирь*, названный ими Искером.

Уже твердо зная путь в сию столицу Едигерову и Кучюмову, где бывали чиновники московские, любопытный Иоанн желал узнать и страны дальнейшие: для того в 1567 году послал двух атаманов Ивана Петрова и Бурнаша Ялычева за Сибирь на юг с дружественными грамотами к неизвестным властителям неизвестных народов. Атаманы благополучно возвратились и представили государю описание всех земель от Байкала до моря Корейского, быв в улусах *Черной*, или Западной Мунгалии, подвластной разным князям, и в городах Восточной, или *Желтой*, где царствовала женщина и где народ пользовался выгодами земледелия, скотоводства, торговли. Упомянув по слуху о Туркестане, Бухарии, Кашгаре, Тибете, путешественники Иоанновы сказывают в своем любопытном донесении, что грамота мунгальской царицы отверзла для них железные врата стены китайской; но что, свободно достигнув богатого, многолюдного Пекина, они не могли видеть императора, не имев к нему даров от государя. Так мы узнали Китай, быв обязаны сим первым достоверным о нем известием редкому смыслу, мужеству, терпению двух козаков, умевших преодолеть все труды, опасности пути дальнего, неведомого, сквозь степи, горы и кочевья варваров, виденные, может быть, только отчасти славным венециянским путешественником XIII века Марком Полом.

Но еще господство наше за Каменным Поясом было слабо и ненадежно: татары сибирские, признав Иоанна своим верховным

---

[1] Мягкая рухлядь — меха.

властителем, не только худо платили ему дань, но и частыми набегами тревожили Великую Пермь, где был конец России. Озабоченный важными, непрестанными войнами, царь не мог утвердить ни власти своей над отдаленною Сибирью, ни спокойствия наших владений между Камою и Двиною, где уже издавна селились многие россияне, привлекаемые туда естественным изобилием земли, дешевизною всего нужного для жизни, выгодами мены с полудикими соседственными народами, в особенности богатыми мягкою рухлядью[1]. В числе тамошних российских всельников были и купцы Строгановы, Яков и Григорий Иоанникиевы, или Аникины, коих отец обогатился заведением соляных варниц на Вычегде и (если верить сказанию иностранцев) первый открыл путь для нашей торговли за хребет гор Уральских. Пишут, что сии купцы происходили от знатного, крещеного мурзы Золотой Орды, именем Спиридона, научившего россиян употреблению счетов; что татары, им озлобленные, пленили его в битве, измучили и будто бы *застрогали* до смерти; что сын его потому назван *Строгановым*, а внук способствовал искуплению великого князя Василия Темного, бывшего пленником в казанских улусах. Желая взять деятельные меры для обуздания Сибири, Иоанн призвал упомянутых двух братьев, Якова и Григория, как людей умных и знающих все обстоятельства северо-восточного края России, беседовал с ними, одобрил их мысли и дал им жалованные грамоты на пустые места, лежащие вниз по Каме от земли Пермской до реки Сылвы и берега Чусовой до ее вершины; позволил им ставить там крепости в защиту от сибирских и ногайских хищников, иметь снаряд огнестрельный, пушкарей и воинов на собственном иждивении, принимать к себе всяких людей вольных, не *тяглых* и не беглых,— ведать и судить их независимо от пермских наместников и тиунов, *не возить и не кормить* послов, ездящих в Москву из Сибири или в Сибирь из Москвы,— заводить селения, пашни и соляные варницы,—в течение двадцати лет торговать без пошлины солью и рыбою, но с обязательством *не делать руд*, и если найдут где серебряную или медную, или оловянную, то немедленно извещать о сем казначеев государевых. Довольные царскою милостию, деятельные и богатые Строгановы основали в 1558 году близ устья Чусовой городок Канкор, па мысу Пыскорском, где стоял монастырь Всемилостивого Спаса, в 1564 г. крепость Кергедан на Орловском Волоке, в 1568 и 1570 г. несколько острогов на берегах Чусовой

и Сылвы; приманили к себе многих людей, бродяг и бездомков, обещая богатые плоды трудолюбию и добычу смелости; имели свое войско, свою управу, подобно князькам владетельным; берегли северо-восток России и в 1572 году смирили бунт черемисы, остяков, башкирцев, одержав знатную победу над их соединенными толпами и снова взяв с них присягу в верности к государю. Сии усердные стражи земли Пермской, сии населители пустынь чусовских, сии купцы-владетели, распространив пределы обитаемости и государства Московского до Каменного Пояса, устремили мысль свою и далее.

Кучюм, овладев Сибирью, искал благоволения Иоаннова, когда еще опасался ее жителей, насильно обращаемых им в магометанскую Веру, и ногаев, друзей России: но утвердив власть свою над Тобольскою Ордою, перезвав к себе многих степных киргизов и женив сына, Алея, на дочери ногайского князя, Тин-Ахмата, уже не исполнял обязанностей нашего данника, тайно сносился с черемисою, возбуждал сей народ свирепый к бунту против государя московского и под смертною казнию запрещал остякам, югорцам, вогуличам платить древнюю дань России. Встревоженный слухом о строгановских крепостях, Кучюм (в июле 1575 года) послал своего племянника, Маметкула, разведать о них и, если можно, истребить все наши заведения в окрестностях Камы. Маметкул явился с войском как неприятель: умертвил несколько верных нам остяков, пленил их жен, детей и посла московского, Третьяка Чебукова, ехавшего в Орду Киргиз-Кайсакскую; но узнав, что в городках чусовских довольно и ратных людей и пушек, бежал назад. Строгановы не смели гнаться за разбойником без государева повеления: известили о том Иоанна и просили указа строить крепости в земле Сибирской, чтобы стеснить Кучюма в его собственных владениях и навсегда утвердить безопасность наших. Они не требовали ни полков, ни оружия, ни денег; требовали единственно жалованной грамоты на землю неприятельскую — и получили: 30 мая 1574 года Иоанн дал им сию грамоту, где сказано, что Яков и Григорий Строгановы могут укрепиться на берегах Тобола и вести войну с изменником Кучюмом для освобождения первобытных жителей югорских, наших данников, от его ига; могут в возмездие за их добрую службу, выделывать там не только железо, но и медь, олово, свинец, серу, для опыта, до некоторого времени; могут свободно и без пошлины торговать с бухарцами и с киргизами.— Следственно, Строгановы имели

7 Зак. № 40

законное право идти с огнем и мечом за Каменный Пояс; но силы, может быть, не ответствовали ревности для такого важного предприятия. Миновало шесть лет, и в течение сего времени Яков с Григорием умерли, оставив свое богатство, ум и деятельность в наследие меньшому брату Семену, который вместе с племянниками Максимом Яковлевым и Никитою Григорьевым счастливо исполнил их славное намерение, заслужив тем сперва гнев Иоанна, а благодарность, его и России, уже после!

Мы говорили о происхождении, доброй и худой славе, верности и неверности донских козаков, то честных воинов России, то мятежников, ею не признаваемых за россиян. Гневные отзывы Иоанновы о сей вольнице в письмах к султанам и к ханам таврическим были истиною: ибо козаки, действительно, разбивая купцов, даже послов азиатских на пути их в Москву, грабя самую казну государеву, несколько раз заслуживали опалу; несколько раз высылались дружины воинские на берега Дона и Волги, чтобы истребить сих хищников: так в 1577 году стольник Иван Мурашкин, предводительствуя сильным отрядом, многих из них взял и казнил; но другие не смирились: уходили на время в пустыни, снова являлись и злодействовали на всех дорогах, на всех перевозах; в быстром набеге взяли даже столицу ногайскую, город Сарайчик, не оставили там камня на камне и вышли с знатною добычею, раскопав самые могилы, обнажив мертвых. К числу буйных атаманов волжских принадлежали тогда Ермак (Герман) Тимофеев, Иван Кольцо, осужденный государем на смерть, Яков Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещеряк, известные удальством редким: слыша, как они ужасают своею дерзостию не только мирных путешественников, но и все окрестные улусы кочевых народов, умные Строгановы предложили сим пяти храбрецам службу честную; послали к ним дары, написали грамоту ласковую (6 апреля 1579 года), убеждали их отвергнуть ремесло, недостойное христианских витязей, быть не разбойниками, а воинами *Царя Белого*[1], искать опасностей не бесславных, примириться с Богом и с Россиею; сказали: «имеем крепости и земли, но мало дружины: идите к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христианства». Ермак с товарищами прослезился от умиления, как пишут: мысль свергнуть с себя опалу делами честными, заслугою государственною и про-

[1] Царь Белый — то есть русский царь.

менять имя смелых грабителей на имя доблих воинов отечества, тронула сердца грубые, но еще не лишенные угрызений совести. Они подняли знамя на берегу Волги: кликнули дружину, собрали 540 отважных бойцов и (21 июня) прибыли к Строгановым — «с радостию и на радость, — говорит летописец: — чего хотели одни, что обещали другие, то исполнилось: атаманы стали грудью за область христианскую. Неверные трепетали; где показывались, там гибли». И действительно (22 июля 1581 года) усердные козаки разбили наголову мурзу Бегулия, дерзнувшего с семьюстами вогуличей и остяков грабить селения на Сылве и Чусовой; взяли его в плен и смирили вогуличей. Сей успех был началом важнейших.

Призывая донских атаманов, Строгановы имели в виду не одну защиту городов своих: испытав бодрость, мужество и верность козаков; узнав разум, великую отвагу, решительность их главного вождя, Ермака Тимофеева, *родом неизвестного, душою знаменитого*, как сказано в летописи; составив еще особенную дружину из русских татар, литвы, немцев, искупленных ими из неволи у ногаев (которые служа в войнах Иоанну, возвращались обыкновенно в улусы свои с пленниками); добыв оружия, изготовив все нужные запасы, Строгановы объявили поход, Ермака воеводою и Сибирь целию. Ратников было 840, одушевленных ревностию и веселием: кто хотел чести, кто добычи; донцы надеялись заслужить милость государеву, а немецкие и литовские пленники свободу: Сибирь казалась им путем в любезное отечество! Воевода устроил войско; сверх атаманов избрал есаулов[1], сотников, пятидесятников: главным под ним был неустрашимый Иван Кольцо. Нагрузив ладии запасами и снарядами, легкими пушками, *семипядными* пищалями; взяв вожатых, толмачей, иереев: отпев молебен; выслушав последний наказ Строгановых: «иди с миром, очистить землю Сибирскую и выгнать безбожного салтана Кучюма», Ермак *с обетом доблести и целомудрия*, при звуке труб воинских, 1 сентярбя 1581 года отплыл рекою Чусовою к горам Уральским, на подвиг славы, без всякого содействия, даже без ведома государева: ибо Строгановы, имея Иоаннову жалованную грамоту на места за Каменным Поясом, думали, что им уже нет надобности требовать нового царского указа для их великого предприятия. Не так мыслил Иоанн, как увидим.

---

[1] Есаул — здесь: помощник, подручник, адъютант.

В то самое время, когда российский Пизарро[1], не менее испанского грозный для диких народов, менее ужасный для человечества, шел воевать Кучюмову державу, князь Пелымский с вогуличами, остяками, сибирскими татарами и башкирцами нечаянно напал на берега Камы, выжег, истребил селения близ Чердыни, Усолья и новых крепостей строгановских; умертвил, пленил множество христиан. Защитников не было; но сведав о походе козаков в Сибирь, он спешил удалиться для защиты собственных владений. Сей разбой поставили в вину Строгановым: Иоанн писал к ним, что они, как доносил ему чердынский наместник Василий Пелепелицын, не умеют или не хотят оберегать границы; *самовольно* призвали опальных козаков, известных злодеев, и послали их воевать Сибирь, раздражая тем и князя Пелымского и салтана Кучюма; что такое дело есть измена, достойная казни. «Приказываю вам (писал он далее) немедленно выслать Ермака с товарищами в Пермь и в Усолье Камское, где им должно *покрыть* вины свои совершенным усмирением остяков и вогуличей; а для безопасности ваших городков можете оставить у себя козаков сто, не более. Если же не исполните нашего указа; если впредь что-нибудь случится над Пермскою землею от Пелымского князя и сибирского салтана, то возложим на вас *большую опалу*, а козаков-изменников велим перевешать». Сей гневный указ напугал Строгановых; но блестящий, неожиданный успех оправдал их дело, и гнев Иоаннов переменился в милость.

Начиная описание Ермаковых подвигов, скажем, что они, как все необыкновенное, чрезвычайное, сильно действуя на воображение людей, произвели многие басни, которые смешались в преданиях с истиною и под именем летописаний обманывали самих историков. Так, например, сотни Ермаковых воинов, подобно Кортецовым или Пизарровым, обратились в тысячи, месяцы действия в годы, плавание трудное в чудесное. Оставляя баснословие, следуем в важнейших обстоятельствах грамотам и достовернейшему современному повествованию о сем завоевании любопытном, действительно удивительном, если и не чудесном.

Атаманы плыли четыре дня вверх по реке Чусовой, быстрой, каменистой, опасной, до хребта Уральского и между горами, под сенью их скал навислых; два дня рекою Серебряною и достигли

---

[1] П и з а р р о — Франсиско Писарро (между 1470 и 1475–1541), испанский конкистадор, известный своей жестокостью при завоевании Панамы и Перу.

ею так называемого *пути Сибирского*; остановились, и не зная, что ожидало их впереди, для своей безопасности сделали земляное укрепление, дав ему имя *Кокуя-городка*; видели только пустыни или малочисленных жителей мирных и через волок перевезлися оттуда до реки Жаравли. Сии места еще и ныне ознаменованы памятниками Ермака: скалы, пещеры, следы укреплений называются его именем; ладьи тяжелые, оставленные им между Серебряною и Баранчею, еще не совсем истлели, как уверяют, и над их гниющими днами растут высокие деревья. — Жаравлею и Тагилом вошли атаманы в реку Туру, уже в область Сибирского царства, где в первый раз обнажили меч завоевания. На месте нынешнего Туринска стоял городок князя Епанчи, который, повелевая многими татарами и вогуличами, встретил смелых пришельцев тучею стрел с берега (где теперь село Усениново), но бежал, устрашенный громом пушек. Ермак велел разорить сей городок; осталось только имя: ибо жители доныне называют Туринск Епанчиным. Опустошив улусы и селения вниз по Туре, атаманы на устье Тавды взяли в плен Кучюмова сановника, Таузака, который, искренностию спасая жизнь, сообщил им все нужные для них сведения о земле своей и будучи за то освобожден, известил ее царя, что предсказание сибирских волхвов сбывается: ибо сии кудесники уже давно, как пишут, вопили на стогнах о неминуемом скором падении его державы от нашествия христиан. Таузак описывал козаков людьми чудесными, воинами неодолимыми, *стреляющими огнем и громом смертоносным* навылет сквозь латы. Но Кучюм, лишенный зрения, имел душу твердую: решился стать мужественно за царство и Веру; собрал войско из всех улусов, выслал племянника Маметкула в поле со многочисленною конницею, а сам укрепился в засеке на Иртыше, под горою Чувашьею, преграждая атаманам путь к Искеру.

Завоевание Сибири во многих отношениях сходствует с завоеванием Мексики и Перу: также горсть людей, стреляя огнем, побеждала тысячи, вооруженные стрелами и копьями: ибо северные моголы и татары не умели воспользоваться изобретением пороха и в конце XVI века действовали единственно оружием времен Чингисовых. Каждый богатырь Ермаков шел на толпу неприятелей, смертоносною пулею убивал одного, а страшным звуком пищали своей разгонял двадцать и тридцать. Так в первой битве на берегу Тобола, в урочище Бабасане, Ермак, стоя в окопе, несколькими залпами остановил стремление десяти или более тысяч

всадников Маметкуловых, которые неслися во весь дух потоптать его: он сам ударил на них и, довершив победу, открыл себе путь к устью Тобола, хотя и не совсем безопасный: ибо жители, заняв крутой берег сей реки, называемый *Долгим Яром*, стрелами осыпали ладьи козаков. Второе, менее важное дело было в шестнадцати верстах от Иртыша, где властвовал улусный князь, царский думный советник Карача, на берегах озера и теперь именуемого *Карачинским*: Ермак взял его улус и в нем богатую добычу, запасы и, множество кадей царского меду. Третья битва, на Иртыше, жаркая, упорная, стоила жизни некоторому числу Ермаковых сподвижников, доказав, что независимость отечества мила и варварам: сибирские защитники изъявили неустрашимость и твердость; ввечеру уступили россиянам победу, но только до нового кровопролития, имея еще и доблесть и надежду. Слепой Кучюм вышел из укреплений и стал на горе Чувашьей: Маметкул расположился в засеке, и козаки, в тот же вечер заняв городок Атик-Мурзы, не смыкали глаз ночью, опасаясь нападения.

Уже число Ермаковой дружины уменьшилось заметно; кроме убитых, многие были ранены; многие лишились сил и бодрости от трудов непрестанных. В сию ночь атаманы советовались с товарищами, что делать — и голос слабых раздался. «Мы удовлетворили мести, — сказали они: — время идти назад. Всякая новая битва для нас опасна: ибо скоро некому будет побеждать». Но атаманы ответствовали: «Нет, братья: нам путь только вперед! Уже реки покрываются льдом: обратив тыл, замерзнем в глубоких снегах; а если и достигнем Руси, то с пятном клятвопреступников, обещав смирить Кучюма или великодушною смертию загладить наши вины пред государем. Мы долго жили худою славою: умрем же с доброю! Бог дает победу, кому хочет: нередко слабым мимо сильных, да святится имя Его!» Дружина сказала: *аминь*! и с первыми лучами солнца 23 октября устремилась к засеке, воскликнув: *с нами Бог*! Неприятель сыпал стрелы, язвил козаков, и в трех местах сам разломав засеку, кинулся в бой рукопашный, безвыгодный для Ермаковых малочисленных витязей; действовали сабли и копья: люди падали с обеих сторон; но козаки, немецкие и литовские воины стояли единодушнее, крепкою стеною — успевали заряжать пищали и беглым огнем редили толпы неприятельские, гоня их к засеке. Ермак, Иван Кольцо мужествовали впереди, повторяя громкое восклицание: *с нами Бог*! а слепой Кучюм, стоя на горе с иманами, с муллами своими, кликал Магомета для спасе-

ния правоверных. К счастию россиян, к ужасу неприятелей, раненый Маметкул должен был оставить сечу: мурзы увезли его в ладье на другую сторону Иртыша, и войско без предводителя отчаялось в победе: князья остяцкие дали тыл; бежали и татары. Слыша, что знамена христианские уже развеваются на засеке, Кучюм искал безопасности в степях Ишимских, успев взять только часть казны своей в сибирской столице. Сия главная, кровопролитнейшая битва, в коей пало 107 добрых козаков, доныне поминаемых в соборной тобольской церкви, решила господство России от Каменного хребта до Оби и Тобола.

26 октября Ермак, уже знаменитый для истории, отпев молебен, торжественно вступил в Искер, или в город Сибирь, который стоял на высоком берегу Иртыша, укрепленный с одной стороны крутизною, глубоким оврагом, а с другой—тройным валом и рвом. Там победители нашли великое богатство, если верить летописцу: множество золота и серебра, азиатских парчей, драгоценных камней, мехов и все братски разделили между собою. Город был пуст: овладев царством, наши витязи еще не видали в нем людей; имея золото и соболей, не имели пищи: но 30 октября явились к ним остяки с князем своим Боаром, с дарами и запасами; клялися в верности, требовали милосердия и покровительства. Скоро явилось и множество татар с женами и с детьми, коих Ермак обласкал, успокоил, и всех отпустил в их прежние юрты, обложив легкою данию. Сей бывший атаман разбойников, оказав себя Героем неустрашимым, вождем искусным, оказал необыкновенный разум и в земских учреждениях и в соблюдении воинской подчиненности, вселив в людей грубых, диких, доверенность к новой власти и, строгостию усмиряя своих буйных сподвижников, которые, преодолев столько опасностей в земле, завоеванной ими, *на краю света*, не смели тронуть ни волоса у мирных жителей. Пишут, что грозный, неумолимый Ермак, жалея воинов христианских в битве, не жалел их в случае преступления и казнил за всякое ослушание, за всякое *дело студное*[1]: ибо требовал от дружины не только повиновения, но и чистоты душевной, чтобы угодить вместе и царю земному и Царю Небесному; он думал, что Бог даст ему победу скорее с малым числом добродетельных воинов, нежели с большим закоснелых грешников, и козаки его, по сказанию тобольского летописца, и в пути

[1] Студный — постыдный, позорный.

и в столице сибирской вели жизнь целомудренную: сражались и молились! Еще опасности не миновали.

Прошло несколько времени: не имея слуха о Кучюме, атаманы без опасения занимались ловлею в окрестностях города. Но Кучюм был недалеко: племянник его, Маметкул, несмотря на язву свою, уже бодрствовал в поле и, 5 декабря внезапно ударив на 20 россиян, которые ловили рыбу в озере Абалацком, умертвил всех до единого. Сведав о том, Ермак устремился за неприятелем: настиг его близ Абалака (где селение Шамшинские Юрты), разбил, рассеял; взял тела своих убитых и с честию предал земле на Саусканском мысу, близ Искера, где было древнее ханское кладбище. Чрезвычайный холод, опасные вьюги и краткость зимних дней в сих странах полунощных не дозволяли ему мыслить о новых, важных предприятиях до весны. Между тем владения козаков распространились мирным подданством двух князей вогульских, Ишбердея и Суклема: первый господствовал за Эскальбинскими болотами, на берегах Конды или Тавды, а второй в окрестностях Тобола; оба вызвались добровольно платить ясак, или дань, соболями, и присягнули России в верности, которою Ишбердей приобрел особенную любовь козаков, служа им добрым советником и путеводителем в местах незнаемых. Таким образом, дела внутреннего управления, собирание дани, звериная и рыбная ловля, нужная для продовольствия в земле бесхлебной, занимали Ермака до апреля месяца, когда один мурза известил его, что дерзкий Маметкул снова приблизился к Иртышу и кочует на Вагае с малочисленною толпою: требовалось скорости и тайны более, нежели силы, чтобы истребить сего врага неутомимого: атаманы выбрали только шестьдесят удальцов, которые ночью подкрались к Маметкулову стану, напали врасплох, умертвили многих сонных татар, взяли самого царевича живого и привели с торжеством в Искер, к великой радости Ермака: ибо он сим счастливым пленом избавился от смелого, мужественного неприятеля и мог им воспользоваться как важным залогом в случае войны или мира с изгнанником Кучюмом; видел Маметкула, обагренного кровию своих братьев, но не думал о мести личной: ласкал и честил его под крепкою стражею. Уже имея лазутчиков и в отдаленных местах, Ермак в то же время узнал, что Кучюм, сраженный вестию о несчастии Маметкула, скитается в пустынях за Ишимом; что юный сын убитого им князя сибирского Бекбулата, Сейдек, увезенный в Бухарию слугами отца своего, возмужав ле-

тами и духом, идет на сего царя-хищника с шайками узбеков, и что вельможа Карача изменил ему в бедствии: оставил Кучюма, увел многих людей с собою и расположился кочевать в *Лымской* земле, на большом озере, выше устья Тары, впадающей в Иртыш, близ реки Осмы. Сие достоверное известие о бессилии главного, злобного врага и наступление весны благоприятствовали новым подвигам знаменитого атамана.

Оставив в Искере часть дружины, Ермак с козаками поплыл Иртышом к северу. Уже ближайшие улусы признавали власть его: он шел мирно до устья Аримдзянки, где татары, еще независимые, засели в крепости и не хотели сдаться: взяв ее приступом, атаманы велели расстрелять или повесить главных виновников сего опасного упорства. Все иные жители, смиренные ужасом, клялися быть подданными России, целуя омоченную кровию саблю. Нынешние волости Нацынская, Карбинская, Туртасская не смели противиться. Далее начинались юрты остяков и кондинских вогуличей: там, на высоком берегу Иртыша, князь их Демьян, имея крепость и в ней две тысячи воинов, готовых к битве, отвергнул все предложения Ермаковы. Летописец рассказывает, что в сем городке был золотой кумир, будто бы вывезенный из древней России, во время ее крещения; что остяки держали его в чаше, пили из нее воду и тем укреплялись в мужестве; что атаманы, стрельбою изгнав осажденных, вступили в город, но не могли найти в нем драгоценного идола.— Далее, плывя Иртышом, завоеватели увидели толпу кудесников, приносящих жертву славному кумиру Раче с молением, да спасет их от страшных пришельцев. Идол безмолвствовал, россияне шли с своим *громом*, и кудесники бежали в темноту лесов. На сем месте ныне селение *Рачевые Юрты*, ниже *Демьянского Яма*. Далее, в Цынгальской волости, где Иртыш, стесняемый горами, имеет узкое и быстрое течение, собралося множество вооруженных людей: один выстрел рассеял их, и козаки овладели городком Нарымским, где были только жены с детьми, в страхе, в ожидании смерти; но Ермак обошелся с ними столь ласково, что отцы и мужья не замедлили прийти к нему с данию. Покорив волость Тарханскую, атаманы вступили в страну знатнейшего князя остяцкого Самара, который соединился с другими осьмью князьками и ждал россиян для битвы, чтобы решить судьбу всей древней земли Югорской. Хваляся мужеством и силою, Самар забыл осторожность: спал крепким сном вместе с войском и стражею, когда атаманы в час рассвета ударили на его

стан: пробужденный шумом, он схватил оружие и пал мертвый от первой пули; войско разбежалось, а жители обязались платить ясак России. — Уже Ермак достиг славной Оби, коей течение известно было и древним новогородцам, но устье и вершина, по выражению московских путешественников 1567 года, таились во мраке отдаления. Завоевав еще главный остяцкий город Назым и многие иные крепости на берегах ее, пленив их князя и горестно оплакав кончину храброго сподвижника атамана Никиты Пана, убитого на приступе вместе с некоторыми из лучших козаков, Ермак не хотел идти далее: ибо видел пред собою одни хладные пустыни, где мшистая кора болот и летом едва теплеет от жарких лучей солнца и где среди мерзлых тундр, усеянных мамонтовыми костями, представляется глазам образ ужасного кладбища природы. Поставив князя остяцкого Алача главою над обскими юртами, Ермак тем же путем возвратился в сибирскую столицу, честимый своими данниками как победитель и владыка; везде, с изъявлениями раболепства, встречали, провожали его, как мужа грозы и доблести сверхъестественной. Козаки плыли с воинскою музыкою и выходили на берег всегда в своих праздничных кафтанах, чтобы удивлять жителей пышностию и богатством. От пределов Березовских до Тобола утвердив господство России, Ермак благополучно возвратился в Искер, тихий и спокойный.

Тогда единственно, по сказанию летописца, сей витязь счастливый дал знать Строгановым, что Бог помог ему одолеть салтана, взять его столицу, землю и царевича, а с народов присягу в верности; написал и к Иоанну, что его бедные, опальные козаки, угрызаемые совестью, исполненные раскаяния, шли на смерть и присоединили знаменитую державу к России, во имя Христа и великого государя, *навеки веков, доколе Всевышний благоволит стоять миру*; что они ждут указа и воевод его: сдадут им царство Сибирское, и без всяких условий, готовые умереть или в новых подвигах чести или на плахе, как будет угодно ему и Богу. С сею грамотою поехал в Москву второй атаман, первый сподвижник Ермака Тимофеева, первый с ним в думе и в сечах, Иван Кольцо, не боясь своего торжественного осуждения на лютую казнь преступника.

Здесь предупредим вопрос читателя: столь поздно известив Строгановых о своем успехе, не думал ли Ермак, обольщенный легким завоеванием Сибири (как угадывали некоторые историки) властвовать там независимо? не для того ли наконец обратился к

Иоанну, что увидел необходимость требовать его вспоможения, ежедневно слабея в силах, хотя и побеждая? Но мог ли умный атаман и с самого начала не предвидеть, что горсть смельчаков, оставленных Россиею, года в два или в три исчезла бы в битвах или от болезней сурового климата, среди пустынь и лесов, служащих вместо крепостей для диких, свирепых жителей, которые платили дань пришельцам единственно под угрозою меча или выстрела? Гораздо вероятнее, что летописец, не быв очевидцем деяний, означает их порядок наугад; или Ермак опасался безвременно хвалиться в России успехом: хотел прежде довершить завоевание и довершил, по его мнению, загнав Кучюма в дальние степи и водрузив межевый столп государства Московского на берегу Оби.

Восхищенные вестию атаманов, Строгановы спешили в Москву, донесли государю о всех подробностях и молили его утвердить Сибирь за Россиею: ибо они, как частные люди, не имели способов удержать столь обширное завоевание. Явились и послы Ермаковы, атаман Кольцо с товарищами, *бить челом Иоанну царством Сибирским*, драгоценными соболями, черными лисицами и бобрами. Давно, как пишут, не бывало такого веселия в Москве унылой: государь и народ *воспрянули духом*. Слова: «новое царство послал Бог России!» с живейшею радостию повторялись во дворце и на Красной площади. Звонили в колокола, пели молебны благодарственные, как в счастливые времена Иоанновой юности, завоеваний казанского и астраханского. Молва увеличивала славу подвига: говорили о бесчисленных воинствах, разбитых козаками; о множестве народов, ими покоренных; о несметном богатстве, ими найденном. Казалось, что Сибирь упала тогда с неба для россиян: забыли ее давнишнюю известность и самое подданство, чтобы тем более славить Ермака. Опала сделалась честию: оглашенный преступник, Иван Кольцо, смиренно наклоняя повинную свою голову пред царем и боярами, слышал милость, хвалу, имя доброго витязя, и с слезами лобызал руку Иоаннову. Государь жаловал его и других сибирских послов деньгами, сукнами, камками; немедленно отрядил воеводу князя Семена Дмитриевича Болховского, чиновника Ивана Глухова и 500 стрельцов к Ермаку; дозволил Ивану Кольцу на возвратном пути искать охотников для переселения в новый край Тобольский и велел епископу вологодскому отправить туда десять священников с их семействами для христианского Богослужения. Весною князь Болховский должен был взять ладии у Строгановых и плыть рекою Чу-

совою по следам сибирского Героя. Сии усердные, знаменитые граждане, истинные виновники столь важного приобретения для России, уступив оное государству, не остались без возмездия: Иоанн за их *службу и радение* пожаловал Семену Строганову два местечка, Большую и Малую Соль, на Волге, а Максиму и Никите право торговать во всех своих городках беспошлинно.

Между тем завоеватели сибирские не праздно ждали добрых вестей из России: ходили рекою Тавдою в землю вогуличей.— Близ устья сей реки господствовали князья татарские, Лабутан и Печенег, разбитые Ермаком в деле кровопролитном, на берегу озера, где, как уверяет повествователь, и в его время еще лежало множество костей человеческих. Но робкие вогуличи Кошуцкой и Табаринской волости мирно дали ясак атаманам. Сии тихие дикари жили в совершенной независимости; не имели ни князей, ни властителей; уважали только людей богатых и разумных, требуя от них суда в тяжбах или ссорах; не менее уважали и мнимых волхвов, из коих один, с благоговением взирая на Ермака, будто бы предсказал ему долговременную славу, но умолчал о близкой его смерти. Здесь баснословие изобрело еще гигантов между карлами вогульскими (ибо жители сей печальной земли не бывают ни в два аршина ростом): пишут, что россияне близ городка Табаринского с изумлением увидели великана в две сажени вышиною, который хватал рукою и давил вдруг человек по десяти или более; что они не могли взять его живого и застрелили! Вообще известие о сем походе не весьма достоверно, находясь только в прибавлении к Сибирской летописи. Там сказано далее, что Ермак, достигнув болот и лесов Пелымских, рассеяв толпы вогуличей и взяв пленников, старался узнать от них о пути с берегов Верхней Тавды через Каменный Пояс в Пермь, дабы открыть новое сообщение с Россиею, менее опасное или трудное, но не мог проложить сей дороги в пустынях грязных и топких летом, а зимою засыпаемых глубокими снегами. Умножив число данников, расширив свои владения в древней земле Югорской до реки Сосны и включив в их пределы страну *Кондинскую*, дотоле мало известную, хотя уже и давно именуемую в титуле московских самодержцев, Ермак возвратился в сибирскую столицу принять за славные труды отличную награду.

Иван Кольцо прибыл в Искер с государевым жалованьем, князь Волховский с людьми воинскими. Первый вручил атаманам и рядовым богатые дары, а вождю их две брони, серебряный кубок и шу-

бу с плеча царского. Иоанн в ласковой грамоте объявил козакам вечное забвение старых вин и вечную благодарность России за важную услугу; назвал Ермака (так пишут) *князем сибирским*; велел ему распоряжать и начальствовать, как было дотоле, чтобы утвердить порядок в земле и верховную государеву власть над нею. Козаки же честили Иоаннова воеводу и всех стрельцов, дарили соболями, угощали со всею возможною роскошью, готовясь с ними к дальнейшим предприятиям. Сие счастие Ермаково и сподвижников его не продолжилось: начинаются [1583 г.] их бедствия.

Во-первых, открылась жестокая цинга, болезнь обыкновенная для новых пришельцев в климатах сырых, холодных, в местах еще диких, мало населенных: занемогли стрельцы, от них и козаки; многие лишились сил, многие и жизни. Во-вторых, оказался зимою недостаток в съестных припасах: страшные морозы, вьюги, метели, препятствуя козакам ловить зверей и рыбу, мешали и доставлению хлеба из соседственных юртов, где некоторые жители занимались скудным землепашеством. Сделался голод: болезнь еще усилилась: люди гибли ежедневно, а в числе многих других умер и сам воевода Иоаннов князь Болховский, с честию и слезами схороненный в Искере. Общее уныние коснулось и Ермакова сердца: давно не боясь смерти, он боялся утратить завоевание, обмануть надежду царя и России. — Сие бедствие миновало весною: теплота воздуха способствовала излечению больных, и подвозы доставили россиянам изобилие. Тогда Ермак, исполняя указ Иоаннов, отправил в Москву царевича Маметкула, написав к государю, что все опять благополучно в его Сибири, но моля о сильнейшем, немедленном вспоможении, дабы удержать взятое и взять еще более. — Сей пленный царевич, верный блюститель Магометова закона, служил после в наших ратях.

Лишась, может быть, половины воинов от заразы и голода, Ермак претерпел еще знатную убыль в силах от легковерия и неосторожности. Мурза, или князь, Карача, оставив царя своего в несгоде, имел на Таре улус многолюдный, лазутчиков в Искере, друзей и единомышленников во всех окрестных юртах; хотел быть избавителем отечества; ждал времени и между тем коварно ласкал россиян: прислал к ним дары, требовал их защиты, будто бы угрожаемый ногаями; клялся в верности и так обольстил Ермака, что он послал к нему сорок добрых воинов с атаманом Иваном Кольцом. Сия горсть людей отважных могла бы двумя или тремя залпами разогнать тысячи дикарей; но, влекомые судьбою на гибель, коза-

ки шли к мнимым друзьям без всякого опасения и мирно стали под нож убийц: первый Герой Ермаков и воины его, львы в сечах, пали как агнцы в Тарском улусе!.. Следствием были мятеж и бунт всех наших данников; татары, остяки сибирские восстали на россиян, убили в разъезде атамана Якова Михайлова, соединились в поле с Карачею и стали необозримыми обозами вокруг Искера, где Ермак увидел себя в тесной осаде: завоевания его, царство и подданные вдруг исчезли; несколько саженей деревянной стены с земляными укреплениями составляли единственное владение козаков! Ермак мог делать вылазки, но жалел своих людей малочисленных; стрелял, но бесполезно, имея только легкие пушки: ибо неприятель стоял далеко и не хотел приступать к стенам в надежде взять крепость голодом, действительно неминуемым для ее защитников, если бы осада продолжилась. В сей крайности решились козаки на дело отчаянное: 12 июня, ночью, с атаманом Матвеем Мещеряком, оставив Ермака блюсти крепость, прокрались сквозь обозы неприятельские к месту, называемому Саусканом, где был стан Карачи, в нескольких верстах от города, и кинулись на сонных татар: умертвили их множество и двух сыновей Карачиных, гнали бегущих во все стороны, плавали в крови неверных. Сам князь, или мурза, ушел за озеро только с малым числом людей. Хотя утренний свет ободрил неприятелей; хотя они, приспев из других станов, удержали беглецов, сомкнулись и вступили в бой: но козаки, засев в обозе княжеском, сильною ружейною стрельбою отразили все нападения и в полдень с торжеством возвратились в город, ими освобожденный: ибо Карача, в ужасе немедленно сняв осаду, бежал за Ишим; а селения и юрты окрестные все снова поддалися россиянам. Еще Судьба благоприятствовала Героям!

В страх неприятелю и для своей будущей безопасности Ермак, хотя уже и слабый числом людей, предприял идти вслед за Карачею вверх Иртышом, чтобы распространить на восток владения России. Он победил князя Бегиша и взял городок его (коего остатки еще видны на берегу излучистого озера, далее устья Вагайского); завоевал все места до Ишима, местию ужасая непокорных, милуя безоружных. В Саргацкой волости жил тогда какой-то знаменитый старейшина, наследственный главный судья всех улусов татарских от времен первого хана сибирского, и князь Еличай в городке Тебенде: оба изъявили смирение; а князь вместе с данию представил Ермаку и юную дочь, невесту сына Кучюмова; но целомудренный атаман велел ей удалиться с ее прелестями опасны-

ми и с невинностию, как говорит летописец. Близ устья Ишимского в кровопролитной схватке с жителями, бедными и свирепыми, Ермак лишился пяти мужественных козаков, доныне воспеваемых в унылых сибирских песнях; взял еще городок Ташаткан, но не хотел упорно приступать к важнейшей крепости, основанной царем Кучюмом на берегу озера Аусаклу; достигнул реки Шиша, где начинаются голые степи, и распорядив дань в сем новом завоевании, возвратился в Искер с трофеями, уже последними!

Около двух лет господствуя в Сибири, козаки успели завести торговлю с самыми отдаленными азиатскими странами, издревле славными богатством и купечеством. Уже караваны бухарские ходили к ним мимо Арала, сквозь степи киргиз-кайсаков, путем без сомнения давно проложенным (может быть еще во времена Чингисовы или его наследников), оживляя пустынную сибирскую столицу зрелищем деятельной ярмонки и доставляя там россиянам в обмен на мягкую рухлядь плоды восточного ремесла, нужные или приятные для воинов, которые не берегли жизни, но любили наслаждаться ею. Ожидая тогда купцов бухарских и сведав, что изгнанник Кучюм не даст им дороги в степи Вагайской, где он снова дерзнул явиться, пылкий Ермак с пятьюдесятью козаками спешил их встретить: искал целый день, не видал ни каравана, ни следов неприятеля и на возвратном пути расположился ночевать в шатрах, оставив лодки свои у берега близ Вагайского устья, где Иртыш, делясь надвое, течет весьма кривою излучиною к востоку и прямым искусственным каналом, называемым *Ермаковою перекопью*, но вырытым, как надобно думать, в древнейшие времена, ибо гладкие берега его не представляют уже ни малейших следов копания. Там же, к югу от реки, среди низкого луга, возвышается холм, насыпанный, по общему преданию, руками девичьими для жилища царского. Между сими памятниками какого-то забытого века надлежало погибнуть новому завоевателю Сибири, с коего начинается ее несомнительная история — погибнуть от своей оплошности, изъясняемой единственно неодолимым действием Рока. Ермак знал о близости врага, и, как бы утомленный жизнию, погрузился в глубокий сон с своими удалыми витязями, без наблюдения, без стражи. Лил сильный дождь; река и ветер шумели, тем более усыпляя козаков; а неприятель бодрствовал на другой стороне реки: его лазутчики сыскали брод, тихо приблизились к стану Ермакову, видели сонных, взяли у них три пищали с лядунками[1] и представили своему ца-

[1] Лядунка — патронница (первоначально латунная коробка).

рю в удостоверение, что можно наконец истребить непобедимых. *Заиграло Кучюмово сердце,* как сказано в летописи: он напал на россиян полумертвых (в ночи 5 августа) и всех перерезал, кроме двух: один бежал в Искер; другой, сам Ермак, пробужденный звуком мечей и стоном издыхающих, воспрянул... увидел гибель, махом сабли еще отразил убийц, кинулся в бурный глубокий Иртыш и, не доплыв до своих лодок, утонул, отягченный железною бронею, данною ему Иоанном... Конец горький для завоевателя: ибо, лишаясь жизни, он мог думать, что лишается и славы!.. Нет, волны Иртыша не поглотили ее: Россия, история и церковь гласят Ермаку вечную память!

Сей Герой — ибо отечество благодарное давно изгладило имя разбойника пред Ермаковым — сей Герой погиб безвременно, но совершив главное дело: ибо Кучюм, зарезав 49 сонных козаков, уже не мог отнять Сибирского царства у великой державы, которая единожды навсегда признала оное своим достоянием. Ни современники, ни потомство не думали отнимать у Ермака полной чести сего завоевания, величая доблесть его не только в летописаниях, но и в святых храмах, где мы еще и ныне торжественно молимся за него и за дружину храбрых, которые вместе с ним пали на берегах Иртыша. Там имя сего витязя живет и в названии мест и в преданиях изустных; там самые бедные жилища украшаются изображением *атамана-князя*.. Он был видом благороден, сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк плечами; имел лицо плоское, но приятное, бороду черную, волосы темные, кудрявые, глаза светлые, быстрые, зерцало души пылкой, сильной, ума проницательного. — Тело Ермаково (13 августа) приплыло к селению Епанчинским Юртам, в 12 верстах от Абалака, где татарин Яниш, внук князька Бегиша, ловя рыбу, увидел в реке ноги человеческие, петлею вытащил мертвого, узнал его по железным латам с медною оправою, с золотым орлом на груди и созвал всех жителей деревни видеть исполина бездушного. Пишут, что один мурза, именем Кандаул, хотел снять броню с мертвого и что из тела, уже оцепенелого, вдруг хлынула свежая кровь; что злобные татары, положив оное на рундук, пускали в него стрелы; что сие продолжалось шесть недель; что царь Кучюм и самые отдаленные князья остяцкие съехались туда наслаждаться местию; что к удивлению их, плотоядные птицы, стаями летая над трупом, не смели его коснуться; что страшные видения и сны заставили неверных схоронить мертвеца на Бегишевском кладбище под кудрявою сосною; что они в честь ему изжарив и съев 30 быков в

день погребения, отдали верхнюю кольчугу Ермакову жрецам славного белогорского идола, нижнюю мурзе Кандаулу, кафтан князю Сейдеку, а саблю с поясом мурзе Караче; что многие чудеса совершились над Ермаковою могилою, сиял яркий свет и пылал столп огненный; что духовенство магометанское, испуганное их действием, нашло способ скрыть сию могилу, ныне никому неизвестную; что сотник Ульян Ремезов в 1650 году узнал все обстоятельства Ермаковых дел и смерти от тайши[1] калмыцкого Аблая, ревностно желавшего иметь и наконец доставшего броню Ермакову от потомков Кандауловых.

Весть о гибели вождя привела в неописанный ужас россиян в Сибири: их было около ста пятидесяти козаков и воинов московских, вместе с остатками иноземной Строгановской дружины, под главным начальством атамана Матвея Мещеряка. С Ермаком все для них кончилось: и смелость великодушная и надежда. Опасаясь Кучюма, Сейдека, Карачи, жителей, голода, они решились идти назад в Россию, и вышли (15 августа) из сибирской столицы с горькими слезами, покидая в ней гробы братьев и знамения христианства, теряя все плоды своих трудов кровавых, видя между собою и Святою Русью еще пустыни необозримые, опасности, битвы и, может быть, смерть безвестную. Сии уже не гордые завоеватели, а бедные изгнанники поплыли вверх Тобола, к великой радости Кучюма и всех жителей: ибо и дикие не любят господ чужеземных. Убив Ермака, Кучюм не дерзнул приступить к Искеру; сведав о бегстве козаков, все еще для него страшных, непобедимых, не мыслил тревожить их плавания и вслед за сыном своим, Алеем, вошел в пустой город сибирский, снова царствовать и снова лишиться царства... Там не осталось россиян: остались их прах и могилы: они звали мстителей; тени Ермака и его усопших сподвижников манили россиян довершить легкое завоевание края неизмеримого, от Каменного Пояса до Северной Америки и Восточного океана, где, в течение веков, надлежало сойтися пределам нашего отечества с пределами испанских владений; где ожидали нас не только богатые рудники, драгоценные плоды звероловства, выгодная мена китайская, но и слава мирного гражданского образования диких народов и счастливый способ искоренять преступления людей без душегубства, оставлять жизнь и злодеям, безвредно и еще не бескорыстно для государст-

[1] Т а й ш а — чин у калмыков.

ва, населять ими пустыни — их руками, от уз свободными, извлекать сокровища из недр земли и нередко исправлять сих злосчастных, к утешению человечества.

Скоро увидим возвращение россиян, их дальнейшие победы и завоевания в новом мире сибирском, уже в царствование Иоаннова преемника.

Глава VII
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИОАННА ГРОЗНОГО
1582—1584 гг.

Война и перемирие с Швециею. Дела Литовские. Бунт черемисский. Сношения с разными державами и в особенности с Англиею. Намерение Иоанново жениться на англичанке. Описание невесты. Посольство в Лондон. Посол Елисаветин. Болезнь и кончина Иоаннова. Любовь россиян к самодержавию. Сравнение Иоанна с другими мучителями. Польза истории. Смесь добра и зла в Иоанне. Иоанн образователь государственный и законодавец. Приказы. Дьяки, приказные люди. Думные дворяне. Дворяне сверстные и младшие. Князья служилые. Стольники. Ратные учреждения. Законы. Цена рубля. Церковные учреждения. Достопамятный обряд церковный. Строение городов. Состояние Москвы. Торговля. Роскошь и пышность. Слава Иоаннова.

Великими пожертвованиями обезоружив Батория, а хана, менее страшного, но всегда опасного, удовольствовав ничтожными дарами, Иоанн мог свободно наступить на шведов, оставленных союзником; желал, надеялся смирить хотя сего дерзкого неприятеля и тем возвысить честь своего оружия в глазах Европы. Успех казался несомнительным, легким. Баторий не только предал шведского короля мести Иоанновой, но еще и сам угрожал ему войною за Эстонию: требуя сей области, он велел сказать королю: «Ты воспользовался моими успехами и присвоил себе Нарву с другими городами немецкими, собственность Польши»; а король ответствовал: «Что приобретено кровию наших, то наше. Я был в поле, еще не видя знамен твоих. Вспомни, что вся Европа трепетала некогда имени готфов, коих мы наследовали и силу и

мужество: не боимся меча ни русского, ни седмиградского». Сия гордость, если и великодушная, могла иметь гибельные следствия для Швеции слабой, еще волнуемой изуверством ее венценосца, ревностию его к латинству и ссорою с братом, герцогом Карлом. С *одной* стороны пылкий Баторий, сказав: «возьму, чего требую», готовился идти на шведов; *с другой* —Иоанновы воеводы князья Михайло Катырев-Ростовский, Тюменский, Хворостинин, Меркурий Щербатой, выступив из Новагорода, шли к Нарве, Яме и за Неву в Финляндию: встретили неприятеля в Вотской пятине, в селе Лялицах и разбили его наголову. Иоанн прислал им золотые медали, отличив истинного виновника сей победы князя Дмитрия Хворостинина, одного из псковских Героев, который смял шведов ударом своей передовой дружины. Второе дело, не менее важное и для нас счастливое, было на берегах Невы. Следуя совету изменника Афанасия Бельского, генерал де-ла-Гарди неожиданно устремился к Нотебургу, или Орешку, чтобы взять его смелым приступом. Там начальствовали воеводы князь Василий Ростовский, Судаков, Хвостов: они бились неустрашимо; резали, топили шведов в Неве; а князь Андрей Шуйский спешил с конными дружинами из Новагорода для спасения сей важной крепости. Надменный де-ла-Гарди бежал.

Но Судьба помогла Швеции. Герой Баторий, сильный в битвах, увидел слабость свою на сейме, где неблагодарные, своевольные паны, отвергнув все его предложения, внушенные ему истинною любовию к их отечеству, сказали решительно: «не хотим войны ни с Крымом, ни с шведами; не даем ни людей, ни денег!» ***Ты король, если верно исполняешь уставы королевства***, примолвил один из них, Яков Немековскій: ***иначе ты Баторий, а я Немековский***. Иоанн же, к радостному изумлению шведов, вдруг остановив все движения наших войск, предложил де-ла-Гардию мир: князь Лобанов и дворянин Татищев съехались с ним в Шелонской пятине на реке Плюсе и 26 мая (1583) заключили перемирие сперва на два месяца, а после на три года, оставив Яму, Ивань-город, Копорье в руках шведов!.. Сия неожидаемая уступчивость изъясняется следующими обстоятельствами:

Во-первых, мир с Литвою казался не весьма надежным. Послы Баториевы, находясь в Москве для утверждения договора, объявили новые требования: хотели, чтобы Иоанн нигде не писался в титуле *ливонским* и признал всю Эстонию законным Стефановым владением. Бояре только отчасти удовлетворили сему

требованию, дав им грамоту с обязательством не воевать Эстонии в течение десяти лет. Иоанн присягнул, Баторий также, исполнять честно все условия; но литовские воеводы силою занимали места в уездах Торопецком, Луцком, Велижском; не хотели определить ясных границ между обеими державами; обижали, бесчестили наших сановников; затрудняли обещанный размен пленников: взяли за Федора Шереметева 20 тысяч золотых, или около 7000 рублей, и 280 соболей, за князя Татева 4114, за князя Хворостинина 3228, за Черемисинова 4457 рублей, но других держали в неволе. Стефан в ласковых сношениях с царем *то* находил жалобы его справедливыми, обязываясь немедленно унять дерзость литовских чиновников, *то* винил россиян, оправдывая своих, и принудил Иоанна послать на границу (в сентябре 1583 года) 2000 детей боярских и стрельцов, чтобы защитить ее жителей от дальнейших утеснений витебского воеводы Паца, который основал новую крепость на земле Российской. Одним словом, несмотря на всю малодушную терпеливость Иоаннову, неприятельские действия с сей стороны легко могли возобновиться.

Во-вторых, общий бунт внезапно вспыхнул в земле луговых черемисов, столь опасный и жестокий, что казанские воеводы никак не могли усмирить его. Встревоженный государь (в октябре 1582 года) послал к ним войско с князем Елецким; сведав же, что бунт не утихает, велел идти туда из Мурома знатнейшим полководцам князьям Ивану Михайловичу Воротынскому и мужественному Дмитрию Хворостинину. Новые вести еще более устрашили Москву: узнали, что хан Магмет-Гирей, вопреки мирной грамоте, сносится с черемисскими мятежниками и готов устремиться на Россию; что ногаи, дотоле верные, им и сибирским царем возбуждаемые, грабят в камских пределах. Надлежало вдруг действовать всеми силами: отрядили войско к Каме; другое под начальством князей Федора Мстиславского, Курлятева, Шуйских, заняло берега Оки; третие плыло на судах Волгою к Свияжску. Хан не дерзнул вступить в Россию; но бунт черемисский продолжался до конца Иоанновой жизни с остервенением удивительным: не имея ни сил, ни искусства для стройных битв в поле, сии дикари свирепые, озлобленные, вероятно, жестокостию царских чиновников, резались с московскими воинами на пепле жилищ своих, в лесах и в вертепах, летом и зимою; хотели независимости или смерти. Для стеснения мятежников воевода князь Туренин основал тогда крепость Козмодемьянск.

Таким образом, купив дорогою ценою перемирие с Литвою, чтобы потоптать Швецию, но, вместо успехов важных, имев стыд безмолвно уступить ей и города эстонские и самую древнюю собственность России — снова опасаясь и Батория и хана — наконец видя кровопролитный мятеж в восточных пределах своей державы, Иоанн, как уверяют, изъявлял наружное спокойствие; по крайней мере не терял бодрости в делах государственных, внутренних и внешних; жил в Москве, уже оставив злосчастную Александровскую Слободу, где, для его воображения, обитала кровавая тень убитого им сына; присутствовал в Думе боярской; угощал послов шаха персидского, султанова, бухарских, хивинских, находясь в тесном дружестве с преемником Тамасовым, Годабендом, как с неприятелем опасной для нас Оттоманской империи, — султану изъявляя учтивость, но ни слова не говоря ему ни о войне, ни о мире: дозволяя только его купцам ездить в Москву и на азиатские парчи выменивать соболей — с царями держав каспийских также имея единственно дела торговые. Но всего любопытнее были тогда сношения двора московского с лондонским.

Торговля англичан с 1572 года снова цвела в России: они снова хвалились милостию царскою, везде находили управу, защиту, вспоможение, к досаде купцов нидерландских и немецких, которые своими происками и наветами хотели вредить им в мыслях Иоанновых, не жалея денег в Москве, подкупая дьяков и царедворцев. Елисавета также не внимала представлениям держав северных о вреде сей торговли для Европы, угрожаемой властолюбием россиян и, сведав, что король датский требует пошлин с английских мореходцев на пути их к берегам нашей Лапландии, писала о том (в 1581 году) к Иоанну. «Знаю, — ответствовал царь, — что вероломный Фридерик датский, желая лишить Россию сообщения с европейскими государствами, вступается ныне в Колу и Печенгу, древнюю собственность моего отечества: уничтожим его замыслы; очисти море и путь к Двине военными кораблями; а я велел ратным своим дружинам занять пристани Северного океана для охранения твоих гостей от насилия датчан». Но Фридерик, объявив требования несправедливые, замолчал, не думая воевать с Россиею в диких пустынях лапландских, и боясь оскорбить Англию, уже сильную флотами.

Одобряемый умом государственным, искренний союз сих двух держав основывался и на личном дружестве Иоанновом к королеве, питаемом рассказами английских купцов в Москве о вели-

ких свойствах и делах Елисаветы, об ее красоте и любезности, о добром расположении и любви к царю; писали даже, что он мыслил жениться на сей пятидесятилетней красавице: сказание, коего истина не подтверждается историческими современными свидетельствами; но Иоанн, в шестой или в седьмой раз женатый, в самый первый год сего несчастного брака, уже *зная беременность Марии*, действительно искал себе знатной невесты в Англии, чтобы еще более укрепить дружественную связь с Елисаветою!.. Предложим обстоятельства дела, столь любопытного, с некоторою подробностию...

Прислав в Москву лейб-медика, Роберта Якоби, королева (летом в 1581 году) писала к царю: «Мужа искуснейшего в целении болезней уступаю тебе, моему *брату кровному*, не для того, чтобы он был не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело вверить ему свое здравие. Посылаю с ним, в угодность твою, аптекарей и цирюльников, волею и неволею, хотя мы сами имеем недостаток в таких людях». Беседуя с Робертом, Иоанн спросил у него, есть ли в Англии невесты, вдовы или девицы, достойные руки венценосца? «Знаю одну, — сказал медик, — Марию Гастингс, тридцатилетнюю дочь владетельного князя графа Гонтингдонского, племянницу королевину по матери». Вероятно, что Роберт, угадав намерение Иоанново, благоприятное для выгод Англии, пленил его воображение описанием необыкновенных достоинств невесты: по крайней мере царь немедленно отправил дворянина Писемского в Лондон с следующим наставлением: «1) Условиться о тесном государственном союзе между Англиею и Россиею. 2) Быть наедине у королевы и за тайну открыть ей мысль государеву в рассуждении женитьбы, если Мария Гастингс имеет качества, нужные для царской невесты: для чего требовать свидания с нею и живописного образа ее (на доске или бумаге). 3) Заметить, высока ли она, дородна ли, бела ли, и каких лет? 4) Узнать сродство ее с королевою и сан отца; имеет ли братьев, сестер? Разведать о ней все, что можно. Буде королева скажет, что у государя есть супруга, то ответствовать: *правда, но она не царевна, не княжна владетельная, неугодна ему и будет оставлена для племянницы королевиной*. 5) Объявить, что Мария должна принять Веру греческую, равно как и люди ее, которые захотят жить *при дворе* московском; что наследником государства будет царевич Феодор, а сыновьям княжны английской дадутся особенные частные владения, или уделы, как издревле води-

лось в России; что сии условия *непременны*, и что в случае королевина несогласия тебе велено требовать отпуска». — 11 августа (1582 года) отплыв из Колмогор, Писемский вышел на берег Англии 16 сентября, в то время, когда заразительная болезнь, свирепствуя в Лондоне, принудила Елисавету удалиться в Виндзор и жить уединенно. Посла возили из деревни в деревню, угощали, знакомили с Англиею, но не могли унять его жалоб на скуку праздности в течение шести или семи недель. Наконец, 4 ноября, он с дьяком своим, Неудачею, и толмачом Бекманом был представлен королеве в Виндзорском замке, среди многочисленного собрания вельмож, перов, сановников двора и купцов Лондонского Российского Общества. Елисавета встала, слыша имя Иоанново; ступила несколько шагов вперед; взяв дары и письмо государево, сказала с улыбкою, что не знает русского языка; спрашивала о здравии своего друга; изъявила сожаление о смерти царевича; была весела, приветлива, и на слова Писемского, что Иоанн любит королеву более всех иных европейских венценосцев, ответствовала: «люблю его не менее и душевно желаю видеть когда-нибудь собственными глазами». Она хотела знать, нравится ли послу Англия и спокойно ли в России? Писемский хвалил Англию изобильную, многолюдную; уверял, что все мятежи утихли в России; что преступники изъявили раскаяние, а государь милость. — Довольный приемом, честию, ласкою, Писемский не был доволен медленностию Елисаветы в делах; не хотел ни гулять, ни забавляться звериною ловлею, как ему предлагали, и говорил: «мы здесь за делом, а не за *игрушками*, мы послы, а не стрелки». 18 декабря в *селе* Гриниче он имел первое, важное объяснение с министрами английскими: сказал, что Баторий, союзник папы и цесаря, есть враг России; что Иоанн, издавна *жалуя англичан как своих людей*, намерен торжественным договором утвердить дружбу с Елисаветою, дабы иметь с нею одних приятелей и неприятелей, вместе воевать и мириться; что королева может ему содействовать, если не оружием, то деньгами; что он, не имея ничего заветного для Англии из произведений российских, требует от нее снаряда огнестрельного, доспехов, серы, нефти, меди, олова, свинца и всего нужного для войны. «Но разве война Литовская не кончилась? — спросили Елисаветины министры: — папа хвалится примирением царя с Баторием». *Папа может хвалиться, чем ему угодно*, ответствовал Иоаннов сановник: *государь наш знает, кто ему друг и недруг*. Министры изъявили согла-

сие королевы на все предложения царя и написали главные статьи договора, именуя Иоанна братом и *племянником* Елисаветиным, употребив выражение: «Царь *просит* королеву», и прибавив, что никаким иноземцам, кроме англичан, не торговать в земле Двинской, в Соловках, на реке Оби, Печоре, Мезени. Писемский сказал с неудовольствием: «Царь брат, а не *племянник* Елисаветин; царь объявляет волю свою, требует, спрашивает, а не *просит*, и никому не дает исключительного права торговли в России: пристани наши открыты для всех мореплавателей иноземных». Министры вычернили имя *племянник*, объяснив, что оно есть ласковое, не унизительное; вычернили и слово *просит*; доказывали, что англичане с великими опасностями, трудами, издержками отыскав путь к берегам северной России, могут, по справедливости, требовать исключительных для себя выгод в двинской торговле. Они жаловались также на пошлину новую, тягостную для их купцов. Писемский возразил, что сии купцы, долго свободные от всякой пошлины, обогатились у нас *неслыханно*, и что государь уставил брать с них только легкую, *половинную*; что имея жестокую войну с Литвою, с ханом и с иными врагами, он в 1581 году велел гостям английским внести в московскую казну 1000 рублей, а в 1582 году 500 рублей, как и всем другим гостям, чужеземным и нашим, обложенным соразмерно их богатству для воинских издержек. Сим заключились государственные переговоры: началось сватовство.

18 генваря [1583 г.] Елисавета призвала нетерпеливого Писемского к себе, осталась с ним наедине и спросила о тайном деле государевом, уже ей известном по донесению медика Роберта; слушала с великим вниманием; изъявила благодарность за желание Иоанна быть с нею в свойстве, но не думала, чтобы Мария Гастингс, отличаясь единственно нравственными достоинствами, могла полюбиться ему, *известному любителю красоты*. «К тому же (примолвила Елисавета) она недавно была в оспе: ни за что в свете не соглашусь, чтобы ты видел и живописец изобразил ее для Иоанна с лицом красным, с глубокими рябинами». Посол настоял; королева обещала, требуя времени, нужного для совершенного выздоровления невесты. Далее говорили об условиях брака. Дочь Генрика VIII, мужа шести жен, не дивилась, что царь, имея супругу, ищет другой; но хотела заблаговременно, торжественным договором, утвердить права будущей царицы и детей ее. С сим отпустили свата, который несколько месяцев ждал чести видеть невесту.

Между тем супруга Иоаннова (19 октября) родила в Москве сына Уара-Димитрия[1], столь несчастного для себя и России, невинного виновника долговременных злодейств и бедствий! Но счастие быть снова отцом не тронуло Иоаннова сердца: он все еще мыслил удалить мать Димитриеву от своего ложа и жениться на Елисаветиной племяннице, ибо не дал Писемскому никаких новых повелений, так что сей усердный чиновник, слыша в Лондоне о рождении царевича, не хотел тому верить. «Злые люди,— говорил он министрам английским,— выдумали сию новость, чтобы препятствовать государеву сватовству, благословенному для вашего и моего отечества. Королева должна верить единственно грамоте царя и мне, послу его». Наконец 18 мая велели Писемскому быть в саду у канцлера Томаса Бромлея, где хозяин и брат невестин граф Гонтингдонский встретили его и ввели в красивую беседку. Чрез несколько минут явилась и Мария с женою канцлера, с графинею Гонтингдонскою, со многими знатными англичанками. «Вот она,— сказал Бромлей послу,— гляди, рассматривай на досуге. Королеве угодно, чтобы ты видел ее не в темном месте, не в комнатах, а на чистом воздухе». Невеста поклонилась и стала неподвижно пред своим, для женского самолюбия опасным ценителем, который, усердствуя оправдать важную к нему доверенность Иоаннову, устремил любопытный, проницательный взор на скромную англичанку, чтобы все видеть, ничего не забыть, впечатлеть образ ее в память и передать государю без ошибки. Сказав: *довольно*, он гулял с невестою в аллеях сада, расходился, встречался с нею, еще смотрел—и написал в донесении к царю: «Мария Гастингс ростом высока, стройна, тонка, лицом бела; глаза у нее серые, волосы русые, нос прямой, пальцы на руках долгие». О красоте, о приятности ни слова; но Елисавета, как бы неохотно выставив племянницу на показ, уже любопытствовала знать мнение Писемского; говорила, что Мария ему конечно не нравится; что изображение лица ее, с ним посылаемое и нимало не украшенное художником, без сомнения так же не пленит разборчивого Иоанна. Сват уверял Елисавету в противном — и, казалось, угодил ей своими хвалами. Следственно она желала сего брака; желала и невеста, как пишут, но скоро переменила мысли, устрашенная рассказами о свирепости жениха венценосного, и без труда убедила королеву избавить ее от сей чести.

---

[1] Уар — имя, данное при рождении, Димитрий — при крещении.

Угостив посла великолепным обедом в Гриниче, Елисавета дала ему два письма к Иоанну: в одном благодарила его за предложение союза, в другом *за намерение посетить Англию* (как она слышала), не в случае какой-либо опасности, мятежа, бедствия, но только для свидания и личного знакомства с нежною сестрою, готовою доказать ему, что ее земля есть для него вторая Россия. С Писемским отправился в Москву посол английский Иероним Баус для решительного окончания всех дел, государственных и тайных, как объявила Елисавета.

Иоанн был доволен: принял Бауса (24 октября 1583) весьма милостиво; с живейшим участием расспрашивал о Елисавете и велел боярину Никите Романовичу Юрьеву, Богдану Яковлевичу Бельскому, дьяку Андрею Щелкалову условиться с ним о государственном союзе Англии с Россиею, чтобы, заключив его, немедленно приступить к тайному делу о сватовстве. То и другое казалось царю уже легким, несомнительным, по донесениям Писемского; но царь ошибся: ошиблась, может быть, и Елисавета, избрав Бауса для утверждения приязни с Иоанном: человека неуклонного, грубого, который в первом слове объявил решительно, что не может переменить ни буквы в статьях, врученных английскими министрами нашему послу в Лондоне; что Елисавета готова мирить царя, с кем ему угодно, а не воевать с нашими врагами, ибо щадит кровь людей, вверенных ей Богом; что Англия в приязни с Литвою, Швециею и Даниею. «Если главные враги мои, — сказал Иоанн, — друзья королеве, то могу ли быть ей союзником? Елисавета должна или склонить Батория к истинному миру с Россиею (заставив его возвратить мне Ливонию и Полоцкую область), или вместе со мною наступить на Литву». Баус ответствовал с жаром: «Королева признала бы меня безумным, если бы я заключил такой договор». Он требовал неотменно, чтобы одни англичане входили в наши северные гавани, как было *прежде*, но бояре изъясняли ему что *прежде* мы имели, для общей европейской мены, гавань Балтийскую, Нарву, отнятую у нас шведами; что купцы немецкие, нидерландские, французские торгуют с Россиею уже единственно в северных пристанях, откуда их нельзя выгнать в угодность Елисавете; что святейший закон для государств есть народная польза; что мы находим ее в свободной торговле со всеми европейцами и не можем дать на себя кабалы англичанам, гостям, а не повелителям в России; что они не стыдятся обманов в делах купеческих и привозят к нам гнилые сукна;

что некоторые из них сносились тайно с неприятелями царя, с королями шведским и датским, усердствовали, помогали им, писали из Москвы в Англию худое о нашем государстве, именуя россиян невеждами, глупцами; что Иоанн единственно для королевы предал забвению такие вины; что она без сомнения не вздумает указывать венценосцу, коему не указывают ни императоры, ни султаны, ни короли знаменитейшие. Тут посол с досадою возразил, что нет венценосцев знаменитее Елисаветы; что она не менее императора, коего отец ее нанимал воевать с Франциею; не менее и царя. За сие слово, как пишет Баус, Иоанн с гневом выслал его из дворца, но скоро одумался и, хваля усердие посла к королевиной чести, примолвил: «Дай Бог, чтоб у меня самого был такой верный слуга!» В знак особенного снисхождения государь соглашался, чтобы одни англичане входили в пристань корельскую, варгузскую, мезенскую, печенгскую и шумскую, оставляя пудожерскую и кольскую для иных гостей. Баус твердил: «мы не хотим совместников!» Думая, что вельможи царские, в особенности государственный дьяк Андрей Щелкалов, подкуплены нидерландскими купцами, он требовал личных сношений с царем: Иоанн призывал — и всегда с неудовольствием отсылал его, как упрямого, непреклонного.

Надеясь по крайней мере кончить с ним дело о сватовстве, государь велел ему быть у себя (декабря 13) *тайно, без меча и кинжала*. Все царедворцы вышли из комнаты: остались только бояре, князь Федор Трубецкой, Никита Романович Юрьев, Дмитрий Иванович Годунов, Бельский и думные дворяне: Татищев, Черемисинов, Воейков: они сидели далее от царя; а дьяки (Щелкалов, Фролов, Стрешнев) стояли у печи. Дав знак рукою, чтобы Баус с толмачом своим, Юрьев, Бельский, Андрей Щелкалов к нему приближились, Иоанн рассказал всю историю английского сватовства, все слышанное им от медика Роберта и Писемского; изъявил добрую волю жениться на Марии Гастингс; хотел знать, желает ли королева сего брака и согласна ли, чтобы невеста приняла нашу Веру? Баус ответствовал, что христианство везде одно; что Мария едва ли решится переменить Закон; что она слабого здоровья и не хороша лицом; что у королевы есть другие ближайшие и прелестнейшие свойственницы, хотя он, без ее ведома, и не смеет назвать их; что царь может свататься за любую... «С чем же ты приехал? — спросил Иоанн, — с отказом? с пустословием? с неумеренными требованиями, на которые мой посол уже ответствовал в

Лондоне министрам Елисаветиным? с предложением нового, безыменного, следственно невозможного сватовства?» Назвав его *послом неученым*, бестолковым, сказав: «не прошу Елисаветы быть судиею между Баторием и мною, а хочу только союза Англии», Иоанн велел Баусу готовиться к отъезду. Тут, жалея о худом успехе своего дела, посол начал извиняться незнанием русских обыкновений; убеждал государя снова объясниться с Елисаветою; уверял, что она радуется мыслию о *кровном союзе* с таким великим царем, доставит ему изображения десяти или более знатных, прелестных девиц лондонских, и может, невзирая на свое миролюбие, усердно помогать нам в войнах людьми или деньгами, если Иоанн возвратит английским купцам *все* их старые, исключительные права в двинской торговле. Еще надежда быть супругом любезной англичанки пленяла Иоанна; высоко ценя и дружбу Елисаветы, он решился отправить новое посольство в Лондон, и хотя лично досадовал на Бауса, однако ж, сведав его жалобу на приставов, велел наказать их, даже без исследования, чтобы сей человек корыстолюбивый, сварливый по свидетельству наших министерских бумаг, не выехал с злобою из России. Но Баус не успел выехать, ни государь назначить посла в Лондон!..

Приступаем к описанию часа торжественного, великого!.. Мы видели жизнь Иоаннову: увидим конец ее, равно удивительный, желанный для человечества, но страшный для воображения: ибо тиран умер, как жил — губя людей, хотя в современных преданиях и не именуются его последние жертвы. Можно ли верить бессмертию и не ужаснуться *такой* смерти?.. Сей грозный час, давно предсказанный Иоанну и совестию и невинными мучениками, тихо близился к нему, еще не достигшему глубокой старости, еще бодрому в духе, пылкому в вожделениях сердца. Крепкий сложением, Иоанн надеялся на долголетие; но какая телесная крепость может устоять против свирепого волнения страстей, обуревающих мрачную жизнь тирана? Всегдашний трепет гнева и боязни, угрызение совести без раскаяния, гнусные восторги сластолюбия мерзостного, мука стыда, злоба бессильная в неудачах оружия, наконец адская казнь сыноубийства истощили меру сил Иоанновых: он чувствовал иногда болезненную томность, предтечу удара и разрушения, но боролся с нею и не слабел заметно до зимы 1584 года. В сие время явилась комета с крестообразным небесным знамением между церковию Иоанна Великого и Благовещения: любопытный царь вышел на Красное крыльцо, смотрел дол-

го, изменился в лице и сказал окружающим: *вот знамение моей смерти*! Тревожимый сею мыслию, он искал, как пишут, астрологов, мнимых волхвов, в России и в *Лапландии*, собрал их до шестидесяти, отвел им дом в Москве, ежедневно посылал любимца своего, Бельского, толковать с ними о комете, и скоро занемог опасно: вся внутренность его начала гнить, а тело пухнуть. Уверяют, что астрологи предсказали ему неминуемую смерть через несколько дней, именно 18 марта, но что Иоанн велел им молчать, с угрозою сжечь их всех на костре, если будут нескромны. В течение февраля месяца он еще занимался делами; но 10 марта велено было остановить посла литовского на пути в Москву *ради недуга государева*. Еще сам Иоанн дал сей приказ; еще надеялся на выздоровление, однако ж созвал бояр и велел писать завещание; объявил царевича Феодора наследником престола и монархом; избрал знаменитых мужей князя Ивана Петровича Шуйского (славного защитою Пскова), Ивана Федоровича Мстиславского (сына родной племянницы великого князя Василия), Никиту Романовича Юрьева (брата первой царицы, добродетельной Анастасии), Бориса Годунова и Бельского в советники и блюстители державы, да облегчают юному Феодору (слабому телом и душою) бремя забот государственных; младенцу Димитрию с матерью назначил в удел город Углич и вверил его воспитание одному Бельскому; изъявил благодарность всем боярам и воеводам: называл их своими друзьями и сподвижниками в завоевании царств неверных, в победах, одержанных над ливонскими рыцарями, над ханом и султаном; убеждал Феодора царствовать *благочестиво, с любовию и милостию*; советовал ему и пяти главным вельможам удаляться от войны с христианскими державами; говорил о несчастных следствиях войны Литовской и Шведской; жалел об истощении России; предписал уменьшить налоги, освободить всех узников, даже пленников, литовских и немецких. Казалось, что он, готовясь оставить трон и свет, хотел примириться с совестию, с человечеством, с Богом — отрезвился душою, быв дотоле в упоении зла, и желал спасти юного сына от своих гибельных заблуждений; казалось, что луч святой истины в преддверии могилы осветил наконец сие мрачное хладное сердце; что раскаяние и в нем подействовало, когда Ангел смерти невидимо предстал ему с вестию о вечности...

Но в то время, когда безмолвствовал двор в печали (ибо о всяком умирающем венценосце искренно и лицемерно двор печалит-

ся); когда любовь христианская умиляла сердце народа; когда, забыв свирепость Иоаннову, граждане столицы молились в храмах о выздоровлении царя; когда молились о нем самые опальные семейства, вдовы и сироты людей, невинно избиенных... что делал он, касаясь гроба? в минуты облегчения приказывал носить себя на креслах в палату, где лежали его сокровища дивные; рассматривал каменья драгоценные, и 15 марта показывал их с удовольствием англичанину Горсею, ученым языком знатока описывая достоинство алмазов и яхонтов!.. Верить ли еще сказанию ужаснейшему? Невестка, супруга Феодорова, пришла к болящему с нежными утешениями и бежала с омерзением от его любострастного бесстыдства!.. Каялся ли грешник? думал ли о близком грозном суде Всевышнего?

Уже силы недужного исчезали; мысли омрачались: лежа на одре в беспамятстве, Иоанн громко звал к себе убитого сына, видел его в воображении, говорил с ним ласково... 17 марта ему стало лучше, от действия теплой ванны, так что он велел послу литовскому немедленно ехать из Можайска в столицу, и на другой день (если верить Горсею) сказал Бельскому: «Объяви казнь лжецам астрологам: ныне, по их басням, мне должно умереть, а я чувствую себя гораздо бодрее». *Но день еще не миновал*, ответствовали ему астрологи. Для больного снова изготовили ванну: он пробыл в ней около трех часов, лег на кровать, встал, спросил шахматную доску и, сидя в халате на постели, сам расставил шашки; хотел играть с Бельским... вдруг упал и закрыл глаза навеки, между тем как врачи терли его крепительными жидкостями, а митрополит — исполняя, вероятно, давно известную волю Иоаннову — читал молитвы пострижения над издыхающим, названным в монашестве Ионою... В сии минуты царствовала глубокая тишина во дворце и в столице: ждали, что будет, не дерзая спрашивать. Иоанн лежал уже мертвый, но еще страшный для предстоящих царедворцев, которые долго не верили глазам своим и не объявляли его смерти. Когда же решительное слово: «не стало государя!» раздалося в Кремле, народ завопил громогласно... от того ли, как пишут, что знал слабость Феодорову и боялся худых ее следствий для государства, или платя христианский долг жалости усопшему монарху, хотя и жестокому?.. На третий день совершилось погребение великолепное в храме Св. Михаила Архангела; текли слезы; на лицах изображалась горесть, и земля тихо приняла в свои недра труп Иоаннов! Безмолвствовал суд человеческий пред Божественным — и

для современников опустилась на феатр завеса: память и гробы остались для потомства!

Между иными тяжкими опытами Судьбы, сверх бедствий удельной системы, сверх ига моголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя: устояла с любовию к самодержавию, ибо верила, что Бог посылает и язву и землетрясение и тиранов; не преломила железного скиптра в руках Иоанновых и двадцать четыре года сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением, чтобы в лучшие времена иметь Петра Великого, Екатерину Вторую (история не любит именовать живых)[1]. В смирении великодушном страдальцы умирали на лобном месте, как греки в Термопилах за отечество, за Веру и Верность, не имея и мысли о бунте. Напрасно некоторые чужеземные историки, извиняя жестокость Иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею: сии заговоры существовали единственно в смутном уме царя, по всем свидетельствам наших летописей и бумаг государственных. Духовенство, бояре, граждане знаменитые не вызвали бы зверя из вертепа Слободы Александровской, если бы замышляли измену, взводимую на них столь же нелепо, как и чародейство. Нет, тигр упивался кровию агнцев — и жертвы, издыхая в невинности, последним взором на бедственную землю требовали справедливости, умилительного воспоминания от современников и потомства!

Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна, Героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров; если бы Калигула, *образец государей и чудовище*, — если бы Нерон, питомец мудрого Сенеки, *предмет любви, предмет омерзения*, не царствовали в Риме. Они были язычники; но Людовик XI был христианин, не уступая Иоанну ни в свирепости, ни в наружном благочестии, коим они хотели загладить свои беззакония: оба набожные от страха, оба кровожадные и женолюбивые, подобно азиатским и римским мучителям. Изверги вне законов, вне правил и вероятностей рассудка, сии ужасные метеоры, сии блудящие[2] огни страстей необузданных озаряют для нас, в пространст-

---

[1] Намек на Александра I.

[2] Блудящий — блуждающий.

ве веков, бездну возможного человеческого разврата, да видя содрогаемся! Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна, для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истиною дееписатель может, в правлении самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои исступления.

Так Иоанн имел разум превосходный, не чуждый образования и сведений, соединенный с необыкновенным даром слова, чтобы бесстыдно раболепствовать гнуснейшим похотям. Имея редкую память, знал наизусть Библию, историю греческую, римскую, нашего отечества, чтобы нелепо толковать их в пользу тиранства; хвалился твердостию и властию над собою, умея громко смеяться в часы страха и беспокойства внутреннего, хвалился милостию и щедростию, обогащая любимцев достоянием опальных бояр и граждан; хвалился правосудием, карая вместе, с равным удовольствием, и заслуги и преступления; хвалился *духом царским, соблюдением державной чести*, велев изрубить присланного из Персии в Москву слона, не хотевшего стать перед ним на колена, и жестоко наказывая бедных царедворцев, которые смели играть лучше державного в шашки или в карты; хвалился наконец глубокою мудростию государственною по системе, по эпохам, с каким-то хладнокровным размером истребляя знаменитые роды, будто бы опасные для царской власти — возводя на их степень роды новые, подлые, и губительною рукою касаясь самых будущих времен: ибо туча доносителей, клеветников, кромешников, им образованных, как туча гладоносных[1] насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе; и если иго Батыево унизило дух россиян, то без сомнения не возвысило его и царствование Иоанново.

Но отдадим справедливость и тирану: Иоанн в самых крайностях зла является как бы призраком великого монарха, ревностный, неутомимый, часто проницательный в государственной деятельности; хотя любив всегда равнять себя в доблести с Алексан-

---

[1] Гладоносный — несущий голод.

дром Македонским, не имел ни тени мужества в душе, но остался завоевателем; в политике внешней неуклонно следовал великим намерениям своего деда; любил правду в судах, сам нередко разбирал тяжбы, выслушивал жалобы, читал всякую бумагу, решал немедленно; казнил утеснителей народа, сановников бессовестных, лихоимцев, телесно и стыдом (рядил их в великолепную одежду, сажал на колесницу и приказывал живодерам возить из улицы в улицу); не терпел гнусного пьянства (только на Святой неделе и в Рождество Христово дозволялось народу веселиться в кабаках; пьяных во всякое иное время отсылали в темницу). Не любя смелой укоризны, Иоанн не любил иногда и грубой лести: представим доказательство. Воеводы, князья Иосиф Щербатый и Юрий Борятинский, выкупленные царем из литовского плена, удостоились его милости, даров и чести с ним обедать. Он расспрашивал их о Литве: Щербатый говорил истину; Борятинский лгал бессовестно, уверяя, что король не имеет ни войска, ни крепостей и трепещет Иоаннова имени. «Бедный король! — сказал тихо царь, кивая головою, — как ты мне жалок!» и вдруг, схватив посох, изломал его в мелкие щепы о Борятинского, приговаривая: «вот тебе, бесстыдному, за грубую ложь!» — Иоанн славился благоразумною терпимостию Вер (за исключением одной иудейской); хотя, дозволив лютеранам и кальвинистам иметь в Москве церковь, лет через пять велел сжечь ту и другую (опасаясь ли соблазна, слыша ли о неудовольствии народа?): однако ж не мешал им собираться для богослужения в домах у пасторов; любил спорить с учеными немцами о Законе и сносил противоречия: так (в 1570 году) имел он в Кремлевском дворце торжественное прение с лютеранским богословом Роцитою, уличая его в ереси: Роцита сидел пред ним на возвышенном месте, устланном богатыми коврами; говорил смело, оправдывал догматы Аугсбургского исповедания, удостоился знаков царского благоволения и написал книгу о сей любопытной беседе. Немецкий проповедник Каспар, желая угодить Иоанну, крестился в Москве по обрядам нашей церкви и вместе с ним, к досаде своих единоземцев, шутил над Лютером; но никто из них не жаловался на притеснение. Они жили спокойно в Москве, в новой Немецкой Слободе, на берегу Яузы, обогащаясь ремеслами и художествами. Иоанн изъявлял уважение к искусствам и наукам, лаская иноземцев просвещенных: не основал академий, но способствовал народному образованию размножением школ церковных, где и миряне учились грамоте, закону, даже ис-

8 Зак. № 40

тории, особенно готовясь быть людьми приказными, к стыду бояр, которые еще не все умели тогда писать. — Наконец Иоанн знаменит в истории как законодавец и государственный образователь.

Нет сомнения, что истинно великий Иоанн III, издав гражданское Уложение, устроил и разные правительства для лучшего действия самодержавной власти: кроме древней Боярской Думы, в делах сего времени упоминается о казенном дворе, о приказах; но более ничего не знаем, имея уже ясные, достоверные известия о многих расправах[1] и судебных местах, которые существовали в Москве при Иоанне IV. Главные приказы, или *чети*, именовались посольским, разрядным, поместным, казанским: первый особенно ведал дела внешние или дипломатические, второй воинские, третий земли розданные чиновникам и детям боярским за их службу, четвертый дела царства казанского, астраханского, сибирского и всех городов волжских; первые три приказа, сверх означенных должностей, также занимались и расправою областных городов: смешение странное! Жалобы, тяжбы, следствия поступали в чети из областей, где судили и рядили наместники с своими тиунами и старостами, коим помогали сотские и десятские в уездах; из чети же, где заседали знаменитейшие государственные сановники, всякое важное дело уголовное, самое гражданское, шло в Боярскую Думу, так что без царского утверждения никого не казнили, никого не лишали достояния. Только наместники смоленские, псковские, новогородские и казанские, почти ежегодно сменяемые, могли, в случаях чрезвычайных, наказывать преступников. Новые законы, учреждения, налоги объявлялись всегда чрез приказы. Собственность или вотчина царская, в коей заключались многие города, имела свою расправу. Сверх того именуются еще *избы* (или приказы): стрелецкая, ямская, дворцовая, казенная, разбойная, земский двор или московская управа, большой приход или государственное казначейство, бронный или оружейный приказ, житный или запасный, и холопий суд, где решились тяжбы о крепостных людях. Как в сих, так и в областных правительствах или судах главными действователями были дьяки-грамотеи, употребляемые и в делах посольских, ратных в осадах, для письма и для совета, к зависти и неудовольствию дворянства воинского. Умея не только читать и писать лучше других, но зная твердо и Законы, предания, обряды, дьяки или приказные люди составляли

---

[1] Расправа — застенок для пытки.

особенный род слуг государственных, степению ниже дворян и выше жильцов или нарочитых[1] детей боярских, гостей или купцов именитых; а дьяки *думные* уступали в достоинстве только советникам государственным: боярам, окольничим и новым *думным дворянам*, учрежденным Иоанном в 1572 году для введения в Думу сановников отличных умом, хотя и не знатных родом: ибо, несмотря на все злоупотребления власти неограниченной, он уважал иногда древние обычаи: например, не хотел дать боярства любимцу души своей Малюте Скуратову, опасаясь унизить сей верховный сан таким скорым возвышением человека *худородного*. Умножив число людей приказных и дав им более важности в государственном устройстве, Иоанн, как искусный властитель, образовал еще новые степени знаменитости для дворян и князей, разделив первых на две *статьи*, на дворян *сверстных* и *младших*, а вторых на князей простых и *служилых*, к числу же царедворцев прибавил *стольников*, которые, служа за столом государевым, отправляли и воинские должности, будучи сановитее дворян младших.— Мы писали о ратных учреждениях сего деятельного царствования: своим малодушием срамя наши знамена в поле, Иоанн оставил России войско, какого она не имела дотоле: лучше устроенное и многочисленнейшее прежнего; истребил воевод славнейших, но не истребил доблести в воинах, которые всего более оказывали ее в несчастиях, так что бессмертный враг наш, Баторий, с удивлением рассказывал Поссевину, как они в защите городов не думают о жизни: хладнокровно становятся на места убитых или взорванных действием подкопа и заграждают проломы грудью; день и ночь сражаясь, едят один хлеб; умирают от голода, но не сдаются, *чтобы не изменить царю-государю*, как самые жены мужествуют с ними, или гася огонь, или с высоты стен пуская бревна и камни в неприятелей. В поле же сии верные отечеству ратники отличались если не искусством, то хотя чудесным терпением, снося морозы, вьюги и ненастье под легкими наметами и в шалашах сквозящих.— В древнейших разрядах именовались единственно воеводы: в разрядах сего времени именуются обыкновенно и *головы*, или частные предводители, которые вместе с первыми ответствовали царю за всякое дело.

Иоанн, как мы сказали, дополнил в Судебнике гражданское Уложение своего деда, включив в него новые законы, но не пере-

---

[1] Нарочитый — именитый.

менив системы или духа старых. Дед не велит судиям лихоимствовать: внук определяет тяжкую денежную пеню за их лихоимство и неправосудие *умышленное*, оставляя только неумышленное без наказания: криводушных дьяков сажали в темницу, подьячих секли кнутом. Обиженные наместником должны были приносить жалобы до его смены; но клеветники наказывались телесно, сверх денежного взыскания за бесчестье. Судейские и казенные пошлины не были умножены, хотя цена монеты несколько унизилась (в 1557 году считалось в рубле 16 шиллингов и 8 пенсов, в 1582 — около трех *старых польских злотых*, в царствование Феодора Иоанновича — марка, а в начале XVII века — два рейхсталера и 10 денег). Тяжбы решились, как и дотоле, свидетельствами, клятвою, поединком, а между иноземцами и русскими *жеребьем*: чей вынимался в суде, того объявляли правым. Дьяк записывал дело, а старосты и целовальники прикладывали руки к сей бумаге. В случае мира, всегда желаемого законодателем, судимые освобождались от пошлин. Кого винили в воровстве, о том надлежало разведать у соседей, или *сделать обыск*: человека, известно худого, пытали и навсегда заключали в темницу, если он не признавался в вине; человека, объявленного добрым в обыске, судили по закону. Казни были прежние: кнут за первое воровство, смерть за второе; смерть убийце, изменнику, предателю города, церковному и *головному* татю, зажигателю, разбойнику, подметчику[1], даже злому обманщику и ябеднику. Обговорам татя не верили без свидетельства честных граждан, пятнадцати или двадцати. *Люди*, или чиновники наместников, не могли никого ни взять, ни оковать без ведома старост и целовальников. Здесь видим более осторожности, более уважения к человечеству, нежели в законах Иоанна III. — Гражданские уставы Судебника также совершеннее и полнее: например, в нем уже различаются имения наследственное и купленное: в случае продажи или залога оных, родственники могли выкупать первое, в течение сорока лет, если не подписались свидетелями в крепости или в закладной: доказав, что сие имение не стоит денег, означенных в крепости, они вносили за него только истинную цену. Достояние благоприобретенное не выкупалось. Письма заемные не были действительны без печати боярской и надписи дьяка: за что собиралась пошлина. В денежных исках надлежало всегда справляться с государственными книгами, где означались имена,

[1] Подметчик — анонимный доносчик.

достаток граждан и платимая ими дань в казну: один список сих книг хранился в московских приказах, другой у чиновников областных, у старост и целовальников. Требование, превосходящее достаток ответчика, вменялось в вину истцу. — Уважая права господ в отношении к крепостным людям или холопям, законодатель прибавил к древним уставам, что дети закабаленного слуги, рожденные до его холопства, суть вольные люди; что ключники и тиуны сельские, без особенной, *докладной* крепости, не рабы; что отец и мать, вступив в монашество, лишаются права отдавать детей своих в крепость; что заимодавцы не могут кабалить должников, обязанных единственно платить им рост[1]; а если кого-нибудь возьмут к себе в дом для рабской услуги, и если сей человек уйдет, даже обокрав хозяина, то последнему нет суда, ни удовлетворения; что дети боярские и потомство их навеки отчуждаются от рабского состояния. — Утверждая силу отпускных, царь велел давать их единственно в Москве, в Новегороде и Пскове, за печатию бояр или наместников: без чего они, хотя бы и рукою господ писаные, не имели силы. — В законе о свободном переходе крестьян из села в село сказано, что они, сверх пожилого за двор, платят еще владельцу за *повоз* два алтына с двора, и если оставили хлеб в земле, то, сняв его, дают господину̑ два же алтына; что им всегда дозволяется продавать себя в крепость владельцам. Согласно с древним обыкновением царь утвердил суд святительский: оставил епископам право судить иереев, диаконов, монахов и старых вдов, которые питаются от церкви Божией; позволил нищим, а людям торговым запретил жить в монастырях. Устав о купле дополнен следующими статьями: «1) Нельзя ничего купить на торгу или с *лавки* без поруки; 2) всякая купленная лошадь должна быть в тот же день заклеймена у царских пятнальщиков и вписана в их книгу, с платежом двух денег в казну, для избежания споров; преступник сего устава наказывается пенею не менее двух рублей». — Упомянем еще о новом законе касательно бесчестья: оно платилось детям боярским соразмерно с их доходом или жалованьем, а дьякам дворцовым по государеву назначению; гостю или знатному купцу 50 рублей; людям торговым, посадским, *средним* и боярским добрым слугам 5 рублей, а черным людям и крестьянам рубль; женам же всегда вдвое против мужей, в знак особенного уважения к чести слабого пола.

---

[1] Рост — процент.

Сказав в конце Судебника, что законы его не касаются дел старых и не отменяют решений прежних, хотя еще и не исполненных; что новые случаи могут встретиться в судах и произвести новые уставы, которые должны быть приписаны к сему гражданскому Уложению, Иоанн от 1550 до 1580 года издал многие дополнительные указы, важные по тогдашним обстоятельствам государства: отменив (в 1556 году) судные платежи, вместо их определив жалованье наместникам, положив общую дань на города и волости, велев разбирать уголовные дела судьям, избранным гражданами и сельскими жителями, головам, старостам, сотским, он запретил судебные поединки во всех случаях, где можно было решить дело свидетельствами или крестным целованием, то есть уничтожил навеки сие древнее обыкновение времен рыцарства и невежества; уставил наказывать лжесвидетелей кнутом и тяжкою денежною пенею; прибавил следующие статьи к законам: 1) «Если в обыске[1] люди говорят разно, одни за истца, другие за ответчика, то верить большинству голосов, пятидесяти или шестидесяти; если число голосов на обеих сторонах равное, то сделать новый обыск: призвать людей из иных ближних селений, дабы узнать истину. Свидетельство пяти или шести человек, мало известных, недостаточно для обвинения; но слово боярина, дьяка и приказного всегда уважается как достоверное. Если истец и ответчик шлются на одного человека, то он решит тяжбу. За ложное свидетельство боярских и дворянских людей подвергается их господин царскому гневу; но если сам господин объявит царю о лжи их, то невинен. Главное дело старост есть предупреждать обманы и *заговоры* в мирских показаниях; в случае небрежения, криводушия, пристрастия сих избранных чиновников — им казнь без милосердия. — 2) Если господин будет искать сносов[2] на вольном человеке, который, служив ему без крепости, оставил его или даже тайно ушел из дому: то не давать суда господину, ибо он может с досады всклепать на слугу невинного, коего держал без кабалы, негласно для закона и неосторожно. — 3) Холоп освобожденный уже не должен служить старому господину, или его отпускная уничтожается. — 4) Если господин присвоивает себе кого в рабы, а сей человек доказывает свою вольность, и будучи отдан на поруку,

---

[1] Обыск — следствие.

[2] Снос — унесенное, похищенное бежавшим слугой.

уйдет: то ручатель платит истцу за беглого четыре рубли, кроме всякого иного иска. — 5) Кто сочинит подложную крепость на вольного человека, тому смертная казнь. — 6) Пленник может быть рабом, но смертию господина освобождается; а дети его всегда свободны, если он не женится на рабе или не даст на себя крепости. Крещеные иноземцы могут идти в кабалу, но только с ведома казначея государева, и если они не в царской службе. — 7) Для взыскания ста рублей долгу назначается месяц сроку, а с человека служивого два месяца: после чего должник неисправный выдается головою истцу до выкупа, но не в вечное рабство». Сие взыскание долгов, называемое *правежом*, делалось таким образом: пристав выводил должника разутого на улицу к дверям *судной избы* и сек его в часы заседания по голой ноге прутом, иногда для вида, иногда больно, до самого того времени, как судьи уезжали домой: обыкновение азиатское, отмененное Петром Великим. — 8) «С людей служивых взыскивать *старые* долги в течение пяти лет (от 1558 до 1563) без лихвы[1], а *новые* с половинными ростами или 10 на 100: ибо государь отменяет навсегда старую тягостную лихву (20 на 100). — 9) Взыскание по рядным грамотам должно быть для всех непременное и точное, но без ростов. — 10) Кто не выкупит ручного заклада, того надобно известить, что срок минул, и назначить новый для платежа, неделю или две; ежели и после не выкупит, то нести заклад к старосте и к целовальникам, продать честно, не без надежных свидетелей и взять долг с ростами, а лишнее отдать должнику; если же вырученных денег мало для уплаты займа, то остальное взыскать с должника. — 11) Истец-заимодавец не имеет нужды в письменном обязательстве, если ответчик в суде признает себя должником. — 12) Многие заложили свои вотчины с тем, чтобы вместо ростов заимодавцы пахали и сеяли там хлеб: для облегчения должников повелевается возвратить им все такие земли с обязательством не продавать никому и в течение пяти лет удовлетворить заимодавцев, коим, в случае неисправного платежа, снова отдается вотчина». В сем указе говорится о книгах *вотчинных, крепостных и закладных*, которые находились у дьяков. — 13) «Если жена, умирая, назначит в духовной душеприкащиком мужа своего, то сей духовной не верить: ибо жена в воле мужа: что он велит писать ей, то она и

---

[1] Без лихвы — без процента.

пишет.— 14) Налагать эпитимию на христиан, которые быв в плену или в неволе, дали клятву не бежать, и бежали: ибо клятвопреступление есть грех смертный, и лучше умереть, нежели нарушить обет священный.— 15) Иногородные, истец с ответчиком, судятся в Москве у царских казначеев, буде они из разных городов; а если из одного, то отсылаются к их наместнику в делах земских, но не в уголовных, судимых на месте преступления. —16) В столице нет ни смертной, ни торговой казни в день большой панихиды, когда митрополит обедает у государя».— Запретив духовенству покупать недвижимое имение без царского ведома, Иоанн предписал в сих дополнениях Судебника отнять у епископов и монастырей все казенные земли, села, рыбные ловли, коими они несправедливо завладели в смутные времена боярской власти. «Иноки (писал он к святителю казанскому Гурию) должны орать не землю, а сердца — сеять не хлеб, а словеса Божественные—наследовать не села, а Царство Небесное... Многие епископы наши думают о бренном стяжании более, нежели о церкви». Мысля таким образом, Иоанн смелее деда своего обогащал казну достоянием безмолвного духовенства.

С сего времени *Новый Судебник* был общею книгою законов для России до царствования Алексия Михайловича. Сверх того Иоанн давал областным начальствам *грамоты уставные и губные*: первые определяли доходы, права, обязанности наместников и других царских сановников, заключая в себе и важнейшие уголовные статьи Судебника, вместе с некоторыми частными, особенными постановлениями. В одной из них, данной колмогорским жителям в 1557 году, сказано, что царь освобождает их от суда наместников с условием, чтобы они вносили в казну ежегодно по двадцати рублей *с сохи*, то есть, с шестидесяти четырех дворов; что головы двинские для истребления воровства, разбоев, пьянства, ябеды, должны выбрать сотских, пятидесятников, десятских, которые ответствуют за безопасность и благоустройство в их ведомоствах; что ежели головы или народные судьи дерзнут употребить во зло доверенность сограждан, теснить людей, лихоимствовать, то будут казнены смертию; что всякие дела, обыскные и судные, записываются у них земскими дьяками; что двиняне вольны сменять судей, и в таком случае обязаны присылать новых в Москву, да целуют крест пред дьяком государевым в соблюдении правды. В другой уставной, также двинской грамоте означена мера дворов, изб, ледников и всего, что жители должны

были выстроить для наместников и тиунов. — Слово *губа* знаменовало в древнем немецком праве *усадьбу*, а в нашем *волость* или *ведомство: губные грамоты* давались областным судьям и содержали в себе единственно уголовные законы; в них предписывалось старостам, губным целовальникам и дьякам начинать исправление своей должности обыском или съездом с знатнейшими жителями их волости: с князьями, детьми боярскими, архимандритами, игуменами, иереями, и с поверенными каждой *выти*, или участка, обязанными под крестным целованием заявить всех известных им воров и *лихих людей*. Сии показания вносились в книгу; обвиняемых предавали суду, пытали: достояние их описывали для удовлетворения истцов; кто винился, того казнили по Судебнику; кто запирался, не мог быть уличен верными свидетельствами и представлял за себя надежных ручателей, того освобождали; не уличенных совершенно, но сильно подозреваемых сажали навсегда в темницу; кто решительно одобрял человека судимого уголовным судом, тот имением и жизнию ответствовал за его будущие преступления. Стараясь обуздать злодеев для спокойствия честных граждан, Иоанн лучше хотел быть жестоким, нежели слабым, в противность новейшей мысли российского уголовного законодательства, что лучше десять виновных оставить без наказания, нежели казнить одного безвинного.

От учреждений гражданских перейдем к церковным, равно достопамятным. Мы упоминали о московском Соборе 1551 года: означим здесь важнейшие или любопытнейшие его уставы. Следуя наказу Иоаннову, святители определили: «1) В Москве и во всем государстве быть епархиальным старостам и десятским, избираемым из лучших иереев для надзирания над церковною службою, да исполняются в точности все святые обряды ее, и над поведением духовенства, обязанного учить людей и словом и делом. — 2) Строго блюсти, чтобы в книгах церковных не было ошибок, и чтобы иконы списывались с древних греческих, или как писал их Андрей Рублев и другие знаменитые художники: сим святым делом занимаются единственно люди признанные от государя и епископов достойными оного, не только искусством, но и жизнию непорочною: наградою же им да будет всеобщее уважение!» Следуют предписания о звоне, пении церковном, Литургии, утренней и вечерней службе, где сказано: «3) Да никто из князей, вельмож и всех добрых христиан не входит в церковь с главою покровенною, в тафьях мусульманских! Да не вносят в алтарь ни пива, ни меду, ни хле-

ба, кроме просфор! Да уничтожится навеки нелепый обычай возлагать на престол так называемые *сорочки*, в коих родятся младенцы! — 4) Злоупотребления и соблазны губят нравы духовенства. Что видим в монастырях? Люди ищут в них не спасения души, а телесного покоя и наслаждений. Архимандриты, игумены не знают братской трапезы, угощая светских друзей в своих келиях; иноки держат у себя отроков и юношей, принимают без стыда и жен и девиц, веселятся и разоряют села монастырские. Отныне да будет в обителях едина трапеза для всех: инокам выслать юных слуг; не впускать женщин; не держать вина (кроме фряжского), ни крепких медов; не ездить для забавы по селам и городам. Преступник да будет извержен или отлучен от всякия Святыни. Сей закон умеренности, воздержания, целомудрия, дан всему духовенству: иереям, диаконам, причетникам. — 5) Обители, богатые землями и доходами, не стыдятся требовать милостыни от государя: впредь да не стужают ему! — 6) Святители и монастыри вольны ссужать земледельцев и граждан деньгами, но без всякой лихвы. — 7) Милосердие христианское устроило во многих местах богадельни для недужных и престарелых, а злоупотребление ввело в оные молодых и здоровых тунеядцев: да будут последние изгнаны, а на их места введены первые, согласно с намерением благотворителей, и везде да смотрят за богадельнями добрые священники, люди градские и целовальники. — 8) Многие иноки, черницы, миряне, хваляся какими-то сверхъестественными сновидениями и пророчеством, скитаются из места в место с святыми иконами и требуют денег для сооружения церквей, непристойно, безчинно, к удивлению иноземцев: ныне объявить на торгах заповедь государеву, чтобы впредь не быть такому соблазну. Если не уймутся бродяги, то их выгонять, а иконы отдавать в церкви. — 9) Храмы древние пустеют, новые везде воздвигаются не усердием к Вере, а тщеславием и скоро также пустеют от недостатка в иереях, в иконах, в книгах. Видим еще иное зло: празднолюбцы уходят из монастырей, заводят пустыни в лесах и стужают христианам о денежном вспоможении. Государь указал епископам не дозволять ни того, ни другого без особенного, строгого рассмотрения. — 10) Прихожане избирают священников и диаконов: первые должны быть не менее тридцати, а вторые двадцати пяти лет от рождения, жития нравственного, и грамотные: кто из них читает или пишет худо, того отсылать в училища, ныне во всех городах заводимые. Ставленник дает митрополиту и епископам только указное: священник рубль московский и *благословенную* грив-

ну: диакон полтину. Следуя уставу великих князей, Иоанна Васильевича и сына его, новобрачные платят за венец алтын, за второй брак вдвое, за третий четыре алтына; но крещение, исповедь, причастие, погребение не терпят никакой мзды. Никто из церковников не должен носить одежды странной: всякой имеет свою, и воин и тысящник, и купец и ремесленник: служителю ли церкви украшаться златом и бисером, плетением и шитьем, подобно жене? В игумены, в архимандриты избирают святители, а царь утверждает выбор. Снова запрещается вдовым иереям и диаконам священнодействовать, монахам и монахиням жить в единой обители, или в мире. — 11) Митрополиту и епископам без государева ведома не переменять ни бояр своих, ни дворецких; а на место убылых брать из тех же родов старинных. — 12) Духовенство обязано искоренять языческие и всякие гнусные обыкновения. Например: когда истец с ответчиком готовятся в суде к бою, тогда являются волхвы, смотрят на звезды, гадают в какие-то *Аристотелевы врата* и в *Рафли*, предсказывают победу счастливому, умножают зло кровопролития. Легковерные держат у себя книги аристотелевские, звездочетные, зодиаки, алманахи, исполненные еретической мудрости. Накануне Иоаннова дня люди сходятся ночью, пьют, играют, пляшут целые сутки; так же безумствуют и накануне Рождества Христова, Василия Великого и Богоявления. В субботу Троицкую плачут, вопят и глумят на кладбищах, прыгают, бьют в ладоши, поют Сатанинские песни. В утро Великого Четверга палят солому и кличут мертвых; а священники в сей день кладут соль у престола и лечат ею недужных. Лживые пророки бегают из села в село нагие, босые, с распущенными волосами; трясутся, падают на землю, баснословят о явлениях Св. Анастасии и Св. Пятницы. Ватаги скоморохов, человек до ста, скитаются по деревням, объедают, опивают земледельцев, даже грабят путешественников на дорогах. Дети боярские толпятся в корчмах, играют зернью[1], разоряются. Мужчины и женщины моются в одних банях, куда самые иноки, самые инокини ходить не стыдятся. На торгах продают зайцев, уток, тетеревей удавленных; едят кровь или колбасы, вопреки уставу Соборов Вселенских; следуя латинскому обычаю, бреют бороду, подстригают усы, носят одежду иноземную, клянутся во лжи именем Божиим и сквернословят; наконец — что всего мерзостнее, и за что Бог казнит христиан войнами, гладом, язвою — впадают в грех содомский. Отцы духов-

[1] Зернь — игральная кость.

ные! пресеките зло; наставляйте, грозите, казните эпитимиею: ослушники да не входят в церковь! Учите христиан страху Божию и целомудрию, да живут мирно в соседстве, без ябеды, кражи, разбоев, лжесвидетельства и клятвопреступления; да будет везде благонравие в нашем любезном отечестве, и дети да чтут родителей!»

Сие церковное законодательство принадлежит царю более, нежели духовенству: он мыслил и советовал; оно только следовало его указаниям. Слог достоин удивления своею чистотою и ясностию.

Заметим странность: желая истребить обыкновения древние, противные Святой Вере, Иоанн и духовенство не коснулись в Стоглаве обычая давать людям имена нехристианские по их свойствам нравственным: не только простолюдины, но и знатные сановники, уже считая за грех называться Олегами или Рюриками, назывались в самых государственных бумагах *Дружинами, Тишинами, Истомами, Неудачами, Хозяинами*, единственно с прибавлением христианского отчества. Сей обычай казался царю невинным.

В феврале 1581 года, по кончине митрополита Антония, избрав на его место Дионисия, хутынского игумена, Иоанн с епископами и боярами уставил обряд посвящения в сей верховный сан, не прибавив, кажется, ничего к старому, но только утвердив оный следующею Соборною грамотою: «Кому благоволит Господь быть митрополитом, епископу ли, игумену или старцу, того немедленно известить о сей чести. В день *наречения и возведения* звонят и поют молебны. Святители, отпев канон Богоматери и Петру Чудотворцу, шлют двух архимандритов, Рождественского и Троицкого, за *нареченным*, который вместе с ними идет к государю. Царь сажает будущего митрополита и говорит ему речь о молитве. После того *нареченный* знаменуется в храме Успения, у святых икон и гробов, идет вместе с епископами на двор митрополитов, в Белую палату, и там, сев на свое место, ждет, встречает царя, беседует с ним; слушает Литургию в соборной церкви, стоя у митрополитского места; обедает в Белой палате со всеми святителями; оттоле же, до поставления, никого не принимает, обедая в келии с немногими ближними иноками. Дни чрез два совершается *избрание*, объявляемое ему *благовестниками*, архимандритами спасским и чудовским. Уготовляют место в церкви и пишут орла[1] над оным. В день назначенный, во время звона, святители облачаются, а с ними и бу-

[1] Пишут орла — рисуют герб.

дущий митрополит, если он епископ; если же не епископ, то облачается в приделе. Окруженный боярами, государь вступает в храм, знаменуется у святых икон, восходит на уготованное место и садится: владыки также. *Избранный*, между осьмью стоящими *огненниками*, под орлом, читает исповедание Веры. Начинают Обедню. Лампаде и посоху быть архиепископа новогородского или казанского. Когда в третий раз запоют: *Свят, Свят*, тогда владыки ставят митрополита по древнему обычаю. Он совершает Литургию, и архиепископ именует его в молитве после *Изрядна*. Свещеносец, держа в руке свечу и лампаду, кланяется митрополиту и занимает пред ним свое место в алтаре; когда же возгласят: *со страхом Божиим*, тогда уносят архиепископову лампаду с посохом, а митрополитовы поддиаконы становятся у царских дверей с лампадою и посохом нового архипастыря. Отпев Литургию, епископы возводят его на место, где сидел государь; сажают трижды, произнося *Исполлаэти Деспота*; снимают с него одежду служебную, возлагают ему на грудь икону *вратную*, мантию с источниками на плеча, клобук белый или черный (как государь укажет) на главу, и ведут на каменное святительское место. Царь приближается, говорит речь и дает святителю посох в десницу. Тут знатное духовенство, бояре, князья многолетствуют митрополиту. Он благословляет царя и говорит речь. Духовенство и бояре многолетствуют царю. На крылосах поют также *многая лета*. Выходят из церкви. У государя стол для всего знатного духовенства, для вельмож и сановников. Митрополит ездит вокруг Москвы на осле, коего ведут боярин царский и святительский. После стола — чаши: Петра Чудотворца, государева и митрополитова».

Упомянем здесь также о церковном любопытном обряде сего времени, уже давно забытом в России. В неделю Ваий[1], пред Обеднею собирался весь народ московский в Кремле. Из храма Успения выносили большое дерево, обвешенное разными плодами (яблоками, изюмом, смоквами[2], финиками); укрепляли его на двух санях и везли тихо. Под деревом стояли пять отроков в белой одежде и пели молитвы. За санями шли многие юноши с пылающими восковыми свечами и с огромным фонарем; за ними несли две высокие хоругви, шесть кадильниц и шесть икон; за ико-

---

[1] В неделю Ваий — в Вербную неделю.

[2] Смоква — инжир.

нами следовали иереи, числом более ста, в великолепных ризах, осыпанных жемчугом; за ними бояре и сановники; наконец сам государь и митрополит: последний ехал верхом, сидя боком на осле (или на коне) одетом белою тканию: левою рукою придерживал (митрополит) на своих коленях Евангелие, окованное золотом, а правою благословлял народ. Осла вел боярин: государь, одною рукою касаясь длинного повода узды, нес в другой вербу. Путь митрополиту устилали сукнами. Далее шли еще бояре и сановники; за ними бесчисленное множество людей. Обходив таким образом вокруг главных церквей Кремлевских, возвращались в храм Успения, где митрополит служил Литургию: после чего давал обед царю и вельможам. — Сей церковный ход, в память сретения Христова в Иерусалиме, был уставлен, как вероятно, в древнейшие времена, но сделался нам известен только с Иоаннова, по описанию иноземных наблюдателей.

К достохвальным деяниям сего царствования принадлежит еще строение многих новых городов для безопасности наших пределов. Кроме Лаишева, Чебоксар, Козмодемьянска, Болхова, Орла и других крепостей, о коих мы упоминали, Иоанн основал Донков, Епифань, Венев, Чернь, Кокшажск, Тетюши, Алатырь, Арзамас. Но воздвигая красивые твердыни в лесах и в степях, он с прискорбием видел до конца жизни своей развалины и пустыри в Москве, сожженной ханом в 1571 году, так что в ней, если верить Поссевинову исчислению, около 1581 года считалось не более тридцати тысяч жителей, в шесть раз менее прежнего, как говорит другой иноземный писатель, слышав то от московских старожилов в начале XVII века. Стены новых крепостей были деревянные, насыпанные внутри землею с песком, или крепко сплетенные из хвороста; а каменные единственно в столице, Александровской Слободе, Туле, Коломне, Зарайске, Старице, Ярославле, Нижнем, Белозерске, Порхове, Новегороде, Пскове.

Размножение городов благоприятствовало и чрезвычайным успехам торговли, более и более умножавшей доходы царские (которые в 1588 году простирались до шести миллионов нынешних рублей серебряных). Не только на ввоз чужеземных изделий или на выпуск наших произведений, но даже и на съестное, привозимое в города, была значительная пошлина, иногда откупаемая жителями. В новогородском таможенном уставе 1571 года сказано, что со всех товаров, ввозимых иноземными гостями и ценимых людьми присяжными, казна берет семь денег на рубль: куп-

цы же российские платили 4, а новогородские 1 1/2 деньги: с мяса, скота, рыбы, икры, меду, соли (немецкой и *морянки*[1]), луку, орехов, яблок, кроме особенного сбора с телег, судов, саней. За ввозимые металлы драгоценные платили, как и за все иное; а вывоз их считался преступлением. Достойно замечания, что и государевы товары не освобождались от пошлины. Утайка наказывалась тяжкою пенею. В сие время древняя столица Рюрикова, хотя и среди развалин, начинала было снова оживляться торговою деятельностию, пользуясь близостию Нарвы, где мы с целою Европою купечествовали; но скоро погрузилась в мертвую тишину, когда Россия в бедствиях Литовской и Шведской войны утратила сию важную пристань. Тем более цвела наша двинская торговля, в коей англичане должны были делиться выгодами с купцами нидерландскими, немецкими, французскими, привозя к нам сахар, вина, соль, ягоды, олово, сукна, кружева и выменивая на них меха, пеньку, лен, канаты, шерсть, воск, мед, сало, кожи, железо, лес. Французским купцам, привезшим к Иоанну дружественное письмо Генрика III, дозволялось торговать в Коле, а испанским или нидерландским в Пудожерском устье: знаменитейший из сих гостей назывался Иваном Девахом Белобородом, доставлял царю драгоценные каменья и пользовался особенным его благоволением, к неудовольствию англичан. В разговоре с Елисаветиным послом, Баусом, Иоанн жаловался, что лондонские купцы не вывозят к нам ничего хорошего; снял с руки перстень, указал на изумруд *колпака* своего и хвалился, что Девах уступил ему первый за 60 рублей, а вторый за тысячу: чему дивился Баус, оценив перстень в 300 рублей, а изумруд в 40 000. В Швецию и в Данию отпускали мы знатное количество хлеба. «Сия благословенная земля (пишет Кобенцель о России) изобилует всем необходимым для жизни человеческой, не имея действительной нужды ни в каких иноземных произведениях». — Завоевание Казани и Астрахани усилило нашу мену азиатскую.

Обогатив казну торговыми, городскими и земскими налогами, также и присвоением церковного имения, чтобы умножить войско, завести арсеналы (где находилось всегда в готовности не менее двух тысяч осадных и полевых орудий), строить крепости, палаты, храмы, Иоанн любил употреблять избыток доходов и на роскошь: мы говорили об удивлении иноземцев, видевших в каз-

---

[1] Морянка — выварная из морской воды соль.

не московской груды жемчуга, горы золота и серебра во дворце, блестящие собрания, обеды, за коими в течение пяти, шести часов *пресыщалось* 600 или 700 гостей, не только изобильными, но и дорогими яствами, плодами и винами жарких, отдаленных климатов: однажды, сверх людей именитых, в Кремлевских палатах обедало у царя 2000 ногайских союзников, шедших на войну Ливонскую. В торжественных выходах и выездах государевых все также представляло образ азиатского великолепия: дружины телохранителей, облитых золотом — богатство их оружия, убранство коней. Так Иоанн 12 декабря обыкновенно выезжал верхом за город видеть действие снаряда огнестрельного: пред ним несколько сот князей, воевод, сановников, по три в ряд; пред сановниками 5000 отборных стрельцов по пяти в ряд. Среди обширной, снежной равнины, на высоком помосте, длиною саженей в 200 или более, стояли пушки и воины, стреляли в цель, разбивали укрепления, деревянные, осыпанные землею, и ледяные. В торжествах церковных, как мы видели, Иоанн также являлся народу с пышностию разительною, умея видом искусственного смирения придавать себе величия, и с блеском мирским соединяя наружность христианских добродетелей: угощая вельмож и послов в светлые праздники, сыпал богатую милостыню на бедных.

В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу *в народной памяти*: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими; но имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех царств могольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы Царя-Завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название *Мучителя*, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне именует его только *Грозным*, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!

Конец IX тома

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО





Глава I
ЦАРСТВОВАНИЕ ФЕОДОРА ИОАННОВИЧА
1584—1587 гг.

Свойства Феодоровы. Члены Верховной Думы. Волнение народа. Собрание Великой Думы земской. Царевич Димитрий и мать его отправляются в Углич. Мятеж в Москве. Власть и свойства Годунова. Царское венчание Феодорово. Разные милости. Годунов правитель царства. Усмирение черемисского бунта. Вторичное покорение Сибири. Сношения с Англией и с Литвою. Заговор против Годунова. Сравнение Годунова с Адашевым. Перемирие с Швециею. Посольство в Австрию. Возобновление дружества с Даниею. Дела крымские. Посольство в Константинополь. Царь иверский, или грузинский, данник России. Дела с Персиею. Дела внутренние. Основание Архангельска. Строение Белого, или Царева, города в Москве. Начало Уральска. Опасности для Годунова. Ссылки и казнь. Жалостная смерть Героя Шуйского. Судьба Магнусова семейства. Праздность Феодорова.

Первые дни по смерти тирана (говорит римский историк) бывают счастливейшими для народов: ибо конец страдания есть живейшее из человеческих удовольствий.

Но царствование жестокое часто готовит царствование слабое: новый венценосец, боясь уподобиться своему ненавистному пред-

шественнику и желая снискать любовь общую, легко впадает в другую крайность, в послабление вредное государству. Сего могли опасаться истинные друзья отечества, тем более, что знали необыкновенную кротость наследника Иоаннова, соединенную в нем с умом робким, с набожностию беспредельною, с равнодушием к мирскому величию. На громоносном престоле свирепого мучителя Россия увидела *постника* и *молчальника*, более для келии и пещеры, нежели для власти державной рожденного: так, в часы искренности, говорил о Феодоре сам Иоанн[1], оплакивая смерть любимого, старшего сына. Не наследовав ума царственного, Феодор не имел и сановитой наружности отца, ни мужественной красоты деда и прадеда: был росту малого, дрябл телом, лицом бледен, всегда улыбался, но без живости; двигался медленно, ходил неровным шагом, от слабости в ногах; одним словом, изъявлял в себе преждевременное изнеможение сил естественных и душевных. Угадывая, что сей двадцатисемилетний государь, осужденный природою на всегдашнее малолетство духа, будет зависеть от вельмож или монахов, многие не смели радоваться концу тиранства, чтобы не пожалеть о нем во дни безначалия, козней и смут боярских, менее губительных для людей, но еще бедственнейших для великой державы, устроенной сильною, нераздельною властию царскою... К счастию России, Феодор, боясь власти как опасного повода к грехам, вверил кормило государства руке искусной — и сие царствование, хотя не чуждое беззаконий, хотя и самым ужасным злодейством омраченное, казалось современникам милостию Божиею, благоденствием, златым веком: ибо наступило после Иоаннова!

Новая пентархия, или Верховная Дума, составленная умирающим Иоанном из *пяти вельмож*, была предметом общего внимания, надежды и страха. Князь Мстиславский отличался единственно знатностию рода и сана, будучи старшим боярином и воеводою. Никиту Романовича Юрьева уважали как брата незабвенной Анастасии и дядю государева, любили как вельможу благодушного, не очерненного даже и злословием в бедственнные времена кровопийства. В князе Шуйском чтили славу великого подвига ратного, отважность и бодрость духа. Бельского, хитрого, гибкого, ненавидели как первого любимца Иоаннова. Уже знали ред-

---

[1] «Иоанн, — говорит Петрей, — часто укорял Феодора тем, что он создан быть звонарем, а не царем»: ибо Феодор любил звонить в колокола, приученный к тому самим отцом». (X, 2.)

кие дарования Годунова и тем более опасались его: ибо он также умел снискать особенную милость тирана, был зятем гнусного Малюты Скуратова, свойственником и другом (едва ли искренним) Бельского.— Прияв власть государственную, Дума Верховная в самую первую ночь (18 марта) выслала из столицы многих известных услужников Иоанновой лютости, других заключила в темницы, а к родственникам вдовствующей царицы, Нагим, приставила стражу, обвиняя их в злых умыслах (вероятно, в намерении объявить юного Димитрия наследником Иоанновым). Москва волновалась; но бояре утишили сие волнение: торжественно присягнули Феодору вместе со всеми чиновниками, и в следующее утро письменно обнародовали его воцарение. Отряды воинов ходили из улицы в улицу; пушки стояли на площадях. Немедленно послав гонцов в области с указом молиться о душе Иоанновой и счастливом царствовании Феодора, новое правительство созвало Великую Думу земскую, знатнейшее духовенство, дворянство и всех людей именитых, чтобы взять некоторые общие меры для государственного устройства. Назначили день царского венчания; соборною грамотою утвердили его священные обряды; рассуждали о благосостоянии державы, о средствах облегчить народные тягости. Тогда же послали вдовствующую царицу с юным сыном, отца ее, братьев, всех Нагих, в город Углич, дав ей царскую услугу, стольников, стряпчих, детей боярских и стрельцов для оберегания. Добрый Феодор, нежно прощаясь с младенцем Димитрием, обливался горькими слезами, как бы невольно исполняя долг болезненный для своего сердца. Сие удаление царевича, единственного наследника державы, могло казаться блестящею ссылкою, и пестун Димитриев, Бельский, не желая в ней участвовать, остался в Москве: он надеялся законодательствовать в Думе, но увидел грозу над собою.

Между тем как Россия славила благие намерения нового правительства, в Москве коварствовали зависть и беззаконное властолюбие: сперва носились темные слухи о великой опасности, угрожающей юному монарху, а скоро наименовали и человека, готового злодейством изумить Россию: сказали, что Бельский, будто бы отравив Иоанна, мыслит погубить и Феодора, умертвить всех бояр, возвести на престол своего друга и советника — Годунова! Тайными виновниками сей клеветы считали князей Шуйских, а Ляпуновых и Кикиных, дворян рязанских, их орудиями, возмутителями народа легковерного, который, приняв

оную за истину, хотел усердием спасти царя и царство от умыслов изверга. Вопль бунта раздался из конца в конец Москвы, и двадцать тысяч вооруженных людей, чернь, граждане, дети боярские, устремились к Кремлю, где едва успели затворить ворота, собрать несколько стрельцов для защиты и Думу для совета в опасности незапной. Мятежники овладели в Китае-городе тяжелым снарядом, обратили Царь-пушку к воротам Флоровским и хотели разбить их, чтобы вломиться в крепость. Тогда государь выслал к ним князя Ивана Мстиславского, боярина Никиту Романовича, дьяков Андрея и Василия Щелкаловых, спросить, что виною мятежа и чего они требуют? «Бельского! — ответствовал народ: — выдайте нам злодея! Он мыслит извести царский корень и все роды боярские!» В тысячу голосов вопили: «Бельского!» Сей несчастный вельможа, изумленный обвинением, устрашенный злобою народа, искал безопасности в государевой спальне, трепетал и молил о спасении. Феодор знал его невинность; знали оную и бояре: но, искренно или притворно ужасаясь кровопролития, вступили в переговоры с мятежниками; склонили их удовольствоваться ссылкою мнимого преступника и немедленно выслали Бельского из Москвы. Народ, восклицая: «да здравствует царь с верными боярами!», мирно разошелся по домам; а Бельский с того времени воеводствовал в Нижнем Новегороде.

От такой постыдной робости, от такого уничижения самодержавной власти чего ожидать надлежало! Козней в Думе, своевольства в народе, беспорядка в правлении. Бельского удалили: Годунов остался для мести! Мятежники не требовали головы его, не произнесли его имени, уважая в нем царицына брата: но он видел умысел клеветников; видел, что дерзкие виновники сего возмущения готовят ему гибель, и думал о своей безопасности. Дотоле дядя царский, по древнему уважению к родственному старейшинству, мог считать себя первым вельможею: так мыслил и двор и народ; так мыслил и лукавый дьяк государственный, Андрей Щелкалов, стараясь снискать доверенность боярина Юрьева и надеясь вместе с ним управлять Думою. Знали власть Годунова над сестрою нежною, добродетельною Ириною, уподобляемою летописцами Анастасии (ибо тогда не было иного сравнения в добродетелях женских); знали власть Ирины над Феодором, который в сем мире истинно любил, может быть, одну супругу; но Годунов, казалось, выдал друга: радовались его бессилию или боязливости, не угадывая, что он, вероятно, притворствовал в друж-

бе к Бельскому, внутренне опасаясь в нем тайного совместника, и воспользуется сим случаем для утверждения своего могущества: ибо Феодор мягкосердечный, обремененный державою, испуганный мятежом, видя необходимость мер строгих для государственного устройства и не имея ни проницания в уме, ни твердости в воле, искал более, нежеле советника или помощника: искал, на кого возложить всю тягость правления, с ответственностию пред единым Богом, и совершенно отдался смелому честолюбцу, ближайшему к сердцу его милой супруги. Без всякой хитрости, следуя единственно чувству, зная ум, не зная только злых, тайных наклонностей Годунова, Ирина утвердила союз между царем, неспособным властвовать, и подданным, достойным власти. Сей муж знаменитый находился тогда в полном цвете жизни, в полной силе телесной и душевной, имея 32 года от рождения. Величественною красотою, повелительным видом, смыслом быстрым и глубоким, сладкоречием обольстительным превосходя всех вельмож (как говорит летописец), Борис не имел только... добродетели; хотел, умел благотворить, но единственно из любви ко славе и власти; видел в добродетели не цель, а средство к достижению цели; если бы родился на престоле, то заслужил бы имя одного из лучших венценосцев в мире; но рожденный подданным, с необузданною страстию к господству, не мог одолеть искушений там, где зло казалось для него выгодою — и проклятие веков заглушает в истории добрую славу Борисову.

Первым действием Годунова было наказание Ляпуновых, Кикиных и других главных возмутителей московской черни: их послали в дальние города и заключили в темницы. Народ молчал или славил правосудие царя; двор угадывал виновника сей законной строгости и с беспокойством взирал на Бориса, коего решительное владычество открылось не прежде Феодорова царского венчания, отложенного, ради шестинедельного моления об усопшем венценосце, до 31 мая.

В сей день, на самом рассвете, сделалась ужасная буря, гроза, и ливный дождь затопил многие улицы в Москве, как бы в предзнаменование грядущих бедствий; но суеверие успокоилось, когда гроза миновалась, и солнце воссияло на чистом небе. Собралося бесчисленное множество людей на Кремлевской площади, так что воины едва могли очистить путь для духовника государева, когда он нес, при звоне всех колоколов, из царских палат в храм Успения *святыню Мономахову*, животворящий крест, венец и бармы (Году-

нов нес за духовником скипетр). Невзирая на тесноту беспримерную, все затихло, когда Феодор вышел из дворца со всеми боярами, князьями, воеводами, чиновниками: государь в одежде небесного цвета, придворные в златой — и сия удивительная тишина провождала царя до самых дверей храма, также наполненного людьми всякого звания: ибо всем россиянам дозволялось видеть священное торжество России, единого семейства под державою отца-государя. Во время молебна окольничие и духовные сановники ходили по церкви, тихо говоря народу: «благоговейте и молитеся!» Царь и митрополит Дионисий сели на изготовленных для них местах, у врат западных, и Феодор среди общего безмолвия сказал первосвятителю: «Владыко! родитель наш, самодержец Иоанн Василиевич, оставил земное царство и, прияв Ангельский образ, отошел на Царство Небесное; а меня благословил державою и всеми хоругвями государства; велел мне, согласно с древним уставом, *помазаться* и венчаться царским венцом, диадемою и святыми бармами: завещание его известно духовенству, боярам и народу. И так, по воле Божией и благословению отца моего, соверши обряд священный, да буду царь и *помазанник!*» Митрополит, осенив Феодора крестом, ответствовал: «Господин, возлюбленный сын церкви и нашего смирения, Богом избранный и Богом на престол возведенный! данною нам благодатию от Святого Духа помазуем и венчаем тебя, да именуешься самодержцем России!» Возложив на царя животворящий крест Монамахов, бармы и венец на главу, с молением, да благословит Господь его правление, Дионисий взял Феодора за десницу, поставил на особенном *царском месте*, и вручив ему *скипетр*, сказал: «блюди хоругви великие России!» Тогда архидиакон на амвоне, священники в алтаре и клиросы возгласили многолетие царю венчанному, приветствуемому духовенством, сановниками, народом с изъявлением живейшей радости; и митрополит в краткой речи напомнил Феодору главные обязанности венценосца: долг хранить Закон и царство, *иметь духовное повиновение к святителям и веру к монастырям*, искреннее дружество к брату, *уважение к боярам, основанное на их родовом старейшинстве*, милость к чиновникам, воинству и всем людям. «Цари нам вместо Бога,— продолжал Дионисий,— Господь вверяет им судьбу человеческого рода, да блюдут не только себя, но и других от зла; да спасают мир от треволнения, и да боятся *серпа Небесного*! Как без солнца мрак и тьма господствуют на земле, так и без учения все темно в душах: будь же любомудр, или следуй мудрым; будь добродетелен: ибо едина

добродетель украшает царя, едина добродетель бессмертна. Хочешь ли благоволения Небесного? благоволи о подданных... Не слушай злых клеветников, о царь, рожденный милосердым!.. Да цветет во дни твои правда; да успокоится отечество!.. И возвысит Господь царскую десницу твою над всеми врагами, и будет царство твое мирно и вечно в род и род!» Тут, проливая слезы умиления, все люди воскликнули: «Будет и будет многолетно!» — Феодор, в полном царском одеянии, в короне Мономаховой, в богатой мантии, и держа в руке длинный скипетр (сделанный из драгоценного китового зуба), слушал Литургию, имея вид утомленного. Пред ним лежали короны завоеванных царств; а подле него, с правой стороны, как ближний вельможа, стоял Годунов: дядя Феодоров, Никита Романович Юрьев, наряду с другими боярами. Ничто, по сказанию очевидцев, не могло превзойти сего торжества в великолепии. Амвон, где сидел государь с митрополитом, налой, где лежала утварь царская, и места для духовенства были устланы бархатами, а помост церкви коврами персидскими и красными сукнами английскими. Одежды вельмож, в особенности Годунова и князя Ивана Михайловича Глинского, сияли алмазами, яхонтами, жемчугом удивительной величины, так что иноземные писатели ценят их в миллионы. Но всего более торжество украшалось веселием лиц и знаками живейшей любви к престолу. — После Херувимской Песни митрополит, в дверях царских, возложил на Феодора *Мономахову цепь аравийского злата*; в конце же Литургии *помазал его Святым Миром и причастил Святых Таин*. В сие время Борис Годунов держал скипетр, Юрьев и Димитрий Иванович Годунов (дядя Ирины), венец царский на златом блюде. Благословенный Дионисием и в южных дверях храма осыпанный деньгами, Феодор ходил поклониться гробам предков, моляся, да наследует их государственные добродетели. Между тем Ирина, окруженная боярынями, сидела в *короне* под растворенным окном своей палаты и была приветствуема громкими восклицаниями народа: «Да здравствует царица!» В тронной вельможи и чиновники целовали руку у государя; в столовой палате с ним обедали, равно как и все знатное духовенство. Пиры, веселия, забавы народные продолжались целую неделю и заключились воинским праздником вне города, где, на обширном лугу, в присутствии царя и всех жителей московских, гремело 170 медных пушек, пред осмью рядами стрельцов, одетых в тонкое сукно и в бархат. Множество всадников, также богато одетых, провождало Феодора.

Одарив митрополита, святителей, и сам приняв дары от всех людей чиновных, гостей и купцов, российских, английских, нидерландских, нововенчанный царь объявил разные милости: уменьшил налоги; возвратил свободу и достояние многим знатным людям, которые лет двадцать сидели в темнице; исполняя завещание Иоанново, освободил и всех военопленных; наименовал боярами князей Дмитрия Хворостинина, Андрея и Василия Ивановичей Шуйских, Никиту Трубецкого, Шестунова, двух Куракиных, Федора Шереметева и трех Годуновых, внучатных братьев Ирины; пожаловал Герою, князю Ивану Петровичу Шуйскому, все доходы города Пскова, им спасенного. Но сии личные милости были ничто в сравнении с теми, коими Феодор осыпал своего шурина, дав ему все, что подданный мог иметь в самодержавии: не только древний знатный сан конюшего, в течение семнадцати лет никому не жалованный, но и титло *ближнего великого боярина*, наместника двух царств, Казанского и Астраханского. Беспримерному сану ответствовало и богатство беспримерное: Годунову дали, или Годунов взял себе, лучшие земли и поместья, доходы области Двинской, Ваги, — все прекрасные луга на берегах Москвы-реки, с лесами и пчельниками, — разные казенные сборы московские, рязанские, тверские, северские, сверх особенного денежного жалованья: что, вместе с доходом его родовых отчин в Вязьме и Дорогобуже, приносило ему ежегодно не менее осьми или девяти сот тысяч нынешних рублей серебряных: богатство, какого от начала России до наших времен не имел ни один вельможа, так, что Годунов мог на собственном иждивении выводить в поле до ста тысяч воинов! Он был уже не временщик, не любимец, но властитель царства. Уверенный в Феодоре, Борис еще опасался завистников и врагов: для того хотел изумить их своим величием, чтобы они не дерзали и мыслить об его низвержении с такой высокой степени, недоступной для обыкновенного честолюбия вельмож-царедворцев. Действительно изумленные, сии завистники и враги несколько времени злобились втайне, безмолвствуя, но вымышляя удар; а Годунов, со рвением души славолюбивой, устремился к великой цели: делами общественной пользы оправдать доверенность царя, заслужить доверенность народа и признательность отечества. *Пентархия*, учрежденная Иоанном, как тень исчезла: осталась древняя Дума царская, где Мстиславский, Юрьев, Шуйский судили наряду с иными боярами, следуя мановению *правителя*: ибо так современники именовали Бориса, который один, в глазах России, смело правил рулем государствен-

ным, повелевал именем царским, но действовал своим умом, имея советников, но не имея ни совместников, ни товарищей.

Когда Феодор, утомленный мирским великолепием, искал отдохновения в набожности; когда, прервав блестящие забавы и пиры, в виде смиренного богомольца ходил пешком из монастыря в монастырь, в Лавру Сергиеву и в иные святые обители, вместе с супругою, провождаемою знатнейшими боярынями и целым полком особенных царицыных телохранителей (пышность новая, изобретенная Годуновым, чтобы вселить в народ более уважения к Ирине и к ее роду)... в то время правительство уже неусыпно занималось важными делами государственными, исправляло злоупотребления власти, утверждало безопасность внутреннюю и внешнюю. Во всей России, как в счастливые времена князя Ивана Бельского и Адашева, сменили худых наместников, воевод и судей, избрав лучших; грозя казнию за неправду, удвоили жалованье чиновников, чтобы они могли пристойно жить без лихоимства; вновь устроили войско и двинули туда, где надлежало восстановить честь оружия или спокойствие отечества. Начали с Казани. Еще лилась кровь россиян на берегах Волги, и бунт кипел в земле черемисской: Годунов более умом, нежели мечом, смирил мятежников, уверив их, что новый царь, забывая старые преступления, готов, как добрый отец, миловать и виновных в случае искреннего раскаяния; они прислали старейшин в Москву и дали клятву в верности. Тогда же Борис велел строить крепости на Горной и Луговой стороне Волги, Цывильск, Уржум, Царев-город на Кокшаге, Санчурек и другие, населил оные россиянами, и тем водворил тишину в сей земле, столь долго для нас бедственной.

Усмирив Казанское царство, Годунов довершил завоевание Сибирского. Еще не зная о гибели Ермака, но зная уменьшение его сил от болезней и голода, он немедленно послал туда воеводу Ивана Мансурова с отрядом стрельцов, а вслед за ним и других, Василия Сукина, Ивана Мясного, Данила Чулкова с знатным числом ратников и с огнестрельным снарядом. Первый встретил наших сибирских витязей, атамана Матвея Мещеряка с остатком Ермаковых сподвижников, на реке Туре. «Доблие козаки ожили радостию», — говорит летописец: не боясь новых опасностей и битв, ужасаясь единственно мысли явиться в отечестве бедными изгнанниками, с вестию о завоевании утраченном, они, исполненные мужества и надежды, возвратились к устью Тобола, но не могли взять Искера, где властвовал уже не старец Кучюм, а юный, бод-

рый князь Сейдяк, его победитель: сведав о бегстве козаков, он собрал толпы ногаев, преданных ему татар сибирских, выгнал Кучюма и, слыша о новом приближении россиян, стоял на берегу Иртыша с войском многочисленным, готовый к усильному бою. Козаки предложили Мансурову плыть далее Иртышом, несмотря на осеннее время, холод и морозы. Там, где сия река впадает в Обь, они вышли на берег и сделали деревянную крепость: пишут, что остяки, думая взять оную, принесли с собою славного Белогорского идола, или *Шайтана*, начали ему молиться под деревом и разбежались от ужаса, когда россияне пушечным выстрелом сокрушили сей кумир обожаемый. — Воеводы Сукин и Мясной остановились на берегу Туры, и на месте городка Чингия основали нынешний Тюмень. Чулков же, не находя сопротивления или преодолев оное, заложил Тобольск, и в нем первую церковь христианскую (в 1587 году); известил о том воеводу Мансурова, атамана Мещеряка, соединился с ними, разбил князя Сейдяка, дерзнувшего приступить к Тобольской крепости, взял его в плен раненного, весь обоз, все богатство, и сею победою, которая стоила жизни последнему Ермакову атаману, Никите Мещеряку, довершил падение ногайского Иртышского царства. Искер опустел, и Тобольск сделался новою столицею Сибири. Другое же, менее вероятное предание славит не мужество, а хитрость воеводы Чулкова, весьма не достохвальную: узнав, как пишут, что Сейдяк, друг его, царевич киргизский Ураз-Магмет, и Мурза-Карача вышли из Искера с пятьюстами воинами, и на *Княжеском лугу*, близ Тобольска, увеселяются птичьею ловлею, воевода пригласил их к себе в гости, связал и послал в Москву. — Еще изгнанник Кучюм держался с шайками ногаев Тайбугина улуса в степи Барабинской, жег селения, убивал людей в волостях Курдацкой, Салынской, в самых окрестностях Тобола: чтобы унять сего разбойника, новый сибирский воевода, князь Кольцов-Мосальский, ходил во глубину пустынь Ишимских и близ озера Чили-Кула (1 августа 1591) истребил большую часть его конницы, захватив двух жен ханских и сына, именем Абдул-Хаира. Тщетно государь, желая водворить тишину в своем новом, отдаленном царстве, предлагал Кучюму жалованье, города и волости в России; обещал даже оставить его царем в земле Сибирской, если он с покорностию явится в Москве. О том же писал к отцу и пленник Абдул-Хаир, славя великодушие Феодора, который дал ему и царевичу Маметкулу богатые земли в собственность, *любя живить смертных и ми-*

ловать виновных. Оставленный двумя сыновьями, ногайскими союзниками и знатным Чин-Мурзою (который выехал к нам вместе с матерью царевича Маметкула), Кучюм гордо ответствовал на предложения Феодоровы: «Я не уступал Сибири Ермаку, хотя он и взял ее. Желая мира, требую иртышского берега». Но бессильная злоба Кучюмова не мешала россиянам более и более укрепляться в Сибири заложением новых городов от реки Печоры до Кети и Тары, для безопасного сообщения с Пермию и с Уфою, тогда же построенною, вместе с *Самарою*, для обуздания ногаев. В 1592 году, при тобольском воеводе князе Федоре Михайловиче Лобанове-Ростовском, были основаны Пелым, Березов, Сургут; в 1594 — Тара, в 1596 — Нарым и Кетский Острог, неодолимые твердыни для диких остяков, вогуличей и всех бывших Кучюмовых улусников, которые иногда еще мыслили о сопротивлении, изменяли и не хотели платить ясака: так в грамотах царских упоминается о мятеже пелымского князя Аблегирима, коего велено было воеводе нашему схватить хитростию или силою и казнить вместе с сыном и с пятью или шестью главными бунтовщиками вогульскими. Кроме воинов, стрельцов и козаков, Годунов посылал в Сибирь и земледельцев из Перми, Вятки, Каргополя, из самых областей московских, чтобы населить пустыни и в удобных местах завести пашню. Распоряжениями благоразумными, обдуманными, без усилий тягостных, он навеки утвердил сие важное приобретение за Россиею, в обогащение государства новыми доходами, новыми способами торговли и промышленности народной. Около 1586 года Сибирь доставляла в казну 200 000 соболей, 10 000 лисиц черных и 500 000 белок, кроме бобров и горностаев.

В делах внешней политики Борис следовал правилам лучших времен Иоанновых, изъявляя благоразумие с решительностию, осторожность в соблюдении целости, достоинства, величия России. Два посла были в Москве свидетелями Феодорова воцарения: Елисаветин и литовский. «Кончина Иоаннова (пишет Баус) изменила обстоятельства и предала меня в руки главным врагам Англии: боярину Юрьеву и дьяку Андрею Щелкалову, которые в первые дни нового царствования овладели Верховною Думою. Меня не выпускали из дому, стращали во время бунта московского, и Щелкалов велел мне сказать в насмешку: *Царь* английский *умер*! Борис Годунов, наш доброжелатель, еще не имел тогда власти». В начале мая объявили Баусу, что он может ехать назад в Англию; представили его царю, отпустили с честию, с дарами и с друже-

любным письмом, в коем Феодор говорил Елисавете: «Хотя дело о сватовстве и тесном союзе с Англиею кончилось смертию моего родителя, однако ж искренно желаю твоей доброй приязни, и купцы лондонские не лишаются выгод, данных им последнею жалованною грамотою». Но Баус в безрассудной досаде не хотел взять ни письма, ни даров царских; оставил их в Колмогорах, и вместе с медиком Робертом Якоби уехал из России. Удивленный такою дерзостию, Феодор послал гонца Бекмана к королеве; жаловался на Бауса; снова предлагал ей дружбу, обещая милость купцам английским, с условием, чтобы и наши могли свободно торговать в Англии. Сей гонец долго жил в Лондоне, не видя Елисаветы; наконец увидел в саду, где и вручил ей письмо государево. «Для чего нынешний царь (спросила королева) не любит меня? Отец его был моим другом; а Феодор гонит наших купцов из России». Слыша от Бекмана, что царь не гонит их, но жалует, и что они платят казне вдвое менее иных чужеземных купцов в России, Елисавета написала в ответ к Феодору. «Брат любезнейший! с неизъяснимою скорбию узнала я о преставлении великого государя, отца твоего, славныя памяти, и моего нежнейшего друга. В его время смелые англичане, открыв морем неизвестный дотоле путь в отдаленную страну вашу, пользовались там важными правами, и если обогащались, то не менее и Россию обогащали, благодарно хваляся покровительством Иоанновым. Но имею утешение в печали: гонец твой уверил меня, что сын достоин отца, наследовав его правила и дружество к Англии. Тем более сожалею, что посол мой Баус заслужил твое негодование: муж испытанный в делах государственных, как здесь, так и в иных землях, — всегда скромный и благоразумный. Удивляюся, хотя и верю твоим жалобам, которые могут быть изъяснены досадами, сделанными ему одним из твоих советников думных (дьяком Щелкановым) явным доброхотом гостей немецких. Но взаимная наша любовь не изменится от сей неприятности. Требуешь свободной торговли для купцов российских в Англии: чего никогда не бывало, и что несовместно с пользою наших; но мы и тому не противимся, если ты исполнишь обещание Иоанново и дашь новую жалованную грамоту, для исключительной торговли в своем царстве *обществу* лондонских купцов, нами учрежденному, не позволяя участвовать в ее выгодах *другим* англичанам». Не весьма довольный ответом Елисаветы, ни холодным приемом Бекмана в Лондоне, но желая сохранить полезную связь с ее державою, царь велел (в сентябре 1585 года)

ехать к королеве английскому купцу, Иерониму Гросею, чтобы объясниться с нею удовлетворительнее и выбором такого посланника доказать ей искренность нашего доброго расположения. «Пределы России, — писал Феодор к Елисавете с Горсеем, — открыты для вольной торговли всех народов, сухим путем и морем. К нам ездят купцы султановы, цесарские, немецкие, испанские, французские, литовские, персидские, бухарские, хивинские, шамахинские и многие иные, так что можем обойтися и без англичан, и в угодность им *не затворим дорог* в свою землю. Для нас все равны; а ты, слушаясь корыстолюбивых гостей лондонских, не хочешь равнять с ними и других своих подданных! Говоришь, что у вас никогда не бывало наших людей торговых — правда: ибо они и дома торгуют выгодно; следственно, могут и впредь не ездить в Англию. Мы рады видеть купцов лондонских в России, если не будешь требовать для них исключительных прав, несогласных с уставами моего царства». Сии Феодоровы мысли о вольной торговле удивили английского историка, Юма, который находил в них гораздо более истины и проницания, нежели в Елисаветиных понятиях о купечестве.

Но Елисавета настояла: извиняясь пред Феодором, что важные государственные дела мешали ей входить в дальние объяснения с Бекманом и что она виделась с ним только в саду, где обыкновенно *гуляет и беседует с людьми ближними*, королева уже не требовала монополии для купцов лондонских: убеждала царя единственно освободить их от платежа тягостных пошлин — и, сведав от Горсея все обстоятельства двора московского, писала особенно к царице и к брату ее, именуя первую *любезнейшею кровною сестрою*, а Годунова *родным приятелем*; славила ум и добродетель царицы; уведомляла, что из дружбы к ней снова отпускает в Москву медика своего Якоби, особенно искусного в целении женских и *родильных* болезней; благодарила Годунова за доброхотство к англичанам, надеясь, что он, как муж ума глубокого, будет и впредь их милостивцем, сколько в одолжение ей, столько и для истинных выгод России. Так хитрила Елисавета — и не бесполезно: царица приняла ее ласковую грамоту с любовью, Годунов с живейшим удовольствием и (в 1587 году) дал право англичанам торговать беспошлинно (лишив казну более двух тысяч фунтов стерлингов ежегодного доходу), с обязательством: 1) не привозить к нам чужих изделий; 2) не рассылать закупщиков по городам, но лично самим меняться товарами; 3) не продавать ни-

чего в розницу, а только оптом: сукна, камки, бархаты кипами, вина куфами[1], и проч.; 4) не отправлять людей своих сухим путем в Англию без ведома государева; 5) в тяжбах с россиянами зависеть от суда царских казначеев и дьяка посольского. Честолюбивый Борис не усомнился известить королеву, что *он* доставил сии выгоды гостям лондонским, чувствуя ее милость, и желает всегда *блюсти их под своею рукою*, в надежде, что они будут вести себя тихо, честно, без обманов, не мешая испанцам, французам, немцам, ни *другим англичанам* торговать в наших пристанях и городах: «ибо море Океан есть путь Божий, всемирный, незаградимый». Здесь в первый раз видим вельможу российского в переписке с иноземным венценосцем: чего дотоле не терпела осторожная политика наших царей. В то же время получив бумагу от министров Елисаветиных о разных неумеренных требованиях их купечества, Годунов велел дьяку Щелкалову написать в ответ, что все возможное для Англии сделано, а более уже ничего не сделается; что им стыдно беспокоить *такого великого человека* суесловием и что шурину царскому, знаменитейшему боярину великой державы Российской, неприлично самому отвечать на бумагу нескромную. Высоко ценя благосклонность славной королевы и чувствительный к ее лести, Годунов знал однако ж меру угождения. Англичане старались низвергнуть ненавистного для них Щелкалова; но Борис, уважая его опытность и способности, вверял ему все дела иноземные и дал новое, знаменитое титло дьяка *ближнего*.

Еще гораздо важнее и затруднительнее были для нас сношения с Литвою: ибо Стефан, как бы предчувствуя, что ему жить недолго, нетерпеливо хотел довершить начатое: возвысить державу свою унижением России, и считая Ливонию только задатком, а мир отдохновением, мечтал о восстановлении древних границ Витовтовых на берегах Угры. Посол его, Сапега, узнав в Москве о кончине Иоанновой, сказал боярам, что он без нового королевского наказа не может видеть нового царя, ни говорить с ними о делах; ждал сего наказа три месяца, и представленный Феодору (22 июня), объявил ему за тайну, будто бы в знак искреннего доброжелательства, о намерении султана воевать Россию—то есть Баторий хотел испугать Феодора и страхом расположить к уступчивости против Литвы!.. Во время сего пышного, как обыкновен-

[1] Куфа — бочка.

но, представления царь сидел на троне с державою и скипетром; близ него стояли рынды[1] в белой одежде и в *златых цепях*; у трона *один* Годунов: все иные вельможи сидели далее. Но послу оказали честь без ласки: не приглашенный Феодором к обеду, он с сердцем уехал домой и не впустил к себе чиновника с блюдами стола царского. Начав переговоры, Сапега требовал, чтобы Феодор дал королю 120 тысяч золотых за наших пленников, освободил литовских без выкупа, удовлетворил всем жалобам его подданных на россиян и не именовал себя в государственных бумагах *ливонским* князем, если не желает войны: ибо смерть Иоаннова, как думал Баторий, уничтожала договор Запольский. Ему ответствовали, что Феодор, движимый единственно человеколюбием, уже освободил 900 военопленных, поляков, венгров, немцев в день своего царского венчания; что мы ожидаем такого же христианского дела от Стефана; что справедливые жалобы литовские не останутся без удовлетворения; что сын Иоаннов, наследовав державу, наследовал и титул отца, который именовался *ливонским*. Вследствие многих прений Сапега заключил с боярами мирное условие только на десять месяцев; а царь послал боярина, князя Федора Михайловича Троекурова, и думного дворянина, Михаила Безнина, в Варшаву, чтобы склонить короля к истинному миролюбию. Но Стефан более, нежели когда-нибудь, хотел войны и чаял в ней успеха, сведав, что делалось тогда в Москве, и с прибавлениями, внушенными злобою.

Годунов, стараясь деятельным, мудрым правлением заслуживать благодарность отечества, а ласками приязнь главных бояр, спокойно властвовал 16 или 17 месяцев, презирал недоброжелателей, имея в руке своей сердце государево и, снискав особенную дружбу двух знаменитейших вельмож, Никиты Романовича Юрьева и князя Ивана Федоровича Мстиславского, один правительствовал, но советовался с ними, удовлетворяя тем их умеренному честолюбию. Сия счастливая для него связь рушилась кончиною Юрьева: ибо слабодушный князь Мстиславский, хотя и *названный отец Борисов*, будучи обманут кознями врагов его: Шуйских, Воротынских, Головиных, пристал к ним и, если верить летописцу, сделался участником заговора гнусного: хотели, чтобы он позвал Бориса на пир и предал в руки убийц! Так сказали Годунову устрашенные друзья его, сведав о злобном кове; так ска-

[1] Рында — телохранитель, оруженосец.

9 Зак. № 40

зал Годунов царю... Было ли законное следствие, разыскание, неизвестно; знаем единственно, что князя Ивана Мстиславского, неволею постриженного, сослали в обитель Кирилловскую; Воротынских, Головиных в места дальние; иных заключили в темницу; Шуйских не коснулись: для того ли, что не могли обличить их, или из уважения к ходатайству митрополита, связанного дружеством с ними? Вообще не казнили смертию ни одного человека. Может быть, Годунов опасался кровопролитием напомнить ненавистные времена Иоанновы; может быть — что еще вероятнее — он карал единственно личных своих недоброжелателей, распустив слух о мнимом злодейском умысле. Даже сын Мстиславского, князь Федор Иванович, остался в Думе первым, или старейшим, боярином. Несмотря на такую умеренность в наказании действительного или вымышленного преступления, столица и двор были в тревоге: ближние, друзья опальных, страшились дальнейшей мести, и знатный чиновник, Михайло Головин, ушел из медынской своей отчины к Баторию, как бы в оправдание Годунова: ибо сей беглец-изменник, милостиво принятый в Литве, заклинал короля не мириться с царем, уверяя, что Москва и Россия в безначалии, в неустройстве от малоумия Феодорова и несогласия вельмож; что королю надобно только идти и взять все, ему угодное, в нашем сиром, бедном отечестве, где никто не хочет ни воевать, ни служить государю. Баторий верил и, холодно приняв московских послов, сказал им, что может из снисхождения дать нам перемирие на десять лет, если *возвратим* Литве Новгород, Псков, Луки, Смоленск, землю Северскую, и примолвил: «Отец Феодоров не хотел меня знать: но узнал; сыну будет тоже».

Послы доказывали безрассудность королевского требования: их не слушали. Тогда они употребили хитрость: во-первых, искусно разгласили, что Михайло Головин есть лазутчик, посланный к Стефану московскими боярами; во-вторых, предложили вельможам коронным и литовским заключить тесный союз между их державою и Россиею для истребления хана крымского. Та и другая мысль имела счастливое действие. В Варшаве перестали верить Головину, рассуждая, что знатные россияне могли естественно уходить из отечества в царствование жестокого Иоанна, а не Феодора милосердого; что сей мнимый беглец сорит деньгами, без сомнения данными ему из казны царской для подкупа людей, и, нелепо унижая Россию, будто бы готовую упасть к ногам Стефановым, изобличает тем свою ложь; что король, обольщенный Давидом Бель-

ским, изгубил многочисленное войско под стенами ужасного Пскова и не должен быть новою жертвою легковерия; что он уже близок к старости; что незапная смерть может исхитить меч, если и победный, из рук неутомимого воителя; что шумный сейм будет спорить о выборе Стефанова преемника, а сильный враг опустошать Литву; что лучше воспользоваться известною слабостию Феодоровою для утверждения с московскими боярами искреннего, вечного союза между обоими государствами, независимо от жизни или смерти их венценосцев. Сие мнение одержало верх в Думе королевской, так что Троекуров и Безнин не только возвратились в Москву с новою мирною грамотою, сроком на два года, но король отправил к нам и своего посла чрезвычайного, с предложением столь неожиданным, что оно изумило совет царский!

Послом был знаменитый муж, Михайло Гарабурда, давно известный и приятный двору московскому совершенным знанием нашего языка, умом гибким, вежливостию, а всего более усердием к Закону греческому. Он вручил боярам миролюбивые, ласковые письма от вельмож королевских и в тайной беседе с ними сказал: «Имея полную доверенность от государя нашего, духовенства и всех мужей думных, коронных и литовских, объявляю, что мы искренно хотим быть в неразрывном союзе с вашим отечеством и ревностно стоять против всех общих недругов. Для того оставим суетные прения о городах и волостях, коих ни вы нам, ни мы вам не уступим без кровопролития. Пусть каждый во веки веков бесспорно владеет тем, чем владеет ныне! Ничего не требуем: не требуйте и вы!.. Слушайте далее. Мы с вами братья единого славянского племени, отчасти и единой Веры: для чего нам не иметь и единого властителя? Господь да продолжит лета обоих венценосцев; но они смертные: мы готовы, в случае Стефановой кончины, присоединить великое княжество Литовское и Польшу к державе Феодора (так, чтобы Краков считался наравне с Москвою, а Вильна с Новымгородом), если, в случае Феодоровой смерти, обяжетесь признать Стефана государем всей России. Вот самый надежный способ — и нет иного — утвердить тишину, незыблемое, истинное дружество между нашими государствами!» Бояре донесли царю, и, после торжественного совещания Думы с знатнейшим духовенством, дали следующий ответ: «Мы не дозволяем себе и мыслить о кончине нашего великого самодержца; не хотим даже предполагать и Стефановой: у вас иное обыкновение, едва ли достохвальное: ибо пристойно ли послу ехать в чужую землю за тем, чтобы говорить

о смерти своего венценосца? Устраняя сию непристойность, объявляем согласие государя на мир вечный». Но Гарабурда не хотел слышать о том без договора о соединении держав, прибавив; «разве отдадите нам и Новгород и Псков: ибо Стефан не удовольствуется ни Смоленскою, ни Северскою областию». *А наш государь,* — сказали ему бояре, — *не даст вам ни драницы с кровли. Можем обойтися без мира. Россия ныне не старая: берегите от ее руки уже не Ливонию, не Полоцк, а Вильну!* Изъявив сожаление, что наши вельможи и духовенство не вразумились в мысль великую, добрую, Гарабурда откланялся царю, а после боярам, которые особенно принимали его в *набережных сенях,* сидя на рундуке (где Борис занимал четвертое место, уступая первенство князьям Мстиславскому, Ивану Петровичу Шуйскому, Дмитрию Ивановичу Годунову); *дали ему руку* и письмо учтивое к королевским вельможам, сказав: «Ты был у нас с делом важным, но ничего не сделал. Ненавидя кровопролитие, царь объяснится с королем чрез своего посла». Гарабурда уехал (30 апреля), а князь Троекуров вторично отправился к Стефану (28 июня) с новым наказом.

Нет сомнения, что Баторий немедленно обнажил бы меч на Россию, если бы вельможные паны, особенно литовские, боясь разорения земли своей, не противились его славолюбию и не грозили королю отказом сейма в деньгах и в людях. Обольщенный успехами войны с Иоанном, он только для вида и в угодность вельможам сносился с нами, будто бы желая мира и, нелепо предлагая Думе царской отдать ему Россию по смерти Феодора, в то же время просил денег у папы, чтобы идти к Москве, для себя завоевать нашу землю, а для Рима нашу церковь: иезуит Антоний был его ревностным ходатаем (злобясь на россиян за худой успех своего посольства к Иоанну), и Сикст V обязался давать Стефану ежемесячно 25 тысяч скудий для *предприятия столь великого!* В сем расположении Стефан не думал следовать примеру Феодорова милосердия: хваля бескорыстное освобождение литовских пленников, требовал неумеренного окупа за наших; взяв с царя 54 тысячи рублей, отпустил некоторых, но удержал знатнейших и не хотел возвратить серебра, отнятого в Литве у гостей московских, которые ехали в Грецию с милостынею для поминовения царевича Иоанна; не унимал воевод своих, которые из Ливонии, Витебска и других мест посылали шайки разбойников в области Псковскую, Великолуцкую, Черниговскую; одним словом, явно искушал терпение России, чтобы произвести войну.

Троекуров нашел Стефана в Гродне и вручил его панам грамоту наших бояр. Прочитав ее, паны изъявили сильное негодование. «Желая тишины (говорили они), мы, вопреки королю, предлагали вам условия искреннего братства, согласные с выгодами обеих держав; а вы, не ответствуя на главное предложение, пишите, что царю угодно осчастливить короля миром, если уступим вам Киев, Ливонию и все, что именуете Древнею собственностию России! То есть *мы кормим вельмож московских хлебом, а вельможи московские бросают нам камень*! Отчего такая гордость? Разве мы не ведаем нынешних жалких обстоятельств вашей земли? У вас есть царь; но какой? едва дышит, и бездетен: умеет только молиться. Бояре в смутах, народ в волнении, держава в неустройстве, рать без усердия и без добрых воевод. Знаем, что вы тайно сноситесь с братом императора немецкого: какое ваше намерение? можете ли найти защитника в цесаре, когда он и себе худой защитник? Уже многие государи европейские *метят на вас*. Султан требует Астрахани и Казани; хан с огнем и мечом в недрах России; народ черемисский бунтует. Где ум ваших бояр? Отечество в несгоде, а они презирают наше доброжелательство и твердят, что царь готов стоять против всех недругов! Увидим. Доселе мы удерживали Стефана от исполнения клятвы, им данной при восшествии на престол: клятвы отнять у России все литовское, чем она завладела после Витовта. Теперь не хотим досаждать ему пересказом ваших речей бездельных, но скажем: *Иди на Россию, до берегов Угры: вот наше золото, вот наши руки и головы!*»

Князь Троекуров слушал хладнокровно, ответствовал с жаром: «Не мы, но вы суесловите, паны вельможные! Какие речи, дерзостные и нелепые! Царствование благодатное именуете несгодою и бедствием для России! Видите гнев Божий, где мы видим одну милость Небесную! А будущее известно ли смертному? Вы не беседовали со Всевышним. Горе тому, кто злословит венценосца! Имеем царя здравого душою и телом, умного и счастливого, достойного своих великих предков. Как отец, дед, прадед Феодоров, так и Феодор судит народ, строит землю, любит тишину, но готов и разить недругов. Есть у него воинство, какого еще не бывало в России: ибо он милостив к людям и жалует их щедро из казны своей; есть воеводы доблие, ревнители славы умереть за отечество. Так, Феодор умеет молиться, и Господь, благоволя о небесной Вере его, конечно даст ему победу — и мир, и благоденствие, и чад возлюбленных, да царствует племя Св. Владимира

во веки веков! Пусть изменники оглашают землю бесстыдным лжесловием о смутах вельмож и неустройстве нашего царства: ветер клевету развевает. Не хотим уподобиться вам дерзостию и в истине: молчим о том, что видим в Литве и в Польше, ибо мы присланы не для раздора». Далее, сказав, что вельможи российские знают только своего царя и не сносятся с иноземными князьями; что султан требует не Астрахани, не Казани, а нашего дружества; что хан, помня 1572 год и князя Михаила Воротынского, не смеет заглянуть и в нашу украйну; что в России везде тишина; что мы спокойно властвуем и в отдаленной Сибири — на Конде, в *Пелымском* государстве, в стране *Пегих Колмаков* и на Оби, где 94 города платят нам дань — посол заключил сими словами: «То ли называете несгодою России? Мира желаем, но *не купим*. Хотите ли войны? Начинайте! Хотите ли доброго дела? Говорите о деле!»

Вступили в переговоры. Царь соглашался не требовать Киева, ни Волыни, ни Подолии, требуя для мира одной Ливонии, по крайней мере Дерпта, Нейгауза, Ацеля, Киремпе, Мариенбурга, Тарваста. «К чему такое великодушие? — сказали паны князю Троекурову с насмешкою: — мы дозволяем вам отыскивать всей Литвы: завоюйте и возьмите!» Они вторично предложили соединить обе державы навеки веков и для того съехаться вельможам московским с королевскими на границе; а Троекуров изъяснял им, что царь не может решить столь важного дела без общей Земской думы; что нужно немало времени для призвания всех государственных людей в Москву из Новагорода, Казани, Астрахани, Сибири — и требовал должайшего перемирия. «В России нет обычая советоваться с землею[1], — возражали паны, — царь вздумает, бояре скажут да, и дело сделано». Спорив несколько дней, утвердили перемирие еще на два месяца (от 3 июня до августа 1588), чтобы в течение сего времени съехаться великим послам с обеих сторон на реке Ивате, между Оршою и Смоленском, для условия о том, 1) «как царю жить в любви братской с Стефаном, и 2) *как их государствам быть под единою державою в случае Феодоровой или Стефановой кончины*, или 3) какими городами Литве и России владеть бесспорно, *буде они не захотят соединиться*». Хотя третья статья отнимала силу у второй; хотя в самом деле мы ничего не уступали и не вредили ни чести, ни безопасности госу-

[1] Земля — здесь: народ (отсюда земский).

дарственной такими условиями; однако ж сей договор был подписан Троекуровым уже в крайности, когда паны объявили ему отпуск. Мы желали длить время, в надежде на будущее, и видя доброе расположение к миру в земле неприятельской. Сам архиепископ гнезненский в беседе с царским чиновником (Новосильцовым, посланным тогда в Вену) сказал ему, что Россия имеет одного непримиримого врага в Литве и в Польше: Батория, коему жить недолго; что у него открылись на ноге опасные раны и что медики не смеют целить их, боясь тем ускорить его смерть; что Стефан не любим народом за безмерное славолюбие и за худое обхождение с супругою; что и вельможи и дворянство хотят быть под рукою Феодора, зная христианские добродетели сего венценосца, ум и благость царицы, мудрость и высокие достоинства *правителя*, Бориса Федоровича Годунова. «Сей муж знаменитый (продолжал архиепископ) питал, утешал наших пленников, когда они еще сидели в темнице и, дав им свободу, милостиво угостил в своих палатах, одарив каждого сукнами и деньгами. Слава его везде разносится. Вы счастливы, имея ныне властителя, подобного Алексею Адашеву, великому человеку, который управлял Россиею в царствование Иоанново». Еще недовольный таким сравнением, Новосильцов уверял, что Годунов превосходит Адашева и знаменитостию сана и глубоким разумом. — Одним словом, здравая политика нудила нас удалять войну, сколько возможно. Еще Стефан бодрствовал духом и телом, отпуская князя Троекурова; величавый и гордый в приветствиях, с видом суровым дал ему руку; велел кланяться Феодору... и сим заключил свои деяния в отношении к России, которая ненавидела и чтила его: ибо он, враждуя нам, исполнял законный долг, предписываемый государю пользою государства, и лучше легкомысленных панов ведал невозможность истинного мира и трудность соединения королевства их с царством Московским. Уже Баторий назначил день сейма в Варшаве, чтобы утвердить будущую судьбу королевства заблаговременным избранием своего преемника, истиною и красноречием оживить в сердцах любовь к отечеству, ревность ко славе; наконец исторгнуть согласие на войну с Россиею. Но Судьба не благоприятствовала замыслам великого мужа, как увидим в следующей главе.

В сих последних сношениях с Баторием правительство наше имело еще особенную, тайную цель: хотело возвратить отечеству изгнанников и беглецов Иоаннова царствования, не столько из ми-

лосердия, сколько для государственной выгоды. Слыша, что некоторые из них желают, но бояться ехать в Россию, царь посылал к ним милостивые грамоты — именно к князю Гаврилу Черкасскому, Тимофею Тетерину, мурзе Купкееву, Девятому Кашкарову к самому изменнику Давиду Бельскому (свойственнику Годунова) — обещая им забвение вины, чины и жалованье, если они с раскаянием и с усердием явятся в Москве, чтобы *доставить нам все нужные сведения о внутреннем состоянии Литвы*, о видах и способах ее политики. Феодор прощал всех беглецов, кроме несчастного Курбского (вероятно, что его уже не было на свете) и кроме нового изменника, Михайла Головина: выведав от него много тайного о России, Баторий имел у нас и собственных лазутчиков, между купцами литовскими: для чего Феодор велел им торговать единственно в Смоленске, запретив ездить в Москву.

Стараясь удалить разрыв с Литвою, но ожидая его непрестанно, царь оказывал тем более миролюбия и снисходительности в делах с шведским королем, чтобы вдруг не иметь двух неприятелей, однако ж не забывая достоинства России, чувствуя необходимость загладить ее стыд возвратом нашей древней собственности, похищенной шведами, и только отлагая войну до удобнейшего времени. Сведав о кончине Иоанновой, эстонский наместник де-ла-Гарди спрашивал у новогородского воеводы, князя Василья Федоровича Шуйского-Скопина, хотим ли мы наблюдать договор, заключенный на берегу Плюсы, и будут ли наши послы в Стокгольме для условия о вечном мире? Но в письме своем, как бы желая досадить царю, он назвал короля *великим князем ижерским и Шелонския пятины в земле Русской*. Ему отвечали, что Россия никогда не слыхала о шведском великом князе пятины Шелонской; что он (де-ла-Гарди) может извиниться единственно неведением государственных обычаев, будучи иноземцем и пришлецом, удаленным от двора и дел думных; что царь исполняет договор отца своего, не любит бедствий войны и ждет послов шведских, а своих не может отправить в Стокгольм. Колкость произвела брань. Де-ла-Гарди в новом письме к Шуйскому говорил о старом невежестве, о безумной гордости россиян, еще необразумленных худыми ее следствиями. «Знайте (писал он), что меня не именуют чужеземцем в *высокохвальном* Королевстве Шведском: правда, нередко удаляюсь от двора, но единственно для того, чтобы учить вас смирению. Вы не забыли, думаю, сколько раз мои знамена встречались с вашими; то есть, сколько

раз вы уклоняли их предо мною и спасались бегством?» Ответом на сию непристойность было молчание презрения. Еще благоразумнее и достохвальнее поступил Феодор в личном сношении с королем Иоанном. Предлагая нам не возобновлять гибельного кровопролития, Иоанн в грамоте к царю употребил следующее выражение: «отец твой, терзая собственную землю, питаясь кровию подданных, был злым соседом и для нас и для всех иных венценосцев». Сию грамоту Феодор возвратил королю, велев сказать гонцу его, что к сыну не пишут так о родителе! Но слова не мешали делу: боярин, князь Федор Дмитриевич Шестунов, и думный дворянин, Игнатий Татищев, съехались (25 октября 1585) на устье Плюсы, близ Нарвы, с шведскими знатными сановниками, Класом Тоттом, де-ла-Гардием и другими. Шведы требовали Новагорода и Пскова, а мы и взятых ими городов российских и всей Эстонии, и семисот тысяч рублей деньгами; смягчались, уступали с обеих сторон и не могли согласиться, Шведы грозили нам союзом с Баторием и нанятием ста тысяч воинов: мы грозили им силою одной России, прибавляя: «не имеем нужды, подобно вам, закладывать города свои и нанимать воинов; действуем собственными руками и головами». Последние наши условия для мира, отвергнутые шведами, состояли в том, чтобы король возвратил нам Иваньгород, Яму, Копорье за 10 000 рублей или 20 000 венгерских червонцев. Сказали: «Да будет же война!» Но одумались, и в декабре 1585 года утвердили перемирие на четыре года без всяких уступок, с обязательством вновь съехаться послам обеих держав в августе 1586 года для соглашения о мире вечном. — Во время сих переговоров надменный де-ла-Гарди утонул в Нарове.

Еще две державы европейские находились тогда в сношениях с Феодором: Австрия и Дания. Известив Рудольфа о своем воцарении, он предлагал ему дружбу и свободную торговлю между их государствами. Сановника московского, Новосильцова, честили в Праге, где жил император: не только австрийские министры, но и легат римский, послы испанский, венециянский, давали ему обеды; расспрашивали его о Востоке и Севере; о Персии, землях Каспийских и Сибири; славили могущество царя и хвалили разум посланника, действительно разумного, как то свидетельствуют его бумаги. Он доносил боярский Думе, что Рудольф занимался более своею великолепною конюшнею, нежели правлением, уступив тягостную для него власть умному вельможе Адаму Дитрих-

штейну; что император, бедный казною, не стыдится платить дань султану, единственно на время удаляя тем грозу меча оттоманского; что состояние Европы печально; что Австрия бедствует в мире, а Франция в войне междоусобной; что Филипп II, подозревая сына (Карлоса) в умысле на жизнь отца, думает объявить наследником Испании Эрнеста, цесарева брата. В сих донесениях Новосильцов описывает и предметы гражданской жизни, плоды народного образования, заведения полезные или приятные, им виденные и неизвестные в России, даже сады и теплицы, исполняя посольский наказ любопытного Годунова. Министры австрийские за тайну объявили ему желание утвердить союз с Россиею, чтобы низвергнуть Батория и разделить его королевство; но сия мысль, излишно смелая для слабого Рудольфа, осталась без действия: император хотел послать к царю собственного вельможу, и не сдержал слова, написав с Новосильцовым единственно учтивое письмо к Феодору.

Фридерик, король датский, быв в явной недружбе с Иоанном, спешил уверить нового царя в искреннем доброжелательстве; прислал в Москву знатного чиновника; писал с ним, что всемирная слава о *христианском нраве и чувстве* Феодоровом дает ему надежду прекратить все старые неудовольствия и возобновить дружественные связи с Россиею, государственные и торговые. Сии связи действительно возобновились, и Дания уже не мыслила тревожить нашей морской северной торговли, желая только участвовать в ее выгодах.

Будучи в мире — по крайней мере на время — с христианскою Европою, Россия, спокойная внутри, хотя и не страшилась, однако ж непрестанно береглась Тавриды. Магмет-Гирей, обещая союз и царю и Литве, тайно сносясь с черемисою и явно посылая толпы разбойников в наши юго-восточные пределы, пал от руки брата, Ислам-Гирея, который с янычарскою дружиною и с именем хана прибыл из Константинополя. Убийством наследовав и трон и политику своего предместника, Ислам писал к Феодору: «Отец твой купил мир с нами десятью тысячами рублей, сверх мехов драгоценных, присланных от вас моему брату. Дай мне еще более — и мы раздавим литовского недруга: с одной стороны мое войско, с другой — султанское, с третьей—ногаи, с четвертой полки — твои устремятся на его землю»,—и в то же время крымские шайки, вместе с азовцами, с ногаями Казыева улуса, жгли селения в уездах Белевском, Козельском, Воротынском,

Мещовском, Мосальском: думный дворянин, Михайло Безнин, с легкою конницею встретил их на берегу Оки, под Слободою Монастырскою, разбил наголову, отнял пленников и получил от царя золотую медаль за свое мужество. Еще два раза крымцы, числом от тридцати до сорока тысяч, злодействовали в украйне: в июне 1587 года они взяли и сожгли Кропивну. Воеводы московские били, гнали их, следом пепла и крови; не отходили от берегов Оки; стояли в Туле, в Серпухове, ожидая самого хана. Таврида уподоблялась для нас ядовитому гаду, который издыхает, но еще язвит смертоносным жалом: ввергала огонь и смерть в пределы России, невзирая на свое изнурение и бедствия, коих она была тогда жертвою. Сыновья Магмет-Гиреевы, Сайдет и Мурат, изгнанные дядею, (в 1585 году) возвратились с пятнадцатью тысячами ногаев, свергнули Ислам-Гирея с престола, взяли его жен, казну, опустошили все улусы. Сайдет назвался ханом; но Ислам, бежав в Кафу, через два месяца снова изгнал племянников, с 4000 султанских воинов одержав над ними победу в кровопролитной сече; умертвил многих князей и мурз, обвиняемых в измене; окружил себя турками и дал им волю насильствовать, убивать и грабить. Пользуясь сими обстоятельствами, царь предложил убежище изгнанникам Сайдету и Мурату: дозволил первому кочевать с толпами ногайскими близ Астрахани; звал второго в Москву, честил, обязал присягою в верности и с двумя воеводами отпустил в Астрахань, где надлежало ему быть орудием нашей политики и где встретили его как знаменитого князя владетельного: войско стояло в ружье; в крепости и в пристани гремели пушки, *били в набаты и в бубны, играли в трубы и в сурны*. В сем древнем городе, наполненном купцами восточными, Мурат явился с великолепием царским: открыл пышный двор; торжественно принимал соседственных князей и послов их, держа в руке хартию Феодорову с златою печатию, именовал себя владыкою четырех рек: Дона, Волги, Яика и Терека, всех вольных улусников и козаков; хвалился растоптать Ислама и смирить надменного султана; говорил: «милостию и дружбою царя московского будем царями: брат мой Крымским, я Астраханским; для того *великие люди* российские даны мне в услугу». Так говорил он своим единоверцам, а воеводу астраханского, князя Федора Михайловича Лобанова-Ростовского, тайно убеждал избавить его от строгого, явного присмотра, дабы ногаи и крымцы имели к нему более доверенности и не видали в нем

раба московского: ибо Лобанов и другие воеводы, сохраняя пристойность, наблюдали за всеми движениями Мурата. Величаясь знаками наружного уважения, он ездил в мечеть сквозь ряды многочисленных стрельцов, но не мог ни с кем объясняться без свидетелей. Между тем служил нам ревностно: склонял ногаев к тишине и к покорности; уверял, что царь единственно для их безопасности и для обуздания хищных козаков строит города на Самаре и на Уфе; грозил огнем и мечом мятежному князю сей Орды, Якшисату, за неприязнь к России, и вместе с братом своим, Сайдетом, готовился ударить на Тавриду, с ногаями, козаками, черкесами, ожидая только Феодорова повеления, пушек и десяти тысяч обещанных ему стрельцов для сего предприятия.

Но царь медлил. Опасаясь Стефана гораздо более, нежели Ислама, и неуверенный в мире с первым, он писал к Мурату (в феврале 1587 года): «Благоприятное время для завоевания Тавриды еще не наступило: мы должны прежде усмирить иного врага, сильнейшего. Будь готов с верными ногаями и козаками идти к Вильне, где встретишься со мною; и когда управимся с своим литовским недругом, тогда легко истребим и вашего: поздравим Сайдет-Гирея ханом улусов крымских». А к Исламу приказывал государь в сие же время: «Хан Сайдет-Гирей, царевич Мурат, князья ногайские, черкесские, шавкальские, тюменские и горские молят нас о дозволении свергнуть тебя с престола. Еще удерживаем их на время; еще можем забыть твои разбои, буде искренно желаешь ополчиться на Литву, когда выйдет срок перемирия, заключенного нами с ее властителем кровожадным: ибо мы верны слову и договорам. Я сам поведу рать свою от Смоленска к Вильне; а ты с главною силою иди в Волынию, в область Галицкую и далее; вели иной рати идти к Путивлю, где она соединится с нашею Северскою, чтобы осадить Киев, имея с правой стороны мое войско астраханское, коему должно с царевичем Муратом также вступить в Литву. Испытав худые следствия впадений в Россию, испытай счастия союзом с нею». Предвидя, что Сайдет, низвергнув Ислама, подобно ему сделался бы для нас атаманом разбойников, и что мы променяли бы только одного варвара на другого, Феодор обольщал сыновей Магмет-Гиреевых Крымским ханством, а хана ужасал ими, чтобы иметь более силы для войны с Баторием. Сия хитрость не осталась без действия: Ислам, боясь племянников, уверял Феодора, что впадения крымцев в Россию происходили от своевольства некоторых мурз, казненных за то

без милосердия; что он ждет московского посла с шертною грамотою и наступит всеми силами на Литву. Ислам в самом деле объявил своим улусникам, что им до времени лучше грабить Степанову землю, нежели Феодорову!

Всего более занимаясь Баторием, Швециею, Тавридою, мы видели опасность важную и с другой стороны, будучи в соседстве с державою страшною для целой Европы, и конечно не имели нужды в предостережениях австрийского двора, чтобы ожидать грозы с берегов Воспора. Трофеи султанские в наших руках, замысел Солиманов на Астрахань, бегство и гибель Селимовой рати в пустынях каспийских, не могли остаться без следствия: вся хитрость московской политики должна была состоять в том, чтобы удалить начало неминуемого, ужасного борения до времен благоприятнейших для России, коей надлежало еще усилиться и внешними приобретениями и внутренним образованием, дабы вступить в смертный бой с сокрушителями Византийского царства. Так действовали Иоанн Великий, сын, внук его, умев даже иногда приязнию султанов обуздывать и Крым и Литву; того хотел и Феодор, отправив (в июле 1584 года) посланника Благова в Константинополь, известить султана о восшествии своем на престол, объяснить ему миролюбивую систему России, в рассуждении Турции, и склонить Амурата к дружественной связи с нами. «Наши прадеды (Иоанн и Баязет), — писал Феодор к султану, — деды (Василий и Солиман), отцы (Иоанн и Селим) назывались братьями, и в любви ссылались друг с другом: да будет любовь и между нами. Россия открыта для купцов твоих, без всякого завета в товарах и без пошлины. Требуем взаимности, и ничего более». А посланнику велено было сказать пашам Амуратовым следующее: «Мы знаем, что вы жалуетесь на разбои *терских* козаков, мешающих сообщению между Константинополем и Дербентом, где ныне султан властвует, отняв его у шаха персидского: отец государев, Иоанн, для безопасности черкесского князя, Темгрюка, основал крепость на Тереке, но в удовольствие Селима вывел оттуда своих ратников: с сего времени живут в ней козаки волжские, опальные беглецы, без государева ведома. Жалуетесь еще на утеснение магометанской Веры в России: но кого же утесняем? В сердце московских владений, в Касимове, стоят мечети и памятники мусульманские: царя Шиг-Алея, царевича Кайбулы. Саин-Булат, ныне Симеон, великий князь тверской, принял христианство добровольно, а на место его сделан царем касимовским Мустафалей, Закона Магометова, сын Кайбулин.

Нет, мы никогда не гнали и не гоним иноверцев». Не имея приказа входить в дальнейшие объяснения, Благов, честимый в Константинополе наравне с господарем волошским и более посла венецианского, не без труда убедил Амурата послать собственного чиновника в Москву. Паши говорили: «Султан есть великий самодержец; послы его ездят только к знаменитым монархам: к цесарю, к королю французскому, испанскому, английскому: ибо они имеют с ним важные дела государственные и *присылают ему казну* или богатую дань; а с вами у нас одни купеческие дела». Благов ответствовал: «Султан велик между государями мусульманскими, царь велик между христианскими. Казны и дани не присылаем никому. Торговля важна для государств: могут встретиться и другие дела важнейшие; но если султан не отправит со мною знатного чиновника в Москву, то послам его уже никогда не видать очей царских». Султан велел надеть на Благова кафтан бархатный с золотом и ехать с ним в Москву чаушу своему, адзию[1] Ибрагиму, коего встретили, на берегах Дона, воеводы российские, высланные для безопасности его путешествия. Вручив Феодору письмо султанское (в декабре 1585), Ибрагим отказался от всяких переговоров с боярами; а султан, называя Феодора *королем Московским*, изъявлял ему благодарность за добрую волю быть в дружбе с Оттоманскою империею, подтверждал свободу торговли для наших купцов в Азове и восточным слогом превозносил счастие мира; но требовал в доказательство искренней любви, чтобы царь выдал Ибрагиму изменника, Магмет-Гиреева сына, Мурата, и немедленно унял донского атамана, Кишкина, злого разбойника Азовских пределов. Видя, что система Константинопольского двора в отношении к России не изменилась — что султан не думает о заключении дружественного, государственного договора с нею, желая единственно свободной торговли между обеими державами, до первого случая объявить себя нашим врагом, царь отпустил Ибрагима с ответом, что на Дону злодействуют более козаки литовские, нежели российские; что атаман Кишкин отозван в Москву и товарищам его не велено тревожить азовцев; что о сыне Магмет-Гирееве, нашем слуге и присяжнике, будет наказано к султану с новым послом царским. Но в течение следующих шести лет мы уже никого не посылали в Константинополь, и даже явно действовали против Оттоманской империи.

---

[1] Чауш — посланник; адзий — паша.

В самый день Ибрагимова отпуска (5 октября 1586) государь торжественно вступил в обязательство, которое могло и долженствовало быть весьма неприятно для султана. Около ста лет мы не упоминали о Грузии: в сей несчастной земле, угнетаемой турками и персиянами, властвовал тогда князь, или царь, Александр, который прислав в Москву священника, монаха и наездника черкесского, слезно молил Феодора взять древнюю знаменитую Иверию под свою высокую руку, говоря: «Настали времена ужасные для христианства, предвиденные многими боговдохновенными мужами. Мы, единоверные братья россиян, стенаем от злочестивых: един ты, венценосец православия, можешь спасти нашу жизнь и душу. Бью тебе челом до лица земли со всем народом: да будем твои во веки веков!» Столь убедительно и жалостно предлагали России новое царство, неодолимое для воинственных древних персов и македонян, блестящее завоевание Помпеево! Она взяла его: дар опасный! ибо мы, господством на берегах Кура, ставили себя между двумя сильными, воюющими державами. Уже Турция владела Западною Ивериею и спорила с шахом о Восточной, требуя дани с Кахетии, где царствовал Александр, и с Карталинии, подвластной князю Симеону, его зятю. Но дело шло более о чести и славе нашего имени, нежели о существенном господстве в местах столь отдаленных и едва доступных для России, так, что Феодор, объявив себя верховным владыкою Грузии, еще не знал пути в сию землю! Александр предлагал ему основать крепости на Тереке, послать тысяч двадцать воинов на мятежного князя дагестанского, шавкала (или шамхала), овладеть его столицею, Тарками, и берегом Каспийского моря открыть сообщение с Ивериею чрез область ее данника, князька Сафурского. Для сего требовалось немало времени и приготовлений: избрали другой, вернейший путь, чрез землю мирного князя аварского; отправили сперва гонцов московских, чтобы обязать царя и народ иверский клятвою в верности к России; а за гонцами послали и знатного сановника, князя Симеона Звенигородского, с жалованною грамотою. Александр, целуя крест, клялся вместе с тремя сыновьями, Ираклием, Давидом и Георгием, вместе со всею землею, быть в вечном, неизменном подданстве у Феодора, у *будущих* его детей и наследников, иметь одних друзей и врагов с Россиею, служить ей усердно *до издыхания*, присылать ежегодно в Москву пятьдесят златотканых камок персидских и десять ковров с золотом и серебром,

или, в их цену, собственные *узорочья* земли Иверской; а Феодор обещал всем ее жителям *бесстрашное пребывание в его державней защите* — и сделал, что мог.

В удовольствие султана оставленный нами городок *Терский*, несколько времени служив действительно пристанищем для одних козаков вольных, был немедленно исправлен и занят дружинами стрельцов под начальством воеводы, князя Андрея Ивановича Хворостинина, коему надлежало утвердить власть России над князьями черкесскими и кабардинскими, ее присяжниками со времен Иоанновых, и вместе с ними блюсти Иверию. Другое астраханское войско смирило шавкала и завладело берегами Койсы. Доставив Александру снаряд огнестрельный, Феодор обещал прислать к нему и мастеров, искусных в литии пушек. Ободренный надеждою на Россию, Александр умножил собственное войско: собрал тысяч пятнадцать всадников и пеших; вывел в поле, строил, учил; давал им знамена крестоносные, епископов, монахов в предводители, и говорил князю звенигородскому: «Слава российскому венценосцу! Это не мое войско, а Божие и Феодорово». В сие время паши оттоманские требовали от него запасов для Баки и Дербента: он не дал, сказав: «Я холоп великого царя московского!» и на возражение их, что Москва далеко, а турки близко, ответствовал: «Терек и Астрахань недалеко». Но царская наша Дума благоразумно советовала ему *манить*[1] *султана* и не раздражать до общего восстания Европы на Оттоманскую империю. Встревоженный слухом, что царевич Мурат, будучи зятем шавкаловым, мыслит изменить нам, тайно ссылаясь с тестем, с ногаями, с вероломными князьями черкесскими, чтобы незапно овладеть Астраханью и отдать ее султану, Александр заклинал государя не верить магометанам, прибавляя: «Если что сделается над Астраханью, то я кину свое бедное царство и побегу, *куда несут очи*». Но князь звенигородский успокоил его. «Мы не спускаем глаз с Мурата (говорил он) и взяли аманатов у всех князей ногайских, Казыева улуса и заволжских. Султан с ханом постыдно бежали от Астрахани (в 1569 году); а ныне она еще более укреплена и наполнена людьми воинскими. Россия умеет стоять за себя и своих». Между тем, занимаясь государственною безопасностию Иверии, мы усердно благотворили ей в делах Веры: прислали ученых иереев исправить ее церковные обряды и живописцев

[1] Манить — обнадеживать, улещивать.

для украшения храмов святыми иконами. Александр с умилением повторял, что жалованная грамота царская *упала ему с неба и вывела его из тьмы на свет*: что наши священники суть Ангелы для духовенства иверского, омраченного невежеством. В самом деле, славясь древностию христианства в земле своей, сие несчастное духовенство уже забывало главные уставы Вселенских Соборов и святые обряды богослужения. Церкви, большею частию на крутизне гор, стояли уединенны и пусты: осматривая их с любопытством, иереи московские находили в некоторых остатки древней богатой утвари с означением 1441 года: «Тогда, — изъяснял им Александр, — владелИвериею великий деспот Георгий; она была еще единым царством: к несчастию, прадед мой разделил ее на три княжества и предал в добычу врагам Христовым. Мы окружены неверными; но еще славим Бога истинного и царя благоверного». Князь звенигородский именем России обещал свободу всей Иверии, восстановление ее храмов и городов, коих он везде видел развалины, упоминая в своих донесениях о двух бедных городках, Крыме и Загеме, некоторых селениях и монастырях. С того времени Феодор начал писаться в титуле *государем земли Иверской, грузинских царей и Кабардинской земли, черкасских и горских князей*.

Восстановлением Терской крепости и присвоением Грузии досаждая султану, мы еще более возбуждали его негодование дружбою с Персиею. Известив Феодора о своих мнимых победах над турками, шах Годабенд (или Худабендей) предложил ему изгнать турков из Баки и Дербента, обязываясь уступить нам в вечное владение сии издавна персидские города, если и сам возьмет их. Чтобы заключить союз на таком условии, Феодор послал к шаху (в 1588 году) дворянина Васильчикова, который нашел Годабенда уже в темнице: воцарился сын его, мирза Аббас, свергнув отца. Но сия перемена не нарушила доброго согласия между Россиею и Персиею. Новый шах, с великою честию приняв в Казбине сановника Феодорова, послал двух вельмож, Бутакбека и Андибея, в Москву, объявить царю, что уступает нам не только Дербент с Бакою, но и Таврис и всю Ширванскую землю, если нашим усердным содействием турки будут вытеснены оттуда; что султан предлагал ему мир, желая выдать дочь свою за его племянника, но что он (Аббас) не хочет и слышать о сем, в надежде на союз России и венценосца испанского, коего посол находился тогда в Персии. Особенно представленные Годунову, вельможи шаховы сказали

ему: «Если государи наши будут в искренней любви и дружбе, то чего не сделают общими силами? Мало выгнать турков из персидских владений: можно завоевать и Константинополь. Но такие великие дела совершаются людьми ума великого: какая для тебя слава, муж знаменитый и достоинствами и милостию царскою, если твоими мудрыми советами избавится мир от насилия оттоманов!» Им ответствовали, что мы уже действуем против Амурата; что войско наше на Тереке и заграждает путь султанскому от Черного моря к персидским владениям; что другое, еще сильнейшее, в Астрахани; что Амурат велел было своим пашам идти к морю Каспийскому, но удержал их, сведав о новых российских твердынях в сих местах опасных, о соединении всех князей черкесских и ногайских, готовых под московскими знаменами устремиться на турков. С сим отпустили послов, сказав, что наши выедут вслед за ними к шаху; но они еще не успели выехать, когда узнали в Москве о мире Аббаса с султаном.

Так действовала внешняя, и мирная и честолюбивая политика России в течение первых лет Феодорова царствования или Годунова владычества, не без хитрости и не без успеха, более осторожно, нежели смело, — грозя и маня, обещая, и не всегда искренно. Мы не шли на войну, но к ней готовились, везде укрепляясь, везде усиливая рать: желая как бы невидимо присутствовать в ее станах, Феодор учредил общие смотры, избирая для того воинских царедворцев, способных, опытных, которые ездили из полку в полк, чтобы видеть исправность каждого, оружие, людей, устройство, и доносить государю. Воеводы, неуступчивые между собою в зловредных спорах о родовом старейшинстве, без прекословия отдавали себя на суд дворянам, стольникам, детям боярским, представлявшим лицо государево в сих смотрах.

Внутри царства все было спокойно. Правительство занималось новою описью людей и земель пашенных, уравнением налогов, населением пустынь, строением городов. В 1584 году московские воеводы, Нащокин и Волохов, основали на берегу Двины город Архангельск, близ того места, где стоял монастырь сего имени и двор купцов английских. Астрахань, угрожаемую султаном и столь важную для наших торговых и государственных дел с Востоком, для обуздания ногаев, черкесских и всех соседственных с ними князей, укрепили каменными стенами. В Москве, вокруг Большого Посада, заложили (в 1586 году) *Белый* или *Царев* город, начав от Тверских ворот (строителем оного назван в летопи-

си русский художник Конон Федоров), а в Кремле многие палаты: Денежный двор, приказы посольский и поместный, большой приход, или казначейство, и дворец Казанский. Упомянем здесь также о начале нынешнего Уральска. Около 1584 года шесть или семь сот волжских козаков выбрали себе жилище на берегах Яика, в местах привольных для рыбной ловли; окружили его земляными укреплениями, и сделались ужасом ногаев, в особенности князя Уруса, Измаилова сына, который непрестанно жаловался царю на их разбои и коему царь всегда ответствовал, что они беглецы, бродяги, и живут там самовольно; но Урус не верил и писал к нему: «Город столь значительный может ли существовать без твоего ведома? Некоторые из сих грабителей, взятые нами в плен, именуют себя людьми царскими». Заметим, что тогдашнее время было самым цветущим в истории наших донских или волжских козаков-витязей. От Азова до Искера гремела слава их удальства, раздражая султана, грозя хану, смиряя ногаев, утверждая власть московских венценосцев над севером Азии.

В сих обстоятельствах, благоприятных для величия и целости России, когда все доказывало ум и деятельность правительства, то есть Годунова, он был предметом ненависти и злых умыслов, несмотря на все его уловки в искусстве обольщать людей. Сносясь от лица своего с монархами Азии и Европы, меняясь дарами с ними, торжественно принимая их послов у себя в доме, высокомерный Борис желал казаться скромным: для того уступал первые места в Совете иным старейшим вельможам; но, сидя в нем на *четвертом* месте, одним словом, одним взором и движением перста заграждал уста противоречию. Вымышлял отличия, знаки царской милости, чтобы пленять суетность бояр, и для того ввел в обыкновение званые обеды, для мужей думных, во внутренних комнатах дворца, где Феодор угощал вместе и Годуновых и Шуйских, иногда не приглашая Бориса: хитрость бесполезная! Кого *великий боярин* приглашал в сии дни к своему обеду, тому завидовали гости царские. Все знали, что правитель оставляет Феодору единственно имя царя — и не только многие из первых людей государственных, но и граждане столицы изъявляли вообще нелюбовь к Борису. Господство беспредельное в самом достойном вельможе бывает противно народу. Адашев имел некогда власть над сердцем Иоанновым и судьбою России, но стоял смиренно за монархом умным, пылким, деятельным, как бы исчезая в его славе. Годунов самовластвовал явно и величался пред троном, закрывая своим надмением

слабую тень венценосца. Жалели о ничтожности Феодоровой и видели в Годунове хищника прав царских; помнили в нем Четово могольское племя и стыдились унижения Рюриковых державных наследников. Льстецов его слушали холодно, неприятелей со вниманием, и легко верили им, что зять Малютин, временщик Иоаннов, есть тиран, хотя еще и робкий! Самыми общественными благодеяниями, самыми счастливыми успехами своего правления он усиливал зависть, острил ее жало и готовил для себя бедственную необходимость действовать ужасом; но еще старался удалить сию необходимость: для того хотел мира с Шуйскими, которые, имея друзей в Думе и приверженников в народе, особенно между людьми торговыми, не преставали враждовать Годунову, даже открыто. Первосвятитель Дионисий взялся быть миротворцем: свел врагов в своих палатах Кремлевских, говорил именем отечества и Веры; тронул, убедил — так казалось — и Борис с видом умиления подал руку Шуйским: они клялися жить в любви братской, искренно доброхотствовать друг другу, вместе радеть о государстве — и князь Иван Петрович Шуйский с лицом веселым вышел от митрополита на площадь к Грановитой палате известить любопытный народ о сем счастливом мире: доказательство, какое живое участие принимали тогда граждане в делах общественных, уже имев время отдохнуть после *Грозного*. Все слушали любимого, уважаемого Героя псковского в тишине безмолвия; но два купца, выступив из толпы, сказали: «Князь Иван Петрович! вы миритесь нашими головами: и нам и вам будет гибель от Бориса!» Сих двух купцов в ту же ночь взяли и сослали в неизвестное место, по указу Годунова, который, желав миром обезоружить Шуйских, скоро увидел, что они, не уступая ему в лукавстве, под личиною мнимого нового дружества оставались его лютыми врагами, действуя заодно с иным, важным и дотоле тайным неприятелем великого боярина.

Хотя духовенство российское никогда сильно не изъявляло мирского властолюбия, всегда более угождая, нежели противясь воле государей в самых делах церковных; хотя, со времен Иоанна III, митрополиты наши в разных случаях отзывались торжественно, что занимаются единственно устройством богослужения, христианским учением, совестию людей, спасением душ: однако ж, присутствуя в Думах земских, сзываемых для важных государственных постановлений — не законодательствуя, но одобряя или утверждая законы гражданские — имея право советовать царю и боярам, толковать им уставы царя Небесного для земного блага людей — сии иерархии

участвовали в делах правления соответственно их личным способностям и характеру государей: мало при Иоанне III и Василии, более во время детства и юности Иоанна IV, менее в годы его тиранства. Феодор, духом младенец, превосходя старцев в набожности, занимаясь церковию ревностнее, нежели державою, беседуя с иноками охотнее, нежели с боярами, какую государственную важность мог бы дать сану первосвятительства, без руководства Годунова, при митрополите честолюбивом, умном, сладкоречивом? ибо таков был Дионисий, прозванный *мудрым Грамматиком*. Но Годунов не для того хотел державной власти, чтобы уступить ее монахам: честил духовенство, как и бояр, только знаками уважения, благосклонно слушал митрополита, рассуждал с ним, но действовал независимо, досаждая ему непреклонностию своей воли. Сим объясняется неприязненное расположение Дионисия к Годунову и тесная связь с Шуйскими. Зная, что правитель велик царицею — думая, что слабодушный Феодор не может иметь и сильной привязанности, ни к Борису, ни к самой Ирине; что действием незапности и страха легко склонить его ко всему чрезвычайному—митрополит, Шуйские, друзья их тайно условились с гостями московскими, купцами, некоторыми гражданскими и воинскими чиновниками именем всей России торжественно ударить челом Феодору, чтобы он развелся с неплодною супругою, отпустив ее, как вторую Соломонию, в монастырь, и взял другую, дабы иметь наследников, необходимых для спокойствия державы. Сие моление народа, будто бы устрашаемого мыслию видеть конец Рюрикова племени на троне, хотели подкрепить волнением черни. Выбрали, как пишут, и невесту: сестру князя Федора Ивановича Мстиславского, коего отец, низверженный Годуновым, умер в Кирилловской области. Написали бумагу; утвердили оную целованием креста... Но Борис, имея множество преданных ему людей и лазутчиков, открыл сей ужасный для него заговор еще вовремя, и поступил, казалось, с редким великодушием: без гнева, без укоризн хотел усовестить митрополита; представлял ему, что развод есть беззаконие; что Феодор еще может иметь детей от Ирины, цветущей юностию, красотою и добродетелию; что во всяком случае трон не будет без наследников, ибо царевич Димитрий живет и здравствует. Обманутый, может быть, сею кротостию, Дионисий извинялся, стараясь извинить и своих единомышленников ревностною, боязливою любовию к спокойствию России, и дал слово, за себя и за них, не мыслить более о разлучении супругов нежных; а Годунов, обещаясь не мстить ни виновникам, ни

участникам сего кова, удовольствовался одною жертвою: несчастную княжну Мстиславскую, как опасную совместницу Ирины, постригли в монахини. Все было тихо в столице, в Думе и при дворе, но недолго. Чтобы явно не нарушить данного обещания, Годунов лицемерно совестный, искал другого предлога мести, оправдываясь в уме своем злобою врагов непримиримых, законом безопасности собственной и государственной, всеми услугами, оказанными им России и еще замышляемыми в ревности к ее пользе — искал и не усомнился прибегнуть к средству низкому, к ветхому орудию Иоаннова тиранства: ложным доносам. Слуга Шуйских, как уверяют, продал ему честь и совесть; явился во дворце с изветом, что они в заговоре с московскими купцами и думают изменить царю. Шуйских взяли под стражу; взяли и друзей их, князей Татевых, Урусовых, Кольчовых, Быкасовых, многих дворян и купцов богатых. Нарядили суд; допрашивали обвиняемых и свидетелей; людей знатных и чиновных не коснулись телесно, купцов и слуг пытали, безжалостно и бесполезно: ибо никто из них не подтвердил клеветы доносчика — так говорил народ; но суд не оправдал судимых. Шуйских удалили, хваляся милосердием и признательностию к заслуге Героя псковского: князя Андрея Ивановича, объявленного главным преступником, сослали в Каргополь; князя Ивана Петровича, будто бы им и его братьями обольщенного, на Белоозеро; у старшего из них, князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, отняли каргопольское наместничество, но дозволили ему, как невинному, жить в Москве; других заточили в Буй-городок, в Галич, в Шую; князя Ивана Татева в Астрахань, Крюка-Кольчова в Нижний Новгород, Быкасовых и многих дворян на Вологду, в Сибирь, в разные пустыни; а купцам московским (участникам заговора против Ирины), Федору Нагаю с шестью товарищами, отсекли головы на площади. Еще не трогали митрополита; но он не хотел быть робким зрителем сей опалы и с великодушною смелостию, торжественно, пред лицом Феодора назвал Годунова клеветником, тираном, доказывая, что Шуйские и друзья их гибнут единственно за доброе намерение спасти Россию от алчного властолюбия Борисова. Так же смело обличал правителя и крутицкий архиепископ Варлаам, грозя ему казнию Небесною и не боясь земной, укоряя Феодора слабостию и постыдным ослеплением. Обоих, Дионисия и Варлаама, свели с престола (кажется, без суда): первого заточили в монастырь Хутынский, второго в Антониев новогородский, посвятив в митрополиты ростовского архиепископа Иова. Опасаясь людей, но уже

не страшась Бога, правитель — так уверяют летописцы — велел удавить двух главных Шуйских в заточении: боярина Андрея Ивановича, отличного умом, и знаменитого князя Ивана Петровича... Спаситель Пскова и нашей чести воинской, муж бессмертный в истории, коего великий подвиг описан современниками на разных языках европейских ко славе русского имени, лаврами увенчанную главу свою предал срамной петле в душной темнице или в яме! Тело его погребли в обители Св. Кирилла... Так начались злодейства; так обнаружилось сердце Годунова, упоенное прелестями владычества, раздраженное кознями врагов, ожесточенное местию! — Надеясь страхом обуздывать недоброжелательство, милостями умножать число приверженников и мудростию в делах государственных сомкнуть уста злословию, Борис дерзнул тогда же на обман вероломный и новую лютость. Мнимый, единственный в истории король ливонский, бедный Магнус, еще в Иоанново время кончил жизнь в Пильтене, где вдовствующая супруга его, Мария Владимировна, и двулетняя дочь Евдокия оставались без имения, без отечества, без друзей: Годунов призвал их в Москву, обещая богатый удел и знаменитого жениха юной вдове, Марии; но *предвидя будущее* — опасаясь, чтобы, *в случае Феодоровой и Димитриевой кончины*, сия правнучка Иоанна Великого не вздумала, хотя и беспримерно, хотя и несогласно с нашими государственными уставами, объявить себя наследницею трона (коим он уже располагал в мыслях) — Борис, вместо удела и жениха, представил ей на выбор монастырь или темницу! Инокиня неволею, Мария требовала одного утешения: не быть разлученною с дочерью; но скоро оплакала ее смерть *неестественную*, как думали, и еще жила лет восемь в глубокой печали, с горькими слезами воспоминая судьбу родителей, мужа и дочери. Сии две жертвы подозрительного беззакония, Мария и Евдокия, лежат в Троицкой Сергиевой Лавре, близ того места, где, вне храма, видим и смиренную, как бы опальную могилу их гонителя, ни величием, ни славою не спасенного от праведной мести Небесной!

Но сия месть еще ожидала дальнейших преступлений... Смирив двор опалою Шуйских, духовенство свержением митрополита, а граждан столицы казнию знатных гостей московских — окружив царя и заняв Думу своими ближними родственниками, Годунов уже не видал никакого сопротивления, никакой важной для себя опасности до конца Феодоровой жизни — или дремоты: ибо так можно назвать смиренную праздность сего жалкого венценосца, которую современники описывают следующим образом.

«Феодор вставал обыкновенно в четыре часа утра и ждал духовника в спальне, наполненной иконами, освещенной днем и ночью лампадами. Духовник приходил к нему с крестом, благословением, Святою водою и с иконою Угодника Божия, празднуемого в тот день церковию. Государь кланялся до земли, молился вслух минут десять и более; шел к Ирине, в ее комнаты особенные, и вместе с нею к Заутрене; возвратясь, садился на креслах в большой горнице, где приветствовали его с добрым днем некоторые ближние люди и монахи; в 9 часов ходил к Литургии, в 11 обедал, после обеда спал не менее трех часов; ходил опять в церковь к Вечерне и все остальное время до ужина проводил с царицею, с шутами и с карлами, смотря на их кривлянья или слушая песни — иногда же любуясь работою своих ювелиров, золотарей, швецов, живописцев; ночью, готовясь ко сну, опять молился с духовником и ложился с его благословением. Сверх того всякую неделю посещал монастыри в окрестностях столицы и в праздничные дни забавлялся медвежьею травлею. Иногда челобитчики окружали Феодора при выходе из дворца: *избывая мирские суеты и докуки*, он не хотел слушать их и посылал к Борису!»

Внутренне радуясь сему уничижительному бездействию царя, хитрый Годунов тем более старался возвысить Ирину в глазах россиян, одним ее державным именем, без Феодорова, издавая милостивые указы, прощая, жалуя, утешая людей, чтобы общею к ней любовию, соединенною с уважением и благодарностию народа, утвердить свое настоящее величие и приготовить будущее.

Глава II
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ФЕОДОРА ИОАННОВИЧА
1587—1592 гг.

Смерть Батория. Важные переговоры с Литвою. Перемирие. Сношения с Австриею и с Тавридаю. Война Шведская. Новое перемирие с Литвою. Величие Годунова. Учреждение патриаршества в России. Замысел Годунова. Убиение царевича Димитрия. Пожар в Москве. Нашествие хана и битва под Москвою. Новый сан Годунова. Донской монастырь. Клевета на правителя и месть его. Милосердие и слава Годунова. Беременность Ирины. Рождение и кончина царевны Феодосии.

12 декабря 1586 года скончался Стефан Баторий (или от яда или от неискусства врачей, как думали), один из знаменитейших венценосцев в мире, один из опаснейших злодеев России, коего смерть более обрадовала нас, нежели огорчила его державу: ибо мы боялись увидеть в нем нового Гедимина, нового Витовта; а Польша и Литва неблагодарные предпочитали дешевое спокойствие драгоценному величию. Если бы жизнь и Гений Батория не угасли до кончины Годунова, то слава России могла бы навеки померкнуть в самом первом десятилетии нового века: столь зависима судьба государств от лица и случая, или от воли Провидения!

20 декабря Боярская Дума получила из разных мест известие о смерти короля, хотя еще и не совсем достоверное: воеводы наши с литовской границы писали о том к царю как о слухе, прибавляя, что вельможные паны мыслят избрать себе в государи Стефанова брата, князя седмиградского, или шведского королевича, Сигизмунда, или его (Феодора). Честь и польза сего возможного соединения трех держав казались Годунову очевидными: немедленно послали дворянина, Елизария Ржевского, в Литву: удостовериться в Стефановой кончине, изъявить панам участие в их горести и предложить им избрание царя в короли. Ржевский возвратился из Новагородка с благодарным письмом литовских вельмож; но они не хотели входить в переговоры, сказав, что дело столь великое будет решено сеймом в Варшаве, куда царь должен прислать своих послов; тайно же дали чувствовать Ржевскому, что Феодор и бояре московские пишут к ним слишком холодно, не следуя примеру императора, Франции и Швеции, которые осыпают их (панов) не только ласковыми словами, но и дарами богатыми. Между тем Польша и Литва были в сильном волнении; страсти кипели; вельможи и дворянство разделились: одни держали сторону Замойского, сподвижника Стефанова; другие Зборовских, врагов Батория, так, что они в торжественных собраниях обнажали мечи на усердных чтителей его славной памяти. Обе стороны ждали сейма как битвы: ополчались, нанимали воинов, имели стражу и станы в поле. Но смежная с нами Литва опасалась России; для того знатные послы, вельможи Черниковский и князь Огинский, прибыли в Москву (6 апреля) и молили Феодора утвердить новою записью перемирие с их сиротствующею державою до конца 1588 года. Охотно заключая сей договор, бояре сказали им, что от вельмож коронных и литовских зависит счастие и бедствие отечества: счастие, если под-

дадутся великому монарху России; бедствие, если вновь обратятся к седмиградскому варвару или к тени Шведского королевства. «Вы уже имели Батория на престоле (говорили они) и с ним войну, разорение, стыд: ибо руками своего венценосца платили дань султану. Можно ли ожидать великодушия от пришельца, низкого родом и духом, алчного единственно к корысти и безжалостного к христианству? В его ли сердце обитает святая любовь, без коей и власть двигать горы, по выражению апостола, есть ничто? Не в угодность ли оттоманам хотите избрать и шведского королевича? Без сомнения угодите им: ибо они радуются междоусобию христиан; а кровопролитие неминуемо, если Сигизмунд с ненавистию к России сядет на престол Ягеллонов. Монарха нашего вы уже знаете, равно великого и милосердого; знаете, что первым действием его воцарения было бескорыстное освобождение ваших пленников: великодушие непонятное для Батория, ибо он торговал российскими пленниками до конца дней своих. Баторий в могиле, и Феодор не радуется, не мыслит о мести, но изъявляет вам сожаление и предлагает способ навеки успокоить Литву с Польшею; желает королевства не для умножения сил и богатства державы своей (ибо силен и богат Россиею), но для защиты вас от неверных; не хочет никаких прибытков; уступит панам и рыцарству все, что земля королю платила: даст им сверх того поместья в новых российских владениях и собственною казною воздвигнет крепости на берегах Днепра, Донца и Дона, чтобы нога оттоманов и крымцев не топтала ни Киевской, ни Волынской, ни Подольской области. Цари неверные опустят руки; заключенные в своих пределах, едва ли и в них удержатся. Россия возьмет для себя Азов, Кафу, ханство Крымское; для вас земли Дунайские. Многочисленные воинства ожидают слова государева, чтобы устремиться... на кого? решите... на врагов ли христианства, если будете иметь единого монарха с нами, или на Литву и на Ливонию, если предпочтете нам шведов. Думайте не о дружбе султана: ибо какое согласие между светом и тьмою, какое общение верному с неверным? думайте о славе и победе. Что мешает нашему братству? закоренелая ваша, по грехам, ненависть к России. Обратимся к любви: все зависит от начала, и малый огонь производит великий пламень. Государь российский, обещая вам безопасность и величие, не требует от вас ничего, кроме *ласки*». Послы убеждали царя отправить на сейм кого-нибудь из вельмож своих, и два боярина, Степан Васильевич Годунов, князь Федор Михай-

лович Троекуров, с знатным дьяком Васильем Щелкаловым, немедленно выехали из Москвы в Варшаву, имея полную доверенность государеву и 48 писем к духовным и к светским, коронным и литовским сановникам, но без даров. Феодор предлагал сейму следующие условия:

«1) Государю российскому быть королем польским и великим князем литовским; а народам обеих держав соединиться вечною, неразрывною приязнию.

2) Государю российскому воевать *лично*, и всеми силами, Оттоманскую империю, низвергнуть хана крымского, посадить на его место Сайдет-Гирея, слугу России, и заключив союз с цесарем, королем испанским, шахом персидским, освободить Молдавию, землю Волошскую, Боснию, Сербию, Венгрию, от ига султанского, чтобы присоединить оные к Литве и Польше, коих войско в сем случае будет действовать вместе с российским.

3) Рать московская, казанская, астраханская, без найма и платы, будет всегда готова для защиты Литвы и Польши.

4) Государю не изменять ни в чем их прав и вольностей без приговора Вельможной Думы: она располагает независимо казною и всеми доходами государственными.

5) Россиянам в Литве и Польше, литовцам и полякам в России вольно жить и совокупляться браком.

6) Государь жалует земли бедным дворянам литовским и польским на Дону и Донце.

7) Кому из ратных людей Стефан Баторий остался должным, тем платит государь из собственной казны, до ста тысяч золотых монет венгерских.

8) Деньги, которые шли на содержание крепостей, уже не нужных, между Литвою и Россиею, употребить обеим державам на войну с неверными.

9) Россия, изгнав шведов и датчан из Эстонии, уступит все города ее, кроме Нарвы, Литве и Польше.

10) Купцам литовским и польским открыть свободный путь во все земли государства Московского и чрез оные в Персию, в Бухарию и другие восточные страны, также морем к устью Двины, в Сибирь и в великое *Китайское* государство, где родятся камни драгоценные и золото».

В письменном наставлении, данном послам, достойна замечания статья о царевиче Димитрии, где сказано: «если паны упомянут о юном брате государевом, то изъяснить им, что он младенец,

не может быть у них на престоле и должен воспитываться в своем отечестве». Правитель готовил ему иную долю!

Нет сомнения, что Феодор, подобно отцу и деду, искренно хотел королевского сана, чтобы соединить державы, искони враждебные, узами братства, предлагая Вельможной Думе условия выгодные, с обещаниями лестными, с надеждами блестящими, — жертвуя миллионом нынешних рублей, и в противность главному Иоаннову требованию соглашаясь быть королем избранным, с властию ограниченною, без всякого наследственного права для его детей или рода. Действительно ли мыслил царь или правитель ополчиться на султана, чтобы завоеванием богатых земель Дунайских усилить Литву и Польшу, которые могли впредь иметь особенных властителей и снова враждовать России? Но он для такого важного предприятия ставил в условие союз императора, Испании, Персии, и не входил в обязательство решительное, прельщая воображение панов мыслию смелою и великою. Готовый повидимому к уступчивости и снисхождению для успеха в своем искании, Феодор оказал и хладнокровную непреклонность, когда сейм безрассудно потребовал от него жертв несовместных с православием, достоинством и пользою России.

Бояр наших, Степана Годунова и князя Троекурова, именем польской Думы остановили (12 июля [1587 г.]) в селе Окуневе, в пятнадцати верстах от Варшавы, сказав им, что для них нет безопасного места в столице, исполненной неистовых людей воинских, мятежа и раздоров. Так было действительно. Духовенство, вельможи, рыцарство или шляхта не могли согласиться в избрании короля: Замойский и друзья его, в угодность вдовствующей супруге Баториевой, предлагали шведского принца, Сигизмунда, сына ее сестры; Зборовские — австрийского герцога, Максимилиана; паны литовские и примас, архиепископ гнезненский, — Феодора; а султан, доброхотствуя Стефанову брату, грозил им войною, если они, вместо его, изберут Максимилиана или царя московского, врагов Оттоманской империи. Так называемое *рыцарское коло*[1], место шумных совещаний, представляло иногда зре-лище битвы: толпы вооруженных стреляли друг в друга. Наконец условились благоразумно прекратить междоусобие и выставить в поле три знамени: российское, цесарское, шведское, чтобы видеть под каждым число избирателей, и тем решить большинство голосов. Зна-

[1] Коло — мирская сходка, круг, совет.

менем Феодоровым была *московская шапка*, австрийским *шляпа немецкая*, шведским *сельдь* — и первое одержало верх: под ним стеклося такое множество людей, что друзья Австрии и шведов, видя свою малочисленность, от стыда присоединились к нашим. Но сие блестящее торжество российской стороны оказалось бесплодным, когда дело дошло до условий.

4 августа духовенство, сенаторы, дворянство обеих соединенных держав с великою честию приняли Годунова и Троекурова в *рыцарском коле*; выслушали предложения Феодоровы и, желая дальнейших объяснений, избрали 15 вельмож, духовных и светских, коим надлежало съехаться для того с нашими послами в селе Каменце, близ Варшавы. Там, к удивлению Годунова и Троекурова, сии депутаты встретили их следующими, неожиданными вопросами; «Соединит ли государь московский Россию с королевством так, как Литва соединилась с Польшею, навеки и неразрывно? приступит ли к Вере римской? будет ли послушен Наместнику Апостольскому? будет ли венчаться на королевство и приобщится ли Святых Таин в латинской церкви, в Кракове, от архиепископа гнезненского? Будет ли в Варшаве чрез 10 недель? и напишет ли в своем титуле королевство Польское выше царства Московского?» Бояре ответствовали: «1) Государь желает навеки соединить Литву и Польшу с Россиею так, чтобы они всеми силами помогали друг другу в случае неприятельского нападения и чтобы их жители могли свободно ездить из земли в землю: литовцы к нам, россияне в Литву, *с дозволения государя*. 2) Он родился и будет жить всегда в греческой православной Вере, следуя святым обрядам ее; венчаться на королевство должен в Москве или в Смоленске, в присутствии ваших чинов государственных; обязывается чтить папу и не мешать действию его власти над духовенством польским, но не допустит его мешаться в дела греческой церкви. 3) Царь приедет к вам, когда успеет. 4) *Корона Ягайлова будет под шапкою Мономаха*, и титул Феодоров: *царь и великий князь всея России, Владимирский и Московский, король Польский и великий князь Литовский*. Если бы и Рим Старый и Рим Новый, или царствующий град Византия, приложились к нам: то и древнего, славного их имени государь не поставил бы в своем титуле выше России».

«Итак, Феодор не желает быть нашим королем, — возразили паны: — отказывает решительно, обещает неискренно; пишет, например, что его войско готово защитить нас от султана: турки

обыкновенно впадают в нашу землю из Молдавии с Дуная, из Трансильвании, от Белагорода; а войско московское далеко, еще далее астраханское и казанское. Султан, цесарь, шведы грозят нам войною в случае, если изберем короля не по их желанию: что же даст нам царь, и сколько денег будет давать ежегодно для содержания рати? ибо у нас довольно своих людей: московских не требуем. Деньги нужны и для того, чтобы усилить сторону ваших доброжелателей на сейме. Знаете ли, что император за избрание Максимилиана обязывается тотчас прислать Вельможной Думе 600 тысяч золотых и ежегодно присылать столько же в течение шести лет; а король испанский 800 тысяч и столько же ежегодно в течение осьми лет?» — Послы сказали: «У царя готово многочисленное легкое войско для вашей защиты: козаки волжские, донские и самые крымцы: ибо ханом их будет присяжник государев, Сайдет-Гирей. Царь намерен помогать вам и казною, но без всякого обязательства. Хвалитесь щедростию Австрии и короля испанского; но рассудите, что благоверный царь желает венца королевского не для своей пользы и чести, а единственно ради вашего спокойствия и величия. Сколько лет христианская кровь лилася в битвах россиян с Литвою? Государь мыслит навеки удалить сие бедствие; а вы, паны, не думая о том, весите золото испанское и австрийское! Да будет, как вам угодно; и если казна для вас милее покоя христианского, то знайте, что государь не хочет быть купцом, и за деньги ему не надобно доброжелателей, ни вашего королевства; не хочет питать сребролюбия людей бесчувственных ко благу отечества и вооружать их друг на друга в мятежных распрях сейма: ибо не любит ни драк, ни беззакония!»

Сия твердость произвела сильное действие в депутатах: они встали, несколько минут рассуждали между собою тихо и наконец с досадою объявили послам, что Феодору не быть на престоле Ягеллонов; когда же Годунов и Троекуров предложили им отсрочить избрание короля и послать вельмож в Москву для новых объяснений с царем, кардинал Радзивил и другие депутаты отвечали: «Вы смеетесь над нами. Из всех краев Литвы и Польши мы съехались в Варшаву, живем здесь осьмую неделю как на войне, тратим спокойствие и деньги; а вы хотите еще другого сейма! Не разъедемся без выбора». Тогда Феодоровы послы советовали им избрать Максимилиана, благоприятеля России. «Не имеем нужды в ваших наставлениях, — сказали паны с грубостию, — нам

указывает Бог, а не царь русский». — Хотели по крайней мере заключить мир, но также не могли согласиться в условиях: Литва требовала Смоленска и земли Северской, а Феодор Дерпта. Разошлися с неудовольствием; но сим еще не кончились переговоры.

В сей самый день и в следующие были жаркие прения между государственными чинами сейма, друзьями Австрии, Швеции и России. Первые, особенно духовенство и все епископы, говорили, что совесть не дозволяет им иметь королем иноверца, еретика; а единомышленники их, светские вельможи, прибавляли: «естественного, закоренелого врага Литвы и Польши, который сядет на королевство с тяжким могуществом России, чтобы подавить нашу вольность, все права и законы. Вы жаловались на угнетение, когда Стефан привел к нам несколько сот гайдуков венгерских: что будет, когда увидим здесь грозную *опричнину*, несметные тысячи надменных, суровых москвитян? Поверите ли, чтобы они в гордости своей захотели к нам *присоединиться*? Не скорее ли захотят *приставить державу нашу к Московской, как рукав к кафтану*?» Другие унижали Феодора, называя его скудоумным, неспособным блюсти государство, обуздывать своевольство, дать силу королевской власти, прибавляя, что он едва ли чрез шесть месяцев может быть к ним, а турки, непримиримые враги царя, завоевателя двух или трех держав мусульманских, успеют между тем взять Краков. Вельможи нашей стороны возражали так: «Первый закон для государства есть безопасность: избранием Феодора мы примиряем врага сильного, Россию, и находим в ней защиту от другого, не менее опасного: от турков. Султан запрещает нам возвести Феодора на престол королевства; но должно ли слушаться неприятеля? Не должно ли именно сделать, чего он не желает? Что касается до Веры, то Феодор крещен во имя Святой Троицы, и мы знаем, что в Риме есть церковь греческая: следственно папа не осуждает сей Веры и без сомнения дозволит ему в ней остаться, с некоторыми, может быть, условиями. Феодор великодушно освободил наших пленников, усмирил мятежи в своем царстве, два раза победил хана; желает в духе любви соединить державы, коих взаимная ненависть произвела столько бедствий, и будучи властителем самодержавным, господствовать именем закона над людьми свободными: где же его скудоумие? Не видим ли в нем монарха человеколюбивого и мудрого? Мог ли бы он без ума править россиянами, непостоянными и лукавыми? К тому же скудоумие властителя менее гибельно для государ-

ства, чем внутренние раздоры. Мы замышляем не новое: сколь многие из вас, до избрания и после бегства Генрикова, хотели царя московского, в удостоверении, что Иоанн оставил бы тиранство в России, а к нам прибыл бы только с могуществом спасительным? Переменилось ли что-нибудь с того времени? разве к лучшему: ибо Феодор и в России не тиранствует, но любит подданных и любим ими».

Сии убеждения заставили сейм возобновить переговоры: депутаты его вторично съехались с московскими послами в Каменце и хотели, чтобы царь немедленно дал Вельможной Думе 100 тысяч золотых на военные издержки, основал крепости не на Дону, где они могут быть полезны только для России, а на литовской юго-западной границе,— платил жалованье козакам днепровским из казны своей, отвел земли польской шляхте не в дальних, диких степях, каких много и в Литве за Киевом, но в областях Смоленской и Северской. Послы изъявили некоторую уступчивость: соглашались дать панам 100 тысяч золотых; не отвергали и других требований; предложили, чтобы Феодору писаться в титуле *царем всея России, королем Польским, великим князем Владимирским, Московским и Литовским*. Самое главное препятствие в рассуждении Веры уменьшилось, когда воевода виленский, Христофор Радзивил, и троцкий, Ян Глебович, тайно сказали нашим послам, что Феодор может, вопреки их духовенству, остаться в греческой Вере, если испросит только благословение у папы и даст ему надежду на соединение церквей. «Для своего и нашего блага (говорили они) Феодор должен быть снисходителен: ибо мы, в случае его упрямства, изберем врага России, шведа, а не Максимилиана, о коем в Литве никто слышать не хочет, для того, что он корыстолюбив и беден: заведет нас в войну с султаном и не поможет королевству ни людьми, ни казною. Сам император велик единственно титулом и богат только долгами. Знаем обычай австрийцев искоренять права и вольности в землях, которые им поддаются, и везде обременять жителей несносными налогами. К тому же у нас писано в книгах и вошло в пословицу, что славянскому языку не видать добра от немецкого!»

Но Феодор не хотел искать милости в папе, ни манить его лживым обещанием соединения церквей; не хотел также (чего неотменно требовали и все литовские паны) венчаться на королевство в Польше, от святителя латинского, ужасаясь мысли изменить тем православию или достоинству российского монарха—и

послы наши, имея дружелюбные свидания с депутатами сейма, 13 августа услышали от них, что канцлер Замойский и немногие паны выбрали шведского принца, а воевода познанский, Станислав Згурка, и Зборовские Максимилиана. Тщетно вельможи литовские уверяли наших бояр, что сие избрание, как незаконное, останется без действия; что если Феодор искренно желает быть королем, и решится, не упуская времени, к ним приехать, то они все *головами своими кинутся* к Кракову и не дадут короны ни шведу, ни австрийцу! Замойский мечом и золотом вдовствующей королевы Анны доставил престол Сигизмунду, уничтожив избрание Максимилиана. Послы наши успели только в одном: заключили с Вельможною Думою пятнадцатилетнее перемирие без всяких уступок и выгод, единственно на том условии, чтобы обеим державам владеть, чем владеют, и чтобы избранному королю подтвердить сей договор в Москве чрез своих уполномоченных.— Еще Феодор, выслушав донесение Степана Годунова и Троекурова, надеялся, что по крайней мере Литва не признает Сигизмунда королем, и для того еще писал ласковые грамоты к ее вельможам, соглашаясь быть особенным великим князем литовским, киевским, волынским, мазовским, обещая им независимость и безопасность; писал к ним и Годунов, отправив к каждому дары богатые (ценою в 20 тысяч нынешних рублей)... но поздно! Дворянин Ржевский возвратился из Литвы с вестию, что 16 декабря Сигизмунд коронован в Кракове и что вельможи литовские согласились на сей выбор. Ржевский уже знал о том, но вручил им дары: они взяли их с изъявлением благодарности и желали, чтобы царь всегда был милостив к Литве единоверной!

Царь изъявил досаду, не за отвержение его условий на сейме, но за избрание Сигизмунда: мы видели, что Феодор, подобно Иоанну, охотно уступал королевство эрцгерцогу, не имея никаких состязаний с Австриею; но тесная связь шведской державы с польскою усиливала сих двух наших неприятелей, и главное обязательство, взятое Замойским с Сигизмунда, состояло в том, чтобы ему вместе с отцом его, королем Иоанном, ополчиться на Россию: или *завоевать Москву*, или по крайней мере Смоленск, Псков, а шведскому флоту двинскую гавань Св. Николая, чтобы уничтожить нашу морскую торговлю. Дух Баториев, казалось, еще жил и враждовал нам в Замойском!—Тем более Феодор желал согласить виды и действия нашей политики с австрийскою: с 1587 года до 1590 мы слали гонца за гонцом в Вену, убеждая им-

10 Зак. № 40

ператора доставить Максимилиану всеми способами корону польскую, если не избранием, то силою — вызывались снабдить его и деньгами для вооружения — уверяли, что нам будет даже приятнее уступить сию державу Австрии, нежели соединить с Россиею — живо описывали счастие спокойствия, которое утвердится тогда в Северной Европе и даст ей возможность заняться великим делом изгнания турков из Византии — хвалились нашими силами, говоря, что от России зависит устремить бесчисленные сонмы азиатские на султана; что шах персидский выведет в поле 200 тысяч воинов, царь бухарский 100 тысяч, хивинский 50 тысяч, иверский 50 тысяч, владетель шавкалский 30 тысяч, князья черкесские, тюменский, *окутский* 70 тысяч, ногаи 100 тысяч; что Россия, легко усмирив шведа и не имея уже иных врагов, примкнет крестоносные легионы свои к войскам Австрии, Германии, Испании, папы, Франции, Англии — и варвары оттоманские останутся единственно в памяти! Гонцов московских задерживали в Литве и в Риге: для того мы открыли путь в Австрию чрез Северный океан и Гамбург; хотели, чтобы Рудольф и Максимилиан немедленно прислали уполномоченных в Москву для договора, где и как действовать. Сведав же, что Замойский, следуя за бегущим Максимилианом, вступил в Силезию, одержал над ним решительную победу, взял его в плен, томил, бесчестил в неволе, Феодор стыдил Рудольфа неслыханным уничижением Австрии. Но все было бесполезно. Император в своих отзывах изъявлял только благодарность за доброе расположение царя; вместо знатного вельможи прислал (в июне 1589) маловажного сановника Варкоча в Москву, извиняясь недосугами и неудобствами сообщения между Веною и Россиею; писал, что о войне Турецкой должно еще условиться с Испаниею и таить намерение столь важное от Англии и Франции, ибо они ищут милости в султане; что война с Польшею необходима, но что надобно прежде освободить Максимилиана... И царь узнал, что император, вымолив свободу брата, клятвенно обязался не думать о короне польской и жить в вечном мире с сею державою. «Вы начинаете великие дела, но не вершите их, — писал Борис Годунов к австрийскому министерству, — для вас благоверный царь наш не хотел слушать никаких дружественных предложений султановых и ханских; для вас мы в остуде с ними и с Литвою: а вы, не думая о чести, миритесь с султаном и с Сигизмундом!» Одним словом, мы тратили время и деньги в сношениях с Австриею, совершенно бесполезных.

Гораздо усерднее, в смысле нашей политики, действовал тогда варвар, новый хан крымский, преемник умершего (в 1588 году) Ислама, брат его, именем Казы-Гирей. Приехав из Константинополя с султанскою милостивою грамотою и с тремястами янычар господствовать над улусами разоренными, он видел необходимость поправить их, то есть искать добычи, не зная другого промысла, кроме хищения. Надлежало избрать Литву или Россию в феатр убийств и пожаров; хан предпочел Литву, в надежде на ее безначалие или слабость нового короля; и готовясь силою опустошить Сигизмундову землю, хотел лестию выманить богатые дары у Феодора: писал к нему, что доброжелательствуя нам искреннее всех своих предместников, он убедил султана не мыслить впредь о завоевании Астрахани; что Москва и Таврида будут всегда иметь одних неприятелей. В конце 1589 года Казы-Гирей известил Феодора о сожжении крымцами многих городов и сел в Литве и в Галиции: хваля его *доблесть* и дружественное к нам расположение, царь в знак признательности честил хана умеренными дарами, однако ж держал сильное войско на берегах Оки; следственно худо ему верил.

Но Батория уже не было, султан не ополчался на Россию, хан громил Литву: сии обстоятельства казались царю благоприятными для важного подвига, коего давно требовала честь России. Мы хвалились могуществом, имея действительно многочисленнейшее войско в Европе; а часть древней России была шведским владением! Срок перемирия, заключенного с королем Иоанном, уже исходил в начале 1590 года, и вторичный съезд послов на берегу Плюсы (в сентябре 1586 года) остался бесплодным: ибо шведы не согласились возвратить нам своего завоевания: без чего мы не хотели слышать о мире. Они предлагали только мену: отдавали Копорье за погост Сумерский и за берега Невы. Иоанн жаловался, что россияне тревожат набегами Финляндию, свирепствуя в ней как тигры; Феодор же упрекал воевод шведских разбоями в областях Заонежской, Олонецкой, на Ладоге и Двине: летом в 1589 году они приходили из Каянии грабить волости монастыря Соловецкого и Печенского, Колу, Керет, Ковду и взяли добычи на полмиллиона нынешних рублей серебряных. Склоняя короля к уступкам, царь писал к нему о своих великих союзниках, императоре и шахе. Король ответствовал с насмешкою: «Радуюсь, что ты ныне знаешь свое бессилие и ждешь помощи от других: увидим, как поможет тебе сват наш, Рудольф; а мы и без союзников управимся с тобою». Невзирая на

сию грубость, Иоанн желал еще третьего съезда послов, когда Феодор велел объявить ему; что мы не хотим ни мира, ни перемирия, если шведы, сверх Новогородских земель, ими захваченных, не уступят нам Ревеля и всей Эстонии; то есть мы объявили войну!

Доселе Годунов блистал умом единственно в делах внешней и внутренней политики, всегда осторожной и миролюбивой; не имея духа ратного, не алкая воинской славы, хотел однако ж доказать, что его миролюбие не есть малодушная боязливость в таком случае, где без стыда и без явного нарушения святых обязанностей власти нельзя было миновать кровопролития. Исполняя сей важный долг, он употребил все способы для несомнительного успеха: вывел в поле (если верить свидетельству наших приказных бумаг сего времени) около трехсот тысяч воинов, конных и пеших, с тремястами легких и тяжелых пушек. Все бояре, все царевичи (сибирский Маметкул, Русланей Кайбулич, Ураз-Магмет Онданович Киргизский), все воеводы из ближних и дальних мест, городов и деревень, где они жили на покое, должны были в назначенный срок явиться под царскими знаменами: ибо тихий Феодор, не без сожаления оставив свои мирные, благочестивые упражнения, сел на бранного коня (так хотел Годунов!), чтобы войско оживить усердием, а главных сановников обуздывать в их местничестве безрассудном. Князь Федор Мстиславский, знатнейший из родовых вельмож, начальствовал в большом полку, в передовом — князь Дмитрий Хворостинин, воевода славнейший умом и доблестию. Годунов и Федор Никитич Романов-Юрьев (будущий знаменитый Филарет[1], двоюродный брат царя, находились при нем, именуясь *дворовыми* или *ближними воеводами*. Царица Ирина ехала за супругом из Москвы до Новагорода, где государь распорядил полки: велел одним воевать Финляндию, за Невою; другим Эстонию, до моря; а сам с главною силою, 18 генваря 1590 [года], выступил к Нарве. Поход был труден от зимней стужи, но весел ревностию войска: россияне шли взять свое — и взяли Яму, генваря 27. Двадцать тысяч шведов, конных и пеших, под начальством Густава Банера, близ Нарвы встретили князя Дмитрия Хворостинина, который разбил их и втоптал в город, наполненный людьми, но скудный запасами: для того Банер, оставив в крепости нужное число

[1] Филарет (Романов Федор Никитич, 1554/5—1633) — отец Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых; патриарх.

воинов, ночью бежал оттуда к Везенбергу, гонимый нашею азиатскою конницею, и бросив ей в добычу весь обоз, все пушки; в числе многих пленников находились и знатные чиновники шведские. 4 февраля россияне обложили Нарву; сильною пальбою в трех местах разрушили стену и требовали сдачи города. Тамошний воевода, Карл Горн, величаво звал их на приступ, и мужественно отразил его (18 февраля): воеводы Сабуров и князь Иван Токмаков легли в проломе, вместе со многими детьми боярскими, стрельцами, мордовскими и черкесскими воинами. Однако ж сие блистательное для шведов дело не могло бы спасти города: пальба не умолкала, стены падали, и многочисленное войско осаждающих готовилось к новому приступу (21 февраля). В то же время россияне беспрепятственно опустошали Эстонию до самого Ревеля, а Финляндию до Абова: ибо король Иоанн имел более гордости, нежели силы. Начались переговоры. Мы требовали Нарвы и всей Эстонии, чтобы дать мир шведам; но царь, *исполняя христианское моление Годунова* (как сказано в наших приказных бумагах), удовольствовался восстановлением древнего рубежа: Горн именем королевским (25 февраля) заключил перемирие на год, уступив царю, сверх Ямы, Ивангород и Копорье, со всеми их запасами и снарядом огнестрельным, условясь решить судьбу Эстонии на будущем съезде послов: московских и шведских — даже обещая уступить России всю землю Корельскую, Нарву и другие города эстонские. Мы хвалились умеренностию. Оставив воевод в трех взятых крепостях, Феодор спешил возвратиться в Новгород к супруге и с нею в Москву торжествовать победу над одною из держав европейских, с коими отец его не советовал ему воевать, боясь их превосходства в ратном искусстве! Духовенство со крестами встретило государя вне столицы, и первосвятитель Иов в пышной речи сравнивал его с Константином Великим и Владимиром, именем отечества и церкви благодаря за изгнание *неверных* из недр Святой России и за восстановление алтарей истинного Бога во граде Иоанна III и в древнем владении славян ильменских.

Скоро вероломство шведов доставило новый значительный успех оружию миролюбивого Феодора. Король Иоанн, упрекая Горна малодушием, объявил договор, им заключенный, преступлением, усилил войско в Эстонии и выслал двух вельмож, наместников упсальского и вестерготского, на съезд с князем Федором Хворостининым и думным дворянином Писемским к устью реки

Плюсы, не для того, чтобы отдать России Эстонию, но чтобы требовать возвращения Ямы, Иванягорода и Копорья. Не только Феодоровы послы, но и шведские воины, узнав о сем, изъявили негодование: стоя на другом берегу Плюсы, кричали нашим: «не хотим кровопролития!» и принудили своих уполномоченных быть снисходительными, так, что они, уже ничего не требуя, кроме мира, наконец уступили России Корельскую область. Мы неотменно хотели Нарвы — и послы разъехались; а шведский генерал, Иоран Бое, в ту же ночь вероломно осадил Иваньгород: ибо срок Нарвского договора еще не вышел. Но мужественный воевода, Иван Сабуров, в сильной вылазке наголову разбил шведов: и генерала Бое и самого герцога Зюдерманландского, который с ним соединился. Главная рать московская стояла в Новегороде: она не приспела к битве, нашла крепость уже освобожденною и только издали видела бегство неприятеля.

Воюя с шведами, Феодор желал соблюсти мир с Литвою, и в то время, когда полки московские шли громить Эстонию, Годунов известил всех градоначальников в Ливонии польской, что они могут быть спокойны, и что мы не коснемся областей ее, в точности исполняя договор Варшавский. Но Сигизмунд молчал: чтобы узнать его расположение, Дума московская послала гонца в Вильну с письмом к тамошним вельможам, уведомляя их о намерении хана снова идти на Литву, и прибавляя: «Казы-Гирей убеждал государя нашего вместе с ним воевать вашу землю и предлагал ему султанским именем вечный мир; но государь отказался, искренно вам доброжелательствуя. Остерегаем вас, думая, что рано или поздно вы увидите необходимость соединиться с Россиею для общей безопасности христиан». Сие лукавство не обмануло панов: читая письмо, они усмехались и весьма учтивою грамотою изъявили нам благодарность, сказав однако ж, что у них другие слухи; что сам Феодор, если верить пленникам крымским, обещаниями и дарами склоняет хана ко впадениям в Литву. Между тем 600 литовских козаков разбойничали в южных пределах России, сожгли новый город Воронеж, убили тамошнего начальника, князя Ивана Долгорукого: мы требовали удовлетворения и велели царевичу Араслан-Алею, Кайбулину сыну, идти с войском в Чернигов. Наконец, в октябре 1590 года послы Сигизмундовы, Станислав Радоминский и Гаврило Война, приехали в Москву договариваться о мире и союзе; но в первой беседе с боярами объявили, что Россия нарушила перемирие взятием шведских городов и должна

возвратить их. Им ответствовали, что Швеция не Литва; что родственная связь королей не уважается в политике, и что мы взяли свое, казнив неправду и вероломство. О вечном мире говорили долго: Сигизмунд как бы из великодушия отказывался от Новагорода, Пскова, северских городов и проч., но без Смоленска не хотел мириться. Бояре же московские твердили: «не дадим вам ни деревни Смоленского уезда». С обеих сторон около двух месяцев велеречили о выгодах тесного христианского союза всех держав европейских. Бояре с живостию представляли вельможам литовским, что король без сомнения весьма неискренно желает сего союза, испрашивая в то же время (как было нам известно) милость у султана; что Сигизмунда ожидает Баториева участь, стыд, уничижение бесполезное пред надменностию оттоманов; что Баторий думал угодить Амурату злодейским убиением славнейшего из всех рыцарей литовских, *Подковы*, и не угодил: ибо до смерти трепетал гневного султана и платил ему дань рабскую; что одна Россия, в чувстве своего величия отвергнув ложную дружбу неверных, есть надежный щит христианства; что хан, столь ужасный для Сигизмундовой державы, не смеет ни делом, ни словом оскорбить Феодора, коему более двухсот крымских князей и мурз служат в войске. Хотя послы уже не оказывали спеси и грубости, как бывало в Стефаново время, однако ж не принимали нашего снисходительного условия: «владеть обеим державам, чем владеют». Истощив все убеждения, царь (1 генваря 1591) призвал на совет духовенство, бояр, сановников и решился единственно подтвердить заключенное в Варшаве перемирие впредь еще на двенадцать лет, с новым условием, чтобы ни шведы нас, ни мы шведов не воевали в течение года. Феодор, исполняя древний обычай, дал присягу в соблюдении договора и послал окольничего Салтыкова-Морозова взять такую же с Сигизмунда.

Россия наслаждалась миром, коего не было только в душе правителя!.. Устраним дела внешней политики, чтобы говорить о любопытных, важных происшествиях внутренних.

В сие время Борис Годунов в глазах России и всех держав, сносящихся с Москвою, стоял на вышней степени величия, как полный властелин царства, не видя вокруг себя ничего, кроме слуг безмолвных или громко славословящих его высокие достоинства; не только во дворце Кремлевском, в ближних и в дальних краях России, но и вне ее, пред государями и министрами иноземными, знатные сановники царские так изъяснялись по сво-

ему наказу: «Борис Федорович Годунов есть начальник земли; она вся приказана ему от самодержца и так ныне устроена, что люди дивятся и радуются. Цветет и воинство, и купечество, и народ. Грады украшаются каменными зданиями без налогов, без работы невольной, от царских избытков, с богатою платою за труд и художество. Земледельцы живут во льготе, не зная даней. Везде правосудие свято: сильный не обидит слабого; бедный сирота идет смело к Борису Федоровичу жаловаться на его брата или племянника, и сей истинный вельможа обвиняет своих ближних даже без суда, ибо пристрастен к беззащитным и слабым!» — Нескромно хваляся властию и добродетелию, Борис, равно славолюбивый и хитрый, примыслил еще дать новый блеск своему господству важною церковною новостию.

Имя патриархов означало в древнейшие времена христианства единственно смиренных наставников Веры, но с четвертого века сделалось пышным, громким титлом главных пастырей церкви в трех частях мира, или в трех знаменитейших городах тогдашней всемирной империи: в Риме, в Александрии и в Антиохии. Место священных воспоминаний, Иерусалим, и Константинополь, столица торжествующего христианства, были также признаны особенными, великими патриархиями. Сей чести не искала Россия, от времен Св. Владимира до Феодоровых. Византия державная, гордая, не согласилась бы на равенство своей иерархии с киевскою или с московскою: Византия раба оттоманов не отказала бы в том Иоанну III, сыну и внуку его; но они молчали, из уважения ли к первобытному уставу нашей церкви, или опасаясь великим именем усилить духовную власть, ко вреду монаршей. Борис мыслил иначе: свергнув митрополита Дионисия за козни и дерзость, он не усомнился возвысить смиренного Иова, ему преданного, ибо хотел его важного содействия в своих важных намерениях. Еще в 1586 году приезжал в Москву за милостынею антиохийский патриарх Иоаким, коему царь изъявил желание учредить патриархию в России: Иоаким дал слово предложить о том Собору греческой церкви и предложил с усердием, славя чистоту нашей Веры. В июле 1588 года, к великому удовольствию Феодора, явился в Москве и патриарх Константинопольский, Иеремия. Вся столица была в движении, когда сей главный святитель христианский (ибо престол византийского архиерейства уже давно считался первым), старец знаменитый несчастием и добродетелию, с любопытством взирая на ее многолюдство и красоту

церквей, благословляя народ и душевно умиляясь его радостным приветствием, ехал на осляти к царю по стогнам московским; за ним ехали на конях митрополит Монемвасийский (или Мальвазийский) Иерофей и архиепископ Элассонский Арсений. Когда они вошли в златую палату, Феодор встал, чтобы встретить Иеремию в нескольких шагах от трона; посадил близ себя; с любовию принял дары его: икону с памятниками Страстей Господних, с каплями Христовой крови, с мощами Св. царя Константина — и велел Борису Годунову беседовать с ним наедине. Патриарха отвели в другую комнату, где он рассказал Борису свою историю. Лет десять управляв церковию, Иеремия, обнесенный каким-то злым греком, был сослан в Родос, и султан, вопреки торжественному обету Магомета II не мешаться в дела христианской духовной власти, беззаконно дал патриаршество Феолипту. Чрез пять лет возвратили изгнаннику сан иерарха; но в древнем храме византийских первосвятителей уже славили Аллу и Магомета: сия церковь сделалась мечетию. «Обливаясь слезами, — говорил Иеремия, — я вымолил у жестокого Амурата дозволение ехать в земли христианские для собрания милостыни, чтобы посвятить новый храм истинному Богу в древней столице православия: где же, кроме России, мог я найти усердие, жалость и щедрость?» Далее, беседуя с Годуновым, он похвалил мысль Феодорову иметь патриарха Российского; а лукавый Годунов предложил сие достоинство самому Иеремии, с условием жить в Владимире. Иеремия соглашался, но хотел жить там, где царь, то есть в Москве: чего не хотел Годунов, доказывая, что несправедливо удалить Иова, мужа святого, от московского храма Богоматери; что Иеремия, не зная ни языка, ни обычаев России, не может быть в духовных делах наставником венценосца без толмача, коему непристойно читать во глубине души государевой. «Да исполнится же воля царская! — ответствовал патриарх, — уполномоченный нашею церковию, благословлю и поставлю, кого изберет Феодор, вдохновенный Богом». В выборе не было сомнения; но для обряда святители российские назначали трех кандидатов: митрополита Иова, архиепископа Новагородского Александра, Варлаама Ростовского, и поднесли доклад царю, который избрал Иова. 23 генваря (1589), после Вечерни, сей *наименованный* первосвятитель, в епитрахили, в омофоре и в ризе, пел молебен в храме Успения, со всеми епископами, в присутствии царя и бесчисленного множества людей; вышел из алтаря и стал на амвоне, держа в руке све-

чу, а в другой письмо благодарственное к государю и к духовенству. Тут один из знатных сановников приблизился к нему, держа в руке также пылающую свечу, и сказал громко: «Православный царь, Вселенский патриарх и Собор освященный возвышают тебя на престол владимирский, московский и всея России». Иов ответствовал: «Я раб грешный; но если самодержец, *Вселенский господин* Иеремия и Собор удостаивают меня столь великого сана, то приемлю его с благодарением»; смиренно преклонил главу, обратился к духовенству, к народу, и с умилением произнес обет ревностно блюсти вверенное ему от Бога стадо. Сим исполнился *устав избрания*; торжественное же *посвящение* совершилось 26 генваря, на Литургии, как обыкновенно ставили митрополитов и епископов, без всяких новых обрядов. Среди *Великой*, или Соборной, церкви, на помосте, был изображен *мелом* орел двоеглавый и сделан *феатрон о двенадцати степенях и двенадцати огненниках*[1]: там старейший пастырь восточного православия, благословив Иова как сопрестольника великих отцов христианства и возложив на него дрожащую руку, молился, да будет сей архиерей Иисусов неугасаемым светильником Веры. Имея на главе митру с крестом и с короною, новопоставленный московский патриарх священнодействовал вместе с византийским; и когда, отпев Литургию, разоблачился, государь собственною рукою возложил на него драгоценный крест с животворящим древом, бархатную зеленую мантию с источниками, или полосами, низанными жемчугом, и белый клобук с знамением креста; подал ему жезл Св. Петра митрополита и в приветственной речи велел именоваться главою епископов, отцом отцов, патриархом всех земель северных, по милости Божией и воле царской. Иов благословил Феодора и народ; а лики многолетствовали царю и двум первосвятителям, византийскому и московскому, которые сидели с ним рядом на стульях. Вышед из церкви, Иов, провождаемый двумя епископами, боярами, многими чиновниками, ездил на осляти вокруг стен Кремлевских, кропя их Святою водою, осеняя крестом, читая молитвы о целости града, и вместе с Иеремиею, со всем духовенством, синклитом, обедал у государя.

Чтобы утвердить достоинство и права российского священноначалия, написали уставную грамоту, изъясняя в ней, что *Ветхий*

---

[1] Феатрон — помост; степень — ступень; огненник — свеченосец; светильник.

Рим пал *от ереси Аполлинариевой*; что *Новый Рим*, Константинополь, обладаем безбожными племенами Агарянскими; что *третий Рим* есть Москва; что вместо лжепастыря западной церкви, омраченной духом суемудрия, первый вселенский святитель есть патриарх Константинопольский, второй Александрийский, третий *Московский и всея России*, четвертый Антиохийский, пятый Иерусалимский; что в России должно молиться о греческих, а в Греции о нашем, который впредь, до скончания века, будет избираем и посвящаем в Москве независимо от их согласия или одобрения. К наружным отличиям сего архипастыря нашей церкви прибавили следующие: «Выход его должен быть всегда с лампадою, с пением и звоном; для облачения иметь ему амвон о трех степенях; в будни носить клобук с Серафимами и крестами обнизными, мантии объяринные и всякие иные с полосами; ходить в пути с крестом и жезлом; ездить на шести конях». Тогда же государь с двумя патриархами соборно уложил быть в России *четырем митрополитам*: Новогородскому, Казанскому, Ростовскому и Крутицкому; *шести архиепископам*: Вологодскому, Суздальскому, Нижегородскому, Смоленскому, Рязанскому, Тверскому — *и осьми епископам*: Псковскому, Ржевскому, Устюжскому, Белозерскому, Коломенскому, Северскому, Дмитровскому.

Участвуя более именем, нежели делом, в сих церковных распоряжениях, Иеремия, митрополит Монемвасийский и архиепископ Элассонский ездили между тем в лавру Сергиеву, где, равно как и в московских храмах, удивлялись богатству икон, сосудов, риз служебных; в столице обедали у патриарха Иова, славя мудрость его беседы; славили также высокие достоинства Годунова и редкий ум старца, Андрея Щелкалова, всего же более хвалили щедрость российскую: ибо их непрестанно дарили, серебряными кубками, ковшами, перлами, шелковыми тканями, соболями, деньгами. Представленные царице, они восхитились ее святостию, смиренным величием, ангельскою красотою, сладостию речей, равно как и наружным великолепием. На ней была корона с двенадцатью жемчужными зубцами, диадема и на груди златая цепь, украшенная драгоценными каменьями; одежда бархатная, длинная, обсаженная крупным жемчугом, и мантия не менее богатая. Подле царицы стоял царь, а с другой стороны Борис Годунов, без шапки, смиренно и благоговейно; далее многие жены знатные, в белой одежде, сложив руки. Ирина с умилением просила святителей греческих молить Бога, чтобы он даровал ей сы-

на, наследника державе — «и все мы, тронутые до глубины сердца (говорит архиепископ Элассонский в описании своего путешествия в Москву) вместе с нею обливаясь слезами, единогласно воззвали ко Всевышнему, да исполнится чистое, столь усердное моление сей души благочестивой!» — Наконец государь (в мае 1589) отпустил Иеремию в Константинополь с письмом к султану, убеждая его не теснить христиан, и сверх даров послал туда 1000 рублей, или 2000 золотых монет венгерских, на строение новой Патриаршей церкви, к живейшей признательности всего греческого духовенства, которое, Соборною грамотою одобрив учреждение Московской Патриархии, доставило Феодору сию хартию (в июне 1591) чрез митрополита терновского, вместе с Мощами Святых и с двумя коронами, для царя и царицы.

Таким образом уставилась новая верховная степень в нашей иерархии, чрез 110 лет испроверженная самодержцем великим как бесполезная для церкви и вредная для единовластия государей, хотя разумный учредитель ее не дал тем духовенству никакой новой государственной силы и, переменив имя, оставил иерарха в полной зависимости от венценосца. Петр I знал историю Никона и *разделил*, чтобы ослабить власть духовную; он уничтожил бы и сан митрополита, если бы в его время, как в Иоанново или в древнейшие, *один* митрополит управлял Российскою церковию. Петр царствовал и хотел только слуг: Годунов, еще называясь подданным, искал опоры: ибо предвидел обстоятельства, в коих дружба царицы не могла быть достаточна для его властолюбия и — спасения; обуздывал бояр, но читал в их сердце злую зависть, ненависть справедливую к убийце Шуйских; имел друзей: но они им держались и с ним бы пали, или изменили бы ему в превратности рока; благотворил народу, но худо верил его благодарности в невольном чувстве своих внутренних недобродетельных побуждений к добру и знал, что сей народ в случае важном обратит взор недоумения на бояр и духовенство. Годунов на месте Петра Великого мог бы также уничтожить сан патриарха; но, будучи в иных обстоятельствах, хотел польстить честолюбию Иова титлом высоким, чтобы иметь в нем тем усерднейшего и знаменитейшего пособника: ибо наступал час решительный, и самовластный вельможа дерзнул наконец приподнять для себя завесу будущего!

Если бы Годунов и не хотел ничего более, имея все, кроме Феодоровой короны, то и в сем предположении мог ли бы он спокойно наслаждаться величием, помышляя о близкой кончине

царя, слабого не только духом, но и телом — о законном его наследнике, воспитываемом материю и родными в явной, хотя и в честной ссылке, в ненависти к правителю, в чувствах злобы и мести? Что ожидало в таком случае Ирину? монастырь: Годунова? темница или плаха — того, кто мановением двигал царство, ласкаемый царями Востока и Запада!.. Уже дела обнаружили душу Борисову: в ямах, на лобном месте изгибли несчастные, коих опасался правитель: кто же был для него опаснее Димитрия?

Но Годунов еще томился душевным гладом и желал, чего не имел. Надменный своими достоинствами и заслугами, славою и лестию; упоенный счастием и могуществом, волшебным для души самой благородной; кружась на высоте, куда не восходил дотоле ни один из подданных в Российской державе, Борис смотрел еще выше, и с дерзким вожделением: хотя властвовал беспрекословно, но не своим именем; сиял только заимствованным светом; должен был в самой надменности трудить себя личиною смирения, торжественно унижаться пред тению царя и бить ему челом вместе с рабами. Престол казался Годунову не только святым, лучезарным местом истинной, самобытной власти, но и райским местом успокоения, до коего стрелы вражды и зависти не досягают, и где смертный пользуется как бы божественными правами. Сия мечта о прелестях верховного державства представлялась Годунову живее и живее, более и более волнуя в нем сердце, так, что он наконец непрестанно занимался ею. Летописец рассказывает следующее, любопытное, хотя и сомнительное обстоятельство: «Имея ум редкий, Борис верил однако ж искусству гадателей; призвал некоторых из них в тихий час ночи и спрашивал, что ожидает его в будущем? Льстивые волхвы или звездочеты ответствовали: *тебя ожидает венец*... но вдруг умолкли, как бы испуганные дальнейшим предвидением. Нетерпеливый Борис велел им договорить; услышал, что ему царствовать только семь лет, и, с живейшею радостию обняв предсказателей, воскликнул: *хотя бы семь дней, но только царствовать*!» Столь нескромно Годунов открыл будто бы внутренность души мнимым мудрецам суеверного века! По крайней мере он уже не таился от самого себя; знал, чего хотел! Ожидая смерти бездетного царя, располагая волею царицы, наполнив Думу, двор, приказы родственниками и друзьями, не сомневаясь в преданности великоименитого иерарха церкви, надеясь также на блеск своего правления и замышляя новые хитрости, чтобы овладеть сердцем или воображением народа, Борис не стра-

шился случая беспримерного в нашем отечестве от времен Рюриковых до Феодоровых: трона упраздненного, конца племени державного, мятежа страстей в выборе новой династии, и твердо уверенный, что скипетр, выпав из руки последнего венценосца Мономаховой крови, будет вручен тому, кто уже давно и славно царствовал без имени царского, сей алчный властолюбец видел, между собою и престолом, одного младенца безоружного, как алчный лев видит агнца!.. Гибель Димитриева была неизбежна!

Приступая к исполнению своего ужасного намерения, Борис мыслил сперва объявить злосчастного царевича незаконнорожденным, как сына шестой или седьмой Иоанновой супруги: не велел молиться о нем и поминать его имени на Литургии; но рассудив, что сие супружество, хотя и действительно беззаконное, было однако ж утверждено или терпимо церковною властию, которая торжественным уничтожением оного призналась бы в своей человеческой слабости, к двойному соблазну христиан — что Димитрий, невзирая на то, во мнении людей остался бы царевичем, единственным Феодоровым наследником — Годунов прибегнул к вернейшему способу устранить совместника, оправдываясь слухом, без сомнения его же друзьями распущенным, о мнимой преждевременной наклонности Димитриевой ко злу и к жестокости: в Москве говорили всенародно (следственно без страха оскорбить царя и правителя), что сей младенец, еще имея не более шести или семи лет от роду, есть будто бы совершенное подобие отца: любит муки и кровь: с веселием смотрит на убиение животных: даже сам убивает их. Сею сказкою хотели произвести ненависть к Димитрию в народе; выдумали и другую для сановников знатных: рассказывали, что царевич, играя однажды на льду с другими детьми, велел сделать из снегу двадцать человеческих изображений, назвал оные именами первых мужей государственных, поставил рядом и начал рубить саблею: изображению Бориса Годунова отсек голову, иным руки и ноги, приговаривая: «так вам будет в мое царствование!» В противность клевете нелепой, многие утверждали, что юный царевич оказывает ум и свойства достойные отрока державного; говорили о том с умилением и страхом, ибо угадывали опасность невинного младенца, видели цель клеветы — и не обманулись: если Годунов боролся с совестию, то уже победил ее и, приготовив легковерных людей услышать без жалости о злодействе, держал в руке яд и нож для Димитрия; искал только, кому отдать их для совершения убийства!

Доверенность, откровенность свойственна ли в таком умысле гнусном? Но Борис, имея нужду в пособниках, открылся ближним, из коих один, дворецкий Григорий Васильевич Годунов, залился слезами, изъявляя жалость, человечество, страх Божий: его удалили от совета. Все другие думали, что смерть Димитриева необходима для безопасности правителя и для государственного блага. Начали с яда. Мамка царевичева, боярыня Василиса Волохова, и сын ее, Осип, продав Годунову свою душу, служили ему орудием; но зелие смертоносное не вредило младенцу, по словам летописца, ни в яствах, ни в питии. Может быть, совесть еще действовала в исполнителях адской воли; может быть, дрожащая рука бережно сыпала отраву, уменьшая меру ее, к досаде нетерпеливого Бориса, который решился употребить иных, смелейших злодеев. Выбор пал на двух чиновников, Владимира Загряжского и Никифора Чепчугова, одолженных милостями правителя; но оба уклонились от сделанного им предложения: готовые умереть за Бориса, мерзили душегубством; обязались только молчать, и с сего времени были гонимы. Тогда усерднейший клеврет Борисов, дядька царский, окольничий Андрей Лупп-Клешнин, представил человека надежного: дьяка Михайла Битяговского, ознаменованного на лице печатию зверства, так, что дикий вид его ручался за верность во зле. Годунов высыпал золото; обещал более, и совершенную безопасность; велел извергу ехать в Углич, чтобы править там земскими делами и хозяйством вдовствующей царицы, не спускать глаз с обреченной жертвы и не упустить первой минуты благоприятной. Битяговский дал и сдержал слово.

Вместе с ним приехали в Углич сын его, Данило, и племянник Никита Качалов, также удостоенные совершенной доверенности Годунова. Успех казался легким: с утра до вечера они могли быть у царицы, занимаясь ее домашним обиходом, надзирая над слугами и над столом; а мамка Димитриева с сыном помогала им советом и делом. Но Димитрия хранила нежная мать!.. Извещенная ли некоторыми тайными доброжелателями или своим сердцем, она удвоила попечения о милом сыне; не расставалась с ним ни днем, ни ночью; выходила из комнаты только в церковь; питала его из собственных рук, не вверяла ни злой мамке Волоховой, ни усердной кормилице Ирине Ждановой. Прошло немало времени; наконец убийцы, не видя возможности совершить злодеяние втайне, дерзнули на явное, в надежде, что хитрый и сильный Годунов найдет способ прикрыть оное для своей чести в глазах рабов без-

молвных: ибо думали только о людях, не о Боге! Настал день, ужасный происшествием и следствиями долговременными: 15 мая [1591], в субботу, в шестом часу дня, царица возвратилась с сыном из церкви и готовилась обедать; братьев ее не было во дворце; слуги носили кушанье. В сию минуту боярыня Волохова позвала Димитрия гулять на двор: царица, думая идти с ними же, в каком-то несчастном рассеянии остановилась. Кормилица удерживала царевича, сама не зная, для чего: но мамка силою вывела его из горницы в сени и к нижнему крыльцу, где явились Осип Волохов, Данило Битяговский, Никита Качалов. Первый, взяв Димитрия за руку, сказал: «Государь! у тебя новое ожерелье». Младенец, с улыбкою невинности подняв голову, отвечал: «Нет, старое...» Тут блеснул над ним убийственный нож; едва коснулся гортани его и выпал из рук Волохова. Закричав от ужаса, кормилица обняла своего державного питомца. Волохов бежал; но Данило Битяговский и Качалов вырвали жертву, зарезали и кинулись вниз с лестницы, в самое то мгновение, когда царица вышла из сеней на крыльцо... Девятилетний Святый Мученик лежал окровавленный в объятиях той, которая воспитала и хотела защитить его своею грудью: он *трепетал, как голубь*, испуская дух, и скончался, уже не слыхав вопля отчаянной матери... Кормилица указывала на безбожную мамку, смятенную злодейством, и на убийц, бежавших двором к воротам: некому было остановить их; но Всевышний мститель присутствовал!

Чрез минуту весь город представил зрелище мятежа неизъяснимого. Пономарь Соборной церкви — сам ли, как пишут, видев убийство, или извещенный о том слугами царицы — ударил в набат, и все улицы наполнились людьми; встревоженными, изумленными; бежали на звук колокола; смотрели дыма, пламени, думая, что горит дворец; вломились в его ворота; увидели царевича мертвого на земле: подле него лежали мать и кормилица без памяти; но имена злодеев были уже произнесены ими. Сии изверги, невидимым Судиею ознаменованные для праведной казни, не успели или боялись скрыться, чтобы не обличить тем своего дела; в замешательстве, в исступлении, устрашенные набатом, шумом, стремлением народа, вбежали в избу разрядную; а тайный вождь их, Михайло Битяговский, бросился на колокольню, чтобы удержать звонаря: не мог отбить запертой им двери и бесстрашно явился на месте злодеяния: приблизился к трупу убиенного; хотел утишить народное волнение; дерзнул сказать гражда-

нам (заблаговременно изготовив сию ложь с Клешниным или с Борисом), что младенец умертвил сам себя ножом в падучей болезни. «Душегубец!» — завопили толпы; камни посыпались на злодея. Он искал убежища во дворце, с одним из клевретов своих, Данилом Третьяковым: народ схватил, убил их; также и сына Михайлова, и Никиту Качалова, выломив дверь разрядной избы. Третий убийца, Осип Волохов, ушел в дом Михайла Битяговского; его взяли, привели в церковь Спаса, где уже стоял гроб Димитриев, и там умертвили, в глазах царицы; умертвили еще слуг Михайловых, трех мещан уличенных или подозреваемых в согласии с убийцами, и *женку юродивую*, которая жила у Битяговского и часто ходила во дворец; но мамку оставили живую для важных показаний: ибо злодеи, издыхая, облегчили свою совесть, как пишут, искренним признанием; наименовали и главного виновника Димитриевой смерти: Бориса Годунова. Вероятно, что устрашенная мамка также не запиралась в адском кове; но судиею преступления был сам преступник!

Беззаконно совершив месть, хотя и праведную — от ненависти к злодеям, от любви к царской крови забыв гражданские уставы — извиняемый чувством усердия, но виновный пред судилищем государственной власти, народ опомнился, утих и с беспокойством ждал указа из Москвы, куда градоначальники послали гонца с донесением о бедственном происшествии, без всякой утайки, надписав бумагу на имя царя. Но Годунов бодрствовал: верные ему чиновники были расставлены по Углицкой дороге; всех едущих задерживали, спрашивали, осматривали; схватили гонца и привели к Борису. Желание злого властолюбца исполнилось!.. Надлежало только затмить истину ложью, если не для совершенного удостоверения людей беспристрастных, то по крайней мере для вида, для пристойности. Взяли и переписали грамоты углицкие: сказали в них, что царевич в судорожном припадке заколол себя ножом от небрежения Нагих, которые, закрывая вину свою, бесстыдно оклеветали дьяка Битяговского и ближних его в убиении Димитрия, взволновали народ, злодейски истерзали невинных. С сим подлогом Годунов спешил к Феодору, лицемерно изъявляя скорбь душевную; трепетал, смотрел на небо — и, вымолвив ужасное слово о смерти Димитриевой, смешал слезы крокодиловы с искренними слезами доброго, нежного брата. Царь, по словам летописца, горько плакал, долго безмолвствуя; наконец сказал: «Да будет воля Божия!» и всему поверил. Но требовалось

чего-нибудь более для России: хотели оказать усердие в исследовании всех обстоятельств сего несчастия: нимало не медля, послали для того в Углич двух знатных сановников государственных — и кого же? Окольничего Андрея Клешнина, главного Борисова пособника в злодействе! Не дивились сему выбору: могли удивиться другому: боярина князя Василия Ивановича Шуйского, коего старший брат, князь Андрей, погиб от Годунова и который сам несколько лет ждал от него гибели, будучи в опале. Но хитрый Борис уже примирился с сим князем честолюбивым, легкомысленным, умным без правил добродетели, и с меньшим его братом, Димитрием, женив последнего на своей юной своячине, и дав ему сан боярина. Годунов знал людей и не ошибся в князе Василии, оказав таким выбором мнимую неустрашимость, мнимое беспристрастие. — 19 мая, ввечеру, князь Шуйский, Клешнин и дьяк Вылузгин приехали в Углич, а с ними и крутицкий митрополит, прямо в церковь Св. Преображения.

Там еще лежало Димитриево тело окровавленное, и на теле нож убийц. Злосчастная мать, родные и все добрые граждане плакали горько. Шуйский с изъявлением чувствительности приступил ко гробу, чтобы видеть лицо мертвого, осмотреть язву; но Клешнин, увидев сие Ангельское, мирное лицо, кровь и нож, затрепетал, оцепенел, стоял неподвижно, обливаясь слезами; не мог произнести ни единого слова: он еще имел совесть! Глубокая язва Димитриева, гортань перерезанная рукою сильного злодея, не собственною, не младенческою, свидетельствовала о несомнительном убиении; для того спешили предать земле святые мощи невинности; митрополит отпел их — и князь Шуйский начал свои допросы: памятник его бессовестной лживости, сохраненный временем как бы в оправдание бедствий, которые чрез несколько лет пали на главу, уже венценосную, сего слабого, если и не безбожного человекоугодника! Собрав духовенство и граждан, он спросил у них: *каким образом Димитрий, от небрежения Нагих, заколол сам себя*? Единодушно, единогласно — иноки, священники, мужи и жены, старцы и юноши — ответствовали: *царевич убиен своими рабами, Михайлом Битяговским с клевретами, по воле Бориса Годунова.* Шуйский не слушал далее; распустил их; решился допрашивать тайно, особенно, не миром, действуя угрозами и обещаниями; призывал, кого хотел; писал, что хотел — и, наконец, вместе с Клешниным и с дьяком Вылузгиным, составил следующее донесение царю, основанное будто бы на показаниях

городских чиновников, мамки Волоховой, жильцов, или царевичевых детей боярских, Димитриевой кормилицы Ирины, постельницы Марьи Самойловой, двух Нагих: Григория и Андрея Александрова, — царицыных ключников и стряпчих, некоторых граждан и духовных особ: «Димитрий, в среду мая 12, занемог падучею болезнию; в пятницу ему стало лучше: он ходил с царицею к Обедне и гулял на дворе; в субботу, также после Обедни, вышел гулять на двор с мамкою, кормилицею, постельницею и с молодыми жильцами; начал играть с ними ножом в *тычку*, и в новом припадке черного недуга проткнул себе горло ножом, долго бился о землю и скончался. Имея сию болезнь и прежде, Димитрий однажды уязвил свою мать, а в другой раз объел руку дочери Андрея Нагого. Узнав о несчастии сына, царица прибежала и начала бить мамку, говоря, что его зарезали Волохов, Качалов, Данило Битяговский, из коих ни одного тут не было; но царица и *пьяный* брат ее, Михайло Нагой, велели умертвить их и дьяка Битяговского безвинно, единственно за то, что сей усердный дьяк не удовлетворял корыстолюбию Нагих и не давал им денег сверх указа государева. Сведав, что сановники царские едут в Углич, Михайло Нагой велел принести несколько самопалов, ножей, железную палицу, — вымазать оные кровью и положить на теле убитых, в обличение их мнимого злодеяния». Сию нелепость утвердили своею подписью воскресенский архимандрит Феодорит, два игумена и духовник Нагих, от робости и малодушия; а свидетельство истины, мирское, единогласное, было утаено: записали только ответы Михайла Нагого, как бы явного клеветника, упрямо стоящего в том, что Димитрий погиб от руки злодеев.

Шуйский, возвратясь в Москву, 2 июня представил свои допросы государю; государь же отослал их к патриарху и святителям, которые, в общей думе с боярами, велели читать сей свиток знатному дьяку Василью Щелкалову. Выслушав, митрополит крутицкий, Геласий, встал и сказал Иову: «Объявляю Священному Собору, что вдовствующая царица, в день моего отъезда из Углича, призвала меня к себе и слезно убеждала смягчить гнев государев на тех, которые умертвили дьяка Битяговского и товарищей его; что она сама видит в сем деле преступление, моля смиренно, да не погубит государь ее бедных родственников». Лукавый Геласий — исказив, вероятно, слова несчастной матери — подал Иову новую бумагу от имени городового углицкого прикащика, который писал в ней, что Димитрий действительно умер в чер-

ном недуге, а Михайло Нагой *пьяный* велел народу убить невинных... И Собор (воспоминание горестное для Церкви!) поднес Феодору доклад такого содержания: «Да будет воля государева! Мы же удостоверились несомнительно, что жизнь царевичева прекратилась судом Божиим; что Михайло Нагой есть виновник кровопролития ужасного, действовал по внушению личной злобы и советовался с злыми *вещунами*, с Андреем Мочаловым и с другими; что граждане углицкие вместе с ним достойны казни за свою *измену* и беззаконие. Но сие дело есть земское: ведает оное Бог и государь; в руке державного опала и милость. А мы должны единственно молить Всевышнего о царе и царице, о тишине и благоденствии народа!» Феодор велел боярам решить дело и казнить виновных: привезли в Москву Нагих, кормилицу Димитриеву с мужем и мнимого вещуна Мочалова в тяжких оковах; снова допрашивали, пытали, особенно Михайла Нагого, и не могли вынудить от него лжи о самоубийстве Димитрия; наконец сослали всех Нагих в отдаленные города и заключили в темницы; вдовствующую царицу, неволею постриженную, отвезли в дикую пустыню Св. Николая на Выксе (близ Череповца); тела злодеев, Битяговского и товарищей его, кинутые углицким народом в яму, вынули, отпели в церкви и предали земле с великою честию; а граждан тамошних, объявленных убийцами невинных, казнили смертию, числом около двухсот; другим отрезали языки; многих заточили; большую часть вывели в Сибирь и населили ими город Пелым, так что древний, обширный Углич, где было, если верить преданию, 150 церквей и не менее тридцати тысяч жителей, опустел навеки, в память ужасного Борисова гнева на смелых обличителей его дела. Остались развалины, вопия к небу о мести!

Карая великодушие, Годунов с такою же дерзостию наградил злодеяние, дав богатые земли и поместья гнусной мамке Волоховой, жене и дочерям Битяговского; осыпал дарами мужей думных и всех знатных сановников; ласкал их, угощал обедами роскошными (не мог успокоить одного Клешнина, в терзаниях совести умершего чрез несколько лет схимником)... Но в безмолвии двора и церкви слышен был ропот народа, не обманутого ни следствием Шуйского, ни приговором святителей, ни судом боярским: лазутчики Годунова слышали вполголоса произносимые слова о *страшном заклании*, тайном его виновнике, жалостном ослеплении царя, бессовестном потворстве вельмож и духовенства; видели в толпах печальные лица. Борис, тревожимый молвою, нашел

способ утишить оную, в великом бедствии, которое тогда постигло столицу. Накануне Троицы, в отсутствие государя, уехавшего с боярами в лавру Св. Сергия, запылал в Москве двор Колымажный, и в несколько часов сгорели улицы Арбатская, Никитская, Тверская, Петровская до Трубы, весь Белый город и за ним Двор Посольский, слободы Стрелецкие, все Занеглинье: домы, лавки, церкви и множество людей. Кремль и Китай, где жило знатное дворянство, уцелели; но граждане остались без крова, некоторые и без имения. Стон и вой раздавались среди обширного пепелища, и люди толпами бежали на Троицкую дорогу встретить Феодора, требовать его милости и помощи: Борис не допустил их до царя; явился между ими с видом любви и сожаления, всех выслушал, всем обещал, и сделал обещанное: выстроил целые улицы, раздавал деньги, льготные грамоты; оказывал щедрость беспримерную, так, что москвитяне, утешенные, изумленные сими благодеяниями, начали ревностно славить Годунова. Случайно ли воспользовался он несчастием столицы для приобретения любви народной, или был тайным виновником оного, как утверждает летописец и как думали многие из современников? В самых Разрядных книгах сказано, что Москву жгли тогда злодеи; но Борис хотел обратить сие подозрение на своих ненавистников: взяли людей Афанасия Нагого и братьев его, допрашивали и говорили, что они уличаются в злодействе; однако ж не казнили их, и дело осталось неясным для потомства.

Скоро и другой, как бы благоприятный для Годунова случай, великою, неожиданною опасностию взволновав Москву и всю Россию, отвлек мысли народа от ужасной Димитриевой смерти: нашествие варваров. Маня Феодора уверениями в дружестве, хан Казы-Гирей сносился с королем шведским, требовал от него золота, обещал сильным впадением поколебать Москву и действительно к тому готовился, исполняя приказ султана, врага нашего, и будучи сам недоволен Россиею: во-первых, он сведал, что мы тайно известили литовских панов о намерении его снова идти на их землю и предлагали им общими силами воевать Тавриду (о чем, вероятно, дал ему знать король Сигизмунд); во-вторых, Феодор не отпустил царевича Мурата к хану, который убедил сего племянника забыть старое и хотел сделать калгою, или главным вельможею Орды Таврической: Мурат жил в Астрахани, неизменно усердствовал России, обуздывал ногаев и, к искреннему сожалению Феодора, скоропостижно умер, *испорчен-*

ный, как думали, подосланными к нему из Крыма злодеями; но хан утверждал, что россияне ядом отравили Мурата, и клялся отмстить им. Третиею виною Казы-Гиреева ополчения на Россию была мысль его князей, что каждый добрый хан обязан, в исполнение древнего обычая, хотя однажды видеть берега Оки для снискания воинской чести: то есть они желали русской добычи и верили бывшему у них послу шведскому, что все наше войско занято войною с королем его. Мы всегда имели друзей и лазутчиков в Крыму, чтобы знать не только действия, но и все замыслы ханов; в сие время находились там и гонцы московские: следственно хан не мог утаить от нас своего вооружения чрезвычайного; но умел обмануть: уверил бдительного правителя, что идет разорять Вильну и Краков; назначил знатное посольство в Москву для заключения союза с нами; требовал, чтобы и царь немедленно прислал к нему кого-нибудь из первых сановников. Между тем все улусы были в сильном движении; все годные люди садились на коней, от старого до малого; с ними соединились и полки ногайские Казыева улуса, и султанские, из Азова, Белагорода, с огнестрельным снарядом. Наступала весна, всегда опасная для южной России; а царская Дума не тревожилась, выслав в начале апреля знатных воевод к нашей обыкновенной береговой рати: князя Мстиславского, Ноготкова, Трубецких, Голицина, Федора Хворостинина, в Серпухов, Калугу и в другие места. Еще в мае разъезды наши не встречали ни одного татарина на берегах Донца Северского и Боровой: видели только следы зимнего кочевья и юрты оставленные. Но 26 июня прискакали в Москву гонцы с вестию, что степь покрылась тучами ханскими; что не менее ста пятидесяти тысяч крымцев идет к Туле, обходя крепости, нигде не медля, не рассыпаясь для грабежа. Годунову надлежало оказать всю бодрость своего духа и загладить оплошность: в тот же час послали указы к воеводам всех степных крепостей, велели им спешить к Серпухову, соединиться с князем Мстиславским, чтобы встретить хана в поле. К несчастию, главное войско наше стояло тогда в Новегороде и Пскове, наблюдая шведов; оно не могло приспеть к решительной битве: о нем уже не думали. Объявили Москву в осаде; поручили блюсти дворец государев князю Ивану Михайловичу Глинскому, Кремль — боярину князю Дмитрию Ивановичу Шуйскому, Китай — Голицину, Белый город — Ногтеву-Суздальскому и Мусе Туренину. 27 июня сведали о быстром стремлении неприятеля к столице,

уверились в невозможности соединения всех полков на берегах Оки до прихода ханского и переменили распоряжение: велели Мстиславскому идти к Москве, чтобы пред ее священными стенами, в виду храмов и палат Кремлевских, в глазах царя и царицы, за Веру, за отечество сразиться с неверными. В ободрение народу разглашали, что мы, оставляя берега Оки, заманиваем неприятеля в сети и хотим внутри России истребить его совершенно. В самом деле сие отступление прибавляло к береговому войску еще несколько тысяч лучших ратников московских, благородную дружину государеву, знатных дворян и детей боярских, кроме вооруженных граждан: давало нам важный перевес в силах и выгоду биться под стенами неодолимыми, под громом тяжелого огнестрельного снаряда, ужасного для варваров. Надлежало единственно взять меры, чтобы хан не ввергнул огня и разрушения в недра столицы, как сделал Девлет-Гирей в 1571 году: для того с удивительною скоростию укрепили предместие за Москвою-рекою деревянными стенами с бойницами; обратили монастыри в твердыни: Даниловский, Новоспасский, Симонов; назначили стан войску верстах в двух от города, между Калужскою и Тульскою дорогою; соорудили там дощатый подвижный городок на колесах и церковь Св. Сергия, где поставили икону Богоматери, бывшую с Димитрием в Донской битве; пели молебны, обходили всю Москву с крестами и с нетерпением ждали Мстиславского. 29 июня сей воевода выступил из Серпухова, оставив на Оке малочисленную стражу, и ночевал на Лопасне, среди высоких курганов, славных памятников незабвенной победы 1572 года: шел тот же неприятель; но Россия уже не имела Воротынского! 1 июля, ввечеру, полки расположились на лугах Москвы-реки, против села Коломенского, а воеводы спешили к государю с донесением и для совета; возвратились в следующее утро и ввели полки в изготовленный для них стан, против монастыря Даниловского. В тот день сам государь приехал к войску, осмотрел его, *жаловал* воевод и всех людей ратных *милостивыми словами, спрашивал их о здравии*, не оказывая робости, изъявляя надежду на Бога и на своих добрых россиян.

Июля 3 известили Феодора, что хан перешел Оку под Тешловым, ночует на Лопасне, идет прямо к Москве; что передовой отряд неприятельский, встретив мужественного воеводу, князя Владимира Бахтеярова, высланного на Похру с двумястами пятьюдесятью детьми боярскими, разбил его и гнал, жестоко уязвленно-

го, до селения Биц. Тогда войско наше изготовилось к сражению; каждый полк занял свое место, не выходя из укреплений, и ввечеру пришла к ним вся дружина царская, явился наконец и Борис Годунов, в полном доспехе, на ратном коне, под древним знаменем великокняжеским: кто был душою царства в Совете, тому надлежало одушевить и воинов в битве за царство. Феодор отдал ему всех дворян своих и телохранителей, дотоле неразлучных с особою монарха; заключился в уединенной палате с супругою и с духовником для молитвы; не боялся опасности, ибо считал за грех бояться, и сделав все, что мог, для спасения отечества, с Ангельским спокойствием предавал себя и державу в волю Всевышнего. За правителем ехали и все бояре, как бы за государем; но, встреченный, приветствуемый воеводами, он не взял главного начальства из рук знатнейшего или опытнейшего вождя, князя Мстиславского; удовольствовался вторым местом в большом полку, составив для себя воинскую думу из шести сановников, в числе коих находился и знаменитый изгнанник, Богдан Яковлевич Бельский, властию Годунова уже примиренный с двором и с народом, витязь, украшенный знаками отличия и славы.

Всю ночь стояла рать под знаменами; всю ночь бодрствовал Годунов: ходил по рядам, укреплял дух воевод и воинов, советовал и принимал советы, требовал доверенности и находил ее, великим умом заменяя недостаток в опытности ратной. Знали о близости неприятеля; слышали вдали шум, топот коней и на рассвете увидели густые толпы ханские. Казы-Гирей шел осторожно, стал против села Коломенского, и с Поклонной горы обозрев места, велел своим царевичам ударить на войско московское. Дотоле все было тихо; но как скоро многочисленная конница неприятельская спустилась с высоты на равнину; загремели все бойницы стана, монастырей, Кремлевские, и сотни отборные из каждого полку с отборными головами, дружины *литовские*, немецкие с их *капитанами* выступили из укрепления, чтобы встретить крымцев; а воеводы с главным войском оставались в дощатом городке и ждали своего часа. Битва началась вдруг во многих местах: ибо неприятель, осыпанный пушечными ядрами, разделился, пуская стрелы и в схватке действуя саблями лучше наших; но мы имели выгоду, искусно стреляя из ручных пищалей, стоя и нападая дружнее. Песчаная равнина покрывалась более мусульманскими, нежели христианскими трупами, в виду у хана и москвитян, коими стены, башни, колокольни были унизаны, вооружен-

ными и безоружными, исполненными любопытства и ужаса: ибо дело шло о Москве: ее губили или спасали победители! Народ то безмолвствовал, то вопил, следуя душою за всеми движениями кровопролитной сечи, зрелища нового для нашей древней столицы, которая видала приступы к стенам ее, но еще до сего времени не видала полевой битвы на своих равнинах. Не имели нужды в вестниках: глаз управлял чувством страха и надежды. Другие не хотели ничего видеть: смотрели только на святые иконы, орошая теплыми слезами помост храмов, где пение иереев заглушалось звуком пальбы и курение фимиама мешалось с дымом пороха. Сказание едва вероятное: в сию торжественную, роковую годину, когда сильно трепетало сердце и в столетних старцах московских, один человек наслаждался спокойствием души непоколебимой: тот, чье имя вместе с Божиим призывалось россиянами в сече, за кого они умирали пред стенами столицы: сам государь!.. Утомленный долгою молитвою, Феодор мирно отдыхал в час полуденный; встал и равнодушно смотрел из высокого своего терема на битву. За ним стоял добрый боярин, Григорий Васильевич Годунов, и плакал: Феодор обратился к нему, увидел его слезы и сказал: «Будь спокоен! Завтра не будет хана!» Сие слово, говорит летописец, оказалось пророчеством.

Сражение было не решительно. С обеих сторон подкрепляли ратующих; но главные силы еще не вступали в дело: Мстиславский, Годунов с царскими знаменами и лучшею половиною войска не двигались с места, ожидая хана, который с своими надежнейшими дружинами занял ввечеру село Воробьево и не хотел сойти с горы, откуда алчный взор его пожирал столицу, добычу завидную, но не легкую: ибо земля стонала от грома московских пушек и россияне бились мужественно на равнине до самой ночи, которая дала наконец отдых тому и другому войску. Множество татар легло в сече; множество было ранено: царевич Бахты-Гирей, несколько больших князей и мурз; взято в плен также немалое число людей знатных. Дух упал в хане и в вельможах крымских: они советовались, что делать, и более ужасали, нежели ободряли друг друга рассуждением о следствиях новой, решительной битвы, — слыша пальбу беспрестанную, видя сильное движение между нашим станом и Москвою: ибо Годунов, не жалея пороху, велел и ночью стрелять из пушек, для устрашения неприятеля, и граждане после сечи толпами устремились в стан, приветствовать храбрых, видеть живых друзей и родственников,

узнать о мертвых. Пленники российские, верные отечеству и в узах, ответствуя на вопросы хана, говорили ему, что в Москву пришло свежее войско, из Новагорода и Пскова; что мы стреляем в знак радости, не сомневаясь в победе, и еще до рассвета ударим всеми силами на крымцев. Хан мог им и не верить; но уже видел обман короля шведского: видел, что Россия, невзирая на войну с шведами, имеет довольно защитников — и бежал за час до света!

Известив о том государя, воеводы при звуке всех колоколов радостной Москвы, со всеми полками выступили вслед за ханом, который бежал без памяти, оставляя на пути им в добычу и лошадей, и рухлядь и запасы; слышал за собою топот нашей конницы и без отдыха в сутки достиг Оки; на восходе солнца увидел передовую дружину россиян и кинулся в реку, бросив на берегу собственные *возки* царские; утопил множество людей своих и бежал далее. Мстиславский и Годунов ночевали в Бицах, гоня неприятеля легкими отрядами, которые настигли задние полки его близ Тулы, разбили их, взяли 1000 пленников с некоторыми знатнейшими мурзами; топтали, истребляли крымцев в степях и выгнали из наших владений, где Казы-Гирей не успел злодействовать, и 2 августа прискакал на телеге ночью в Бакчисарай, с подвязанною, уязвленною рукою; а крымцев возвратилось не более трети, пеших, голодных, так, что сей ханский поход оказался самым несчастнейшим для Тавриды и самым безвреднейшим для России, где все осталось в целости: и города, и деревни, и жители.

Главные воеводы не ходили далее Серпухова. Царь, может быть, по совету умной Ирины, писал к ним, чтобы они гнали и старались истребить неприятеля в степях; но князь Мстиславский ответствовал ему, что им невозможно достигнуть хана, и, в сей бумаге наименовав себя одного, получил от Феодора строгий выговор за неозначение в ней Борисова *великого* имени, к коему двор относил всю честь победы. Однако ж соблюли равенство в наградах: 10 июля приехал в Серпухов стольник, Иван Никитич Юрьев, с милостивым словом и с жалованьем государевым: *спросил войско о здравии* и вручил воеводам медали: Мстиславскому и Годунову *золотые португальские*, *иным корабельники* и червонцы венгерские. Велев остаться на берегу некоторым младшим из них, государь звал всех других в Москву для изъявления им новых милостей: надел на Бориса с

своего плеча *шубу русскую* с золотыми пуговицами в 1000 рублей (или в 5000 нынешних серебряных) и с себя же цепь драгоценную; пожаловал ему златой сосуд Мамаевский, славную добычу Куликовской битвы, три города области Важской в наследственное достояние и титло *слуги*, знаменитейшее боярского и в течение века носимое только тремя вельможами: князем Симеоном Ряполовским, коего отец спас юного Иоанна III от Шемякиной злобы; князем Иваном Михайловичем Воротынским за Ведрошскую победу и сыном его, бессмертным князем Михайлом, за разбитие крымских царевичей на Донце и взятие Казани. Князю Мстиславскому дал Феодор, также с своего плеча, шубу с золотыми пуговицами, кубок с золотою чаркою и пригород Кашин с уездом; других воевод, голов, дворян и детей боярских жаловал шубами, сосудами, вотчинами и поместьями или деньгами, камками, бархатами, атласами, соболями и куницами; стрельцов и козаков тафтами, сукнами, деньгами: одним словом, никто из воинов не остался без награды и не было конца великолепным пирам в Грановитой палате, более в честь Годунова, нежели в царскую: ибо Феодор велел торжественно объявить и в России и в чужих землях, что Бог даровал ему победу *радением и промыслом Борисовым*. Таким образом новый луч озарил главу правителя, луч ратной славы, блистательнейшей для народа державы воинственной, которую окружали еще столь многие опасности и неприятели! — На месте, где войско стояло в укреплении против хана, заложили каменную церковь Богоматери и монастырь, названный *Донским* от имени святой иконы, которая была с Димитрием на Куликове поле и с Годуновым в Московской битве; а на случай нового приступа варваров к столице защитили все ее посады деревянными стенами с высокими башнями.

Но торжество Борисово, пиры двора и воинства, милости и жалованья царские заключились пытками и казнями! Донесли правителю, что оскорбительная для него молва носится в городах уездных, особенно в Алексине — молва, распущенная его неприятелями, по крайней мере нелепая: говорили, что будто бы он привел хана к Москве, желая унять вопль России о жалостном убиении Димитрия. Народ — и только один народ — слушал, повторял сию клевету. С великодушием, с невинностию Годунов мог бы презреть злословие грубое, разносимое ветром; но Годунов с совестию нечистою закипел гневом: послал чиновников в

разные места; велел изыскивать, допрашивать, мучить людей бедных, которые от простоты ума служили эхом клевете, и в страхе, в истязаниях оговаривали безвинных; некоторые умерли в пытках или в темницах; других казнили, иным резали языки — и многие места, по словам летописца, опустели тогда в украйне, в прибавление к развалинам Углича!

Сия жестокость, достойная времен Иоанновых, казалась Годунову необходимою для его безопасности и чести, чтобы никто не дерзал ни говорить, ни мыслить ему противного: единственное условие, коего не должно было нарушать для жизни мирной и счастливой в Феодорово царствование! Грозный только для своих порицателей, Годунов во всех иных случаях хотел блистать милосердием редким. Заслуживал ли кто опалу, но мог извиниться естественно человеческою слабостию? того миловали и писали в указе: «Государь прощает, из уважения к ходатайству слуги, конюшего боярина». Даже изменникам, даже Михайлу Головину, жившему в Литве, Борис предлагал мирное возвращение в отечество, знатнейший сан и лучшее поместье, как бы в возмездие за гнусную измену! Кого же осуждали на казнь, о том писали в указе: «так приговорили бояре, князь Федор Иванович Мстиславский с товарищи»; о Годунове не упоминали. Для приятелей, угодников, льстецов не имея ничего заветного, кроме верховной власти, в его руках неприкосновенной, он ежедневно умножал число их и чем более заслуживал укоризны, тем более искал хвалы и везде слышал оную, искреннюю и лицемерную— читал и в книгах, сочиняемых тогдашними грамотеями, духовными и мирскими; одним словом, искусством и силою, страхом и благодеяниями произвел вокруг себя гром славы, заглушая им если не внутренний глас совести, то по крайней мере глас истины в народе.

Но жертвуя одной мысли и Небом и самым истинным земным счастием: спокойствием, внутренним услаждением добродетели, законным величием государственного благотворителя, чистою славою в истории, Годунов едва было не лишился вожделенного плода своих козней от случая естественного, но неожиданного: вдруг разнеслася весть от дворца Кремлевского до самых крайних пределов государства — и всех, кроме Бориса, от монарха до земледельца, исполнила счастливой надежды — весть, что Ирина беременна! Никогда Россия, по сказанию летописца, не изъявляла искреннейшего веселия: казалось, что Небо, раздраженное

преступлением Годунова, но смягченное тайными слезами добрых ее сынов, примирилось с нею, и на могиле Димитриевой насаждает новое царственное древо, которое своими ветвями обнимет грядущие веки России. Легко вообразить сии чувства народа, приверженного к венценосному племени Св. Владимира: гораздо труднее вообразить тогдашние чувства Борисовы. Гнуснейшее из убийств оставалось тщетным для убийцы: совесть терзала его, а надежда затмевалась навеки или до нового злодейства, еще страшного и для злодея! Годунов должен был терпеть общую радость, изъявлять живейшее в ней участие, обманывать двор и сестру свою! Чрез несколько месяцев нетерпеливого ожидания, Ирина родила дочь, к облегчению Борисова сердца; но родители были и тем счастливы, как ни желали иметь наследника престолу: разрешилось неплодие, и нежность их могла увенчаться плодом новым, в исполнение общего желания. Не только чувствительная мать, но и тихий, хладнокровный Феодор в восторге благодарил Всевышнего за милую дочь, названную Феодосиею (и 14 июня окрещенную в обители Чудовской); простил всех опальных, самых важных преступников, осужденных на смерть: велел отворить темницы и выпустить узников; наделил монастыри богатою милостынею и послал множество серебра духовенству в Палестину. Народ также радовался; но люди склонные к подозрению, угадывая сокровенность души Борисовой, за тайну передавали друг другу сомнение: не мог ли Годунов подменить младенца, если царица родила сына, и вместо его обманом представить Феодосию, взятую им у какой-нибудь бедной родильницы? После увидим действие сей мысли, хотя и маловероятной. С другой стороны, любопытные спрашивали: «Должна ли Феодосия, если не будет у нее братьев, наследовать державу? Случай, дотоле беспримерный, не мог ли служить примером для будущего? Россия никогда не имела жен венценосных по наследию; но не лучше ли уставить новый закон, чем осиротеть престолу?» Сии вопросы затруднительные беспокоили, как вероятно, и Годунова: они разрешились, к его успокоению, смертию Феодосии в следующем году. Несмотря на все утешения Веры, Феодор долго не мог осушить слез своих: с ним плакала и столица, погребая юную царевну в девичьем монастыре Вознесенском и разделяя тоску нежной матери, сим ударом навеки охлажденной к мирскому счастию. Злорадствуя во глубине души, Годунов без сомнения умел притвориться отчаянным (ибо легче показывать лицемерную скорбь в

тайном удовольствии, нежели веселие лицемерное в тайной печали); но снова подозревали сего жестокого властолюбца: думали, что он, быв виновником Евдокииной смерти, уморил и Феодосию. Бог ведал истину; но обагренный святою кровию Димитриевою не имел права жаловаться на злословие и легковерие: все служило ему праведною казнию — и самая клевета невероятная!

Глава III
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ФЕОДОРА ИОАННОВИЧА
1591—1598 гг.

Война и мир с Швециею. Переписка с литовскими вельможами. Набег крымцев. Посольства в Константинополь. Своевольство донских козаков. Строение городов. Мир с ханом. Вспоможение императору. Знатный посол австрийский. Легат Климента VIII в Москве. Дружество Феодора с шахом Аббасом. Поход на Шавкала. Сношения с Даниею и с Англиею. Закон об укреплении крестьян и слуг. Новая крепость в Смоленске. Зажигальщики. Двор московский. Ослепление царя Симеона. Святители греческие в Москве. Разрушение Печерской обители. Слово Феодорово Годунову. Кончина Феодорова. Присяга царице Ирине. Пострижение Ирины. Избрание Годунова в цари.

В делах внешних Россия могла, как и дотоле, хвалиться успехами и политикою благоразумною. В надежде на содействие хана, Иоанн, король шведский, отвергнул перемирие, данное ему Феодором в удовольствие Сигизмунду, и генерал его, Мориц Грип, вступив в Новогородскую область, сжег многие селения близ Ямы и Копорья. Воеводы наши, удивленные сим нечаянным нападением, послали гонца спросить у него, знает ли он о подписанном в Москве договоре? *Не знаю*, ответствовал Мориц; шел далее и стоял уже в пятидесяти верстах от Новагорода. Сведав, что многочисленные российские полки ожидают его впереди, он не захотел битвы и возвратился, но почти без войска, истребленного зимним холодом и болезнями. Летом 1591 года, когда хан стремился к Москве, шведы снова явились близ Гдова, разбили

наш отряд и взяли в плен воеводу, князя Владимира Долгорукого; другие толпы их из Каянии проникли, сквозь пустыни и леса, в северную Россию и взяли Сумский острог на Белом море, думая овладеть и всеми ее пристанями. Но сия важная мысль, лишить нас выгод морской торговли, требовала усилий невозможных для слабой Швеции. Царь послал туда из Москвы двух князей Волконских, Андрея и Григория, с дружинами стрельцов: первый занял монастырь Соловецкий, угрожаемый неприятелем; второй истребил шведов в Сумском остроге и взял несколько пушек. Узнав, что каянские разбойники в самый день Рождества Христова сожгли Кольскую или Печенскую обитель, злодейски умертвив 50 иноков и 65 слуг монастырских, князь Григорий Волконский отмстил им опустошением Каянии и возвратился в монастырь Соловецкий с богатою добычею.— Сии неприятельские действия едва было не произвели и разрыва с Литвою: ибо Сигизмунд долго не хотел утвердить заключенного в Москве перемирия без обязательства с нашей стороны не тревожить Швеции. Послов Феодоровых, Салтыкова и Татищева, выводили из терпения остановками на пути в Варшаву, сердили грубостями, лишали всех удобностей, самого нужного, так что они, исполненные негодования, предлагали королевским чиновникам, вместо денег, 50 сосудов серебряных, требуя пищи для своих людей голодных. Наконец Сигизмунд, сведав об изгнании хана из России, утвердил договор Московский, но заставив наших послов внести в него новое условие, чтобы ни царю, ни Литве в течение двенадцати лет не мыслить о завоевании Нарвы. Целуя крест, он сказал Салтыкову: «Мы будем в мире с царем до его первого нападения на Швецию, ибо сын должен вступиться за отца». Сия угроза не спасла однако ж шведских владений от разорения.

Зимою 1592 года царь послал знатнейших воевод, князей Мстиславского и Трубецких, двух Годуновых, Ивана и Степана Васильевичей, князя Ноготкова и Богдана Яковлевича Бельского, в Финляндию, где они выжгли селения и города, взяв несколько тысяч пленников. Шведы не отважились на битву: сидели только в Выборге и в Абове, к коим не приступали россияне, окружив их со всех сторон пеплом и развалинами. В исходе февраля, совершив поход, воеводы приехали в Москву жаловаться друг на друга: князь Федор Трубецкой винил Годуновых, Годуновы Трубецкого в худой ревности к царской службе. Царь всем им объявил немилость за раздор, вредный для отечества: не ве-

лел съезжать со двора, от Вербной Недели до Светлого Воскресения: ибо правитель желал славиться беспристрастием, сею леггкою опалою доказав, что не щадит и своих ближних, когда дело идет о пользе государственной.

В самое то время, когда мы беспрепятственно опустошали Финляндию, находился в Стокгольме посол хана крымского, Черкашенин Антоний, требуя золота от шведов за впадение Казы-Гиреево в Россию. «Золото готово для победителя, — ответствовал король Иоанн, — хан видел Москву, но не спас нашей земли от меча российского». Видя, что и Сигизмунд не может быть надежным защитником Швеции, Иоанн в последние дни жизни своей искренно хотел мира с Россиею, в августе 1592 года выслав маршала Флеминга, генерала Бое и других сановников на реку Плюсу, где они с окольничим и наместником суздальским, Михайлом Салтыковым, в генваре 1593 года заключили двулетнее перемирие, уже именем нового венценосца шведского: 25 ноября [1592 г.] Иоанн умер, и сын его, Сигизмунд, наследовал престол шведский, соединяя таким образом под своею державою силы двух королевств, враждебных для России: чему радовались в Варшаве и в Стокгольме; чего опасались в Москве — но недолго. Оказались следствия неожиданные, более в пользу, нежели ко вреду России: ибо Сигизмунд, вместо тесной связи, произвел взаимную злобу между своими государствами: раболепствуя вельможам коронным и литовским, хотел самовластвовать в Швеции, переменить Веру, ввести латинскую, отдать Эстонию Польше; видел негодование, явное сопротивление шведов и почти бежал из Стокгольма в Варшаву, оставив верховную власть в руках сената. В сих несчастных обстоятельствах, в раздорах, в смятении Швеция не могла думать о войне с Россиею; искала мира твердого, вечного и в угождение царю согласилась, чтобы ее послы, Стен-Банер, Горн, Бое, съехались с московскими, князем Иваном Турениным и Пушкиным, в владении российском, у Тявзина, близ Иваногорода; однако ж собрала и войско, в Выборге и в Нарве, чтобы дать более силы своим требованиям или отказам: российское, гораздо многочисленнейшее, стояло от Новагорода до эстонской и финляндской границы, в тишине и в бездействии, ожидая конца переговоров. С обеих сторон требовали для вида: мы Эстонии, шведы Иванягорода, Ямы, Копорья, Орешка, Ладоги, Гдова или денег за убытки войны долговременной; но в самом деле Швеция хотела

только мира без уступок с ее стороны, а Россия с приобретением Корельской области. Послы с обеих сторон жаловались на упрямство, в досаде снимали шатры и разъезжались, чтобы снова съехаться. Наконец московские одержали верх, 18 мая 1595 года подписав следующий договор: «1) быть вечному миру между Швециею и Россиею; 2) первой спокойно владеть Нарвою, Ревелем и всем *Чухонским*, или Эстонским, *княжеством*; 3) России не помогать врагам Швеции, а Швеции врагам России, ни людьми, ни деньгами; 4) пленных освободить без окупа и без размена; 5) лапландцам остерботнийским и варангским платить дань Швеции, а восточным (кольским и соседственным с землею Двинскою) России; 6) шведам торговать свободно в Москве, Новегороде, Пскове и в иных местах: также и россиянам в Швеции; 7) в кораблекрушении и во всяких бедственных случаях усердно оказывать друг другу взаимную помощь; 8) послам московским вольно ездить чрез шведские владения к императору, папе, королю испанскому и ко всем великим государям европейским или их послам в Москву: также и людям торговым, воинским, лекарям, художникам, ремесленникам». Сей мир обрадовал ту и другую державу, избавив шведов от войны разорительной и надежно утвердив за ними Эстонию с Нарвою, а России возвратив древнюю новогородскую собственность, где наши братья и церкви тосковали под властию чуждых завоевателей. Феодор вместе с воеводами послал в Кексгольм и святителя, чтобы очистить там православие от следов иноверия.

Хотя Стен-Банер, Горн и Бое договаривались с нами еще именем короля Сигизмунда, но он в самом деле не имел в том участия, и, мало заботясь о строптивой Швеции, в какой-то душевной сонливости редко сносился с Москвою и по делам литовским. Тем более хитрила наша Дума Государственная, стараясь вселить в вельможных панов недоверенность к беспечному королю, и как бы с удивлением дав им заметить, что Сигизмунд в своем титуле ставит имя Швеции выше имени Польского королевства, спрашивали: «с их ли ведома он унижает знаменитую корону Ягеллонов пред Готфскою, столь новою и ничтожною? ибо шведы еще недавно были подданными Дании, вместо государей имея у себя правителей, которые сносились только с новогородскими наместниками». Но величавые паны, еще с живым неудовольствием воспоминая повелительную твердость Баториеву, любили мягкого Сигизмунда и хвалились его счастием, одержав победу над ханом

11 Зак. № 40

крымским, надеясь без войны взять Эстонию и наслаждаясь временным миром с Россиею, также им довольною.

Ослабленный несчастным походом Московским, хан еще не престал, как видим, усильно действовать против соседственных держав христианских, чтобы искать добычи, не впасть в презрение у своих хищных князей и не лишиться власти от гнева Амуратова: ибо султан осыпал его жестокими укоризнами за малодушное бегство из России, коего стыд падал и на знамена оттоманские. Желая усыпить Феодора, Казы-Гирей писал к нему о возобновлении дружбы между ими; извинялся легковерием, насказами злых людей, которые хотели их ссорить, и гонец крымский за тайну объявил правителю, что хан, зная мысль султанову дать иного властителя Тавриде, намерен отстать от турков, всею душою соединиться с царем, все улусы вывести из полуострова, разорить Крым, основать для себя державу и крепость на берегах Днепра, на Кошкине Перевозе, и там служить неодолимою оградою для России, в угрозу ненавистным оттоманам, если Феодор доставит ему несколько пуд серебра на строение сей крепости; что в удостоверение своего дружества к нам и в задаток будущих великих услуг Казы-Гирей идет снова опустошать Литву. Хан, как обыкновенно, обманывал; а мы, как обыкновенно, и верили ему и не верили: послали гонца в Тавриду с ответом, что забудем все его злодейства, если он искренно примирится с нами; что дружба великого монарха христианского и для мусульманина предпочтительнее игу оттоманскому; что мы хотя и не в войне с Литвою, однако ж *не будем досадовать* на хана за опустошение сей враждебной для него земли (коварство, называемое политикою!) Но чиновник московский, еще не доехав до Тавриды, сведал, что ее царевичи, калга Фети-Гирей и Нурадин-Бахта, уже огнем и мечом свирепствуют в пределах рязанских, каширских, тульских, где, не к похвале бдительного правителя, все сделалось жертвою их мести или корыстолюбия: защиты не было. Они не думали идти к Москве: ушли назад, но истребив селения и захватив в плен множество *дворян* с детьми и женами. Сия оплошность России стоила злой насмешки хана, сказавшего с видом удивления гонцу Феодорову: «Куда делося войско московское? Царевичи и князья наши не вынимали ни сабли из ножен, ни стрелы из колчана и плетью гнали тысячи пленников, слыша, что ваши храбрые воеводы прячутся в лесах и в дебрях». В знак милости надев на сего чиновника золотой кафтан, хан велел ему уверить

Феодора, что царевичи действовали самовольно и что от нас зависит купить мир с Тавридою серебром и мехами драгоценными!

Упорствуя в желании сего мира, Феодор решился тогда возобновить сношения с султаном и послал в Константинополь чрез Кафу дворянина Нащокина требовать, чтобы Амурат запретил хану, азовцам и белогородцам воевать Россию из признательности к нашему истинному дружеству: «ибо мы, — так писал царь к султану и Годунов к великому визирю, — не хотим слушать императора, королей испанского и литовского, папы и шаха, которые убеждают нас вместе с ними обнажить меч на главу мусульманства». Изъявив учтивость посланнику, визирь сказал: «Царь предлагает нам дружбу: мы поверим ей, когда он согласится отдать великому султану Астрахань и Казань. Не боимся ни Европы, ни Азии: войско наше столь бесчисленно, что земля не может поднять его; оно готово устремиться сухим путем на шаха, Литву и цесаря, а морем на королей испанского и французского. Хвалим вашу мудрость, если вы действительно не хотели пристать к ним, и султан не велит хану тревожить России, буде царь сведет с Дону козаков своих и разрушит четыре новые крепости, основанные им на берегах сей реки и Терека, чтобы преграждать нам путь к Дербенту: или сделайте так, или (в чем клянуся Богом) не только велим хану и ногаям беспрестанно воевать Россию, но и сами *пойдем на Москву своими головами, сухим путем и морем*, не боясь ни трудов, ни опасностей, — не жалея ни казны, ни крови. Вы миролюбивы; но для чего же вступаете в тесную связь с Ивериею, подвластною султану?» Нащокин ответствовал, что Астрахань и Казань нераздельны с Москвою; что царь велит выгнать козаков из окрестностей Дона, где нет у нас никаких крепостей; что связь наша с Грузиею состоит в единоверии и что мы посылаем туда не войско, а священников и дозволяем ее жителям ездить в Россию для торговли. Нащокин предлагал визирю изъясниться с царем чрез посла султанского: визирь сперва не хотел того, сказав: «у нас нет сего обычая: допускаем к себе послов иноземных, а своих не шлем»; однако ж согласился наконец отправить в Москву сановника, чауша Резвана, с требованиями объявленными Нащокину; а царь с ответом и с дарами (с черною лисьею шубою для Амурата, с соболями для визиря) еще послал в Константинополь дворянина Исленьева (в июле 1594), обещая унять козаков и свободно пропустить турков в Дербент, в Шамаху, в Баку, если Амурат уймет Казы-Гирея. «Мы велели (писал

Феодор к султану) основать крепости в земле Кабардинской и Шавкалской не в досаду тебе, а для безопасности жителей. Мы ничего у вас не отняли: ибо князья горские, черкесские и шавкалские были издревле *нашими подданными Рязанских пределов*, бежали в горы и там покорились отцу моему, своему давнишнему, законному властителю». Сия *новая история* Кабарды и Дагестана не уверила султана, чтобы их князья были рязанскими выходцами: он видел стремление московской политики к присвоениям на Востоке, не мог ей благоприятствовать и не думал содействовать успокоению России, то есть мирить хана с нею.

Сии константинопольские посольства не доставили нам ничего, кроме любопытных сведений о состоянии империи Оттоманской и греков. «В Турции ныне (доносил Нащокин) все изменилось: султан и паши мыслят единственно о корысти; первый умножает казну, а для чего, неизвестно: прячет золото в сундуках и не делает жалованья войску, которое в ужасном мятеже недавно приступало ко дворцу, требуя головы дефтердаря, или казначея. Нет ни устройства, ни правды в государстве. Султан обирает чиновников, чиновники обирают народ; везде грабеж и смертоубийства; нет безопасности для путешественников на дорогах, ни для купцов в торговле. Земля опустела от войны Персидской и насилия, особенно Молдавская и Волошская, где непрестанно сменяют господарей от мздоимства. Греки в страшном утеснении: бедствуют, не имея и надежды на будущее». Исленьев был задержан в Константинополе, где в 1595 году воцарился Магомет III: ибо сей новый султан, гнусный душегубец девятнадцати братьев, ждал только благоприятного времени, чтобы объявить войну России. Между тем, в Цареграде называя донских витязей шайкою разбойников, мы посылали им воинские снаряды, свинец и селитру. Они умножились числом, принимая к себе козаков днепровских и всяких бродяг, вели непрестанную войну с Азовом, с ногаями, с черкесами, с Тавридою и ватагами ходили на море искать добычи, слушаясь и не слушаясь указов царских. Нащокин из Азова писал в Москву, что козаки станиц низовых силою отняли у него дары государевы, не хотели без окупа выдать ему своих пленников, султанского чауша с шестью князьями черкесскими, и с досады одному из них отсекли руку, вопя на шумной сходке: «Мы верны царю Белому; но кого берем саблею, того не освобождаем даром!» Своевольством заслуживая опалу, козаки заслуживали и милость государеву, будучи непримиримыми врагами зло-

деев и зломысленников России.

Не имев успеха в намерении обуздать хана посредством Турции, мы наконец и без ее содействия достигли цели своей: обезоружили его, не столько угождениями и переговорами, сколько благоразумными мерами, взятыми для защиты южных областей России. Возобновив древний Курск, давно запустевший – основав крепости Ливны, Кромы, Воронеж — царь в конце 1593 года велел строить еще новые, на всех *сакмах*, или путях татарских, от реки Донца к берегам Оки: Белгород, Оскол, Валуйку, и населить оные людьми ратными, стрельцами, козаками, так что разбойники ханские уже не могли легко обходить грозных для них твердынь, откуда летом непрестанно выезжали конные отряды для наблюдения и гром пушечный оглушал варваров. Царь в одной руке держал меч, а в другой золото, и призывал к хану: «Папа римский, цесарь, короли испанский, португальский, датский и вся Германия убеждают меня искоренить твой улус, между тем как они всеми силами будут действовать против султана. Собственные бояре мои, князья, воеводы, в особенности жители украйны, также бьют мне челом, чтобы я вспомнил все ваши неправды и злодейства, двинул войско и в самых недрах твоей Орды не оставил камня на камне. Но я, желая дружбы твоей и султановой, не внимаю ни послам европейских государей, ни воплю моего народа и предлагаю тебе братство с богатыми дарами». Непрестанно помыкаемый Амуратом из земли в землю, то в Молдавию и Валахию, то в Венгрию, чтобы усмирять бунты оттоманских данников или сражаться с австрийцами, изнуряя войско в походах и приобретая скудную добычу тратою многих людей в битвах, хан вымолил у султана дозволение обмануть Россию ложным примирением, торжественным и пышным, какого в течение семидесяти пяти лет у нас не бывало с Тавридою. В ноябре 1593 года съехались знатные послы, ханский Ахмет-паша и московские, князь Федор Хворостинин с Богданом Бельским, на берегу Сосны, под Ливнами, для предварительного договора: сия река была тогда границею обитаемой, или населенной, России; далее к югу, начинались степи, приволье татарское, и вельможа Казы-Гиреев не хотел ехать на левый берег Сосны, боясь отдаться нам в руки и тем унизить достоинство хана. Послы, сходясь на мосту, условились с обеих сторон прекратить неприятельские действия, освободить пленников, утвердить мир и союз навеки: для чего крымскому ширинскому князю, Ишимамету, надлежало ехать в Москву, а князю Меркурию Щербатову в Тавриду.

Сии новые, великие послы, встретясь на том же мосту, ласково приветствовали друг друга, и каждый отправился в свой путь. В залог дружбы Феодор отпустил к хану жену царевича Мурата, умершего в Астрахани; доставил Казы-Гирею 10 000 рублей, сверх шуб и тканей драгоценных, обещая присылать ежегодно столько же; наконец имел удовольствие получить от него (летом в 1594 году) шертную, или клятвенную, грамоту с златою печатию. Сия грамота условиями и выражениями напоминала старые, истинно союзные, коими добрый, умный Менгли-Гирей удостоверил Иоанна III в любви и в братстве. Казы-Гирей обязывался быть врагом наших врагов, без милости казнить своих улусников за впадения в Россию, возвращать их добычу и пленников, оберегать царских послов и людей торговых, не задерживать иноземцев на пути в Москву, и проч. Хотя с сего времени крымцы года три не беспокоили наших владений, усильно помогая султану в войне Венгерской: но рать московская всегда стояла на берегах Оки, готовая к бою.

В сие время, совершенно мирное для России, внешняя политика ее не дремала, — и смело уверяя султана, что мы из дружбы к нему не хотим дружиться с его врагами, двор московский искреннее прежнего желал союза с ними. В сентябре 1593 года цесарь вторично прислал в Москву сановника Николая Варкоча красноречиво доказывать необходимость единодушного восстания держав христианских на султана и требовать от нас денежного вспоможения или мехов драгоценных для войны с неверными. В тайной речи он сказал Годунову, что Рудольф думает жениться на дочери Филиппа, короля испанского, и присвоить себе Францию с согласия многих тамошних вельмож, ненавидящих Генрика IV; что Сигизмунд, оскорбляемый самовольством и дерзостию панов, хочет сложить с себя венец Ягеллонов и возвратиться в Швецию; что брат императора, Максимилиан, снова надеется быть королем польским и молит Феодора способствовать ему в том всеми нашими силами, обязываясь уступить России часть Ливонии. Именем царским бояре ответствовали: «Дед, отец Феодоров и сам Феодор многократно изъявляли венскому двору свою готовность вместе с Европою воевать оттоманов; но мы тщетно ждали императорского, испанского и римского посольства в Москву для условия: ждем и ныне. За казну не стоим: лишь бы началося великое дело славы и спасения христиан. Царь желает во всем успеха императору; будет ревностно действовать, чтобы доставить Максимилиану корону польскую, и в таком случае

уступит ему всю Ливонию, кроме Дерпта и Нарвы, необходимых для России». Варкоча отпустили с письмами к Рудольфу, Филиппу, папе о скорейшем отправлении послов в Москву и к шведскому принцу Густаву, Эрикову сыну, коему Феодор предлагал убежище сими словами: «Отцы наши были в дружбе и союзе: узнав, что ты скитаешься изгнанником в землях италийских, зову тебя в Россию, где будешь иметь пристойное жалованье, многие города в отчину, жизнь спокойную и свободу выехать, когда и куда тебе угодно». После объяснится, для чего мы призывали Густава.

Между тем беспечный Рудольф, уже воюя с султаном в Венгрии, еще не спешил заключить союза с Россиею. В августе 1594 года явился в Москве гонец его, но с письмом странным (на языке латинском, за открытою печатью[1]), писанным вместе и к Феодору, и к молдавскому господарю Аарону, и к бряславскому воеводе Збаражскому, и к козакам днепровским, такого содержания: «Вручитель сего, Станислав Хлопицкий, начальник запорожского войска, изъявил нам добрую волю служить империи против неверного султана с осмью или с десятью тысячами козаков. Мы его охотно приняли и дали ему свое знамя, Орла черного, с тем, чтобы он *залег все пути крымцам к Дунаю*, огнем и мечом опустошая владения султанские, но щадя литовские и другие христианские земли: для чего и молим вас благоприятствовать сему нашему слуге усердному». Ясно, что надпись к Феодору была поддельная: не мог император говорить одним языком и с царем московским и с козаками; на словах же, именем Рудольфа, Хлопицкий известил бояр о победах его, о союзе с ним князя седмиградского, господарей молдавского и волошского, уверяя, что запорожские воины, считая Россию своим истинным отечеством, не смеют действовать без воли царя, и молил, чтобы Феодор, соединив с ними несколько дружин московских, велел им идти на турков под знаменами россиян. Хлопицкого не допустили до государя, изъяснив ему непристойность цесаревой грамоты; но примолвили: «из уважения к императору царь отпускает тебя без гнева и напишет к гетману запорожцев, Богдану Микошинскому, что они могут служить Рудольфу». Обстоятельство достопамятное: днепровские козаки, будучи подданными Литвы, вопреки ей, раболепно угождающей султану, входят в союз с императором, чтобы воевать с турками, и признают себя в какой-то зависимости от царя московского!

---

[1] З а о т к р ы т о ю п е ч а т ь ю — распечатанное письмо.

Хотя сей беззаконный союз не имел желаемого следствия для Австрии; хотя литовское правительство наказало самовольство козаков, отняв у них пушки, знамена, серебряные трубы, булаву, данную им Стефаном Баторием, и Черного орла императорского: но воспоминания общего древнего отечества, единоверие, утеснение греческой церкви в Литве и месть народная с того времени уже явно готовили в душе днепровских витязей присоединение их благословенного края к державе московской.

Желая чего-нибудь решительного в наших долговременных переговорах с Австриею, Феодор посылал и своего гонца к Рудольфу, чтобы узнать истинную вину его странного отлагательства в деле столь важном: сведал, что Николай Варкоч, выехав из России, нашел императора в Праге, но долго не мог быть ему представлен, за обыкновенными недосугами сего праздного венценосца; что Рудольф сообщил наконец сейму курфирстов благоприятный ответ Феодоров и что они, высоко ценя дружбу России, убедили его отправить к нам новое посольство. Чрез несколько месяцев (в декабре 1594) приехал в Москву тот же Варкоч, с уведомлением, что турки более и более усиливаются в Венгрии: он требовал немедленного вспоможения казною — и мы удивили австрийский двор щедростию, послав императору, на воинские издержки, 40 360 соболей, 20 760 куниц, 120 черных лисиц, 337 235 белок и 3000 бобров, ценою на 44 тысячи московских тогдашних рублей, с думным дворянином Вельяминовым, коему оказали в Праге необыкновенную честь: войско стояло в ружье на всех улицах, где он ехал ко дворцу в императорской карете; не было конца приветствиям, угощениям, ласкам; давали ему обед за обедом, и всегда с музыкою, хотя сей чиновник не искал веселия, говоря: «православный царь оплакивает кончину своей милой дочери; а с ним плачет и вся Россия». В двадцати комнатах дворца разложив дары Феодоровы пред глазами императора и вельмож его, он удовлетворил их любопытству описанием Сибири, богатой мехами, но не хотел сказать, чего стоила сия присылка государева, оцененная богемскими евреями и купцами в восемь бочек золота. Вельяминов объявил министерству австрийскому, что вспоможение столь значительное доказывает всю искренность Феодорова дружества, невзирая на удивительную медленность императора и союзников его в заключении торжественного договора с нами. Действительно трудно понять, для чего венский двор как бы укло-

нялся от сего договора, более для нас, нежели для Австрии, опасного или затруднительного: ибо он вел мирную Россию к войне с султаном, который уже воевал Австрию! Ответствуя царю, что дальность мест, вражда Испании с Англиею и Франциею, мятеж нидерландский, дряхлость короля Филиппа и новость папы[1] (Климента VIII) мешают общему союзу держав христианских против оттоманов, император послал однако ж к Феодору, для изъявления благодарности, знатного вельможу, Авраама бургграфа *Донавского*, с думным советником, Юрием Калем, с двадцатью дворянами и с девяносто двумя слугами.

Сие посольство удовлетворяло единственно честолюбию двора московского своею пышностию и требовало с его стороны такой же. Вельможа австрийский ехал из Ливонии чрез Псков, видя во всех городах, на всех станах множество людей, чисто одетых и собранных, по указу царскому, из самых дальних мест, чтобы явить ему, сколь населена и богата Россия. От границы до Москвы везде встречали и провожали его отряды воинов на прекрасных конях; везде находил он для себя покой с роскошью, не имея только свободы: ибо за ним наблюдали неусыпно, чтобы скрыть от него истины, прискорбные для самолюбия россиян. В столице везли сего знаменитого гостя лучшими улицами, мимо лучших зданий; отвели ему красивый дом князя Ноздреватого; дали услугу царскую; приносили, на золоте и серебре, все лакомства стола русского, вместе с драгоценнейшими винами южной Европы. В день представления (22 мая 1597) двор московский сиял великолепием чрезвычайным. Бургграф, имея подагру, ехал в Кремль не верхом, а в открытом немецком *возке*; пред ним 120 всадников, дворян и сотников, в блестящих доспехах. Феодор принимал его в Большой Грановитой, *расписной* палате, сидя на троне, в диадеме и с скипетром: Годунов стоял подле, с державою. На правой лавке сидели царевич Араслан-Алей, сын Кайбулин, Маметкул Сибирский и князь Федор Мстиславский; на левой Ураз-Магмет, царевич киргизский; далее бояре, сыновья господарей молдавского и волошского, князья служилые, окольничие, крайчий, оружничий (Бельский), дворяне думные, постельничий, стряпчий, 13 стольников, 200 князей и дворян; дьяки же думные в *Золотой* Грановитой палате. Император прислал в дар царю мощи Св. Николая, окованные золотом, две ка-

[1] Новость папы — то есть недавнее его избрание.

реты, 12 санников[1], боевые часы с органами, несколько сосудов хрустальных; Годунову кубок драгоценный с изумрудами, часы *стоячие* и двух жеребцов с бархатными попонами; а юному сыну его, Федору Борисовичу, обезьян и попугаев; благодарил, равно ласково, и царя и правителя, который, чрез несколько дней дозволив послу быть особенно у себя в доме, с величием монарха *говорил* ему *слова милостивые*, а дворянам его давал целовать свою руку.

Но пышность и ласки не произвели ничего важного. Когда австрийский вельможа, приступив к главному делу, объявил, что Рудольф еще ждет от нас услуг дальнейших; что мы должны препятствовать впадениям хана в Венгрию и миру шаха с султаном; должны и впредь помогать казною императору, в срочное время, в определенном количестве, золотом или серебром, а не мехами, коих он не может выгодно продавать в Европе: тогда бояре сказали решительно, что Феодор без взаимного, письменного обязательства Австрии не намерен расточать для нее сокровищ России; что посланник государев, Исленьев, остановлен в Константинополе за наше вспоможение Рудольфу казною; что мы всегда обуздываем хана и давно бы утвердили союз христианской Европы с Персиею, если бы император не манил нас пустыми обещаниями. — Вместе с сим послом был у нас и гонец от Максимилиана, хотевшего, чтобы Феодор помог ему деньгами в искании короны польской: Максимилиану желали короны, но отказали в деньгах — и бургграф (в июле месяце) выехал из Москвы с одною честию и с дарами богатыми.

Всего удивительнее, что Рудольф в своей медленности извинялся *новостию* папы, Климента VIII, а сей папа тогда же присылал к Феодору, чрез Литву, именитого легата, Александра Комулея, аббата моненского, и за тем же делом, убеждая царя избавить державы христианские от ига мусульманов. Комулей и вельможа австрийский едва ли виделись друг с другом в Москве; по крайней мере действовали или говорили без всякого сношения между собою. С обыкновенною тонкостию римского двора папа льстил царю и России; представлял ему, что оттоманы могут, завоевав Венгрию, завоевать и Польшу с Литвою; что они уже и с другой стороны касаются наших владений, покорив часть Грузии и Персии; что Византийская и многие иные державы пали от из-

---

[1] С а н н и к — санный конь.

лишней любви к миру, от бездействия и непредвидения опасностей; что Феодору легко послать войско в Молдавию и взять султановы города на берегах Черного моря, где ожидает нас и слава и богатая добыча; что мы лучше узнаем там искусство военное, ибо увидим, как немцы, венгры, италианцы сражаются и побеждают турков; что от нас зависит присоединить к России земли счастливые благорастворением воздуха, выгодами естественными, красотою природы и чрез Фракию открыть себе путь к самой Византии, наследственному достоянию государей московских; что ревность Веры сближает пространства; что Рим и Мадрит далеки от Воспора, но что Константинополь увидит знамена апостольские и Филипповы; что народы, угнетаемые турками, суть нам братья по языку и Закону; что время благоприятно: войско оттоманское разбито в Персии и в Венгрии, а внутри Турции везде мятеж, и не осталось половины жителей.— Достойны замечания и следующие места наказа, данного папою легату: «Мы слышали, что цари любят хвалиться своим мнимым происхождением от древних римских императоров и дают себе пышные титла: изъясни боярам московским, что степени в достоинстве или в величии государей должны быть утверждены нами, и в пример наименуй королей польских и богемских, обязанных венцом первосвятителю Всемирной церкви. Старайся впечатлеть в их души благоговение ко главе христиан, мирных и счастливых нашею духовною властию; доказывай, что истинная Христова церковь в Риме, а не в Константинополе, где неверные султаны торгуют саном рабов-патриархов, чуждых благодати Св. Духа; что зависеть от мнимых пастырей византийских есть зависеть от врагов Спасителя, и что Россия знаменитая достойна лучшей доли. Тебе, мужу ученому, известно несогласие в догматах римской и греческой Веры: убеждай россиян в истине нашего православия, сильно, но осторожно, тем осторожнее, что они *весьма любят точность*, и что ты, говоря их собственным языком, не можешь извиниться неведением истинного разума слов. Но сколько имеешь и выгод пред всеми учителями, посыланными к ним из Рима в течение семи веков, и незнакомыми ни с языком, ни с обычаями России! Если Господь благословит подвиг твой успехом; если откроешь путь к соединению Вер, то сердце наше утешится и славою церкви и спасением душ бесчисленных»,— Знаем, что с сим наказом Климентов посол был два раза в Москве (в 1595 и 1597 году), но не знаем его переговоров, которые впрочем не имели важных следствий,

уменьшив, как вероятно, надежду Рима на государственный и церковный союз с Россиею, по крайней мере до времени.

Обещая императору, без сомнения и папе, верного сподвижника в шахе персидском, мы действительно могли сдержать слово, возобновив с ним дружелюбную связь. Уже сей знаменитый шах, Аббас, готовился к делам славы, которые доставили ему в летописях имя Великого; наследовав державу расстроенную слабостию Тамаса и Годабенда, возмущаемую кознями удельных ханов, стесненную завоеваниями турков, хотел единственно временного мира с последними, чтобы утвердиться на престоле и смирить внутренних мятежников; старался узнать взаимные отношения государств, самых дальних, и, приветствуя за морями доброго союзника в короле испанском, видел еще надежнейшего в сильном монархе российском, коего владения уже сходились с персидскими и с оттоманскими: новый посол шахов (в 1593 году), Ази Хосрев, вручив царю ласковое письмо Аббасово, всего более льстил правителю, в тайных с ним беседах пышными выражениями восточными, говоря ему: «ты единою рукою держишь землю Русскую, а другую возложи с любовию на моего шаха и навеки утверди братство между им и царем». Борис отвечал скромно: «я только исполняю волю самодержца; где его слово, там моя голова», — но взялся быть ревностным ходатаем за шаха. Изъясняя Годунову, что перемирие, заключенное Персиею с турками, есть одна хитрость воинская, посол сказал: «Чтобы усыпить их, шах дал им своего шестилетнего племянника в аманаты — или в жертву: пусть они зарежут младенца при первом блеске нашей сабли! Тем лучше: ибо грозный Аббас не любит ни племянников, ни братьев, готовя для них вечный покой в могиле или мрак ослепления в темнице». Ази не клеветал на шаха; но сей безжалостный истребитель единокровных умел явить себя великим монархом в глазах посла Феодорова, князя Андрея Звенигородского, коему надлежало узнать все обстоятельства Персии и замыслы Аббасовы. Князь Андрей (в 1594 году) ехал чрез Гилянь, уже подвластную шаху, который выгнал ее царя, Ахмета, обвиняемого им в вероломстве. Везде тишина и порядок доказывали неусыпную деятельность государственной власти; везде честили посла, как вестника Феодоровой дружбы к шаху. Аббас принял его в Кашане, окруженный блестящим двором, царевичами и вельможами, имея на бедре осыпанную алмазами саблю, а подле себя лук и стрелу; дал ему руку, не предлагая целовать но-

ги своей; изъявлял живейшее удовольствие; славил царя и Годунова. Пиры и забавы предшествовали делам: днем гулянья в садах, музыка, пляски, игры воинские (в коих сам Аббас оказывал редкое искусство, носясь вихрем на борзом аргамаке своем и пуская стрелы в цель); ввечеру потешные огни, яркое освещение садов, водометов, площади, красивых лавок, где толпилось множество людей и где раскладывались драгоценности азиятские для прельщения глаз. Шах хвалился войском, цветущим состоянием художеств и торговли, пышностию, великолепием и, показывая князю Звенигородскому свои новые палаты, говорил: «ни отец, ни дед мой не имели таких». Показывал ему и все свои редкие сокровища: *желтый яхонт*, весом во 100 золотников, назначенный им в дар царю, богатое седло Тамерланово, латы и шлемы работы персидской. За обедом, сидя с ним рядом, шах сказал: «Видишь ли посла индейского, сидящего здесь ниже тебя? Монарх его, Джеладдин Айбер, владеет странами неизмеримыми, едва ли не двумя третями населенного мира; но я уважаю твоего царя еще более». Начав беседовать с князем Андреем о делах, Аббас удостоверял его в твердом намерении изгнать ненавистных оттоманов из западных областей Персии, но прежде отнять Хоросан у царя бухарского Абдулы, который овладел им в Годабендово несчастное время и завоевал Хиву. «Я живу одною мыслию, — говорил Аббас, — восстановить целость и знаменитость древней Персии. Имею 40 000 всадников, 30 000 пеших воинов, 6000 стрельцов с *огненным боем*; смирю ближайшего недруга, а после и султана: даю в том клятву, довольствуясь искренним обещанием государя московского содействовать, когда настанет время, успеху сего великого подвига, да разделим славу и выгоду оного!» Аббас соглашался вступить в сношение с Австриею чрез Москву (где посол его виделся с Рудольфовым); бесспорно, уступал нам Иверию, но говорил: «Царь Александр обманывает Россию, грубит мне и тайно платит дань султану». Сын Александров, Константин, находясь аманатом в Персии, волею или неволею принял там Веру магометанскую и женился на мусульманке: шах в угодность Феодору отпускал его в Москву; но сей юный князь сам не захотел ехать туда, сквозь слезы сказав нашему послу: «моя судьба умереть здесь в честном рабстве!» Чтобы доказать отменную дружбу к России, Аббас приехал сам нечаянно в гости к князю Звенигородскому с изгнанником, царем хивинским, Азимом, и с первым своим министром, Фергат-

ханом, пил у него вино и мед (любя часто быть навеселе, вопреки Магомету), внимательно рассматривал иконы Богоматери и Св. Николая и, взяв от хозяина в дар черную лисью шапку, отдарил его щедро прекрасным аргамаком и образом Девы Марии, писанным на золоте в Персии с фряжской иконы, которая была прислана шаху из Ормуса. В подтверждение всего сказанного Андрею Звенигородскому, Аббас послал с ним в Москву одного из вельмож своих, Кулыя; а Феодор к шаху князя Василья Тюфякина с образцовою договорною грамотою, в том смысле, чтобы им быть верными союзниками и братьями, общими силами выгнать турков из земель Каспийских, России взять Дербент с Бакою, Персии Ширванскую область. Но Тюфякин и дьяк его умерли на пути: о чем долго не знали в Москве, и сношения с Аббасом, занятым тогда счастливою для него войною Бухарскою, прервалися до нового царствования в России.

По крайней мере шах уступил нам Иверию: до времени не споря об ней с султаном явно, Феодор хотел утвердить свое право на имя ее верховного властителя усмирением жестокого врага Александрова, Шавкала, и еще два раза посылал на него воевод, князей Григория Засекина и Андрея Хворостинина: от первого бежал Шавкал в неприступные горы; второму надлежало довершить покорение сей земли Дагестанской, соединиться в ней с войском иверским, с сыном Александровым, Юрием, и взять ее столицу, Тарки, чтобы отдать ее тестю Юриеву, другому князю дагестанскому. Князь Хворостинин пришел и взял Тарки; но не встретил ни сына, ни свата Александрова: ждал их тщетно; непрестанно бился с горными жителями, ежедневно слабел в силах, и должен был, разорив Тарки, бежать назад в Терскую крепость: не менее трех тысяч россиян легло, как пишут, в горах и дебрях. Сей случай мог быть поставлен в вину Александру: царь изъявил ему удивление, для чего сын и сват его не соединились с нашим воеводою? Александр извинялся непроходимостию гор; а Феодор благоразумно заметил ему, что если разбойник Шавкал находит путь в Иверию, то и войско иверское могло бы найти путь в землю Шавкала. Однако ж терпеливая, хладнокровная политика наша не изменилась от сей досады, ни от скупости Александра в платеже нам дани: «казна моя истощена (говорил он) свадьбою моей дочери, вышедшей за князя Дадьянского, и многими дарами, коих требуют от меня сильные цари мусульманские». Узнав, что Александр примирился с зятем своим, Симеоном, будто бы в

услугу России, царь писал к первому: «верю твоему усердию и еще более поверю, если склонишь Симеона быть нашим присяжником». Обманывал ли Александр Россию, как сказал шах Аббас князю Звенигородскому? Нет, он был только слабым между сильными: без сомнения искренно предпочитал власть России власти оттоманской и персидской: надеялся, ободрялся; но видя, что мы не хотим или не можем прислать в Иверию войска достаточного для обороны ее, хладел в усердии к нам; не слагал с себя имени российского данника, но действительно платил дань султану (шелком и конями), убеждая Феодора защитить Иверию хотя со стороны Дагестана, где московские воеводы основали тогда новые крепости на берегу Койсы, чтобы стеснить Шавкала и загладить неудачу князя Хворостинина.

Сверх Иверии и князей черкесских, или кабардинских, подвластных России—сверх ногаев, также наших присяжников, хотя и не всегда верных — Феодор с 1595 года объявил себя владыкою и многолюдной Орды Киргизской: хан ее, Тевкель, именуясь *царем казацким и калмацким*, добровольно ему поддался, моля единственно о свободе племянника своего, Ураз-Магмета, взятого нами вместе с сибирским князем, Сейдяком. Феодор обещал Тевкелю милость, защиту и снаряд огнестрельный; соглашался отпустить к нему племянника, но требовал от него сына в аманаты. Кроме чести быть *царем царей*, Феодор ожидал и пользы от нового слуги российского: наш злодей, изгнанник сибирский, Кучюм, скитался в степях киргизских: мы хотели, чтобы Тевкель истребил или представил его в Москву и воевал Бухарию, ибо царь ее, Абдула, покровительствовал Кучюма и в своих письмах грубил Феодору.— Так политика наша действовала в Азии, чтобы утвердить власть России над Востоком.

В Европе мы сносились еще с Даниею и с Англиею: с первою о границах в Лапландии, со второю о торговле. Фридерик Датский, желая означить верный предел нашего и своего владения во глубине Севера, между Колою и Варгавом, присылал туда чиновника, Керстена Фриза; но он уехал назад, не хотев ждать посла московского, князя Ивана Борятинского. Новый король, сын Фридериков, Христиан IV, изъявив Феодору желание быть с ним *в крепкой любви*, также условился о съезде послов в Лапландии, и также бесплодно: воевода, князь Семен Звенигородский, и наместник болховский, Григорий Васильчиков, (в 1592 году) долго жили в Коле и не могли дождаться Христиановых поверенных.

С обеих сторон извинялись дальностию и неверностию пути, бурями и снегами; с обеих сторон узнали по крайней мере, от старожилов кольских и варгавских, древнюю межу Норвегии с новагородскою Лопью; велели жителям прекратить споры, торговать мирно и свободно, впредь до общего, письменного условия между царем и королем. Феодор, в удовольствие Христиану, дал слово освободить некоторых пленников, взятых россиянами в набеге датчан на уезд Колмогорский, и писал о том к начальникам Астрахани, Терской крепости и Сибири, куда ссылались военопленные. Одним словом, Дания снова искала нашей дружбы, уже не мысля препятствовать морской торговле России с Англиею.

Сия важная торговля едва было не прервалася от взаимных досад английского и нашего правительства. Мы жаловались на обманы лондонских купцов и требовали с них около полумиллиона нынешних рублей, взятых ими в долг из царской казны, у Годунова, у бояр и дворян; а купцы запирались в сем долге, слагали его друг на друга и жаловались на притеснения. Царь (в 1588 году) вторично посылал Бекмана в Лондон для объяснения с Елисаветою, которая долго не могла видеть его, оплакивая смерть человека, некогда милого ее сердцу, графа Лейстера; наконец приняла толмача российского с великою милостию, отошла с ним в угол комнаты и беседовала тихо; пеняла ему без гнева, что он, года за четыре перед тем гуляв и беседовав с нею в саду, будто бы в донесении к царю назвал сие увеселительное место низким именем огорода; спрашивала о здоровье Годунова; уверяла, что все сделает из дружбы к Феодору, но объявила новые требования, с коими приехал в Москву доктор Флетчер. Сей более ученый, нежели знатный посланник именем Елисаветы предложил нашей Думе следующие статьи:

«Королева желала бы заключить тесный союз с царем; но океан между ими: дальность, препятствуя государственному союзу, не мешает однако ж любви сердечной: так отец Феодоров, государь славный и мудрый, всегда являл себя истинным братом Елисаветы, которая хочет быть нежною сестрою и великого сына его. Сия любовь, хотя и бескорыстная, питается частыми сношениями венценосцев о делах купеческих: если гостей английских не будет в России, то королева и не услышит о царе; а долговременная безвестность не охладит ли взаимного дружества?

Для утверждения сей, ее сердцу приятной связи, королева молит царя, чтобы он указал: 1) основательнее рассмотреть дело о

сомнительном долге купцов лондонских; 2) судить их только великому боярину Годунову, благотворителю англичан; 3) давать им, как было в царствование Иоанново, свободный путь из Москвы в Бухарию, в Шамаху и в Персию, без задержания и без всякого осмотра товаров в Казани и в Астрахани; 4) царским сановникам не брать у них ничего силою, без платежа денег; 5) отменить всякую заповедь[1] в товарах, покупаемых англичанами в России; 6) способствовать им в отыскании земли Китайской, давать вожатых, суда и лошадей на всех дорогах; 7) без письменного вида от Елисаветы не пускать никаких гостей в пристани между Варгавом и Двинским устьем, ни в Новгород; 8) денежным российским мастерам беспошлинно переливать ефимки для купцов лондонских; 9) ни в каких преступлениях не пытать англичан, но отсылать к их старосте или прикащику, или в Англию для казни; 10) никого из них не беспокоить в рассуждении Веры. — Сим докажет царь любовь к Елисавете».

Бояре написали в ответ: «Государь наш, благодаря королеву за доброе к нему расположение, сам искренно желает ее дружбы, подобно своему великому родителю; но не может согласиться с тем, чтобы взаимная любовь венценосцев питалась делами купечества и чтобы без торговли они уже не имели средств сноситься друг с другом. Такие выражения непристойны. Царь хочет жить в братстве с знаменитыми монархами, с султаном, императором, королями испанским, французским, с Елисаветою, и со всеми не для выгоды купцов, а для своего *обычая государственного*. В удовольствие Елисавете он жаловал гостей лондонских, которые, забыв его милости, начали жить обманом, не платить долгов, ездить тайно в другие земли как лазутчики, в письмах злословить Россию, преграждать путь иноземным кораблям к Двинскому устью — одним словом, заслуживали казнь по уставам всех государств; но царь из уважения к королеве, щадил преступников, и писал к ней о делах их; щадит и теперь: се его воля!

1) Хотя долг купцов лондонских ни мало несомнителен; хотя сие дело было уже основательно рассмотрено в царском Совете: но государь из великодушия уступает им половину, требуя, чтобы они немедленно заплатили 12 тысяч рублей. — 2) Непристойно самому великому, ближнему боярину и шурину царскому судить купцов: ему вверено государство; без его ведома ничего не

[1] Заповедь — запрет.

делается: но судить англичан будут люди приказные, а ему только докладывать. — 3) Из особенной любви к сестре своей, Елисавете, государь дозволяет англичанам ездить чрез Россию в Бухарию и в Персию, не платя пошлины с товаров, хотя другим иноземцам и не велено ни за версту ездить далее Москвы. — 4) Он не терпит, чтобы в его земле силою отнимали чужую собственность, у кого бы то ни было. — 5) Завета нет и не будет для гостей лондонских в покупке наших товаров, кроме воска, вымениваемого иноземцами в России единственно на *ямчугу* или на зелье[1] и серу. — 6) Невозможно царю пускать иноземцев чрез Россию для отыскания других государств. — 7) Удивительно, что королева снова объявляет требование столь неблагоразумное и недружелюбное: мы сказали и повторяем, что в угодность Англии не затворим своих пристаней и не изменим нашего закона в торговле: свободы. — 8) Англичане вольны делать деньги, платя известную пошлину, как и россияне. — 9) Никаких чужестранцев не пытают в России: англичан же, обвиняемых в самых тяжких преступлениях, отдают их старостам. — 10) До Веры нет и дела государю нашему: всякий мирно и спокойно живет в своей, как всегда у нас бывало и будет».

Посол, еще недовольный сими ответами на каждую статью его бумаги, требовал свидания с Годуновым и писал к нему: «Муж светлейший! Королева велела мне *бить тебе челом от сердца*. Она знает благоволение твое к ее народу и любит тебя более всех государей христианских. Не смею докучать тому, на ком лежит все царство; но возрадуюся душою, если дашь мне видеть *пресветлые* очи твои: ибо ты *честь и слава России*». Невзирая на лесть, Флетчер не имел совершенного успеха, и в новой жалованной грамоте, данной тогда лондонским купцам, упоминается о пошлинах, хотя и легких. Годунов не взял и даров королевы: «для того (писал он к Елисавете) что ты, как бы в знак неуважения к великому царю, прислала ему в дар мелкие золотые монеты». К сильнейшему негодованию нашего двора, явился в Москве новым посланником от Елисаветы Иероним Горсей, некогда любимый Иоанном и Борисом, но в 1588 году изгнанный из России за умысел препятствовать торговле немцев в Архангельске: царь не хотел видеть его, ни правитель; а королева писала к Борису, что она не узнает в нем своего бывшего друга; что англичане, гонимые

---

[1] Я м ч у г а — селитра; з е л ь е — огнестрельный порох.

Андреем Щелкаловым, уже не находят заступника в России и должны навсегда оставить ее. Сия угроза, может быть, произвела действие: ибо Годунов знал всю пользу английской торговли для России, для нашего обогащения и самого гражданского образования; знал, что Иоанн III уже не мог исправить своей ошибки, чрезмерною строгостию выгнав купцов ганзейских из Новагорода. Годунов же, как уверяют, любил англичан более всех иных европейцев, особенно уважая хитрую Елисавету, которая, жалуясь и грозя, не преставала изъявлять дружество к Феодору и в доказательство того запретила книгу, изданную (в 1591 году) Флетчером о России, оскорбительную для царя и писанную вообще с нелюбовию к нашему отечеству. Может быть, и смерть знаменитого царского сановника, ненавистного англичанам, благоприятствовала их успеху: около 1595 года не стало ближнего, великого дьяка, Андрея Щелкалова (главного дельца России в течение двадцати пяти лет, угодного Иоанну и Борису отличными способностями, умом гибким и лукавым, совестию неупрямою, смесию достохвальных и злых качеств, нужною для слуги *таких* властителей); а в начале 1596 года Елисавета уже благодарила царя за *добродетельную* любовь к ней, за новую милостивую грамоту, данную им лондонскому купечеству с правом вольной, неограниченной *беспошлинной* торговли во всей России, хваля мудрость нашей Государственной Думы (в коей Василий Щелкалов занял место брата своего, Андрея, называясь с сего времени ближним дьяком и печатником). Елисавета в другом письме к Годунову опровергала клевету, для нее чувствительную, изъясняясь такими словами: «Ты, истинный благодетель англичан в России, единственный виновник прав и выгод, данных им царем, тайно известил меня, что послы императора и папы, будучи в Москве, вымыслили гнусную ложь о моем мнимом союзе с турками против держав христианских: ты не верил ей — и не верь. Нет, я чиста пред Богом и в совести, всегда искренно желав добра христианству. Спросите у короля польского, кто доставил ему мир с султаном? Англия. Спросите у самого императора, не старалась ли я удалить бедствие войны от его державы? Он благодарил меня, но хотел войны: теперь жалеет о том, к несчастию поздно! Сановник мой живет в Константинополе единственно для выгод нашей торговли и для освобождения христианских узников. — Папа ненавидит меня за короля испанского, непримиримого врага Англии, сильного флотами и богатствами обеих Индий, но смирен-

ного мною в глазах всей Западной Европы. Надеюсь и впредь на милость Божию, которою да благоденствует и Россия!»

Таковы были последние действия Феодоровой внешней политики, ознаменованные умом Годунова. Из дел внутренних сего времени достопамятно следующее:

Мы знаем, что крестьяне искони имели в России гражданскую свободу, но без собственности недвижимой: свободу в назначенный законом срок переходить с места на место, от владельца к владельцу, с условием обрабатывать часть земли для себя, другую для господина, или платить ему оброк. Правитель видел невыгоды сего перехода, который часто обманывал надежду земледельцев сыскать господина лучшего, не давал им обживаться, привыкать к месту и к людям для успехов хозяйства, для духа общественного, — умножал число бродяг и бедность: пустели села и деревни, оставляемые *кочевыми* жителями; домы обитаемые, или хижины, падали от нерадения хозяев временных. Правитель хвалился льготою, данною им состоянию земледельцев в отчинах царских и, может быть, в его собственных: без сомнения желая добра не только владельцам, но и работникам сельским — желая утвердить между ими союз неизменный, как бы семейственный, основанный на единстве выгод, на благосостоянии общем, нераздельном — он в 1592 или в 1593 году законом уничтожил свободный переход крестьян из волости в волость, из села в село, и навеки укрепил их за господами. Что ж было следствием? Негодование знатной части народа и многих владельцев богатых. Крестьяне жалели о древней свободе, хотя и часто бродили с нею бездомками от юных лет до гроба, хотя и не спасались ее правом от насилия господ временных, безжалостных к людям, для них непрочным; а богатые владельцы, имея немало земель пустых, лишались выгоды населять оные хлебопашцами вольными, коих они сманивали от других вотчинников или помещиков. Тем усерднее могли благодарить Годунова владельцы менее избыточные, ибо уже не страшились запустения ни деревень, ни полей своих от ухода жителей и работников. — Далее откроется, что законодатель благонамеренный, предвидев, вероятно, удовольствие одних и неудовольствие других, не предвидел однако ж всех важных следствий сего нового устава, дополненного указом 1597 года о непременном возвращении беглых крестьян, с женами, с детьми и со всем имением, господам их, от коих они ушли в течение последних пяти лет, избывая крепостной неволи. — Тогда же

вышел указ, чтобы все бояре, князья, дворяне, люди воинские, приказные и торговые явили крепости на своих холопей, им служащих или беглых, для записания их в книги приказа Холопьего, коему велено было дать господам кабалы и на людей *вольных*, если сии люди служили им не менее *шести месяцев*; то есть законодатель желал угодить господам, не боясь оскорбить бедных слуг, ни справедливости: но подтвердил вечную свободу отпущенников с женами и с детьми обоего пола.

Защитив юг России новыми твердынями, Борис для безопасности нашей границы литовской в 1596 году основал каменную крепость в Смоленске, куда он сам ездил, чтобы назначить места для рвов, стен и башен. Сие путешествие имело и цель иную: Борис хотел пленить жителей западной России своею милостию; везде останавливался, в городах и селах; снисходительно удовлетворял жалобам, раздавал деньги бедным, угощал богатых. Возвратясь в Москву, правитель сказал царю, что Смоленск будет *ожерельем России*. «Но в сем *ожерелье* (возразил ему князь Трубецкой) могут завестися насекомые, коих мы нескоро выживем»: *слово достопамятное*! говорит летописец: *оно сбылося: ибо Смоленск, нами укрепленный, сделался твердынею Литвы.* — Феодор послал туда каменщиков изо всех городов, ближних и дальних. Строение кончилось в 1600 году.

Москва украсилась зданиями прочными. В 1595 году, в отсутствие Феодора, ездившего в Боровскую обитель Св. Пафнутия, сгорел весь Китай-город: чрез несколько месяцев он восстал из пепла с новыми каменными лавками и домами, но едва было снова не сделался жертвою огня и злодейства, которое изумило москвитян своею безбожною дерзостию. Нашлись изверги, и люди чиновные: князь Василий Щепин, дворяне Лебедев, два Байкова, отец с сыном, и другие; тайно условились зажечь столицу, ночью, в разных местах, и в общем смятении расхитить богатую казну, хранимую в церкви Василия Блаженного. К счастию, правительство узнало о сем заговоре; схватили злодеев и казнили: князю Щепину и Байковым отсекли головы на лобном месте; иных повесили или на всю жизнь заключили. Сия казнь произвела сильное впечатление в московском народе, уже отвыкшем от зрелищ кровопролития: гнушаясь адским умыслом, он живо чувствовал спасительный ужас законов для обуздания преступников.

Ревностная, благотворная деятельность верховной власти оказывалась в разных бедственных случаях. Многие города, опусто-

шенные пожарами, были вновь выстроены иждивением царским; где не родился хлеб, туда немедленно доставляли его из мест изобильных; во время заразительных болезней учреждались заставы: летописи около 1595 года упоминают о сильном море во Пскове, где осталось так мало жителей, что царь велел перевести туда мещан из других городов. — Внутреннее спокойствие России было нарушено впадением крымских разбойников в области Мещерскую, Козельскую, Воротынскую и Перемышльскую: калужский воевода, Михайло Безнин, встретился с ними на берегах Высы и побил их наголову.

Двор московский отличался благолепием. Не одни любимцы державного, как бывало в грозные дни Иоанновы, но все бояре и мужи государственные ежедневно, утром и ввечеру, собирались в Кремлевских палатах видеть царя и с ним молиться, заседать в Думе (три раза в неделю, кроме чрезвычайных надобностей: в понедельник, в среду и в пятницу, от семи часов утра до десяти и более) или принимать иноземных послов, или только беседовать друг с другом. Обедать, ужинать возвращались домой, кроме двух или трех вельмож, изредка приглашаемых к столу царскому: ибо Феодор, слабый и недужный, отменил утомительные, многолюдные трапезы времен своего отца, деда и прадеда; редко обедал и с послами. Пышность двора его увеличивало присутствие некоторых знаменитых изгнанников Азии и Европы: царевич хивинский, господари молдавские (Стефан и Димитрий), сыновья Волошского, родственник императоров византийских, Мануил Мускополович, селунский вельможа Димитрий и множество благородных греков являлись у трона Феодорова, вместе с другими чиновными иноземцами, которые искали службы в России. — Пред дворцом стояло обыкновенно 250 стрельцов, с заряженными пищалями, с фитилями горящими. Внутреннею стражею палат Кремлевских были 200 знатнейших детей боярских, называемых жильцами: они, сменяясь, ночевали всегда в третьей комнате от спальни государевой, а в первой и второй ближние царедворцы, постельничий и товарищи его, называемые *спальниками*; каждую дверь стерег истопник, зная, кто имел право входить в оную. Все было устроено для порядка и важности.

Приближаясь к мете[1], Годунов более и более старался обольщать людей наружностию государственных и человеческих доб-

[1] Мета — намеченная цель.

родетелей; но, буде предание не ложно, еще умножил свои тайные злодеяния новым. Так называемый царь и великий князь тверской Симеон, женатый на сестре боярина Федора Мстиславского, снискав милость Иоаннову верною службою и принятием христианского Закона, имев в Твери пышный двор и власть наместника с какими-то правами удельного князя, должен был в царствование Феодорово выехать оттуда и жить уединенно в селе своем Кушалине. Незнаменитый ни разумом, ни мужеством, он слыл однако ж благочестивым, смиренным в счастии, великодушным в ссылке, и казался опасным правителю, нося громкое имя царское и будучи зятем первого родового вельможи. Борис в знак ласки прислал к нему, на именины, вина испанского: Симеон выпил кубок, желая здравия царю, и чрез несколько дней *ослеп*, будто бы от ядовитого зелия, смешанного с сим вином: так говорит летописец; так говорил и сам несчастный Симеон французу Маржерету. По крайней мере сие ослепление могло быть полезно для Бориса: ибо государственные бумаги следующих времен России доказывают, что мысль возложить венец Мономахов на голову татарина не всем россиянам казалась тогда нелепою.

Обратим взор, в последний раз, на самого Феодора. И в цветущей юности не имев иной важной мысли, кроме спасения души, он в сие время еще менее заботился о мире и царстве; ходил и ездил из обители в обитель, благотворил нищим и духовенству, особенно греческим монахам, иерусалимским, пелопоннесским и другим, которые приносили к нам драгоценности, святыни (одни не расхищенные турками!): кресты, иконы, мощи. Многие из сих бедных изгнанников оставались в России: кипрский архиепископ Игнатий жил в Москве; Арсений Элассонский, быв у нас вместе с патриархом Иеремиею, возвратился и начальствовал над суздальскою епархиею. — Феодор с радостию сведал о явлении в Угличе нетленных мощей князя Романа Владимировича (внука Константинова) и душевно оскорбился бедствием знаменитой обители Печорской Нижегородской, где спасались некогда Угодники Божии, Дионисий Суздальский, ученик его Евфимий и Макарий Желтоводский или Унженский: гора, под которою стоял монастырь, вдруг с треском и колебанием двинулась к Волге, засыпала и разрушила церковь, келии, ограду. Сия гибель места святого поразила воображение людей суеверных и названа в летописи *великим знамением* того, что ожидало Россию, — чего ожидал и Феодор, заметно слабея здравием. Пишут, что он (в 1596 году)

торжественно перекладывая мощи Алексия митрополита в новую серебряную раку, велел Годунову взять их в руки и, взирая на него с печальным умилением, сказал: «Осязай святыню, правитель народа христианского! Управляй им и впредь с ревностию. Ты достигнешь желаемого; но все суета и миг на земле!» Феодор предчувствовал близкий конец свой, и час настал,

Нет, не верим преданию ужасному, что Годунов будто бы ускорил сей час отравою. Летописцы достовернейшие молчат о том, с праведным омерзением изобличая все иные злодейства Борисовы. Признательность смиряет и льва яростного; но если ни святость венценосца, ни святость благотворителя не могли остановить изверга, то он еще мог бы остановиться, видя в бренном Феодоре явную жертву скорой естественной смерти и между тем властвуя, и ежедневно утверждая власть свою как неотъемлемое достояние... Но история не скрывает и клеветы, преступлениями заслуженной.

В конце 1597 года Феодор впал в тяжкую болезнь; 6 генваря открылись в нем явные признаки близкой смерти, к ужасу столицы. Народ любил Феодора, как Ангела земного, озаренного лучами святости, и приписывал действию его ревностных молитв благосостояние отечества; любил с умилением, как последнего царя Мономаховой крови — и когда в отверстых храмах еще с надеждою просил Бога об исцелении государя доброго, тогда патриарх, вельможи, сановники, уже не имея надежды, с искренним сокрушением сердца предстояли одру болящего, в ожидании последнего действия Феодоровой самодержавной власти: завещания о судьбе России сиротеющей. Но как в течение жизни, так и при конце ее, Феодор не имел иной воли, кроме Борисовой; и в сей великий час не изменил своей беспредельной доверенности к наставнику: лишаясь зрения и слуха, еще устремлял темнеющий взор на Годунова и с усилием внимал его шептаниям, чтобы сделать ему угодное. Безмолвствовали бояре: первосвятитель Иов дрожащим голосом сказал: «Свет в очах наших меркнет; праведный отходит к Богу... Государь! кому приказываешь царство, нас сирых и свою царицу?» Феодор тихо ответствовал: «в царстве, в вас и в моей царице волен Господь Всевышний... оставляю грамоту духовную». Сие завещание было уже написано: Феодор вручал державу Ирине, а душу свою приказывал великому святителю Иову, двоюродному брату Федору Никитичу Романову-Юрьеву (племяннику царицы Анастасии) и шурину Борису Годунову;

то есть избрал их быть главными советниками трона. Он хотел проститься с нежною супругою наедине и говорил с нею без земных свидетелей: сия беседа осталась неизвестною. В 11 часов вечера Иов помазал царя елеем, исповедал и приобщил Святых Таин. В час утра, 7 генваря [1598 г.], Феодор испустил дух, без судорог и трепета, незаметно, как бы заснув тихо и сладко.

В сию минуту оцепенения, горестию произведенного, явилась царица и пала на тело умершего: ее вынесли в беспамятстве. Тогда, изъявляя и глубокую скорбь и необыкновенную твердость духа, Годунов напомнил боярам, что они, уже не имея царя, должны присягнуть царице: все с ревностию исполнили сей обряд священный, целуя крест в руках патриарха... Случай дотоле беспримерный: ибо мать Иоаннова, Елена, властвовала только именем сына-младенца: Ирине же отдавали скипетр Мономахов со всеми правами самобытной, неограниченной власти. — На рассвете ударили в большой колокол Успенский, извещая народ о преставлении Феодора, и вопль раздался в Москве от палат до хижин: каждый дом, по выражению современника, был *домом плача*. Дворец не мог вместить людей, которые стремились к одру усопшего: и знатные и нищие. Слезы лилися; но и чиновники и граждане, подобно боярам, с живейшим усердием клялись в верности к любимой царице-матери, которая еще спасала Россию от сиротства совершенного. Столица была в отчаянии, но спокойна. Дума послала гонцов в области; велела затворить пути в чужие земли до нового указа и везде строго блюсти тишину.

Тело Феодорово вложили в раку, при самой Ирине, которая ужасала всех исступлением своей неописанной скорби: терзалась, билась; не слушала ни брата, ни патриарха; из уст ее, обагренных кровию, вырывались слова: «я вдовица бесчадная... мною гибнет корень царский!» Ввечеру отнесли гроб в церковь Михаила Архангела патриарх, святители, бояре и народ вместе; не было различия в званиях: общая горесть сравняла их. 8 генваря совершилось погребение, достопамятное не великолепием, но трогательным беспорядком: захлипаясь от слез и рыдания, духовенство прерывало священнодействие, и лики умолкали; в вопле народном никто не мог слышать пения. Уже не плакала — одна Ирина: ее принесли в храм как мертвую. Годунов не осушал глаз, смотря на злосчастную царицу, но давал все повеления. Отверзли могилу для гроба Феодорова, подле Иоаннова: народ громогласно изъявил благодарность усопшему за счастливые дни его царствова-

ния, с умилением славя личные добродетели сего Ангела кротости, наследованные им от незабвенной Анастасии, — именуя его не царем, но отцом чадолюбивым, и в искреннем прискорбии сердца забыв слабость души Феодоровой. — Когда предали тело земле, патриарх, а с ним и все люди, воздев руки на небо, молились, да спасет Господь Россию, и лишив ее пастыря, да не лишит Своей милости. — Совершив печальный обряд, раздали богатую казну бедным, церквам и монастырям; отворили темницы, освободили всех узников, даже смертоубийц, чтобы сим действием милосердия увенчать земную славу Феодоровых добродетелей...

Так пресеклось на троне московском знаменитое варяжское поколение, коему Россия обязана бытием, именем и величием, — от начала столь малого, сквозь ряд веков бурных, сквозь огонь и кровь, достигнув господства над севером Европы и Азии воинственным духом своих властителей и народа, счастием и промыслом Божиим!..

Скоро узнала печальная столица, что вместе с Ириною вдовствует и трон Мономахов; что венец и скипетр лежат на нем праздно; что Россия, не имея царя, не имеет и царицы.

Пишут, что Феодор набожный, прощаясь с супругою, вопреки своему завещанию тайно велел ей презреть земное величие и посвятить себя Богу: может быть, и сама Ирина, вдовица бездетная, в искреннем отчаянии возненавидела свет, не находя утешения в царской пышности; но гораздо вероятнее, что так хотел Годунов, располагая сердцем и судьбою нежной сестры. Он уже не мог возвыситься в царствование Ирины, властвовав беспредельно и при Феодоре; не мог, в конце пятого десятилетия жизни, еще ждать или откладывать; вручил царство Ирине, чтобы взять его себе, из рук единокровной, как бы правом наследия: занять на троне место *Годуновой*, а не Мономахова венценосного племени, и менее казаться похитителем в глазах народа. Никогда сей лукавый честолюбец не был столь деятелен, явно и скрытно, как в последние дни Феодоровы и в первые мнимого Иринина державства; явно, чтобы народ не имел и мысли о возможности государственного устройства без радения Борисова; скрытно, чтобы дать вид свободы и любви действию силы, обольщения и коварства. Как бы невидимою рукою обняв Москву, он управлял ее движениями чрез своих слуг бесчисленных; от церкви до синклита, до войска и народа, все внимало и следовало его внушениям, благоприятствуемым с одной стороны робостию, а с другой истинною признательностию к заслугам

и милостям Борисовым. Обещали и грозили; шепотом и громогласно доказывали, что спасение России нераздельно с властию правителя — и, приготовив умы или страсти к великому феатральному действию, в девятый день по кончине царя объявили торжественно, что Ирина отказывается от царства и навеки удаляется в монастырь, восприять Ангельский образ инокини. Сия весть поразила Москву: святители, Дума, сановники, дворяне, граждане *собором* пали пред венценосною вдовою, плакали неутешно, называли ее материю и заклинали не оставлять их в ужасном сиротстве; но царица, дотоле всегда мягкосердая, не тронулась молением слезным: ответствовала, что воля ее неизменна и что государством будут править бояре, вместе с патриархом, до того времени, когда успеют собраться в Москве все чины Российской державы, чтобы решить судьбу отечества по вдохновению Божию. В тот же день Ирина выехала из дворца Кремлевского в Новодевичий монастырь и под именем Александры вступила в сан инокинь. Россия осталась без главы, а Москва в тревоге, в волнении...»

Где был Годунов и что делал? Заключился в монастыре с сестрою, плакал и молился с нею. Казалось, что он, подобно ей, отвергнул мир, величие, власть, кормило государственное и предал Россию в жертву бурям; но кормчий неусыпно бодрствовал, и Годунов в тесной келии монастырской твердою рукою держал царство!

Сведав о пострижении Ирины, духовенство, чиновники и граждане собралися в Кремле, где государственный дьяк и печатник, Василий Щелкалов, представив им вредные следствия безначалия, требовал, чтобы они целовали крест на имя Думы Боярской. Никто не хотел слышать о том; все кричали: «не знаем ни князей, ни бояр; знаем только царицу, ей мы дали присягу, и другой не дадим никому: она и в черницах мать России». Печатник советовался с вельможами, снова вышел к гражданам и сказал, что царица, оставив свет, уже не занимается делами царства, и что народ должен присягнуть боярам, если не хочет видеть государственного разрушения. Единогласным ответом было: «и так да царствует брат ее!» Никто не дерзнул противоречить, ни безмолвствовать; все восклицали: «да здравствует отец наш, Борис Феодорович! он будет преемником матери нашей, царицы!» Немедленно, *всем собором*, пошли в монастырь Новодевичий, где патриарх Иов, говоря именем отечества, заклинал монахиню Александру благословить ее брата на царство, ею презренное из любви к жениху бессмертному, Христу Спасителю, — исполнить тем волю Бо-

жию и народную — утишить колебание в душах и в государстве — отереть слезы россиян, бедных, сирых, беспомощных, и снова восставить державу сокрушенную, доколе враги христианства еще не уведали о вдовстве Мономахова престола. Все проливали слезы — и сама царица инокиня, внимая первосвятителю красноречивому. Иов обратился к Годунову; смиренно предлагал ему корону, называл его Свышеизбранным для возобновления царского корени в России, естественным наследником трона после зятя и друга, обязанного всеми успехами своего владычества Борисовой мудрости.

Так совершилось желание властолюбца!.. Но он умел лицемерить: не забылся в радости сердца — и за семь лет пред тем смело вонзив убийственный нож в гортань Св. младенца Димитрия, чтобы похитить корону, с ужасом отринул ее, предлагаемую ему торжественно, единодушно, духовенством, синклитом, народом; *клялся*, что никогда, рожденный верным подданным, не мечтал о сане державном и никогда не дерзнет взять скипетра, освященного рукою усопшего Царя-Ангела, его отца и благотворителя; говорил, что в России много князей и бояр, коим он, уступая в знатности, уступает и в личных достоинствах; но из признательности к любви народной обещается вместе с ними радеть о государстве еще ревностнее прежнего. На сию речь, заблаговременно сочиненную, патриарх ответствовал такою же, и весьма плодовитою, исполненною движений витийства и примеров исторических; обвинял Годунова в излишней скромности, даже в неповиновении воле Божией, которая столь явна в общенародной воле; доказывал, что Всевышний искони готовил ему и роду его навеки веков державу Владимирова потомства, Феодоровою смертию пресеченного; напоминал о Давиде, царе иудейском, — Феодосии Великом, Маркиане, Михаиле Косноязычном, Василии Македонском, Тиверии и других императорах византийских, неисповедимыми судьбами Небесными возведенных на престол из ничтожества, сравнивал их добродетели с Борисовыми; убеждал, требовал, и не мог поколебать его твердости, ни в сей день, ни в следующие — ни пред лицом народа, ни без свидетелей, — ни молением, ни угрозами духовными. Годунов решительно отрекся от короны.

Но патриарх и бояре еще не теряли надежды: ждали *Великого Собора*, коему надлежало быть в Москве чрез шесть недель по смерти Феодора; то есть велели съехаться туда из всех областных городов людям выборным: духовенству, чиновникам воинским и гражданским, купцам, мещанам. Годунов хотел, чтобы не одна

столица, но вся Россия призвала его на трон, и взял меры для успеха, всюду послав ревностных слуг своих и клевретов: сей вид единогласного, свободного избрания казался ему нужным — для успокоения ли совести? или для твердости и безопасности его властвования? Между тем Борис жил в монастыре, а государством правила Дума, советуясь с патриархом в делах важных; но указы писала именем *царицы Александры* и на ее же имя получала донесения воевод земских. Между тем оказывались неповиновение и беспорядок: в Смоленске, Пскове и в иных городах воеводы не слушались ни друг друга, ни предписаний Думы. Между тем носились слухи о впадении хана крымского в пределы России, и народ говорил в ужасе: «Хан будет под Москвою, а мы без царя и защитника!» Одним словом, все благоприятствовало Годунову, ибо все было им устроено!

В пятницу, 17 февраля, открылась в Кремле Дума Земская, или Государственный Собор, где присутствовало, кроме всего знатнейшего духовенства, синклита, двора, не менее пятисот чиновников и людей выборных из всех областей, для дела великого, небывалого со времен Рюрика: для назначения венценосца России, где дотоле властвовал непрерывно, уставом наследия, род князей варяжских, и где государство существовало государем: где все законные права истекали из его единственного самобытного права: судить и рядить землю по закону совести. Час опасный: кто избирает, тот дает власть, и следственно имеет оную! ни уставы, ни примеры не ручались за спокойствие народа в ее столь важном действии, и сейм Кремлевский мог уподобиться варшавским: бурному морю страстей, гибельных для устройства и силы держав. Но долговременный навык повиновения и хитрость Борисова представили зрелище удивительное: тишину, единомыслие, уветливость во многолюдстве разнообразном, в смеси чинов и званий. Казалось, что все желали одного: как сироты, найти скорее отца — и знали, в ком искать его. Граждане смотрели на дворян, дворяне на вельмож, вельможи на патриарха. Известив Собор, что Ирина не захотела ни царствовать, ни благословить брата на царство, и что Годунов также не принимает венца Мономахова, Иов сказал: «Россия, тоскуя без царя, нетерпеливо ждет его от мудрости Собора. Вы, святители, архимандриты, игумены; вы, бояре, дворяне, люди приказные, дети боярские и всех чинов люди царствующего града Москвы и всей земли Русской! объявите нам мысль свою и дайте совет, кому быть у нас государем. Мы же, свидетели преставления царя и великого князя

Феодора Иоанновича, думаем, что нам мимо Бориса Феодоровича не должно искать другого самодержца». Тогда все духовенство, *бояре, воинство и народ* единогласно ответствовали: «наш совет и желание то же: немедленно бить челом государю Борису Феодоровичу и мимо его не искать другого властителя для России». Усердие обратилось в восторг, и долго нельзя было ничего слышать, кроме имени Борисова, громогласно повторяемого всем многочисленным собранием. Тут находились князья Рюрикова племени: Шуйские, Сицкие, Воротынский, Ростовские, Телятевские и столь многие иные; но давно лишенные достоинства князей владетельных, давно слуги московских государей наравне с детьми боярскими, они не дерзали мыслить о своем наследственном праве и спорить о короне с тем, кто без имени царского уже тринадцать лет единовластвовал в России: был хотя и потомком мурзы, но братом царицы. Восстановив тишину, вельможи, в честь Годунова, рассказали духовенству, чиновникам и гражданам следующие обстоятельства: «Государыня Ирина Феодоровна и знаменитый брат ее с самого первого детства возрастали в палатах великого царя Иоанна Васильевича и питались от стола его. Когда же царь удостоил Ирину быть своею невесткою, с того времени Борис Феодорович жил при нем неотступно, навыкая государственной мудрости. Однажды, узнав о недуге сего юного любимца, царь приехал к нему с нами и сказал милостиво: «*Борис! страдаю за тебя как за сына, за сына как за невестку, за невестку, как за самого себя*,— поднял три перста десницы своей и примолвил: *се Феодор, Ирина и Борис; ты не раб, а сын мой*. В последние часы жизни всеми оставленный для исповеди, Иоанн удержал Бориса Феодоровича при одре своем, говоря ему: *Для тебя обнажено мое сердце. Тебе приказываю душу, сына, дочь и все царство: блюди, или дашь за них ответ Богу*». Помня сии незабвенные слова, Борис Феодорович хранил, яко зеницу ока, и юного царя и великое царство». Описав, как правитель своею неусыпною, мудрою деятельностию возвысил отечество, смирил хана и шведов, обуздал Литву, расширил владения России, умножил число ее царей-данников и слуг»; как знаменитейшие венценосцы Европы и Азии изъявляют ей уважение и приязнь — какая тишина внутри государства, милость для войска и для народа, правда в судах, защита для бедных, вдов и сирот — бояре заключили так: «Мы напомним вам случай достопамятный. Когда царь Феодор, умом и мужеством правителя одержав славнейшую победу над ханом, весело пировал с духовенством и синклитом: тогда, в уми-

лении признательности, сняв с себя златую *царскую* гривну, он возложил ее на выю своего шурина». А патриарх изъяснил собранию, что царь, исполненный Св. Духа, сим таинственным действием ознаменовал будущее державство Годунова, искони предопределенное Небом. Снова раздались клики: «Да здравствует государь наш Борис Феодорович!» И патриарх воззвал к Собору: «Глас народа есть глас Божий: буди, что угодно Всевышнему!»

В следующий день, февраля 18, в первый час утра, церковь Успения наполнилась людьми: все, преклонив колена, духовенство, синклит и народ, усердно молили Бога, чтобы правитель смягчился и принял венец; молились еще два дни, и февраля 20 Иов, святители, вельможи объявили Годунову, что он избран в цари уже не Москвою, а всею Россиею. Но Годунов вторично ответствовал, что высота и сияние Феодорова трона ужасают его душу; клялся снова, что и в сокровенности сердца не представлялась ему мысль столь дерзостная; видел слезы, слышал убеждения самые трогательные и был непреклонен; выслал *искусителей*, духовенство с синклитом, из монастыря и не велел им возвращаться. Надлежало искать действительнейшего средства: размышляли — и нашли. Святители в общем совете с боярами уставили петь, 21 февраля, во всех церквах *праздничный молебен*, и с обрядами торжественными, с святынею Веры и отечества, в последний раз испытать силу убеждений и плача над сердцем Борисовым; а тайно, между собою, Иов, архиепископы и епископы условились в следующем: «Если государь Борис Феодорович смилуется над нами, то разрешим его клятву не быть царем России; если не смилуется, то отлучим его от церкви; там же, в монастыре, сложим с себя святительство, кресты и панагии; оставим иконы чудотворные, запретим службу и пение во святых храмах; предадим народ отчаянию, а царство гибели, мятежам, кровопролитию — и виновник сего неисповедимого зла да ответствует пред Богом в день Суда Страшного!»

В сию ночь не угасали огни в Москве: все готовилось к великому действию — и на рассвете, при звуке всех колоколов, подвиглась столица. Все храмы и домы отворились: духовенство с пением вышло из Кремля; народ в безмолвии теснился на площадях. Патриарх и владыки несли иконы знаменитые славными воспоминаниями: Владимирскую и Донскую, как святые знамена отечества; за клиром шли синклит, двор, воинство, приказы, *выборы* городов, за ними устремились и все жители московские, граждане и чернь, жены и дети, к Новодевичьему монастырю, откуда, также с

колокольным звоном, вынесли образ Смоленской Богоматери навстречу патриарху: за сим образом шел и Годунов, как бы изумленный столь необыкновенно-торжественным церковным ходом; пал ниц пред иконою Владимирскою, обливался слезами и воскликнул: «О мать Божия! что виною твоего подвига? Сохрани, сохрани меня под сению Твоего крова!» обратился к Иову, и с видом укоризны сказал ему: «Пастырь великий! Ты дашь ответ Богу!» Иов ответствовал: «Сын возлюбленный! не снедай себя печалию, но верь Провидению! Сей подвиг совершила Богоматерь из любви к тебе, да устыдишься!» Он пошел в церковь святой обители с духовенством и людьми знатнейшими; другие стояли в ограде; народ вне монастыря, занимая все обширное Девичье поле. Собором отпев Литургию, патриарх снова, и тщетно, убеждал Бориса не отвергать короны; велел нести иконы и кресты в келии царицы; там со всеми святителями и вельможами преклонил главу до земли... и в то же самое мгновение, по данному знаку, все бесчисленное множество людей, в келиях, в ограде, вне монастыря, упало на колена, с воплем неслыханным: все требовали царя, отца, Бориса! Матери кинули на землю своих грудных младенцев и не слушали их крика. Искренность побеждала притворство; вдохновение действовало и на равнодушных, и на самых лицемеров! Патриарх, рыдая, заклинал царицу долго, неотступно, именем святых икон, которые пред нею стояли, — именем Христа Спасителя, церкви, России, дать миллионам православных *государя благонадежного*, ее великого брата... Наконец услышали слово милости: глаза царицы, дотоле нечувствительной, наполнились слезами. Она сказала: «По изволению всесильного Бога и Пречистыя Девы Марии возьмите у меня единородного брата на царство, в утоление народного плача. Да исполнится желание ваших сердец, ко счастию России! Благословляю избранного вами и предаю Отцу Небесному, Богоматери, Святым Угодникам московским и тебе, патриарху — и вам, святители — и вам, бояре! Да заступит мое место на престоле!» Все упали к ногам царицы, которая, печально взглянув на смиренного Бориса, дала ему повеление властвовать над Россиею. Но он еще изъявлял нехотение; страшился тягостного бремени, возлагаемого на слабые рамена его; просил избавления; говорил сестре, что она из единого милосердия не должна предавать его в жертву трону; еще вновь клялся, что никогда умом робким не дерзал возноситься до сей высоты, ужасной для смертного; свидетельствовался Оком Всевидящим и самою Ириною, что желает единственно жить при ней

и смотреть на ее лицо Ангельское. Царица уже настояла решительно. Тогда Борис как бы в сокрушении духа воскликнул: «Буди же святая воля Твоя, Господи! Настави меня на путь правый и не вниди в суд с рабом Твоим! Повинуюсь Тебе, исполняя желание народа». Святители, вельможи упали к ногам его. Осенив животворящим крестом Бориса и царицу, патриарх спешил возвестить дворянам, приказным и всем людям, что Господь даровал им царя. Невозможно было изобразить общей радости. Воздев руки на небо, славили Бога; плакали, обнимали друг друга. От келий царицыных до всех концов Девичьего поля гремели клики: *слава! слава!*.. Окруженный вельможами, теснимый, лобзаемый народом, Борис вслед за духовенством пошел в храм Новодевичьей обители, где патриарх Иов, пред иконами Владимирской и Донской, благословил его на государство Московское и всея России; нарек царем и возгласил ему первое многолетие.

Что, по-видимому, могло быть торжественнее, единодушнее, законнее сего наречения? и что благоразумнее? Пременилось только имя царя; власть державная оставалась в руках того, кто уже давно имел оную и властвовал счастливо для целости государства, для внутреннего устройства, для внешней чести и безопасности в России. Так казалось; но сей человеческою мудростию наделенный правитель достиг престола злодейством... Казнь Небесная угрожала царю-преступнику и царству несчастному.

Глава IV
СОСТОЯНИЕ РОССИИ В КОНЦЕ XVI ВЕКА

Безопасность России в отношении к соседственным державам. Войско. Жалованье. Доходы. Богатство Строгановых. Суд и расправа. Пытки и казни. Торговля. Цена разных товаров. Корабли российские. Образование. Геометрия и арифметика. Тайное письмо или цифры. География. Словесность. Художества и ремесла. Москва. Обычаи. Примеры местничества. Двор. Вина иноземные, меды и яства русские. Хлебосольство. Долгая жизнь. Медики. Лекарства. Аптекари. Разные обыкновения. Убогий дом. Одежда женщин. Забавы. Бани. Пороки. Набожность. Смерть первого Борисова сына. Юродивые. Терпимость. Уния в Литве.

12 Зак. № 40

Описав судьбу нашего отечества под наследственным скипетром монархов варяжского племени, заключим историю *семисот тридцати шести лет* обозрением тогдашнего состояния России в государственном и гражданском смысле.

Никогда *внешние* обстоятельства Московской державы, основанной, изготовленной к величию Иоанном III, не казались столь благоприятными для ее целости и безопасности, как в сие время. В Литве преемник Баториев дремал на троне, окруженном строптивыми, легкомысленными и несогласными вельможами; Швеция колебалась в безначалии; хан умел только грабить оплошных; Магомет III в сильном борении с Австриею предвидел еще опаснейшую войну с шахом — а Россия, почти без кровопролития взяв неизмеримые земли на северо-востоке, заложив крепости под сению Кавказа, восстановив свои древние грани на скалах Корельских, ожидая случая возвратить и другие несчастные уступки Иоаннова малодушия, города в Ливонии и важную пристань Балтийскую, — Россия, спокойная извне, тихая внутри, имела войско многочисленнейшее в Европе и еще непрестанно умножала его. Так говорят иноземные современники о ратных силах Феодоровых:

«Пятнадцать тысяч дворян, разделенных на три степени; больших, средних и меньших, московских и так называемых *выборных* (присылаемых в столицу из всех городов и чрез три года сменяемых иными), составляют конную дружину царскую. Шестьдесят пять тысяч всадников, из детей боярских, ежегодно собирается на берегах Оки, в угрозу хану. Лучшая пехота—стрельцы и козаки: первых 10 000, кроме двух тысяч отборных, или стремянных; вторых около шести тысяч. Наряду с ними служат 4300 немцев и поляков, 4000 козаков литовских, 150 шотландцев и нидерландцев, 100 датчан, шведов и греков. Для важного ратного предприятия выезжают на службу все поместные дети боярские с своими холопями и *людьми даточными*[1] (из отчин боярских и церковных), более крестьянами, нежели воинами, хотя и красиво одетыми (в чистые, узкие кафтаны с длинным, отложным воротником): невозможно определить их числа, умножаемого в случае нужды людьми купецкими, также наемниками и слугами государя московского, ногаями, черкесами, древними подданными Казанского царства. Сборные областные дружины называются именами городов своих: Смоленскою, Новогородскою и проч.; в каж-

---

[1] Люди даточные — отданные в военную службу за других.

дой бывает от 300 до 1200 ратников. Многие вооружены худо; только пехота имеет пищали: но огнестрельный снаряд не уступает лучшему в Европе. Доспехи и конские приборы воевод, чиновников, дворян блистают светлостию булата и каменьями драгоценными; на знаменах, освещаемых патриархом, изображается Св. Георгий. В битвах удары конницы бывают всегда при звуке огромных *набатов* (или барабанов), сурн и бубнов: всадники пускают тучу стрел, извлекают мечи, машут ими вокруг головы и стремятся вперед густыми толпами. Пехота, действуя в степи против крымцев, обыкновенно защищает себя *гуляем*, или подвижным складным городком, возимым на телегах; то есть ставят два ряда досок на пространстве двух или трех верст в длину и стреляют из сего укрепления сквозь отверстия в обеих стенах. Ожидая хана, воеводы высылают козаков в степи, где изредка растут высокие дубы: там, под каждым деревом, видите двух оседланных лошадей: один из всадников держит их под узду, а товарищ его сидит на вершине дуба и смотрит во все стороны; увидев пыль, слезает немедленно, садится на лошадь, скачет к другому дубу, кричит издали и показывает рукою, где видел пыль; страж сего дерева велит своему товарищу также скакать к третьему дереву с вестию, которая в несколько часов доходит до ближайшего города или до передового воеводы». — Далее сии иноземные наблюдатели, замечая (как и в Иоанново время), что россияне лучше бьются в крепостях, нежели в поле, спрашивают: «чего со временем нельзя ожидать от войска бессметного, которое, не боясь ни холода, ни голода и ничего, кроме гнева царского, с толокном и *сухарями*, без обоза и крова, с неодолимым терпением скитается в пустынях Севера, и в коем за славнейшее дело дается только маленькая золотая деньга (с изображением Св. Георгия), носимая счастливым витязем на рукаве или шапке?

Но цари уже не скупились и не щадили казны для лучшего устройства ополчений. Уже Иоанн производил денежное жалованье воинам в походах: Феодор или Годунов давал, сверх поместных земель, каждому дворянину или сыну боярскому пятнадцатитысячной царской дружины от 12 до 100 рублей; каждому стрельцу и козаку 7 рублей, сверх хлебного запаса; конному войску на берегах Оки около 40 000 рублей ежегодно; что, вместе с платою иноземным воинам (также боярам, окольничим и другим знатнейшим сановникам, из коих первые имели 700, а вторые от 200 до 400 рублей жалованья), составляло несколько миллионов

нынешнею монетою и свидетельствовало о возрастающем богатстве России, которое еще яснее увидим из следующих подробных известий о тогдашних доходах государственных.

1) Особенная царская отчина, 36 городов с селами и деревнями, доставляла казне дворцового ведомства, сверх денежного оброка, хлеб, скот, птиц, рыбу, мед, дрова, сено: чего, за содержанием двора, в *расточительное* Иоанново время продавалось ежегодно на 60 000 рублей, а в Феодорово, от лучшего хозяйства, введенного дворецким, Григорьем Васильевичем Годуновым, на 230 000 рублей (около 1 150 000 нынешних серебряных).

2) *Тягло* и *подать* государственная, с *вытей* хлебом, а с *сох* деньгами, приносили казне Четвертного ведомства 400 000 рублей: с области Псковской 18 000, Новогородской 35 000, Тверской и Новоторжской 8000, Рязанской 30 000, Муромской 12 000, Колмогорской и Двинской 8000, Вологодской 12 000, Казанской 18 000, Устюжской 30 000, Ростовской 50 000, Московской 40 000, Сибирской (мехами) 20 000, Костромской 12 000, и проч.

3) Разные городские пошлины: торговые, судные, питейные, банные, вносимые в казну большого прихода (с Москвы 12 000, Смоленска 8000, Пскова 12 000, Новагорода 6000, Старой Русы, где варилась соль, 18 000, Торжка 800, Твери 700, Ярославля 1200, Костромы 1800, Нижнего 7000, Казани 11 000, Вологды 2000, и проч.), составляли 800 000 рублей, вместе с экономиею приказов Разрядного, Стрелецкого, Иноземского, Пушкарского, которые, имея свои *особенные* доходы, отсылали сберегаемые ими суммы в сей же большой приход—так, что в сокровищницу Кремлевскую, под Феодорову или Годунова печать, ежегодно вступало, сверх главных государственных издержек на войско и двор, не менее миллиона четырехсот тысяч рублей (*от шести до семи миллионов нынешних серебряных*). «Несмотря на сие богатство (пишет Флетчер в своей книге о России), Феодор, по совету Годунова, велел перелить в деньги множество золотых и серебряных сосудов, наследованных им после отца: ибо хотел сим мнимым знаком недостатка в монете оправдать тягость налогов».

К умножению государственного достояния, Феодор на Соборе духовенства и бояр (в июле 1584) подтвердил Устав Иоаннов 1582 года, чтобы святители, церкви и монастыри безденежно отдали в казну все древние княжеские отчины, вместе с землями, им заложенными, и впредь до нового указа отменил *тарханные*, или льготные, *грамоты*, которые знатную часть церковных, бо-

ярских и княжеских имений освобождали от государственных податей, к ущербу казны и ко вреду всех иных владельцев: ибо крестьяне уходили от них в *льготные жительства*, чтобы не платить никаких налогов. В сей же Соборной грамоте сказано: «Земли и села, отказанные монастырям за упокой души, выкупаются наследниками или, буде их нет, государем, для раздачи воинским людям», коим уже не доставало земель поместных.

Но обогащение казны, по известию чужестранцев, в некотором смысле вредило народному благосостоянию: 1) налоги, облегченные Феодором, были все еще тягостны; 2) заведение питейных домов в городах, умножая пьянство, разоряло мещан, ремесленников, самых земледельцев; губило достояние их и нравственность; 3) от монополий казны терпело купечество, лишаемое свободы продавать свои товары, если царские еще лежали в лавках. Флетчер пишет, что между купцами славились богатством одни братья Строгановы, имея до трехсот тысяч (около полутора миллиона нынешних серебряных) рублей наличными деньгами, кроме недвижимого достояния; что у них было множество иноземных, нидерландских и других мастеров на заводах, несколько аптекарей и медиков, 10 000 людей вольных и 5000 собственных крепостных, употребляемых для варения и развоза соли, рубки лесов и возделания земли от Вычегды до пределов Сибири; что они ежегодно платили царю 23 000 рублей пошлины, но что правительство, требуя более и более, то под видом налога, то под видом займа, разоряет их без жалости; что в России вообще мало богатых людей, ибо казна все поглощает; что самые *древние удельные князья и бояре живут умеренным жалованьем и поместным доходом* (около тысячи рублей на каждого), совершенно завися от милости царской». Однако ж бояре и многие сановники имели знатные *отчины*, как родовые, так и жалованные; а потомки древних князей и в Иоанново время еще владели частию их бывших уделов: например, славный князь Михайло Воротынский в 1572 году ведал треть Воротынска как свою наследственную собственность.

Умножая войско и доходы, правительство занималось, как мы видели, и лучшим внутренним устройством государства: радело о безопасности лиц и достояния. Вопреки сказанию иноземцев, что в России не было тогда никаких гражданских законов, кроме слепого произвола царей, сии *законы*, изданные *первым самодержцем* московским (что достойно примечания), дополненные его сыном,

исправленные, усовершенствованные внуком, служили неизменным правилом во всех тяжбах — и Грозный, попирая святые уставы человечества, оставлял гражданские ненарушимыми в России: не отнимал даже истинной царской собственности у тех, которые могли доказать, что владеют ею долее шести лет. Именем Феодоровым издав важный политический закон об укреплении земледельцев, Годунов не прибавил ничего более к Судебнику, но пекся о точном исполнении оного: желая славиться неумытным[1] правосудием, оказывал его в делах гласных: о чем свидетельствуют и летописцы, славя счастливый век Феодоров. Как в Иоанново, так и в сие время суд с расправою земскою зависели в областях, под главным ведомством Думы, от наместников, избираемых из бояр, окольничих и других знатных сановников. Все члены Феодоровой Думы были наместниками и редко выезжали из Москвы, но они имели товарищей, тиунов, дьяков, которые с их ведома решили дела. Пишут, что народ вообще ненавидел дьяков корыстолюбивых: определяемые всегда на малое время, сии грамотеи приказные тем более спешили наживаться всякими средствами; жалобы имели действие, но обыкновенно уже после смены грабителей: тогда судили их строго, лишали всей беззаконной добычи, выставляли на позор и секли, привязывая лихоимцу к шее взятую им вещь, кошелек с деньгами, соболя или что другое. Закон не терпел никаких взяток; но хитрецы изобрели способ обманывать его; челобитчик, входя к судье, клал деньги пред образами, будто бы на свечи: сию выдумку скоро запретили указом. Только в день Светлого Воскресения дозволялось судьям и чиновникам вместе с красным яйцом принимать в дар и несколько червонцев (коих цена обыкновенно возвышалась в сие время от 16 до 24 алтын и более). По крайней мере видим достохвальное усилие правительства искоренять зло, известное и в веки лучшего гражданского образования. — Та же ревность к уменьшению преступлений ввела или сохраняла у нас отвратительную для сердца жестокость в законных пытках: чтобы выведать истину от уличаемого преступника, жгли его несколько раз огнем, ломали ему ребра, вбивали гвозди в тело. Убийц и других злодеев вешали, казнили на плахе или топили, или сажали на кол. Осужденный, идучи к лобному месту, держал в связанных руках горящую восковую свечу. Для благородных людей воинских облегчали казнь: за что крестьянина или мещанина вешали, за то

---

[1] Неумытный — честный, неподкупный.

сына боярского сажали в темницу или секли батогами. Убийца собственного холопа наказывался денежною пенею. — Благородные люди воинские имели еще, как пишут, странную выгоду в гражданских тяжбах: могли, вместо себя, представлять слуг своих для присяги и для телесного наказания в случае неплатежа долгов.

Торговля, хотя отчасти и стесняемая казенными монополиями, распространилась в Феодорово время от успехов внутренней промышленности: любопытству и наблюдательному духу англичан, которые всех более умели ею пользоваться, обязаны мы весьма обстоятельными об ней сведениями. «Мало земель в свете (пишут они), где природа столь милостива к людям, как в России, изобильной ее дарами. В садах и в огородах множество вкусных плодов и ягод: груш, яблок, слив, дынь, арбузов, огурцов, вишни, малины, клубники, смородины; самые леса и луга служат вместо огородов. Неизмеримые равнины покрыты хлебом: пшеницею, рожью, ячменем, овсом, горохом, гречею, просом. Изобилие рождает дешевизну: четверть пшеницы стоит обыкновенно не более двух алтын (нынешних тридцати копеек серебром). Одна беспечность жителей и корыстолюбие богатых производят иногда дороговизну: так в 1588 году за четверть пшеницы и ржи платили в Москве 13 алтын. Хлеб и плоды составляют важный предмет торговли внутренней; а для богатства внешней россияне имеют:

1) Меха: собольи, лисьи, куньи, бобровые, рысьи, волчьи, медвежьи, горностаевые, беличьи, коих продается в Европу и в Азию (купцам персидским, турецким, бухарским, иверским, арменским) на 500 тысяч рублей». (Ермаковы и новейшие завоевания в северной Азии обогатили нас мягкою рухлядью: Феодор строго предписал сибирским воеводам, чтобы они никак не выпускали оттуда в Бухарию ни дорогих соболей, ни лисиц черных, ни кречетов, нужных для охоты царской и для даров европейским венценосцам.) «Лучшие соболи идут из земли Обдорской; белые медведи — из Печорской; бобры — из Колы; куницы — из Сибири, Кадома, Мурома, Перми и Казани; белки, горностаи — из Галича, Углича, Новагорода и Перми.

2) Воск: его продается ежегодно от десяти до пятидесяти тысяч пуд.

3) Мед: употребляется на любимое питье россиян, но идет и в чужие земли, более из областей Мордовской и Черемисской, Северской, Рязанской, Муромской, Казанской, Дорогобужской и Вяземской.

4) Сало: его вывозится от тридцати до ста тысяч пуд, более из Смоленска, Ярославля, Углича, Новагорода, Вологды, Твери, Городца; но и вся Россия, богатая лугами для скотоводства, изобилует салом, коего мало расходится внутри государства на свечи: ибо люди зажиточные употребляют восковые, а народ лучину.

5) Кожи: лосьи, оленьи и другие; их отпускают за границу до десяти тысяч. Самые большие лоси живут в лесах близ Ростова, Вычегды, Новагорода, Мурома и Перми; казанские не так велики.

6) Тюлений жир: сих морских животных ловят близ Архангельска, в заливе Св. Николая.

7) Рыбу: лучшею считается так называемая *белая*. Города, славнейшие рыбною ловлею, суть Ярославль, Белоозеро, Новгород Нижний, Астрахань, Казань: чем они приносят царю знатный доход.

8) Икру: белужью, осетровую, севрюжью и стерляжью; продается купцам нидерландским, французским, отчасти и английским; идет в Италию и в Испанию.

9) Множество птиц: кречеты продаются весьма дорогою ценою.

10) Лен и пеньку: их менее отпускается в Европу с того времени, как Россия лишилась Нарвы. Льном изобилует Псков, пенькою — Смоленск, Дорогобуж и Вязьма.

11) Соль: лучшие варницы в Старой Русе; есть и в Перми, Вычегде, Тотьме, Кинешме, Соловках. Астраханские озера производят самосадку[1]: купцы платят за нее в казну по три деньги с пуда.

12) Деготь: его вывозят в большом количестве из Смоленской и Двинской области.

13) Так называемые *рыбьи зубы*, или клыки моржовые: из них делают четки, рукоятки и проч.; составляют также лекарственный порошок, будто бы уничтожающий действие яда. Идут в Азию, Персию, Бухарию.

14) Слюду, употребляемую вместо стекла: ее много в земле Корельской и на Двине.

15) Селитру и серу: первую варят в Угличе, Ярославле, Устюге; вторую находят близ Волги (в озерах Самарских), но не умеют очищать ее.

16) Железо, весьма ломкое: его добывают в земле Корельской, Каргополе и в Устюге Железном (Устюжне).

---

[1] Самосадка — соль, добываемая со дна мелких испарившихся озер.

17) Так называемый *новогородский жемчуг*, который ведется в реках близ Новагорода и в Двинской земле».

За сии-то многие естественные богатства России Европа и Азия платили ей отчасти своими изделиями, отчасти и свойственными их климатам дарами природы. — Означим здесь цену некоторых вещей, привозимых тогда в Архангельск на кораблях лондонских, голландских и французских: лучший изумруд или яхонт стоил 60 рублей (нынешних серебряных 300); золотник жемчугу, не самого мелкого, 2 р. и более; золота и серебра пряденого 5 рублей литра; аршин бархату, камки, атласу около рубля; английского тонкого сукна постав 30 р., среднего 12 р., аршин 20 алтын; кусок миткалю 2 р.; бочка вина французского 4 р., лимонов 3 р., сельдей 2 р.; пуд сахару от 4 до 6 р., леденцу 10 р., гвоздики и корицы 20 р., пшена срацинского[1] 4 гривны, масла деревянного 1 1/2 р., пороху 3 р., ладану 3 р., ртути 7 р., свинцу 2 р., меди в деле 2 1/2 р., железа прутового 4 гривны, бумаги хлопчатой 2 р., сандалу берковец 8 р., стопа писчей бумаги 4 гривны. Сверх того иноземцы доставляли нам множество своей серебряной монеты, ценя ефимок в 12 алтын; на одном корабле привозилось иногда до 80 000 ефимков, с коих платили пошлину как с товаров. Сия пошлина была весьма значительна: например, ногаи, торгуя лошадьми, из выручаемых ими денег платили в казну пять со ста и еще отдавали царю на выбор десятую долю табунов своих; лучший конь ногайский стоил не менее двадцати рублей.

Довольные выгодною меною с европейскими народами в своих северных пристанях, купцы наши не мыслили ездить морем в иные земли, но любопытно знать, что мы в сие время уже имели корабли собственные: Борисов посланник в 1599 году возвратился из Германии на двух больших морских судах, купленных и снаряженных им в Любеке, с кормщиком и матросами немецкими, там нанятыми.

Некогда столь знаменитая, столь полезная для России торговля ганзейская, уже бессильная в совместничестве с английскою и с голландскою, еще искала древних следов своих между развалинами Новагорода: царь в 1596 году дозволил Любеку снова завести там гостиный двор с лавками; но шведы мешали ее важному успеху, имея Нарву, о коей не преставали жалеть Новагород, Псков и вся Россия.

---

[1] Пшено срацинское (сарацинское) — рис.

«Видя в торговле средство обогащения для казны (говорит Флетчер) и мало заботясь о благосостоянии своего купечества, цари вообще не доброхотствуют и народному образованию; не любят новостей, не пускают к себе иноземцев, кроме людей, нужных для их службы, и не дозволяют подданным выезжать из отечества, *боясь просвещения*, к коему россияне весьма способны, имея много ума природного, заметного и в самых детях: одни послы или беглецы российские являются изредка в Европе». Сказание отчасти ложное: мы не странствовали, ибо не имели обычая странствовать, еще не имея любопытства, свойственного уму образованному; купцам не запрещалось торговать вне отечества, и самовластный Иоанн посылал молодых людей учиться в Европе. Иноземцев же действительно пускали к нам с разбором и благоразумно. В 1591 году посол Рудольфов, Николай Варкоч, писал к Борису, что какой-то италиянский граф Шкот, призванный в Москву Иоанном, желает служить Феодору; что сей граф, достойно уважаемый императором и многими венценосцами, *знает все языки под солнцем* и все науки так, что ни в Италии, ни в Германии нельзя найти ему подобного. Борис ответствовал: «Хвалю намерение графа, мужа столь благородного и столь ученого. Великий государь наш, жалуя всех иноземцев, которые к нам приезжают, без сомнения отличит его; но я еще не успел доложить о том государю». Нет сомнения, что в России знали и не хотели Шкота как лазутчика опасного или ненадежного человека: ибо людей ученых мы не отвергали, но звали к себе: например, славного математика, астролога, алхимика, Джона Ди, коего Елисавета Английская называла *своим философом* и который находился тогда в Богемии: Феодор, чрез лондонских купцов, предлагал ему 2000 фунтов стерлингов ежегодно, а Борис особенно тысячу рублей, стол царский и всю услугу, для того, как думали, чтобы пользоваться его советами для открытия новых земель на северо-востоке, за Сибирию; но вероятнее не для того ли, чтобы поручить ему воспитание юного Борисова сына, отцовскою тайною мыслию уже готовимого к державству? Слава алхимика и звездочета в глазах невежества еще возвышала знаменитость математика. Но Ди, страстный в воображении только к искусственному золоту философского камня, в гордой бедности отвергнул предложение царя, изъявив благодарность и как бы угадав, по вычетам своей любимой астрологии, грядущую судьбу России и Дома Борисова! — Всего ревностнее мы искали тогда в Европе

металлургистов, для наших печерских рудников, открытых еще в 1491 году, но едва ли уже не бесполезных, за неимением людей искусных в горном деле: посылая к императору (в 1597 году) дворянина Вельяминова, царь приказывал ему вызвать к нам из Италии, чего бы то ни стоило, *мастеров, умеющих находить и плавить руду золотую и серебряную.* — Кроме четырех или пяти тысяч иностранцев-воинов, нанимаемых Феодором, московская Яузская Слобода населялась более и более немцами, которые в Иоанново время обогащались продажею водки и меда, спесивились и роскошествовали до соблазна: жены их стыдились носить не бархатное или не атласное платье. Они в Борисово царствование снова имели церковь и, хотя жили особенно, но свободно и дружелюбно сносились с россиянами. — Постоянно следуя правилам Иоанна III; золотом и честию маня к себе художества, искусства, науки европейские; размножая церковные училища и число людей грамотных, приказных, коим самое дворянство завидовало в их важности государственной, цари без сомнения *не боялись просвещения*, но желали, как могли или умели, ему способствовать; и если не знаем их мысли, то видим дела их, благоприятные для гражданского образования России: означим и некоторые новые плоды оного.

Измерение и перепись земель, от 1587 до 1594 года, в Двинской области, на обеих сторонах Волги — вероятно, и в других местах — служили, может быть, поводом к сочинению *первой Российской геометрии*, коей списки, нам известные, не древнее XVII века: «книги *глубокомудрой*, по выражению автора, дающий легкий способ измерять места самые недоступные, плоскости, высоты и дебри[1], *радиксом*[2] *и цыркулом*. В ней изъясняется *сошное* и *вытное письмо*: то есть разделение всех населенных земель в России, для платежа государственных податей, на сохи и выти (в сохе считалось 800 четвертей доброй земли, а в выти 12; в четверти 1200 квадратных сажен, а в десятине 2400). — К сему времени относим и *первую Российскую арифметику*, писанную не весьма ясно. В предисловии сказано, что без сей *численной философии, изобретения финикийского, единой из семи свободных мудростей*, нельзя быть ни философом, ни доктором, ни гостем искусным в делах торговых, и что ее знанием можно сни-

---

[1] Дебрь — ложбина, овраг, низина.

[2] Радикс — радикал, корень.

скать великую милость государеву. В конце сообщаются некоторые сведения о Церковном Круге[1], о составе человеческом, о физиогномике. В обеих книгах, в геометрии и в арифметике, употребляются в счислении славянские буквы и цифирь. Тогда же в посольских бумагах начали мы употреблять тайные цифры: гонец Андрей Иванов в 1590 году писал из Литвы к царю *вязью, литореею и новою азбукою*[2], взятою у посла австрийского, Николая Babкоча. — Так называемая *Книга Большого Чертежа*, или древнейшая география государства Российского, составлена, как вероятно, в царствование Феодора: ибо в ней находим имена Курска, Воронежа, Оскола, построенных в его время, не находя новейших, основанных Годуновым: Борисова на Донце Северском и Царево-Борисова на устье Протвы. Сия книга была переписана в разряде около 1627 года и решит для нас многие важные географические вопросы, указывая, например, где была земля Югорская, Обдория, Батыева столица, улусы ногайские.

Поле словесности не представляет нам богатой жатвы от времени Иоанна до Годунова; но язык украсился какою-то новою плавностию. Истинное, чувством одушевленное красноречие видно только в письмах Курбского к Иоанну. Причислим ли к писателям и самого Иоанна как творца плодовитых, велеречивых посланий, богословских, укорительных и насмешливых? В слоге его есть живость, в диалектике сила. Лучшими творениями сего века в смысле правильности и ясности должно назвать Степенную книгу, минею Макариеву и Стоглав. Вероятно, что митрополит Дионисий заслужил имя *Грамматика* какими-нибудь уважаемыми сочинениями; но их не знаем. Патриарх Иов описал житие, добродетели и кончину Феодора слогом цветистым и не без жара; например, так говорит о своем Герое: «Он древним царям благочестивым равнославен, нынешним *красота* и *светлость*, будущим *сладчайшая повесть*; не *пригвождаясь* к суетному велелепию мира, *умащал свою царскую душу глаголами Божественными* и *рекою нескудною* изливал милости на вселенную; с нежною супругою *преспевал* в добродетели и в Вере к Богу... имел единое земное сокровище, единую *блаженную леторасль*[3] корени державнаго и лишился возлюбленной дщери, чтобы в сердце, хотя и

[1] Церковный Круг – устав церковной службы.

[2] Вязь – буквенный шифр; литорея – тайнопись; новая азбука – придуманная азбука.

[3] Леторасль – годовой побег дерева, прибыль роста в одно лето.

сокрушенном, но с умилением христианским предаться в волю Отца Небеснаго, когда синклит и весь народ предавались отчаянию... О весть страшная, весть ужасная: *любимый царь земли Русския отходит к Богу*!.. но не смертию, а сладким успением; душа излетает, а тело спокойно и недвижимо: не видим ни трепета, ни содрогания... Се время рыдания, не глаголов; время молитвы, не беседы... На нас исполнилося вещание пророка: *кто даст источник слез очам моим, да плачу довольно*?.. Скорби пучина, сетования бездна!.. Отселе красный, многодетный престол великия России начинает вдовствовать и великий многолюдный град Москва приемлет сиротство жалостное». Обязанный Борису своим первосвятительством и чистосердечно ему преданный, он говорит об нем в сем творении: «В счастливые дни Феодора Иоанновича *строил* под ним державу великий шурин и слуга его, муж верховный, единственный в России не только саном, но и разумом высоким, храбростию, верою к Богу. Его промыслом цвела сия держава *в тишине велелепной*, к изумлению людей и самого царя, ко славе правителя не только в нашем отечестве, но и в дальних пределах вселенныя, откуда знаменитые послы являлись здесь с дарами многоценными, рабски благоговеть пред царем и дивиться светлой красоте лица, мудрости, добродетели правителя, среди народа, им счастливаго, — среди столицы, им украшенной». — Иов писал еще утешительное послание к Феодоровой супруге, когда она тосковала о милой усопшей дочери; заклинал Ирину быть не только материю, но и царицею, и христианкою; осуждал ее слабость с ревностию пастыря, но и жалел о горестной с чувствительностию друга, оживляя в ней надежду дать наследника престолу: сочинение достопамятное более своим трогательным предметом, нежели мыслями и красноречием. Патриарх, напоминая Ирине учение Евангельское о доверенности к Вышней Благости, прибавляет: «Кто лучше тебя знает Божественное Писание? Ты можешь наставлять иных, храня всю мудрость онаго в сердце и в памяти». Воспитанная при дворе Иоанновом, Ирина имела просвещение своего времени: читала Св. Писание и знаменитейших Отцов нашей церкви. Россияне уже пользовались печатною Библиею Острожского издания, но Святых Отцов читали только в рукописи. Между славянскими или русскими переводами древних авторов, тогда известными и сохраненными в наших библиотеках, наименуем Галеново рассуждение о стихиях большого и малого мира, о теле и душе, переведенное с языка латинско-

го, коим, вопреки сказанию одного иноземца-современника, не *гнушались* россияне: еще скудные средствами науки, они пользовались всяким случаем удовлетворять своему любопытству; часто искали смысла, где его не было от неразумия писцов или *толковников*, и с удивительным терпением списывали книги, исполненные ошибок. Сей темный перевод Галена находился в числе рукописей Св. Кирилла Белоезерского: следственно уже существовал в XV веке. — Упомянем здесь также о рукописном лечебнике, в 1588 году *преложенном с языка польского* для серпуховского воеводы Фомы Афанасьевича Бутурлина. Сей памятник тогдашней науки и тогдашнего невежества любопытен в отношении к языку смелым переводом многих имен и слов ученых.

Может быть, относятся ко временам Феодоровым или Годунова и старые песни русские, в коих упоминается о завоевании Казани и Сибири, о грозах Иоанновых, о добродетельном Никите Романовиче (брате царицы Анастасии), о злодее Малюте Скуратове, о впадениях ханских в Россию. Очевидцы рассказывают, дети и внуки их воспевают происшествия. Память обманывает, воображение плодит, новый вкус исправляет: но дух остается, с некоторыми сильными чертами века — и не только в наших исторических, богатырских, охотничьих, но и во многих нежных песнях заметна первобытная печать старины: видим в них как бы снимок подлинника уже неизвестного; слышим как бы отзыв голоса, давно умолкшего, находим свежесть чувства, теряемую человеком с летами, а народом с веками. Всем известна песня о царе Иоанне:

Зачиналась каменна́ Москва,
Зачинался в ней и Грозный Царь:
Он Казань город на славу взял,
Мимоходом город Астрахань —

о сыне Иоанновом, осужденном на казнь:

Упадает звезда поднебесная,
Угасает свеча воску яраго:
Не станувится у нас Царевича —

другая о витязе, который умирает в дикой степи, на ковре, подле огня угасающего:

Припекает свои раны кровавыя:
В головах стоит животворящий крест,
По праву руку лежит сабля острая,

По леву руку его крепкой лук,
А в ногах стоит его добрый конь;
Он, кончаяся, говорит коню:
Как умру я, мой доброй конь,
Ты зарой мое тело белое
Среди поля, среди чистаго;
Побеги потом во святую Русь;
Поклунись моим отцу и матери,
Благословенье свези малым детушкам;
Да скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене:
Я в приданое взял поле чистое;
Была свахою калена стрела,
Положила спать сабля острая.
Все друзья-братья меня оставили,
Все товарищи разъехались:
Лишь один ты, мой доброй конь,
Ты служил мне верно до смерти —

о воине убитом, коему постелию служит камыш, изголовьем куст ракитовый, одеялом темная ночь осенняя и коего тело орошается слезами матери, сестры и молодой жены:

Ах! мать плачет, что река льется;
Сестра плачет, как ручьи текут;
Жена плачет, как роса падает:
Взойдет солнце, росу высушит.

Сии и многие иные стихотворения народные, ознаменованные истиною чувства и смелостию языка, если отчасти не слогом, то духом своим ближе к XVI, нежели к XVIII веку. Сколько песен, уже забытых в столице, более и менее древних, еще слышим в селах и в городах, где народ памятливее для любезных преданий старины! Мы знаем, что в Иоанново время толпы скоморохов (русских трубадуров) ходили из села в село, веселя жителей своим искусством: следственно тогдашний вкус народа благоприятствовал дарованию песенников, коих любил даже и постник Феодор.

Сей царь любил и художества: в его время были у нас искусные ювелиры (из коих знаем одного венециянского, именем Франциска Асцентини), золотари, швеи, живописцы. Шапка, данная Феодором патриарху Иеремии, украшенная каменьями драгоценными и ликами святых, в описании Арсениева путешест-

вия названа превосходным делом московских художников. Сей греческий епископ видел на стенах Ирининой палаты изящную мусию в изображениях Спасителя, Богоматери, Ангелов, иерархов, мучеников, а на своде прекрасно сделанного льва, который держал в зубах змею с висящими на ней богатыми подсвечниками. Арсений с изумлением видел также множество огромных серебряных и золотых сосудов во дворце; одни имели образ зверей: единорога, львов, медведей, оленей; другие образ птиц: пеликанов, лебедей, фазанов, павлинов, и были столь необыкновенной тяжести, что 12 человек едва могли переносить их с места на место. Сии *чудные* сосуды делались, вероятно, в Москве, по крайней мере некоторые, и самые тяжелые, вылитые из серебра ливонского, добычи Иоаннова оружия. Искусство золотошвеев, заимствованное нами от греков, издревле цвело в России, где знатные и богатые люди носили всегда шитую[1] одежду. Феодор желал завести и шелковую фабрику в Москве: Марко Чинопи, вызванный им из Италии, ткал бархаты и парчи в доме, отведенном ему близ Успенского собора. — Размножение церквей умножало число иконописцев: долго писав только образа, мы начали писать и картины, именно в Феодорово царствование, когда две палаты, *Большая Грановитая* (памятник Иоанна III) и *Золотая Грановитая* (сооруженная внуком его) украсились живописью. В первой изображались Господь Саваоф, творение Ангелов и человека, вся история Ветхого и Нового Завета, мнимое разделение вселенной между тремя мнимыми братьями Августа Кесаря и действительное разделение нашего древнего отечества между сыновьями Св. Владимира (представленными в митрах, в одеждах камчатных, с оплечьями и с поясами златыми) — Ярослав Великий, Всеволод I, Мономах в царской утвари, Георгий Долгорукий, Александр Невский, Даниил Московский, Калита, Донской и преемники его до самого Феодора (который, сидя на троне в венце, в порфире с нараменником, в жемчужном ожерелье, с златою цепию на груди, держал в руках скипетр и *яблоко царское*; у трона стоял правитель, Борис Годунов, в шапке *мурманке*, в верхней златой одежде *на опашку*[2]). В палате Золотой, на своде и стенах, также представлялись Священная и Российская история, вместе с некоторыми аллегорическими лицами добродетелей и по-

---

[1] Шитый — расшитый, вышитый.

[2] На опашку — внакидку.

роков, времен года и феноменов природы (весна изображалась отроковицею, лето юношею, осень мужем с сосудом в руке, зима старцем с обнаженными локтями; четыре Ангела с трубами знаменовали четыре ветра). В некоторых картинах, на свитках, слова были писаны *связью*, или невразумительными чертами, вместо обыкновенных букв.—Золотая палата уже не существует (на ее месте дворец Елисаветин); а на стенах Грановитой давно изглажены все картины, известные нам единственно по описанию очевидцев.—Упомянем также об искусстве литейном: в Феодорово время имели мы славного мастера, Андрея Чохова, коего имя видим на древнейших пушках кремлевских: на *Дробовике* (весом в 2400 пуд), *Троиле* и *Аспиде*; первая вылита в 1586, а вторая и третья, называемые *пищалями*, в 1590 году.

Успехи гражданского образования были заметны и в наружном виде столицы. Москва сделалась приятнее для глаз не только новыми каменными зданиями, но и расширением улиц, вымощенных деревом и менее прежнего грязных. Число красивых домов умножилось: их строили обыкновенно из соснового леса, в два или три жилья[1], с большими крыльцами, с дощатыми свислыми кровлями, а на дворах летние спальни и каменные кладовые. Высота дома и пространство двора означали знатность хозяина. Бедные мещане жили еще в черных избах; у людей избыточных в лучших комнатах были изразчатые печи. Для предупреждения гибельных пожаров чиновники воинские летом ежедневно объезжали город, чтобы везде, по изготовлении кушанья, гасить огонь. Москва — то есть Кремль, Китай, Царев, или Белый город, новый деревянный, Замоскворечье и Дворцовые слободы за Яузою — имели тогда в окружности более двадцати верст. В Кремле считалось 35 каменных церквей, а всех в столице более четырех сот, кроме приделов: колоколов же не менее пяти тысяч—«в часы праздничного звона (пишут иноземцы) люди не могли в разговоре слышать друг друга». Главный колокол, весом в 1000 пуд, висел на деревянной колокольне среди Кремлевской площади: в него звонили, когда царь ехал в дальний путь или возвращался в столицу, или принимал знаменитых иноземцев. Китай-город, обведенный кирпичною, небеленою стеною, и соединяемый с Замоскворечьем мостами, деревянным, или *живым*, и *каменным*, всего более украшался великолепною готическою церковию Василия Блаженного и Гостиным двором, разделенным на 20 особенных рядов: в од-

[1] Ж и л ь е — здесь: этаж.

ном продавались шелковые ткани, в другом сукна, в третьем серебро, и проч. На Красной площади *лежали* две огромные пушки. В сей части города находились домы многих бояр, знатных сановников, дворян, именитых купцов и богатый арсенал, или Пушечный двор; в Белом городе (названном так от *выбеленных* стен) Литейный двор (на берегу Неглинной), Посольский, Литовский, Арменский, площади Конская и Сенная, мясной ряд, домы детей боярских, людей приказных и купцов; а в деревянном городе, или *Скородоме* (то есть *наскоро выстроенном* в 1591 году), жили мещане и ремесленники. Вокруг зданий зеленелись рощи, сады, огороды, луга; у самого дворца косили сено, и три сада государевы занимали немалое пространство в Кремле. Мельницы — одна на устье Неглинной, другие на Яузе — представляли картину сельскую. Немецкая Слобода не принадлежала к городу, ни Красное Село, где обитали семьсот ремесленников и торгашей, для коих готовила Судьба, к несчастию Борисова семейства, столь важное действие в нашей истории![1]

В Иоанново и Феодорово царствование древние обычаи народные, вероятно, мало изменились; но в современных известиях находим некоторые новые подробности относительно к сему любопытному для нас предмету.

Годунов, столь хитрый, столь властолюбивый, не мог или не хотел искоренить местничества бояр и сановников, которое доходило до крайности непонятной, так что ни одно назначение воевод, ни одно распределение чиновников для придворной службы в дни торжественные не обходилось без распри и суда. Скажем пример: Москва (в 1591 году) уже слышала топот ханских коней, а воеводы еще спорили о старейшинстве и не шли к местам своим. Из любви к мнимой чести не боялись бесчестия истинного: ибо жалобщиков неправых наказывали даже телесно, иногда и без суда: князя Гвоздева (в 1589 году) за местничество с князьями Одоевскими высекли батогами и *выдали* им *головою*, то есть велели ему уничиженно молить их о прощении. Князя Борятинского за спор с Шереметевым посадили на три дни в темницу: он не смирился; вышел из темницы и не поехал на службу. Чем изъясняется сия странность? Отчасти гордостию, которая естественна человеку и во всяких гражданских обстоятельствах ищет себе предмета; отчасти самою политикою царей: ибо местничеством жило честолюбие, нужное и в монархии неограниченной для рев-

---

[1] Жители Красного Села первыми признали Гришку Отрепьева царем.

ностной службы отечеству. Нет обыкновения, нет предрассудка совершенно бессмысленного в своем начале, хотя вред и превосходит иногда пользу в действии сих вековых обычаев. Годунов же мог иметь и цель особенную, следуя известному злому правилу: *раздором властвуй*![1] Сии всегдашие местничества питали взаимную ненависть между знатнейшими родами, Мстиславскими и Шуйскими, Глинскими и Трубецкими, Шереметевыми и Сабуровыми, Куракиными и Шестуновыми. Они враждовали: Борис господствовал!

Но споры о местах не нарушали благочиния на собраниях двора: все утихало, когда царь являлся в величии разительном для послов иноземных. «Закрыв глаза, пишут очевидцы, всякий сказал бы, что дворец пуст. Сии многочисленные, золотом облитые сановники и безмолвны и недвижимы, сидя на лавках в несколько рядов, от дверей до трона, где стоят рынды в одежде белой, бархатной или атласной, опушенной горностаем, в высоких белых шапках, с двумя золотыми цепями (крестообразно висящими на груди), с драгоценными секирами, подъятыми на плечо, как бы для удара... Во время торжественных царских обедов служат 200 или 300 жильцов, в парчовой одежде, с золотыми цепями на груди, в черных лисьих шапках. Когда государь сядет (на возвышенном месте, с тремя ступенями, один за трапезою золотою), чиновники-служители низко кланяются ему и по два в ряд идут за кушаньем. Между тем подают водку: на столах нет ничего, кроме хлеба, соли, уксусу, перцу, ножей и ложек; нет ни тарелок, ни салфеток. Приносят вдруг блюд сто и более: каждое, отведанное поваром при стольнике, вторично отведывается крайчим в глазах царя, который сам посылает гостям ломти хлеба, яства, вина, мед и собственною рукою в конце обеда раздает им сушеные венгерские сливы; всякого гостя отпускают домой еще с целым блюдом мяса или пирогов. Иногда послы чужеземные обедают и дома с роскошного стола царского: знатный чиновник едет известить их о сей чести и с ними обедать; 15 или 20 слуг идут вокруг его лошади; стрельцы, богато одетые, несут скатерть, солонки и проч.; другие (человек 200) хлеб, мед и множество блюд, серебряных или золотых, с разными яствами». Чтобы дать понятие о роскоши и лакомстве сего времени, выписываем следующее известие из

---

[1] Карамзин приводит перевод латинского изречения «divide et impera» (разделяй и властвуй).

бумаг Феодорова царствования: в 1597 году отпускали к столу австрийского посла из *дворца сытного* семь кубков романеи, столько же рейнского, мушкателя, французского белого, бастру (или канарского вина), аликанту и мальвазии; 12 ковшей меду вишневого и других лучших; 5 ведер смородинного, можжевелового, черемухового и проч.; 65 ведер малинового, боярского, княжего — из *кормового дворца* 8 блюд лебедей, 8 блюд журавлей с пряным зельем, несколько петухов рассольных с инбирем, куриц *бескостных*, тетеревей с шафраном, рябчиков с сливами, уток с огурцами, гусей с пшеном срацинским, зайцев в лапше и в репе, мозги лосьи (и проч.), ухи шафранные (белые и черные), кальи[1] лимонные и с огурцами — из *дворца хлебенного* калачи, пироги с мясом, с сыром и сахаром, блины, оладьи, кисель, сливки, орехи и проч. Цари хотели удивлять чужеземцев изобилием и действительно удивляли.

Древняя славянская роскошь гостеприимства, известная у нас под коренным русским именем *хлебосольства*, оказывалась и в домах частных: для гостей не было скупых хозяев. Зато самый обидный упрек в неблагодарности выражался словами: «ты забыл мою хлеб-соль». — Сие изобилие трапез, долгий сон полдневный и малое движение знатных или богатых людей производили их обыкновенную тучность, вменяемую в достоинство: быть *дородным человеком* значило иметь право на уважение. Но тучность не мешала им жить лет до осьмидесяти, ста и ста двадцати. Только двор и вельможи советовались с иноземными врачами. Феодор имел двух: Марка Ридлея, в 1594 году присланного английскою королевою, и Павла, миланского гражданина: первый жил в Москве пять лет и возвратился в Лондон; о втором в 1595 году писал Генрих IV к Феодору, ласково прося, чтобы царь отпустил его на старости в Париж к родственникам и друзьям. Сие дружелюбное письмо знаменитейшего из монархов Франции осталось для нас единственным памятником ее сношений с Россиею в конце XVI века. — На место Ридлея Елисавета прислала к Борису доктора Виллиса, коего испытывал в знаниях государственный дьяк Василий Щелкалов, спрашивая, есть ли у него книги и лекарства? каким правилам следует и на пульсе ли основывает свои суждения о болезнях или на состоянии жидкостей в теле? Виллис сказал, что он бросил все книги в Любеке и ехал к нам под

---

[1] Калья — мясная или рыбная похлебка.

именем купца, зная, как в Германии и в других землях не благоприятствуют медикам, едущим в Россию; что лучшая книга у него в голове, а лекарства изготовляются аптекарями, не докторами; что и пульс и состояние жидкостей в болезни равно важны для наблюдателя искусного. Сии ответы казались не весьма удовлетворительными Щелкалову, и Виллиса не старались удержать в Москве. Борис в 1600 году вызвал шесть лекарей из Германии: каждому из них он давал 200 рублей жалованья, сверх поместья, услуги, стола и лошадей; давал им и патенты на сан докторов: сию странную мысль внушил ему Елисаветин посланник Ли, убедив его назвать доктором лекаря Рейтлингера, который с ним приехал служить царю.

Мы имели тогда и разных аптекарей: один из них, англичанин Френчгам, быв у нас еще в Иоанново время, при Годунове возвратился из Лондона с богатым запасом целебных растений и минералов. Другой, Аренд Клаузенд, голландец, 40 лет жил в Москве. Но россияне, кроме знатных, не верили аптекам: простые люди обыкновенно лечились вином с истертым в нем порохом, луком или чесноком, а после банею. Они не любили выхухоли в лекарствах и никаких пилюль; особенно не терпели промывательного, так что самая крайность не могла победить их упрямства. — Кто, быв отчаянно болен и соборован маслом, выздоравливал, тот носил уже до смерти черную рясу, подобную монашеской. Жене его, как пишут, дозволялось будто бы выйти за другого мужа. Мертвых предавали земле до суток; богатых оплакивало, и в доме и на могиле, множество нанимаемых для того женщин, которые вопили нараспев: «тебе ли было оставлять белый свет? не жаловал ли тебя царь государь? не имел ли ты богатства и чести, супруги милой и детей любезных?» и проч. Сорочины заключались пиром в доме покойника, и вдова могла, без нарушения пристойности, чрез шесть недель избрать себе нового супруга. — Флетчер уверяет, что в Москве зимою не хоронили мертвых, а вывозили отпетые тела за город в *Божий* (убогий) дом и там оставляли до весны, когда земля расступалась и можно было без труда копать могилу.

«Россияне (пишет Маржерет), сохраняя еще многие старые обычаи, уже начинают изменяться в некоторых с того времени, как видят у себя иноземцев. Лет за 20 или за 30 пред сим, в случае какого-нибудь несогласия, они говорили друг другу без всяких обиняков, слуга боярину, боярин царю, даже Иоанну Гроз-

ному: *ты думаешь ложно, говоришь неправду.* Ныне менее грубы и знакомятся с учтивостию; однако ж мыслят о чести не так, как мы: например, не терпят поединков и ходят всегда безоружные, в мирное время вооружаясь единственно для дальних путешествий; а в обидах ведаются судом. Тогда наказывают виновного батожьем, в присутствии обиженного и судьи, или денежною пенею, именуемою *бесчестьем*, соразмерно жалованью истца: кому дают из царской казны ежегодно 15 рублей, тому и бесчестья 15 рублей, а жене его вдвое: ибо она считается оскорбленною вместе с мужем. За обиду важную секут кнутом на площадях, сажают в темницу, ссылают. Правосудие ни в чем не бывает так строго как в личных оскорблениях и в доказанной клевете. Для самых иноземцев поединок есть в России уголовное преступление».

Женщины, как у древних греков или у восточных народов, имели особенные комнаты и не скрывались только от ближних родственников или друзей. Знатные ездили зимою в санях, летом в колымагах, а за царицею (когда она выезжала на богомолье или гулять) верхом, в белых поярковых шляпах, обшитых тафтою телесного цвета, с лентами, золотыми пуговицами и длинными, до плеч висящими кистями. Дома они носили на голове шапочку тафтяную, обыкновенно красную, с шелковым белым повойником или шлыком; сверху для наряда большую парчовую шапку, унизанную жемчугом (а незамужняя или еще бездетная — черную лисью); золотые серьги с изумрудами и яхонтами, ожерелье жемчужное, длинную и широкую одежду из тонкого красного сукна с висящими рукавами, застегнутыми дюжиною золотых пуговиц, и с отложным до половины спины воротником собольим; под сею верхнею одеждою другую, шелковою, называемою *летником*, с руками, надетыми и до локтя обшитыми парчою; под летником *ферезь*, застегнутую до земли; на руках запястье, пальца в два шириною, из каменьев драгоценных; сапожки сафьянные, желтые, голубые, вышитые жемчугом, на высоких каблуках: все, молодые и старые, белились, румянились и считали за стыд не расписывать лиц своих.

Между забавами сего времени так описывают любимую Феодорову — *медвежий бой*: «Охотники царские, подобно римским гладиаторам, не боятся смерти, увеселяя государя своим дерзким искусством. Диких медведей, ловимых обыкновенно в ямы или тенетами, держат в клетках. В назначенный день и час собирается двор и несметное число людей пред феатром, где должно быть

поединку: сие место обведено глубоким рвом для безопасности зрителей и для того, чтобы ни зверь, ни охотник не могли уйти друг от друга. Там является смелый боец с рогатиною, и выпускают медведя, который, видя его, становится на дыбы, ревет и стремится к нему с отверстым зевом. Охотник недвижим: смотри, метит — и сильным махом всаживает рогатину в зверя, а другой конец ее пригнетает к земле ногою. Уязвленный, яростный медведь лезет грудью на железо, орошает его своею кровию и пеною, ломит, грызет древко — и если одолеть не может, то, падая на бок, с последним глухим ревом издыхает. Народ, доселе безмолвный, оглашает площадь громкими восклицаниями живейшего удовольствия, и Героя ведут к погребам царским пить за государево здравие: он счастлив сею единственною наградою или тем, что уцелел от ярости медведя, который в случае неискусства или малых сил бойца, ломая в куски рогатину, зубами и когтями растерзывает его иногда в минуту».

Говоря о страсти московских жителей к баням, Флетчер всего более удивлялся нечувствительности их к жару и холоду, видя, как они в жестокие морозы выбегали из бань нагие, раскаленные, и кидались в проруби.

Известие сего наблюдателя о тогдашней нравственности россиян не благоприятствовало их самолюбию: как писатель учтивый, предполагая исключения, он укорял москвитян лживостию и следствием ее, недоверчивостию беспредельною, изъясняясь так: «Москвитяне никогда не верят словам, ибо никто не верит их слову». Воровство и грабеж, по его сказанию, были часты от множества бродяг и нищих, которые, неотступно требуя милостыни, говорили всякому встречному: «дай мне или убей меня!» Днем они просили, ночью крали или отнимали, так что в темный вечер люди осторожные не выходили из дому. — Флетчер, ревностный слуга Елисаветин, враг западной церкви, несправедливо осуждая и в нашей все то, что сходствовало с уставами римской, излишно чернит нравы монастырские, но признается, что искренняя набожность господствовала в России. Угождая ли общему расположению умов или в терзаниях совести надеясь успокоить ее действиями внешнего благочестия, сам Годунов казался весьма набожным: в 1588 году, имея только одного сына — младенца, зимою носил его больного, без всякой предосторожности, в церковь Василия Блаженного и не слушал врачей: младенец умер. Тогда же был в Москве юродивый, уважаемый за действительную или мни-

мую святость: с распущенными волосами ходя по улицам нагой в жестокие морозы, он предсказывал бедствия и торжественно злословил Бориса; а Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа или веря святости сего человека. Такие юродивые, или блаженные, нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного человека укорять в глаза беззаконною жизнию и брать все, им угодное, в лавках без платы: купцы благодарили их за то, как за великую милость. Уверяют, что современник Иоаннов, Василий Блаженный, подобно Николе Псковскому[1], не щадил Грозного и с удивительною смелостию вопил на стогнах о жестоких делах его.

Упрекая россиян суеверием, иноземцы хвалили однако ж их терпимость, которой мы не изменяли со времен Олеговых до Феодоровых и которая в наших летописях остается явлением достопамятным, даже удивительным: ибо чем изъяснить ее? Просвещением ли, которого мы не имели? Истинным ли понятием о существе Веры, о коем спорили и философы и богословы? Равнодушием ли к ее догматам в государстве искони набожном? Или естественным умом наших древних князей воинственных, которые хотели тем облегчить для себя завоевания, не тревожа совести побеждаемых, и служили образцом для своих преемников, оставив им в наследие и земли разноверные и мир в землях? То есть назовем ли сию терпимость единственно политическою добродетелию? Во всяком случае она была выгодою для России, облегчив для нас и завоевания и самые успехи в гражданском образовании, для коих мы долженствовали заманивать к себе иноверцев, пособников сего великого дела.

К счастию же нашему, естественные враги России не следовали ее благоразумной системе: магометане, язычники поклонялись у нас Богу, как хотели; а в Литве неволили христиан восточной церкви быть папистами: говорим о зачале так называемой *унии* в Сигизмундово время, происшествии важном своими политическими следствиями, коих не могли ни желать, ни предвидеть ее виновники.

Духовенство литовское, отвергнув Устав Флорентийский, снова чтило в константинопольском первосвятителе главу своей церкви: патриарх Иеремия на возвратном пути из Москвы заехал в Киев, отрешил тамошнего митрополита Онисифора как двоеженца и на его место посвятил Михаила Рагозу; судил епи-

---

[1] Никола Салос — псковский юродивый.

скопов, наказывал архимандритов недостойных. Сия строгость произвела неудовольствие; действовали и другие причины: домогательство папы и воля королевская, обольщения, угрозы. Еще в 1581 году хитрый иезуит Антоний Поссевин, обманутый не менее хитрым Иоанном с берегов Шелоны писал к Григорию XIII, что для удобнейшего обращения *московских еретиков* должно прежде озарить светом истины Киев, колыбель их Веры: советовал ему войти в сношение с митрополитом и с епископами литовскими, послать к ним мужа ученого, благоразумного, который мог бы убеждениями и ласками изготовить торжество римской церкви в *земле раскола*. Антоний писал и действовал: внушил Баторию мысль завести иезуитское училище в Вильне, чтобы воспитывать там бедных отроков греческого исповедания в правилах римского; старался о переводе славнейших книг латинской богословии на язык российский; сам ревностно проповедовал, и не без успеха, так что многие литовские дворяне начали говорить о соединении церквей и благоприятствовать западной, угождая более миру, нежели совести: ибо, невзирая на свои права и вольности, утверждаемые королями и сеймами, единоверцы наши в Литве долженствовали везде и всегда уступать первенство католикам; бывали даже теснимы, — жаловались и не находили управы. Колебались умы и самых духовных сановников: ибо папа и Сигизмунд III, исполняя совет иезуита Антония, с одной стороны, предлагали им выгоды, честь и доходы новые, а с другой, представляли унижение Византийской церкви под игом оттоманов. Не грозили насилием и гонением; однако ж, славя счастия единоверия в государстве, напоминали о неприятностях, которые испытало духовенство в Литве, отвергнув Устав Флорентийский. Еще митрополит Рагоза таил свою измену, хвалился усердием к православию, и велел сказать московским послам, ехавшим в Австрию чрез владения Сигизмундовы, что не смеет видеться с ними, будучи в опале, в гонении за твердость в догматах восточной церкви, всеми оставляемой, совершенно беззащитной; что за него стоял один воевода новогородский, Федор Скумин, но и тот уже безмолвствует в страхе; что папа неотменно требует от короля и вельмож присоединения литовских епархий к церкви римской и хочет отдать киевскую митрополию своему епископу; что он (митрополит) должен неминуемо сложить с себя первосвятительство и заключиться в монастыре. Послы советовали ему быть непреклонным в буре и лучше умереть, нежели предать святую

паству *на расхищение волкам латинства.* Михаил, лукавый и корыстолюбивый, хотел еще в *последний раз* нашего золота и взял в задаток несколько червонцев: ибо цари не без хитрости давали *милостыню* духовенству литовскому, чтобы оно питало в народе любовь к своим единоверным братьям. В том же (1595) году сей лицемер, призвав в Киев всех епископов, усоветовал с ними искать мира и безопасности в недрах западной церкви. Только два святителя, львовский Гедеон Балабан и Михаил Премышльский, изъявили сопротивление; но их не слушали и к живейшему удовольствию короля послали епископов Ипатия Владимирского и Кирилла Луцкого в Рим, где в храмине Ватиканской они торжественно лобызали ногу Климента VIII и предали ему свою церковь.

Сие происшествие исполнило радости папу и кардиналов: славили Бога; честили послов *духовенства российского* (так назвали епископов Владимирского и Луцкого, чтобы возвысить торжество Рима); отвели им великолепный дом—и когда, после многих совещаний, все затруднения исчезли; когда послы обязались клятвою в верном наблюдении Устава Флорентийского, приняв за истину исхождение Св. Духа от Отца *и Сына*, бытие Чистилища, первенство епископа римского, но удерживая древний чин богослужения и язык славянский — тогда папа обнял, благословил их с любовию, и правитель его Думы, Сильвий Антонин, сказал громогласно: «Наконец, чрез 150 лет (после Флорентийского Собора) возвращаетесь вы, о епископы российские! к каменю Веры, на коем Христос утвердил церковь: к горе святой, где сам Всевышний обитать благоизволил; к матери и наставнице всех церквей, к единой истинной—римской!» Пели молебны, на память векам внесли в летописи церковные *повесть о воссиянии нового света в странах полунощных*; вырезали на меди образ Климента VIII, россиянина падающего ниц пред его троном и надпись латинскую: Ruthenis receptis...[1] Однако ж радость была не долговременна.

Во-первых, святители литовские, изменяя православию, надеялись, по обещанию Климентову, заседать в сенате наравне с латинским духовенством, но обманулись: папа не сдержал слова, от сильного противоречия епископов польских, которые не хотели равняться с униатами. Во-первых, не только святитель львовский, Гедеон, со многими другими духовными сановниками, но и неко-

---

[1] Овладев русскими (*лат.*).

торые знатнейшие вельможи, наши единоверцы, воспротивились унии: особенно воевода киевский, славный богатством и душевными благородными свойствами, князь Константин Острожский. Говорили и писали, что сие мнимое соединение двух Вер есть обман; что митрополит и клевреты его приняли латинскую, единственно для вида удержав обряды греческой. Народ волновался; храмы пустели. Чтобы важным, священным действием церковного Собора утишить раздор, все епископы съехались в Бресте, где присутствовали и вельможи королевские, послы Климента VIII и патриарха Византийского; но вместо мира усилилась вражда. Собор разделился на две стороны; одна предала анафеме другую — и с сего времени существовали две церкви в Литве: *униатская*, или *соединенная*, и *благочестивая*, или *несоединенная*. Первая зависела от Рима, вторая от Константинополя. Униатская, под особою защитою королей и сеймов, усиливалась, гнала благочестивую, в ее сиротстве жалостном — и долго, стон наших единоверных братьев исчезал в воздухе, не находя ни милосердия, ни справедливости в верховной власти. Так один из сих ревностных христиан греческого исповедания торжественно, на сейме, говорил королю Сигизмунду: «Мы, усердные сыны республики, готовы стоять за ее целость; но можем ли идти на врагов внешних, терзаемые внутренним: злобною униею, которая лишает нас и безопасности гражданской и мира душевного? Можем ли своею кровию гасить пылающие стены отечества, видя дома пламень, никем не гасимый? Везде храмы наши затворены, священники изгнаны, достояние церковное расхищено; не крестят младенцев, не исповедуют умирающих, не отпевают мертвых и тела их вывозят как стерво в поле. Всех, кто не изменил Вере отцов, удаляют от чинов гражданских; благочестие есть опала; закон не блюдет нас... вопием: не слушают!.. Да прекратится же тиранство! или (о чем не без ужаса помышляем) можем воскликнуть с пророком: *суди ми, Боже, и рассуди прю мою*!» Сия угроза исполнилась позднее, и мы, в счастливое царствование Алексия столь легко приобрели Киев с Малороссиею от насилия униатов.

Таким образом иезуит Антоний, король Сигизмунд и папа Климент VIII, ревностно действуя в пользу западной церкви, невольно содействовали величию России!

Конец X тома

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО





Глава I
ЦАРСТВОВАНИЕ БОРИСА ГОДУНОВА
1598—1604 гг.

Москва встречает царя. Присяга Борису. Соборная грамота. Деятельность Борисова. Торжественный вход в столицу. Знаменитое ополчение. Ханское посольство. Угощение войска. Речи патриарха. Прибавление к грамоте избирательной. Царское венчание. Милости. Новый царь касимовский. Происшествия в Сибири. Гибель Кучюма. Дело внешней политики. Судьба шведского принца Густава в России. Перемирие с Литвою. Сношения с Швециею. Тесная связь с Даниею. Герцог датский, жених Ксении. Переговоры с Австрией. Посольство персидское. Происшествия в Грузии. Бедствие россиян в Дагестане. Дружество с Англией. Ганза. Посольство римское и флорентийское. Греки в Москве. Дела ногайские. Дела внутренние. Жалованная грамота патриарху. Закон о крестьянах. Питейные домы. Любовь Борисова к просвещению и к иноземцам. Похвальное слово Годунову. Горячность Борисова к сыну. Начало бедствий.

Духовенство, синклит и чины государственные, с хоругвями церкви и отечества, при звуке всех колоколов московских и восклицаниях народа, упоенного радостию, возвратились в Кремль, уже дав самодержца России, но еще оставив его в келии. 26 фев-

раля, в Неделю Сыропустную, Борис въехал в столицу: встреченный пред стенами деревянной крепости всеми гостями московскими с хлебом, с кубками серебряными, золотыми, соболями, жемчугом и многими иными *дарами царскими*, он ласково благодарил их, но не хотел взять ничего, кроме хлеба, сказав, что богатство в руках народа ему приятнее, нежели в казне. За гостями встретили царя Иов и все духовенство; за духовенством синклит и народ. В храме Успения отпев молебен, патриарх *вторично* благословил Бориса на государство, осенив крестом Животворящего Древа, и клиросы пели многолетие как царю, так и всему Дому державному: царице Марии Григориевне, юному сыну их Феодору и дочери Ксении. Тогда *здравствовали* новому монарху все россияне; а патриарх, воздев руки на небо, сказал: «Славим Тебя, Господи: ибо Ты не презрел нашего моления, услышал вопль и рыдание христиан, преложил их скорбь на веселие и даровал нам царя, коего мы денно и нощно просили у Тебя со слезами!» После Литургии Борис изъявил благодарность к памяти двух главных виновников его величия: в храме Св. Михаила пал ниц пред гробами Иоанновым и Феодоровым; молился и над прахом древнейших знаменитых венценосцев России: Калиты, Донского, Иоанна III, да будут его небесными пособниками в земных делах царства; зашел во дворец; посетил Иова в обители Чудовской; долго беседовал с ним наедине; сказал ему и всем епископам, что не может до Светлого Христова Воскресения оставить Ирины в ее скорби, и возвратился в Новодевичий монастырь, предписав Думе Боярской, с его ведома и разрешения, управлять делами государственными.

Между тем все люди служивые с усердием целовали крест в верности к Борису, одни пред славною Владимирскою иконою Девы Марии, другие у гроба святых митрополитов Петра и Ионы: клялися не изменять царю ни делом, ни словом; не умышлять на жизнь или здравие державного, не вредить ему ни ядовитым зелием, ни чародейством; не думать о возведении на престол бывшего великого князя тверского Симеона Бекбулатовича или сына его; не иметь с ними тайных сношений, ни переписки; доносить о всяких *скопах*[1] и *заговорах*, без жалости к друзьям и ближним в сем случае; не уходить в иные земли: в Литву, Германию, Испанию, Францию или Англию. Сверх того бояре, чиновники думные и посольские обязывались быть скромными в делах и тайнах государ-

---

[1] Скоп — сборище с целью сговора.

ственных, судии не кривить душою в тяжбах, казначеи не корыстоваться царским достоянием, дьяки не лихоимствовать. Послали в области грамоты известительные о счастливом избрании государя, велели читать их всенародно, три дни звонить в колокола и молиться в храмах *сперва* о царице-инокине Александре, а *после* о державном ее брате, семействе его, боярах и воинстве. Патриарх (9 марта) Собором уставил торжественно просить Бога, да сподобит царя благословенного возложить на себя венец и порфиру; уставил еще на веки веков праздновать в России 21 февраля, день Борисова воцарения; наконец предложил Думе Земской утвердить данную монарху присягу Соборную грамотою, с обязательством для всех чиновников не уклоняться ни от какой службы, не требовать ничего свыше достоинства родов или заслуги, всегда и во всем слушаться *указа царского и приговора боярского*, чтобы *в делах разрядных и земских не доводить государя до кручины.* Все члены Великой Думы ответствовали единогласно: «Даем обет положить свои души и головы за царя, царицу и детей их!» Велели писать хартию, в таком смысле, первым грамотеям России.

Сие дело чрезвычайное не мешало течению обыкновенных дел государственных, коими занимался Борис с отменною ревностию и в келиях монастыря и в Думе, часто приезжая в Москву. Не знали, когда он находил время для успокоения, для сна и трапезы: беспрестанно видели его в совете с боярами и с дьяками, или подле несчастной Ирины, утешающего и скорбящего днем и ночью. Казалось, что Ирина действительно имела нужду в присутствии единственного человека, еще милого ее сердцу: сраженная кончиною супруга, искренно и нежно любимого ею, она тосковала и плакала неутешно до изнурения сил, очевидно угасая и нося уже смерть в груди, истерзанной рыданиями. Святители, вельможи тщетно убеждали царя оставить печальную для него обитель, переселиться с супругою и с детьми в Кремлевские палаты, явить себя народу в венце и на троне: Борис ответствовал: «не могу разлучиться с великою государынею, моею сестрою злосчастною», — и даже снова, неутомимый в лицемерии, уверял, что не желает быть царем. Но Ирина вторично *велела* ему исполнить волю народа и Божию, приять скипетр и царствовать не в келии, а на престоле Мономаховом. Наконец, апреля 30, подвиглась столица во сретение[1] государю!

---

[1] Сретение — встреча.

13 Зак. № 40

Сей день принадлежит к торжественнейшим дням России в ее истории. В час утра духовенство с крестами и с иконами, синклит, двор, приказы, воинство, все граждане ждали царя у каменного мосту, близ церкви Св. Николая Зарайского. Борис ехал из Новодевичьего монастыря с своим семейством в великолепной колеснице; увидев хоругви церковные и народ, вышел: поклонился святым иконам; милостиво приветствовал всех, и знатных и незнатных; представил им царицу, давно известную благочестием и добродетелию искреннею, — девятилетнего сына и шестнадцатилетнюю дочь, Ангелов красотою. Слыша восклицания народа: «вы наши государи, мы ваши подданные», Феодор и Ксения вместе с отцом ласкали чиновников и граждан; так же, как и он, взяв у них хлеб-соль, отвергнули золото, серебро и жемчуг, поднесенные им в дар, и звали всех обедать к царю. Невозбранно теснимый бесчисленною толпою людей, Борис шел за духовенством с супругою и с детьми, как добрый отец семейства и народа, в храм Успения, где патриарх возложил ему на грудь Животворящий крест Св. Петра Митрополита (что было уже началом царского венчания) и в *третий раз* благословил его на великое государство Московское. Отслушав литургию, новый самодержец, провождаемый боярами, обходил все главные церкви Кремлевские, везде молился с теплыми слезами, везде слышал радостный клик граждан и, держа за руку своего юного наследника, а другою ведя прелестную Ксению, вступил с супругою в палаты царские. В сей день народ обедал у царя: не знали числа гостям, но все были званые, от патриарха до нищего. Москва не видала такой роскоши и в Иоанново время. Борис не хотел жить в комнатах, где скончался Феодор: занял ту часть Кремлевских палат, где жила Ирина, и велел пристроить к ним для себя новый дворец деревянный.

Он уже царствовал, но еще без короны и скиптра; еще не мог назваться *Царем Боговенчанным*, *Помазанником Господним*. Надлежало думать, что Борис немедленно возложит на себя венец со всеми торжественными обрядами, которые в глазах народа освящают лицо властителя: сего требовали патриарх и синклит именем России; сего без сомнения хотел и Борис, чтобы важным церковным действием утвердить престол за собою и своим родом: но хитрым умом властвуя над движениями сердца, вымыслил новое очарование; вместо скиптра взял меч в десницу и спешил в поле, доказать, что безопасность отечества ему дороже и короны и жизни. Так

царствование самое миролюбивое началося ополчением, которое приводило на память восстание россиян для битвы с Мамаем!

Еще в марте месяце, из келии Новодевичьего монастыря, отправив гонца к хану с дружественным письмом, Борис 1 апреля сведал, по донесению воеводы оскольского, что пленник, взятый козаками за Донцом в сшибке с толпою крымских разбойников, говорит о намерении Казы-Гирея вступить в пределы московские со всею Ордою и с семью тысячами султанских воинов. Борис не усомнился в истине столь мало достоверного известия и решился, не теряя времени, двинуть всю громаду наших сил к берегам Оки; писал о том к воеводам, убедительно и ласково, требуя от них ревности в первой, важной опасности его царствования, в доказательство любви к нему и к России. Сей указ произвел удивительное действие: не было ни ослушных, ни ленивых; все дети боярские, юные и престарелые, охотно садились на коней; городские и сельские дружины без отдыха спешили к местам сборным. Главному стану назначили быть в Серпухове, правой руке в Алексине, левой в Кошире, передовому полку в Калуге, сторожевому в Коломне. — 20 апреля пришли новые вести: писали из Белагорода, что татарин, схваченный донскими козаками на перевозе, сказывал им о сильном вооружении хана; что толпы крымские, хотя и малочисленные, показались в степях и гонят везде наших стражей. Тогда Борис велел все изготовить для *похода царского* и 2 мая выехал из Москвы в ратном доспехе, взяв с собою пять царевичей: киргизского, сибирского, шамахинского, хивинского и сына Кайбулина, бояр, князей Мстиславского, Шуйских, Годуновых, Романовых и других, — многих знатных сановников, и между ими Богдана Бельского, — печатника Василья Щелкалова, дворян и дьяков думных, 44 стольника, 20 стряпчих, 274 жильца — одним словом, всех людей нужных и для войны и для совета и для пышности дворской. В Москве остался, при царицах инокине Александре и Марии, юный Феодор с боярами Дмитрием Ивановичем Годуновым, князьями Трубецким, Глинским, Черкасским, Шестуновым и другими; а при Феодоре *дядька* Иван Чемоданов. Сделали распоряжение в столице и на случай осады ее: назначили воевод для защиты стен и башен, для отъездов, вылазок и битв вне укреплений. 10 мая, в селе Кузминском, представили царю двух пленников, литовского и цесарского, ушедших из Крыма: они уверяли, что хан уже в поле и действительно идет на Москву. Тогда Борис послал гонцов ко всем

начальникам степных крепостей с *милостивым словом*: в Тулу, Оскол, Ливны, Елец, Курск, Воронеж; сим гонцам ведено было *спросить о здравии* как воевод, так и дворян, сотников, детей боярских, стрельцов и козаков; вручить грамоты царские первым и требовать, чтобы они читали их всенародно. «Я стою на берегу Оки (писал Борис) и смотрю на степи: где явятся неприятели, там и меня увидите». В Серпухове он распорядил воеводство, дав *почетное* царевичам, и действительное пяти князьям знатнейшим: в главной рати Мстиславскому, в правой руке Василию Шуйскому, в левой Ивану Голицыну, в передовом полку Дмитрию Шуйскому, в сторожевом Тимофею Трубецкому. Оградою древней России, в случае ханских впадений, служили, сверх крепостей, засеки в местах трудных для обхода: близ Перемышля, Лихвина, Белева, Тулы, Боровска, Рязани: государь рассмотрел чертежи их и дослал туда особенных воевод с мордвою и стрельцами; устроил еще *плавную*, или судовую, рать на Оке, чтобы тем более вредить неприятелю в битвах на берегах ее. Видели, чего не видали дотоле: *полмиллиона войска*, как уверяют, в движении стройном, быстром, с усердием несказанным, с доверенностию беспредельною. Все действовало сильно на воображение людей: и новость царствования, благоприятная для надежды, и высокое мнение о Борисовой, уже долговременными опытами изведанной мудрости. Исчезло самое местничество: воеводы спрашивали только, где им быть, и шли к своим знаменам, не справляясь с разрядными книгами о службе отцов и дедов: ибо царь объявил, что Великий Собор бил ему челом предписать боярам и дворянству *службу без мест*. Сия ревность, способствуя нужному повиновению, имела и другое важное следствие: умножила число воинов, и воинов исправных: дворяне, дети боярские выехали в поле на лучших конях, в лучших доспехах, со всеми слугами, годными для ратного дела, к живейшему удовольствию царя, который не знал меры в изъявлениях милости: ежедневно смотрел полки и дружины, приветствовал начальников и рядовых, угощал обедами, и всякий раз не менее десяти тысяч людей, на серебряных блюдах, под шатрами. Сии истинно царские угощения продолжались шесть недель: ибо слухи о неприятеле вдруг замолкли; разъезды наши уже не встречали его; тишина царствовала на берегах Донца, и стражи, нигде не видя пыли, нигде не слыша конского топота, дремали в безмолвии степей. Ложные ли слухи обманули Бориса, или он притворным легковерием обма-

нул Россию, чтобы явить себя царем не только Москвы, но и всего воинства, воспламенить любовь его к новому самодержцу, в годину опасности предпочитающему бранный шлем венцу Мономахову, и тем удвоить блеск своего торжественного воцарения? Хитрость достойная Бориса и едва ли сомнительная. — Вместо тучи врагов, явились в южных пределах России мирные послы Казы-Гиреевы с нашим гонцом: елецкие воеводы 18 июня донесли о том Борису, который наградил вестника деньгами и чином.

Следственно ополчение беспримерное, стоив великого иждивения и труда, оказалось напрасным? Уверяли, что оно спасло государство, поразив хана ужасом; что крымцы шли действительно, но узнав о восстании России, бежали назад. По крайней мере царь хотел впечатлеть ужас в послов ханских, из коих главным был мурза Алей: они въехали в Россию как в стан воинский; видели на пути блеск мечей и копий, многолюдные дружины всадников, красиво одетых, исправно вооруженных; в лесах, в засеках слышали оклики и пальбу. Их остановили близ Серпухова, в семи верстах от царских шатров, на лугах Оки, где уже несколько дней сходилась рать отовсюду. Там, 29 июня, еще до рассвета загремело сто пушек, и первые лучи солнца осветили войско несметное, готовое к битве. Велели крымцам, изумленным сею ужасною стрельбою и сим зрелищем грозным, идти к царю, сквозь тесные ряды пехоты, вдали окруженной густыми толпами конницы. Введенные в шатер царский, где все блистало оружием и великолепием — где Борис, вместо короны увенчанный златым шлемом, первенствовал в сонме царевичей и князей не столько богатством одежды, сколько видом повелительным — Алей мурза и товарищи его долго безмолвствовали, не находя слов от удивления и замешательства; наконец сказали, что Казы-Гирей желает вечного союза с Россиею, возобновляя договор, заключенный в Феодорово царствование: *будет в воле* Борисовой и готов со всею Ордою идти на врагов Москвы. Послов угостили пышно и вместе с ними отправили наших к хану для утверждения новой союзной грамоты его присягою.

В сей же день Св. Петра и Павла царь простился с войском, дав ему роскошный обед в поле: 500 000 гостей пировало на лугах Оки; яства, мед и вино развозили обозами; чиновников дарили бархатами, парчами и камками. Последним словом царя было: «люблю воинство христианское и надеюсь на его верность». Громкие благословения провождали Бориса далеко по Московской до-

роге. Воеводы, ратники были в восхищении от государя столь мудрого, ласкового и счастливого: ибо он без кровопролития, одною угрозою, дал отечеству вожделеннейший плод самой блестящей победы: тишину, безопасность и честь! Россияне надеялись, говорит летописец, что все царствование Борисово будет подобно его началу, и славили царя искренно. – Для наблюдения осталась часть войска на Оке; другая пошла к границе литовской и шведской; большую часть распустили: но все знатнейшие чиновники спешили вслед за государем в столицу.

Там новое торжество ожидало Бориса: вся Москва встретила его, как некогда Иоанна, завоевателя Казани, и патриарх в приветственной речи сказал ему: «Богом избранный, Богом возлюбленный, великий самодержец! Мы видим славу твою: ты благодаришь Всевышнего! Благодарим Его вместе с тобою; но радуйся же и веселися с нами, совершив подвиг бессмертный! Государство, жизнь и достояние людей целы; а лютый враг, преклонив колена, молит о мире! *Ты не скрыл, но умножил талант свой* в сем случае удивительном, ознаменованном более, нежели человеческою мудростию... – Здравствуй о Господе, царь любезный Небу и народу! От радости плачем и тебе кланяемся». Патриарх, духовенство и народ преклонились до земли. Изъявляя чувствительность и смирение, государь спешил в храм Успения славословить Всевышнего и в монастырь Новодевичий к печальной Ирине.

Все домы были украшены зеленью и цветами.

Но Борис еще отложил свое царское венчание до 1 сентября, чтобы совершить сей важный обряд в Новое Лето, в день общего доброжелательства и надежд, лестных для сердца[1]. Между тем грамота избирательная была написана от имени Земской Думы с таким прибавлением: «Всем ослушникам царской воли неблагословение и клятва от церкви, месть и казнь от синклита и государства: клятва и казнь всякому мятежнику, *раскольнику любопрительному*[2], который дерзнет противоречить деянию соборному и колебать умы людей молвами злыми, кто бы он ни был, священного ли сана или боярского, думного или воинского, гражданин или вельможа: да погибнет и память его вовеки!» Сию грамоту утвердили 1 августа своими подписями и печатями Борис и юный Феодор, Иов, все святители, архимандриты, игумены, протопопы,

---

[1] До Петра I новый год на Руси начинался 1 сентября.

[2] Любопрительный – любящий препираться.

келари, старцы чиновные,— бояре, окольничие, знатные сановники двора, печатник Василий Щелкалов, думные дворяне и дьяки, стольники, дьяки приказов, дворяне, стряпчие и выборные из городов, жильцы, дьяки нижней степени, гости, сотские, числом около пятисот: один список ее был положен в сокровищницу царскую, где лежали государственные уставы прежних венценосцев, а другой в патриаршую ризницу в храме Успения. — Казалось, что мудрость человеческая сделала все возможное для твердого союза между государем и государством!

Наконец Борис венчался на царство, еще пышнее и торжественнее Феодора, ибо приял утварь Мономахову из рук вселенского патриарха. Народ благоговел в безмолвии; но когда царь, осененный десницею первосвятителя, в порыве живого чувства как бы забыв устав церковный, среди литургии воззвал громогласно: «Отче, великий патриарх Иов! Бог мне свидетель, что в моем царстве не будет ни сирого, ни бедного»—и, тряся верх своей рубашки, примолвил: «отдам и сию последнюю народу»: тогда единодушный восторг прервал священнодействие: слышны были только клики умиления и благодарности в храме; бояре славословили монарха, народ плакал. Уверяют, что новый венценосец, тронутый знаками общей к нему любви, тогда же произнес и другой важный обет: щадить жизнь и кровь самых преступников и единственно удалять их в пустыни сибирские*. Одним словом, никакое царское венчание в России не действовало сильнее Борисова на воображение и чувство людей.— Осыпанный в дверях церковных золотом из рук Мстиславского, Борис в короне, с державою и скиптром спешил в царскую палату занять место варяжских князей на троне России, чтобы милостями, щедротами и государственными благодеяниями праздновать сей день великий,

Началося с двора и синклита: Борис пожаловал царевича киргизского, Ураз-Магмета, в цари касимовские; Дмитрия Ивановича Годунова в конюшие, Степана Васильевича Годунова в дворецкие (на место доброго Григорья Васильевича, который один не радовался возвышению своего рода и в тайной горести умер); князей Катырева, Черкасского, Трубецкого, Ноготкова и Александра Романова-Юрьева в бояре; Михайла Романова, Бельского (любимца Иоаннова и своего бывшего друга), Кривого-Салтыкова (также любимца Иоаннова) и четырех Годуновых в окольни-

---

* Сей обет, говорят.., дал Борис на пять лет. (XI, 24.)

чие; многих в стольники и в иные чины. Всем людям служивым, воинским и гражданским он указал выдать двойное жалованье, гостям московским и другим торговать беспошлинно два года, а земледельцев казенных и самых диких жителей сибирских освободить от податей на год. К сим милостям чрезвычайным прибавил еще новую для крестьян господских: уставил, сколько им работать и платить господам законно и безобидно. – Обнародовав с престола сии царские благодеяния, Борис двенадцать дней угощал народ пирами.

Казалось, что и Судьба благоприятствовала новому монарху, ознаменовав начало его державства и вожделенным миром и счастливым успехом оружия, в битве маловажной числом воинов, но достопамятной своими обстоятельствами и следствиями, местом победы, на краю света, и лицом побежденного. Мы оставили царя-изгнанника сибирского Кучюма в степи Барабинской, непреклонного к милостивым предложениям Феодоровым, неутомимого в набегах на отнятые у него земли и все еще для нас опасного. Воевода тарский, Андрей Воейков, выступил (4 августа 1598) с 397 козаками, литовцами и людьми ясашными[1] к берегам Оби, где среди полей, засеянных хлебом и вдали окруженных болотами, гнездился Кучюм с бедными остатками своего царства, с женами, с детьми, с верными ему князьями и воинами, числом до пятисот. Он не ждал врага: бодрый Воейков шел день и ночь, кинув обоз; имел лазутчиков, хватал неприятельских, и 20 августа пред восходом солнца напал на укрепленный стан ханский. Целый день продолжалась битва, уже последняя для Кучюма: его брат и сын, Илитен и Кан, царевичи, 6 князей, 10 мурз, 150 лучших воинов пали от стрельбы наших, которые около вечера вытеснили татар из укрепления, прижали к реке, утопили их более ста и взяли 50 пленников; немногие спаслися на судах в темноте ночи. Так Воейков отмстил Кучюму за гибель Ермака неосторожного! Восемь жен, пять сыновей и восемь дочерей ханских, пять князей и немало богатства остались в руках победителя. Не зная о судьбе Кучюма и думая, что он, подобно Ермаку, утонул во глубине реки, Воейков не рассудил за благо идти далее: сжег, чего не мог взять с собою, и с знатными своими пленниками возвратился в Тару донести Борису, что в Сибири уже нет иного царя, кроме российского. Но Кучюм еще жил, двумя усердными слугами во вре-

[1] Ясашный – от «ясак» (дань).

мя битвы увезенный на лодке вниз по Оби в землю Чатскую. Еще воеводы наши снова предлагали ему ехать в Москву, соединиться с его семейством и мирно дожить век благодеяниями государя великодушного. Сеит, именем Тул-Мегмет, посланный Воейковым, нашел Кучюма в лесу близ того места, где лежали тела убитых россиянами татар, на берегу Оби: слепой старец, неодолимый бедствиями, сидел под деревом, окруженный тремя сыновьями и тридцатью верными слугами; выслушал речь сеитову о милости царя московского и спокойно ответствовал: «Я не поехал к нему и в лучшее время доброю волею, целый и богатый: теперь поеду ли за смертию? Я слеп и глух, беден и сир. Жалею не о богатстве, но только о милом сыне Асманаке, взятом россиянами: с ним одним, без царства и богатства, без жен и других сыновей, я мог бы еще жить на свете. Теперь посылаю остальных детей в Бухарию, а сам еду к ногаям». Он не имел ни теплой одежды, ни коней и просил их из милости у своих бывших подданных, жителей Чатской волости, которые уже обещались быть данниками России: они прислали ему одного коня и шубу. Кучюм возвратился на место битвы и там, в присутствии сеита, занимался два дня погребением мертвых тел; в третий день сел на коня — и скрылся для истории. Остались только неверные слухи о бедственной его кончине: пишут, что он, скитаясь в степях Верхнего Иртыша в земле Калмыцкой и близ озера Заисан-Нора, похитив несколько лошадей, был гоним жителями из пустыни в пустыню, разбит на берегу озера Кургальчина и почти один явился в улусе ногаев, которые безжалостно умертвили слепого старца изгнанника, сказав: «Отец твой нас грабил, а ты не лучше отца». Весть о сем происшествии обрадовала Москву и Россию: Борис с донесением Воейкова спешил ночью в монастырь к Ирине, любя делить с нею все чистые удовольствия державного сана. Истребление Кучюма, первого и последнего царя Сибирского, если не могуществом, то непреклонною твердостию в злосчастии достопамятного, как бы запечатлело для нас господство над полунощною Азиею. В столице и во всех городах снова праздновали завоевание сего неизмеримого края, звоном колокольным и молебнами. Воейкова наградили золотою медалью, а его сподвижников деньгами; велели привезти знатных пленников в Москву и дали народу удовольствие видеть их торжественный въезд (в генваре 1599). Жены, дочери, невестки и сыновья Кучюмовы (юноши Асманак и Шаим, отрок Бабадша, младенцы Кумуш и Молла) ехали в богатых *резных* санях:

царицы и царевны в шубах бархатных, атласных и камчатных, украшенных золотом, серебром и кружевом; царевичи в ферезях багряных, на мехах драгоценных; впереди и за ними множество всадников, детей боярских, по два в ряд, все в шубах собольих, с пищалями. Улицы были наполнены зрителями, россиянами и чужеземцами. Цариц и царевичей разместили в особенных домах, купеческих и дворянских; давали им содержание пристойное, но весьма умеренное; наконец отпустили жен и дочерей ханских в Касимов и в Бежецкий Верх к царю Ураз-Магмету и к царевичу сибирскому Маметкулу, согласно с желанием тех и других. Сын Кучюмов Абдул-Хаир, взятый в плен еще в 1591 году, принял тогда христианскую Веру и был назван Андреем.

С сего времени уже не имея войны, но единственно усмиряя, без важных усилий, строптивость наших данников в Сибири и страхом или выгодами мирной, деятельной власти умножая число их, мы спокойно занимались там основанием новых городов: Верхотурья в 1598, Мангазеи и Туринска в 1600, Томска в 1604 годах; населяли их людьми воинскими, семейными, особенно козаками литовскими или малороссийскими, и самых коренных жителей сибирских употребляли на ратное дело, вселяя в них усердие к службе льготою и честию, так что с величайшею ревностию содействовали нам в покорении своих единоземцев. Одним словом, если случай дал Иоанну Сибирь, то государственный ум Борисов надежно и прочно вместил ее в состав России.

В делах внешней политики российской ничто не переменилось: ни дух ее, ни виды. Мы везде хотели мира или приобретений без войны, готовясь единственно к оборонительной; не верили доброжелательству тех, коих польза была несовместна с нашею, и не упускали случая вредить им без явного нарушения договоров.

Хан, уверяя Россию в своей дружбе, откладывал торжественное заключение нового договора с новым царем: между тем донские козаки тревожили набегами Тавриду, а крымские разбойники Белогородскую область. Наконец, в июне 1602 года, Казы-Гирей, приняв дары, оцененные в 14 000 рублей, вручил послу, князю Григорию Волконскому, шертную грамоту со всеми торжественными обрядами, но еще хотел тридцати тысяч рублей и жаловался, что россияне стесняют ханские улусы основанием крепостей в степях, которые были дотоле привольем татарским. «Не видим ли (говорил он) вашего умысла, столь недружелюбного? Вы хотите задушить нас в ограде. А я вам друг, каких мало. Сул-

тан живет мыслию идти войною на Россию, но слышит от меня всегда одно слово: *далеко! там пустыни, леса, воды, болота, грязи непроходимые*». Царь ответствовал, что казна его истощилась от милостей, оказанных войску и народу; что крепости основаны единственно для безопасности наших посольств к хану и для обуздания хищных донских козаков; что мы, имея рать сильную, не боимся султановой. Любимец Казы-Гиреев Ахмет-Челибей, присланный к царю с союзною грамотою, требовал от него клятвы в верном исполнении взаимных условий: Борис взял в руки *книгу* (без сомнения не Евангелие) и сказал: «Обещаю искреннее дружество Казы-Гирею: вот моя *большая присяга*»; не хотел ни целовать креста, ни показать сей книги Челибею, коего уверяли, что государь российский из особенной любви к хану изустно произнес священное обязательство союза и что договоры с иными венценосцами утверждаются только боярским словом. Так Борис, вопреки древнему обыкновению, уклонился от бесполезного унижения святыни в делах с варварами, уважающими одну корысть и силу; честил хана умеренными дарами, а всего более надеялся на войско, готовое для защиты юго-восточных пределов России, и сохранил их спокойствие. Были взаимные досады, однако ж без всяких неприятельских действий. В 1603 году Казы-Гирей с гневом выслал из Тавриды нового посла государева князя Борятинского за то, что он не хотел удержать донских козаков от впадения в карасанский улус, ответствуя грубо: «у вас есть сабля; а мое дело сноситься только с ханом, не с ворами козаками». Но сей случай не произвел разрыва: хан жаловался без угроз и подтвердил обязательство умереть нашим другом, опасаясь тогда султана и думая найти защитника в Борисе.

В делах с Литвою и с Швециею Борис также старался возвысить достоинство России, пользуясь случаем и временем. Сигизмунд, именем еще король Швеции, уже воевал с ее правителем, дядею своим, герцогом Карлом, и склонил вельможных панов к участию в сем междоусобии, уступив их отечеству Эстонию. В таких благоприятных для нас обстоятельствах Литва домогалась прочного мира, а Швеция союза с Россиею: Борис же, изъявляя готовность к тому и к другому, вымышлял легкий способ взять у них, что было нашим и что мы уступили им невольно: древние орденские владения, о коих столько жалел Иоанн, жалела и Россия, купив оные долговременными, кровавыми трудами и за ничто отдав властолюбивым иноземцам.

Мы упоминали о сыне шведского короля Эрика, изгнаннике Густаве. Скитаясь из земли в землю, он жил несколько времени в Торне, скудным жалованьем брата своего Сигизмунда и решился (в 1599 году) искать счастия в нашем отечестве, куда звали его и Феодор и Борис, предлагая ему не только временное убежище, но и знатное поместье или удел. На границе, в Новегороде, в Твери ждали Густава сановники царские с приветствиями и дарами; одели в золото и в бархат; ввезли в Москву на богатой колеснице; представили государю в самом пышном собрании двора. Поцеловав руку у Бориса и юного Феодора, Густав произнес речь (зная славянский язык); сел на золотом изголовье; обедал у царя за столом особенным, имея особенного крайчего и чашника. Ему дали огромный дом, чиновников и слуг, множество драгоценных сосудов и чаш из кладовых царских; наконец удел калужский, три города с волостями, для дохода. Одним словом, после Борисова семейства Густав казался первым человеком в России, ежедневно ласкаемый и даримый. Он имел достоинства: душевное благородство, искренность, сведения редкие в науках, особенно в химии, так что заслужил имя второго Феофраста Парацельса; знал языки, кроме шведского и славянского, италиянский, немецкий, французский; много видел в свете, с умом любопытным, и говорил приятно. Но не сии достоинства и знания были виною царской к нему милости: Борис мыслил употребить его в орудие политики как второго Магнуса, желая иметь в нем страшилище для Сигизмунда и Карла; обольстил Густава надеждою быть властителем Ливонии с помощию России и хитро приступил к делу, чтобы обольстить и Ливонию. Еще многие сановники дерптские и нарвские жили в Москве с женами и детьми в неволе сносной, однако ж горестной для них, лишенных отечества и состояния: Борис дал им свободу с условием, чтобы они присягнули ему в верности неизменной; ездили, куда хотят: в Ригу, в Литву, в Германию для торговли, но везде были его усердными слугами, наблюдали, выведывали важное для России и тайно доносили о том печатнику Щелкалову. Сии люди, некогда купцы богатые, уже не имели денег: царь велел им раздать до двадцати пяти тысяч нынешних рублей серебряных, чтобы они тем ревностнее служили России и преклоняли к ней своих единоземцев. Зная неудовольствие жителей рижских и других ливонцев, утесняемых правительством и в гражданской жизни и в богослужении, царь велел тайно сказать им, что если хотят они спасти вольность свою и Ве-

ру отцов; если ужасаются мысли рабствовать всегда под тяжким игом Литвы и сделаться *папистами, или иезуитами*: то щит России над ними, а меч ее над их утеснителями; что сильнейший из венценосцев, равно славный и мудростию и человеколюбием, желает быть отцом более, нежели государем Ливонии и ждет депутатов из Риги, Дерпта и Нарвы для заключения условий, которые будут утверждены присягою бояр; что свобода, законы и Вера останутся там неприкосновенными под его верховною властию. В то же время воеводы псковские должны были искусно разгласить в Ливонии, что Густав, столь милостиво принятый царем, немедленно вступит в ее пределы с нашим войском, дабы изгнать поляков, шведов и господствовать в ней с правом наследственного державца, но с обязанностию российского присяжника. Сам Густав писал к герцогу Карлу: «Европе известна бедственная судьба моего родителя; а тебе известны ее виновники и мои гонители: оставляю месть Богу. Ныне я в *тихом* и *безбоязненном пристанище* у великого монарха, милостивого к несчастным державного племени. Здесь могу быть полезен нашему любезному отечеству, если ты уступишь мне Эстонию, угрожаемую Сигизмундовым властолюбием: с помощию Божиею и царскою буду не только стоять за города ее, но возьму и всю Ливонию, мою законную отчину». Заметим, что о сем письме не упоминается в наших переговорах с Швециею; оно едва ли было доставлено герцогу: сочиненное, как вероятно, в приказе московском, ходило единственно в списках из рук в руки между ливонскими гражданами, чтобы волновать их умы в пользу Борисова замысла. Так мы хитрили, будучи в перемирии с Литвою и в мире с Швециею!

Но сия хитрость, не чуждая коварства, осталась бесплодною — от трех причин: 1) ливонцы издревле страшились и не любили России; помнили историю Магнуса и видели еще следы Иоаннова свирепства в их отечестве; слушали наши обещания и не верили. Только некоторые из нарвских жителей, тайно сносясь с Борисом, умышляли сдать ему сей город; но, обличенные в сей измене, были казнены всенародно. 2) Мы имели лазутчиков, а Сигизмунд и Карл войско в Ливонии: могла ли она, если бы и хотела, думать о посольстве в Москву? Густав лишился милости Бориса, который думал женить его на царевне Ксении, с условием, чтобы он исповедовал одну Веру с нею; но Густав не согласился изменить своему Закону, ни оставить любовницы, привезенной им с собою из Данцига; не хотел быть, как пишут, и слепым орудием нашей политики ко вреду

Швеции; требовал отпуска и, разгоряченный вином, в присутствии Борисова медика Фидлера грозился зажечь Москву, если не дадут ему свободы выехать из России: Фидлер сказал о том боярину Семену Годунову, а боярин царю, который, в гневе отняв у неблагодарного и сокровища и города, велел держать его под стражею в доме; однако ж скоро умилостивился и дал ему вместо Калуги разоренный Углич. Густав (в 1601 году) снова был у царя, но уже не обедал с ним; удалился в свое поместье и там, среди печальных развалин, спокойно занимался химиею до конца Борисовой жизни. Неволею перевезенный тогда в Ярославль, а после в Кашин, сей несчастный принц умер в 1607 году, жалуясь на ветреность той женщины, которой он пожертвовал блестящею долею в России. Уединенную могилу его в прекрасной березовой роще, на берегу Кашенки, видели знаменитый шведский военачальник Иаков де-ла-Гарди и посланник Карла IX Петрей в царствование Шуйского.

Между тем мы имели случай гордостию отплатить Сигизмунду за уничижение, претерпенное Иоанном от Батория. Великий посол литовский канцлер Лев Сапега, приехав в Москву, жил шесть недель в праздности для того, как ему сказывали, что царь мучился подагрою. Представленный Борису (16 ноября 1600), Сапега явил условия, начертанные варшавским сеймом для заключения вечного мира с Россиею: их выслушали, отвергнули и еще несколько месяцев держали Сапегу в скучном уединении, так что он грозился сесть на коня и без дела уехать из Москвы. Наконец, будто бы из уважения к милостивому ходатайству юного Борисова сына, государь велел думным советникам заключить перемирие с Литвою на 20 лет. 11 марта (1601 года) написали грамоту, но не хотели именовать в ней Сигизмунда *королем Швеции* под лукавым предлогом, что он не известил ни Феодора, ни Бориса о своем восшествии на трон отцовский: в самом же деле мы пользовались случаем мести за старое упрямство Литвы называть государей российских единственно великими князьями и тем еще давали себе право на благодарность шведского властителя — право входить с ним в договоры как с законным монархом. Тщетно Сапега возражал, требовал, молил, даже *с слезами*, чтобы внести в грамоту весь титул королевский: ее послали к Сигизмунду для утверждения с боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым и с думным дьяком Афанасием Власьевым, которые, невзирая на худое гостеприимство в Литве, успели в главном деле, к чести двора московского. Сигизмунд предводительствовал тогда войском в Ливонии и звал их к се-

бе в Ригу: они сказали: «будем ждать короля в Вильне», — и поставили на своем; в глубокую осень жили несколько времени на берегах Днепра в шатрах; терпели холод и недостаток, но принудили короля ехать для них в Вильну, где начались жаркие прения. Литовские вельможи говорили Салтыкову и Власьеву: «если действительно хотите мира, то признайте нашего короля шведским, а Эстонию собственностию Польши». Салтыков отвечал: «Мир вам, нужнее, нежели нам. Эстония и Ливония собственность России от времен Ярослава Великого; а шведским королевством владеет ныне герцог Карл: царь не дает никому пустых титулов». «...Карл есть изменник и хищник, — возражали паны: Государь ваш перестанет ли называться в титуле *астраханским* или *сибирским*, если какой-нибудь разбойник на время завладеет сими землями? Знатная часть Венгрии ныне в руках султана, но цесарь именуется венгерским, а король испанский иерусалимским». Убеждения остались без действия; но Сигизмунд, целуя крест пред нашими послами (7 января 1602) с обещанием свято хранить договор, примолвил: «Клянуся именем Божиим умереть с моим наследственным титулом короля шведского, не уступать никому Эстонии и в течение сего двадцатилетнего перемирия добывать Нарвы, Ревеля и других городов ее, кем бы они ни были заняты». Тут Салтыков выступил и сказал громко: «Король Сигизмунд! Целуй крест к великому государю Борису Феодоровичу по точным словам грамоты, без всякого прибавления — или клятва не в клятву!» Сигизмунд должен был переговорить свою речь, как требовал боярин и смысл грамоты. Следственно в Москве и в Вильне политика российская одержала верх над литовскою: король уступил, ибо не хотел воевать в одно время и с шведами и с нами; устоял только в отказе величать Бориса именем *царя* и *самодержца*: чего мы требовали и в Москве и в Вильне, но удовольствовались словом, что сей титул, бесспорно, будет дан королем Борису при заключении мира вечного. «Хорошо (говорили паны) и двадцать лет не лить христианской крови: еще лучше успокоить навсегда обе державы. Двадцать лет пройдут скоро; а кто будет тогда государем и в Литве и в России, неизвестно». Заметим еще обстоятельство достопамятное: послы московские, в день своего отпуска пируя во дворце королевском, увидели юного Сигизмундова сына, Владислава, и как бы в предчувствии будущего вызвались целовать у него руку: сей отрок семилетний, коему надлежало в возрасте юноши явиться столь важным действующим лицом в нашей истории, приветствовал их умно

и ласково; встав с места и сняв с себя шляпу, велел кланяться царевичу Феодору и сказать ему, что желает быть с ним в искренней дружбе. Знатный боярин Салтыков и думный дьяк Власьев, который заменил Щелкалова в делах государственных, могли, храня в душе приятное воспоминание о юном Владиславе, вселить во многих россиян добрые мысли о сем, действительно любезном королевиче. — Возвратясь, послы донесли Борису, что он может быть уверен в безопасности и тишине с литовской стороны на долгое время; что король и паны знают, видят силу России, управляемую столь мудрым государем, и конечно не помыслят нарушить договора ни в каком случае, внутренне славя миролюбие царя как особенную милость Божию к их отечеству.

Мы сказали, что правитель Швеции искал союза России: Борис, убеждая герцога не мириться с Сигизмундом, дозволял шведам идти из Финляндии к Дерпту чрез новогородское владение и хотел действовать вместе с ними для изгнания поляков из Ливонии. Королевские чиновники ездили в Москву, наши в Стокгольм с изъявлениями взаимного дружества. В знак чрезвычайного уважения к Борису, герцог тайно спрашивал у него, *исполнить* ли ему волю чинов государственных и назваться ли *королем* шведским? Царь советовал *исполнить* и *немедленно, для истинного блага Швеции*, и тем заслужил живейшую признательность Карлову; советовал искренно, ибо безопасность России требовала, чтобы Литва и Швеция имели разных властителей. Но мы желали Нарвы, и для того хитрый царь (в феврале 1601) объявил шведским послам Карлу Гендрихсону и Георгию Клаусону, бывшим у нас в одно время с литовским канцлером Сапегою, что должно еще снова рассмотреть и торжественно утвердить мирную грамоту 1597 года, писанную от имени Феодорова и Сигизмундова: что она недействительна, ибо Сигизмунд не утвердил ее; что обстоятельства переменились и что сей король готов уступить нам часть Ливонии, если будем помогать ему в войне с герцогом. Послы удивились. «Мы заключили мир (говорили они боярам) не между Феодором и Сигизмундом, а между Швециею и Россиею, до скончания веков, именем Божиим, и добросовестно исполнили условия: отдали Кексгольм вопреки Сигизмундову несогласию. Нет, герцог Карл не поверит, чтобы царь думал нарушить обет, запечатленный целованием креста на святом Евангелии. Если Сигизмунд уступает вам города в Ливонии, то уступает не свое: половина ее завоевана герцогом. И союз с Литвою надежен ли для

царя? Прекратились ли споры о Киеве и Смоленске? Гораздо скорее можно согласить выгоды Швеции и России: главная их выгода есть мирное, доброе соседство. Не сам ли царь убеждал Карла не мириться с Сигизмундом? Мы воюем и берем города: что мешает вам также ополчиться и разделить Ливонию с нами?» Но Борис, с удовольствием видя пламя войны между герцогом и королем, не мыслил в ней участвовать, по крайней мере до времени; заключив перемирие с Литвою, медлил утвердить бескорыстный мир с Карлом; отпустил его послов ни с чем и, тайно склоняя жителей Эстонии изменить шведам, чтобы присоединиться к России, досаждал ему сим непрямодушием — но в то же время искренно доброхотствовал в войне Ливонской: ибо торжество Сигизмундово угрожало нам соединением шведской короны с польскою, а торжество Карлово разделяло их навеки. Борис первый из государей европейских и всех охотнее признал герцога королем Швеции и в сношениях с ним уже давал ему сие имя, когда и сам герцог еще назывался только правителем.

Новая важная связь Борисова с наследственным врагом Швеции могла также беспокоить Карла. Известив соседственных и других венценосцев, императора, Елисавету о своем воцарении, Борис долго медлил оказать сию учтивость королю датскому, Христиану; но с 1601 года началися весьма дружелюбные сношения между ими. В одно время послы Христиановы, Эске-Брок и Карл Бриске, отправились в Москву, а наши, знатный дворянин Ржевский и дьяк Дмитриев в Копенгаген для взаимного приветствия и для разрешения старых, бесконечных споров о кольских и варгавских пустынях. Доказывая, что вся Лапландия принадлежала Норвегии, Христиан ссылался на Историю Саксона Грамматика и даже на Мюнстерову Космографию; говорил еще, что сами россияне издревле называют Лапландию *Мурманскою* или Норвежскою землею; а мы возражали, что она без сомнения наша, ибо в царствование Василия Иоанновича новогородский священник Илия крестил ее диких жителей, и еще утверждали сие право собственности следующею повестию, основанною на предании тамошних старцев: «Жил некогда в Кореле, или Кексгольме, знаменитый *владетель* именем *Валит*, или Варент, данник великого Новагорода, муж необычной храбрости и силы: воевал, побеждал и хотел господствовать над Лопью, или *Мурманскою* землею. Лопари требовали защиты соседственных *норвежских* немцев; но Валит разбил и немцев, там, где ныне *летний* погост *Ва-*

ренгский, и где он, в память векам, положил своими руками огромный камень в вышину более сажени; сделал вокруг его твердую ограду в *двенадцать стен* и назвал ее *Вавилоном*, сей камень и теперь именуется *Валитовым*. Такая же ограда существовала на месте Кольского острога. Известны еще в земле мурманской *губа Валитова* и *городище Валитово* среди острова или высокой скалы, где безопасно отдыхал витязь корельский. Наконец побежденные немцы заключили с ним мир, отдав ему всю Лопь до реки Ивгея. Долго славный и счастливый, Валит, именем христианским Василий, умер и схоронен в Кексгольме в церкви Спаса; лопари же с того времени платили дань Новугороду и царям московским». Сии исторические доводы с обеих сторон были не весьма убедительны, и датчане в знак миролюбия желали разделить Лапландию с нами вдоль или поперек на две равные части; а Борис, из любви к Христиану, уступал ему все земли за монастырем Печенским к северу, предоставляя датским и российским чиновникам на будущем съезде близ Колы означить границы обеих держав. Между тем возобновили договор о свободной торговле датских купцов в России; условились и в деле важнейшем.

Борис искал достойного жениха для прелестной царевны между европейскими принцами державного племени, чтобы таким союзом возвысить блеск своего Дому в глазах бояр и князей российских, которые еще недавно видели Годуновых ниже себя: не успев в намерении отдать руку дочери вместе с Ливониею Густаву, сей нежный родитель и хитрый политик надеялся доставить счастие Ксении и выгоды государству супружеством ее с герцогом Иоанном, братом Христиановым, юношею умным и приятным, который, подобно Густаву, мог служить орудием наших властолюбивых замыслов на Эстонию, бывшую собственность Дании. Царь предложил, и король, не устрашенный судьбою Магнуса, обрадовался чести быть сватом знаменитого самодержца московского, в надежде его усердным вспоможением осилить враждебную Швецию. К сожалению, любопытные бумаги о сем сватовстве утратились: не знаем условий о Вере, о приданом, ни других взаимных обязательств; но знаем, что Иоанн согласился жертвовать Ксении отечеством и быть удельным князем в России: не для того ли, чтобы в случае возможного несчастия, преждевременной кончины юного царевича трон московский имел наследников в семействе Борисовом? о чем, вероятно, думал царь дальновидный, с горячностию любя сына, но любя и мысль о непрерывном наследстве короны, в течение веков,

для своего рода. Жених воевал тогда в Нидерландах под знаменами Испании: спешил возвратиться, сел на адмиральский корабль и вместе с пятью другими приплыл (10 августа 1602) к устью Наровы. Там ожидала гостя ладия царская, устланная бархатом — и как скоро герцог ступил на землю русскую, загремели пушки: боярин Михайло Глебович Салтыков и думный дьяк Власьев приветствовали его именем царя, — ввели в богатый шатер и поднесли ему 80 драгоценнейших соболей. В карете, блистающей золотом и серебром, Иоанн ехал в Иваньгород мимо Нарвы, где развевались знамена, на башнях и стенах, усеянных любопытными зрителями: так приветствовали его и шведы, внутренне опасаясь сего путешествия, коего цель они уже знали или угадывали.

Гораздо искреннее честили герцога в России. С ним были послы Христиановы, три сенатора (Гильденстерн, Браге и Гольк), восемь знатных сановников, несколько дворян, два медика, множество слуг: на каждом стане, в самых бедных деревнях, угощали их как бы во дворце московском; за обедом играла музыка. В городах стреляли из пушек; войско стояло в ружье и чиновники за чиновниками представлялись *светлейшему королевичу*. Ехали медленно, в день не более тридцати верст, чрез Новгород, Валдай, Торжок и Старицу. Путешественник не скучал; в часы роздыха гулял верхом или по рекам на лодках; забавлялся охотою, стрелял птиц; беседовал с боярином Салтыковым и дьяком Власьевым о России, желая знать ее государственные уставы и народные обыкновения. Послы Христиановы советовали ему не вдруг перенимать наши обычаи и держаться еще немецких; «еду к царю (говорил он) за тем, чтобы навыкать всему русскому». Будучи 1 сентября в Бронницах, Иоанн сказал Салтыкову: «Я знаю, что в сей день вы празднуете новый год; что духовенство, синклит и двор ныне торжественно желают многолетия государю: еще не имею счастия видеть его лицо, но также усердно молюся, да здравствует», — спросил вина и стоя пил *царские чаши* вместе с московскими сановниками и датскими послами. Одним словом, Иоанн хотел любви Борисовой и любви россиян. Салтыков и Власьев писали к царю о здоровье и веселом нраве королевича; уведомляли обо всем, что он говорил и делал: даже о нарядах, о цвете его атласных кафтанов, украшенных золотыми или серебряными кружевами! Царь требовал сих подробностей — и высылал новые дары путешественнику: богатые ткани азиятские, шапки, низанные жемчугом, поясы и кушаки драгоценные, золотые

цепи, сабли с бирюзою и с яхонтами. Наконец Иоанн изъявил нетерпение быть в Москве: ему ответствовали, что государь боялся спешною ездою утомить его — и поехали скорее. 18 сентября ночевали в Тушине, а 19 приближились к столице.

Не только воины и люди сановные, от членов синклита до приказных дьяков, но и граждане встретили герцога в поле. Выслушав ласковую речь бояр, он сел на коня и ехал Москвою при звуке огромного Кремлевского колокола с датскими и российскими чиновниками. Ему отвели в Китае-городе лучший дом — и на другой день прислали обед царский: сто тяжелых золотых блюд с яствами, множество кубков и чаш с винами и медами. 28 сентября было торжественное представление. От дому Иоаннова до Красного крыльца стояли богато одетые воины; на площади Кремлевской граждане, немцы, литва, также в лучшем наряде. У крыльца встретили Иоанна князья Трубецкой и Черкасский, на лестнице Василий Шуйский и Голицын, в сенях первый вельможа Мстиславский с окольничими и дьяками. Царь и царевич были в золотой палате, в бархатных порфирах, унизанных крупным жемчугом; в их коронах и на груди сияли алмазы и яхонты величины необыкновенной. Увидев герцога, Борис и Феодор встали, обняли его с нежностию, сели с ним рядом и долго беседовали в присутствии вельмож и царедворцев. Все смотрели на юного Иоанна с любовию, пленяясь его красотою: Борис уже видел в нем будущего сына. Обедали в Грановитой палате: царь сидел на золотом троне, за серебряным столом, под висящею над ним короною с боевыми часами между Феодором и герцогом, уже причисленным к их семейству. Угощение заключилось дарами: Борис и Феодор сняли с себя алмазные цепи и надели на шею Иоанну; а царедворцы поднесли ему два ковша золотые, украшенные яхонтами, несколько серебряных сосудов, драгоценных тканей, английских сукон, сибирских мехов и три одежды русские. Но жених не видал Ксении, веря только слуху о прелестях ее, любезных свойствах, достоинствах, и не обманываясь. Современники пишут, что она была среднего роста, полна телом и стройна; имела белизну *млечную*, волосы черные, густые и длинные, *трубами лежащие* на плечах, — лицо свежее, румяное, брови *союзные*[1], глаза большие, черные, светлые, красоты несказанной, особенно, когда блистали в них слезы умиления и жалости; не менее

---

[1] Союзные брови — сросшиеся брови.

пленяла и душою, кротостию, *благоречием*, умом и вкусом образованным, любя книги и сладкие песни духовные. Строгий обычай не дозволял показывать и *такой* невесты прежде времени; сама же Ксения и царица могли видеть Иоанна скрытно, издали, как думали его спутники. Обручение и свадьбу отложили до зимы, готовясь к тому, вместо пиров, молитвою: родители, невеста и брат ее поехали в лавру Троицкую... О сем пышном выезде царского семейства очевидцы говорят так:

«Впереди 600 всадников и 25 заводных коней, блистающих убранством, серебром и золотом; за ними две кареты: пустая царевичева, обитая алым сукном, и другая, обитая бархатом, где сидел государь: обе в 6 лошадей; первую окружали всадники, вторую пешие царедворцы. Далее ехал верхом юный Феодор; коня его вели знатные чиновники. Позади бояре и придворные. Многие люди бежали за царем, держа на голове бумагу: у них взяли сии челобитные и вложили в красный ящик, чтобы представить государю. Чрез полчаса выехала царица в великолепной карете; в другой, со всех сторон закрытой, сидела царевна: первую везли десять белых коней, вторую восемь. Впереди 40 заводных лошадей и дружина всадников, мужей престарелых, с длинными седыми бородами; сзади 24 боярыни на белых конях. Вокруг шли 300 приставов с жезлами».—Там, в обители тишины и святости, Борис с супругою и с детьми девять дней молился над гробом Св. Сергия, да благословит Небо союз Ксении с Иоанном.

Между тем жениха ежедневно честили царскими обедами в его доме; присылали ему бархаты, объяри, кружева для *русской одежды*, прислали и богатую постелю, белье, шитое серебром и золотом. Он с ревностию хотел учиться нашему языку и даже переменить Веру, как пишут, чтобы исповедовать одну с будущею супругою; вообще вел себя благоразумно и всем нравился любезностию в обхождении. Но чего искренно желали и россияне и датчане — о чем молились родители и невеста—то не было угодно Провидению... На возвратном пути из лавры, 16 октября, в селе Братовщине государь узнал о незапной болезни жениха. Иоанн еще мог писать к нему и прислал своего чиновника, чтобы его успокоить. Недуг усиливался беспрестанно: открылась жестокая горячка; но медики, датские и Борисовы, не теряли надежды: царь заклинал их употребить все искусство, обещая им неслыханные милости и награды. 19 октября посетил Иоанна юный Феодор, 27 сам государь вместе с патриархом и боярами; увидел его слабого,

безгласного; ужаснулся и с гневом винил тех, которые таили от него опасность. На другой день, ввечеру, он нашел герцога уже при смерти; плакал, крушился; говорил: «Юноша несчастный! Ты оставил мать, родных, отечество и приехал ко мне, чтобы умереть безвременно!» Еще желая надеяться, государь дал клятву освободить 4000 узников в случае Иоаннова выздоровления и просил датчан молиться Богу с усердием. Но в 6 часов сего же вечера, 28 октября, пресеклись цветущие дни Иоанновы на двадцатом году жизни... Не только семейство царское, датчане, немцы, но и весь двор, все жители столицы были в горести. Сам Борис пришел к Ксении и сказал ей: «любезная дочь! твое счастие и мое утешение погибло!» Она упала без чувства к ногам его... Велели оказать всю должную честь умершему. Отворили казну царскую для бедных вдов и сирот; питали нищих в доме, где скончался Иоанн; к телу приставили знатных чиновников; запретили его анатомить и вложили в деревянную гробницу, наполненную ароматами, а после в медную, и еще в дубовую, обитую черным бархатом и серебром, с изображением креста в средине и с латинскою надписью о достоинствах умершего, о благоволении к нему царя и народа российского, об их печали неутешной. В день погребения, 25 ноября, Борис простился с телом, обливаясь слезами, и ехал за ним в санях Китаем-городом до Белого. Гроб везли на колеснице, под тремя черными знаменами, с гербом Дании, мекленбургским и голштейнским; на обеих сторонах шли воины царской дружины, опустив вниз острие своих копий; за колесницею бояре, сановники и граждане — до слободы Немецкой, где в новой церкви Аугсбургского исповедания схоронили тело Иоанново в присутствии московских вельмож, которые плакали вместе с датчанами, хотя и не разумели умилительной надгробной речи, в коей герцогов пастор благодарил их за сию чувствительность...

Вероятно ли сказание нашего летописца, что Борис внутренне не жалел о смерти Иоанна, будто бы завидуя общей к нему любви россиян и страшася оставить в нем совместника для юного Феодора; что медики, узнав тайную мысль царя, не смели излечить больного? Но царь хотел, чтобы россияне любили его нареченного зятя: для того советовал ему быть приветливым и следовать нашим обычаям; хотел без сомнения и счастия Ксении; давал сим браком новый блеск, новую твердость своему дому, и не мог переменить мыслей в три недели: устрашиться, чего желал; видеть, чего не предвидел, и вверить столь гнусную тайну зла

придворным врачам-иноземцам, коих он, по смерти Иоанновой, долго не пускал к себе на глаза, и которые лечили герцога вместе с его собственными, датскими врачами. Свидетели сей болезни, чиновники Христианова двора, издали в свет ее верное описание, доказывая, что все способы искусства, хотя и без успеха, были употреблены для спасения Иоаннова. Нет, Борис крушился тогда без лицемерия и чувствовал, может быть, казнь Небесную в совести, готовив счастие для милой дочери и видя ее вдовою в невестах; отвергнул украшения царские, надел ризу печали и долго изъявлял глубокое уныние... Все, чем дарили герцога, было послано в Копенгаген; всех Иоанновых спутников отпустили туда с новыми щедрыми дарами; не забыли и последнего из служителей. Борис писал к Христиану, что Россия остается в неразрывном дружестве с Даниею; оно действительно не разорвалося, как бы утверждаемое для обоих государств печальным воспоминанием о судьбе юного герцога, коего тело было перевезено в Рошильд, долго лежав под сводом московской лютеранской церкви. В честь Иоанновой памяти Борис дал колокола сей церкви и дозволил звонить в них по дням воскресным.

Но печаль не мешала Борису ни заниматься делами государственными с обыкновенною ревностию, ни думать о другом женихе для Ксении: около 1604 года послы наши снова были в Дании и содействием Христиановым условились с герцогом шлезвигским Иоанном, чтобы один из его сыновей, Филипп, ехал в Москву жениться на царевне и быть там удельным князем. Сие условие не исполнилось единственно от тогдашних бедственных обстоятельств нашего отечества.

Сношения России с Австриею были, как и в Феодорово время, весьма дружелюбны и не бесплодны. Думный дьяк Власьев (в июне 1599 года), посланный к императору с известием о Борисовом воцарении, сел на лондонский корабль в устье Двины и вышел на берег в Германии: там, в Любеке и в Гамбурге, знатнейшие граждане встретили его с великою ласкою, с пушечною стрельбою и музыкою, славя уже известную милость Борисову к немцам и надеясь пользоваться новыми выгодами торговли в России. Рудольф, изгнанный моровым поветрием из Праги, жил тогда в Пильзене, где Власьев имел переговоры с австрийскими министрами, уверяя их, что наше войско уже шло на турков, но что Сигизмунд заградил оному в литовских владениях путь к Дунаю; что царь, как истинный брат христианских монархов и веч-

ный недруг оттоманов, убеждает шаха и многих иных князей *азийских* действовать усильно против султана и готов самолично идти на крымцев, если они будут помогать туркам; что мы непрестанно внушаем литовским панам утвердить союз с императором и с нами возведением Максимилиана на трон Ягеллонов; что миролюбивый Борис не усомнится даже и воевать для достижения сей цели, если император когда-нибудь решится отмстить Сигизмунду за бесчестие своего брата. Рудольф изъявил благодарность, но требовал от нас не людей, а золота для войны с Магометом III, желая только, чтобы мы смирили хана. «Император, — говорили его министры, — любя царя, не хочет, чтобы он подвергал себя опасности *личной* в битвах с варварами: у вас много воевод мужественных, которые легко могут и без царя унять крымцев: вот главное дело! Если угодно Небу, то корона польская, при добром содействии великодушного царя, не уйдет от Максимилиана; но теперь не время умножать число врагов». И мы, конечно, не думали действовать мечом для возведения Максимилиана на трон польский: ибо Сигизмунд, уже враг Швеции, был для нас не опаснее австрийского князя в венце Ягеллонов; не думали, вопреки уверениям Власьева, ратоборствовать и с султаном без необходимости: но предвидя оную—зная, что Магомет злобится на Россию и действительно велит хану опустошать ее владения — Борис усердно доброхотствовал Австрии в войне с сим недругом христианства. От 1598 до 1604 года были у нас разные австрийские чиновники и знатный посол барон Логау; а думный дьяк Власьев вторично ездил к императору в 1603 году. Не имеем сведений об их переговорах; известно только, что царь вспомогал казною Рудольфу, удерживал Казы-Гирея от новых впадений в Венгрию и старался утвердить дружество между императором и шахом персидским, к коему ездили австрийские посланники чрез Москву и который славно мужествовал тогда против оттоманов. Но знаменитый Аббас, ласково поздравив Бориса царем, изъявляя готовность заключить с ним тесный союз, а *для него* и с императором — отправив (в 1600 году) посланника Исеналея чрез Колмогоры в Австрию, в Рим, к королю испанскому — и в знак особенной любви прислав к своему *брату московскому* с вельможею Лачин-Беком (в августе 1603 года) *златой трон древних государей персидских*, вдруг оказался нашим недругом за бедную Грузию: не спорив с Феодором, не споря с Борисом о праве именоваться ее верховным государем, хотел

также бесспорно властвовать над нею и стиснул ее, как слабую жертву, в своих руках кровавых.

Царь Александр не преставал жаловаться в Москве на бедственную долю Иверии. Послы его так говорили боярам: «Мы плакали от неверных и для того отдалися головами царю православному, да защитит нас; но плачем и ныне. Наши домы, церкви и монастыри в развалинах, семейства в плену, рамена[1] под игом. То ли вы нам обещали? И неверные смеются над христианами, спрашивая: где же щит царя Белого? где ваш заступник?» Борис велел напомнить им о походе князя Хворостинина, с коим должно было соединиться их войско и не соединилось, однако ж послал в Иверию [в 1601 г.] двух сановников, Нащокина и Леонтьева, узнать все обстоятельства на месте и с терскими воеводами условиться в мерах для ее защиты. Там сделалась перемена. Во время тяжкой болезни Александровой сын его, Давид, объявил себя властителем: отец выздоровел, но сын уже не хотел возвратить ему знаков державства: *царской хоругви, шапки и сабли с поясом*. Сего мало: он злодейски умертвил всех ближних людей Александровых. Тогда несчастный отец, прибежав раздетый и босой в церковь, рыдая, захлипаясь от слез, всенародно предал сына анафеме и гневу Божию, который действительно постиг изверга: Давид в незапной, мучительной болезни испустил дух, и посланники наши возвратились с известием, что Александр снова царствует в Иверии, но не достоин милости государевой, будучи усердным рабом султана и дерзая укорять Бориса алчностию к дарам. «Мне ли,— сказал царь с негодованием,— мне ли прельщаться дарами нищих, когда могу всю Иверию *наполнить серебром и засыпать золотом*?» Он не хотел было видеть нового посла иверского, архимандрита Кирилла; но сей умный старец ясно доказал, что Нащокин и Леонтьев оклеветали Александра; сделал еще более: умолил государя не казнить их и дал ему мысль для будущего верного соединения Грузии с Россиею, построить каменную крепость в Тарках, месте неприступном, изобильном и красивом — другую на Тузлуке, где большое озеро соляное, много серы и селитры — а третью на реке Буйнаке, где некогда существовал город, будто бы Александром Македонским основанный и где еще стояли древние башни среди садов виноградных.

[1] Рамена — плечи.

Для сего предприятия немаловажного государь избрал двух знатных воевод, окольничих Бутурлина и Плещеева, которые должны были, взяв полки в Казани и в Астрахани, действовать вместе с терскими воеводами и ждать к себе вспомогательной рати иверской, клятвенно обещанной послом от имени Александра. Не теряли времени и не жалели денег, выдав из казны не менее трехсот тысяч рублей на издержки похода столь отдаленного и трудного. Войско, довольно многочисленное, выступило с берегов Терека (в 1604 году) к Каспийскому морю и видело единственно тыл неприятеля. Шавкал, уже старец ветхий, лишенный зрения, бежал в ущелья Кавказа, и россияне заняли Тарки. Нельзя было найти лучшего места для строения крепости: с трех сторон высокие скалы могли служить ей вместо твердых стен; надлежало укрепить только отлогий скат к морю, покрытый лесом, садами и нивами; в горах били ключи и наделяли жителей, посредством многих труб, свежею водою. Там, на высоте, где стоял дворец шавкалов с двумя башнями, россияне немедленно начали строить стену, имея все для того нужное: лес, камень, известь; назвали Тарки *Новым городом*; заложили крепость и на Тузлукс. Одни работали, другие воевали, до Андрии, или Эндрена, и Теплых вод, не встречая важного сопротивления; пленили людей в селениях, брали хлеб, отгоняли табуны и стада, но боялись недостатка в съестных припасах: для того в глубокую осень Бутурлин послал тысяч пять воинов зимовать в Астрахань; к счастию, они шли бережно: ибо сыновья шавкаловы и кумыки ждали их в пустынях, напали смело, сражались мужественно, целый день, а ночью бежали, оставив на месте 3000 убитых. О сем кровопролитном деле писали воеводы в Москву и к царю иверскому, ожидая его войска по крайней мере к весне, чтобы очистить все горы от неприятеля, совершенно овладеть Дагестаном и беспрепятственно строить в нем новые крепости. Но не было слуха о вспомогательной рати, ни вестей из несчастной Грузии. Александр уже не обманывал России: он погиб, и за нас!

Государь, отпустив Кирилла (в мае 1604) из Москвы, вместе с ним послал дворянина *Ближней Думы* Михаила Татищева, во-первых, для утверждения Грузии в нашем подданстве, во-вторых, и для семейственного дела, еще тайного. Сей сановник (в августе 1604) не нашел царя в Загеме: Александр был у шаха, который строго велел ему явиться с войском в стан персидский, не взирая на имя российского данника и не страшася оскорбить тем друга

своего, Бориса. Сын Александров, Юрий, принял Татищева не только ласково, но и раболепно; славил величие московского царя и плакал о бедном отечестве. «Никогда (говорил он) Иверия не бедствовала ужаснее нынешнего: стоим под ножами султана и шаха; оба хотят нашей крови и всего, что имеем. Мы отдали себя России: пусть же Россия возьмет нас не словом, а делом! Нет времени медлить: скоро некому будет здесь целовать креста в бесполезной верности к ее самодержцу. Он мог бы спасти нас. Турки, персияне, кумыки силою к нам врываются; а вас зовем добровольно: придите и спасите! Ты видишь Иверию, ее скалы, ущелья, дебри: если поставите здесь твердыни и введете в них войско русское, то будем истинно ваши, и целы, и не убоимся ни шаха, ни султана». Сведав, что турки идут к Загему, Юрий убеждал Татищева дать ему своих стрельцов для битвы с ними: умный посол долго колебался, опасаясь без указа царского как бы объявить войну султану; наконец решился удостоверить тем Иверию в действительном праве Борисовом именоваться ее верховным государем и дал Юрию сорок московских воинов, которые присоединились к пяти или шести тысячам грузинских, с доблим сотником Михаилом Семовским; пошли впереди (7 октября) и встретили турков сильным залпом. Сей первый звук нашего оружия в пустынях иверских изумил неприятеля: густая передовая толпа его вдруг стала реже; он увидел новый строй, новых воинов; узнал россиян и дрогнул, не зная их малого числа. Юрий с своими ударил мужественно и более гнал, нежели сражался: ибо турки бежали не оглядываясь. Казалось, что в сей день воскресла древняя слава Иверии: ее воины взяли четыре хоругви султанские и множество пленников. В следующий день Юрий одержал победу над хищными кумыками, явил народу трофеи, уже давно ему неизвестные, и всю честь приписал сподвижникам, горсти россиян, славя их как Героев.

Наконец Александр возвратился из Персии с сыном Константином, принявшим там магометанскую Веру, как мы сказали. Аббас, самовластно располагая Иверией, велел Константину собрать ее людей воинских, всех без остатка, и немедленно идти к Шамахе; дал ему 2000 своих лучших ратников, несколько ханов и князей; дал и тайное повеление, отгаданное умным Татищевым, который бесполезно остерегал Александра и Юрия, говоря, что дружина персидская для них еще опаснее, нежели для турков; что Константин, изменив Богу христианскому, может изменить и свя-

тым узам родства. Они не смели изъявить подозрения, чтобы не разгневать могущественного шаха; исполняли его указ, собирали войско и предали себя убийцам. Готовясь ехать на обед к Александру (12 марта), Татищев вдруг слышит стрельбу во дворце, крик, шум битвы; посылает своего толмача узнать, что делается — и толмач, входя во дворец, видит персидских воинов с обнаженными саблями, на земле кровь, трупы и две отсеченные головы, лежащие пред Константином: головы отца его и брата! Константин-мусульманин, уже объявленный царем Иверии христианской, приказал к Татищеву, что Александр убит нечаянно, а Юрий достойно, как изменник шахов и государя московского, друг и слуга ненавистных турков; что сия казнь не переменяет отношений Иверии к России; что он, исполняя волю великого Аббаса, брата и союзника Борисова, готов во всем усердствовать царю христианскому. Но Татищев уже сведал истину от вельмож грузинских. Долго терпев связь Александрову с Россиею, в надежде на содействие царя в войне с оттоманами, Аббас, уже победитель, не захотел более терпеть нашего, хотя и мнимого господства в земле, которая считалась достоянием его предков. Он вразумился в систему политики Борисовой; увидел, что мы, радуясь кровопролитию между им и султаном, для себя избегаем оного; велел сыну убить отца, будто бы за приверженность к туркам, но в самом деле за подданство России, дерзкое и безрассудное для несчастного Александра, который исканием дальнего, неверного заступника раздражал двух ближних утеснителей. Будучи только орудием Аббасовой мести и плакав всю ночь пред совершением гнусного отцеубийства, Константин уверял Борисова посла, что шах не имел в том участия. «Родитель мой (говорил он) сделался жертвою междоусобия сыновей: несчастие весьма обыкновенное в нашей земле! Сам Александр извел отца своего, убил и брата: я тоже сделал, *не зная, к добру ли, к худу ли* для света. По крайней мере буду верным моему слову и заслужу милость государя российского лучше Александра и Юрия; благодарен ему за крепости, основанные им в земле шавкаловой, и скоро пришлю в Москву богатые дары». Татищев хотел не ковров и не тканей, а подданства; требовал от него клятвы в верности к России и доказывал, что царем Иверии может быть единственно христианин. Константин отвечал, что до времени останется мусульманином и подданным шаховым, но будет защитником христианства и другом России — прибавив: «где твердый ваш *хребет*, на который мы в случае нужды могли бы

опереться?» С сим Татищев должен был выехать из Загема, торжественно объявив, что Борис не уступает Иверии шаху и что Аббас, самовластно казнив Александра рукою Константина, нарушил счастливое дружество, которое дотоле существовало между Персиею и Россиею. Одним словом, мы лишились царства: то есть права называть его своим; но Татищев, не выезжая из Грузии, нашел другое царство для титула Борисова!

Видя юного Феодора уже близкого к совершенному возрасту и снова предложив руку дочери датскому принцу, но желая на всякий случай иметь для нее и другого мужа в готовности, Борис искал вдруг и невесты и жениха в отечестве славной Тамари, знаменитой супруги Георгия Андреевича Боголюбского. Посол Александров, Кирилл, хвалил нашим боярам красоту иверского царевича, Давидова сына, Теймураса, и княжны или царевны карталинской, Елены, внуки Симеоновой: Татищеву велено было видеть их; он не нашел Теймураса, отданного шаху в аманаты, и поехал в Карталинию видеть семейство ее владетеля. Сия область древней Иверии, менее подверженная набегам дагестанских кумыков, представляла и менее развалин, нежели восточная Грузия или Кахетия. Там господствовал отец Еленин, князь Юрий, после Симеона, взятого в плен турками: он имел своих князей присяжников (сонского и других), многочисленных *царедворцев*, бояр и *святителей*, угостил Татищева в шатрах и с изъявлением благодарности выслушал его предложения: первое, чтобы Юрий поддался России; второе, чтобы отпустил с ним в Москву Елену и ближнего родственника своего, юного князя Хоздроя, если они имеют все достоинства, нужные для чести вступить в семейство Борисово. «Сия честь велика,— сказал усердный посол: — император и короли шведский, датский, французский искали ее ревностно». Судьба Александрова ужасала Юрия; но Татищев возражал, что сей несчастный погубил себя криводушием, хотев служить вместе царям верному и неверному, к досаде обоих. «Желая угодить Аббасу (говорил он), Александр не дал нам войска, чтобы истребить шавкала; оставил сына в Персии и дозволил ему быть магометанином, то есть острить нож на отца и христианство; сослал туда и внука, узнав о намерении государя выдать за него царевну Ксению: ибо страшился, чтобы Теймурас не взял Грузии в приданое за царевною; но мог ли великий царь наш разлучиться с нею для бедного престола загемского, имея у себя многие знаменитейшие княжества, в удел милому зятю? Александр

пал, ибо *не прямил* России и не стоил ее сильного вспоможения». Сорок московских стрельцов спасли Загем: Татищев обязался немедленно прислать в Карталинию из Терской крепости 150 храбрейших воинов, как передовую дружину, для безопасности будущего свата Борисова — и Юрий с обрядами священными назвал себя российским данником. Тем более желая родственного союза с царем, он представил на суд Татищеву жениха и невесту, сказав: «Отдаюсь России и с царством и с душою. Князь Хоздрой воспитан моею матерью вместе со мною и служит мне правою рукою в делах ратных; когда он в поле, тогда могу быть спокоен дома. Детей у меня двое: сын мое око, а дочь сердце: веселюсь ими и в бедствиях нашего отечества; но не стою за Елену, когда так угодно Богу и государю российскому». В донесении царю о женихе и невесте Татищев пишет: «Хоздрою 23 года от рождения; он высок и строен; лицо у него красиво и чисто, но смугло; глаза светлые карие, нос с горбиною, волосы темнорусые, ус тонкий; бороду уже бреет; в разговорах умен и речист; знает язык турецкий и грамоту иверскую; одним словом, хорош, но не отличен; вероятно, что полюбится, но не верно... Елену видел я в шатре у царицы: она сидела между матерью и бабкою на золотом ковре и жемчужном изголовье, в бархатной одежде с кружевами, в шапке, украшенной каменьями драгоценными. Отец велел ей встать, снять с себя верхнюю одежду и шапку: вымерил ее рост деревцом и подал мне сию мерку, чтобы сличить с данною от государя. Елена прелестна, но не чрезвычайно: бела и еще несколько белится; глаза у нее черные, нос небольшой, волосы *крашеные*, станом пряма, но слишком тонка от молодости: ибо ей только 10 лет; и в лице не довольно полна. Старший брат Еленин гораздо благовиднее». Татищев хотел везти в Москву невесту и жениха, говоря, что первая будет жить до совершенных лет у царицы Марии, учиться языку и навыкать обычаям русским. Отпустив с ним Хоздроя, Юрий удержал Елену до нового посольства царского и тем избавил себя от слез разлуки бесполезной: ибо Елена уже не нашла бы в Москве своего жениха злосчастного! Татищев должен был оставить и Хоздроя для его безопасности в земле Сонской, узнав, что случилось в Дагестане, где турки отмстили нам с лихвою за геройство московских стрельцов в Иверии и где в несколько дней мы лишились всего, кроме доброго имени воинского!

Отношения России к Константинополю были странны: турки в Иоанново время без объявления войны приступали к Астраха-

ни, а в Феодорово и к самой Москве под знаменами Крыма; а цари еще уверяли султанов в дружелюбии, удивляясь сим неприятельским действиям как ошибке или недоразумению. Утесненный нами шавкал, тщетно ожидав вспоможения от Аббаса, искал защиты Магомета III, который велел дербентскому и другим пашам своим в областях Каспийских изгнать россиян из Дагестана. Турки соединились с кумыками, лезгинцами, аварами и весною в 1605 году подступили к Койсе, где начальствовал князь Владимир Долгорукий, имея мало воинов: ибо полки, ушедшие зимовать в Астрахань, еще не возвратились. Долгорукий зажег крепость, сел на суда и морем приплыл в городок Терский; а паши осадили Бутурлина в Тарках. Сей воевода, уже старец летами, славился доблестию: худо ограждаемый стеною, еще недостроенною, он терял много людей, но отразил несколько приступов. Часть стены разрушилась, и каменная башня, подорванная осаждающими, взлетела на воздух с лучшею дружиною московских стрельцов. Бутурлин еще мужествовал, однако ж видел невозможность спасти город, слушал предложения султанских чиновников, колебался и наконец, вопреки мнению своих товарищей, решился спасти хотя одно войско. Главный паша сам был у него в ставке, пировал и клялся ему выпустить россиян с честию, с доспехами и наделить всеми нужными запасами. Но вероломные кумыки, дав нашим свободный путь из крепости до степи, вдруг окружили их и начали страшное кровопролитие. Пишут, что добрые россияне единодушно обрекли себя на славную гибель; бились с неприятелем злым и многочисленным врукопашь, человек с человеком, один с тремя, боясь не смерти, а плена. Из первых, в глазах отца, пал сын главного начальника, Бутурлина, прекрасный юноша; за ним его старец-родитель; также и воевода Плещеев с двумя сыновьями, воевода Полев, и все, кроме тяжелоуязвленного князя Владимира Бахтеярова и других немногих, взятых замертво неприятелем, но после освобожденных султаном. Сия битва несчастная, хотя и славная для побежденных, стоила нам от шести до семи тысяч воинов, и на 118 лет изгладила следы российского владения в Дагестане.

Татищев возвратился уже в новое царствование, и Борис, не имев времени узнать о возведении отцеубийцы-мусульманина на престол Иверии, до конца дней своих был другом Аббасу, как врагу явного, опасного врага нашего, султана, против коего мы ревностно возбуждали тогда и Азию и Европу.

В самых переговорах с Англиею Борис изъявлял желание, чтобы все христианские державы единодушно восстали на Оттоманскую. «Не только послы императора и римские, — писал он к Елисавете, — но и другие иноземные путешественники уверяли нас, что ты будто бы в тесной связи с султаном: мы дивились и не верили. Нет, ты не будешь никогда дружить злодеям христианства, и конечно пристанешь к общему союзу государей европейских, чтобы унизить высокую руку неверных: цель достойная тебя и всех нас!» Но Елисавета имела в виду только выгоды своего купечества и для того ласкала самолюбию царя знаками чрезвычайного к нему уважения. Посланника нашего, дворянина Микулина, встретили в Лондоне с необыкновенною честию: в гавани и в крепости стреляли из пушек, когда он (18 сент[ября] 1600) плыл Темзою и ехал городом в Елисаветиной карете, провождаемой тремястами чиновных всадников, алдерманами[1], купцами в богатом наряде, в золотых цепях. Улицы были тесны для множества зрителей. Знаменитому гостю в одном из лучших домов Лондона служили королевины люди: Елисавета прислала ему из своей казны блюда, чаши и кубки серебряные. Угадывали и спешили исполнять его желания: но он вел себя умно и скромно: за все благодарил и ничего не требовал. Представление было в Ричмонде (14 октября): Елисавета встала с места и несколько шагов ступила навстречу посланнику; славила воцарение Бориса, своего *брата сердечного, издавна милостивого к англичанам*, говорила, что *ежедневно молится о нем Богу*; что имеет друзей между государями европейскими, но никого из них не любит столь вседушно, как самодержца российского; что одно из ее главных удовольствий есть исполнять его волю. Микулин обедал у королевы и только один сидел с нею: лорды и знатные чиновники не садились; она стоя пила *чашу Борисову*. Приглашаемый быть зрителем всего любопытного, посланник наш видел рыцарские игры в день восшествия на престол Елисаветы, праздник орденский Св. Георгия, богослужение в церкви Св. Павла и торжественный въезд королевы в Лондон ночью, при свете факелов и звуке труб, со всеми перами и царедворцами, среди бесчисленного множества граждан, исполненных усердия и любви к своей монархине. Елисавета везде благодарила Микулина за его присутствие и в ласковых с ним беседах никогда не забывала хвалить Бориса и россиян. Плененный ее милостями, сей посланник

---

[1] Алдерман — олдермен, старейшина.

имел случай оказать ей свое усердие. В день ужасный для Лондона (18 февраля 1601), когда несчастный Эссекс, дерзнув объявить себя мятежником, с пятьюстами преданных ему людей шел овладеть крепостию — когда все улицы, замкнутые цепями, наполнились воинами и гражданами в доспехах — Микулин вместе с верными англичанами вооружился для спасения Елисаветы, как сама она, утишив бунт, писала к царю, славя доблесть его сановника.— Одним словом, сие посольство утвердило личное дружество между Борисом и королевою. Хотя Елисавета, будучи врагом Испании и Австрии, не могла принять мысли Борисовой о новом крестовом походе или союзе всех держав христианских для изгнания турков из Европы, но удостоверила его в том, что никогда не мыслила о вспоможении султану и что ревностно желает успеха христианскому оружию. Царь имел и другое сомнение: он слышал, что Англия благоприятствует Сигизмунду в войне с шведским правителем; но Елисавета старалась доказать ему, что и Вера и политика предписывают ей усердствовать Карлу. Довольный сими объяснениями, Борис дал новую жалованную грамоту англичанам для свободной, беспошлинной торговли в России, с особенным благоволением приняв посланника Елисаветина, Ричарда Ли, коего главным делом было уверить царя в ее дружбе и величать его добродетели. «Вселенная полна славы твоей,— писал к нему Ли, выезжая из России,—ибо ты, сильнейший из монархов, доволен своим, не желая чужого. Враги хотят быть с тобою в мире от страха, а друзья в союзе от любви и доверенности. Когда бы все христианские венценосцы мыслили подобно тебе, тогда бы царствовала тишина в Европе, и ни султан, ни папа не могли бы возмутить ее спокойствия». Узнав, что Борис имеет намерение женить сына, королева (в 1603 году) предлагала ему руку знатной одиннадцатилетней англичанки, украшенной редкими прелестями и достоинствами; вызывалась немедленно прислать живописное изображение сей и других красавиц лондонских и желала, чтобы царь до того времени не искал другой супруги для юного Феодора. Но Борис хотел прежде знать, кто невеста, и родня ли королеве, уверяя, что многие великие государи требуют чести соединить браком детей своих с его семейством. Кончина Елисаветы, столь знаменитой в летописях британских, достопамятной и в нашей истории долговременною приязнию к России, устранила дело о сватовстве, не прервав дружественной связи между Англиею и царем. Новый король, Иаков I, не замедлил известить Бориса о соединении Шотландии с Англиею и

14 Зак. № 40

писал: «наследовав престол моей тетки, желаю наследовать и твою к ней любовь». Посол Иакова, Фома Смит, (в октябре 1604) представив Борису в дар великолепную карету и несколько сосудов серебряных, сказал ему, что «король английский и шотландский, сильный воинством, морским и сухопутным, еще сильнейший любовию народною, только одного московского венценосца просит о дружбе: ибо все иные государи европейские сами ищут в Иакове; что он имеет двоякое право на сию дружбу, требуя оной в память великой Елисаветы и своего незабвенного шурина датского герцога Иоанна, коего царь любил столь нежно и столь горестно оплакал». Борис сказал, что ни с одним из монархов не был он в такой сердечной любви, как с Елисаветою и что желает навсегда остаться другом Англии. Сверх права торговать беспошлинно во всех наших городах, Иаков требовал свободного пропуска англичан чрез Россию в Персию, в Индию и в другие восточные земли для отыскания пути в Китай, ближайшего и вернейшего, нежели морем, около мыса Доброй Надежды, к обоюдной пользе Англии и России, изъясняя, что драгоценности, перевозимые купцами из земли в землю, оставляют на пути следы золотые. Бояре удостоверили посла в неизменной силе милостивых грамот, данных царем гостям лондонским, но объявили, что жестокая война пылает на берегах Каспийского моря, что Аббас приступает к Дербенту, Баке и Шамахе; что царь до времени не может пустить туда англичан, для их безопасности. С таким ответом Смит выехал из Москвы (20 марта 1605). Уже не было речи о государственном союзе Англии с Россиею; одна торговля служила твердою связию между ими, будучи равно выгодною для обеих.

Предпочтительно благоприятствуя сей торговле, как важнейшей для России, Борис не усомнился однако ж дать и немецким гостям права новые. Еще недовольная Феодоровою жалованною грамотою, Ганза прислала в Москву любского бургомистра Гермерса, трех ратсгеров и секретаря своего, которые (3 апреля 1603) поднесли в дар государю и сыну его литые серебряные, вызолоченные изображения Фортуны, Венеры, двух больших орлов, двух коней, льва, единорога, носорога, оленя, страуса, пеликана, грифа и павлина. Купцов приняли как знатнейших вельмож; угостили обедом на золоте. От имени *пятидесяти девяти* немецких союзных городов они вручили боярам *челобитную*, писанную убедительно и смиренно. В ней было сказано, что древность их торговли в нашем отечестве исчисляется не годами, а столетиями; что в самые отда-

ленные времена, когда англичане, голландцы, французы едва знали имя России, Ганза доставляла ей все нужное и приятное для жизни гражданской и за то искони пользовалась благоволением *державных предков царя*, правами и выгодами исключительными: о возвращении сих прав молила Ганза, славя Бориса; желала торговли беспошлинной; хотела, чтобы он дозволил ей свободно купечествовать и в пристанях Северного моря, в Колмогорах, в Архангельске и дал гостиные дворы в Новегороде, Пскове, Москве, с правом иметь там церкви, как в старину бывало; требовала ямских лошадей для перевоза своих товаров из места в место и проч. Царь сказал, что в России берут таможенную пошлину с купцов императора, королей испанского, французского, литовского, датского; что жители вольных немецких городов должны платить ее, как и все, но что половина ее, в знак милости, уступается любчанам, ибо другие немцы суть подданные разных властителей, для коих ничто не обязывает нас быть столь бескорыстными; что одни же любчане избавляются от всякого таможенного осмотра, сами заявляя и ценя свои товары по совести; что Ганзе дозволяется торговать в Архангельске, также купить или завести гостиные дворы в Новегороде, Пскове и Москве своим иждивением, а не государевым; что всякая Вера терпима в России, но строить церквей не дозволяется ни католикам, ни лютеранам, и что в сем отказано знатнейшим венценосцам Европы, императору, королеве Елисавете и проч.; что ямы учереждены в России не для купечества, а единственно для гонцов правительства и для послов чужеземных. В таком смысле написали жалованную грамоту (5 июня) с прибавлением, что имение гостей, умирающих в России, неприкосновенно для казны и в целости отдается их наследникам; что немцы в домах своих могут держать вино русское, пиво и мед для своего употребления, а продавать единственно чужеземные вина, в куфах или в бочках, но не ведрами и не в стопы. С сею жалованною грамотою послы выехали в Новгород, представили ее там воеводе князю Буйносову-Ростовскому и требовали места для строения домов и лавок; но воевода ждал еще особенного указа, и долго, так, что они, лишась терпения, уехали во Псков, где были счастливее: градоначальник немедленно отвел им, на берегу реки Великой, вне города, место старого гостиного двора немецкого, то есть его развалины, памятник древней цветущей торговли в знаменитой Ольгиной родине. Жители радовались не менее любчан, вспоминая предания о счастливом союзе их города с Ганзою; но минувшее уже не могло возвратить-

ся, от перемены в отношениях Ганзы к Европе и Пскова к России. Оставив поверенных, чтобы изготовить все нужное для заведения конторы в Новегороде и Пскове, Гермерс и товарищи его спешили обрадовать Любек успехом своего дела—и в 1604 году корабли гамбургские уже начали приходить в Архангельск.

Между европейскими посольствами заметим еще римские и флорентийское. В 1601 году были в Москве нунции Климента VIII, Франциск Коста и Дидак Миранда, а другие в 1603 году, требуя дозволения ехать в Персию: царь велел им дать суда, чтобы плыть Волгою в Астрахань. Фердинанд, великий герцог тосканский и флорентийский, один из знаменитых властителей славного рода Медицисов, великодушный друг Генрика IV, присылал к Борису (в марте 1602) чиновника Авраама Люса с предложением своих услуг для вызова в Россию людей ученых, художников, ремесленников, и для доставления ей богатых естественных произведений Италии, особенно мрамора и дерева драгоценного, морем чрез наши Двинские гавани.

Не имея никакого сношения с Магометом III, ни с его наследником, Ахметом I, мы узнавали все происшествия константинопольские от греческих святителей, которые непрестанно являлись в Москве за милостынею, с иконами и с благословением патриархов. Еще Иоанн дал Афонской Введенской обители двор в Китае-городе у монастыря Богоявленского, где приставали ее странники-иноки и другие греки, искавшие службы в России. Известия сих наших ревностных единоверцев о затруднениях и худом внутреннем состоянии Оттоманской империи удостоверяли Бориса в безопасности с ее стороны, по крайней мере на несколько времени.

Государственная хитрость Борисова, по словам летописца, всего успешнее действовала в ногайских улусах, ослабленных и разоренных междоусобием их властителей, коих будто бы ссорили наместники астраханские. Вопреки летописцу, бумаги государственные представляют Бориса миротворцем ногаев, по крайней мере главного их улуса, волжского, или уральского, который со времен знаменитого отца Сююнбеки, Юсуфа, имел всегда одного князя и трех чиновников-властителей: нурадына, тайбугу и кокувата[1], но тогда повиновался двум князьям, Иштереку, сыну Тинь-Ахматову, и Янараслану, Урусову сыну, исполненным ненависти друг ко другу. На приказ Борисов, чтобы

---

[1] Нурадын, тайбуга, кокуват — чины ногайские.

они жили в любви и в братстве, Янараслан отвечал: «Царь московский желает чуда: велит овцам дружиться с волками и пить воду из одной проруби!» Боярин Семен Годунов, уполномоченный царем, приехал в Астрахань, собрал там (в ноябре 1604) ногайских вельмож, объявил Иштерека первым или старейшим князем и взял с него клятвенную грамоту в том, чтобы ему и всему Исмаилову племени служить России и биться с ее врагами до последнего издыхания, не давать никому княжеского и нурадынского достоинства без утверждения государева, не иметь войны междоусобной, не сноситься с шахом, султаном, ханом крымским, царями бухарским и хивинским, *ташкенцами*, Ордою Киргизскою, шавкалом и черкесами — кочевать в степях астраханских у моря, по Тереку, Куме и Волге около Царицына — перезвать к себе улус Казыев или овладеть им, чтобы от моря Черного до Каспийского и далее, на восток и север, не было в степях иной Орды Ногайской, кроме Иштерековой, верной царю московскому. Улус Казыев, отделясь от Волжского и кочуя близ Азова с своим князем Барангазыем, зависел от турков и крымцев, часто искал милости в царе, обещал служить России, вероломствовал и грабил в ее владениях: чтобы унять или совершенно истребить его, Борис велел донским козакам помогать Иштереку, и прислав ему в дар богатую саблю, писал: «она будет или на шее злодеѐв России или на твоей собственной». Сей князь исполнил условие и непрестанно теснил ногаев азовских, так что многие из них сделались нищими и продавали детей своих в Астрахани. — Третий ногайский улус, именуясь *Альтаульским*, занимал степи в окрестностях Синего моря, или Арала, и находился в тесной связи с Бухариею и с Хивою: Иштерек должен был также склонять его мурз к подданству российскому, соединенному с важною выгодою в торговле: Борис, дозволяя верным ногаям мирно купечествовать в Астрахани, освобождал их от всякой пошлины.

Представив в сем обозрении важнейшие действия Борисовой политики, европейской и азиатской — политики вообще благоразумной, не чуждой властолюбия, но умеренного: более *охранительной*, нежели *стяжательной* — представим действия Борисовы внутри государства, в законодательстве и в гражданском образовании России.

В 1599 году Борис, в знак любви к патриарху Иову, возобновил жалованную грамоту, данную Иоанном митрополиту Афана-

сию, такого содержания, что все люди первосвятителя, его монастыри, чиновники, слуги и крестьяне их освобождаются от ведомства царских бояр, наместников, волостелей, тиунов и не судятся ими ни в каких преступлениях, кроме душегубства, завися единственно от суда патриаршего; увольняются также от всяких податей казенных. Сие древнее государственное право нашего духовенства оставалось неизменным и в царствование Василия Шуйского, Михаила и сына его.

Закон об укреплении сельских работников, целию своею благоприятный для владельцев средних или неизбыточных, как мы сказали, имел однако ж и для них вредное следствие, частыми побегами крестьян, особенно из селений мелкого дворянства: владельцы искали беглецов, жаловались друг на друга в их укрывательстве, судились, разорялись. Зло было столь велико, что Борис, не желая совершенно отменить закона благонамеренного, решился объявить его только временным, и в 1601 году снова дозволил земледельцам господ малочиновных, детей боярских и других, везде, кроме одного Московского уезда, переходить в известный срок от владельца к владельцу *того же состояния*, но не всем вдруг и не более, как по два вместе; а крестьянам бояр, дворян, знатных дьяков, и казенным, святительским, монастырским велел остаться без перехода на означенный 1601 год. Уверяют, что изменение устава древнего и нетвердость нового, возбудив негодование многих людей, имели влияние и на бедственную судьбу Годунова; но сие любопытное сказание историков XVIII века не основано на известиях современников, которые единогласно хвалят мудрость Бориса в делах государственных.

Хвалили его также за ревность искоренять грубые пороки народа. Несчастная страсть к крепким напиткам, более или менее свойственная всем народам северным, долгое время была осуждаема в России единственно учителями христианства и мнением людей нравственных. Иоанн III и внук его хотели ограничить ее неумеренность законом и наказывали оную как гражданское преступление. Может быть, не столько для умножения царских доходов, сколько для обуздания невоздержных, Иоанн IV налагал пошлину на варение пива и меда. В Феодорово время существовали в больших городах казенные питейные дома, где продавалось и вино хлебное, неизвестное в Европе до XIV века; но и многие частные люди торговали крепкими напитками, к распространению пьянства: Борис строго запретил сию вольную продажу,

объявив, что скорее помилует вора и разбойника, нежели корчемников; убеждал их жить иным способом и честными трудами; обещал дать им земли, если они желают заняться хлебопашеством, но хотев тем, как пишут, воздержать народ от страсти равно вредной и гнусной, царь не мог истребить корчемства, и самые казенные питейные дома, наперерыв откупаемые за высокую цену, служили местом разврата для людей слабых.

В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже *университеты*, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и *наукам*: в 1600 году он посылал в Германию немца, Иоанна Крамера, уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и докторов. Сия мысль обрадовала в Европе многих ревностных друзей просвещения: один из них, учитель прав, именем Товия Лонциус, писал к Борису (в генваре 1601): «Ваше Царское Величество хотите быть истинным отцом отечества и заслужить всемирную, бессмертную славу. Вы избраны Небом совершить дело великое, новое для России: просветить ум вашего народа несметного и тем возвысить его душу вместе с государственным могуществом, следуя примеру Египта, Греции, Рима и знаменитых держав европейских, цветущих искусствами и науками благородными». Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений духовенства, которое представило царю, что Россия благоденствует в мире единством Закона и языка; что разность языков может произвести и разность в мыслях, опасную для церкви; что во всяком случае неблагоразумно вверить учение юношества католикам и лютеранам. Но оставив мысль заводить *университеты* в России, царь послал 18 молодых *боярских людей* в Лондон, в Любек и во Францию, учиться языкам иноземным так же, как молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться русскому. Умом естественным поняв великую истину, что народное образование есть сила государственная и, видя несомнительное в оном превосходство других европейцев, он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. Так посланник наш, Микулин, сказал в Лондоне трем путешествующим баронам немецким, что если они желают из любопытства видеть Россию, то царь с удовольствием примет их и с честию отпустит; но если, любя славу, хотят служить ему умом

и мечом в деле воинском, наравне с князьями владетельными, то удивятся его ласке и милости. В 1601 году Борис с отменным благоволением принял в Москве 35 ливонских дворян и граждан, изгнанных из отечества поляками. Они не смели идти во дворец, будучи худо одеты: царь велел сказать им: «хочу видеть людей, а не платье»; обедал с ними; утешал их и тронул до слез уверением, что будет им вместо отца: дворян сделает князьями, мещан дворянами; дал каждому, сверх богатых тканей и соболей, пристойное жалованье и поместье, не требуя в возмездие ничего, кроме любви, верности и молитвы о благоденствии его дома. Знатнейший из них, Тизенгаузен, клялся именем всех умереть за Бориса, и сии добрые ливонцы, как видим, не обманули царя, с ревностию вступив в его немецкую дружину. Вообще благосклонный к людям ума образованного, он чрезвычайно любил своих иноземных медиков, ежедневно виделся с ними, разговаривал о делах государственных, о Вере; часто просил их за него молиться, и только в удовольствие им согласился на возобновление лютеранской церкви в слободе Яузской. Пастор сей церкви, Мартин Вер, коему мы обязаны любопытною историею времен Годунова и следующих, пишет: «Мирно слушая учение христианское и торжественно славословя Всевышнего по обрядам Веры своей, немцы московские плакали от радости, что дожили до такого счастия!»

Признательность иноземцев к милостям царя не осталась бесплодною для его славы: муж ученый, Фидлер, житель кенигсбергский (брат одного из Борисовых медиков) сочинил ему в 1602 году на латинском языке похвальное слово, которое читала Европа и в коем оратор уподобляет своего Героя Нуме, превознося в нем законодательную мудрость, миролюбие и *чистоту нравов*. Сию последнюю хвалу действительно заслуживал Борис, ревностный наблюдатель всех уставов церковных и правил благочиния, трезвый, воздержный, трудолюбивый, враг забав суетных и пример в жизни семейственной, супруг, родитель нежный, особенно к милому ненаглядному сыну, которого он любил до слабости, ласкал непрестанно, называл своим велителем, не пускал никуда от себя, воспитывал с отменным старанием, даже учил наукам: любопытным памятником географических сведений сего царевича осталась ландкарта России, изданная под его именем в 1614 году немцем Герардом. Готовя в сыне достойного монарха для великой державы и заблаговременно приучая всех любить

Феодора, Борис в делах внешних и внутренних давал ему право ходатая, заступника, умирителя; ждал его слова, чтобы оказать милость и снисхождение, действуя и в сем случае без сомнения как искусный политик, но еще более как страстный отец, и своим семейственным счастием доказывая, сколь неизъяснимо слияние добра и зла в сердце человеческом!

Но время приближалось, когда сей мудрый властитель, достойно славимый тогда в Европе за свою разумную политику, любовь к просвещению, ревность быть истинным отцом отечества, — наконец за благонравие в жизни общественной и семейственной, должен был вкусить горький плод беззакония и сделаться одною из удивительных жертв суда Небесного. Предтечами были внутреннее беспокойство Борисова сердца и разные бедственные случаи, коим он еще усильно противоборствовал твердостию духа, чтобы вдруг оказать себя слабым и как бы беспомощным в последнем явлении своей судьбы чудесной.

Глава II
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ БОРИСОВА
1600—1605 гг.

Блестящее властвование Годунова. Молитва о царе. Подозрения Борисовы. Гонения. Голод. Новые здания в Кремле. Разбои. Порочные нравы. Мнимые чудеса. Явление Самозванца. Поведение и наружность обманщика. Иезуиты. Свидание Лжедимитрия с королем польским. Письмо к папе. Собрание войска. Договоры Лжедимитрия с Мнишком. Меры, взятые Борисом. Первая измена. Витязь Басманов. Робость Годунова. Общее расположение умов. Великодушие Борисово. Битва. Поляки оставляют Самозванца. Честь Басманову. Победа воевод Борисовых. Осада Кром. Письмо Самозванца к Борису. Кончина Годунова.

Достигнув цели, возникнув из ничтожности рабской до высоты самодержца усилиями неутомимыми, хитростию неусыпною, коварством, происками, злодейством, наслаждался ли Годунов в полной мере своим величием, коего алкала душа его — величием, купленным столь дорогой ценою? Наслаждался ли и чистейшим

удовольствием души, благотворя подданным и тем заслуживая любовь отечества? По крайней мере недолго.

Первые два года сего царствования казались лучшим временем России с XV века или с ее восстановления: она была на вышней степени своего нового могущества, безопасная собственными силами и счастием внешних обстоятельств, а внутри управляемая с мудрою твердостию и с кротостию необыкновенною. Борис исполнял обет царского венчания и справедливо хотел именоваться отцом народа, уменьшив его тягости; отцом сирых и бедных, изливая на них щедроты беспримерные; другом человечества, не касаясь жизни людей, не обагряя земли Русской ни каплею крови и наказывая преступников только ссылкою. Купечество, менее стесняемое в торговле; войско, в мирной тишине осыпаемое наградами; дворяне, приказные люди, знаками милости отличаемые за ревностную службу; синклит, уважаемый царем деятельным и советолюбивым; духовенство, честимое царем набожным — одним словом, все государственные состояния могли быть довольны за себя и еще довольнее за отечество, видя, как Борис в Европе и в Азии возвеличил имя России без кровопролития и без тягостного напряжения сил ее; как радеет о благе общем, правосудии, устройстве. Итак, неудивительно, что Россия, по сказанию современников, *любила* своего венценосца, желая забыть убиение Димитрия или сомневаясь в оном!

Но венценосец знал свою тайну и не имел утешения верить любви народной; благотворя России, скоро начал удаляться от россиян; отменил устав времен древних: не хотел, в известные дни и часы, выходить к народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитные; являлся редко и только в пышности недоступной. Но убегая людей — как бы для того, чтобы лицом монарха не напомнить им лицо бывшего раба Иоаннова — он хотел невидимо присутствовать в их жилищах или в мыслях, и недовольный обыкновенною молитвою в храмах о государе и государстве, велел искусным книжникам составить особенную для чтения во всей России, во всех домах, *на трапезах* и *вечерях*, за чашами, о душевном спасении и телесном здравии «Слуги Божия, царя, Всевышним избранного и превознесенного, самодержца всей Восточной страны и Северной; о царице и детях их; о благоденствии и тишине отечества и церкви под скиптром единого христианского венценосца в мире, чтобы все иные властители пред ним уклонялись и *рабски*

служили ему, величая имя его от моря до моря и до конца вселенныя; чтобы россияне всегда с умилением славили Бога за такого монарха, коего ум есть пучина мудрости, а сердце исполнено любви и долготерпения; чтобы все земли трепетали меча нашего, а земля Русская непрестанно высилась и расширялась; чтобы юные, цветущие ветви Борисова Дому возросли благословением Небесным и непрерывно осенили оную до скончания веков»! То есть, святое действие души человеческой, ее таинственное сношение с Небом, Борис дерзнул осквернить своим тщеславием и лицемерием, заставив народ свидетельствовать пред Оком Всевидящим о добродетелях убийцы, губителя и хищника!.. Но Годунов, как бы не страшась Бога, тем более страшился людей, и еще до ударов Судьбы, до измен счастия и подданных, еще спокойный на престоле, искренно славимый, искренно любимый, уже не знал мира душевного; уже чувствовал, что если путем беззакония можно достигнуть величия, то величие и блаженство, самое земное, не одно знаменуют[1].

Сие внутреннее беспокойство души, неизбежное для преступника, обнаружилось в царе несчастными действиями подозрения, которое, тревожа его, скоро встревожило и Россию. Мы видели, что он, касаясь рукою венца Мономахова, уже мечтал[2] о тайных ковах против себя, яде, чародействе; ибо естественно думал, что и другие, подобно ему, могли иметь жажду к верховной власти, лицемерие и дерзость. Нескромно открыв боязнь свою, и взяв с россиян клятву постыдную, Борис столь же естественно не доверял ей: хотел быть на страже неусыпной, все видеть и слышать, чтобы предупредить злые умыслы; восстановил для того бедственную Иоаннову систему доносов и вверил судьбу граждан, дворянства, вельмож сонму гнусных изветников.

Первою знаменитою жертвою подозрения и доносов был тот, с кем Годунов жил некогда душа в душу, кто охотно делил с ним милость Иоаннову и страдал за него при Феодоре — свойственник царицы Марии, Бельский. Спасенный Годуновым от злобы народной во время московского мятежа, но оставленный надолго в честной ссылке,— снова призванный ко двору, но без всякого отличия, и в самое царствование Бориса удостоенный только второстепенного думного сана, сей главный любимец Грозного, счи-

---

[1] То есть величие и блаженство, пусть даже земное, не одно и то же.

[2] Мечтал — здесь: воображал.

тая себя благодетелем Годунова, мог быть или казаться недовольным, следственно виновным в глазах царя, имея еще и другую, важнейшую вину за собою: он знал лучше иных глубину Борисова сердца! В 1600 году царь послал его в дикую степь строить новую крепость Борисов на берегу Донца Северского, без сомнения не в знак милости; но Бельский, стыдясь представлять лицо униженного, ехал в отдаленные пустыни как на знатнейшее воеводство, с необыкновенною пышностию, с богатою казною и множеством слуг; велел заложить город своим, а не царским людям; ежедневно угощал стрельцов и козаков, давал им одежду и деньги, не требуя ничего от государя. Следствием было то, что новую крепость построили скорее и лучше всех других крепостей; что делатели не скучали работою, любя, славя начальника; а царю донесли, что начальник, милостию прельстив воинов, думает объявить себя независимым и говорит: «Борис царь в Москве, а я царь в Борисове!» Сию клевету, основанную, вероятно, на тщеславии и каком-нибудь неосторожном слове Бельского, приняли за истину (ибо Годунов желал избавиться от старинного, беспокойного друга) — и решили, что он достоин смерти; но царь, хвалясь милосердием, велел только взять у него имение и выщипать ему всю длинную, густую бороду, избрав шотландского хирурга Габриеля для совершения такой новой казни. Бельский снес позор и, заточенный в один из Низовых городов, дожил там до случая отмстить неблагодарному хотя в могиле. Умный, опытный в делах государственных, сей преемник Малюты Скуратова был ненавистен россиянам страшными воспоминаниями своих дней счастливых, а иноземцам своею жестокою к ним неприязнию, которою он мог гневить и Бориса, их ревностного покровителя. Мало жалели о старом, безродном временщике; но его опала предшествовала другой, гораздо чувствительнейшей для знатных родов и для всего отечества.

Память добродетельной Анастасии и свойство Романовых-Юрьевых с царским домом Мономаховой крови были для них правом на общее уважение и самую любовь народа. Боярин Никита Романович, достойный сей любви и личными благородными качествами, оставил 5 сыновей: Федора, Александра, Михайла, Ивана и Василия, в последний час жизни молив Годунова быть им вместо отца. Честя их наружно — дав старшим, Федору и Александру, боярство, Михайлу сан окольничего, и женив своего ближнего, Ивана Ивановича Годунова, на их меньшей сестре,

Ирине — Борис внутренне опасался Романовых, как совместников для его юного сына: ибо носилась молва, что Феодор, за несколько времени до кончины, мыслил объявить старшего из них наследником государства: молва, вероятно, несправедливая; но они, будучи единокровными Анастасии и двоюродными братьями Феодора, казались народу ближайшими к престолу. Сего было достаточно для злобы Борисовой, усиленной насказами родственников царских; но гонение требовало предлога, если не для успокоения совести, то для мнимой безопасности гонителя, чтобы личиною закона прикрыть злодейство, как иногда поступал Грозный и сам Борис, избавляя себя от ненавистных ему людей в Феодорово время. Надежнейшими изветниками считались тогда рабы: желая ободрить их в сем предательстве, царь не устыдился явно наградить одного из слуг боярина князя Федора Шестунова за ложный донос на господина в недоброхотстве к венценосцу: Шестунова еще не тронули, но всенародно, на площади, сказали клеветнику *милостивое слово государево*, дали вольность, чин и поместье. Между тем шептали слугам Романовых, что их за такое же усердие ждет еще важнейшая милость царская; и главный клеврет нового тиранства, новый Малюта Скуратов, вельможа Семен Годунов, изобрел способ уличить невинных в злодействе, надеясь на общее легковерие и невежество: подкупил казначея Романовых, дал ему мешки, наполненные кореньями, велел спрятать в кладовой у боярина Александра Никитича и донести на своих господ, что они, тайно занимаясь составом яда, умышляют на жизнь венценосца. Вдруг сделалась в Москве тревога: синклит и все знатные чиновники спешат к патриарху; посылают окольничего Михайла Салтыкова для обыска в кладовой у боярина Александра; находят там мешки, несут к Иову и в присутствии Романовых высыпают коренья, будто бы волшебные, изготовленные для отравления царя. Все в ужасе — и вельможи, усердные подобно римским сенаторам Тибериева или Неронова времени, с воплем кидаются на мнимых злодеев, как дикие звери на агнцев, — грозно требуют ответа и не слушают его в шуме. Отдают Романовых под крепкую стражу и велят судить, как судят беззаконие.

Сие дело есть одно из гнуснейших Борисова ожесточения и бесстыдства. Не только Романовым, но и всем их ближним надлежало погибнуть, чтобы не осталось мстителей на земле за невинных страдальцев. Взяли князей Черкасских, Шестуновых, Репниных, Карповых, Сицких: знатнейшего из последних, князя

Ивана Васильевича, наместника астраханского, привезли в Москву скованного с женою и сыном. Допрашивали, ужасали пыткою, особенно Романовых; мучили, терзали слуг их, безжалостно и бесполезно: никто не утешил тирана клеветою на самого себя или на других; верные рабы умирали в муках, свидетельствуя единственно о невинности господ своих пред царем и Богом. Но судии не дерзали сомневаться в истине преступления, столь грубо вымышленного, и прославили неслыханное милосердие царя, когда он велел им осудить Романовых, со всеми их ближними, единственно на заточение, как уличенных в измене и в злодейском намерении извести государя средствами волшебства. В июне 1601 года исполнился *приговор боярский*: Федора Никитича Романова (будущего знаменитого иерарха), постриженного и названного Филаретом, сослали в Сийскую Антониеву обитель; супругу его, Ксению Ивановну, также постриженную и названную Марфою, в один из заонежских погостов; тещу Федорову, дворянку *Шестову*, в Чебоксары, в Никольский девичий монастырь; Александра Никитича в Усолье-Луду, к Белому морю; третьего Романова, Михайла, в Великую Пермь, в Ныробскую волость; четвертого, Ивана, в Пелым; пятого, Василья, в Яренск; зятя их, князя Бориса Черкасского, с женою и с детьми ее брата, Федора Никитича, с шестилетним Михаилом (будущим царем!) и с юною дочерью, на Белоозеро, сына Борисова, князя Ивана, в Малмыж на Вятку; князя Ивана Васильевича Сицкого в Кожеозерский монастырь, а жену его в пустыню Сумского острога; других Сицких, Федора и Владимира Шестуновых, Карповых и князей Репниных в темницы разных городов: одного же из последних, воеводу яренского, будто бы за расхищение царского достояния, в Уфу. Вотчины и поместья опальных раздали другим; имение движимое и домы взяли в казну.

Но гонение не кончилось ссылкою и лишением собственности: не веря усердию или строгости местных начальников, послали с несчастными московских приставов, коим надлежало смотреть за ними неусыпно, давать им нужное для жизни и доносить царю о каждом их слове значительном. Никто не смел взглянуть на оглашенных *изменни́ков*, ни ходить близ уединенных домов, где они жили, вне городов и селений, вдали от больших дорог; некоторые в землянках, и даже скованные. В монастырь Сийский не пускали богомольцев, чтобы кто-нибудь из них не доставил письма Федору Никитичу, иноку невольному, но ревностному в бла-

гочестии: коварный пристав, с умыслом заговаривая ему о дворе, семействе и друзьях его, доносил царю, что Филарет не находит между боярами и вельможами ни одного весьма умного, способного к делам государственным, кроме опального Богдана Бельского, и считает себя жертвою их злобных наветов; что хотя занимается единственно спасением души, но тоскует о жене и детях, не зная, где они без него сиротствуют, и моля Бога о скором конце их бедственной жизни (Бог не услышал сей молитвы, ко счастию России!). Донесли также царю, что Василий Романов, отягченный болезнию и цепями, не хотел однажды славить милосердия Борисова, сказав приставу: «истинная добродетель не знает тщеславия». Но Борис, как бы желая доказать узнику истину своего милосердия, велел снять с него цепи, объявить за них царский гнев приставу, излишно ревностному в угнетении опальных, перевезти недужного Василия в Пелым к брату Ивану Никитичу, лишенному движения в руке и ноге от удара, и дать им печальное утешение страдать вместе. Василий от долговременной болезни скончался (15 февраля 1602) под молитвою брата и великодушного раба, который, верно служив господину в чести, служил ему и в оковах с усердием нежного сына. Александр и Михайло Никитичи также недолго жили в темнице, быв жертвою горести или насильственной смерти, как пишут: первого схоронили в Луде, второго в семи верстах от Чердыня, близ села Ныроба, в месте пустынном, где над могилою выросли два кедра. Доныне в церкви Ныробской хранятся Михайловы тяжкие оковы, и старцы еще рассказывают там о великодушном терпении, о чудесной силе и крепости сего мужа, о любви к нему всех жителей, коих дети приходили к его темнице играть на свирелях, и сквозь отверстия землянки подавали узнику все лучшее, что имели, для утоления голода и жажды: любовь, за которую их гнали при Годунове и наградили в царствование Романовых милостивою, обельною грамотою. — Если верить летописцу, то Борис, велев удавить в монастыре князя Ивана Сицкого с женою, хотел уморить голодом и недужного Ивана Романова; но бумаги приказные свидетельствуют, что последний имел весьма не бедное содержание, ежедневно два или три блюда, мясо, рыбу, белый хлеб, и что у пристава еще было 90 (450 нынешних серебряных) рублей в казне, для доставления ему нужного. Скоро участь опальных смягчилась, от политики ли царя (ибо народ жалел об них), или от ходатайства зятя Романовых, крайчего Ивана Ивановича Годунова. В марте

1602 царь *милостиво указал* Ивану Романову (оставляя его под надзором, но уже без имени *злодея*) ехать в Уфу *на службу*, оттуда в Нижний Новгород, и наконец в Москву, вместе с племянником, князем Иваном Черкасским; Сицких послал воеводствовать в города Низовские (освободил ли Шестуновых и Репниных, неизвестно); а княгине Черкасской, Марфе Никитишне, овдовевшей на Белеозере, велел жить с невесткою, сестрою и детьми Федора Никитича, в отчине Романовых Юрьевского уезда, в селе Клине, где, лишенный отца и матери, но блюдомый Провидением, дожил семилетний отрок Михаил, грядущий венценосец России, до гибели Борисова племени. Царь хотел изъявить милость и Филарету: позволил ему стоять в церкви на крылосе, взять к себе чернца в келию для услуг и беседы; приказал всем довольствовать своего *изменника* (еще так называя сего мужа непорочного в совести) и для богомольцев отворить монастырь Сийский, но не пускать их к опальному иноку; приказал наконец (в 1605 году) посвятить Филарета в иеромонахи и в архимандриты, чтобы тем более удалить его от мира!

Не одни Романовы были страшилищем для Борисова воображения. Он запретил князьям Мстиславскому и Василию Шуйскому жениться, думая, что их дети, по древней знатности своего рода, могли бы также состязаться с его сыном о престоле. Между тем, устраняя будущие мнимые опасности для юного Феодора, робкий губитель трепетал настоящих: волнуемый подозрениями, непрестанно боясь тайных злодеев и равно боясь заслужить народную ненависть мучительством, гнал и миловал: сослал воеводу, князя Владимира Бахтеярова-Ростовского, и простил его; удалил от дел знаменитого дьяка Щелкалова, но без явной опалы; несколько раз удалял и Шуйских, и снова приближал к себе: ласкал их, и в то же время грозил немилостию всякому, кто имел обхождение с ними. Не было торжественных казней, но морили несчастных в темницах, пытали по доносам. Сонмы изветников, если не всегда награждаемых, то всегда свободных от наказания за ложь и клевету, стремились к царским па-латам из домов боярских и хижин, из монастырей и церквей: слуги доносили на господ, иноки, попы, дьячки, просвирницы на людей всякого звания — самые жены на мужей, самые дети на отцов, к ужасу человечества! «И в диких ордах (прибавляет летописец) не бывает столь великого зла: господа не смели глядеть на рабов своих, ни ближние искренно говорить между собою; а

когда говорили, то взаимно обязывались страшною клятвою не изменять скромности[1]». Одним словом, сие печальное время Борисова царствования, уступая Иоаннову в кровопийстве, не уступало ему в беззаконии и разврате: наследство гибельное для будущего! Но великодушие еще действовало в россиянах (оно пережило Иоанна и Годунова, чтобы спасти отечество): жалели о невинных страдальцах и мерзили постыдными милостями венценосца к доносителям; другие боялись за себя, за ближних — и скоро неудовольствие сделалось общим. Еще многие славили Бориса: приверженники, льстецы, изветники, утучняемые стяжанием опальных: еще знатное духовенство, как уверяют, хранило в душе усердие к венценосцу, который осыпал святителей знаками благоволения: но глас отечества уже не слышался в хвале частной, корыстолюбивой, и молчание народа, служа для царя явною укоризною, возвестило важную перемену в сердца россиян: *они уже не любили Бориса*!

Так говорит летописец совре̇менный, беспристрастный, и сам знаменитый в нашей истории своею государственною доблестию: келарь Палицын. Народы всегда благодарны: оставляя Небу судить тайну Борисова сердца, россияне̇ искренно славили царя, когда он под личиною добродетели казался им отцом народа; но признав в нем тирана, естественно возненавидели его и за настоящее и за минувшее: в чем, может быть, хотели сомневаться, в том снова удостоверились, и кровь Димитриева явнее означилась для них на порфире губителя невинных: вспомнили судьбу Углича и других жертв мстительного властолюбия Годунова; безмолвствовали, но тем сильнее чувствовали в присутствии изветников — и тем сильнее говорили в святилищах недоступных для услужников тиранства, коего время бывает и царством клеветы и царством ненарушимой скромности: там, в тихих беседах дружества, неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его не только душегубством, гонением людей знаменитых, грабежом их достояния, алчностью к прибытку беззаконному, корыстолюбивым введением откупов, размножением казенных домов питейных, порчею нравов, но и пристрастием к иноземным, новым обычаям (из коих брадобритие особенно соблазняло усердных староверов), даже наклонностию к армянской и к латинской ереси! Как любовь, так и ненависть редко бывают довольны ис-

---

[1] Скромность — скрытность.

тиною: первая в хвале, последняя в осуждении. Годунову ставили в вину и самую ревность его к просвещению!

В сие время общей нелюбви к Борису он имел случай доказать свою чувствительность к народному бедствию, заботливость, щедрость необыкновенную; но и тем уже не мог тронуть сердец, к нему остылых. Среди естественного обилия и богатства земли плодоносной, населенной хлебопашцами трудолюбивыми; среди благословений долговременного мира, и в царствование деятельное, предусмотрительное, пала на миллионы людей казнь страшная: весною, в 1601 году, небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили в течение десяти недель непрестанно так, что жители сельские пришли в ужас: не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать: а 15 августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым. Еще в житницах и в гумнах находилось немало старого хлеба; но земледельцы, к несчастию, засеяли поля новым, гнилым, тощим, и не видали всходов, ни осенью, ни весною: все истлело и смешалось с землею. Между тем запасы изошли, и поля уже остались незасеянными. Тогда началося бедствие, и вопль голодных встревожил царя. Не только гумна в селах, но и рынки в столице опустели, и четверть ржи возвысилась ценою от 12 и 15 денег до трех (пятнадцати нынешних серебряных) рублей. Борис велел отворить царские житницы в Москве и в других городах; убедил духовенство и вельмож продавать хлебные свои запасы также низкою ценою; отворил и казну: в четырех оградах, сделанных близ деревянной стены московской, лежали кучи серебра для бедных, ежедневно, в час утра, каждому давали две московки[1], деньгу или копейку — но голод свирепствовал: ибо хитрые корыстолюбцы обманом скупали дешевый хлеб в житницах казенных, святительских, боярских, чтобы возвышать его цену и торговать им с прибытком бессовестным; бедные, получая в день копейку серебряную, не могли питаться. Самое благодеяние обратилось во зло для столицы; из всех ближних и дальних мест земледельцы с женами и детьми стремились толпами в Москву за царскою милостынею, умножая тем число нищих. Казна раздавала в день несколько тысяч рублей, и бесполезно: голод усиливался и наконец достиг крайности столь ужасной, что нельзя без трепета читать ее достоверного описания в преданиях современников. «Свидетельствуюсь истиною и Богом, — пишет один из них, — что я собственными глазами видел в Моск-

[1] Московка — монета московского чекана.

ве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту щипали траву и питались ею; у мертвых находили во рту сено». Мясо лошадиное казалось лакомством: ели собак, кошек, стерво, всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей: оставляли семейства и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства: давили, резали сонных для ужасной пищи! Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках! Матери глодали трупы своих младенцев!.. Злодеев казнили, жгли, кидали в воду; но преступления не уменьшались... И в сие время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать его еще дороже!.. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали, издыхали на площадях. Москва заразилась бы смрадом гниющих тел, если бы царь не велел, на свое иждивение, хоронить их, истощая казну и для мертвых. Приставы ездили в Москве из улицы в улицу, подбирали мертвецов, обмывали, завертывали в белые саваны, обували в красные башмаки или коты и сотнями возили за город в три скудельницы, где в два года и четыре месяца было схоронено 127 000 трупов, кроме погребенных людьми христолюбивыми у церквей приходских. Пишут, что в одной Москве умерло тогда 500 000 человек, а в селах и в других областях еще несравненно более, от голода и холода: ибо зимою нищие толпами замерзали па дорогах. Пища неестественная также производила болезни и мор, особенно в Смоленском уезде, куда царь в одно время послал 20 000 рублей для бедных, не оставив ни одного города в России без вспоможения, и если не спасая многих, то везде уменьшая число жертв, так что сокровищница московская, полная от благополучного Феодорова царствования, казалась неистощимою. И все иные возможные меры были им приняты: он не только в ближних городах скупал ценою им определенною, волею и неволею, все хлебные запасы у богатых; но послал и в самые дальние, изобильнейшие места освидетельствовать гумна, где еще нашлися огромные скирды, в течение полувека неприкосновенные и поросшие деревьями: велел немедленно молотить и везти хлеб как в Москву, так и в другие области. В доставлении встречались неминуемые, едва одолимые трудности: во многих местах на пути не было ни подвод, ни корму; ямщики и все жители сельские разбегались. Обозы шли Россиею как бы пустынею африканскою, под мечами и копьями воинов, опасаясь нападения голодных, которые не только вне селений, но и в Москве, на ули-

цах и рынках, силою отнимали съестное. — Наконец деятельность верховной власти устранила все препятствия, и в 1603 году, мало-помалу, исчезли все знамения ужаснейшего из зол; снова явилось обилие, и такое, что четверть хлеба упала ценою от трех рублей до 10 копеек, к восхищению народа и к отчаянию корыстолюбцев, еще богатых тайными запасами ржи и пшеницы! Памятником бывшей, беспримерной дороговизны осталась навсегда, как сказано в летописях, ею введенная, новая *мера четверик*: ибо до 1601 года хлеб продавали в России единственно *оковами*[1], *бочками* или *кадями*, четвертями и осьминами.

Бедствие прекратилось, но следы его не могли быть скоро изглажены: заметно уменьшилось число людей в России и достояние многих! оскудела без сомнения и казна, хотя Годунов, великодушно расточая оную для спасения народного, не только не убавил своей обыкновенной пышности царской, но еще более нежели когда-нибудь хотел блистать оною, чтобы закрыть тем действие гнева Небесного, особенно для послов иноземных, окружая их на пути от границы до Москвы призраками изобилия и роскоши: везде являлись люди, богато или красиво одетые; везде рынки полные товаров, мяса и хлеба, и ни единого нищего там, где за версту в сторону могилы наполнялись жертвами голода. В сие-то время Борис столь пышно угощал своего нареченного зятя, герцога датского — и в сие же время украшал древний Кремль новыми зданиями: в 1600 году воздвигнув огромную колокольню Ивана Великого, пристроил в 1601 и 1602 годах, на месте сломанного деревянного дворца Иоаннова, две большие каменные палаты к Золотой и Грановитой, столовую и панихидную, чтобы доставить тем работу и пропитание людям бедным, соединяя с милостию пользу, и во дни плача думая о велелепии! Однако ж не московские летописцы, а только чужеземные историки упрекают Бориса гордостию неуклонною и в общем бедствии, суетою, тщеславием, рассказывая, что он запретил тогда россиянам купить весьма умеренною ценою знатное количество ржи у немцев в Ивангороде, стыдясь питать народ свой чужим хлебом. Известие конечно несправедливое: ибо наши государственные бумаги, свидетельствуя о приходе туда немецких кораблей с хлебом в 1602 году, не упоминают о таком жестоком запрете. Борис, оказав в сем несчастии столько деятельности и столько щедрости, чтобы удос-

[1] Оков — окованная бочка; тара и мера зерна.

товерить Россию в любви истинно отеческой царя к подданным, не мог явно жертвовать их спасением тщеславию безумному.

Но Борис не обольстил россиян своими благодеяниями: ибо мысль, для него страшная, господствовала в душах — мысль, что Небо за беззакония царя казнит царство. «Изливая на бедных щедроты,— говорят летописцы,—он в золотой чаше подавал им кровь невинных, да пиют во здравие; питал их милостынею богопротивною, расхитив имение вельмож честных, и древние сокровища царские осквернив добычею грабежа». Россия не благоденствовала в новом изобилии; не имела времени успокоиться: открылось новое бедствие, в коем современники непосредственно винили Бориса.

Еще Иоанн IV, желая населить литовскую украйну, землю Северскую, людьми годными к ратному делу, не мешал в ней укрываться и спокойно жительствовать преступникам, которые уходили туда от казни: ибо думал, что они, в случае войны, могут быть надежными защитниками границы. Борис, любя следовать многим государственным мыслям Иоанновым, последовал и сей, весьма ложной и весьма несчастной: ибо незнаемо изготовил тем многочисленную дружину злодеев в услугу врагам отечества и собственным. «Великий разум и жестокость Грозного,— по словам летописца,— не давали двинуться змиям; а кроткий, набожный Феодор связывал их своею молитвою», но Борис увидел зло, и еще увеличил его другими плодами своего мудрования, несогласного с вечными уставами правды. Издревле бояре наши окружали себя толпами слуг, вольных и крепостных; издревле также любили кабалить первых: закон, изданный в Феодорово время, единственно в угодность знатному дворянству, об укреплении всех людей, служащих господам не менее шести месяцев, совершенно прекратил род вольных слуг в нашем отечестве и наполнил домы боярские рабами, коими сделались тогда, в противность Иоаннову Судебнику, даже и многие люди воинские, благородные, от нищеты, но без стыда служив богачам именитым: закон недостойный сего имени своею явною несправедливостию! Еще мало: к его действию присоединилось и насилие: знатные и случайные бессовестно укрепляли[1] и не слуг, а всякого беззащитного, кто им нравился художеством, рукодельем, ловкостию или красотою. Но в дешевое время охотно умножав свою челядь, дво-

---

[1] Укреплять — закрепощать.

ряне во время голода начали распускать ее: воля обратилась в казнь и мучительство! Люди, еще совестные, выгоняли слуг из дому по крайней мере с отпускными; а злые без всякого письменного вида, с намерением клепать их в бегстве и в сносе, чтобы ябедою суда разорять тех, которые могли бы из человеколюбия дать им у себя дело и пищу: ужас разврата обыкновенного в годины бедствий! Несчастные гибли или разбойничали, вместе со многими людьми вельмож ссыльных, Романовых и других, осужденными вести жизнь бродяг (ибо никто не смел принять слуг опального) — вместе с украинскими беглецами, ходившими из гнезда своего в добычу и внутрь России. Явились шайки на дорогах; завелись пристани в местах глухих и лесистых; грабили, убивали под самою Москвою. Не боялись и сыскных дружин воинских: злодеи смело пускались на сечу с ними, имея атаманом Хлопка, или Косолапа, удальца редкого. Государь должен был действовать с усилием немаловажным, и в мирное время отрядить целое войско против разбойника! Главный воевода, окольничий Иван Федорович Басманов, едва выступив в поле, уже встретил Хлопка, врага презрительного, но злого, который, соединив свои шайки, дерзнул близ Москвы спорить с ним о победе. Упорная битва, бесславная и жестокая, решилась смертию Басманова: видя его падающего с коня, воины кинулись на разбойников, не жалели себя, и наконец одолели их остервенение: большую часть истребили и взяли в плен атамана, изнемогшего от тяжелых ран — злодея, коего необыкновенная храбрость достойна была лучшего побуждения и лучшей цели! Удивленный дерзостию сего опасного скопища, Борис искал, кажется, тайных соумышленников или наставников Хлопка между людьми значительнейшими, зная, что в его шайках находились слуги господ опальных и подозревая, что они могли быть вооружены местию против гонителя Романовых. Нарядили следствие; допрашивали, пытали взятых разбойников, но, по-видимому, ничего не узнали, кроме их собственных злодеяний. Хлопко, вероятно, умер от ран или в муках: всех других перевешали, и Борис единственно в сем случае уклонился от своего человеколюбивого обета не казнить никого смертию.— Еще многие из товарищей Хлопковых спаслися бегством в украйну, где воеводы, по указу государеву, их ловили и вешали, но не могли истребить гнезда злодейского, которое ждало нового, гораздо опаснейшего атамана, чтобы дать ему передовую дружину на пути к столице!

Так готовилась Россия к ужаснейшему из явлений в своей истории; готовилась долго: неистовым тиранством двадцати четырех лет Иоанновых, адскою игрою Борисова властолюбия, бедствиями свирепого голода и всеместных разбоев, ожесточением сердец, развратом народа — всем, что предшествует испровержению государств, осужденных Провидением на гибель или на мучительное возрождение.

Если, как пишут очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях; если долговременный голод не смирил, не исправил их; но еще умножил пороки между ими: распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданию ближних; если и самое лучшее дворянство, и самое духовенство заражалось общею язвою разврата, слабея в усердии к отечеству от беззаконий царя, уже вообще ненавистного: то нужны ли были иные, чудесные знамения для устрашения России? ибо сии же летописцы, следуя древнему обыкновению суеверия, рассказывают, что «нередко восходили тогда два и три солнца вместе; столпы огненные, ночью пылая на тверди, в своих быстрых движениях представляли битву воинств и красным цветом озаряли землю; от бурь и вихрей падали колокольни и башни; женщины и животные производили на свет множество уродов; рыбы во глубине вод и дичь в лесах исчезали, или, употребляемые в пищу, не имели вкуса; алчные псы и волки, везде бегая станицами[1], пожирали людей и друг друга; звери и птицы невиданные явились; орлы парили над Москвою; в улицах у самого дворца, ловили руками лисиц черных; летом (в 1604 году) в светлый полдень воссияла на небе комета, и мудрый старец, за несколько лет пред тем вызванный Борисом из Германии, объявил дьяку государственному (Власьеву), что царству угрожает великая опасность». Оставим суеверие предкам: его мнимые ужасы не столь разнообразны, как действительные в истории народов.

В сие время [26 октября 1603 г.] скончалась Ирина в келии Новодевичьего монастыря, около шести лет не выходив из своего добровольного заключения никуда, кроме церкви, пристроенной к ее смиренному жилищу. Жена знаменитая и душевными качествами и судьбою необыкновенною; без отца, без матери, в печальном сиротстве взысканная удивительным счастием; воспитанная, любимая Иоанном — и добродетельная; первая *державная*

---

[1] С т а н и ц а — стая.

царица России, и в юных летах монахиня; чистая сердцем пред Богом, но омраченная в истории союзом с злым властолюбцем, коему она указала путь к престолу, хотя и невинно, будучи ослеплена любовию к нему и блеском его наружных добродетелей, не зная его тайных преступлений или не веря оным. Мог ли Борис открыть свою темную душу сердцу преданному святой набожности? Он делил с нежною сестрою только добрые чувства: с нею радовался торжеству отечества и скорбел о случаях бедственных для оного; поверял ей, может быть, свое великое намерение просветить Россию, жаловался на злую неблагодарность, на злые умыслы, призраки его беспокойной совести, и на горестную необходимость карать вельмож-изменников; лицемерив пред сестрою в добре, не лицемерил, может быть, только в изъявлениях скорби о кончине ее: Ирина не мешала ему державствовать и служила Ангелом-хранителем, всеми любимая как истинная мать народа и в келии. Погребли инокиню с великолепием царским в девичьем Вознесенском монастыре, близ гроба Иоанновой дочери Марии — и никогда не раздавалось столько милостыни, как в сей день печали; бедные во всех городах российских благословили щедрость Борисову: Ирина была счастлива, смежив глаза навеки: ибо не видала гибели всего, что еще любила в жизни.

Настало время явной казни для того, кто не верил правосудию Божественному в земном мире, надеясь, может быть, смиренным покаянием спасти свою душу от ада (как надеялся Иоанн) и делами достохвальными загладить для людей память своих беззаконий. Не там, где Борис стерегся опасности, незапная опасность явилась; не потомки Рюриковы, не князья и вельможи, им гонимые,— не дети и друзья их, вооруженные местию, умыслили свергнуть его с царства: сие дело умыслил и совершил презренный бродяга: именем младенца, давно лежавшего в могиле... Как бы действием сверхъестественным тень Димитриева вышла из гроба, чтобы ужасом поразить, обезумить убийцу и привести в смятение всю Россию. Начинаем повесть, равно истинную и неимоверную.

Бедный сын боярский, галичанин Юрий Отрепьев, в юности лишась отца, именем Богдана-Якова, стрелецкого сотника, зарезанного в Москве пьяным литвином, служил в доме у Романовых и князя Бориса Черкасского; знал грамоте; оказывал много ума, но мало благоразумия; скучал низким состоянием и решился искать удовольствия беспечной праздности в сане инока, следуя примеру деда, Замятни-Отрепьева, который уже давно монашество-

вал в обители Чудовской. Постриженный вятским игуменом Трифоном и названный Григорием, сей юный чернец скитался из места в место; жил несколько времени в Суздале, в обители Св. Евфимия, в галицкой Иоанна Предтечи и в других; наконец в Чудове монастыре, в келии у деда, под началом. Там патриарх Иов узнал его, посвятил в диаконы и взял к себе для *книжного дела*: ибо Григорий умел не только хорошо списывать, но даже и сочинять каноны святым лучше многих старых книжников того времени. Пользуясь милостию Иова, он часто ездил с ним и во дворец: видел пышность царскую и пленялся ею; изъявлял необыкновенное любопытство; с жадностию слушал людей разумных, особенно когда в искренних, тайных беседах произносилось имя Димитрия царевича; везде, где мог, выведывал обстоятельства его судьбы несчастной и записывал на хартии. Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым иноком: мысль, что смелый самозванец может воспользоваться легковерием россиян, умиляемых памятию Димитрия, и в честь Небесного Правосудия казнить святоубийцу! Семя пало на землю плодоносную: юный диакон с прилежанием читал российские летописи и нескромно, хотя и в шутку, говаривал иногда чудовским монахам: «знаете ли, что я буду царем на Москве?» Одни смеялись; другие плевали ему в глаза, как вралю дерзкому. Сии или подобные речи дошли до ростовского митрополита Ионы, который объявил патриарху и самому царю, что «недостойный инок Григорий хочет быть сосудом диавольским»: добродушный патриарх не уважил митрополитова извета, но царь велел дьяку своему, Смирнову-Васильеву, отправить безумца Григория в Соловки или в Белозерские пустыни, будто бы за ересь, на вечное покаяние. Смирной сказал о том другому дьяку, Евфимьеву; Евфимьев же, будучи свойственником Отрепьевых, умолил его не спешить в исполнении царского указа и дал способ опальному диакону спастися бегством (в феврале 1602 года), вместе с двумя иноками чудовскими, священником Варлаамом и крылошанином Мисаилом Повадиным. Не думали гнаться за ними, и не известили царя, как уверяют, о сем побеге, коего следствия оказались столь важными.

Бродяги-иноки были тогда явлением обыкновенным; всякая обитель служила для них гостиницею: во всякой находили они покой и довольствие, а на путь запас и благословение. Григорий и товарищи его свободно достигли Новагорода Северского, где архимандрит Спасской обители принял их весьма дружелюбно и

дал им слугу с лошадьми, чтобы ехать в Путивль; но беглецы, отослав провожатого, спешили в Киев, и спасский архимандрит нашел в келии, где жил Григорий, следующую записку: «Я царевич Димитрий, сын Иоаннов, и не забуду твоей ласки, когда сяду на престол отца моего». Архимандрит ужаснулся; не знал, что делать; решился молчать.

Так в первый раз открылся Самозванец еще в пределах России; так беглый диакон вздумал грубою ложью низвергнуть великого монарха и сесть на его престоле, в державе, где венценосец считался земным Богом, — где народ еще никогда не изменял царям, и где присяга, данная государю *избранному*, для верных подданных была не менее священною! Чем, кроме действия непостижимой Судьбы, кроме воли Провидения, можем изъяснить не только успех, но и самую мысль такого предприятия? Оно казалось безумием; но безумец избрал надежнейший путь к цели: Литву!

Там древняя, естественная ненависть к России всегда усердно благоприятствовала нашим изменникам, от князей Шемякина, Верейского, Боровского и Тверского до Курбского и Головина: туда устремился и Самозванец, не прямою дорогою, а мимо Стародуба, к Луевым горам, сквозь темные леса и дебри, где служил ему путеводителем новый спутник его, инок *Днепрова* монастыря, Пимен, и где, вышедши наконец из российских владений близ литовского селения Слободки, он принес усердную благодарность Небу за счастливое избежание всех опасностей. В Киеве, снискав милость знаменитого воеводы князя Василия Константиновича Острожского, Григорий жил в Печерском монастыре, а после в Никольском и в Дермане; везде священнодействовал как диакон, но вел жизнь соблазнительную, презирая устав воздержания и целомудрия; хвалился свободою мнений, любил толковать о Законе с иноверцами и был даже в тесной связи с анабаптистами. Между тем безумная мысль не усыпала в голове прошлеца: он распустил темную молву о спасении и тайном убежище Димитрия в Литве; свел знакомство с другим отчаянным бродягою, иноком Крыпецкого монастыря, Леонидом: уговорил его назваться своим именем, то есть Григорием Отрепьевым; а сам, скинув с себя одежду монашескую, явился мирянином, чтобы удобнее приобрести навыки и знания, нужные ему для ослепления людей. Среди густых камышей днепровских гнездились тогда шайки удалых запорожцев, бдительных стражей и дерзких грабителей Литовского княжества: у них, как пишут, расстрига Отрепьев несколько времени учился

владеть мечом и конем, в шайке Герасима Евангелика, старшины именитого; узнал и полюбил опасность; добыл первой воинской опытности и корысти. Но скоро увидели прошлеца на ином феатре: в мирной школе городка волынского, Гащи, за польскою и латинскою грамматикою: ибо мнимому царевичу надобно было действовать не только оружием, но и словом. Из школы он перешел в службу к князю Адаму Вишневецкому, который жил в Брагине со всею пышностию богатого вельможи. Тут Самозванец приступил к делу — и если искал надежного, лучшего пособника в предприятии равно дерзком и нелепом, то не обманулся в выборе: ибо Вишневецкий, сильный при дворе и в Государственной думе многочисленными друзьями и прислужниками, соединял в себе надменность с умом слабым и легковерием младенца. Новый слуга знаменитого пана вел себя скромно; убегал всяких низких забав, ревностно участвовал только в воинских, и с отменною ловкостию. Имея наружность некрасивую — рост средний, грудь широкую, волосы рыжеватые, лицо круглое, белое, но совсем не привлекательное, глаза голубые без огня, взор тусклый, нос широкий, бородавку под правым глазом, также на лбу, и одну руку короче другой — Отрепьев заменял сию невыгоду живостию и смелостию ума, красноречием, осанкою благородною. Заслужив внимание и доброе расположение господина, хитрый обманщик притворился больным, требовал духовника, и сказал ему тихо: «Умираю. Предай мое тело земле с честию, как хоронят детей царских. Не объявлю своей тайны до гроба; когда же закрою глаза навеки, ты найдешь у меня под ложем свиток, и все узнаешь; но другим не сказывай. Бог судил мне умереть в злосчастии». Духовник был иезуит: он спешил известить князя Вишневецкого о сей тайне, а любопытный князь спешил узнать ее: обыскал постелю мнимоумирающего; нашел бумагу, заблаговременно изготовленную, и прочитал в ней, что слуга его есть царевич Димитрий, спасенный от убиения своим верным медиком; что злодеи, присланные в Углич, умертвили одного сына иерейского, вместо Димитрия, коего укрыли добрые вельможи и дьяки Щелкаловы, а после выпроводили в Литву, исполняя наказ Иоаннов, данный им на сей случай. Вишневецкий изумился: еще хотел сомневаться, но уже не мог, когда хитрец, виня нескромность духовника, раскрыл свою грудь, показал золотой, драгоценными каменьями осыпанный крест (вероятно где-нибудь украденный) и с слезами объявил, что сия святыня дана ему крестным отцом князем Иваном Мстиславским.

Вельможа литовский был в восхищении. Какая слава представлялась для него возможною! бывшего слугу своего увидеть на троне московском! Он не щадил ничего, чтобы поднять мнимого Димитрия с одра смертного, и в краткое время его притворного выздоровления изготовив ему великолепное жилище, пышную услугу, богатые одежды, успел во всей Литве разгласить о чудесном спасении Иоаннова сына. Брат князя Адама Константин Вишневецкий и тесть сего последнего воевода сендомирский Юрий Мнишек взяли особенное участие в судьбе столь знаменитого изгнанника, как они думали, веря свитку, золотому кресту обманщика и свидетельству двух слуг: обличенного вора беглеца Петровского и другого, Мнишкова холопа, который в Иоанново время был нашим пленником и будто бы видал Димитрия (младенца двух или трех лет) в Угличе: первый уверял, что царевич действительно имел приметы Самозванца (дотоле никому неизвестные): бородавки на лице и короткую руку. Вишневецкие донесли Сигизмунду, что у них истинный наследник Феодоров: а Сигизмунд ответствовал, что желает его видеть, уже быв извещен о сем любопытном явлении другими, не менее ревностными доброхотами Самозванца: папским нунцием Рангони и пронырливыми иезуитами, которые тогда царствовали в Польше, управляя совестию малодушного Сигизмунда, и легко вразумили его в важные следствия такого случая.

В самом деле, что могло казаться счастливее для Литвы и Рима? Чего нельзя было им требовать от благодарности Лжедимитрия, содействуя ему в приобретении царства, которое всегда грозило Литве и всегда отвергало духовную власть Рима? В опасном неприятеле Сигизмунд мог найти друга и союзника, а папа усердного сына в непреклонном ослушнике. Сим изъясняется легковерие короля и нунция: думали не об истине, но единственно о пользе; одно бедствие, одно смятение и междоусобие России уже пленяло воображение наших врагов естественных; и если робкий Сигизмунд еще колебался, то ревностные иезуиты победили его нерешимость, представив ему способ, обольстительный для душ слабых: действовать не открыто, не прямо, и под личиною мирного соседа ввергнуть пламя войны в Россию. Уже Рангони находился в тесной связи с Самозванцем, и деятельные иезуиты служили посредниками между ими; уже с обеих сторон изъяснились и заключили договор: Лжедимитрий письменно обязался за себя и за Россию пристать к латинской церкви, а Рангони быть его ходатаем не

только в Польше и в Риме, но и во всей Европе; советовал ему спешить к королю и ручался за доброе следствие их свидания.

Вместе с воеводою Сендомирским и князем Вишневецким Отрепьев (в 1603 или 1604 году) явился в Кракове, где нунций немедленно посетил его. «Я сам был тому свидетелем, — пишет секретарь королевский Чилли, *веря мнимому царевичу*: — я видел, как нунций обнимал и ласкал Димитрия, беседуя с ним о России и говоря, что ему должно торжественно объявить себя католиком для успеха в своем деле. Димитрий с видом сердечного умиления клялся в непременном исполнении данного им обета и вторично подтвердил сию клятву в доме у нунция, в присутствии многих вельмож. Угостив царевича пышным обедом, Рангони повез его во дворец. Сигизмунд, обыкновенно важный и величавый, принял Димитрия в кабинете, стоя, и с ласковою улыбкою. Димитрий поцеловал у него руку, рассказал ему всю свою историю», и заключил так: *Государь! вспомни, что ты сам родился в узах и спасен единственно Провидением. Державный изгнанник требует от тебя сожаления и помощи.* «Чиновник королевский дал знак царевичу, чтобы он вышел в другую комнату, где воевода Сендомирский и все мы ждали его. Король остался наедине с нунцием и чрез несколько минут снова призвал Димитрия. Положив руку на сердце, смиренный царевич более вздохами, нежели словами убеждал Сигизмунда быть милостивым. Тогда король с веселым видом, приподняв свою шляпу, сказал: *Да поможет вам Бог, московский князь Димитрий! А мы, выслушав и рассмотрев все ваши свидетельства, несомнительно видим в вас Иоаннова сына, и в доказательство нашего искреннего благоволения определяем вам ежегодно 40 000 злотых»*, (54 000 нынешних рублей серебряных) *«на содержание и всякие издержки. Сверх того вы, как истинный друг республики, вольны сноситься с нашими панами и пользоваться их усердным вспоможением.* Сия речь столько восхитила Димитрия, что он не мог сказать ни единого слова: нунций благодарил короля, привез царевича в дом к воеводе Сендомирскому и, снова обняв его, советовал ему действовать немедленно, чтобы скорее достигнуть цели: отнять державу у Годунова и навеки утвердить в России Веру католическую с иезуитами». Прежде всего надлежало самому Лжедимитрию принять сию Веру: чего неотменно хотел Рангони; но условились не оглашать того до времени, боясь закоренелой ненависти россиян к латинской церкви. Действие совершилось в доме краковских

иезуитов. Расстрига шел к ним тайно с каким-то вельможею польским в бедном рубище, закрывая лицо свое, чтобы никто не узнал его; выбрал одного из них себе в духовники, исповедался, отрекся от нашей церкви, и как новый ревностный сын западной принял Тело Христово с миропомазанием от римского нунция. Так сказано в письмах *Иезуитского общества*, которое славило будущие великие добродетели мнимого Димитрия, надеясь усердием его подчинить Риму *все неизмеримые страны Востока!* — Тогда Отрепьев, следуя наставлениям нунция, собственною рукою написал красноречивое латинское письмо к папе, чтобы иметь в нем искреннего покровителя — и Климент VIII не замедлил удостоверить его в своей готовности вспомогать ему всею духовною властию апостольского наместника.

Должно отдать справедливость уму расстриги: предав себя иезуитам, он выбрал действительнейшее средство одушевить ревностию беспечного Сигизмунда, который, вопреки чести, совести, народному праву и мнению многих знатных вельмож, решился быть сподвижником бродяги. Славный друг Баториев гетман Замойский был еще жив: король писал к нему о своем важном предприятии, говоря, что республика, доставив Димитрию корону, будет располагать силами московской державы, легко обуздает турков, хана и шведов, возьмет Эстонию и всю Ливонию, откроет путь для своей торговли в Персию и в Индию; но что сие великое намерение, требуя тайны и скорости, не может быть предложено сейму, дабы Годунов не имел времени изготовиться к обороне. Тщетно старец Замойский, пан Жолкевский, князь Острожский и другие вельможи благоразумные удерживали короля, не советуя ему легкомысленно вдаваться в опасность такой войны, особенно без ведома чинов государственных и с малыми силами; тщетно знаменитый пан Збаражский доказывал, что мнимый Димитрий есть без сомнения обманщик. Убежденный иезуитами, но не дерзая самовластно нарушить двадцатилетнего перемирия, заключенного между им и Борисом, король велел Мнишку и Вишневецким поднять знамя против Годунова именем Иоаннова сына и составить рать из вольницы; определил ей на жалованье доходы Сендомирского воеводства; внушал дворянам, что слава и богатство ожидают их в России и, торжественно возложив с своей груди златую цепь на расстригу, отпустил его с двумя иезуитами из Кракова в Галицию, где близ Львова и Самбора, в местностях вельможи Мнишка, под распущенными знаменами уже толпилась шляхта и чернь, чтобы идти на Москву.

Главою и первым ревнителем сего подвига сделался старец Мнишек, коему старость не мешала быть ни честолюбивым, ни легкомысленным до безрассудности. Он имел юную дочь прелестницу, Марину, подобно ему честолюбивую и ветреную: Лжедимитрий, гостя у него в Самборе, объявил себя, искренно или притворно, страстным ее любовником и вскружил ей голову именем царевича; а гордый воевода с радостию благословил сию взаимную склонность, в надежде видеть Россию у ног своей дочери, как наследственную собственность его потомства. Чтобы утвердить сию лестную надежду и хитро воспользоваться еще неверными обстоятельствами жениха, Мнишек предложил ему условия, без малейшего сомнения принятые расстригою, который дал на себя следующее обязательство (писанное 25 мая 1604, собственною рукою воеводы Сендомирского): «Мы, Димитрий Иванович, Божиею милостию *царевич* великой России, углицкий, дмитровский и проч., князь от колена предков своих, и всех государств московских государь и наследник, по уставу Небесному и примеру монархов христианских избрали себе достойную супругу, вельможную панну Марину, дочь ясновельможного пана Юрия Мнишка, коего считаем отцом своим, испытав его честность и любовь к нам, но отложили бракосочетание до нашего воцарения: тогда — в чем клянемся именем Св. Троицы и прямым словом царским — женюся на панне Марине, обязываясь: 1) выдать немедленно миллион злотых» (1 350 000 нынешних серебряных рублей) «на уплату его долгов и на ее путешествие до Москвы, сверх драгоценностей, которые пришлем ей из нашей казны московской; 2) торжественным посольством известить о сем деле короля Сигизмунда и просить его благосклонного согласия на онос; 3) будущей супруге нашей уступить два великие государства, Новгород и Псков, со всеми уездами и пригородами, с людьми думными, дворянами, детьми боярскими и с духовенством, так чтобы она могла судить и рядить в них самовластно, определять наместников, раздавать вотчины и поместья своим людям служивым, заводить школы, строить монастыри и церкви латинской Веры, свободно исповедуя сию Веру, которую и мы сами приняли с твердым намерением ввести оную во всем государстве Московском. Если же — от чего Боже сохрани — Россия воспротивится нашим мыслям и мы не исполним своего обязательства в течение года, то панна Марина вольна развестися со мною или взять терпение еще на год», и проч. Сего не довольно: в восторге благо-

дарности Лжедимитрий другою грамотою (писанною 12 июня 1604) отдал Мнишку в наследственное владение княжество Смоленское и Северское, кроме некоторых уездов, назначенных им в дар королю Сигизмунду и республике в залог вечного, ненарушимого мира между ею и Московскою державою... Так беглый диакон, чудесное орудие гнева Небесного, под именем царя российского готовился предать Россию, с ее величием и православием, в добычу иезуитам и ляхам! Но способы его еще не ответствовали важности замысла.

Ополчалась в самом деле не рать, а сволочь[1] на Россию: весьма немногие знатные дворяне, в угодность королю, мало уважаемому, или прельщаясь мыслию храбровать за изгнанника царевича, явились в Самборе и Львове: стремились туда бродяги, голодные и полунагие, требуя оружия не для победы, но для грабежа, или жалованья, которое щедро выдавал Мнишек в надежде на будущее: на богатое вено Марины и доходы Смоленского княжества. Расстрига и друзья его чувствовали нужду в иных, лучших сподвижниках и должны были естественно искать их в самой России. Достойно замечания, что некоторые из московских беглецов, детей боярских, исполненных ненависти к Годунову, укрываясь тогда в Литве, не хотели быть участниками сего предприятия, ибо видели обман и гнушались злодейством: пишут, что один из них, Яков Пыхачев, даже всенародно, и пред лицом короля, свидетельствовал о сем грубом обмане вместе с товарищем расстригиным, иноком Варлаамом, встревоженным совестию; что им не верили и прислали обоих скованных к воеводе Мнишку в Самбор, где Варлаама заключили в темницу, а Пыхачева, обвиняемого в намерении умертвить Лжедимитрия, казнили. Другие беглецы, менее совестные, дворянин Иван Борошин с десятью или пятнадцатью клевретами, пали к ногам мнимого царевича и составили его первую дружину русскую: скоро нашлася гораздо сильнейшая. Зная свойство мятежных донских козаков — зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбои,— Лжедимитрий послал на Дон литвина Свирского с грамотою; писал, что он сын первого царя Белого, коему сии вольные христианские витязи присягнули в верности; звал их на дело славное: свергнуть раба и злодея с престола Иоаннова. Два атамана, Андрей Корела и Михайло Нежакож, спешили видеть Лжедимитрия;

---

[1] Сволочь — дрянной люд, шатуны, воришки, негодяи.

видели его честимого Сигизмундом, вельможными панами и возвратились к товарищам с удостоверением, что их зовет истинный царевич. Удальцы донские сели на коней, чтобы присоединиться к толпам Самозванца. Между тем усердный слуга его пан Михайло Ратомский, остерский староста, волновал нашу украйну чрез своих лазутчиков и двух монахов русских, вероятно Мисаила и Леонида, из коих последний, взяв на себя имя Григория Отрепьева, мог свидетельствовать, что оно не принадлежит Самозванцу. В городах, в селах и на дорогах подкидывали грамоты от Лжедимитрия к россиянам с вестию, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить; а бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнездясь в земле Северской, обрадовались: наступало их время. Кто бежал в Галицию к Самозванцу, кто в Киев, где Ратомский также выставил знамя для собрания вольницы: он поднял и козаков запорожских, прельщенных мыслию вести бывшего ученика своего на царство Московское.— Столько движения, столько гласных происшествий могло ли утаиться от Годунова?

Еще прежде, нежели Самозванец открылся Вишневецким, слух, распущенный им в Литве о Димитрии, сделался, вероятно, известным Борису. В генваре 1604 года нарвский сановник Тирфельд писал с гонцом к абовскому градоначальнику, что мнимо убитый сын Иоаннов живет у козаков: гонца задержали в Иванегороде, и письмо его доставили царю. В то же время пришли и вести из Литвы и подметные грамоты Лжедимитриевы от наших воевод украинских; в то же время на берегах Волги донские козаки разбили окольничего Семена Годунова, посыланного в Астрахань и, захватив несколько стрельцов, отпустили их в Москву с таким наказом: «объявите Борису, что мы скоро будем к нему с царевичем Димитрием!» Один Бог видел, что происходило в душе Годунова, когда он услышал сие роковое имя!.. но чем более устрашился, тем более хотел казаться бесстрашным. Не сомневаясь в убиении истинного сына Иоаннова, он изъяснял для себя столь дерзкую ложь умыслом своих тайных врагов, и велев лазутчикам узнать в Литве, кто сей Самозванец, искал заговора в России: подозревал бояр; призвал в Москву царицу-инокиню, мать Димитриеву, и ездил к ней в Девичий монастырь с патриархом, воображая, как вероятно, что она могла быть участницею предполагаемого кова, и надеясь лестию или угрозами выведать ее тайну: но царица-инокиня, равно как и бояре, ничего не зна-

15 Зак. № 40

ла, с удивлением и, может быть, не без внутреннего удовольствия слыша о Лжедимитрии, который не заменял сына для матери, но страшил его убийцу. Сведав наконец, что Самозванец есть расстрига Отрепьев и что дьяк Смирной не исполнил царского указа сослать его в пустыню Беломорскую, Борис усилием притворства не оказал гнева, ибо хотел уверить россиян в маловажности сего случая: Смирной трепетал, ждал гибели и был казнен, но после, и будто бы за другую вину: за расхищение государственного достояния. Удвоив заставы на литовской границе, чтобы перехватывать вести о Самозванце, однако ж чувствуя невозможность скрыть его явление от России и боясь молчанием усилить вредные толки, Годунов обнародовал историю беглеца чудовского, вместе с допросами монаха Пимена, Венедикта, чернца смоленского, и мещанина ярославца, иконника Степана: первый объявлял, что он сам вывел бродягу Григория в Литву, но не хотел идти с ним далее и возвратился; второй и третий свидетельствовали, что они знали Отрепьева диаконом в Киеве и вором между запорожцами; что сей негодяй, богоотступник, чернокнижник с умыслу князей Вишневецких и самого короля дерзает в Литве называться Димитрием. В то же время царь послал, *от имени бояр,* дядю расстригина Смирного-Отрепьева к Сигизмундовым вельможам, чтобы в их присутствии изобличить племянника; послал и к донским козакам дворянина Хрущова вывести их из бедственного заблуждения. Но грамоты и слова не действовали: вельможи королевские не хотели показать Лжедимитрия Смирнову-Отрепьеву и сухо ответствовали, что им нет дела до мнимого царевича российского; а козаки схватили Хрущова, оковали и привезли к Самозванцу. Уже расстрига (15 августа) двинулся с своими дружинами к берегам днепровским и стоял (17 того же месяца) в Сокольниках: Хрущов, представленный ему в цепях, взглянул на него... залился слезами и пал на колена, воскликнув: «вижу Иоанна в лице твоем: я твой слуга навеки!» С него сняли оковы; и сей первый чиновный изменник, ослепленный страхом или корыстию, в знак усердия донес своему новому государю, мешая истину с ложью, что «народ изъявляет в России любовь к Димитрию; что самые знатные люди, Меньшой Булгаков и другие, пили у себя с гостями чашу за его здравие и были, по доносу слуг, осуждены на казнь; что Борис умертвил и сестру, вдовствующую царицу Ирину, которая всегда видела в нем монарха беззаконного; что он, не смея явно ополчаться против Димитрия,

сводит полки в Ливнах, будто бы на случай ханского впадения; что главные воеводы их Петр Шереметев и Михайло Салтыков, встретясь с ним, Хрущовым, в искренней беседе сказали: *нас ожидает не Крымская, а совсем иная война — но трудно поднять руку на государя природного*, что Борис нездоров, едва ходит от слабости в ногах и думает тайно выслать казну московскую в Астрахань и в Персию». Годунов без сомнения не убил Ирины и не думал искать убежища в Персии; еще не видал дотоле измены в россиянах и не казнил ни одного человека за явную приверженность к Самозванцу; с жадностию слушая лазутчиков, доносителей, клеветников, воздерживал себя от тиранства для своей безопасности в таких обстоятельствах и терзаемый подозрениями, еще неосновательными, хотел знаками великодушной доверенности тронуть бояр и чиновников: но действительно медлил двинуть значительную рать прямо к литовским пределам, в доказательство ли бесстрашия, боясь ли сильным ополчением дать народу мысль о важности неприятеля, избегая ли войны с Польшею до самой крайней необходимости? Сия необходимость была уже очевидна: король Сигизмунд вооружал на Бориса не только Самозванца, но и крымских разбойников, убеждая хана вступить вместе с Лжедимитрием в Россию. Борис знал все и еще послал в Варшаву лично к королю дворянина Огарева, усовестить его представлением, сколь унизительно для венценосца христианского быть союзником подлого обманщика; вторично объявлял, кто сей мнимый царевич, и спрашивал, чего Сигизмунд желает: мира или войны с Россиею? Сигизмунд хотел лукавствовать и подобно своим вельможам отвечал, что не стоит за Лжедимитрия и не мыслит нарушать перемирия; что некоторые ляхи самовольно помогают сему бродяге, *ушедшему* в Галицию, и будут наказаны как мятежники. «Мы хотели обмануть Бога (пишет современник, один из знатных ляхов), уверяя бессовестно, что король и республика не участвуют в Димитриевом предприятии». — Уже Самозванец начал действовать, а царь велел патриарху Иову еще писать к духовенству литовскому и польскому, чтобы оно для блага обеих держав старалось удалить кровопролитие за богоотступника расстригу; все наши епископы скрепили патриаршую грамоту своими печатями, клятвенно свидетельствуя, что они все знали Отрепьева монахом. Такую же грамоту написал Иов и к киевскому воеводе князю Василию Острожскому, напоминая ему, что он сам знал сего беглеца диаконом, и заклиная его быть достойным

сыном церкви: обличить расстригу, схватить и прислать в Москву. Но гонцы патриарховы не возвратились: их задержали в Литве, и не ответствовали Иову ни духовенство, ни князь Острожский: ибо Самозванец действовал уже с блестящим успехом.

Сие грозное ополчение, которое шло низвергнуть Годунова, состояло едва ли из 1500 воинов исправных, всадников и пеших, кроме сволочи, без устройства и почти без оружия. Главными предводителями были сам Лжедимитрий (сопровождаемый двумя иезуитами), юный Мнишек (сын воеводы Сендомирского), Дворжицкий, Фредро и Неборский; каждый из них имел свою особенную дружину и хоругвь; а старец Мнишек первенствовал в их думе. Они соединились близ Киева с двумя тысячами донских козаков, приведенных Свирским, с толпами вольницы, киевской и северской, ополченной Ратомским, и 16 октября (1604 г.) вступили в Россию... Тогда единственно Борис начал решительно готовиться к обороне: послал надежных воевод в украинские крепости с головами стрелецкими; а знатных бояр, князя Дмитрия Шуйского, Ивана Годунова и Михайла Глебовича Салтыкова в Брянск, чтобы собрать там многочисленное полевое войско. Еще Борис мог стыдиться страха, видя против себя толпы ляхов, нестройной вольницы и козаков, предводимые беглым расстригою; но сей человек назывался именем ужасным для Бориса и любезным для России!

Лжедимитрий шел с мечом и с манифестом: объявлял россиянам, что он, невидимою десницею Всевышнего устраненный от ножа Борисова и долго сокрываемый в неизвестности, сею же рукою изведен на феатр мира под знаменами сильного, храброго войска и спешит в Москву взять наследие своих предков, венец и скипетр Владимиров; напоминал всем чиновникам и гражданам присягу, данную ими Иоанну; убеждал их оставить хищника Бориса и служить государю законному; обещал мир, тишину, благоденствие, коих они не могли иметь в царствование злодея богопротивного. Вместе с тем воевода Сендомирский именем короля и вельможных панов обнародовал, что они, убежденные доказательствами очевидными, несомненно признали Димитрия истинным великим князем московским, дали ему рать и готовы дать еще сильнейшую для восшествия на престол отца его. Сей манифест довершил действие прежних подметных грамот Лжедимитрия в украйне, где не только сподвижники Хлопковы и слуги опальных бояр, ненавистники Годунова — не только низкая

чернь, но и многие люди воинские поверили Самозванцу, не узнавая беглого диакона в союзнике короля Сигизмунда, окруженном знатными ляхами; в витязе ловком, искусном владеть мечом и конем; в военачальнике бодром и бесстрашном: ибо Лжедимитрий был всегда впереди, презирал опасность, и взором спокойным искал, казалось, не врагов, а друзей в России. Несчастия Годунова времени, надежда на лучшее, любовь к чрезвычайному и золото, рассыпаемое Мнишком и Вишневецкими, также способствовали легковерию народному. Тщетно градоначальники Борисовы хотели мешать распространению листов Самозванцевых, опровергали и жгли их: листы ходили из рук в руки, готовя измену. Начались тайные сношения между Самозванцем и городами украинскими, где лазутчики его действовали с величайшею ревностию, обольщая умы и страсти людей — доказывая, что присяга, данная Годунову, не имеет силы: ибо обманутый народ, присягая ему, считал сына Иоаннова мертвым; что сам Борис знает сию истину, обезумел в ужасе и не противится мирному вступлению царевича в Россию. Самые чиновники колебались, или в оцепенении ждали дальнейших происшествий; самые воеводы, видя общее движение в пользу Лжедимитрия, опасались, кажется, употребить строгость и не изъявили должного усердия. Составились заговоры, и мятеж вспыхнул.

Отрепьев на левом берегу Днепра разделил свое войско: послал часть его к Белугороду, а сам шел вверх Десны, вслед за рассыпною дружиною переметчиков, которые служили ему верными путеводителями, зная места и людей. Едва поставив ногу на Русскую землю (18 октября), в Слободе Шляхетской, он сведал о своем первом успехе: жители и воины Моравска отложились от Бориса; связали, выдали воевод своих Лжедимитрию; встретили его с хлебом и солью. Чувствуя важность начала в таком предприятии, умный пришлец вел себя с отменною ловкостию: торжественно славил Бога; изъявлял милость и величавость; не укорял воевод моравских верностию к Борису, жалел только об их заблуждении, и дал им свободу; жаловал, ласкал изменников, граждан, воинов, видом и разговором, не без искусства представляя лицо державного, так что от литовского рубежа до самых внутренных областей России с неимоверною быстротою промчалась добрая слава о Лжедимитрии — и знаменитая столица Ольговичей не усомнилась следовать примеру Моравска. 26 октября покорился Самозванцу Чернигов, где ратники и граждане

также встретили его с хлебом и солью, выдав ему воевод, из коих главный, князь Иван Андреевич Татев, внутренне ненавидя Бориса, как второй Хрущов бесстыдно вступил в службу к обманщику. Там хранилась значительная казна: Лжедимитрий, разделив ее между своими воинами, усилил тем их ревность[1]; умножил и число, присоединив к ним 300 стрельцов изменников и жителей, ополченных усердием к нему и духом буйным. Взяв из черниговской крепости 12 пушек, Самозванец оставил в ней начальником ляха и спешил к Новугороду Северскому. Он надеялся быть везде завоевателем без кровопролития и действительно, на берегах Десны, Свины и Снова, видел единственно коленопреклонение народа и слышал радостный клик: «Да здравствует государь наш, Димитрий!»

Но вести не было из Новагорода: жители не высылали ко Лжедимитрию ни призывных грамот, ни воевод связанных: там бодрствовал один человек, решительный, смелый — и еще верный! Сей витязь был Петр Федорович Басманов, брат убитого разбойниками (в 1604 году) Ивана Басманова, дотоле известный только чрезвычайною судьбою отца и деда, которые всем жертвуя Иоанновой милости, своею гибелию доказали Небесное правосудие: наследовав их дух царедворческий, он соединял в себе великие способности ума и даже некоторые благородные качества сердца и совестию уклонною, нестрогою, будучи готов на добро и зло для первенства между людьми. Борис видел в юном Басманове только достоинства; вывел его, вместе с братом, из родовой опалы на степень знатности, в 1601 году дав ему сан окольничего, и вместе с боярином князем Никитою Романовичем Трубецким послал было спасти Чернигов; но они за 15 верст до сего города сведали, что там уже Самозванец, и заключились в Новегороде. Тогда узнали Басманова! Великая опасность поставила его выше боярина Трубецкого: приняв начальство в городе, где все колебалось от внушений измены или страха, он истиною и грозою обуздал предательство: сам уверенный в обмане, уверил в нем и других; сам не боясь смерти, устрашил мятежников казнию; сжег предместия, и с пятисотною дружиною стрельцов московских заперся в крепости, волею или неволею взяв к себе и знатнейших жителей. 11 ноября Лжедимитрий подступил к Новугороду: тут россияне приветствовали его, в первый раз, ядрами и пулями! Он требовал переговоров: Басманов с

[1] Ревность — рвение, усердие.

зажженным фитилем стоял на стене и слушал клеврета Самозванцева ляха Бучинского, который сказал, что царь и великий князь Димитрий готов быть отцом воинов и жителей, если ему сдадутся, или, в случае упорства, не оставит живым ни грудного младенца в Новегороде. «Великий князь и царь в Москве, — ответствовал Басманов, — а ваш Димитрий разбойник сядет на кол вместе с вами». Отрепьев посылал и российских изменников уговаривать Басманова, но бесполезно; хотел взять крепость смелым приступом и был отражен; хотел огнем разрушить ее стены, но не успел и в том; лишился многих людей, и видел бедствие пред собою: стан его уныл; Басманов давал время войску Борисову ополчиться и пример неробости иным градоначальникам.

Но добрые вести утешили Самозванца. В крепком Путивле начальствовали знатный окольничий Михайло Салтыков и князь Василий Рубец-Мосальский: сей последний, как воин не без достоинства, как гражданин без чести и правил с дьяком Сутуповым объявил себя за[1] мнимого царевича; сам возмутил граждан и ратников; сам связал Салтыкова и, (18 ноября) предав сие важное место расстриге, сделался с того времени любимцем его и советником. Не менее важный Рыльск, волость Комарницкая, или Севская, Борисов, Белгород, Волуйки, Оскол, Воронеж, Кромы, Ливны, Елец (где находился и ревностно действовал тогда монах Леонид под именем Григория Отрепьева) также поддалися Самозванцу. Вся южная Россия кипела бунтом; везде вязали чиновников, едва ли искренно верных Борису, и представляли Лжедимитрию, который немедленно освобождал их и с милостию принимал к себе в службу. Рать его умножалась новыми толпами изменников. Перехватив казну, тайно везенную московскими купцами в медовых бочках к начальникам северских городов, он послал знатную часть ее в Литву к князю Вишневецкому и пану Рожинскому, чтобы набирать там новые дружины сподвижников; а сам еще стоял под Новым городом, стрелял из больших пушек, разрушал стены. Басманов не слабел духом и мужествовал в счастливых вылазках; но видя разрушение крепости и зная, что войско Борисово идет спасти ее, он хитро заключил перемирие с Самозванцем, будто бы в ожидании вестей из Москвы, и во всяком случае обязываясь сдаться ему чрез две недели. Уже Самозванец считал Новгород своим и Басманова пленником.

---

[1] З а ... ц а р е в и ч а — то есть на его стороне.

Сии быстрые успехи обольщения поразили Годунова и всю Россию. Царь увидел, вероятно, свою ошибку — и сделал другую: увидел, что ему надлежало бы не обманывать людей знаками лицемерного презрения к расстриге, но готовым, сильным войском отразить его от нашей границы и не впускать в Северскую землю, где еще жил старый дух литовский и где скопище злодеев, беглецов, слуг опальных, естественно ожидало мятежа как счастья; где народ и самые люди воинские, удивленные беспрепятственным входом Самозванца в Россию, могли, веря внушению его лазутчиков, думать, что Годунов действительно не смеет противиться истинному Иоаннову сыну. Новое доказательство, сколь ум обманчив в раздоре с совестию, и как хитрость, чуждая добродетели, запутывается в сетях собственных! Еще Борис мог бы исправить сию ошибку: сесть на бранного коня и самолично вести россиян против злодея. Присутствие венценосца, его великодушная смелость и доверенность без сомнения имели бы действие. Не рожденный Героем, Годунов однако ж с юных лет знал войну; умел силою души своей оживлять доблесть в сердцах и спасти Москву от хана, будучи только правителем. За него были святость венца и присяги, навык повиновения, воспоминание многих государственных благодеяний — и Россия на поле чести не предала бы царя расстриге. Но смятенный ужасом, Борис не дерзал идти навстречу к Димитриевой тени: подозревал бояр и вручил им судьбу свою, назвав главным воеводою Мстиславского, добросовестного, лично мужественного, но более знатного, нежели искусного предводителя; велел строго людям ратным, всем без исключения, спешить в Брянск, а сам как бы укрывался в столице!

Одним словом, суд Божий гремел над державным преступником. Никто из россиян до 1604 года не сомневался в убиении Димитрия, который возрастал на глазах своего Углича и коего видел весь Углич мертвого, в течение пяти дней орошав его тело слезами: следственно россияне не могли благоразумно верить воскресению царевича; но они — *не любили Бориса!* Сие несчастное расположение готовило их быть жертвою обмана. Сам Борис ослабил свидетельство истины, казнив важнейших очевидцев Димитриевой смерти и явно ложными показаниями затмив ее страшные обстоятельства. Еще многие знали верно сию истину в Угличе, в Пелыме, но там жила в сердцах ненависть к тирану. Всех громогласнее, как пишут, свидетельствовал в столице князь Василий Шуйский, торжественно, на лобном месте, о несомнительной

смерти царевича, им виденного во гробе и в могиле. То же писал и патриарх во все концы России, ссылаясь и на мать Димитриеву, которая сама погребала сына. Но бессовестность Шуйского была еще в свежей памяти; знали и слепую преданность Иова к Годунову; слышали только имя царицы-инокини: никто не видался, никто не говорил с нею, снова заключенною в пустыне Выксинской. Еще не имев примера в истории Самозванцев и не понимая столь дерзкого обмана; любя древнее племя царей и с жадностию слушая тайные рассказы о мнимых добродетелях Лжедимитрия, россияне тайно же передавали друг другу мысль, что Бог действительно каким-нибудь чудом, достойным Его правосудия, мог спасти Иоаннова сына для казни ненавистного хищника и тирана. По крайней мере сомневались и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Расстрига с своими ляхами уже господствовал в наших пределах, а воины отечества уклонялись от службы, шли неохотно в Брянск под знамена, и тем неохотнее, чем более слышали об успехах Лжедимитрия, думая, что сам Бог помогает ему. Так нелюбовь к государю рождает нечувствительность и к государственной чести!

В сей опасности, уже явной, Борис прибегнул к двум средствам: к церкви и к строгости. Он велел иерархам петь вечную память Димитрию в храмах, а расстригу с его клевретами, настоящими и будущими, клясть всенародно, на амвонах и торжищах, как злого еретика, умышляющего не только похитить царство, но и ввести в нем латинскую Веру: следственно Борис уже знал или угадывал обет, данный Лжедимитрием иезуитам и легату папскому. Хотя народ, видев слабость и повторство святителей в исследовании Димитриева убиения, не мог иметь к ним беспредельной доверенности; но ужас анафемы должен был тронуть совесть людей набожных и вселить в них омерзение к человеку, отверженному церквию и преданному ею суду Божию. Второе средство также не осталось бесплодным. Издав указ, чтобы с каждых двухсот четвертей земли обработанной выходил ратник в поле с конем, доспехом и запасом — следственно убавив до половины число воинов, определенное Уставом Иоанновым, — Борис требовал скорости; писал, что владельцы богатые живут в домах, не заботясь о гибели царства и церкви; грозил жестокою казнию ленивым и беспечным, не упоминая о злонамеренных, и действительно велел наказывать ослушных без пощады: лишением имения, темницею и кнутом; велел, чтобы и все слуги патриаршие, святи-

тельские и монастырские, годные для ратного дела, спешили к войску под опасением тяжкого гнева царского в случае медленности. «Бывали времена, — сказано в сем определении Государственного совета, — когда и самые иноки, священники, диаконы вооружались для спасения отечества, не жалея своей крови; но мы не хотим того: оставляем их в храмах, да молятся о государе и государстве». Сии меры, угрозы и наказания недель в шесть соединили до пятидесяти тысяч всадников в Брянске, вместо полумиллиона, в 1598 году ополченного призывным словом царя, *которого любила Россия!*

Но Борис еще оказал тогда великодушие. Шведский король, враг Сигизмундов, слышав о Самозванце и вероломстве ляхов, предлагал царю союз и войско вспомогательное. Царь ответствовал, что Россия не требует вспоможения иноземцев; что она при Иоанне в одно время воевала с султаном, Литвою, Швециею, Крымом, и не должна бояться мятежника презренного. Борис знал, что в случае верности россиян горсть шведов ему не нужна, а в случае неверности бесполезна, ибо не могла бы спасти его.

Грозный час опыта наступал: нельзя было медлить, ибо Самозванец ежедневно усиливался и распространял свои мирные завоевания. Бояре, князья Федор Иванович Мстиславский, Андрей Телятевский, Дмитрий Шуйский, Василий Голицын, Михайло Салтыков, окольничие князь Михайло Кашин, Иван Иванович Годунов, Василий Морозов, выступили из Брянска, чтобы пресечь успехи измены и спасти Новогородскую крепость, которая одна противилась расстриге уже среди подвластной ему страны. Не только Годунов с мучительным волнением души следовал мыслями за московскими знаменами, но и вся Россия сильно тревожилась в ожидании, чем Судьба решит столь важную прю между Борисом и ложным или неложным Димитрием: ибо не было общего удостоверения ни в войске, ни в государстве. Мысль поднять руку на действительного сына Иоаннова или предаться дерзкому обманщику, клятому церковию, равно ужасала сердца благородные. Многие и самые благороднейшие из россиян, не любя Бориса, но гнушаясь изменою, хотели соблюсти данную ему присягу; другие, следуя единственно внушению страстей, только желали или не желали перемены царя и не заботились об истине, о долге верноподданного; а многие не имели точного образа мыслей, готовясь думать, как велит случай. Если бы в сие время открылась проницанию наблюдателя и самая внутренность душ, то

он, может быть, еще не решил бы для себя вопроса о вероятной удаче или неудаче Самозванцева дела: столь расположение умов было отчасти несогласно, отчасти неясно и нерешительно! Войско шло, повинуясь царской власти; но колебалось сомнением, толками, взаимным недоверием.

Приближаясь к Трубчевску, где уже славилось имя Димитриево, воеводы Борисовы писали к Сендомирскому, чтобы он немедленно вышел из России, мирной с Литвою, оставив злодея расстригу на казнь, им заслуженную. Мнишек не ответствовал в надежде, что войско Борисово не обнажит меча: так думал Самозванец; так говорили ему изменники, сносясь с своими единомышленниками в полках московских. 18 декабря, на берегу Десны, верстах в шести от стана Лжедимитриева, была перестрелка между отрядами того и другого войска; а на третий день легкая сшибка. Ни с которой стороны не изъявляли пылкой ревности: Самозванец ждал, кажется, чтобы рать Борисова, следуя примеру городов, связала и выдала ему своих начальников; а Мстиславский, чтобы неприятель ушел без битвы как слабейший, едва ли имея и 12 000 воинов. Но не видали ни измены, ни бегства; перешло к Лжедимитрию только три человека из детей боярских. Оставив Новгород и свой укрепленный стан, он выстроился на равнине, весьма неблагоприятной для войска малочисленного; оказывал спокойствие и бодрость; говорил речь к сподвижникам, стараясь воспламенить их мужество; молился велегласно, воздев руки на небо, и дерзнул, как уверяют, громко произнести следующие слова: «Всевышний! Ты зришь глубину моего сердца. Если обнажаю меч неправедно и беззаконно, то сокруши меня Небесным громом»... (увидим 17 мая 1606 года!)... «Когда же я прав и чист душою, дай силу неодолимую руке моей в битве! А Ты, Мать Божия, буди покровом нашего воинства!» 21 декабря началося дело, сперва не жаркое; но вдруг конница польская с воплем устремилась на правое крыло россиян, где предводительствовали князья Дмитрий Шуйский и Михайло Кашин: оно дрогнуло и в бегстве опрокинуло средину войска, где стоял Мстиславский: изумленный такою робостию и таким беспорядком, он удерживал мечом своих и неприятелей; бился в свалке; облился кровию и с пятнадцатью ранами упал на землю: дружина стрельцов едва спасла его от плена. Час был решительный: если бы Лжедимитрий общим нападением подкрепил удар смелых ляхов, то вся рать московская, как пишут очевидцы, представила бы зрелище срамного бегства; но он дал ей время опо-

мниться: 700 немецких всадников, верных Борису, удержали стремление неприятельских, и левое крыло наше уцелело. Тогда же Басманов вышел из крепости, чтобы действовать в тылу у Самозванца, который, слыша выстрелы позади себя и видя свой укрепленный стан в пламени, прекратил битву. Обе стороны вдруг отступили, Лжедимитрий хвалясь победою и четырьмя тысячами убитых неприятелей, а Борисовы воеводы от стыда безмолвствуя, хотя и взяв несколько пленников. Чтобы менее стыдиться, россияне выдумали басню: уверяли, что ляхи испугали их коней, нарядясь в медвежьи шубы навыворот; иноземцы же, свидетели сего малодушного бегства, пишут, что россияне не имели, казалось, ни мечей, ни рук, имея единственно ноги!

Однако ж мнимый победитель не веселился. Сия битва странная доказала не то, чего хотелось Самозванцу: россияне сражались с ним худо, без усердия, но сражались; бежали, но от него, а не к нему. Он знал, что без их общего предательства ни ляхи, ни козаки не свергнут Бориса, и страшился быть между двумя огнями, двумя верными воеводами, Мстиславским и Басмановым, который, видя отступление первого, снова заключился в крепости, готовый умереть в ее развалинах. На другой день присоединилось к Лжедимитрию 4000 запорожцев, и войско Борисово удалилось к Стародубу Северскому, но для того, чтобы ожидать там других, свежих полков из Брянска, и могло чрез несколько дней возвратиться к Новугороду, обороняемому столь усильно. Ревность наемников и союзников ослабела: ляхи надеялись вести своего царя в Москву без кровопролития; увидели, что надобно ратоборствовать; не любили ни зимних походов, ни зимних осад — и как легкомысленно начали, так легкомысленно и кончили: объявили, что идут назад, будто бы исполняя указ Сигизмундов не воевать с Россиею в случае, если она будет стоять за царя Годунова. Тщетно убеждал их Лжедимитрий не терять надежды: осталось не более четырехсот удальцов польских; все другие бежали восвояси, а с ними и горестный Мнишек. Думая, что все погибло, и княжество Смоленское для него и царство для Марины, сей ветреный старец еще дружественно простился с женихом ее и смело обещал ему возвратиться с сильнейшею ратию. Но Самозванец, едва ли уже веря нареченному тестю, еще верил счастию: с обрядами священными предав на поле сражения тела убитых, своих и неприятелей, и сняв осаду Новагорода, расположился станом в Комарницкой волости, занял Сев-

ский острог, спешил вооружать, кого мог: граждан и земледельцев. Рать Борисова не дала ему времени.

[1605 г.] Смятение воевод московских было столь велико, что они даже медлили известить царя о битве: узнав от других все ее печальные обстоятельства, Борис (1 генваря) послал князя Василия Шуйского к войску, быть вторым предводителем оного, а чашника Вельяминова к раненому Мстиславскому, *ударить* ему *челом* за кровь, пролиянную им из усердия к святому отечеству, и сказать именем государя: «Когда ты, совершив знаменитую службу, увидишь образ Спасов, Богоматери, Чудотворцев Московских и наши царские очи: тогда пожалуем тебя свыше твоего чаяния. Ныне шлем к тебе искусного врача, да будешь здрав и снова на коне ратном». Всем иным воеводам царь велел объявить свое неудовольствие за их преступное молчание, но войско уверить в милости. Чтобы блестящею наградою мужества оживить доблесть в сердцах россиян, Борис, искренно довольный одним Басмановым, призвал его к себе, выслал знатнейших государственных сановников навстречу к Герою и собственные великолепные сани для торжественного въезда в Москву со всею царскою пышностию; дал ему из своих рук тяжелое золотое блюдо, насыпанное червонцами, и 2000 рублей, множество серебряных сосудов из казны Кремлевской, доходное поместье и сан боярина думного. Столица и Россия обратили взор на сего нового вельможу, ознаменованного вдруг и славою подвига и милостию царскою; превозносили его необыкновенные достоинства — и любимец государев сделался любимцем народным, первым человеком своего времени в общем мнении. Но столь блестящая награда одного была укоризною для многих и естественно рождала негодование зависти между знатными. Если бы царь осмелился презреть устав боярского старейшинства и дать главное воеводство Басманову, то, может быть, спас бы свой дом от гибели и Россию от бедствий: чего судьба не хотела! Призвав Басманова в Москву, вероятно, с намерением пользоваться его советами в Думе, царь отнял лучшего воеводу у рати и сделал, кажется, новую ошибку, избрав Шуйского в начальники. Сей князь, подобно Мстиславскому, мог не робеть смерти в битвах, но не имел ни ума, ни души вождя истинного, решительного и смелого; уверенный в самозванстве бродяги, не думал предать ему отечества, но, угождая Борису как царедворец льстивый, помнил свои опалы: видел, может быть, не без

тайного удовольствия муку его тиранского сердца, и желая спасти честь России, зложелательствовал царю.

Шуйский, провождаемый множеством чиновных стольников и стряпчих, нашел войско близ Стародуба в лесах, между засеками, где оно, усиленное новыми дружинами, как бы таилось от неприятеля, в бездействии, в унынии, с предводителем недужным; другая запасная рать под начальством Федора Шереметева собиралась близ Кром, так что Борис имел в поле не менее осьмидесяти тысяч воинов. Мстиславский, еще изнемогая от ран, и Шуйский немедленно двинулись к Севску, где Лжедимитрий не хотел ждать их: смелый отчаянием, вышел из города и встретился с ними в Добрыничах. Силы были несоразмерны: у него 15 000, конных и пеших; у воевод Борисовых 60 или 70 тысяч. Узнав, что полки наши теснятся в деревне, он хотел ночью зажечь ее и врасплох нагрянуть на сонных: тамошние жители взялись подвести его к селению незаметно; но стражи увидели сие движение: сделалась тревога, и неприятель удалился. Ждали рассвета (21 генваря). Самозванец молился, говорил речь к своим, как и в день Новогородской битвы; разделил войско на три части: для первого удара взял себе 400 ляхов и 2000 россиян всадников, которые все отличались белою одеждою сверх лат, чтобы знать друг друга в сече: за ними должны были идти 8000 козаков, также всадников, и 4000 пеших воинов с пушками. Утром началась сильная пальба. Россияне, столь многочисленные, не шли вперед, с обеих сторон примыкая к селению, где стояла их пехота. Оглядев устроение московских воевод, Лжедимитрий сел на борзого, карего аргамака, держа в руке обнаженный меч, и повел свою конницу долиною, чтобы стремительным нападением разрезать войско Борисово между селением и правым крылом. Мстиславский, слабый и томный, был на коне: угадал мысль неприятеля и двинул сие крыло, с иноземною дружиною, к нему навстречу. Тут расстрига, как истинный витязь, оказал смелость необыкновенную: сильным ударом смял россиян и погнал их; сломил и дружину иноземную, несмотря на ее мужественное блестящее сопротивление, и кинулся на пехоту московскую, которая стояла пред деревнею с огнестрельным снарядом — и не трогалась, как бы в оцепенении; ждала и вдруг залпом из сорока пушек, из десяти или двенадцати тысяч ружей, поразила неприятеля: множество всадников и коней пало; кто уцелел, бежал назад в беспамятстве страха—и сам Лжедимитрий. Уже козаки его неслись было во всю прыть довершить легкую по-

беду своего Героя; но видя, что она не их, обратили тыл, сперва запорожцы, а после и донцы, и пехота. 5000 россиян и немцы с кликом: Hilf Gott (*помоги Бог*), гнали, разили бегущих на пространстве осьми верст, убили тысяч шесть, взяли немало и пленников, 15 знамен, 13 пушек; наконец истребили бы всех до единого, если бы воеводы, как пишут, не велели им остановиться, думая, вероятно, что все кончено и что сам Лжедимитрий убит. С сею счастливою вестию прискакал в Москву сановник Шеин и нашел царя молящегося в лавре Св. Сергия...

Борис затрепетал от радости; велел петь благодарственные молебны, звонить в колокола и представить народу трофеи: знамена, трубы и бубны Самозванцевы; дал гонцу сан окольничего, послал с любимым стольником, князем Мезецким, золотые медали воеводам, а войску 80 000 рублей и писал к первым, что ждет от них вестей о конце мятежа, будучи готов отдать верным слугам и последнюю свою рубашку; в особенности благодарил усердных иноземцев и двух их предводителей, Вальтера Розена, ливонского дворянина, и француза Якова Маржерета; наконец изъявлял живейшее удовольствие, что победа стоила нам недорого: ибо мы лишились в битве только пятисот россиян и двадцати пяти немцев.

Но Самозванец был жив: победители, безвременно веселясь и торжествуя, упустили его: он на раненом коне ускакал в Севск и в ту же ночь бежал далее, в город Рыльск, с немногими ляхами, с князем Татевым и с другими изменниками. В следующий день явились к нему рассеянные запорожцы: Самозванец не впустил их в город как малодушных трусов или предателей, так что они с досадою и стыдом ушли восвояси. Не видя для себя безопасности и в Рыльске, Лжедимитрий искал ее в Путивле, лучше укрепленном и ближайшем к границе; а воеводы Борисовы все еще стояли в Добрыничах, занимаясь казнями: вешали пленников (кроме литовских, пана Тишкевича и других, посланных в Москву); мучили, расстреливали земледельцев, жителей Комарницкой волости, за их измену, безжалостно и безрассудно, усиливая тем остервенение мятежников, ненависть к царю и доброе расположение к обманщику, который миловал и самых усердных слуг своего неприятеля. Сия жестокость, вместе с оплошностию воевод, спасли злодея. Уже лишенный всей надежды, разбитый наголову, почти истребленный, с горстию беглецов унылых, он хотел тайно уйти из Путивля в Литву: изменники отчаянные удержали его, сказав: «мы всем тебе жертвовали, а ты думаешь только о

жизни постыдной, и предаешь нас мести Годунова; но еще можем спастися, выдав тебя живого Борису!» Они предложили ему все, что имели: жизнь и достояние; ободрили его; ручались за множество своих единомышленников и в полках Борисовых и в государстве. Не менее ревности оказали и козаки донские: их снова пришло к Самозванцу 4000 в Путивль; другие засели в городах и клялися оборонять их до последнего издыхания. Лжедимитрий волею и неволею остался; послал князя Татева к Сигизмунду требовать немедленного вспоможения; укреплял Путивль и, следуя совету изменников, издал новый манифест, рассказывая в нем свою вымышленную историю о Димитриевом спасении, свидетельствуясь именем людей умерших, особенно даром князя Ивана Мстиславского, крестом драгоценным, и прибавляя, что он (Димитрий) тайно воспитывался в Белоруссии, а после тайно же был с канцлером Сапегою в Москве, где видел хищника Годунова сидящего на престоле Иоанновом. Сей второй манифест, удовлетворяя любопытству баснями, дотоле неизвестными, умножил число друзей Самозванца, хотя и разбитого. Говорили, что россияне шли на него только принужденно, с неизъяснимою боязнию, внушаемою чем-то сверхъестественным, без сомнения Небом; что они победили случайно, и не устояли бы без слепого остервенения немцев; что Провидение очевидно хотело спасти сего витязя и в самой несчастной битве; что он и в самой крайности не оставлен Богом, не оставлен верными слугами, которые, признав в нем истинного Димитрия, еще готовы жертвовать ему собою, женами, детьми, и конечно не могли бы иметь столь великого усердия к обманщику. Такие разглашения сильно действовали на легковерных, и многие люди, особенно из Комарницкой волости, где свирепствовала месть Борисова, стекались в Путивль, требуя оружия и чести умереть за Димитрия.

Между тем воеводы царские — сведав, что Самозванец не истреблен, — тронулись с места, приступили к Рыльску и, не обещая никому помилования, хотели, чтобы город сдался без условия. Там начальствовали злые изменники, князь Григорий Долгорукий-Роща и Яков Змеев: видя пред собою виселицу, они велели сказать Мстиславскому: «служим царю Димитрию» — и залпом из всех пушек доказали свою непреклонность. Воеводы стояли две недели под городом, хвалились не вовремя человеколюбием, жалели крови и решились дать отдохновение войску, действительно утружденному зимним походом; отступили в Комарницкую во-

лость и донесли царю, что будут ждать там весны в покойных станах. Но Борис, после кратковременной радости встревоженный известиями о спасении Лжедимитрия и новых прельщениях измены, досадуя на Мстиславского и всех его сподвижников, послал к ним в острог Радогостский окольничего Петра Шереметева и думного дьяка Власьева с дружиною московских дворян и с гневным словом: укорял их в нерадении, винил в упущении Самозванца из рук, в бесполезности победы и произвел всеобщее негодование в войске. Жаловались на жестокость и несправедливость царя те, которые дотоле верно исполняли присягу, обагрились кровию в битвах, изнемогли от трудов ратных; еще более жаловались зломысленники, чтобы усиливать нелюбовь к царю — и могли хвалиться успехом: ибо с сего времени, по известию летописца, многие чиновники воинские видимо склонялись к Самозванцу, и желание *избыть Бориса* овладело сердцами. Измена возникала, но еще не дозрела до мятежа; еще наблюдалось, хотя и неохотно, повиновение законное. Следуя строгому предписанию государеву, Мстиславский и Шуйский снова вывели войско в поле, чтобы удивить Россию ничтожностию своих действий: оставили Лжедимитрия на свободе в Путивле, соединились с запасною ратию Федора Шереметева, уже две или три недели теснившего Кромы, и вместе с ним, в Великий Пост, начали осаждать сию крепость. Дело невероятное: тысяч восемьдесят или более ратников, имея множество стенобитных орудий, без успеха приступало к деревянному городку, ибо в нем, сверх жителей, сидело 600 мужественных донцов, с храбрым атаманом Корелою! Осаждающие ночью сожгли город, заняли пепелище и вал; но козаки сильною, меткою стрельбою не допускали их до острога, и боярин Михайло Глебович Салтыков, или малодушный или уже предатель, не сказав ни слова главным воеводам, велел рати отступить в тот час, когда ей должно было устремиться на последнюю ограду изменников. Мстиславский и Шуйский не дерзнули наказать виновного, уже видя худое расположение в сподвижниках — и с сего дня, в надежде взять крепость голодом, только стреляли из пушек, не вредя осажденным, которые выкопали себе землянки и под защитою вала укрывались в них безопасно; иногда же выползали из своих нор и делали смелые вылазки. Между тем войско, стоя на снегу и в сырости, было жертвою повальной болезни: смертоносного мыта[1]. Сие

---

[1] Смертоносное мыто — кровавый понос, дизентирия.

бедствие еще оказало достохвальную заботливость царя, приславшего в стан лекарства и все нужное для спасения болящих, но умножило нерадивость осады, так что в белый день 100 возов хлеба и 500 козаков Лжедимитриевых из Путивля могли пройти в обожженные Кромы.

Досадуя на замедление воинских действий, Борис хотел иным способом, как пишут современники, избавить себя и Россию от злодея. Три инока, знавшие Отрепьева диаконом, явились в Путивле (8 марта) с грамотами от государя и патриарха к тамошним жителям: первый обещал им великие милости, если они выдадут ему Самозванца, живого или мертвого; второй грозил страшным действием церковной анафемы. Сих монахов схватили и привели к Лжедимитрию, который употребил хитрость: вместо его в царском одеянии на троне сидел поляк Иваницкий и, представляя лицо Самозванца, спросил у них: «Знаете ли меня?» Монахи сказали: «Нет; знаем только, что ты во всяком случае не Димитрий». Их стали пытать: двое терпели и молчали; а третий спас себя объявлением, что у них есть яд, коим они, исполняя волю Борисову, хотели уморить лжецаревича, и что некоторые из ближних его людей в заговоре с ними. Яд действительно нашелся в сапоге у младшего из сих иноков, и Самозванец, открыв двух изменников между своими любимцами, предал их в жертву народной мести. Уверяют, что он, хваляся явным небесным к нему благоволением, писал тогда к патриарху и к самому царю: укорял Иова злоупотреблением церковной власти в пользу хищника, а Бориса убеждал мирно оставить престол и свет, заключиться в монастыре и жить для спасения души, обещая ему свою царскую милость. Такое письмо, если действительно писанное и доставленное Годунову, было конечно новым искушением для его твердости!

Душа сего властолюбца жила тогда ужасом и притворством. Обманутый победою в ее следствиях, Борис страдал, видя бездействие войска, нерадивость, неспособность или зломыслие воевод и, боясь сменить их, чтобы не избрать худших; страдал, внимая молве народной, благоприятной для Самозванца, и не имея силы унять ее, ни снисходительными убеждениями, ни клятвою святительскою, ни казнию: ибо в сие время уже резали языки нескромным. Доносы ежедневно умножались, и Годунов страшился жестокостию ускорить общую измену: еще был самодержцем, но чувствовал оцепенение власти в руке своей и с престола, еще окру-

женного льстивыми рабами, видел открытую для себя бездну! Дума и двор не изменялись наружно: в первой текли дела как обыкновенно; второй блистал пышностию, как и дотоле. Сердца были закрыты: одни таили страх, другие злорадство; а всех более должен был принуждать себя Годунов, чтобы унынием и расслаблением духа не предвестить своей гибели — и, может быть, только в глазах верной супруги обнаруживал сердце: казал ей кровавые, глубокие раны его, чтобы облегчать себя свободным стенанием. Он не имел утешения чистейшего: не мог предаться в волю Святого Провидения, служа только идолу властолюбия: хотел еще наслаждаться плодом Димитриева убиения и дерзнул бы, конечно, на злодеяние новое, чтобы не лишиться приобретенного злодейством. В таком ли расположении души утешается смертный Верою и надеждою Небесною? Храмы были отверсты: Годунов молился — Богу неумолимому для тех, которые не знают ни добродетели, ни раскаяния! Но есть предел мукам — в бренности нашего естества земного.

Борису исполнилось 53 года от рождения: в самых цветущих летах мужества он имел недуги, особенно жестокую подагру, и легко мог, уже старея сь, истощить свои телесные силы душевным страданием. Борис 13 апреля, в час утра, судил и рядил с вельможами в Думе, принимал знатных иноземцев, обедал с ними в золотой палате и, едва встав из-за стола, почувствовал дурноту: кровь хлынула у него из носу, ушей и рта; лилась рекою: врачи, столь им любимые, не могли остановить ее. Он терял память, но успел благословить сына на государство Российское, восприять Ангельский Образ с именем Боголепа и чрез два часа испустил дух, в той же храмине, где пировал с боярами и с иноземцами...

К сожалению, потомство не знает ничего более о сей кончине, разительной для сердца. Кто не хотел бы видеть и слышать Годунова в последние минуты *такой* жизни — читать в его взорах и в душе, смятенной незапным наступлением вечности? Пред ним были трон, венец и могила: супруга, дети, ближние, уже обреченные жертвы Судьбы; рабы неблагодарные, уже с готовою изменою в сердце; пред ним и Святое Знамение Христианства: образ Того, Кто не отвергает, может быть, и позднего раскаяния!.. Молчание современников, подобно непроницаемой завесе, сокрыло от нас зрелище столь важное, столь нравоучительное, дозволяя действовать одному воображению.

Уверяют, что Годунов был самоубийцею, в отчаянии, лишив себя жизни ядом; но обстоятельства и род его смерти подтверждают ли истину сего известия? И сей нежный отец семейства, сей человек сильный духом, мог ли, спасаясь ядом от бедствия, малодушно оставить жену и детей на гибель, почти несомнительную? И торжество Самозванца было ли верно, когда войско еще не изменяло царю делом; еще стояло, хотя и без усердия, под его знаменами? Только смерть Борисова решила успех обмана; только изменники, явные и тайные, могли желать, могли *ускорить* ее — но всего вероятнее, что удар, а не яд прекратил бурные дни Борисовы, к истинной скорби отечества: ибо сия безвременная кончина была небесною казнию для России еще более, нежели для Годунова: он умер по крайней мере на троне, не в узах пред беглым диаконом, как бы еще в воздаяние за государственные его благотворения; Россия же, лишенная в нем царя умного и попечительного, сделалась добычею злодейства на многие лета.

Но имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, в течение столетий было и будет произносимо с омерзением, во славу нравственного неуклонного правосудия. Потомство видит лобное место обагренное кровию невинных, Св. Димитрия издыхающего под ножом убийц, Героя Псковского в петле, столь многих вельмож в мрачных темницах и келиях; видит гнусную мзду, рукою венценосца предлагаемую клеветникам-доносителям; видит систему коварства, обманов, лицемерия пред людьми и Богом... везде личину добродетели, и где добродетель? В правде ли судов Борисовых, в щедрости, в любви к гражданскому образованию, в ревности к величию России, в политике мирной и здравой? Но сей яркий для ума блеск хладен для сердца, удостоверенного, что Борис не усомнился бы ни в каком случае действовать вопреки своим мудрым государственным правилам, если бы властолюбие потребовало от него такой перемены. Он *не был*, но *бывал* тираном; не безумствовал, но злодействовал подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия, почти неслыханного — предал в добычу ляхам и бродягам, вызвал на феатр сонм мстителей, и самозванцев истреблением древнего племени царского? Не он ли, наконец, более всех содействовал уничижению престола, воссев на нем святоубийцею?

Глава III
ЦАРСТВОВАНИЕ ФЕОДОРА БОРИСОВИЧА ГОДУНОВА
1605 г.

Присяга Феодору. Достоинства юного царя. Избрание Басманова в военачальники. Присяга войска. Измена Басманова. Самозванец усиливается. Измена Голицыных и Салтыкова. Измена войска. Поход к Москве. Оцепенение умов в столице. Измена москвитян. Сведение Феодора с престола. Присяга Лжедимитрию. Заточение патриарха и Годуновых. Цареубийство.

Еще россияне погребли Бориса с честию во храме Св. Михаила, между памятниками своих венценосцев варяжского племени; еще духовенство льстило ему и в могиле: святители в окружных грамотах к монастырям писали о *беспорочной и праведной душе его, мирно отшедшей к Богу*! Еще все, от патриарха и синклита до мещан и земледельцев, с видом усердия присягнули «царице Марии и детям ее, *царю* Феодору и Ксении, обязываясь страшными клятвами не изменять им, не умышлять на их жизнь и не хотеть на государство московское ни бывшего великого князя тверского, слепца Симеона, ни злодея, именующего себя Димитрием; не избегать царской службы и не бояться в ней ни трудов, ни смерти». Достигнув венца злодейством, Годунов был однако ж царем законным: сын естественно наследовал права его, утвержденные *двукратною* присягою, и как бы давал им новую силу прелестию своей невинной юности, красоты мужественной, души равно твердой и кроткой; он соединял в себе ум отца с добродетелию матери и шестнадцати лет удивлял вельмож даром слова и сведениями необыкновенными в тогдашнее время: первым счастливым плодом европейского воспитания в России; рано узнал и науку правления, отроком заседая в Думе; узнал и сладость благодеяния, всегда употребляемый родителем в посредники между законом и милостию. Чего нельзя было ожидать государству от такого венценосца? Но тень Борисова с ужасными воспоминаниями омрачала престол Феодоров: ненависть к отцу препятствовала любви к сыну. Россияне ждали только бедствий от злого племени, в их глазах опального пред Богом, и страшась быть жертвою Небесной казни за Годунова, не устрашились подвергнуться сей казни за преступле-

ние собственное: за вероломство, осуждаемое уставом Божественным и человеческим.

Еще Феодор, столь юный, имел нужду в советниках: мать его блистала единственно скромными добродетелями своего пола. Немедленно велели трем знатнейшим боярам, князьям Мстиславскому, Василию и Дмитрию Шуйским, оставить войско и быть в Москву, чтобы правительствовать в синклите; возвратили свободу, честь и достояние славному Бельскому, чтобы также пользоваться его умом и сведениями в Думе. Но всего важнее было избрание главного воеводы: искали уже не старейшего, а способнейшего, и выбрали — Басманова, ибо не могли сомневаться ни в его воинских дарованиях, ни в верности, доказанной делами блестящими. Юный Феодор в присутствии матери сказал ему с умилением: «служи нам, как ты служил отцу моему» — и сей честолюбец, пылая (так казалось) чувством усердия, клялся умереть за царя и царицу! Басманову дали в товарищи одного из знатнейших бояр, князя Михайла Катырева-Ростовского, доброго и слабодушного. Послали с ними и митрополита новогородского, Исидора, чтобы войско в его присутствии целовало крест на имя Феодора. — Несколько дней прошло в тишине для столицы. Двор и народ торжественно молились о душе царя усопшего; гораздо искренне молились истинные друзья отечества о спасении государства, предвидя бурю. С нетерпением ждали вестей из кромского стана — и первые донесения новых воевод казались еще благоприятными.

Невидимо держа в руке судьбу отечества, Басманов 17 апреля прибыл в стан и не нашел там уже ни Мстиславского, ни Шуйских; созвал всех, чиновников и рядовых, под знамена; известил их о воцарении Феодора и прочитал им грамоты его, весьма милостивые: юный монарх обещал верному, усердному войску беспримерные награды после сорочин Борисовых. Сильное внутреннее движение обнаружилось на лицах: некоторые плакали о царе усопшем, боясь за Россию; другие не таили злой радости. Но войско, подобно Москве, присягнуло Феодору. С сим известием митрополит Исидор возвратился в столицу: сам Басманов доносил о том... а чрез несколько дней узнали его измену!

Удивив современников, дело Басманова удивляет и потомство. Сей человек имел душу, как увидим в роковой час его жизни; не верил Самозванцу; столь ревностно обличал его и столь мужественно разил его под стенами Новагорода Северского; был осыпан милостями Бориса, удостоен всей доверенности Феодора, избран

в спасители царя и царства, с правом на их благодарность беспредельную, с надеждою оставить блестящее имя в летописях — и пал к ногам расстриги в виде гнусного предателя? Изъясним ли такое непонятное действие худым расположением войска? Скажем ли, что Басманов, предвидя неминуемое торжество Самозванца, хотел ускорением измены спасти себя от уничижения: хотел лучше отдать и войско и царство обманщику, нежели быть выданным ему мятежниками? Но полки еще клялися именем Божиим в верности к Феодору: какою новою ревностию мог бы одушевить их воевода доблий, силою своего духа и закона обуздав зломысленников? Нет, верим сказанию летописца, что не общая измена увлекла Басманова, но Басманов произвел общую измену войска. Сей честолюбец без правил чести, жадный к наслаждениям временщика, думал, вероятно, что гордые, завистливые родственники Феодоровы никогда не уступят ему ближайшего места к престолу, и что Самозванец безродный, им (Басмановым) возведенный на царство, естественно будет привязан благодарностию и собственною пользою к главному виновнику своего счастия: судьба их делалась нераздельною — и кто мог затмить Басманова достоинствами личными? Он знал других бояр и себя: не знал только, что сильные духом падают как младенцы на пути беззакония! Басманов, вероятно, не дерзнул бы изменить Борису, который действовал на воображение и долговременным повелительством и блеском великого ума государственного: Феодор, слабый юностию лет и новостию державства, вселял смелость в предателя, вооруженного суемудрием для успокоения сердца: он мог думать, что изменою спасает Россию от ненавистной олигархии Годуновых, вручая скипетр хотя и Самозванцу, хотя и человеку низкого происхождения, но смелому, умному, другу знаменитого венценосца польского, и как бы избранному Судьбою для совершения достойной мести над родом святоубийцы; мог думать, что направит Лжедимитрия на путь добра и милости: обманет Россию, но загладит сей обман — ее счастием! Может быть, Басманов выехал из столицы еще в нерешимости, готовый действовать по обстоятельствам, для выгод своего честолюбия; может быть, он решился на измену единственно тогда, как увидел преклонность и воевод и войска к обманщику. Все целовали крест Феодору (ибо никто не дерзнул быть первым мятежником), но большею частию с нехотением или с унынием. И те, которые дотоле не верили мнимому Димитрию, стали верить ему, будучи пораже-

ны незапною смертию Годунова и находя в ней новое доказательство, что не Самозванец, а действительно наследник Иоаннов требует своего законного достояния: ибо Всевышний — как они думали — несомнительно благоволит о нем и ведет его, чрез могилу хищника, на царство. Заметили также, что в присяге Феодоровой Самозванец не был именован Отрепьевым: слагатели ее, вероятно, без умысла, написали единственно: *клянемся не приставать к тому, кто именует себя Димитрием.* «Следственно, — говорили многие, — сказка о беглом диаконе чудовском уже торжественно объявляется вымыслом. Кто же сей Димитрий, если не истинный?» Самые верные имели печальную мысль, что Феодору не удержаться на престоле. Такое расположение умов и сердец обещало легкий успех измене: Басманов наблюдал, решился и, готовя Россию в дар обманщику, без сомнения удостоверился, посредством тайных сношений, в его благодарности.

Оставленный на свободе в Путивле, Лжедимитрий в течение трех месяцев укреплял свои города и вооружал людей; писал к Мнишку, что надеется на счастие более, нежели когда-нибудь; посылал дары к хану, желая заключить с ним союз; ждал новых сподвижников из Галиции и был усилен дружиною всадников, приведенных к нему Михайлом Ратомским, который уверял его, что вслед за ним будет и воевода сендомирский с королевскими полками. Но только смерть Борисова, только измена воевод царских могла исполнить дерзкую надежду расстриги: о первой сведал он в конце апреля от беглеца дворянина Бахметева; о второй в начале мая, вероятно от самого Басманова — и с того времени знал все, что происходило в стане кромском.

Отдав честь мужа думного и славу знаменитого витязя за прелесть исключительного вельможства под скиптром бродяги, Басманов, уверенный в сей награде, уверил в ней и других низких самолюбцев: боярина князя Василия Васильевича Голицына, брата его, князя Ивана, и Михайла Глебовича Салтыкова, которые также не имели ни совести, ни стыда и также хотели быть временщиками нового царствования в воздаяние за гнусное злодейство. Но и злодеи ищут благовидных предлогов в своих ковах: обманывая друг друга, лицемеры находили в Лжедимитрии все признаки истинного, добродетели царские и свойства души высокой: дивились чудесной судьбе его, ознаменованной Перстом Божиим; злословили царство Годуновых, снисканное лукавством и беззаконием; оплакивали бедствие войны междоусобной и крово-

пролитной, необходимой для удержания короны на слабой главе Феодоровой, и в торжестве расстриги видели пользу, тишину, счастие России. Они условились в предательстве и спешили действовать. Еще несколько дней коварствовали втайне, умножая число надежных единомышленников (между коими отличались ревностию боярские дети городов Рязани, Тулы, Коширы, Алексина); успокаивали совесть людей малоумных, недальновидных, твердя и повторяя, что для россиян одна присяга законная: данная ими Иоанну и детям его: что новейшие, взятые с них на имя Бориса и Феодора, суть плод обмана и недействительны, когда сын Иоаннов не умирал и здравствует в Путивле. Наконец, 7 мая, заговор открылся: ударили тревогу: Басманов сел на коня и громогласно объявил Димитрия царем московским. Тысячи воскликнули, и рязанцы первые: «Да здравствует же отец наш, государь Димитрий Иоаннович!» Другие еще безмолвствовали в изумлении. Тогда единственно проснулись воеводы верные, обманутые коварством Басманова: князья Михайло Катырев-Ростовский, Андрей Телятевский, Иван Иванович Годунов; но поздно! Видя малое число усердных к Феодору, они бежали в Москву, вместе с некоторыми чиновниками и воинами, россиянами и чужеземцами: их гнали, били: настигли Ивана Годунова и связанного привели в стан, где войско в несчастном заблуждении торжествовало измену как светлый праздник отечества. Никто не смел изъявить сомнения, когда знаменитейший противник Самозванца, Герой Новагорода-Северского, уже признал в нем сына Иоаннова — и радость, видеть снова на троне древнее племя царское, заглушала упреки совести для обольщенных вероломцев!.. В сей памятный беззаконием день первенствовал Басманов дерзким злодейством, а другой изменник подлым лукавством: князь Василий Голицын велел связать себя, желая на всякий случай уверить Россию, что предается обманщику невольно!

Нарушив клятву, войско с знаками живейшего усердия обязалось другою: изменив Феодору, быть верным мнимому Димитрию, и дало знать атаману Кореле, что они служат уже одному государю. Война прекратилась: кромские защитники выползли из своих пор и братски обнимались с бывшими неприятелями на валу крепости; а князь Иван Голицын спешил в Путивль, уже не к *царевичу*, а к *царю*, *с повинною* от имени войска и с узником Иваном Годуновым в залог верности. Лжедимитрий имел нужду в необыкновенной душевной силе, чтобы скрыть свою чрезмер-

ную радость: важно, величаво сидел на троне, когда Голицын, провождаемый множеством сановников и дворян, смиренно бил ему челом, и с видом благоговения говорил так: «Сын Иоаннов! Войско вручает тебе державу России и ждет твоего милосердия. Обольщенные Борисом, мы долго противились нашему царю законному: ныне же, узнав истину, все единодушно тебе присягнули. Иди на престол родительский: царствуй счастливо и многие лета! Враги твои, клевреты Борисовы, в узах. Если Москва дерзнет быть строптивою, то смирим ее. Иди с нами в столицу, венчаться на царство!..» В сей самый час, по известию летописца, некоторые дворяне московские, смотря на Лжедимитрия, узнали в нем диакона Отрепьева: содрогнулись, но уже не смели говорить и плакали тайно. Хитро представляя лицо монарха великодушного, тронутого раскаянием виновных подданных, счастливый обманщик не благодарил, а только простил войско; велел ему идти к Орлу и сам выступил туда 19 мая из Путивля с 600 ляхов, с донцами и своими россиянами, старейшими других в измене; хотел видеть развалины Кром, прославленные мужеством их защитников, и там, оглядев пепелище, вал, землянки козаков и необозримый, укрепленный стан, где в течение шести недель более осьмидесяти тысяч добрых воинов за семидесятью огромными пушками укрывалось в бездействии, изъявил удивление и хвалился чудом Небесной к нему милости. Далее на пути встретили расстригу воеводы Михайло Салтыков, князь Василий Голицын, Шереметев и глава предательства Басманов... сей последний с искреннею клятвою умереть за того, кому он жертвовал совестию и бедным отечеством! Единодушно принятый войском как царь благодатный, Лжедимитрий распустил часть его на месяц для отдохновения, другую послал к Москве, а сам с двумя или тремя тысячами надежнейших сподвижников шел тихо вслед за нею. Везде народ и люди воинские встречали его с дарами; крепости, города сдавались: из самой отдаленной Астрахани привезли к нему в цепях воеводу Михайла Сабурова, ближнего родственника Феодорова. Только в Орле горсть великодушных не хотела изменить закону: сих достойных россиян, к сожалению, не известных для истории, ввергнули в темницу. Все другие ревностно преклоняли колена, славили Бога и Димитрия, как некогда Героя Донского или завоевателя Казани! На улицах, на дорогах теснились к его коню, чтобы лобызать ноги Самозванца! Все было в волнении, не ужаса, но радости. Исчез оплот стыда и страха для изме-

ны: она бурною рекою стремилась к Москве, неся с собою гибель царю и народной чести. Там первыми вестниками злополучия были беглецы добросовестные, воеводы Катырев-Ростовский и Телятевский с их дружинами. Феодор, еще пользуясь царскою властию, изъявил им благодарность отечества торжественными наградами — и как бы спокойно ждал своего жребия на бедственном троне, видя вокруг себя уже не многих друзей искренних, отчаяние, недоумение, притворство, а в народе еще тишину, но грозную: готовность к великой перемене, тайно желаемой сердцами. Может быть, зломыслие и лукавство некоторых думных советников, благоприятствуя Самозванцу, усыпляли жертву накануне ее заклания: обманывали Феодора, его мать и ближних, уменьшая опасность или предлагая меры недействительные для спасения. Власть верховная дремала в палатах Кремлевских, когда Отрепьев шел к столице,— когда имя Димитрия уже гремело на берегах Оки, —когда на самой Красной площади толпился народ, с жадностию слушая вести о его успехах. Еще были воеводы и воины верные: юный стратиг державный в виде Ангела красоты и невинности, еще мог бы смело идти с ними на сонмы ослепленных клятвопреступников и на подлого расстригу: в деле законном есть сила особенная, непонятная и страшная для беззакония. Но если не коварство, то чудное оцепенение умов предавало Москву в мирную добычу злодейству. Звук оружия и движения ратные могли бы дать бодрость унылым и страх изменникам; но спокойствие, ложное, смертоносное, господствовало в столице и служило для козней вожделенным досугом. Деятельность правительства оказывалась единственно в том, что ловили гонцов с грамотами от войска и Самозванца к московским жителям: грамоты жгли, гонцов сажали в темницу; наконец не устерегли — и в один час все совершилось!

Лжедимитрий, угадывая, что его письма не доходят до Москвы, избрал двух сановников смелых, расторопных, Плещеева и Пушкина: дал им грамоту и велел ехать в Красное село, чтобы возмутить тамошних жителей, а чрез них и столицу. Сделалось, как он думал. Купцы и ремесленники красносельские, плененные доверенностию мнимого Димитрия, присягнули ему с ревностию и торжественно ввели гонцов его (1 июня) в Москву, открытую, безоружную: ибо воины, высланные царем для усмирения сих мятежников, бежали назад, не обнажив меча; а красносельцы, славя Димитрия, нашли множество единомышленников в столице,

мещан и людей служивых; других силою увлекли за собою: некоторые пристали к ним только из любопытства. Сей шумный сонм стремился к лобному месту, где, по данному знаку, все умолкло, чтобы слушать грамоту Лжедимитриеву к синклиту, к большим дворянам, сановникам, людям приказным, воинским, торговым, *средним* и черным. «Вы клялися отцу моему,— писал расстрига,— не изменять его детям и потомству во веки веков, но взяли Годунова в цари. Не упрекаю вас: вы думали, что Борис умертвил меня в летах младенческих; не знали его лукавства и не смели противиться человеку, который уже самовластвовал и в царствование Феодора Иоанновича,— жаловал и казнил, кого хотел. Им обольщенные, вы не верили, что я, спасенный Богом, иду к вам с любовью и кротостию. Драгоценная кровь лилася... Но жалею о том без гнева: неведение и страх извиняют вас. Уже судьба решилась: города и войско мои. Дерзнете ли на брань междоусобную в угодность Марии Годуновой и сыну ее? Им не жаль России: они не своим, а чужим владеют; упитали кровию землю Северскую и хотят разорения Москвы. Вспомните, что было от Годунова вам, бояре, воеводы и все люди знаменитые: сколько опал и бесчестия несносного? А вы, дворяне и дети боярские, чего не претерпели в тягостных службах и в ссылках? А вы, купцы и гости, сколько утеснений имели в торговле и какими неумеренными пошлинами отягощались? Мы же хотим вас жаловать беспримерно: бояр и всех мужей сановитых честию и новыми отчинами, дворян и людей приказных милостию, гостей и купцов льготою в непрерывное течение дней мирных и тихих. Дерзнете ли быть непреклонными? Но от нашей царской руки не избудете: иду и сяду на престоле отца моего; иду с сильным войском, своим и литовским: ибо не только россияне, но и чужеземцы охотно жертвуют мне жизнию. Самые неверные ногаи хотели следовать за мною: я велел им остаться в степях, щадя Россию. Страшитесь гибели, временной и вечной; страшитесь ответа в день суда Божия: смиритесь, и немедленно пришлите митрополитов, архиепископов, мужей думных, больших дворян и дьяков, людей воинских и торговых, бить нам челом, как вашему царю законному». Народ московский слушал с благоговением и рассуждал так: «Войско и бояре поддалися без сомнения не ложному Димитрию. Он приближается к Москве: с кем стоять нам против его силы? с горстию ли беглецов кромских? с нашими ли старцами, женами и младенцами? и за кого? за ненавистных Го-

дуновых, похитителей державной власти? Для их спасения предадим ли Москву пламени и разорению? Но не спасем ни их, ни себя сопротивлением бесполезным. Следственно не о чем думать: должно прибегнуть к милосердию Димитрия!»

И в то время, когда сие беззаконное вече располагало царством, главные советники престола трепетали в Кремле от ужаса. Патриарх молил бояр действовать, а сам, в смятении духа, не мыслил явиться на лобном месте в ризах святительских, с крестом в деснице, с благословением для верных, с клятвою для изменников: он только плакал! Знатнейшие бояре Мстиславский и Василий Шуйский, Бельский и другие думные советники вышли из Кремля к гражданам, сказали им несколько слов в увещание и хотели схватить гонцов Лжедимитриевых: народ не дал их и завопил: «Время Годуновых миновалось! Мы были с ним во тьме кромешной: солнце восходит для России! Да здравствует царь Димитрий! Клятва Борисовой памяти! Гибель племени Годуновых!» С сим воплем толпы ринулись в Кремль. Стража и телохранители исчезли вместе с подданными для Феодора: действовали одни буйные мятежники; вломились во дворец и дерзостною рукою коснулись того, кому недавно присягали: стащили юного царя с престола, где он искал безопасности! Мать злосчастная упала к ногам неистовых и слезно молила не о царстве, а только о жизни милого сына! Но мятежники еще страшились быть извергами: безвредно вывели Феодора, его мать и сестру из дворца в Кремлевский собственный дом Борисов и там приставили к ним стражу; всех родственников царских, Годуновых, Сабуровых, Вельяминовых, заключили, имение их расхитили, домы сломали; не оставили ничего целого и в жилище иноземных медиков, любимцев Борисовых; хотели грабить и погреба казенные, но удержались, когда Бельский напомнил им, что все казенное уже есть Димитриево. Сей пестун меньшого Иоаннова сына явился тогда вдруг главным советником народа, как злейший враг Годуновых, и вместе с другими боярами, малодушными или коварными, старался утишить мятеж именем царя нового. Все дали присягу Димитрию, и (3 июня) вельможи, князья Иван Михайлович Воротынский, Андрей Телятевский, Петр Шереметев, думный дьяк Власьев и другие знатнейшие чиновники, дворяне, граждане выехали из столицы *с повинною* к Самозванцу в Тулу. Уже вестник Плещеева и Пушкина предупредил их; уже расстрига знал все, что сделалось в Москве, и еще не был спокоен: послал туда кня-

зя Василья Голицина, Мосальского и дьяка Сутупова с тайным наказом, а Петра Басманова с воинскою дружиною, чтобы мерзостным злодейством увенчать торжество беззакония.

Сии достойные слуги Лжедимитриевы, принятые в Москве как полновластные исполнители царской воли, начали дело свое с патриарха. Слабодушным участием в познях Борисовых лишив себя доверенности народной, не имев мужества умереть за истину и за Феодора, онемев от страха и даже, как уверяют, вместе с другими святителями *бив челом* Самозванцу, надеялся ли Иов снискать в нем срамную милость? Но Лжедимитрий не верил его бесстыдству; не верил, чтобы он мог с видом благоговения возложить царский венец на своего беглого диакона — и для того послы Самозванцевы объявили народу московскому, что раб Годуновых не должен остаться первосвятителем. Свергнув царя, народ во дни беззакония не усомнился свергнуть и патриарха. Иов совершал литургию в храме Успения: вдруг мятежники неистовые, вооруженные копьями и дреколием, вбегают в церковь; не слушают божественного пения; стремятся в алтарь, хватают и влекут патриарха; рвут с него одежду святительскую... Тут несчастный Иов изъявил и смирение и твердость: сняв с себя панагию и положив ее к образу Владимирской Богоматери, сказал громогласно: «Здесь, пред сею святою иконою, я был удостоен сана архиерейского и 19 лет хранил целость Веры: ныне вижу бедствие церкви, торжество обмана и ереси. Матерь Божия! спаси православие!» Его одели в черную ризу, *таскали, позорили* в храме, на площади, и вывезли в телеге из города, чтобы заключить в монастыре Старицком. — Удалив важнейшего свидетеля истины, противного Самозванцу, решили судьбу Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых: отправили их скованных в темницы городов дальних, низовых и сибирских (ненавистного Семена Годунова задавили в Переславле). Немедленно решили и судьбу державного семейства.

Юный Феодор, Мария и Ксения, сидя под стражею в том доме, откуда властолюбие Борисово извлекло их на феатр гибельного величия, угадывали свой жребий. Народ еще уважал в них святость царского сана, — может быть, и святость непорочности; может быть, в самом неистовстве бунта желал, чтобы мнимый Димитрий оказал великодушие и, взяв себе корону, оставил жизнь несчастным хотя в уединении какого-нибудь монастыря пустынного. Но великодушие в сем случае казалось расстриге

несогласным с политикою: чем более достоинств личных имел сверженный, законный царь, тем более он мог страшить лжецаря, возводимого на престол злодейством некоторых и заблуждением многих; успех измены всегда готовит другую — и никакая пустыня не скрыла бы державного юношу от умиления россиян. Так, вероятно, думал и Басманов; однако ж не хотел явно участвовать в деле ужасном: зло и добро имеют степени! Другие были смелее: князья Голицын и Мосальский, чиновники Молчанов и Шерефединов, взяв с собою трех зверовидных стрельцов, 10 июня пришли в дом Борисов: увидели Феодора и Ксению сидящих спокойно подле матери в ожидании воли Божией; вырвали нежных детей из объятий царицы, развели их по особым комнатам и велели стрельцам действовать: они в ту же минуту удавили царицу Марию; но юный Феодор, наделенный от природы силою необыкновенною, долго боролся с четырьмя убийцами, которые едва могли одолеть и задушить его. Ксения была несчастнее матери и брата: осталась жива: гнусный сластолюбец расстрига слышал об ее прелестях и велел князю Мосальскому взять ее к себе в дом. Москве объявили, что Феодор и Мария сами лишили себя жизни ядом; но трупы их, дерзостно выставленные на позор, имели несомнительные признаки удавления. Народ толпился у бедных гробов, где лежали две венценосные жертвы, супруга и сын властолюбца, который обожал — и погубил их, дав им престол на ужас и смерть лютейшую! «Святая кровь Димитриева,— говорят летописцы,— требовала крови чистой, и невинные пали за виновного, да страшатся преступники и за своих ближних!» Многие смотрели только с любопытством, но многие и с умилением: жалели о Марии, которая, быв дочерью гнуснейшего из палачей Иоанновых и женою святоубийцы, жила единственно благодеяниями, и коей Борис не смел никогда открывать своих злых намерений; еще более жалели о Феодоре, который цвел добродетелию и надеждою: столько имел и столько обещал прекрасного для счастия России, если бы оно угодно было Провидению! — Нарушили и спокойствие могил: выкопали тело Борисово, вложили в раку деревянную, перенесли из церкви Св. Михаила в девичий монастырь Св. Варсонофия на Сретенке и погребли там уединенно, вместе с телами Феодора и Марии!

Так совершилась казнь Божия над убийцею Димитрия истинного, и началася новая над Россиею под скиптром ложного!

Глава IV
ЦАРСТВОВАНИЕ ЛЖЕДИМИТРИЯ
1605—1606 гг.

Первое оскорбление бояр. Указы Лжедимитриевы. Посол английский. Шествие к Москве. Доверенность расстриги к немцам. Вступление в столицу. Пир. Милости. Филарет и юный Михаил. Царь Симеон и Годуновы. Гробы Нагих и Романовых пренесены в Москву. Благодеяния. Преобразование Думы. Любовь Самозванца к Генрику IV. Милосердие. Похвальное слово расстриге. Избрание нового патриарха. Безмолвное свидетельство царицы-инокини. Венчание. Безрассудность Лжедимитрия. Дела гнусные. Пострижение Ксении. Шепот о расстриге. Обличения. Шуйский. Немцы телохранители. Пышность и веселья. Посольство в Литву за невестою. Неудовольствия. Слух, что Борис Годунов жив. Титул цесаря. Обручение. Слухи о Самозванце в Польше. Лжедимитрий платит долги Мнишковы. Происшествия в Москве. Возвращение Шуйских. Самозванец Петр. Начало заговора. Посольство к шаху. Собрание войска в Ельце. Письмо к шведскому королю. Сношения с ханом. Толки о замыслах Лжедимитрия. Казнь стрельцов и дьяка Осипова. Опала царя Симеона и Татищева. Путешествие воеводы Сендомирского с Мариною. Речь Мнишкова. Условия. Опала двух святителей. Въезд Марины в столицу. Негодование москвитян. Соблазны. Ссора с послами. Дары. Обручение и свадьба. Новые причины к негодованию. Пиры. Новая ссора с литовскими послами. Переговоры государственные. Замышляемые потехи. Наглость ляхов. Ночной совет в доме у Шуйского. Дерзкие речи на площади. Волнение народа. Спокойствие Лжедимитрия. Измена войска. Последняя ночь для Самозванца. Восстание Москвы. Гибель Басманова. Свидетельство царицы-инокини. Суд, допрос и казнь Лжедимитрия. Щадят Марину. Убийства. Бояре утишают мятеж. Глубокая тишина ночи. Козни властолюбия. Речь Шуйского в Думе. Избрание нового царя. Развеяние Самозванцева праха. Доказательства, что Лжедимитрий был действительно обманщик.

Нелепою дерзостию и неслыханным счастием достигнув цели — каким-то обаянием прельстив умы и сердца вопреки здравому смыслу — сделав, чему нет примера в истории: из беглого монаха, козака-разбойника и слуги пана литовского в три года став ца-

рем великой державы, Самозванец казался хладнокровным, спокойным, не удивленным среди блеска и величия, которые окружали его в сие время заблуждения, срама и бесстыдства. Тула имела вид шумной столицы, исполненной торжества и ликования: там собралося более ста тысяч людей воинских и чиновных, множество купцов и народа из всех ближних городов и селений. Вслед за князьями Воротынским и Телятевским, избранными бить челом расстриге от имени Москвы, спешили туда и знатнейшие думные мужи: Мстиславский, Шуйские и другие, чтобы достойно вкусить плод своего малодушия: презрение от того, кому они всем жертвовали, кроме сана и богатства, бесчестного в таких обстоятельствах. Вместе с ними были в тульском дворце у Лжедимитрия козаки, новые донские выходцы (Смага Чертенский с товарищами): он дал руку им первым, и с ласкою; а боярам уже после, и с гневом за их долговременную строптивость. Пишут, что подлые козаки в присутствии Самозванца нагло ругали сих вельмож уничиженных, особенно князя Андрея Телятевского, долее других верного закону. Вельможи представили Лжедимитрию печать·государственную, ключи от казны Кремлевской, одежды, доспехи царские и сонм царедворцев для услуг его. Уже началося державство расстриги, который, по внушению ли собственного ума или советников, немедленно занялся правительством, действуя свободно, решительно, как бы человек рожденный на престоле, и с навыком власти: 11 июня (1605 г.), еще не имев вести о Феодоровом убиении, писал во все города и в самую дальнюю Сибирь, что он, укрытый *невидимою* силою от злодея Бориса и дозрев до мужества, правом наследия сел на государстве московском; что духовенство, синклит, все чины и народ целовали ему крест с усердием; что воеводы городские должны немедленно взять со всех людей такую же присягу на имя царицы-матери, инокини Марфы Феодоровны, и его, царя Димитрия, с обязательством служить им верно и *не давать отравы*, не сноситься ни с женою, ни с сыном Борисовым, *Федькою*, ни с кем из Годуновых; не мстить никому, не убивать никого без указа государева, жить в тишине и мире, а на службе *прямить* и мужествовать неизменно. Уже Самозванец занимался и делами внешними: велел догнать посла английского, Смита, еще не выехавшего из России; взять у него Борисовы письма к королю и сказать ему, что новый царь, в знак особенного дружества к Англии, даст ее купцам новые выгоды в торговле и немедленно после своего вен-

чания отправит из Москвы знатного сановника в Лондон, следуя европейскому обычаю и движению истинной любви к Иакову.

Узнав, что воля его исполнилась: патриарх свержен, Феодор и Мария в могиле, их ближние изгнаны, Москва спокойна и с нетерпением ждет воскресшего Димитрия, — Самозванец выступил из Тулы и 16 июня расположился станом на лугах Москвы-реки, у села Коломенского, где все чиновники и знатнейшие граждане поднесли ему хлеб-соль, златые кубки и соболей, а бояре великолепнейшую утварь царскую и говорили с видом единодушного усердия: «Иди и владей достоянием твоих предков. Святые храмы, Москва и чертоги Иоанновы ожидают тебя. Уже нет злодеев: земля поглотила их. Настало время мира, любви и веселия». Лжедимитрий ответствовал, что забывает вины детей, и будет не грозным владыкою, а ласковым отцом России. Тут же явились и немцы с челобитною: быв до конца верны Борису, оказав мужество в двух битвах, не хотев участвовать и в измене воевод под Кромами, они молили Самозванца не вменять им дела добросовестного в преступлении и писали: «мы честно исполнили долг присяги, и как служили Борису, так готовы служить и тебе, уже царю законному». Лжедимитрий принял их начальников весьма милостиво и сказал: «будьте для меня то же, что вы были для Годунова: я верю вам более, нежели своим русским!» Он хотел видеть немецкого чиновника, державшего знамя в Добрынской битве, и, положив ему руку на грудь, славил его неустрашимость: чего не могли слушать россияне с удовольствием; но они должны были изъявлять радость!

20 июня, в прекрасный летний день, Самозванец вступил в Москву, торжественно и пышно. Впереди поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, колесницы, заложенные шестернями и верховые лошади царские, богато украшенные; далее барабанщики и полки россиян, духовенство с крестами и Лжедимитрий на белом коне, в одежде великолепной, в блестящем ожерелье, ценою в 150 000 червонных: вокруг его 60 бояр и князей; за ними дружина литовская, немцы, козаки и стрельцы. Звонили во все колокола московские. Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли домов и церквей, башни и стены также усыпаны зрителями. Видя Лжедимитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй отец наш, государь и великий князь Димитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!»

Лжедимитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веля им встать и молиться за него Богу. Невзирая на то, он еще не верил москвитянам: ближние чиновники его скакали из улицы в улицу и непрестанно доносили ему о всех движениях народных: все было тихо и радостно. Но вдруг, когда Лжедимитрий чрез Живой мост и ворота Москворецкие выехал на площадь, сделался страшный вихрь: всадники едва могли усидеть на конях; пыль взвилась столбом и заслепила им глаза, так что царское шествие остановилось. Сей случай естественный поразил воинов и граждан; они крестились в ужасе, говоря друг другу: «Спаси нас, Господи, от беды! Это худое предзнаменование для России и Димитрия!» Тут же люди благочестивые были встревожены соблазном: когда расстрига, встреченный святителями и всем клиром московским на лобном месте, сошел с коня, чтобы приложиться к образам, литовские музыканты играли на трубах и били в бубны, заглушая пение молебна. Увидели и другую непристойность: вступив за духовенством в Кремль и в соборную церковь Успения, Лжедимитрий ввел туда и многих иноверцев, ляхов, венгров: чего никогда не бывало и что казалось народу осквернением храма. Так расстрига на самом первом шагу изумил столицу легкомысленным неуважением к святыне!.. Оттуда спешил он в церковь архистратига Михаила, где с видом благоговения преклонился на гроб Иоаннов, лил слезы и сказал: «О родитель любезный! Ты оставил меня в сиротстве и гонении; но святыми твоими молитвами я цел и державствую!» Сие искусное лицедействие было не бесполезно: народ плакал и говорил: «то истинный Димитрий!» Наконец расстрига в чертогах Иоанновых сел на престол государей московских.

В сей час многие вельможи вышли из дворца на Красную площадь к народу и с ними Богдан Бельский, который стал на лобное место, снял с груди свой образ Св. Николая, поцеловал его и клялся московским гражданам, что новый государь есть действительно сын Иоаннов, сохраненный и данный им Николаем Чудотворцем; убеждал россиян любить того, кто возлюблен Богом, и служить ему верно. Народ ответствовал единогласно: «Многие лета государю нашему Димитрию! Да погибнут враги его!» Торжество казалось искренним, общим. Самозванец с вельможами и духовенством пировал во дворце, граждане на площадях и дома; пили и веселились до глубокой ночи. «Но плачь был недалеко от радости, — говорит летописец, — и вино лилось в Москве пред кровию».

Объявили милости: Лжедимитрий возвратил свободу, чины и достояние не только Нагим, мнимым своим родственникам, но и всем опальным Борисова времени: страдальца Михайла Нагого пожаловал в сан *великого* конюшего, брата его и трех племянников, Ивана Никитича Романова, двух Шереметевых, двух князей Голицыных, Долгорукого, Татева, Куракина и Кашина в бояре; многих в окольничие, и между ими знаменитого Василья Щелкалова, удаленного от дел Борисом; князя Василья Голицына назвал *великим* дворецким, Бельского *великим* оружничим, князя Михайла Скопина-Шуйского *великим* мечником, князя Лыкова-Оболенского *великим* крайчим, Пушкина *великим* сокольничим, дьяка Сутупова *великим секретарем* и печатником, а Власьева также *секретарем великим и надворным подскарбием*, или казначеем, — то есть, кроме новых чинов, первый ввел в России наименования иноязычные, заимствованные от ляхов. Лжедимитрий вызвал и невольного, опального инока Филарета из Сийской пустыни, чтобы дать ему сан митрополита Ростовского: сей добродетельный муж, некогда главный из вельмож и ближних царских, имел наконец сладостное утешение видеть тех, о коих и в жизни отшельника тосковало его сердце: бывшую супругу свою и сына. С того времени инокиня Марфа и юный Михаил, отданный ей на воспитание, жили в епархии Филаретовой близ Костромы в монастыре Св. Ипатия, где все напоминало непрочную знаменитость и разительное падение их личных злодеев: ибо сей монастырь в XIV веке был основан предком Годуновых мурзою Четом и богато украшен ими. — Странное пугалище воображения Борисова, мнимый царь и великий князь Иоаннова времени Симеон Бекбулатович, ослепленный, как уверяют, и сосланный Годуновым, также удостоился Лжедимитриева благоволения в память Иоанну: ему велели быть ко двору, оказали великую честь и дозволили снова именоваться царем. Сняли опалу с родственников Борисовых и дали им места воевод в Сибири и в других областях дальних. Не забыли и мертвых: тела Нагих и Романовых, усопших в бедствии, вынули из могил пустынных, перевезли в Москву и схоронили с честию там, где лежали их предки и ближние.

Угодив всей России милостями к невинным жертвам Борисова тиранства, Лжедимитрий старался угодить ей и благодеяниями общими: удвоил жалованье сановникам и войску; велел заплатить все долги казенные Иоаннова царствования, отменил многие торговые и судные пошлины; строго запретил всякое мздоимство и

наказал многих судей бессовестных; обнародовал, что в каждую среду и субботу будет сам принимать челобитные от жалобщиков на Красном крыльце. Он издал также достопамятный закон о крестьянах и холопах: указал всех беглых возвратить их отчинникам и помещикам, кроме тех, которые ушли во время голода, бывшего в Борисово царствование, не имев нужного пропитания; объявил свободными слуг, лишенных воли насилием, без крепостей внесенных в государственные книги. Чтобы оказать доверенность к подданным, Лжедимитрий отпустил своих иноземных телохранителей и всех ляхов, дав каждому из них в награду за верную службу по сороку злотых, деньгами и мехами, но тем не удовлетворив их корыстолюбию: они хотели более, не выезжали из Москвы, жаловались и пировали!

Плененный обычаями той земли, где началася его жизнь пышная и где все казалось ему блестящим, превосходным в сравнении с Россиею, Лжедимитрий не удовольствовался введением новых чинов и наименований: он спешил, в духе сего подражания, изменить состав нашей древней Государственной думы: указал заседать в ней, сверх патриарха (что в важных случаях и дотоле бывало), четырем митрополитам, семи архиепископам и трем епископам, надеясь, может быть, обольстить тем мирское честолюбие духовенства, а более всего желая следовать уставу Королевства Польского; назвал всех мужей думных *сенаторами*, умножил число их до семидесяти, сам ежедневно там присутствовал, слушал и решал дела, как уверяют, с необыкновенною легкостию. Пишут, что он, имея дар краснословия, блистал им в совете, говорил много и складно, любил уподобления, часто ссылался на историю, рассказывал, что сам видел в иных землях, то есть в Литве и в Польше; изъявлял особенное уважение к королю французскому, Генрику IV; хвалился, подобно Борису, милосердием, кротостию, великодушием и твердил людям ближним: «Я могу двумя способами удержаться на престоле: тиранством и милостию; хочу испытать милость и верно исполнить обет, данный мною Богу: не проливать крови». Так говорил убийца непорочного Феодора и благодетельной Марии!.. Расстригу славили: московский Благовещенский протоиерей Терентий, сочинил ему похвальное слово, как венценосцу доблему, *носящему на языке милость*, а патриарх Иерусалимский униженною грамотою известил его, что вся Палестина ликует о спасении Иоаннова сына, предвидя в нем будущего своего избавителя, и что три лампады денно и нощно пылают над гробом Христовым во имя царя Димитрия.

Ближние люди Самозванца советовали ему, для утверждения своей власти, немедленно венчаться на царство: ибо многие думали, что и злосчастный Феодор не столь легко сделался бы жертвою измены, если бы успел освятить себя в глазах народа саном помазанника. Сей обряд торжественный надлежало совершить патриарху: не доверяя российскому духовенству, Лжедимитрий на место сверженного Иова выбрал чужеземца, грека Игнатия, архиепископа Кипрского, который, быв изгнан из отечества турками, жил несколько времени в Риме, приехал к нам в царствование Феодора Иоанновича, угодил Борису, и с 1603 года правил епархиею рязанскою. Он снискал милость Самозванца, встретив его еще в Туле; не имел ни чистой Веры, ни любви к России, ни стыда нравственного и казался ему надежнейшим орудием для всех замышляемых им соблазнов. Наспех поставили Игнатия в патриархи и наспех готовились к царскому венчанию; а Лжедимитрий готовил между тем иное торжественное явление, необходимое для полного удостоверения и Москвы и России, что венец Мономахов возлагается на главу Иоаннова сына.

Войско, синклит, все чины государственные признали обманщика Димитрием, все, кроме матери, которой свидетельство было столь важно и естественно, что народ без сомнения ожидал его с нетерпением. Уже Самозванец около месяца властвовал в Москве, а народ еще не видал царицы-инокини, хотя она жила только в пятистах верстах оттуда: ибо Лжедимитрий не мог быть уверен в ее согласии на обман, столь противный святому званию инокини и материнскому сердцу. Тайные сношения требовали времени: с одной стороны, представили ей жизнь царскую, а с другой, муки и смерть; в случае упрямства, страшного для обманщика, могли задушить несчастную — сказать, что она умерла от болезни или радости, и великолепными похоронами мнимой государевой матери успокоить народ легковерный. Вдовствующая супруга Иоаннова, еще не старая летами, помнила удовольствия света, двора и пышности; 13 лет плакала в уничижении, страдала за себя, за своих ближних — и не усомнилась в выборе. Тогда Лжедимитрий уже гласно послал к ней в Выксинскую пустыню великого мечника князя Михайла Васильевича Скопина-Шуйского и других людей знатных с убедительным челобитьем нежного сына благословить его на царство — и сам, 18 июля, выехал встретить ее в селе Тайнинском. — Двор и народ были свидетелями любопытного зрелища, в коем лицемерное искусство имело вид ис-

кренности и природы. Близ дороги расставили богатый шатер, куда ввели царицу и где Лжедимитрий говорил с нею наедине — не знали, о чем; но увидели следствие: мнимые сын и мать вышли из шатра, изъявляя радость и любовь; нежно обнимали друг друга и произвели в сердцах многих зрителей восторг умиления. Добродушный народ обливался слезами, видя их в глазах царицы, которая могла плакать и нелицемерно, вспоминая об истинном Димитрии и чувствуя свой грех пред ним, пред совестию и Россиею! Лжедимитрий посадил Марфу в великолепную колесницу; а сам с открытою головою шел несколько верст пешком, окруженный всеми боярами; наконец сел на коня, ускакал вперед и принял царицу в Иоанновых палатах, где она жила до того времени, как изготовили ей прекрасные комнаты в Вознесенском девичьем монастыре с особенною царскою услугою.

Там Самозванец, в лице почтительного и нежного сына, ежедневно виделся с нею; был доволен искусным ее притворством, но удалял от нее всех людей сомнительных, чтобы она не имела случая изменить ему в важной тайне, от нескромности или раскаяния.

21 июля совершилось венчание с известными обрядами; но россияне изумились, когда, после сего священного действия, выступил иезуит Николай Черниковский, чтобы приветствовать нововенчанного монарха непонятною для них речью на языке латинском. Как обыкновенно, все знатнейшее духовенство, вельможи и чиновники пировали в сей день у царя, силясь наперерыв оказывать ему усердие и радость — но уже многие лицемерно, ибо общее заблуждение не продолжилось!

Первым врагом Лжедимитрия был сам он, легкомысленный и вспыльчивый от природы, грубый от худого воспитания,— надменный, безрассудный и неосторожный от счастия. Удивляя бояр остротою и живостию ума в делах государственных, державный прошлец часто забывался: оскорблял их своими насмешками, упрекал невежеством, дразнил хвалою иноземцев и твердил, что россияне должны быть их учениками, ездить в чужие земли, видеть, наблюдать, образоваться и заслужить имя людей. Польша не сходила у него с языка. Он распустил своих иностранных телохранителей, но исключительно ласкал поляков, только им давал всегда свободный к себе доступ, с ними обходился дружески и советовался как с ближними; взял даже в тайные царские секретари двух ляхов Бучинских. Российские вельможи, изменив закону и чести, лишились права на уважение, но хотели его от то-

го, кому они пожертвовали законом и честию: самолюбие не безмолвствует и в стыде и в молчании совести. Только один россиянин от начала до конца пользовался доверенностию и дружбою Самозванца: всех виновнейший Басманов; но и сей несчастный ошибся: видел себя единственно любимцем, а не руководителем Лжедимитрия, который не для того искал престола, чтобы сидеть на нем всегдашним учеником Басманова: иногда спрашивался, иногда слушал его, но чаще действовал вопреки наставнику, по собственному уму или безумию. Грубостию огорчая бояр, Самозванец допускал их однако ж в разговорах с ним до вольности необыкновенной и несогласной с мыслями россиян о высокости царского сана, так что бояре, им не уважаемые, и сами уважали его менее прежних государей.

Самозванец скоро охладил к себе и любовь народную своим явным неблагоразумием. Снискав некоторые познания в школе и в обхождении с знатными ляхами, он считал себя мудрецом, смеялся над мнимым суеверием набожных россиян и, к великому их соблазну, не хотел креститься пред иконами; не велел также благословлять и кропить Святою водою царской трапезы, садясь за обед не с молитвою, а с музыкою. Не менее соблазнялись россияне и благовлением его к иезуитам, коим он в священной ограде Кремлевской дал лучший дом и позволил служить латинскую Обедню. Страстный к обычаям иноземным, ветреный Лжедимитрий не думал следовать русским: желал во всем уподобляться ляху, в одежде и в прическе, в походке и в телодвижениях; ел телятину, которая считалась у нас заповедным, грешным яством; не мог терпеть бани и никогда не ложился спать после обеда (как издревле делали все россияне от венценосца до мещанина), но любил в сие время гулять: украдкою выходил из дворца, один или сам-друг; бегал из места в место, к художникам, золотарям, аптекарям; а царедворцы, не зная, где царь, везде искали его с беспокойством и спрашивали о нем на улицах: чему дивились москвитяне, дотоле видав государей только в пышности, окруженных на каждом шагу толпою знатных сановников. Все забавы и склонности Лжедимитриевы казались странными: он любил ездить верхом на диких бешеных жеребцах и собственною рукою, в присутствии двора и народа, бить медведей; сам испытывал новые пушки и стрелял из них в цель с редкою меткостию; сам учил воинов, строил, брал приступом земляные крепости, кидался в свалку и терпел, что иногда толкали его небережно, сшибали с ног, да-

вили — то есть, хвалился искусством всадника, зверолова, пушкаря, бойца, забывая достоинство монарха. Он не помнил сего достоинства и в действиях своего нрава вспыльчивого: за малейшую вину, ошибку, неловкость, выходил из себя и бивал, палкою, знатнейших воинских чиновников — а низость в государе противнее самой жестокости для народа. Осуждали еще в Самозванце непомерную расточительность: он сыпал деньгами и награждал без ума; давал иноземным музыкантам жалованье, какого не имели и первые государственные люди; любя роскошь и великолепие, непрестанно покупал, заказывал всякие драгоценные вещи и месяца в три издержал более семи миллионов рублей — а народ не любил расточительности в государях, ибо страшится налогов. Описывая тогдашний блеск московского двора, иноземцы с удивлением говорят о Лжедимитриевом престоле, вылитом из чистого золота, обвешенном кистями алмазными и жемчужными, утвержденном внизу на двух серебряных львах и покрытом крестообразно четырьмя богатыми щитами, над коими сиял золотой шар и прекрасный орел из того же металла. Хотя расстрига ездил всегда верхом, даже в церковь, но имел множество колесниц и саней, окованных серебром, обитых бархатом и соболями; на гордых азиятских его конях седла, узды, стремена блистали золотом, изумрудами и яхонтами; возницы, конюхи царские одевались как вельможи. Не любя голых стен в палатах Кремлевских, находя их печальными и сломав деревянный дворец Борисов как памятник ненавистный, Самозванец построил для себя, ближе к Москве-реке, новый дворец, также деревянный, украсил стены шелковыми персидскими тканями, цветные изразцовые печи серебряными решетками, замки у дверей яркою позолотою, и в удивление москвитянам пред сим любимым своим жилищем поставил изваянный образ адского стража, медного огромного Цербера, коего три челюсти от легкого прикосновения разверзались и бряцали: «чем Лжедимитрий, — как сказано в летописи, — предвестил себе жилище в вечности: ад и тьму кромешную!»

Действуя вопреки нашим обычаям и благоразумию, Лжедимитрий презирал и святейшие законы нравственности: не хотел обуздывать вожделений грубых и, пылая сластолюбием, явно нарушал уставы целомудрия и пристойности, как бы с намерением уподобиться тем мнимому своему родителю; бесчестил жен и девиц, двор, семейства и святые обители дерзостию разврата и не устыдился дела гнуснейшего из всех его преступлений: убив мать

и брата Ксении, взял ее себе в наложницы. Красота сей несчастной царевны могла увянуть от горести; но самое отчаяние жертвы, самое злодейство неистовое казалось прелестию для изверга, который сим одним мерзостным бесстыдством заслужил свою казнь, почти сопредельную с торжеством его... Чрез несколько месяцев Ксению постригли, назвали Ольгою и заключили в пустыне на Белеозере, близ монастыря Кириллова.

Но Самозванец под личиною Димитрия, вероятно, мог бы еще долго безумствовать и злодействовать в венце Монохамовом, если бы сия, как бы волшебная личина не спала с него в глазах народа: столь велико было усердие россиян к древнему племени державному! Заблуждение возвысило бродягу: истина долженствовала низвергнуть обманщика. Не один удаленный Иов знал беглеца чудовского в Москве: надеялся ли расстрига казаться другим человеком, стараясь казаться полуляхом и черную ризу инока пременив на царскую? или, ослепленный счастием, уже не видал для себя опасности, имея в руках своих власть с грозою и считая россиян стадом овец бессловесных? или дерзостию мыслил уменьшить сию опасность, поколебать удостоверение, сомкнуть уста робкой истине? Он не думал скрываться и смело смотрел в глаза всякому любопытному на улицах; не ходил только в святую обитель Чудовскую, место неприятных для него знакомств и воспоминаний. Итак, не удивительно, что в самом начале нового царствования, когда Москва еще гремела хвалою Димитрия, уже многие люди шептали между собою о действительном сходстве его с диаконом Григорием; хвала умолкала от безрассудности и худых дел царя, а шепот становился внятнее — и скоро взволновал столицу. Первым уличителем и первою жертвою был инок, который сказал всенародно, что мнимый Димитрий известен ему с детских лет под именем Отрепьева, учился у него грамоте и жил с ним в одном монастыре: инока тайно умертвили в темнице. Нашелся и другой, опаснейший свидетель истины — тот, кому судьба вручала месть праведную, но коего час еще не наступил: князь Василий Шуйский. В смятении ужаса признав бродягу царем, вместе с иными боярами, он менее всех мог извиняться заблуждением, ибо собственными глазами видел Иоаннова сына во гробе. Терзаясь ли горестию и стыдом или имея уже дальновидные тайные замыслы властолюбия, Шуйский недолго безмолвствовал в столице: сказал ближним, друзьям, приятелям, что Россия у ног обманщика; внушал и народу, чрез своих пове-

ренных, купца Федора Конева и других, что Годунов и святитель Иов объявляли совершенную правду о Самозванце, еретике, орудии ляхов и папистов. Еще Лжедимитрий имел многих ревностных слуг: Басманов узнал и донес ему о сем кове, опасном знатностию виновника. Взяли Шуйского с братьями под стражу и велели судить, как дотоле еще никого не судили в России: Собором, избранным людям всех чинов и званий. Летописец уверяет, что князь Василий в сем единственном случае жизни своей явил себя Героем: не отрицался: смело, великодушно говорил истину, к искреннему и лицемерному ужасу судей, которые хотели заглушить ее воплем, проклиная такие хулы на венценосца. Шуйского пытали: он молчал; не назвал никого из соумышленников, и был один приговорен к смертной казни: братьев его лишали только свободы. В глубокой тишине народ теснился вокруг лобного места, где стоял осужденный боярин (как бывало в Иоанново время!) подле секиры и плахи, между дружинами воинов, стрельцов и козаков; на стенах и башнях Кремлевских также блистало оружие для устрашения москвитян, и Петр Басманов, держа бумагу, читал народу от имени царского: «Великий боярин, князь Василий Иванович Шуйский, изменил мне, законному государю вашему, Димитрию Иоанновичу всея России; коварствовал, злословил, ссорил меня с вами, добрыми подданными: называл лжецарем; хотел свергнуть с престола. Для того осужден на казнь: да умрет за измену и вероломство!» Народ безмолвствовал в горести, издавна любя Шуйских, и пролил слезы, когда несчастный князь Василий, уже обнажаемый палачом, громко воскликнул к зрителям: «Братья! Умираю за истину, за Веру христианскую и за вас!» Уже голова осужденного лежала на плахе... Вдруг слышат крик: *стой!* и видят царского чиновника, скачущего из Кремля к лобному месту, с указом в руке: объявляют помилование Шуйскому! Тут вся площадь закипела в неописанном движении радости: славили царя, как в первый день его торжественного вступления в Москву; радовались и верные приверженники Самозванца, думая, что такое милосердие дает ему новое право на любовь общую; негодовали только дальновиднейшие из них, и не ошиблись: мог ли забыть Шуйский пытки и плаху? Узнали, что не ветреный Лжедимитрий вздумал тронуть сердца сим неожиданным действием великодушия, но что царица-инокиня слезным молением убедила мнимого сына не казнить врага, который искал головы его!.. Совесть, вероятно, терзала сию не-

счастную пособницу обмана: спасая мученика истины, Марфа надеялась уменьшить грех свой пред людьми и Богом. Вместе с нею ходатайствовали за осужденного и некоторые ляхи, видя, сколь живое участие принимали москвитяне в судьбе его и желая снискать тем их благодарность. Всех трех Шуйских, князя Василия, Дмитрия, Ивана, сослали в пригороды галицкие; имение их описали, домы опустошили.

Тогда же разгласилось в Москве и свидетельство многих галичан, единоземцев и самых ближних Григория Отрепьева: дяди, брата и даже матери, добросовестной вдовы Варвары: они видели его, узнали и не хотели молчать. Их заключили; а дядю, Смирного-Отрепьева (в 1604 году ездившего к Сигизмунду для уличения племянника), сослали в Сибирь. Схватили еще дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора, которые явно возмущали народ против лжецаря. Самозванец велел казнить обоих торжественно и с удовольствием видел, что народ, благодарный ему за помилование Шуйского, не изъявил чувствительности к великодушию сих двух страдальцев; оба шли на смерть без ужаса и раскаяния, громогласно именуя Лжедимитрия Антихристом и любимцем Сатаны, жалея о России и предсказывая ей бедствие; чернь ругалась над ними, восклицая: «умираете за дело!» — С сего времени не умолкали доносы, справедливые и ложные, как в Борисово царствование: ибо Самозванец, дотоле желав хвалиться милосердием, уже следовал иным правилам: хотел грозою унять дерзость и для того благоприятствовал изветам. Пытали, казнили, душили в темницах, лишали имения, ссылали за слово о расстриге. По таким ли доносам, или единственно опасаясь нескромности своих старых приятелей, Лжедимитрий велел удалить многих чудовских иноков в другие, пустынные обители, хотя (что достойно замечания) оставил в покое Крутицкого митрополита Пафнутия, который с первого взгляда узнал в нем диакона Григория, быв в его время архимандритом сего монастыря, но, как вероятно, лицемерным или бессовестным изъявлением усердия к Самозванцу спас себя от гонения. Молчали и другие в боязни, так что столица казалась тихою. Но расстрига сделался осторожнее и, явно не доверяя москвитянам, снова окружил себя иноплеменниками: выбрал 300 немцев в свои телохранители, разделил их на три особенные дружины под начальством *капитанов*: француза Маржерета, ливонца Кнутсена и шотландца Вандемана; одел весьма богато в камку и бархат; вооружил алебардами и

протазанами[1], секирами и бердышами с золотыми орлами на древках, с кистями золотыми и серебряными; дал каждому воину, сверх поместья, от 40 до 70 рублей денежного жалованья — и с того времени уже никуда не ездил и не ходил один, всюду провождаемый сими грозными телохранителями, за коими только вдали следовали бояре и царедворцы. Мера достойная бродяги, игрою Судьбы вознесенного на степень державства: триста иноземных секир и копий должны были спасать его от предполагаемой измены целого народа и полумиллиона воинов, бесполезно раздражаемых знаками недоверия обидного! Между тем Лжедимитрий хотел веселья: музыка, пляска и зернь были ежедневною забавою двора. Угождая вкусу царя к пышности, все знатные и незнатные старались блистать одеждою богатою. Всякий день казался праздником. «Многие плакали в домах, а на улицах казались веселыми и нарядными женихами», говорит летописец. Смиренный вид и смиренная одежда для людей неубогих считались знаком худого усердия к царю веселому и роскошному, который сим призраком благосостояния желал уверить Россию в ее златом веке под державою обманщика.

Утишив, как он думал, Москву, Лжедимитрий спешил исполнить обет, данный его благодарностию, сердцем или политикою: предложить руку и венец Марине, которая любовию и доверенностию к бродяге заслуживала честь сидеть с ним на троне. Сношения между воеводою Сендомирским и нареченным его зятем не прерывались: Самозванец уведомлял Мнишка о всех своих успехах, называл всегда отцом и другом; писал к нему из Путивля, Тулы, Москвы; а воевода писал не только к Самозванцу, но и к боярам московским, требуя их признательности такими словами: «Способствовав счастию Димитрия, я готов стараться, чтобы оно было и счастием России, побуждаемый к сему моею всегдашнею к ней любовию и надеждою на вашу благодарность, когда вы увидите мое ревностное о вас ходатайство пред троном, и будете иметь новые выгоды, новые важные права, неизвестные доныне в Московском государстве». Наконец (в сентябре месяце) Лжедимитрий послал великого секретаря и казначея Афанасия Власьева в Краков для торжественного сватовства, дав ему грамоту к Сигизмунду и другую от царицы-инокини Марфы к отцу невестину. Могли ли россияне одобрить сей брак с иноверкою, хотя и

[1] Протазан — старинное оружие, копье с плоским наконечником.

знатного, но не державного племени,— с удовольствием видеть спесивого пана тестем царским, ждать к себе толпу его ближних, не менее спесивых, и раболепно чтить в них свойство с венценосцем, который избранием чужеземной невесты оказывал презрение ко всем благородным россиянкам? Самозванец, вопреки обычаю, даже и не известил бояр о сем важном деле: говорил, советовался единственно с ляхами. Но, легкомысленно досаждая россиянам, он в то же время не вполне удовлетворял и желаниям своих друзей иноземных.

Никто ревностнее нунция папского, Рангони, не служил обманщику: пышною грамотою приветствуя Лжедимитрия на троне, Рангони славил Бога и восклицал: *мы победили!* льстил ему хвалами неумеренными и надеялся, что соединение церквей будет первым из его дел бессмертных; писал: «Изображение лица твоего уже в руках Св. Отца, исполненного к тебе любви и дружества. Не медли изъявить свою благодарность Главе верных... и приими от меня дары духовные: образ сильного Воеводы, Коего содействием ты победил и царствуешь; четки молитвенные и Библию Латинскую, да услаждаешься ее чтением, и да будешь вторым Давидом». Скоро прибыл в Москву и чиновник римский, граф Александр Рангони (племянник нунция) с *апостольским благословением* и с поздравительною грамотою от преемника Климентова, нетерпеливого в желании видеть себя главою нашей церкви; но Самозванец в учтивом ответе, хваляся чудесною к нему благостию Божиею, истребившею злодея, *отцеубийцу* его, не сказал ни слова о соединении церквей: говорил только о великодушном своем намерении жить не в праздности, но вместе с императором идти на султана, чтобы стереть державу неверных с лица земли, убеждая Павла V не допускать Рудольфа до мира с турками: для чего хотел отправить в Австрию и собственного посла. Лжедимитрий писал и вторично к папе, обещая доставить безопасность его миссионариям на пути их чрез Россию в Персию и *быть верным в исполнении данного ему слова*, посылал и сам иезуита Андрея Лавицкого в Рим, но, кажется, более для государственного, нежели церковного дела: для переговоров о войне Турецкой, которую он действительно замышлял, пленяясь в воображении ее славою и пользою. Надменный счастием, рожденный смелым и с любовию к опасностям, Самозванец в кружении легкой головы своей уже не был доволен государством Московским: хотел завоеваний и держав новых! Сия ревность еще сильнее воспылала в нем от донесения воевод терских, что их стрельцы и козаки одержали верх в

сшибке с турками и что некоторые данники султанские в Дагестане присягнули России. Издавна проповедуя в Европе необходимость всеобщего восстания держав христианских на Оттоманскую, мог ли Рим не одобрить намерения Лжедимитриева? Папа славил Царя-Героя, советуя ему только начать с ближайшего: с Тавриды, чтобы истреблением гнезда злодейского, столь бедоносного для России и Польши, *отрезать крылья и правую руку* у султана в войне с императором; однако ж имел причину не доверять ревности Самозванца к латинской церкви, видя, как он в письмах своих избегает всякого *ясного* слова о Законе. Кажется, что Самозванец охладел в усердии сделать россиян папистами: ибо, невзирая на свойственную ему безрассудность, усмотрел опасность сего нелепого замысла и едва ли бы решился приступить к исполнению оного, если бы и долее царствовал.

Скоро увидел и главный благодетель Лжедимитриев, Сигизмунд лукавый, что счастие и престол изменили того, кто еще недавно в восторге лобызал его руку, безмолвствовал и вздыхал пред ним, как раб униженный. Быв непосредственным виновником успехов Самозванца — оказав бродяге честь сына царского, дав ему деньги, воинов, и тем склонив народ северский верить обману — Сигизмунд весьма естественно ждал благодарности и, чрез секретаря своего, Госевского, приветствуя нового царя, нескромно требовал, чтобы Лжедимитрий выдал ему шведских послов, если они будут в Москву от *мятежника* Карла. Госевский, беседуя с царем наедине, объявил за тайну, что король встревожен молвою удивительною. «Недавно (говорил сей чиновник) выехал к нам из России один приказный, который уверяет, что Борис жив: устрашенный твоими победами и, следуя наставлению волхвов, он уступил державу сыну, юному Феодору, притворился мертвым и велел торжественно, вместо себя, схоронить другого человека, опоенного ядом; а сам, взяв множество золота, с ведома одной царицы и Семена Годунова бежал в Англию, называясь купцом. Поручив надежным людям разведать в Лондоне, действительно ли укрывается там опасный злодей твой, Сигизмунд, как истинный друг, счел за нужное предостеречь тебя и, думая, что верность россиян еще сомнительна, дал указ нашим литовским воеводам быть в готовности для твоей защиты». Сия сказка не испугала Лжедимитрия: он благодарил короля, но ответствовал, что «в смерти Борисовой не сомневается; что готов быть недругом мятежнику шведскому, но прежде хочет удостовериться в

искренней дружбе Сигизмунда, который, вопреки ласковым словам, уменьшает данное ему Богом достоинство» — ибо Сигизмунд в письме своем назвал его господарем и великим князем, а не *царем*: Самозванец же хотел не только сего титула, но и нового, пышнейшего: вздумал именовать себя *цесарем* и даже *непобедимым*, мечтая о своих будущих победах! Узнав о таком гордом требовании, Сигизмунд изъявил досаду, и вельможные паны упрекали недавнего бродягу смешным высокоумием, злою неблагодарностию; а Лжедимитрий писал в Варшаву, что он не забыл добрых услуг Сигизмундовых, чтит его как брата, как отца; желает утвердить с ним союз, но не престанет требовать цесарского титула, хотя и не мыслит грозить ему за то войною. Люди благоразумные, особенно Мнишек и нунций папский, тщетно доказывали Самозванцу, что король называет его так, как государи польские всегда называли государей московских, и что Сигизмунду нельзя переменить сего обыкновения без согласия чинов республики. Другие же, не менее благоразумные люди думали, что республика не должна ссориться за пустое имя с хвастливым другом, который может быть ей орудием для усмирения шведов; но паны не хотели слышать о новом титуле, и воевода познанский сказал в гневе одному чиновнику российскому: «Бог не любит гордых, и *непобедимому* царю вашему не усидеть на троне». — Сей жаркий спор не мешал однако ж успеху в деле сватовства.

1 ноября *великий посол* царский, Афанасий Власьев, со многочисленною благородною дружиною приехал в Краков и был представлен Сигизмунду: говорил сперва о счастливом воцарении Иоаннова сына, о славе низвергнуть державу Оттоманскую, завоевать Грецию, Иерусалим, Вифлеем и Вифанию, а после о намерении Димитрия разделить престол с Мариною, из благодарности за важные услуги, оказанные ему, во дни его несгоды и печали, знаменитым ее родителем. 12 ноября, в присутствии Сигизмунда, сына его Владислава и сестры, шведской королевны Анны, совершилось торжественное обручение (воспетое в стихах пиндарических иезуитом Гроховским). Марина, с короною на голове, в белой одежде, унизанной каменьями драгоценными, блистала равно и красотою и пышностию. Именем Мнишка сказав Власьеву (который заступал место жениха), что отец благословляет дочь на брак и царство, литовский канцлер Сапега говорил длинную речь, также и пан Ленчицкий и кардинал, епископ Краковский, славя «достоинства, воспитание и знатный род Марины,

вольной дворянки государства вольного, — честность Димитрия в исполнении данного им обета, счастие России иметь законного, отечественного венценосца, вместо иноземного или похитителя, и видеть искреннюю дружбу между Сигизмундом и царем, который без сомнения не будет примером неблагодарности, зная, чем обязан королю и Королевству Польскому». Кардинал и знатнейшие духовные сановники пели молитву: Veni, Creator: все преклонили колена; но Власьев стоял и едва не произвел смеха, на вопрос епископа: «не обручен ли Димитрий с другою невестою?» ответствуя: *а мне как знать? того у меня нет в наказе*. Меняясь перстнями, он вынул царский из ящика, с одним большим алмазом, и вручил кардиналу; а сам не хотел голою рукою взять невестина перстня. По совершении священных обрядов был великолепный стол у воеводы Сендомирского, и Марина сидела подле короля, принимая от российских чиновников дары своего жениха: богатый образ Св. Троицы, благословение царицы-инокини Марфы; перо из рубинов; чашу гиацинтовую; золотой корабль, осыпанный многими драгоценными каменьями; золотого быка, пеликана и павлина; какие-то *удивительные* часы с флейтами и трубами; с лишком три пуда жемчугу, 640 редких соболей, кипы бархатов, парчей, штофов, атласов, и проч. и проч. Между тем Власьев, желая быть почтительным, не хотел садиться за стол с Мариною, ни пить, ни есть и, худо разумея, что он представляет лицо Димитрия, бил челом в землю, когда Сигизмунд и семейство его пили за здоровье царя и *царицы*: уже так именовали невесту обрученную. После обеда король, Владислав и шведская принцесса Анна танцевали с Мариною; а Власьев уклонился от сей чести, говоря: «дерзну ли коснуться ее величества!» Наконец, прощаясь с Сигизмундом, Марина упала к ногам его и плакала от умиления, к неудовольствию посла, который видел в том унижение для будущей супруги московского венценосца; но ему ответствовали, что Сигизмунд государь ее, ибо она еще в Кракове. Подняв Марину с ласкою, король сказал ей: «Чудесно возвышенная Богом, не забудь, чем ты обязана стране своего рождения и воспитания, — стране, где оставляешь ближних и где нашло тебя счастие необыкновенное. Питай в супруге дружество к нам и благодарность за сделанное для него мною и твоим отцом. Имей страх Божий в сердце, чти родителей *и не изменяй обычаям польским*». Сняв с себя шапку, он перекрестил Марину, собственными руками отдал послу и дозволил воеводе Сендомирскому

ехать с нею в Россию; а Власьев, немедленно отправив к Самозванцу перстень невесты и живописное изображение лица ее, жил еще несколько дней в Кракове, чтобы праздновать Сигизмундово бракосочетание с австрийскою эрцгерцогинею, и (8 декабря) выехал в Слоним, ожидать там Мнишка и Марины на пути их в Россию; но ждал долго.

Пожертвовав Самозванцу знатною частию своего богатства, воевода Сендомирский не был доволен одними дарами: требовал от него денег, чтобы расплатиться с заимодавцами, и не хотел без того выехать из Кракова; скучал, досадовал и тревожился худою молвою о будущем зяте. В Кракове знали, что делалось в Москве; знали о негодовании россиян, и многие не верили ни царскому происхождению Лжедимитрия, ни долговременности его счастия; говорили о том всенародно, предостерегали короля и Мнишка. Сама царица-инокиня Марфа, как уверяют, тайно велела чрез одного шведа объявить Сигизмунду, что мнимый Димитрий не есть сын ее. Даже и чиновники российские, присылаемые гонцами в Польшу, шептали на ухо любопытным о царе беззаконном, и предсказывали неминуемый скорый ему конец. Но Сигизмунд и Мнишек не верили таким речам или показывали, что не верят, желая приписывать их единственно внушениям тайных злодеев царя, друзей Годунова и Шуйского. Во всяком случае уже не время было думать о разрыве с тем, кто звал на престол Марину и честно вознаграждал отца ее за все его убытки: ибо, наконец (в генваре 1606), секретарь *Ян* Бучинский привез из Москвы 200 тысяч злотых Мнишку, сверх ста тысяч, отданных Лжедимитрием Сигизмунду в уплату суммы, которую занял у него воевода Сендомирский на ополчение 1604 года. Расстрига изъявлял нетерпение видеть невесту; но отец ее, занимаясь пышными сборами, еще долго жил в Галиции, и выехал, с толпою своих ближних, уже в распутицу, так что некоторые из них от худой дороги возвратились,— к их счастию: ибо в Москве уже все изготовилось к страшному действию народной мести.

Оградив себя иноземными телохранителями и, видя тишину в столице, уклончивость, низость при дворе, Лжедимитрий совершенно успокоился; верил какому-то предсказанию, что ему властвовать 34 года, и пировал с боярами на их свадьбах, дозволив им свободно выбирать себе невест и жениться: чего не было в царствование Годунова, и чем воспользовался, хотя уже и не в молодых летах, знатнейший вельможа князь Мстиславский, за

коего Самозванец выдал двоюродную сестру царицы-инокини Марфы. Казалось, что и Москва искренно веселилась с царем: никогда не бывало в ней столько пиров и шума; никогда не видали столько денег в обращении: ибо немцы, ляхи, козаки, сподвижники Лжедимитрия, от щедрот его сыпали золотом, к немалой выгоде московского купечества, и хвастаясь богатством, по словам летописца, не только ели, пили, но и в банях мылись из серебряных сосудов. В сии веселые дни Самозванец, расположенный к действиям милости, простил Шуйских, чрез шесть месяцев ссылки: возвратил им богатство и знатность, в удовольствие их многочисленных друзей, которые умели хитро ослепить его прелестию такого великодушия, и, вероятно, уже не без намерения, гибельного для лжецаря. Всеми уважаемый как первостепенный муж государственный и потомок Рюриков, Василий Шуйский был тогда идолом народа, прославив себя неустрашимою твердостию в обличении Самозванца: пытки и плаха дали ему, в глазах россиян, блистательный венец Героя-мученика, и никто из бояр не мог, в случае народного движения, иметь столько власти над умами, как сей князь, равно честолюбивый, лукавый и смелый. Дав на себя письменное обязательство в верности Лжедимитрию, он возвратился в столицу, по-видимому, иным человеком: казался усерднейшим его слугою и снискал в нем особенную доверенность, вопреки мнению некоторых ближних людей Самозванца, которые говорили, что можно из милосердия, иногда одобряемого политикою, не казнить изменника и клятвопреступника, но безрассудно верить его новой клятве; что Шуйский, не видав от Димитрия ничего, кроме благоволения, замышлял его гибель, а претерепев от него бесчестие, муки, ужас смерти, конечно не исполнился любви к своему карателю, хотя и правосудному: исполнился, вероятнее, злобы и мести, скрываемых под личиною раскаяния. Они говорили истину: Шуйский возвратился с тем, чтобы погибнуть или погубить Лжедимитрия. Но легкоумный, гордый Самозванец, хваляся еще не столько благостию, сколько бесстрашием, ответствовал, что находя искреннее удовольствие в милости, любит прощать совершенно, не вполовину, и без греха не может чего-нибудь страшиться, быв от самой колыбели чудесно и явно храним Богом. Он хотел, чтобы князь Василий, подобно Мстиславскому, избрал себе знатную невесту: Шуйский выбрал княжну Буйносову-Ростовскую, свойственницу Нагих, и должен был жениться чрез несколько дней после царской свадьбы — од-

ним словом, быв угодником Иоанновым и Борисовым, обворожил расстригу нехитрого, сделался его советником, и не для того, чтобы советовать ему доброе!

Лжедимитрий действовал, как и прежде: ветрено и безрассудно; то желал снискать любовь россиян, то умышленно оскорблял их. Современники рассказывают следующее происшествие: «Он велел сделать зимою ледяную крепость, близ Вяземы, верстах в тридцати от Москвы, и поехал туда с своими телохранителями, с конною дружиною ляхов, с боярами и лучшим воинским дворянством. Россиянам надлежало защищать городок, а немцам взять его приступом: тем и другим, вместо оружия, дали снежные комы. Начался бой, и Самозванец, предводительствуя немцами, первый ворвался в крепость; торжествовал победу; говорил: *так возьму Азов* — и хотел нового приступа. Но многие из россиян обливались кровию: ибо немцы во время схватки, бросая в них снегом, бросали и каменьями. Сия худая шутка, оставленная царем без наказания и даже без выговора, столь озлобила россиян, что Лжедимитрий, опасаясь действительной сечи между ими, телохранителями и ляхами, спешил развести их и возвратиться в Москву». Ненависть к иноземцам, падая и на пристрастного к ним царя, ежедневно усиливалась в народе от их дерзости: например, с дозволения Лжедимитриева имея свободный вход в наши церкви, они бесчинно гремели там оружием, как бы готовясь к битве; опирались, ложились на гробы Святых. Не менее жаловались москвитяне и на козаков, сподвижников расстригиных: величаясь своею услугою, сии люди грубые оказывали к ним презрение и называли их в ругательство жидами; суда не было. — Но самым злейшим врагом Лжедимитрия сделалось духовенство. Как бы желая унизить сан монашества, он срамил иноков в случае их гражданских преступлений, бесчестною торговою казнию, занимал деньги в богатых обителях и не думал платить сих долгов значительных; наконец велел представить себе опись имению и всем доходам монастырей, изъявив мысль оставить им только необходимое для умеренного содержания старцев, а все прочее взять на жалованье войску: то есть смелый бродяга, бурею кинутый на престол шаткий и новою бурею угрожаемый, хотел прямо, необиновенно[1] совершить дело, на которое не отважились государи законные, Иоанны III и IV, в тишине бесспорного властвования и повиновения неограни-

---

[1] Необиновенно — без колебаний, безоговорочно.

ченного! — Дело менее важное, но не менее безрассудное также возбудило негодование белого московского духовенства: Лжедимитрий выгнал всех арбатских и чертольских священников из их домов, чтобы поместить там своих иноземных телохранителей, которые жили большею частию в слободе Немецкой, слишком далеко от Кремля. Пастыри душ, в храмах торжественно молясь за мнимого Димитрия, тайно кляли в нем врага своего и шептали прихожанам о Самозванце, гонителе церкви и благоприятеле всех ересей: ибо он, дозволив иезуитам служить латинскую Обедню в Кремле, дозволил и лютеранским пасторам говорить там проповеди, чтобы его телохранители не имели труда ездить для моления в отдаленную Немецкую слободу.

В сие время явление нового Самозванца также повредило расстриге в общем мнении. Завидуя успеху и чести донцов, их братья, козаки волжские и терские, назвали одного из своих товарищей, молодого козака Илейку, сыном государя Феодора Иоанновича, Петром, и выдумали сказку, что Ирина в 1592 году разрешилась от бремени сим царевичем, коего властолюбивый Борис умел скрыть и подменил девочкою (Феодосиею). Их собралося 4000, к ужасу путешественников, особенно людей торговых: ибо сии мятежники, сказывая, что идут в Москву с царем, грабили всех купцов на Волге, между Астраханью и Казанью, так что добычу их ценили в 300 тысяч рублей; а Лжедимитрий не мешал им злодействовать и писал к мнимому Петру — вероятно, желая заманить его в сети — что если он истинный сын Феодоров, то спешил бы в столицу, где будет принят с честию. Никто не верил новому обманщику; но многие еще более уверились в самозванстве расстриги, изъясняя одну басню другою; многие даже думали, что оба Самозванца в тайном согласии; что Лжепетр есть орудие Лжедимитрия; что последний велит козакам грабить купцов для обогащения казны своей и ждет их в Москву, как новых ревностных союзников для безопаснейшего тиранства над россиянами, ему ненавистными. Илейка действительно, как пишут, хотел воспользоваться ласковым приглашением расстриги и шел к Москве, но узнал в Свияжске, что мнимого дяди его уже не стало.

По всем известиям, возвращение князя Василия Шуйского было началом великого заговора и решило судьбу Лжедимитрия, который изготовил легкий успех оного, досаждая боярам, духовенству и народу, презирая Веру и добродетель. Может быть, следуя иным, лучшим правилам, он удержался бы на троне и вопре-

ки явным уликам в самозванстве; может быть, осторожнейшие из бояр не захотели бы свергнуть властителя хотя и незаконного, но благоразумного, чтобы не предать отечества в жертву безначалию. Так, вероятно, думали многие в первые дни расстригина царствования: ведая, кто он, надеялись по крайней мере, что сей человек удивительный, одаренный некоторыми блестящими свойствами, заслужит счастие делами достохвальными; увидели безумие — и восстали на обманщика: ибо Москва, как пишут, уже не сомневалась тогда в единстве Отрепьева и Лжедимитрия. Любопытно знать, что самые ближние люди расстригины не скрывали истины друг от друга; сам несчастный Басманов в беседе искренней с двумя немцами, преданными Лжедимитрию, сказал им: «Вы имеете в нем отца и благоденствуете в России: молитесь о здравии его вместе со мною. Хотя он и *не сын Иоаннов*, но государь наш: ибо мы *присягали* ему, и лучшего найти не можем». Так Басманов оправдывал свое усердие к Самозванцу. Другие же судили, что *присяга*, данная в заблуждении или в страхе, не есть истинная: сию мысль еще недавно внушали народу друзья Лжедимитриевы, склоняя его изменить юному Феодору; сею же мыслию успокоивал и Шуйский россиян добросовестных, чтобы низвергнуть бродягу. Надлежало открыться множеству людей разного звания, иметь сообщников в синклите, духовенстве, войске, гражданстве. Шуйский уже испытал опасность ковов, лежав на плахе от нескромности своих клевретов; но с того времени общая ненависть ко Лжедимитрию созрела и ручалась за вернейшее хранение тайны. По крайней мере не нашлося предателей-изветников — и Шуйский умел, в глазах Самозванца, ежедневно с ним веселясь и пируя, составить заговор, коего нить шла от царской Думы чрез все степени государственные до народа московского, так что и многие из ближних людей Отрепьева, выведенные из терпения его упрямством в неблагоразумии, пристали к сему кову. Распускали слухи зловредные для Самозванца, истинные и ложные: говорили, что он, пылая жаждою кровопролития безумного, в одно время грозит войною Европе и Азии. Лжедимитрий несомнительно думал воевать с султаном, назначил для того посольство к шаху Аббасу, чтобы приобрести в нем важного сподвижника, и велел дружинам детей боярских идти в Елец, отправив туда множество пушек; грозил и Швеции; написал к Карлу: «Всех соседственных государей уведомив о своем воцарении, уведомляю тебя единственно о моем дружестве с законным королем шведским Си-

гизмундом, требуя, чтобы ты возвратил ему державную власть, похищенную тобою вероломно, вопреки уставу Божественному, естественному и народному праву — или вооружишь на себя могущественную Россию. Усовестись и размысли о печальном жребии Бориса Годунова: так Всевышний казнит похитителей — казнит и тебя». Уверяли еще, что Лжедимитрий вызывает хана опустошать южные владения России и, желая привести его в бешенство, послал к нему в дар шубу из свиных кож: басня опровергаемая современными государственными бумагами, в коих упоминается о мирных, дружественных сношениях Лжедимитрия с Казы-Гиреем и дарах обыкновенных. Говорили справедливее о намерении или обещании самозванца предать нашу церковь папе и знатную часть России Литве: о чем сказывал боярам дворянин Золотой-Квашнин, беглец Иоаннова времени, который долго жил в Польше. Говорили, что расстрига ждет только воеводы Сендомирского с новыми шайками ляхов для исполнения своих умыслов, гибельных для отечества. Уже начальники заговора хотели было приступить к делу; но отложили удар до свадьбы Лжедимитриевой для того ли, как пишут, чтобы с невестою и с ее ближними возвратились в Москву древние царские сокровища, раздаренные им щедростию Самозванца, или для того, чтобы он имел время и способ еще более озлобить россиян новыми беззакониями, предвиденными Шуйским и друзьями его?

Между тем два или три случая, не будучи в связи с заговором, могли потревожить Самозванца. Ему донесли, что некоторые стрельцы всенародно злословят его, как врага Веры: он призвал всех московских стрельцов с головою Григорием Микулиным, объявил им дерзость их товарищей и требовал, чтобы верные воины судили изменников: Микулин обнажил меч, и хулители лжецаря, не изъявляя ни раскаяния, ни страха, были иссечены в куски своими братьями: за что Самозванец пожаловал Микулина, как усердного слугу, в дворяне думные, а народ возненавидел, как убийцу великодушных страдальцев. Таким же мучеником хотел быть и дьяк Тимофей Осипов: пылая ревностию изобличить расстригу, он несколько дней говел дома, приобщился Святых Таин и торжественно, в палатах царских, пред всеми боярами, назвал его *Гришкою Отрепьевым, рабом греха, еретиком*. Все изумились, и сам Лжедимитрий безмолвствовал в смятении: опомнился и велел умертвить сего в истории незабвенного мужа, который своею кровию, вместе с немногими другими, искупал рос-

сиян от стыда повиноваться бродяге. Пишут, что и стрельцы и дьяк Осипов, прежде их убиения, были допрашиваемы Басмановым, но никого не оговорили в единомыслии с ними. Не менее бесстрашным оказал себя и знаменитый слепец, так называемый царь Симеон: будучи ревностным христианином и слыша, что Лжедимитрий склоняется к латинской Вере, он презрел его милость и ласки, всенародно изъявлял негодование, убеждал истинных сынов церкви умереть за ее святые уставы: Симеона, обвиняемого в неблагодарности, удалили в монастырь Соловецкий и постригли. Тогда же чиновник, известный способностями ума и гибкостию нрава, быв в равной доверенности у Бориса и Самозванца, думный дворянин Михайло Татищев, вдруг заслужил опалу смелостию, в нем совсем необыкновенною. Однажды, за столом царским, князь Василий Шуйский, видя блюдо телятины, в первый раз сказал Лжедимитрию, что не должно подчивать россиян яствами, для них гнусными; а Татищев, пристав к Шуйскому, начал говорить столь невежливо и дерзко, что его вывели из дворца и хотели сослать на Вятку; но Басманов чрез две недели исходатайствовал ему прощение (себе на гибель, как увидим). Сей случай возбудил подозрение в некоторых ближних людях Отрепьева и в нем самом: думали, что Шуйский завел сей разговор с умыслом и что Татищев не даром изменил своему навыку; что они, зная вспыльчивость Лжедимитрия, хотели вырвать из него какое-нибудь слово нескромное и во вред ему разгласить о том в городе; что у них должно быть намерение дальновидное и злое. К счастию, Лжедимитрий, по нраву и правилам неопасливый, скоро оставил сию беспокойную мысль, видя вокруг себя лица веселые, все знаки усердия и преданности, особенно в Шуйском, и всего более думая тогда о великолепном приеме Марины.

Но воевода Сендомирский как долго не трогался с места, так медленно и путешествовал; везде останавливался, пировал, к досаде своего провожатого, Афанасия Власьева, и еще из Минска писал в Москву, что ему нельзя выехать из литовских владений, пока царь не заплатит королю *всего долга*; что грубость излишно ревностного слуги Власьева, нудящего их *не ехать, а лететь* в Россию, несносна для него, ветхого старца, и для нежной Марины. Самозванец не жалел денег: обязался удовлетворить всем требованиям Сигизмундовым, прислал 5000 червонцев в дар невесте, и сверх того 5000 рублей и 13 000 талеров на ее путешествие до пределов России; но изъявил неудовольствие. «Вижу, —

писал он к Мнишку, — что вы едва ли и весною достигнете нашей столицы, где можете не найти меня: ибо я намерен встретить лето в стане моего войска и буду в поле до зимы. Бояре, высланные ждать вас на рубеж, истратили в сей голодной стране все свои запасы и должны будут возвратиться, к стыду и поношению царского имени». Мнишек в досаде хотел ехать назад; однако ж, извинив колкие выражения будущего зятя нетерпением его страстной любви, 8 апреля въехал в Россию.

Пишут, что Марина, оставляя навеки отечество, неутешно плакала в горестных предчувствиях и что Власьев не мог успокоить ее велеречивым изображением ее славы. Воевода Сендомирский желал блеснуть пышностию: с ним было родственников, приятелей и слуг не менее двух тысяч, и столько же лошадей. Марина ехала между рядами конницы и пехоты. Мнишек, брат и сын его, князь Вишневецкий и каждый из знатных панов имел свою дружину воинскую. На границе приветствовали невесту царедворцы московские, а за местечком Красным бояре, Михайло Нагой (мнимый дядя Лжедимитриев) и князь Василий Мосальский, который сказал отцу ее, что знаменитейшие государи европейские хотели бы выдать дочерей своих за Димитрия, но что Димитрий предпочитает им его дочь, умея любить и быть благодарным. Оттуда повезли Марину на двенадцати белых конях, в санях великолепных, украшенных серебряным орлом; возницы были в парчовой одежде, в черных лисьих шапках; впереди ехало двенадцать знатных всадников, которые служили путеводителями и кричали возницам, где видели камень или яму. Несмотря на весеннюю распутицу, везде исправили дорогу, везде построили новые мосты и домы для ночлегов. В каждом селении жители встречали невесту с хлебом и солью, священники с иконами. Граждане в Смоленске, Дорогобуже, Вязме подносили ей многоценные дары от себя, а сановники вручали письма от жениха с дарами еще богатейшими. Все старались угождать не только будущей царице, но и спутникам ее, надменным ляхам, которые вели себя нескромно, грубили россиянам, притворно смиренным, и, достигнув берегов Угры, вспомнили, что тут была древняя граница Литвы — надеялись, что и будет снова: ибо Мнишек вез с собою владенную грамоту, данную ему Самозванцем, на княжение Смоленское!.. Оставив Марину в Вязме, Сендомирский воевода с сыном и князем Вишневецким спешили в Москву для некоторых предварительных условий с царем относительно к браку.

25 апреля, имев пышный въезд в столицу, Мнишек с восторгом увидел будущего зятя на великолепном троне, окруженном боярами и духовенством: патриарх и епископы сидели на правой стороне, вельможи на левой. Мнишек целовал руку Лжедимитриеву; говорил речь и не находил слов для выражения своего счастия. «Не знаю (сказал он), какое чувство господствует теперь в душе моей: удивление ли чрезмерное или радость неописанная? Мы проливали некогда слезы умиления, слушая повесть о жалостной, мнимой кончине Димитрия — и видим его воскресшего! Давно ли, с горестию иного рода, с участием искренним и нежным, я жал руку изгнанника, моего гостя печального — и сию руку, ныне державную, лобызаю с благоговением!.. О счастие! как ты играешь смертными! Но что говорю? не слепому счастию, а Провидению дивимся в судьбе твоей: Оно спасло тебя и возвысило, к утешению России и всего христианства. Уже известны мне твои блестящие свойства: я видел тебя в пылу битвы неустрашимого, в трудах воинских неутомимого, к хладу зимнему нечувствительного... ты бодрствовал в поле, когда и звери севера в своих норах таились. История и стихотворство прославят тебя за мужество и за многие иные добродетели, которые спеши открыть в себе миру; но я особенно должен славить твою высокую ко мне милость, щедрую награду за мое к тебе раннее дружество, которое предупредило честь и славу твою в свете: ты делишь свое величие с моей дочерью, умея ценить ее нравственное воспитание и выгоды, данные ей рождением в государстве свободном, где дворянство столь важно и сильно, — а всего более зная, что одна добродетель есть истинное украшение человека». Лжедимитрий слушал с видом чувствительности, непрестанно утирая себе глаза платком, но не сказал ни слова: вместо царя ответствовал Афанасий Власьев. Началося роскошное угощение. Мнишек обедал у Лжедимитрия в новом дворце, где поляки хвалили и богатство и вкус украшений. Честя гостя, Самозванец не хотел однако ж сидеть с ним рядом: сидел один за *серебряною трапезою* и в знак уважения велел только подавать ему, сыну его и князю Вишневецкому золотые тарелки. Во время обеда привели двадцать лопарей, бывших тогда в Москве с данию, и рассказывали любопытным иноземцам, что сии странные дикари живут на краю света, близ *Индии* и Ледовитого моря, не зная ни домов, ни теплой пищи, ни законов, ни Веры: Лжедимитрий хвалился неизмеримостию России и чудным разнообразием ее народов. Ввечеру игра-

ли во дворце польские музыканты; сын воеводы Сендомирского и князь Вишневецкий танцевали, а Лжедимитрий забавлялся переодеванием, ежечасно являясь то русским щеголем, то венгерским гусаром! Пять или шесть дней угощали Мнишка изобильными, бесконечными обедами, ужинами, звериною ловлею, в коей Лжедимитрий, как обыкновенно, блистал искусством и смелостью: бил медведей рогатиною, отсекал им голову саблею и веселился громкими восклицаниями бояр: «слава царю!» — В сие время занимались и делом.

Лжедимитрий писал еще в Краков к воеводе Сендомирскому, что Марина, как царица российская, должна по крайней мере наружно чтить Веру греческую и следовать обрядам; должна также наблюдать обычаи московские и *не убирать волосов*: но легат папский Рангони с досадою ответствовал на первое требование, что государь самодержавный не обязан угождать бессмысленному народному суеверию; что Закон не воспрещает брака между христианами греческой и римской церкви и не велит супругам жертвовать друг другу совестию; что самые предки Димитриевы, когда хотели жениться на княжнах польских, всегда оставляли им свободу в Вере. Сие затруднение было, кажется, решено в беседах Лжедимитрия с воеводою Сендомирским и с нашим духовенством: условились, чтобы Марина ходила в греческие церкви, приобщалась Святых Таин от патриарха и постилась еженедельно не в субботу, а в среду, имея однако ж свою латинскую церковь и наблюдая все иные уставы римской Веры. Патриарх Игнатий был доволен; другие святители молчали, все, кроме митрополита казанского Ермогена и коломенского епископа Иосифа, сосланных расстригою за их смелость: ибо они утверждали, что невесту должно *крестить*, или женитьба царя будет беззаконием. Гордяся хитрою политикою — удовольствовав, как он думал, и Рим и Москву — устроив все для торжественного бракосочетания и принятия невесты, Лжедимитрий дал ей знать, что ждет ее с нежным чувством любовника и с великолепием царским.

Марина дня четыре жила в Вяземе, бывшем селе Годунова, где находился его дворец, окруженный валом, и где в каменном храме, доныне целом, видны еще многие польские надписи Мнишковых спутников. 1 мая, верст за 15 от Москвы, встретили будущую царицу купцы и мещане с дарами — 2 мая, близ городской заставы, дворянство и войско: дети боярские, стрельцы, козаки (все в красных суконных кафтанах, с белою перевязью на

груди), немцы, поляки, числом до ста тысяч. Сам Лжедимитрий был тайно в простой одежде между ими, вместе с Басмановым расставил их по обеим сторонам дороги и возвратился в Кремль. Не въезжая в город, на берегу Москвы-реки, Марина вышла из кареты и вступила в великолепный шатер, где находились бояре: князь Мстиславский говорил ей приветственную речь; все другие кланялись до земли. У шатра стояли 12 прекрасных верховых коней в дар невесте, и богатая колесница, украшенная серебряными орлами царского герба и запряженная десятью пегими лошадьми: в сей колеснице Марина въехала в Москву, будучи сопровождаема своими ближними, боярами, чиновниками и тремя дружинами царских телохранителей; впереди шло 300 гайдуков с музыкантами, а позади ехало 13 карет и множество всадников. Звонили в колокола, стреляли из пушек, били в барабаны, играли на трубах — а народ безмолвствовал; смотрел с любопытством, но изъявлял более печали, нежели радости, и заметил *вторично* бедственное предзнаменование: уверяют, что в сей день свирепствовала буря, так же, как и во время расстригина вступления в Москву. Пред воротами Кремлевскими, на возвышенном месте площади (где встретило бы невесту царскую духовенство с крестами, если бы сия невеста была православная), встретили Марину новые толпы литаврщиков, производя несносный для слуха шум и гром. При въезде ее в Спасские ворота музыканты польские играли свою народную песню: навеки в *счастье и несчастье*; колесница остановилась в Кремле у Девичьего монастыря: там невеста была принята царицею-инокинею; там увидела и жениха — и жила до свадьбы, отложенной на шесть дней еще для некоторых приготовлений.

Между тем Москва волновалась. Поместив воеводу Сендомирского в Кремлевском доме Борисовом (вертепе цареубийства!), взяли для его спутников все лучшие дворы в Китае, в Белом городе и выгнали хозяев, не только купцов, дворян, дьяков, людей духовного сана, но и первых вельмож, даже мнимых родственников царских, Нагих: сделался крик и вопль. — С другой стороны, видя тысячи гостей незваных, с ног до головы вооруженных, — видя, как они еще из телег своих вынимали запасные сабли, копья, пистолеты, москвитяне спрашивали у немцев, ездят ли в их землях на свадьбу, как на битву? и говорили друг другу, что поляки хотят овладеть столицею. В один день с Мариною въехали в Москву великие послы Сигизмундовы, паны Олесниц-

кий и Госевский, также с воинскою многочисленною дружиною и также к беспокойству народа, который думал, что они приехали за веном Марины и что царь уступает Литве все земли от границы до Можайска — мнение несправедливое, как доказывают бумаги сего посольства: Олесницкий и Госевский должны были только вместо короля присутствовать на свадьбе Лжедимитрия, утвердить Сигизмундову с ним дружбу и союз с Россиею, не требуя ничего более. Самозванец, по сказанию летописца, зная молву народную о грамоте, данной им Мнишку на Смоленск и Северскую область, говорил боярам, что не уступит ни пяди Российской ляхам — и, может быть, говорил искренно: может быть, обманывая папу, обманул бы и тестя и жену свою; но бояре, по крайней мере Шуйский с друзьями, не старались переменить худых мыслей народа о Лжедимитрии, который новыми соблазнами еще усилил общее негодование.

Доброжелатели сего безрассудного хотели уверить благочестивых россиян, что Марина в уединенных, недоступных келиях учится нашему Закону и постится, готовясь к крещению: в первый день она действительно казалась постницею, ибо ничего не ела, гнушаясь русскими яствами; но жених, узнав о том, прислал к ней в монастырь поваров отца ее, коим отдали ключи от царских запасов и которые начали готовить там обеды, ужины, совсем не монастырские. Марина имела при себе одну служанку, никуда не выходила из келий, не ездила даже и к отцу; но ежедневно видела страстного Лжедимитрия, сидела с ним наедине или была увеселяема музыкою, пляскою и песнями не духовными. Расстрига вводил скоморохов в обитель тишины и набожности, как бы ругаясь над святым местом и саном инокинь непорочных. Москва сведала о том с омерзением.

Соблазн иного рода, плод ветрености Лжедимитриевой, изумил царедворцев. 3 мая расстрига торжественно принимал в золотой палате знатных ляхов, родственников Мнишковых и послов королевских. Гофмейстер Марины, Стадницкий, именем всех ее ближних говоря речь, сказал ему: «Если кто-нибудь удивится твоему союзу с Домом Мнишка, первого из вельмож королевских, то пусть заглянет в историю государства Московского: *прадед* твой, думаю, был женат на дочери Витовта, а дед на Глинской — и Россия жаловалась ли на соединение царской крови с литовскою? ни мало. Сим браком утверждаешь ты связь между двумя народами, которые сходствуют в языке и в обыча-

ях, равны в силе и доблести, но доныне не знали мира искреннего и своею закоснелою враждою тешили неверных; ныне же готовы, как истинные братья, действовать единодушно, чтобы низвергнуть Луну ненавистную[1]... и слава твоя, как солнце, воссияет в странах Севера». За родственниками воеводы Сендомирского, важно и величаво, шли послы. Лжедимитрий сидел на престоле: сказав царю приветствие, Олесницкий вручил Сигизмундову грамоту Афанасию Власьеву, который тихо прочитал Самозванцу ее надпись, и возвратил бумагу послам, говоря, что она писана к какому-то *князю* Димитрию, а монарх российский есть *цесарь*, что послы должны ехать с нею обратно к своему государю. Изумленный пан Олесницкий, взяв грамоту, сказал Лжедимитрию: «Принимаю с благоговением; но что делается? оскорбление беспримерное для короля, — для всех знаменитых ляхов, стоящих здесь пред тобою, — для всего нашего отечества, где мы еще недавно видели тебя, осыпаемого ласками и благодеяниями! Ты с презрением отвергаешь письмо его величества на сем троне, на коем сидишь по милости Божией, государя моего и народа польского!»... Такое нескромное слово оскорбляло всех россиян не менее царя; но Лжедимитрий не мыслил выгнать дерзкого пана и как бы обрадовался случаю блистать своим красноречием; велел снять с себя корону и сам ответствовал следующее: «Необыкновенное, неслыханное дело, чтобы венценосцы, сидя на престоле, спорили с иноземными послами; но король упрямством выводит меня из терпения. Ему изъяснено и доказано, что я не только князь, не только господарь и царь, но и великий император в своих неизмеримых владениях. Сей титул дан мне Богом, и не есть одно пустое слово, как титулы иных королей; ни ассирийские, ни мидийские, ниже римские цесари не имели действительнейшего права так именоваться. Могу ли быть доволен названием князя и господаря, когда мне служат не только господари и князья, но и цари? Не вижу себе равного в странах полунощных; надо мною один Бог. И не все ли монархи европейские называют меня императором? Для чего же Сигизмунд того не хочет? Пан Олесницкий! спрашиваю: мог ли бы ты принять на свое имя письмо, если бы в его надписи не было означено твое шляхетское достоинство?... Сигизмунд имел во мне друга и брата, какого еще не имела республика Польская; а теперь вижу в нем своего зложелате-

---

[1] Луна ненавистная — то есть оттоманы (луна — символ магометанства).

ля». Извиняясь в худом витийстве неспособностию говорить без приготовления, а в смелости навыком человека свободного, Олесницкий с жаром и грубостию упрекал Лжедимитрия неблагодарностию, забвением милостей королевских, безрассудностию в требовании титула нового, без всякого права; указывая на бояр, ставил их в свидетели, что венценосцы российские никогда не думали именоваться *цесарями;* предавал Самозванца суду Божию за кровопролитие, вероятное следствие такого неумеренного честолюбия. Самозванец возражал; наконец смягчился и звал Олесницкого к руке не в виде посла, а в виде своего доброго знакомца; но разгоряченный пан сказал: «или я посол или не могу целовать руки твоей» — и сею твердостию принудил расстригу уступить: «для того (сказал Власьев), что царь, готовясь к брачному веселию, расположен к снисходительности и к мирным чувствам». Грамоту Сигизмундову взяли, послам указали места, и Лжедимитрий спросил о здоровье короля, но сидя: Олесницкий хотел, чтоб он для сего вопроса, в знак уважения к королю, привстал, и расстрига исполнил его желание — одним словом, унизил, остыдил себя в глазах двора явлением непристойным, досадив вместе и ляхам и россиянам. С честию отпустив послов в их дом, Лжедимитрий велел дьяку Грамотину сказать им, что они могут жить, как им угодно, без всякого надзора и принуждения: видеться и говорить, с кем хотят; что обычаи переменились в России, и спокойная любовь к свободе заступила место недоверчивого тиранства; что гостеприимная Москва ликует, в первый раз видя такое множество ляхов, а царь готов удивить Европу и Азию дружбою своею к королю, если он признает его императором из благодарности за титул *шведского*, отнятый Борисом у Сигизмунда, но возвращаемый ему Димитрием. — Делом государственного союза хотели заняться после свадьбы царской: ибо Лжедимитрий не имел времени мыслить о делах, занимаясь единственно невестою и гостями.

В монастыре веселились, во дворце пировали. Жених ежедневно дарил невесту и родных ее, покупая лучшие товары у купцов иноземных, коих множество наехало в Москву из Литвы, Италии и Германии. За два дня до свадьбы принесли Марине шкатулу с узорочьями, ценою в 50 тысяч рублей, а Мнишку выдали еще 100 тысяч злотых для уплаты остальных долгов его, так что казна издержала в сие время на одни дары 800 000 (нынешних серебряных 4 000 000) рублей, кроме миллионов, издержан-

ных на путешествие или угощение Марины с ее ближними. Лжедимитрий хотел царскою роскошью затмить польскую: ибо воевода Сендомирский и другие знатные ляхи также не жалели ничего для внешнего блеска, имели богатые кареты и прекрасных коней, рядили слуг в бархат и готовились жить пышно в Москве (куда Мнишек привез 30 бочек одного вина венгерского). Но самая роскошь гостей озлобляла народ: видя их великолепие, москвитяне думали, что оно есть плод расхищения казны царской; что достояние отечества, собранное умом и трудами наших государей, идет в руки вечных неприятелей России.

7 мая, ночью, невеста вышла из монастыря и при свете двухсот факелов, в колеснице окруженной телохранителями и детьми боярскими, переехала во дворец, где, в следующее утро, совершилось обручение по уставу нашей церкви и древнему обычаю; но, вопреки сему уставу и сему обычаю, в тот же день, накануне пятницы и Святого праздника, совершился и брак: ибо Самозванец не хотел ни одним днем своего счастия жертвовать, как он думал, народному предрассудку. Невесту для обручения ввели в столовую палату княгиня Мстиславская и воевода Сендомирский. Тут присутствовали только ближайшие родственники Мнишковы и чиновники свадебные: тысяцкий князь Василий Шуйский, дружки (брат его и Григорий Нагой), свахи и весьма немногие из бояр. Марина, усыпанная алмазами, яхонтами, жемчугом, была в русском, красном бархатном платье с широкими рукавами и в сафьянных сапогах; на голове ее сиял венец. В таком же платье был и самозванец, также с головы до ног блистая алмазами и всякими каменьями драгоценными. Духовник царский, благовещенский протоиерей, читал молитвы; дружки резали караваи с сырами и разносили ширинки. Оттуда пошли в Грановитую палату, где находились все бояре и сановники двора, знатные ляхи и послы Сигизмундовы. Там увидели россияне важную новость: два престола, один для Самозванца, другой для Марины — и князь Василий Шуйский сказал ей: «Наияснейшая великая государыня, *цесарева* Мария Юриевна! Волею Божиею и непобедимого самодержца, цесаря и великого князя всея России, ты избрана быть его супругою: вступи же на свой цесарский *маестат*[1] и властвуй вместе с государем над нами!» Она села. Вельможа Михайло Нагой держал пред нею корону Мономахову и диадему. Велели Ма-

---

[1] Маестат — владение.

рине поцеловать их и духовнику царскому нести в храм Успения, где уже все изготовили к торжественному обряду, и куда, по разостланным сукнам и бархатам, вел жениха воевода Сендомирский, а невесту княгиня Мстиславская; впереди шли, сквозь ряды телохранителей и стрельцов, стольники, стряпчие, все знатные ляхи, чиновники свадебные, князь Василий Голицын с жезлом или скиптром, Басманов с державою; позади бояре, люди думные, дворяне и дьяки. Народа было множество. В церкви Марина приложилась к образам — и началося священнодействие, дотоле беспримерное в России: царское венчание невесты, коим Лжедимитрий хотел удовлетворить ее честолюбию, возвысить ее в глазах россиян и, может быть, дать ей, в случае своей смерти и неимения детей, право на державство. Среди храма, на возвышенном, так называемом *чертожном* месте сидели жених, невеста и патриарх: первый на золотом троне персидском, вторая на серебряном. Лжедимитрий говорил речь: патриарх ему ответствовал и с молитвою возложил Животворящий Крест на Марину, бармы, диадему и корону (для чего свахи сняли головной убор или венец невесты). Лики пели многолетие государю и *благоверной цесареве Марии*, которую патриарх на литургии украсил цепию Мономаховою, помазал и причастил. Таким образом, дочь Мнишкова, еще не будучи супругою царя, уже была венчанною царицею (не имела только державы и скиптра). Духовенство и бояре целовали ее руку с обетом верности. Наконец выслали всех людей, кроме знатнейших, из церкви, и протопоп благовещенский обвенчал расстригу с Мариною. Держа друг друга за руку, оба в коронах, и царь и царица (последняя опираясь на князя Василия Шуйского) вышли из храма уже в час вечера и были громко приветствуемы звуком труб и литавр, выстрелами пушечными и колокольным звоном, но тихо и невнятно народными восклицаниями. Князь Мстиславский, в дверях осыпав новобрачных золотыми деньгами из богатой мисы, кинул толпам граждан все остальные в ней червонцы и медали (с изображением орла двуглавого). Воевода Сендомирский и немногие бояре обедали с Лжедимитрием в столовой палате; но сидели недолго: встали и проводили его до спальни, а Мнишек и князь Василий Шуйский до постели. Все утихло во дворце. Москва казалась спокойною: праздновали и шумели одни ляхи, в ожидании брачных пиров царских, новых даров и почестей. Не праздновали и не дремали клевреты Шуйского: время действовать наступало.

17 Зак. № 40

Сей день, радостный для Самозванца и столь блестящий для Марины, еще усилил народное негодование. Невзирая на все безрассудные дела расстриги, москвитяне думали, что он не дерзнет дать сана российской царицы иноверке и что Марина примет Закон наш; ждали того до последнего дня и часа: увидели ее в короне, в венце брачном и не слыхали отречения от латинства. Хотя Марина целовала наши святые иконы, вкусила тело и кровь Христову из рук патриарха, была помазана елеем и торжественно возглашена *благоверною царицею*: но сие явное действие лжи казалось народу новою дерзостию беззакония, равно как и царское венчание польской шляхетки, удостоенной величия не слыханного и не доступного для самых цариц, истинно благоверных и добродетельных: для Анастасии, Ирины и Марии Годуновой. Корона Мономахова на главе иноземки, племени ненавистного для тогдашних россиян, вопияла к их сердцам о мести за осквернение святыни. Так мыслил народ, или такие мысли внушали ему еще невидимые вожди его в сие грозное будущим время. — Ничто не укрывалось от наблюдателей строгих. Только немногим из ляхов расстрига дозволил быть в церкви свидетелями его бракосочетания, но и сии немногие своим бесчинством возбудили общее внимание: шутили, смеялись или дремали в час литургии, прислонясь спиною к иконам. Послы Сигизмундовы непременно хотели сидеть, требовали кресел и едва успокоились, когда Лжедимитрий велел сказать им, что и сам он сидит в церкви, на троне, единственно по случаю коронования Марины. Замечая, как бояре служили царю — как Шуйские и другие ставили ему и царице скамьи под ноги — кичливые паны дивились вслух такой низости и благодарили Бога, что живут в республике, где король не смеет требовать столь презрительных услуг от последнего из людей вольных... Россияне видели, слышали и не прощали.

В следующее утро, на рассвете, барабаны и трубы возвестили начало свадебного праздника: сия шумная музыка не умолкала до самого полудня. Во дворце готовился пир для россиян и ляхов; но Лжедимитрий, желая веселиться, имел досаду: новую ссору с королевскими послами. Он звал их обедать, учтиво и ласково; послы также учтиво благодарили, хотели однако ж непременно сидеть с царем за одним столом, как Власьев на свадьбе у короля сидел за столом королевским. Лжедимитрий для объяснения прислал к ним Власьева; сей важный чиновник сказал Олесницкому: «Вы требуете неслыханного: у нас никому нет места за особенною

царскою трапезою; король же угостил меня наравне с послами императорским и римским: следственно не сделал ничего чрезвычайного, ибо государь наш не менее ни императора, ни римского владыки — нет, великий цесарь Димитрий более их: что у вас папа, то у него попы». Так изъяснялся первый делец государственный и верный слуга расстригин, в душе своей не благоприятствуя ляхам и желая, может быть, сею непристойною насмешкою доказать, что Лжедимитрий не есть папист, Олесницкий снес грубость, но решился не ехать во дворец. Все иные знатные ляхи обедали с Самозванцем в Грановитой палате, кроме воеводы Сендомирского: он находил требование послов справедливым, тщетно умолял зятя исполнить оное, проводил его и Марину до столовой комнаты и в неудовольствии уехал домой.

Сия размолвка не мешала блеску пиршества. Новобрачные обедали на троне; за ними стояли телохранители с секирами; бояре им служили. Играла музыка — и ляхи удивлялись несметному богатству, видя пред собою горы золота и серебра. Россияне же с негодованием видели царя в гусарском платье, а царицу в польском: ибо оно более нравилось мужу ее, который и накануне едва согласился, чтобы Марина, хотя для венчания, оделась россиянкою. Ввечеру ближние Мнишковы веселились во внутренних царских комнатах; а в следующий день (10 мая) Лжедимитрий принимал дары от патриарха, духовенства, вельмож, всех знатных людей, всех купцов чужестранных и снова пировал с ними в Грановитой палате, сидя лицом к иноземцам, спиною к русским. В золотой палате обедало 150 ляхов, простых воинов, но избранных, угощаемых думными дворянами: налив чашу вина, Лжедимитрий громогласно желал славных успехов оружию польскому и выпил се до самого дна. Наконец 11 мая обедали во дворце и послы Сигизмундовы с ревностным миротворцем воеводою Сендомирским, который, убедив зятя дать Олесницкому первое место возле стола царского, уговорил и сего пана не требовать ничего более и не жертвовать спору о суетной чести выгодами союза с Россиею. Хотя Лжедимитрий едва было не возобновил прения, сказав Олесницкому: «я не звал короля к себе на свадьбу: следственно ты здесь не в лице его, а только в качестве посла»; но Мнишек благоразумными представлениями утишил зятя, и все кончилось дружелюбно. Сей третий пир казался еще пышнее. Царь и царица были в коронах и в польском великолепном наряде. Тут обедали и женщины: княгиня Мстиславская, Шуйская и родственницы воеводы

Сендомирского, который, забыв свою дряхлость, не хотел сидеть: держа шапку в руках, стоял пред царицею и служил ей не как отец, а как подданный, к удивлению всех. Лжедимитрий пил здоровье короля; вообще пили много, особенно иноземные гости, хваля царские вина, но жалуясь на яства русские, для них невкусные. После стола откланялись царю сановники, коим надлежало ехать к шаху персидскому с письмами: они целовали руку у Лжедимитрия и Марины. — 12 мая царица в своих комнатах угощала одних ляхов, пригласив только двух россиян: Власьева и князя Василия Мосальского. Услуга и кушанья были польские, так что паны, изъявляя живейшее удовольствие, говорили: «Мы пируем не в Москве и не у царя, а в Варшаве или в Кракове у короля нашего». Пили и плясали до ночи. Лжедимитрий в гусарской одежде танцевал с женою и с тестем. — Но царица оказала милость и россиянам: 14 мая обедали у нее бояре и люди чиновные. В сей день она казалась русскою, верно соблюдая наши обычаи; старалась быть и любезною, всех приветствуя и лаская... Но приветствия уже не трогали сердец ожесточенных! — Между тем не умолкала в столице музыка: барабаны, литавры, трубы с утра до вечера оглушали жителей. Ежедневно гремели и пушки в знак веселия царского; не щадили пороху и в пять или в шесть дней истратили его более, нежели в войну Годунова с Самозванцем. Ляхи также в забаву стреляли из ружей в своих домах и на улицах, днем и ночью, трезвые и пьяные.

Утомленный празднествами, Лжедимитрий хотел заняться делами, и 15 мая, в час утра, послы Сигизмундовы нашли его в новом дворце сидящего на креслах, в прекрасной голубой одежде, без короны, в высокой шапке, с жезлом в руке, среди множества царедворцев: он велел послам идти к боярам в другую комнату, чтобы объяснить им предложения Сигизмундовы. Князь Дмитрий Шуйский, Татищев, Власьев и дьяк Грамотин беседовали с ними. Олесницкий, в речи плодовитой, Ветхим и Новым Заветом доказывал обязанность христианских монархов жить в союзе и противиться неверным; оплакивал падение Константинополя и несчастие Иерусалима; хвалил великодушное намерение царя освободить их от бедственного ига и заключил тем, что Сигизмунд, пылая усердием разделить с братом своим, Димитрием, славу такого предприятия, желает знать, когда и с какими силами он думает идти на султана? Татищев ответствовал: «Король хочет знать: верим; но хочет ли действительно помогать непобедимому цесарю

в войне с турками? сомневаемся. Желание все выведать, с намерением ничего не делать, кажется нам только обманом и лукавством». Удивляясь дерзости Татищева (который говорил невежливо, ибо уже знал о скорой перемене обстоятельств), послы свидетельствовались Власьевым, что не Сигизмунд Димитрию, а Димитрий Сигизмунду предложил воевать Оттоманскую державу: следственно и должен объявить ему свои мысли о способах успеха. Тут российские чиновники оставили послов, ходили к Лжедимитрию, возвратились и, сказав: «сам цесарь будет говорить с вами в присутствии бояр», отпустили их домой; но мнимый цесарь уже не мог сдержать слова!

Еще Лжедимитрий готовил потехи новые; велел строить деревянную крепость с земляною осыпью вне города, за Сретенскими воротами, и вывести туда множество пушек из Кремля, чтобы 18 мая представить ляхам и россиянам любопытное зрелище приступа, если не кровопролитного, то громозвучного, коему надлежало заключиться пиршеством общенародным. Марина также замышляла особенное увеселение для царя и людей ближних во внутренних комнатах дворца: думала с своими польками плясать в личинах. Но россияне уже не хотели ждать ни той, ни другой потехи.

Если Шуйский отложил удар до свадьбы Отрепьева с намерением дать ему время еще более возмутить сердца своим легкомыслием, то сие предвидение исполнилось: новые соблазны для церкви, двора и народа умножили ненависть и презрение к Самозванцу, а наглость ляхов все довершила, так что им обязанный счастием, он их же содействием и погибнул! Сии гости и друзья его услуживали хитрому Шуйскому, истощая терпение россиян, столь мало ими уважаемых (как мы видели), что Мнишек нескромно обещал боярам свою *милость*, и посол королевский дерзнул торжественно назвать Лжедимитрия творением Сигизмундовым. На самых пирах свадебных, во дворце, разгоряченные вином ляхи укоряли воевод наших трусостию и малодушием, хваляся: «мы дали вам царя!» Но россияне, сколь ни униженные, сколь ни виновные пред отечеством и добродетелию, еще имели гордость народную; кипели злобою, но удерживались и шептали друг другу: «час мести недалеко!» Сего мало: воины польские и даже чиновнейшие ляхи, нетрезвые возвращаясь из дворца с обнаженными саблями, на улицах рубили москвитян, бесчестили жен и девиц, самых благородных, силою извлекая их из колесниц или вламываясь в домы; мужья, матери вопили, требовали

суда. Одного ляха-преступника хотели казнить, но товарищи освободили его, умертвив палача и не страшась закона.

Так было — и на беззаконие восстало беззаконие. Мы удивлялись легкому торжеству Самозванца: теперь удивимся его легкому падению. В то время, как он беспечно тешился и плясал с своими ляхами — когда головы кружились от веселия и мысли затмевались парами вина — Шуйский, неусыпно наблюдая, решился уже не медлить, и в тишине ночи призвал к себе не только сообщников (из коих главными именуются князь Василий Голицын и боярин Иван Куракин) — не только друзей, клевретов, но и многих людей сторонних: дворян царских, чиновников военных и градских, сотников, пятидесятников, которые еще не были в заговоре, благоприятствуя оному единственно в тайне мыслей. Шуйский смело открыл им свою душу; сказал, что отечество и Вера гибнут от Лжедимитрия; извинял заблуждение россиян; извинял и тех, которые знали истину, но приняли обманщика, желая низвергнуть ненавистных Годуновых, и в надежде, что сей юный витязь, хотя и расстрига, будет добрым властителем. «Заблуждение скоро исчезло, — продолжал он, — и вы знаете, кто первый дерзнул обличать Самозванца; но голова моя лежала на плахе, а злодей спокойно величался на престоле: Москва не тронулась!» Шуйский извинял и сие бездействие: ибо многие еще не имели тогда полного удостоверения в обмане и в злодействе мнимого Димитрия. Представив все улики и доказательства его самозванства, все его дела неистовые, измену Вере, государству и нашим обычаям, нравственность гнусную, осквернение храмов и святых обителей, расхищение древней казны царской, беззаконное супружество и возложение венца Мономахова на польку *некрещеную* — изобразив сетование Москвы, как бы плененной сонмами ляхов, — их дерзость и насилия — Шуйский спрашивал, хотят ли россияне, сложив руки, ждать гибели неминуемой: видеть костелы римские на месте церквей православных, границу литовскую под стенами Москвы, и в самых стенах ее злое господство иноземцев? или хотят дружным восстанием спасти Россию и церковь, для коих он снова готов идти на смерть без ужаса? Не было ни разгласия, ни безмолвия сомнительного: кто не принадлежал, тот пристал к заговору в сем сборище многолюдном, но единодушном силою ненависти к Самозванцу. Положили *избыть* расстригу и ляхов, не боясь ни клятвопреступления, ни безначалия: ибо Шуйский и друзья его, овладев умами, смело брали на свою душу, именем отече-

ства, Веры, духовенства, все затруднения людей совестных и смело обещали России царя лучшего. Условились в главных мерах. Градские сотники и пятидесятники ответствовали за народ, воинские чиновники за воинов, господа за слуг усердных. Богатые Шуйские имели в своем распоряжении несколько тысяч надежных людей, призванных ими в Москву из их собственных владений, будто бы для того, чтобы они видели пышность царской свадьбы. Назначили день и час; ждали, готовились — и хотя не было *прямых* доносов (ибо доносчики страшились, кажется, быть жертвою народной злобы): но какая скромность могла утаить движения заговора, столь многолюдного?

12 мая говорили торжественно, на площадях, что мнимый Димитрий есть царь *поганый*; не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистый, прямо с ложа скверного, и еще ни однажды не мылся в бане с своею *поганою* царицею; что он без сомнения еретик, и не крови царской. Лжедимитриевы телохранители схватили одного из таких поносителей и привели во дворец: расстрига велел боярам допросить его; но бояре сказали, что сей человек пьян и бредит; что царю не должно уважать речей безумных и слушать немцев-наушников. Самозванец успокоился. В следующие три дня приметно было сильно движение в народе: разглашали, что Лжедимитрий для своей безопасности мыслит изгубить бояр, знатнейших чиновников и граждан; что 18 мая, в час мнимой воинской потехи вне Москвы, на лугу Сретенском, их всех перестреляют из пушек; что столица российская будет добычею ляхов, коим Самозванец отдаст не только все домы боярские, дворянские и купеческие, но и святые обители, выгнав оттуда иноков и женив их на инокинях. Москвитяне верили; толпились на улицах днем и ночью; советовались друг с другом и не давали подслушивать себя иноземцам, отгоняя их как лазутчиков, грозя им словами и взорами. Были и драки: уже не спуская гостям буйным, народ прибил людей князя Вишневецкого и едва не вломился в его дом, изъявляя особенную ненависть к сему пану, старшему из друзей расстригиных. Немцы остерегали Лжедимитрия и ляхов; остерегал первого и Басманов, один из россиян! Но Самозванец, желая более всего казаться неустрашимым и твердым на троне в глазах поляков, шутил, смеялся, искренно или притворно, и сказал испуганному воеводе Сендомирскому: «как вы, ляхи, малодушны!», а послам Сигизмундовым: «я держу в руке Москву и государст-

во; ничто не смеет двинуться без моей воли». В полночь, с 15 на 16 мая, схватили в Кремле шесть человек подозрительных; пытали их как лазутчиков, ничего не сведали, и Лжедимитрий не считал за нужное усилить стражу во дворце, где находилось обыкновенно 50 телохранителей: он велел другим быть дома в готовности на всякий случай; велел еще расставить стрельцов по улицам для охранения ляхов, чтобы успокоить тестя, докучавшего ему и Марине своею боязнию. — 16 мая иноземцы уже не могли купить в гостином дворе ни фунта пороху и никакого оружия: все лавки были для них заперты. Ночью, накануне решительного дня, вкралось в Москву с разных сторон до 18 тысяч воинов, которые стояли в поле, верстах в шести от города, и должны были идти в Елец, но присоединились к заговорщикам. Уже дружины Шуйского в сию ночь овладели двенадцатью воротами московскими, никого не пуская в столицу, ни из столицы; а Лжедимитрий еще ничего не знал, увеселяясь в своих комнатах музыкою. Самые поляки, хотя и не чуждые опасения, мирно спали в домах, уже *ознаменованных* для кровавой мести: россияне скрытно поставили знаки на оных, в цель удара. Некоторые из панов имели собственную стражу, другие надеялись на царскую: но стрельцы, их хранители, или сами были в заговоре или не думали кровию русскою спасать иноплеменников противных. Ночь миновалась без сна для большей части москвитян: ибо градские чиновники ходили по дворам с тайным приказом, чтобы все жители были готовы стать грудью за церковь и царство, ополчились и ждали набата. Многие знали, многие и не знали, чему быть надлежало, но угадывали и с ревностию вооружались, чем могли, для великого и святого подвига, как им сказали. Сильнее, может быть, всего действовала в народе ненависть к ляхам; действовал и стыд иметь царем бродягу, и страх быть жертвою его безумия, и, наконец, самая прелесть бурного мятежа для страстей необузданных.

17 мая, в четвертом часу дня, прекраснейшего из весенних, восходящее солнце осветило ужасную тревогу столицы: ударили в колокол сперва у Св. Илии, близ двора гостиного, и в одно время загремел набат в целой Москве, и жители устремились из домов на Красную площадь с копьями, мечами, самопалами, дворяне, дети боярские, стрельцы, люди приказные и торговые, граждане и чернь. Там, близ лобного места, сидели бояре на конях, в шлемах и латах, в полных доспехах, и представляя в лице своем отечество, ждали народа. Стеклося бесчисленное множество лю-

дей, и ворота Спасские растворились: князь Василий Шуйский, держа в одной руке меч, в другой Распятие въехал в Кремль, сошел с коня, в храме Успения приложился к святой иконе Владимирской и, воскликнув к тысячам: «во имя Божие идите на злого еретика!» указал им дворец, куда с грозным шумом и криком уже неслися толпы, но где еще царствовала глубокая тишина! Пробужденный звуком набата, Лжедимитрий в удивлении встает с ложа, спешит одеться, спрашивает о причине тревоги: ему ответствуют, что, вероятно, горит Москва; но он слышит свирепый вопль народа, видит в окно лес копий и блистание мечей; зовет Басманова, ночевавшего во дворце, и велит ему узнать предлог мятежа. Сей боярин, духа твердого, мог быть предателем, но только однажды: изменив государю законному, уже стыдился изменить Самозванцу и, тщетно желав образумить, спасти легкомысленного, желал по крайней мере не разлучаться с ним в опасности. Басманов встретил толпу уже в сенях: на вопрос его, куда она стремится? в несколько голосов кричат: «веди нас к Самозванцу! выдай нам своего бродягу!» Басманов кинулся назад, захлопнул двери, велел телохранителям не пускать мятежников и, в отчаянии прибежав к расстриге, сказал ему: «Все кончилось! Москва бунтует; хотят головы твоей: спасайся! Ты мне не верил!» Вслед за ним ворвался в царские покои один дворянин безоружный, с голыми руками, требуя, чтобы мнимый сын Иоаннов шел к народу, дать отчет в своих беззакониях: Басманов рассек ему голову мечом. Сам Лжедимитрий, изъявляя смелость, выхватил бердыш у телохранителя Шварцгофа, растворил дверь в сени и, грозя народу, кричал: «Я вам не Годунов!» Ответом были выстрелы, и немцы снова заперли дверь; но их было только 50 человек, и еще, во внутренних комнатах дворца, 20 или 30 поляков, слуг и музыкантов: иных защитников, в сей грозный час, не имел тот, кому накануне повиновались миллионы! Но Лжедимитрий имел еще друга: не находя возможности противиться силе силою, в ту минуту, когда народ отбивал двери, Басманов вторично вышел к нему — увидел бояр в толпе, и между ими самых ближних людей расстригиных: князей Голицыных, Михайла Салтыкова, старых и новых изменников; хотел их усовестить; говорил об ужасе бунта, вероломства, безначалия; убеждал их одуматься; ручался за милость царя. Но ему не дали говорить много: Михайло Татищев, им спасенный от ссылки, завопил: «злодей! иди в ад вместе с твоим царем!» и ножом ударил его в сердце. Басманов

испустил дух, и мертвый был сброшен с крыльца... судьба достойная изменника и ревностного слуги злодейства, но жалостная для человека, который мог и не захотел быть честию России!

Уже народ вломился во дворец, обезоружил телохранителей, искал расстриги и не находил: дотоле смелый и неустрашимый, Самозванец, в смятении ужаса кинув свой меч, бегал из комнаты в комнату, рвал на себе волосы и, не видя иного спасения, выскочил из палат в окно на житный двор — вывихнул себе ногу, разбил грудь, голову, и лежал в крови. Тут узнали его стрельцы, которые в сем месте были на страже и не участвовали в заговоре: они взяли расстригу, посадили на фундамент сломанного дворца годуновского, отливали водою, изъявляли жалость. Самозванец, омывая теплою кровию развалины Борисовых чертогов (где жило некогда счастие, и также изменило своему любимцу), пришел в себя: молил стрельцов быть ему верными, обещал им богатство и чины. Уже стеклося вокруг их множество людей: хотели взять расстригу; но стрельцы не выдавали его и требовали свидетельства царицы-инокини, говоря: «если он сын ее, то мы умрем за него, а если царица скажет, что он Лжедимитрий, то волен в нем Бог». Сие условие было принято. Мнимая мать Самозванцева, вызванная боярами, из келии, торжественно объявила народу, что истинный Димитрий скончался на руках ее в Угличе; что она, как жена слабая, действием угроз и лести была вовлечена в грех бессовестной лжи: неизвестного ей человека назвала сыном, раскаялась и молчала от страха, но тайно открывала истину многим людям. Призвали и родственников ее, Нагих: они сказали то же, вместе с нею виняся пред Богом и Россиею. Чтобы еще более удостоверить народ, Марфа показала ему изображение младенческого лица Димитриева, которое у нее хранилось и нимало не сходствовало с чертами лица расстригина.

Тогда стрельцы выдали обманщика, и бояре велели нести его во дворец, где он увидел своих телохранителей под стражею: заплакал и протянул к ним руку, как бы благодаря их за верность. Один из сих немцев, ливонский дворянин Фирстенберг, теснился сквозь толпу к Самозванцу и был жертвою озлобления россиян: его умертвили; хотели умертвить и других телохранителей: но бояре не велели трогать сих честных слуг — и в комнате, наполненной людьми вооруженными, стали допрашивать Лжедимитрия, покрытого бедным рубищем: ибо народ уже сорвал с него одежду царскую. Шум и крик заглушали речи; слышали только,

как уверяют, что расстрига на вопрос: «кто ты, злодей?» отвечал: «вы знаете: я — Димитрий» — и ссылался на царицу-инокиню; слышали, что князь Иван Голицын возразил ему: «ее свидетельство уже нам известно: она предает тебя казни». Слышали еще, что Самозванец говорил: «несите меня на лобное место: там объявлю истину всем людям». Нетерпеливый народ ломился в дверь, спрашивая, винится ли злодей? Ему сказали, что винится — и два выстрела прекратили допрос вместе с жизнию Отрепьева (его убили дворяне Иван Воейков и Григорий Волуев). Толпа бросилась терзать мертвого; секли мечами, кололи труп бездушный и кинули с крыльца на тело Басманова, восклицая: «будьте неразлучны и в аде! вы здесь любили друг друга!» Яростная чернь схватила, извлекла сии нагие трупы из Кремля и положила близ лобного места: расстригу на столе, с маскою, дудкою и волынкою, в знак любви его к скоморошеству и музыке; а Басманова на скамье, у ног расстригиных.

Совершив главное дело, истребив Лжедимитрия, бояре спасли Марину. Изумленная тревогою и шумом — не имев времени одеться — спрашивая, что делается и где царь? слыша наконец о смерти мужа, она в беспамятстве выбежала в сени: народ встретил ее, не узнал и столкнул с лестницы. Марина возвратилась в свои комнаты, где была ее польская гофмейстерина с шляхетками и где усердный слуга (именем Осмульский) стоял в дверях с обнаженною саблею: воины и граждане вломились, умертвили его, и Марина лишилась бы жизни или чести, если бы не приспели бояре, которые выгнали неистовых, и взяв, опечатав все достояние бывшей царицы, дали ей стражу для безопасности; не могли однако ж или не хотели унять кровопролития: убийства только начинались!

Еще при первом звуке набата воины окружили дома ляхов, заградили улицы рогатками, завалили ворота: а паны беспечно и крепко спали, так что слуги едва могли разбудить их — и самого воеводу Сендомирского, который лучше многих видел опасность и предостерегал зятя. Мнишек, сын его, князь Вишневецкий, послы Сигизмундовы, угадывая вину и цель мятежа, спешили вооружить людей своих; иные прятались или в оцепенении ждали, что будет с ними, и скоро услышали вопль: «смерть ляхам!» Пылая злобою, умертвив в Кремле музыкантов расстригиных, опустошив дом иезуитов, истерзав духовника Маринина, служившего Обедню, народ устремился в Китай и Белый город, где жили поляки, и не-

сколько часов плавал в крови их, алчно наслаждаясь ужасною местию, противною великодушию, если и заслуженною. Сила карала слабость, без жалости и без мужества: сто нападало на одного! Ни оборона, ни бегство, ни моления трогательные не спасали: поляки не могли соединиться, будучи истребляемы в запертых домах или на улицах, прегражденных рогатками и копьями. Сии несчастные, накануне гордые, лобызали ноги россиян, требовали милосердия именем Божиим, именем своих невинных жен и детей; отдавали все, что имели — клялися прислать и более из отечества: их не слушали и рубили. Иссеченные, обезображенные, полумертвые еще молили о бедных остатках жизни: напрасно! В числе самых жестоких карателей находились священники и монахи переодетые; они вопили: «губите ненавистников нашей Веры!» Лилася и кровь россиян: отчаяние вооружало убиваемых, и губители падали вместе с жертвами. Не тронув жилища послов Сигизмундовых, народ приступал к домам Мнишков и князя Вишневецкого, коих люди защищались и стреляли в толпы из окон: уже москвитяне везли пушки, чтобы разбить сии домы в щепы и не оставить в них ни одного человека живого; но тут явились бояре и велели прекратить убийства. Мстиславский, Шуйские скакали из улицы в улицу, обуздывая, усмиряя народ и всюду рассылая стрельцов для спасения ляхов, обезоруженных честным словом боярским, что жизнь их уже в безопасности. Сам князь Василий Шуйский успокоил и спас Вишневецкого, другие Мнишка. Именем Государственной думы сказали послам Сигизмундовым, что Лжедимитрий, обманув Литву и Россию, но скоро изобличив себя делами неистовыми, казнен Богом и народом, который в самом беспорядке и смятении уважил священный сан мужей, представляющих лицо своего монарха, и мстил единственно их наглым единоземцам, приехавшим злодействовать в Россию. Сказали воеводе Сендомирскому: «Судьба царств зависит от Всевышнего, и ничто не бывает без его определения: так и в сей день совершилась воля Божия: кончилось царство бродяги, и добыча исторгнута из рук хищника! Ты, его опекун и наставник — ты, который привел обманщика к нам, чтобы возмутить Россию мирную — не достоин ли такой же казни? Но хвалися счастием: ты жив, и будешь цел; дочь твоя спасена — благодари Небо!» Ему позволили видеться с Мариною во дворце, и без свидетелей: не нужно было знать, что они могли сказать друг другу в своем злополучии! Воевода Сендомирский шел к ней и назад сквозь ряды мечей и копий, обагренных кровию его соотечественников; но

москвитяне смотрели на него уже более с любопытством, нежели с яростию: победа укротила злобу.

Еще смятение продолжалось несколько времени; еще из слобод городских и ближних деревень стремилось множество людей с дрекольем в Москву на звук колоколов; еще грабили имение литовское, но уже без кровопролития. Бояре не сходили с коней и повелевали с твердостию; дружины воинские разгоняли чернь, везде охраняя ляхов как пленников. Наконец, в 11 часов утра, все затихло. Велели народу смириться, и народ, утомленный мятежом, спешил домой отдыхать и говорить в семействах о чрезвычайных происшествиях сего дня, незабвенного для тех, которые были свидетелями его ужасов: «в течение семи часов, пишут они, мы не слыхали ничего, кроме набата, стрельбы, стука мечей и крика: *секи, руби злодеев!* не видали ничего, кроме волнения, бегания, скакания, смертоубийства и мятежа. Число жертв простиралось за тысячу, кроме избитых и раненых; но знатнейшие ляхи остались живы, многие в рубашках и на соломе. Чернь ошибкою умертвила и некоторых россиян, носивших одежду польскую в угодность Самозванцу. Немцев щадили; ограбили только купцов аугсбургских, вместе с миланскими и другими, которые жили в одной улице с ляхами. Сей для человечества горестный день был бы еще несравненно ужаснее, по сказанию очевидцев, если бы ляхи остереглися, успели соединиться для отчаянной битвы и зажгли город, к несчастию Москвы и собственному: ибо никто из них не избавился бы тогда от мести россиян; следственно беспечность ляхов уменьшила бедствие.

До самого вечера москвитяне ликовали в домах или мирно сходились на улицах поздравлять друг друга с избавлением России от Самозванца и поляков, хвалились своею доблестию и «не думали» (говорит летописец) «благодарить Всевышнего: храмы были затворены!» Радуясь настоящему, не тревожились о будущем—и после такого бурного дня настала ночь совершенно тихая: казалось, что Москва вдруг опустела; нигде не слышно было голоса человеческого: одни любопытные иноземцы выходили из домов, чтобы удивляться сей мертвой тишине города многолюдного, где за несколько часов пред тем все кипело яростным бунтом. Еще улицы дымились кровию, и тела лежали грудами; а народ покоился как бы среди глубокого мира и непрерывного благоденствия — не имея царя, не зная наследника — опятнав себя двукратною изменою и будущему венценосцу угрожая третьею!

Но в сем безмолвии бодрствовало властолюбие с своими обольщениями и кознями, устремляя алчный взор на добычу мятежа и смертоубийства: на венец и скипетр, обагренные кровию двух последних царей. Легко было предвидеть, кто возьмет сию добычу, силою и правом. Смелейший обличитель Самозванца, чудесно спасенный от казни и еще бесстрашный в новом усилии низвергнуть его; виновник, Герой, глава народного восстания, князь от племени Рюрика, Св. Владимира, Мономаха, Александра Невского; второй боярин местом в Думе, первый любовию москвитян и достоинствами личными, Василий Шуйский мог ли еще остаться простым царедворцем и после *такой* отваги, *с такою* знаменитостию, начать новую службу лести пред каким-нибудь новым Годуновым? Но Годунова не было между тогдашними вельможами. Старейший из них, князь Федор Мстиславский, отличаясь добродушием, честностию, мужеством, еще более отличался смирением или благоразумием; не хотел слышать о державном сане и говорил друзьям: «если меня изберут в цари, то немедленно пойду в монахи». Сказание некоторых чужеземных историков, что боярин князь Иван Голицын, имея многих знатных родственников и величаясь своим происхождением от Гедимина литовского, вместе с Шуйским искал короны, едва ли достойно вероятия, будучи несогласно с известиями очевидцев. Сообщник Басманова, коего обнаженное тело в сии часы лежало на площади, загладил ли измену изменою, предав юного Феодора, предав и Лжедимитрия? Не равняясь ни сановитостию, ни заслугами, мог ли равняться и числом усердных клевретов с тем, кто без имени царя уже начальствовал в день решительный для отечества, вел Москву и победил с нею? Имея силу, имея право, Шуйский употребил и всевозможные хитрости: дал наставления друзьям и приверженникам, что говорить в синклите и на лобном месте, как действовать и править умами; сам изготовился, и в следующее утро, собрав Думу, произнес, как уверяют, речь весьма умную и лукавую: славил милость Божию к России, возвеличенной самодержцами варяжского племени; славил особенно разум и завоевания Иоанна IV, хотя и жестокого; хвалился своею блестящею службою и важною государственною опытностию, приобретенною им в сие деятельное царствование; изобразил слабость Иоаннова наследника, злое властолюбие Годунова, все бедствия его времени и ненависть народную к святоубийце, которая была виною успехов Лжедимитрия и принудила бояр следовать общему движе-

нию. «Но мы, — говорил Шуйский, — загладили сию слабость, когда настал час умереть или спасти Россию. Жалею, что я, предупредив других в смелости, обязан жизнию Самозванцу: он не имел права, но мог умертвить меня, и помиловал, как разбойник милует иногда странника. Признаюсь, что я колебался, боясь упрека в неблагодарности; но глас совести, Веры, отечества, вооружил мою руку, когда я увидел в вас ревность к великому подвигу. Дело наше есть правое, необходимое, святое; оно, к несчастию, требовало крови: но Бог благословил нас успехом — следственно оно ему угодно!.. Теперь, избыв злодея, еретика, чернокнижника, должны мы думать об избрании достойного властителя. Уже нет племени царского, но есть Россия: в ней можем снова найти угасшее на престоле. Мы должны искать мужа знаменитого родом, усердного к Вере и к нашим древним обычаям, добродетельного, опытного, следственно уже не юного — человека, который, прияв венец и скипетр, любил бы не роскошь и пышность, но умеренность и правду, ограждал бы себя не копьями и крепостями, но любовию подданных; не умножал бы золота в казне своей, но избыток и довольствие народа считал бы собственным богатством. Вы скажете, что такого человека найти трудно: знаю; но добрый гражданин обязан желать совершенства, по крайней мере возможного, в государе!

Все знали, видели, чего хотел Шуйский: никто не дерзал явно противиться его желанию; однако ж многие мыслили и говорили, что без Великой Земской думы нельзя приступить к делу столь важному; что должно собрать в Москве чины государственные из всех областей российских, как было при избрании Годунова, и с ними решить, кому отдать царство. Сие мнение было основательно и справедливо: вероятно, что и вся Россия избрала бы Шуйского; но он не имел терпения, и друзья его возражали, что время дорого; что правительство без царя как без души, а столица в смятении; что надобно предупредить и всеобщее смятение России немедленным вручением скиптра достойнейшему из вельмож; что где Москва, там и государство; что нет нужды в Совете, когда все глаза обращены на одного, когда у всех на языке одно имя... Сим именем огласилась вдруг и Дума и Красная площадь. Не все избирали, но никто не отвергал избираемого — и 19 мая, во втором часу дня, звук литавр, труб и колоколов возвестил нового монарха столице. Бояре и знатнейшее дворянство вывели князя Василия Шуйского из Кремля на лобное место, где

люди воинские и граждане, гости и купцы, особенно к нему усердные, приветствовали его уже как отца России... там, где еще недавно лежала голова Шуйского на плахе и где в сей час лежало окровавленное тело расстригино! Подобно Годунову изъявляя скромность, он хотел, чтобы синклит и духовенство прежде всего избрали архипастыря для церкви, на место лжесвятителя Игнатия. Толпы восклицали: «Государь нужнее патриарха для отечества!» и проводили Шуйского в храм Успения, в коем митрополиты и епископы ожидали и благословили его на царство. Все сделалось так скоро и спешно, что не только россияне иных областей, но и многие именитые москвитяне не участвовали в сем избрании — обстоятельство несчастное: ибо оно служило предлогом для измен и смятений, которые ожидали Шуйского на престоле, к новому стыду и бедствию отечества!

В день государственного торжества едва успели очистить столицу от крови и трупов: вывезли, схоронили их за городом. Труп Басманова отдали родственникам для погребения у церкви Николы Мокрого, где лежал его сын, умерший в юности. Тело Самозванца, быв три дня предметом любопытства и ругательств на площади, было также вывезено и схоронено в убогом доме, за Серпуховскими воротами, близ большой дороги. Но Судьба не дала ему мирного убежища и в недрах земли. С 18 по 25 мая были тогда жестокие морозы, вредные для садов и полей: суеверие приписывало такую чрезвычайность волшебству расстриги и видело какие-то ужасные явления над его могилою: чтобы пресечь сию молву, тело мнимого чародея вынули из земли, сожгли на Котлах и, смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда Самозванец пришел в Москву с великолепием! Ветер развеял бренные остатки злодея; но пример остался: увидим следствия!

Описав историю сего первого Лжедимитрия, должны ли мы еще уверять *внимательных* читателей в его обмане? Не явна ли для них истина сама собою в изображении случаев и деяний? Только пристрастные иноземцы, ревностно служив обманщику, ненавидя его истребителей и желая очернить их, писали, что в Москве убит действительный сын Иоаннов, не бродяга, а царь законный,— хотя россияне, казнив и бродягу, не могли хвалиться своим делом, соединенным с нарушением присяги: ибо святость ее нужна для целости гражданских обществ, и вероломство есть всегда преступление. Недовольные укоризною справедливою, зложелатели России выдумали басню, украсили ее любопытными обсто-

ятельствами, подкрепили доводами благовидными, в пищу умам наклонным к *историческому вольнодумству*, к сомнению в несомнительном, так что и в наше время есть люди, для коих важный вопрос о Самозванце остается еще нерешенным. Может быть, представив все главные черты истины в связи, мы дадим им более силы, если не для совершенного убеждения всех читателей, то по крайней мере для нашего собственного оправдания, чтобы они не укоряли нас слепою верою к принятому в России мнению, основанному будто бы на доказательствах слабых.

Выслушаем защитников Лжедимитриевой памяти. Они рассказывают следующее: «Годунов, предприяв умертвить Димитрия, за тайну объявил свое намерение царевичеву медику, старому немцу, именем Симону, который, притворно дав слово участвовать в сем злодействе, спросил у девятилетнего Димитрия, имеет ли он столько душевной силы, чтобы снести изгнание, бедствие и нищету, если Богу угодно будет искусить оными твердость его? Царевич ответствовал: *имею*; а медик сказал: *В сию ночь хотят тебя умертвить. Ложась спать, обменяйся бельем с юным слугою, твоим ровесником; положи его к себе на ложе и скройся за печь: что бы ни случилось в комнате, сиди безмолвно и жди меня*. Димитрий исполнил предписание. В полночь отворилась дверь: вошли два человека, зарезали слугу вместо царевича и бежали. На рассвете увидели кровь и мертвого: думали, что убит царевич, и сказали о том матери. Сделалась тревога. Царица кинулась на труп и в отчаянии не узнала, что сей мертвый отрок не сын ее. Дворец наполнился людьми: искали убийц; резали виновных и невинных; отнесли тело в церковь, и все разошлись. Дворец опустел, и медик в сумерки вывел оттуда Димитрия, чтобы спастися бегством в украйну, к князю *Ивану Мстиславскому, который жил там в ссылке еще со времен Иоанновых*. Чрез несколько лет доктор и Мстиславский умерли, дав совет Димитрию искать безопасности в Литве. Сей юноша пристал к странствующим инокам; был с ними в Москве, в земле Волошской, и наконец явился в доме князя Вишневецкого». Известно, что и сам расстрига приписывал свое чудесное спасение доктору; но сочинители сей басни не знали, что князь Иван Мстиславский умер иноком Кирилловской обители еще в 1586 году, и что Иоанн никогда не ссылал его в украйну. Другие изобретатели называют медика-спасителя Августином, прибавляя, что он был из числа многих людей ученых, которые жили тогда в Угличе, и бежал с

царевичем к Ледовитому морю, в пустынную обитель. Еще другие пишут, что сама царица, угадывая злое намерение Борисово, с помощию своего иноземного дворецкого (родом из Кельна), тайно удалила Димитрия и в его место взяла иерейского сына. Все такие сказки основаны на предположении, что убийство совершилось ночью, когда злодеи могли не распознать жертвы: и в сем случае вероятно ли, чтобы слуги царицыны (не говорим об ней самой) и жители Углича, нередко видав Димитрия в церкви, обманулись в убитом, коего тело пять дней лежало пред их глазами? Но царевич убит в полдень: кем? злодеями, которые жили во дворце и не спускали глаз с несчастного младенца... и кто предал его на убиение? мамка: от колыбели до могилы Димитрий был в руках у Годунова: сии обстоятельства ясно, несомнительно утверждены свидетельством летописцев и допросами целого Углича, сохраненными в нашем государственном архиве.

Если расстрига не был самозванец, то для чего же он, сев на престоле, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной? для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях в течение двенадцати или тринадцати лет, чтобы разрешить всякое сомнение? Никакою беспечностию невозможно изъяснить столь важного упущения. Манифесты, или грамоты, Лжедимитриевы внесены в летописи, и даже подлинники их целы в архивах: следственно нельзя с вероятностию предположить, чтобы именно любопытнейшую из сих бумаг истребило время. Бродяга молчал, ибо не имел свидетельств *истинных*, и думал, что, признанный царем, безопасно может не трудить себя вымыслом *ложных*. В Литве говорил он, что в спасении его участвовали некоторые вельможи и дьяки Щелкаловы: сии вельможи остались без известной награды и неизвестными для России; а Василий Щелкалов, вместе с другими опальными Борисова царствования, хотя и снова явился у двора, однако ж не в числе ближних и первых людей. Расстригу окружали не старые, верные слуги его юности, а только новые изменники: от чего и пал он с такою легкостию!

«Но царица-инокиня Марфа признала сына в том, кто назывался Димитрием?» Она же признала его и самозванцем: первым свидетельством, безмолвным, неоткровенным, выраженным для народа только слезами умиления и ласками к расстриге, невольная монахиня возвращала себе достоинство царицы; вторым, торжественным, клятвенным, в случае лжи мать предавала сына

злой смерти: которое же из двух достовернее? и что понятнее, обыкновенная ли слабость человеческая или действие ужасное, столь неестественное для горячности родительской? Геройство знаменитой жены лигурийской, которая, скрыв сына от ярости неприятелей, на вопрос, где он? сказала: *здесь, в моей утробе*, и погибла в муках, не объявив его убежища — сие геройство, прославленное римским историком, трогает, но не изумляет нас: видим мать! Не удивились бы мы также, если бы и царица-инокиня, спасая истинного Димитрия, кинулась на копья москвитян с восклицанием: *он сын мой!* И ей не грозили бы смертию за правду: грозили единственно судом Божиим за ложь. — Слово царицы решило жребий того, кто чтил ее как истинную мать и делился с нею величием. Осуждая Лжедимитрия на смерть, Марфа осуждала и себя на стыд вечный, как участницу обмана — и не усомнилась: ибо имела еще совесть и терзалась раскаянием. Сколько людей слабых не впало бы в искушение зла, если бы они могли предвидеть, чего стоит всякое беззаконие для сердца! — Заметим еще обстоятельство достойное внимания: Шуйский искал гибели Лжедимитрия и был спасен от казни неотступным молением царицы-инокини, с явною опасностию для ее мнимого сына, изобличаемого им в самозванстве: клеветник, изменник мог ли бы иметь право на такое ревностное заступление? Но спасение Героя истины умиряло совесть виновной Марфы. К сему прибавим вероятное сказание одного писателя иноземного (находившегося тогда в Москве), что расстрига велел было извергнуть тело Димитриево из углицкого Соборного храма и погребсти в другом месте, как тело мнимого иерейского сына, но что царица-инокиня не дозволила ему сделать того, ужасаясь мысли отнять у мертвого, истинного ее сына царскую могилу.

Возражают еще: «Король Сигизмунд не взял бы столь живого участия в судьбе обманщика, и вельможа Мнишек не выдал бы дочери за бродягу»; но король и Мнишек могли быть легковерны в случае обольстительном для их страстей: Сигизмунд надеялся дать россиянам царя-католика, взысканного его милостию, а воевода Сендомирский видеть дочь на престоле московском. И кто знает, что они действительно не сомневались в высоком роде беглеца? Удача была для них важнее правды. Король не дерзнул *торжественно* признать Лжедимитрия истинным до его решительного успеха, и воевода Сендомирский, сделав только опыт, пожертвовав частию своего богатства надежде величия, оставил

будущего зятя, когда увидел сопротивление россиян. Сигизмунд и Мнишек обманулись, может быть, не во мнении о правах, но единственно во мнении о счастии или благоразумии Самозванца, думав, что он удержит на голове венец, данный ему изменою и заблуждением: для того король спешил громогласно объявить себя виновником расстригина державства, и пан вельможный быть тестем царя, хотя бы и племени Отрепьевых. Похитителями в их силе и благоденствии гнушаются не страсти мирские, но только чистая совесть и добродетель уединенная.

Убедительнее ли и суждение тех друзей Лжедимитрия, которые говорят: «войско, бояре, Москва, не приняли бы его в цари без сильных доказательств, что он сын Иоаннов?» Но войско, бояре, Москва и свергнули его как уличенного самозванца: для чего верить им в первом случае и не верить в последнем? В обоих конечно действовало удостоверение, основанное на доказательствах; но люди и народы всегда могли ошибаться, как свидетельствует история... и самого Лжедимитрия!

Напомним читателям, что знаменитейший из клевретов и единственный верный друг расстриги в беседах искренних не скрывал его самозванства: такое важное признание слышал и сообщил потомству немецкий пастор Бер, который любил, усердно славил Лжедимитрия и клял россиян за убиение царя, хотя и не сына Иоаннова. Сей же очевидец тогдашних деяний предал нам следующие, не менее достопамятные свидетельства истины:

«1) Голландский аптекарь Аренд Клаузенд, быв 40 лет в России, служив Иоанну, Феодору, Годунову, Самозванцу и лично знав, ежедневно видав Димитрия во младенчестве, сказывал мне утвердительно, что мнимый царь Димитрий есть совсем другой человек и не походит на истинного, имевшего смуглое лицо и все черты матери, с которою Самозванец нимало не сходствовал. — 2) В том же уверяла меня ливонская пленница, дворянка Тизенгаузен, освобожденная в 1611 году, быв повивальною бабкою царицы Марии, служив ей днем и ночью, не только в Москве, но и в Угличе — непрестанно видав Димитрия живого, видев и мертвого. — 3) Скоро по убиении Лжедимитрия выехал я из Москвы в Углич и, разговаривая там с одним маститым старцем, бывшим слугою при дворе Марии, заклинал его объявить мне истину о царе убитом. Он встал, перекрестился и так ответствовал: *москвитяне клялися ему в верности и нарушили клятву: не хвалю их. Убит человек разумный и храбрый, но не сын Иоаннов, дейст-*

вительно зарезанный в Угличе: я видел его мертвого, лежащего на том месте, где он всегда игрывал. Бог судия князьям и боярам нашим: время покажет, будем ли счастливее».

В заключение упомянем о свидетельстве известного шведа Петрея, который был посланником в Москве от Карла IX и Густава Адольфа, лично знал Самозванца и пишет, что он казался человеком лет за тридцать; а Димитрий родился в 1582 году и следственно имел бы тогда не более двадцати четырех лет от рождения.

Одним словом, несомнительные, исторические и нравственные доказательства убеждают нас в истине, что мнимый Димитрий был самозванец. Но представляется другой вопрос: кто же именно? Действительно ли расстрига Отрепьев? Многие иноземцы-современники не хотели верить, чтобы беглый инок Чудовской обители мог сделаться вдруг мужественным витязем, неустрашимым бойцом, искусным всадником, и многие считали его поляком или трансильванцем, незаконным сыном Героя Батория, воспитанником иезуитов, утверждаясь на мнении некоторых знатных ляхов, и прибавляя, что он нечисто говорил языком русским: мнение явно несправедливое, когда современные донесения иезуитов к их начальству свидетельствуют, что они узнали его в Литве уже под именем Димитрия, и не католиком, а сыном греческой церкви. Никто из россиян не упрекал Самозванца худым знанием языка нашего, коим он владел совершенно, говорил правильно, писал с легкостию, и не уступал никакому дьяку тогдашнего времени в красивом изображении букв. Имея несколько подписей Самозванцевых, видим в латинских слабую, неверную руку ученика, а в русских твердую, мастерскую, кудрявый почерк грамотея приказного, каков был Отрепьев, книжник патриарший. Возражение, что келии не производят витязей, уничтожается историею его юности: одеваясь иноком, не вел ли он жизни смелого дикаря, скитаясь из пустыни в пустыню, учась бесстрашию, не боясь в дремучих лесах ни зверей, ни разбойников, и наконец быв сам разбойником под хоругвию козаков днепровских? Если некоторые из людей, ослепленных личным к нему пристрастием, находили в Лжедимитрии какое-то *величие*, необыкновенное для человека, рожденного в низком состоянии, то другие хладнокровнейшие наблюдатели видели в нем все признаки закоснелой подлости, не изглаженные ни обхождением с знатными ляхами, ни счастием нравиться Мнишковой дочери. С умом естественным, легким, живым и быстрым, даром слова, знаниями школьника и

грамотея соединяя редкую дерзость, силу души и воли, Самозванец был однако ж худым лицедеем на престоле, не только без основательных сведений в государственной науке, но и без всякой сановитости благородной: сквозь великолепие державства проглядывал в царе бродяга. Так судили о нем и поляки беспристрастные. — Доселе мы могли затрудняться одним важным свидетельством: известный в Европе капитан Маржерет, усердно служив Борису и Самозванцу, видев людей и происшествия собственными глазами, уверял Генрика IV, знаменитого историка де-Ту и читателей своей книги о Московской державе, что Григорий Отрепьев был не Лжедимитрий, а совсем другой человек, который с ним (Самозванцем) ушел в Литву и с ним же возвратился в Россию, вел себя непристойно, пьянствовал, употреблял во зло благосклонность его, и сосланный им за то в Ярославль, дожил там до воцарения Шуйского. Ныне, отыскав новые современные предания исторические, изъясняем Маржеретово сказание обманом монаха Леонида, который назвался именем Отрепьева для уверения россиян, что Самозванец не Отрепьев. Царь Годунов имел способы открыть истину: тысячи лазутчиков ревностно служили ему не только в России, но и в Литве, когда он разведывал о происхождении обманщика. Вероятно ли, чтобы в случае столь важном Борис легкомысленно, без удостоверения, объявил Лжедимитрия беглецом чудовским, коего многие люди знали в столице и в других местах, следственно узнали бы и неправду при первом взоре на Самозванца? Наконец москвитяне видели Лжедимитрия, живого, мертвого, и все еще утвердительно признавали диаконом Григорием; ни один голос сомнения не раздался в потомстве до нашего времени.

Сего довольно. Приступаем к описанию дальнейших бедствий России, не менее чрезвычайных, не менее оскорбительных для ее чести, но уже подобных мрачному сновидению, — уже только любопытных для народа, коему Небо судило временным уничижением достигнуть величия и который достиг оного, загладив память слабости великодушным напряжением сил и память стыда необыкновенною славою.

Конец XI тома

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО





Глава I
ЦАРСТВОВАНИЕ ВАСИЛИЯ ИОАННОВИЧА ШУЙСКОГО
1606—1608 гг.

Род Василиев. Свойства нового царя. Клятва Василиева. Обнародованные грамоты. Венчание. Опалы. Неудовольствия. Пренесение Димитриева тела. Новый патриарх. Гордость Марины. Речь послов литовских. Посольство к Сигизмунду. Сношение с Европою и с Азиею. Мятежи в Москве. Бунт Шаховского. Вторый Лжедимитрий. Болотников. Успехи мятежников. Прокопий Ляпунов. Пренесение тела Борисова. Мятежники под Москвою. Победа Скопина-Шуйского. Лжепетр. Осада Калуги. Годуновы в Сибири. Распоряжения Василиевы. Призвание Иова. Храбрость Болотникова. Победа Романова. Мужество Скопина. Бодрость Василия в несчастиях. Доблесть воевод царских. Осада Тулы. Явление нового Лжедимитрия. Взятие Тулы. Брак Василиев. Законы. Устав воинский.

Василий Иоаннович Шуйский, происходя в осьмом колене от Димитрия Суздальского, спорившего с Донским о великом княжестве, был внуком ненавистного олигарха Андрея Шуйского, казненного во время Иоанновой юности, и сыном боярина-воеводы, убитого шведами в 1573 году под стенами Лоде.

Если всякого венценосца *избранного* судят с большею строгостию, нежели венценосца наследственного; если от первого требуют обыкновенно качеств редких, чтобы повиноваться ему охотно, с усердием и без зависти: то какие достоинства, для царствования мирного и непрекословного, надлежало иметь новому самодержцу России, возведенному на трон более сонмом клевретов, нежели отечеством единодушным, вследствие измен, злодейств, буйности и разврата? Василий, льстивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом кова, мог быть только вторым Годуновым: лицемером, а не Героем добродетели, которая бывает главною силою и властителей и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, воцаряясь, имел выгоду: Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в крамольстве. Но Василий имел другую выгоду: не был святоубийцею; обагренный единственно кровию ненавистною и заслужив удивление россиян делом блестящим, оказав в низложении Самозванца и хитрость и неустрашимость, всегда пленительную для народа. Чья судьба в истории равняется с судьбою Шуйского? Кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе хламидою царскою? Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию: он страдал за отечество и Веру! Без сомнения уступая Борису в великих дарованиях государственных, Шуйский славился однако ж разумом мужа думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали волхвом; с наружностию невыгодною (будучи роста малого, толст, несановит и лицом смугл; имея взор суровый, глаза красноватые и подслепые, рот широкий), даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерною скупостию, умел, как вельможа, снискать любовь граждан, честною жизнию, ревностным наблюдением старых обычаев, доступностию, ласковым обхождением. Престол явил для современников слабость в Шуйском: зависимость от внушений, склонность и к легковерию, коего желает зломыслие, и к недоверчивости, которая охлаждает усердие. Но престол же явил для потомства и чрезвычайную твердость души Василиевой в борении с неодолимым Роком: вкусив всю горесть державства несчастного, уловленного властолюбием, и сведав, что венец бывает иногда не наградою, а казнию, Шуйский пал с величием в развалинах государства!

Он хотел добра отечеству, и без сомнения искренно: еще более хотел угождать россиянам. Видев столько злоупотреблений неограниченной державной власти, Шуйский думал устранить их и пленить Россию новостию важною. В час своего воцарения, когда вельможи, сановники и граждане клялися ему в верности, сам нареченный венценосец, к общему изумлению, дал присягу, дотоле неслыханную: 1) не казнить смертию никого без суда боярского, истинного, законного; 2) преступников не лишать имения, но оставлять его в наследие женам и детям невинным; 3) в изветах требовать прямых явных улик с очей на очи и наказывать клеветников тем же, чему они подвергали винимых ими несправедливо. «Мы желаем (говорил Василий), чтобы православное христианство наслаждалось миром и тишиною под нашею царскою хранительною властию» — и, велев читать грамоту, которая содержала в себе означенный устав, целовал крест в удостоверение, что исполнит его добросовестно. Сим священным обетом мыслил новый царь избавить россиян от двух ужасных зол своего века: от ложных доносов и беззаконных опал, соединенных с разорением целых семейств в пользу алчной казны; мыслил, в годину смятений и бедствий, дать гражданам то благо, коего не знали ни деды, ни отцы наши до человеколюбивого царствования Екатерины Второй. Но вместо признательности многие люди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию правило, уставленное Иоанном III, что не государь народу, а только народ государю дает клятву. Сии россияне были искренние друзья отечества, не рабы и не льстецы низкие: имея в свежей памяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Иоаннова младенчества, когда власть царская в пеленах дремала: боялись ее стеснения, вредного для государства, как они думали, и предпочитали свободную милость закону. Царь не внял их убеждениям, действуя или по собственному изволению или в угодность некоторым боярам, склонным к аристократии и, чтобы блеснуть великодушием, торжественно обещал забыть всякую личную вражду, все досады, претерпенные им в Борисово время: ему верили, но недолго.

Отменив новости, введенные Лжедимитрием, и восстановив древнюю Государственную думу, как она была до его времени, Василий спешил известить всю Россию о своем воцарении и не оставить в умах ни малейшего сомнения о Самозванце: послали всюду чиновников знатных приводить народ к крестному целованию с обетом, не делать, не говорить и не мыслить ничего злого

против царя, *будущей* супруги и детей его; велели, как обыкновенно, три дни звонить в колокола, от Москвы до Астрахани и Чернигова, до Тары и Колы, — молиться о здравии государя и мире отечества. Читали в церквах грамоты от бояр, царицы-инокини Марфы и Василия (именованного в сих бумагах *потомком Кесаря Римского*). Описав дерзость, злодейства, собственное в том признание и гибель Самозванца, бояре величали род и заслугу Шуйского, спасителя церкви и государства. Марфа свидетельствовалась Богом, что ее сердце успокоено казнию обманщика; а Василий уверял россиян в своей любви и милости беспримерной. Обнародовали найденную во внутренних комнатах дворца переписку Лжедимитрия с римским двором и духовенством о введении у нас латинской Веры, запись данную воеводе Сендомирскому на Смоленск и Северскую землю, также допросы Мнишка и Бучинских, Яна и Станислава: Мнишек винился в заблуждении, сказывая, что он и сам уже не мог считать мнимого Димитрия истинным, приметив в нем ненависть к России, и для того часто впадал в болезнь от горести. Бучинские объявляли, что расстрига действительно хотел с помощью ляхов умертвить 18 мая, на лугу Сретенском, двадцать главных бояр и всех лучших москвитян; что пану Ратомскому надлежало убить князя Мстиславского, Тарлу и Стадницким Шуйских; что ляхи должны были занять все места в Думе, править войском и государством: свидетельство едва ли достойное уважения, и если не вымышленное, то вынужденное страхом из двух малодушных слуг, которые, желая спасти себя от мести россиян, не боялись клеветать на пепел своего милостивца, развеянный ветром! Современники верили; но трудно убедить потомство, чтобы Лжедимитрий, хотя и нерассудительный, мог дерзнуть на дело ужасное и безумное: ибо легко было предвидеть, что бояре и москвитяне не дали бы резать себя как агнцев, и что кровопролитие заключилось бы гибелию ляхов вместе с их главою.

Июня 1 совершилось царское венчание в храме Успения, с наблюдением всех торжественных обрядов, но без всякой расточительной пышности: корону Мономахову возложил на Василия митрополит новогородский. Синклит и народ славили венценосца с усердием; гости и купцы отличались щедростию в дарах, ему поднесенных. Являлось однако ж какое-то уныние в столице. Не было ни милостей, ни пиров; были опалы. Сменили дворецкого, князя Рубца-Мосальского, одного из первых клятвопреступников

Борисова времени, и велели ему ехать воеводою в Корелу, или Кексгольм; Михайлу Нагому запретили именоваться конюшим, желая ли навеки уничтожить сей знаменитый сан, чрезмерно возвышенный Годуновым, или единственно в знак неблаговоления к злопамятному страдальцу Василиева криводушия в деле о Димитриевом убиении; *великого секретаря и подскарбия*[1], Афанасия Власьева, сослали на воеводство во Уфу как ненавистного приверженника расстригина; двух важных бояр, Михайла Салтыкова и Бельского, удалили, дав первому начальство в Иванегороде, второму в Казани; многих иных сановников и дворян, не угодных царю, тоже выслали на службу в дальние города; у многих взяли поместья. Василий, говорит летописец, нарушил обет свой не мстить никому лично, без вины и суда. Оказалось неудовольствие; слышали ропот. Василий, как опытный наблюдатель тридцатилетнего гнусного тиранства, не хотел ужасом произвести безмолвия, которое бывает знаком тайной, всегда опасной ненависти к жестоким властителям; хотел равняться в государственной мудрости с Борисом и превзойти Лжедимитрия в свободолюбии, отличать слово от умысла, искать в нескромной искренности только указаний для правительства и грозить мечом закона единственно крамольникам. Следствием была удивительная вольность в суждениях о царе, особенная величавость в боярах, особенная смелость во всех людях чиновных; казалось, что они имели уже не государя самовластного, а полуцаря. Никто не дерзнул спорить о короне с Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клевреты Василия изъявляли негодование: ибо он, доказывая свою умеренность, беспристрастие и желание царствовать не для клевретов, а для блага России, не дал им никаких наград блестящих в удовлетворение их суетности и корыстолюбия. Заметили еще необыкновенное своевольство в народе и шатость в умах: ибо частые перемены государственной власти рождают недоверие к ее твердости и любовь к переменам: Россия же в течение года имела четвертого самодержца, праздновала два цареубийства и не видала нужного общего согласия на последнее избрание. Старость Василия, уже почти шестидесятилетнего, его одиночество, неизвестность наследия, также производили уныние и беспокойство. Одним словом, самые первые дни нового царствования, всегда

---

[1] П о д с к а р б и й — казначей, хранитель имущества.

благоприятнейшие для ревности народной, более омрачили, нежели утешили сердца истинных друзей отечества.

Между тем, как бы еще не полагаясь на удостоверение россиян в самозванстве расстриги, Василий дерзнул явлением торжественным напомнить им о своих лжесвидетельствах, коими он, в угодность Борису, затмил обстоятельства Димитриевой гибели: царь велел святителям, Филарету Ростовскому и Феодосию Астраханскому, с боярами князем Воротынским, Петром Шереметевым, Андреем и Григорием Нагими, перевезти в Москву тело Димитрия из Углича, где оно, в господствование Самозванца, лежало уединенно в опальной могиле, никем не посещаемой: иереи не смели служить панихид над нею; граждане боялись приближиться к сему месту, которое безмолвно уличало мнимого Димитрия в обмане. Но падение обманщика возвратило честь гробу царевича: жители устремились к нему толпами; *пели молебны*, лили слезы умиления и покаяния, лучше других россиян знав истину и молчав против совести. Когда святители и бояре московские, прибыв в Углич, объявили волю государеву, народ долго не соглашался выдать им драгоценные остатки юного мученика, взывая: «Мы его любили и за него страдали! Лишенные живого, лишимся ли и мертвого?» Когда же, вынув из земли гроб и сняв его крышку, увидели тело, в пятнадцать лет едва поврежденное сыростию земли: плоть на лице и волосы на голове целые, равно как и жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, одежду также шитую серебром и золотом, сапожки, горсть орехов, найденных у закланного младенца в правой руке и с ним положенных в могилу: тогда, в единодушном восторге, жители и пришельцы начали славить сие знамение святости — и за чудом следовали новые чудеса, по свидетельству современников: недужные, с верою и любовию касаясь мощей, исцелялись. Из Углича несли раку (3 июня), переменяясь, люди знатнейшие, воины, граждане и земледельцы: Василий, царица-инокиня Марфа, духовенство, синклит, народ встретили ее за городом; открыли мощи, явили их нетление, чтобы *утешить верующих и сомкнуть уста неверным*. Василий взял святое бремя на рамена свои и нес до церкви Михаила Архангела, как бы желая сим усердием и смирением очистить себя перед тем, кого он столь бесстыдно оклеветал в самоубийстве! Там, среди храма, инокиня Марфа, обливаясь слезами, молила царя, духовенство, всех россиян простить ей грех согласия с Лжедимитрием для их обмана — и святители, исполняя волю царя, раз-

решили ее торжественно, *из уважения к ее супругу и сыну*. Народ исполнился умиления, и еще более, когда церковь огласилась радостными кликами многих людей, вдруг излеченных от болезней действием Веры к мощам Димитриевым, как пишут очевидцы. Хотели предать земле сии святые остатки и раскопали засыпанную могилу Годунова, чтобы поставить в ней гроб его жертвы, в пределе, где лежат царь Иоанн и два сына его; но благодарность исцеленных и надежда болящих убедили Василия не скрывать *источника благодати*: вложили тело в деревянную раку, обитую золотым атласом, оставили ее на помосте и велели петь молебны новому угоднику Божию, вечно праздновать его память и вечно клясть Лжедимитриеву.

Еще церковь не имела патриарха: в самый первый день Василиева царствования свели Игнатия с престола, без суда духовного, единственно по указу государеву,— одели в черную рясу и заперли в келиях Чудова монастыря; Иов же, в печали, в слезах лишась зрения, не хотел возвратиться в Москву, где находились тогда все святители российские, кроме митрополита Ермогена, удаленного Лжедимитрием, и тем возвышенного во мнении народа. Среди жалостных примеров слабости, оказанной несчастным Иовом и всем духовенством, Ермоген, не обольщенный милостию Самозванца, не устрашенный опалою за ревность к православию, казался Героем церкви, и был единодушно, единогласно наречен патриархом,— нетерпеливо ожидаем и немедленно посвящен, как скоро прибыл из Казани в столицу, собором наших епископов. Царь, с любовью вручая Ермогену жезл Св. Петра митрополита, и Ермоген, с любовью благословляя царя, заключили искренний, верный союз церкви с государством, но не для их мира и счастия!

Утвердив себя на престоле великодушным обетом блюсти закон, всенародным оправданием казни расстригиной, своим царским венчанием, торжеством Димитриевой святости, избранием патриарха ревностного и мужественного духом,— поставив войско на берегах Оки и в украйне, велев надежным чиновникам осмотреть его и воеводам ждать царского указа, чтобы идти для усмирения врагов, где они явятся,— Василий немедленно занялся делами внешними. Важнейшим делом было решить мир или войну с Литвою, не уронить достоинства России, но без крайности не начинать кровопролития в смутных обстоятельствах государства, коего внутреннее устройство, после измен и бунтов, требовало времени и тишины. Еще тело Самозванца лежало на лобном месте,

когда духовенство наше отправило гонца в Киев, к тамошнему воеводе, князю Острожскому, с известительною грамотою о всем, что случилось в Москве, и с уверением в миролюбии российского правительства, не взирая на все козни литовского. В сем смысле действовал и новый венценосец: хранил поляков от злобы народа, велел давать им все нужное в изобилии, и с честию отвезти Марину к отцу, который, обманывая себя и других, еще именовал ее царицею, и в виде слуги усердного благоговел пред дочерью. Марина изъявляла более высокомерия, нежели скорби, и говорила своим ближним: «Избавьте меня от ваших безвременных утешений и слез малодушных!» У нее взяли сокровища, одежды богатые, данные ей мужем: она же не жаловалась от гордости. Взяли и все имение воеводы Сендомирского: 10 000 рублей деньгами, кареты, лошадей, приборы конские, вина, всего на 250 000 нынешних рублей серебряных, сказав ему: «возвратим тебе, что найдется твоим собственным: удержим достояние казны царской». В свидании с боярами Мнишек не скрывал глубокой своей печали, ни раскаяния, вероятно искреннего, быв знаменитейшим вельможею в отечестве и видя себя невольником в стране чуждой, где народная месть, им заслуженная, угрожала ему гибелию или узами, после его сновидения о державном величии. Бояре обещали Мнишку не только безопасность, но и свободу, если король удостоверит Василия в истинном расположении к миру.

Они имели несколько свиданий и с послами литовскими. Первое было 27 мая, во дворце, где сии паны заметили разительную перемену: исчезла пышность Лжедимитриева времени; скрылись блестящие золотом телохранители и стрельцы; самые знатные чиновники, угождая вкусу Василиеву к бережливости, не отличались богатством платья. Вместо роскоши и веселия, являлись везде простота, угрюмая важность, безмолвная печаль. «Нам казалось,— пишут ляхи-очевидцы, — что двор московский готовился к погребению». Князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Трубецкой, Голицыны, Татищев приняли Олесницкого и Госевского в той же палате, в коей они беседовали с ними именем Лжедимитрия, называя его тогда *непобедимым цесарем*, а в сие время гнусным исчадием ада! Мстиславский произнес сильную речь о злодейском убиении истинного сына Иоаннова по воле Годунова, о нелепом самозванстве расстриги, о кознях Сигизмундовых, желая доказать, что бродяга без вспоможения ляхов никогда не овладел бы московским престолом; что сей бродяга достойно казнен Рос-

сиею, а немногие ляхи в час мятежа убиты чернию за их наглость, без ведома бояр и дворянства. «Одним словом,— заключил Мстиславский,— кто виною зла и всех бедствий? Король и вы, паны, нарушив святость мирного договора и крестного целования».

Олесницкий и Госевский тихо советовались друг с другом и дали ответ не менее сильный, изъясняясь смело, и если не во всем искренно, то по крайней мере умно и благородно. «Мы слышали о бедственной кончине Димитрия,—говорили паны,—и жалели об ней как христиане, гнушаясь убийцею. Но явился человек под именем сего царевича, свидетельствуясь разными приметами в истине своего уверения, и сказывая, как он спасен Небом от убийц,— как Борис тайно умертвил царя Феодора, истребил знатнейшие роды дворянские, теснил, гнал всех людей именитых. Не то ли самое говорили нам о Борисе и некоторые из вас, мужей думных? И читая историю, не находим ли в ней примеров, что мнимоусопшие являются иногда живы в казнь злодейству? Но мы еще не верили бродяге: поверил ему только добросердечный воевода Сендомирский, и не ему одному, но многим россиянам, признавшим в нем Димитрия: они клялися, что Россия ждет его; что города и войско сдадутся Иоаннову наследнику. Действуя самовольно, Мнишек хотел быть свидетелем торжества Димитриева — и был; но, повинуясь указу королевскому, возвратился, чтобы не нарушить мира, заключенного нами с Годуновым. Димитрий, как он называл себя, остался в земле Северской единственно с россиянами, донскими и запорожскими козаками: что ж сделали россияне? Пали к ногам его: воеводы и войско. Что сделали и вы, бояре? Выходили к нему навстречу с царскою утварию; вопили, что принимаете государя любимого от Бога, и кипели гневом, когда ляхи смели утверждать, что они дали царство Димитрию. Мы, послы, собственными глазами видели, как вы пред ним благоговели. Здесь, в сей самой палате, рассуждая с нами о делах государственных, вы не изъявляли ни малейшего сомнения о роде его и сане. Одним словом, не мы поляки, но вы русские, признали своего же русского бродягу Димитрием, встретили с хлебом и солью на границе, привели в столицу, короновали и... убили; вы начали, вы и кончили. Для чего же вините других? Не лучше ли молчать и каяться в грехах, за которые Бог наказал вас таким ослеплением? Не говорим о клятвопреступлении и цареубийстве; не осуждаем вашего дела, и не имеем причины жалеть о сем человеке, который в ваших глазах оскорблял нас, величался, безумно требовал

неслыханных титулов и едва ли мог быть надежным другом нашего отечества; но дивимся, что вы, бояре, как люди известно умные, дозволяете себе суесловить, желая оправдать душегубство: бесчеловечное избиение наших братьев... Они не воевали с вами, не помогали вашему Лжедимитрию, не хранили его: ибо он вверил жизнь свою не им, а вам единственно! Слагаете вину на чернь: поверим тому, если можно; поверим, если вы невредимо отпустите с нами воеводу Сендомирского, дочь его и всех ляхов к королю, дабы мы своим миролюбивым ходатайством обезоружили месть готовую. Но доколе, вопреки народному праву, уважаемому и варварами, будете держать нас, как бы пленников, дотоле в глазах короля, республики и всей Европы не чернь московская, а вы с вашим новым царем останетесь виновниками сего кровопролития, и не в безопасности. Рассудите!»

Бояре слушали с великим вниманием и долго сидели в молчании, смотря друг на друга; наконец ответствовали панам: «Вы были послами у Самозванца, а теперь уже не послы: следственно не должно говорить вам так вольно и смело»; но расстались с ними ласково; виделись снова и сказали им, что Василий милостиво приказал освободить всех нечиновных ляхов и вывезти за границу; но что послы, воевода Сендомирский и другие знатные паны должны ждать в России решения судьбы своей от Сигизмунда, к коему едет царский чиновник для важных объяснений и переговоров. Дворянин князь Григорий Волконский немедленно был послан в Краков. Олесницкий и Госевский остались в Москве под стражею; Мнишка с дочерью вывезли в Ярославль, Вишневецкого в Кострому, товарищей их в Ростов и Тверь. Они имели дозволение писать к королю и писали миролюбиво, желая как можно скорее избавиться от неволи, чтобы говорить и действовать иначе.

Уже слух о гибели Самозванца и многих ляхов в Москве встревожил всю Польшу: в городах и в местечках литовских останавливали князя Волконского и дьяка его, бесчестили, ругали, называли убийцами, злодеями; метали в их людей камнями и грязью; а королевские чиновники отвечали им на жалобы, что никакая власть не может унять народного негодования. Быв четыре месяца в дороге, Волконский приехал в Краков, где Сигизмунд встретил его с лицом угрюмым, не звал к обеду, не удостоил ни одного ласкового слова и, скрыв печаль свою о судьбе Лжедимитрия, от коего Польша ждала столько выгод, слушал холодно извещение о новом самодержце в России. В переговорах с коронными па-

нами Волконский доказывал то же, что наши бояре доказывали в Москве послам Сигизмундовым; а паны ответствовали ему то же, что послы боярам. Мы говорили ляхам: «Вы дали нам Лжедимитрия!» Ляхи возражали: «Вы взяли его с благодарностию!» Но с обеих сторон умеряли колкость выражений, оставляя слово на мир. Волконский требовал удовлетворения за бедствие, претерпенное Россиею от Самозванца: за гибель многих людей и расхищение нашей казны; король же требовал освобождения своих послов и платежа за товары, взятые Лжедимитрием у купцов литовских и галицких, или разграбленные чернию московскою в день мятежа. Не могли согласиться, однако ж не грозили войною друг другу. «Швеция,— сказал Волконский,— уступает царю знатную часть Ливонии, желая его вспоможения; но он не хочет нарушить прежнего мирного договора». Паны уверяли, что они также не нарушат сего договора, если мы будем соблюдать его. Ничего не решили и ни в чем не условились. Сигизмунд не взял даров от Волконского и хотел писать с ним к Василию; но Волконский отвечал: «Я не гонец». Король велел ему ехать к царю с поклоном, сказав, что пришлет в Москву собственного чиновника; но медлил, уже зная о новых мятежах России и готовясь воспользоваться ими, как сосед деятельный в ненависти к ее величию.

Еще Василий имел время возобновить дружественные сношения с императором, с королями английским и датским. Гонец Рудольфов и посланник шведский находились в Москве. Непримиримый враг врага нашего, Сигизмунда, Карл IX ревностно искал союза России, и Василий действительно не спешил заключить его, в надежде обойтись без войны с Сигизмундом. Хан Казы-Гирей уверял царя в братстве, ногайский князь Иштерек в повиновении. Воевода князь Ромодановский отправился к шаху Аббасу для важных переговоров о Турции и христианских землях Востока. Еще двор московский занимался делами Европы и Азии, политикою Австрии и Персии; но скоро опасности ближайшие, внутренние, многочисленные и грозные скрыли от нас внешность, и Россия, терзая свои недра, забыла Европу и Азию!.. Сии новые бедствия началися таким образом:

В первые дни июня, ночью, тайные злодеи, всегда готовые подвижники в бурные времена гражданских обществ,—желая ли только беззаконной корысти или чего важнейшего, бунта, убийств, испровержения верховной власти,—написали мелом на воротах у богатейших иноземцев и у некоторых бояр и дворян, что царь пре-

дает их домы расхищению за измену. Утром скопилось там множество людей, и грабители приступили к делу; но воинские дружины успели разогнать их без кровопролития.

Чрез несколько дней новое смятение. Уверили народ, что царь желает говорить с ним на лобном месте. Вся Москва пришла в движение, и Красная площадь наполнилась любопытными, отчасти и зломысленными, которые лукавыми внушениями подстрекали чернь к мятежу. Царь шел в церковь; услышал необыкновенный шум вне Кремля, сведал о созвании народа и велел немедленно узнать виновников такого беззакония; остановился и ждал донесения, не трогаясь с места.

Бояре, царедворцы, сановники окружали его: Василий без робости и гнева начал укорять их в непостоянстве и в легкомыслии, говоря: «Вижу ваш умысел; но для чего лукавствовать, ежели я вам не угоден? Кого вы избрали, того можете и свергнуть. Будьте спокойны: противиться не буду». Слезы текли из глаз сего несчастного властолюбца. Он кинул жезл царский, снял венец с головы и примолвил: «Ищите же другого царя!» Все молчали от изумления. Шуйский надел снова венец, поднял жезл и сказал: «Если я царь, то мятежники да трепещут! Чего хотят они? Смерти всех невинных иноземцев, всех лучших, знаменитейших россиян, и моей; по крайней мере насилия и грабежа. Но вы знали меня, избирая в цари; имею власть и волю казнить злодеев». Все единогласно ответствовали: «Ты наш государь законный! Мы тебе присягали и не изменим! Гибель крамольникам!» — Объявили указ гражданам мирно разойтися, и никто не ослушался; схватили пять человек в толпах как возмутителей народа и высекли кнутом. Доискивались и тайных, знатнейших крамольников; подозревали Нагих: думали, что они волнуют Москву, желая свести Шуйского с престола, собрать Великую Думу земскую и вручить державу своему ближнему, князю Мстиславскому. Исследовали дело, честно и добросовестно; выслушали ответы, свидетельства, оправдания и торжественно признали невинность скромного Мстиславского, не тронули и Нагих; сослали одного боярина Петра Шереметева, воеводу псковского, также их родственника, действительно уличенного в ковнях. Шуйский в сем случае оказал твердость и не нарушил данной им клятвы судить законно. Ему готовились искушения важнейшие!

Столица утихла до времени; но знатная часть государства уже пылала бунтом!.. Там, где явился первый Лжедимитрий, явился

и второй, как бы в посмеяние России, снова требуя легковерия или бесстыдства и находя его в ослеплении или в разврате людей, от черни до вельможного сана.

Казалось, что Самозванец, всеми оставленный в час бедствия, не имел ни друзей, ни приверженников, кроме Басманова. Те, коих он любил с доверенностию, осыпал милостями и наградами, громогласнее других кляли память его, желая неблагодарностию спасти себя — и спаслися: сохранили всю добычу измены, сан и богатство. Некоторые из них умели даже снискать доверенность Василиеву: так князь Григорий Петрович Шаховской, известный любимец расстригин, был послан воеводою в Путивль, на смену князю Бахтеярову, честному, но, может быть, не весьма расторопному и смелому. Правительство знало важность сего назначения: нигде граждане и чернь не оказывали столько усердия к Самозванцу и не могли столько бояться нового царя, как в земле Северской, где оставалось еще немало бродяг, беглых разбойников, злодеев, сподвижников Отрепьева, и куда многие из них, после его гибели, спешили возвратиться. Шаховской без сомнения говорил Василию то же, что Басманов несчастному Феодору, — и сделал то же. Рожденный в свое время, в век мятежей и беззаконий, со всеми качествами, нужными для первенства в оных, Шаховской пылал ненавистию к виновникам Лжедимитриевой гибели; знал расположение народа северского и неудовольствие многих россиян, которые имели право участвовать и не участвовали в избрании венценосца; знал волнение умов и в Москве и в целом государстве, смятенном бунтами и еще не совсем успокоенном властию закона; считал державство Василия нетвердым, обстоятельства благоприятными и, прельщаясь блеском великой отваги, решился на злодейство, удивительное и для сего времени: созвал граждан в Путивле и сказал им торжественно, что московские изменники вместо Димитрия, умертвили какого-то немца; что Димитрий, истинный сын Иоаннов, жив, но скрывается до времени, ожидая помощи своих друзей северских; что злобный Василий готовит жителям Путивля и всей украйны, за оказанное ими усердие к Димитрию, жребий новогородцев, истерзанных Иоанном Грозным; что не только за истинного царя, но и для собственного спасения они должны восстать на Шуйского. Народ не усомнился и восстал. Казалось, что все города южной России ждали только примера: Моравск, Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский немедленно, а скоро и Белгород, Борисов, Оскол, Трубчевск, Кро-

мы, Ливны, Елец отложились от Москвы. Граждане, стрельцы, козаки, люди боярские, крестьяне толпами стекались под знамя бунта, выставленное Шаховским и другим, еще знатнейшим сановником, черниговским воеводою, мужем думным, некогда верным закону: князем Андреем Телятевским. Сей человек удивительный, не хотев вместе с целым войском предаться живому, торжествующему Самозванцу, с шайками крамольников предался его тени, имени без существа, ослепленный заблуждением или неприязнию к Шуйским: так люди, кроме истинно великодушных, изменяются в государственных смятениях! Еще не видали никакого Димитрия, ни лица, ни меча его, и все пылало к нему усердием, как в Борисово и Феодорово время! Сие роковое имя с чудною легкостию побеждало власть законную, уже не обольщая милосердием, как прежде, но устрашая муками и смертию. Кто не верил грубому, бесстыдному обману,— кто не хотел изменить Василию и дерзал противиться мятежу: тех убивали, вешали, кидали с башен, распинали! Так, еще ко славе отечества, погибли воеводы, боярин князь Буйносов в Белегороде, Бутурлин в Осколе, Плещеев в Ливнах, двое Воейковых, Пушкин, князь Щербатый, Бартенев, Мальцов; других ввергали в темницы. Злодейством доказывалась любовь к царю; верность называли изменою, богатство преступлением: холопы грабили имение господ своих, бесчестили их жен, женились на дочерях боярских. Плавая в крови, утопая в мерзостях насилия, терпеливо ждали Димитрия и едва спрашивали: где он? Уверяя в необходимости молчания до некоторого времени, Шаховской давал однако ж разуметь, что солнце взойдет для России — из Сендомира!

Мог ли один человек предприять и совершить такое дело, равно ужасное и нелепое, без условия с другими, без приготовления и заговора? Шаховской имел клевретов в Москве, где скоро по убиении Лжедимитрия распустили слух, что он жив, за несколько часов до мятежа, ночью, ускакав верхом с двумя царедворцами, неизвестно куда. В то же время видели на берегу Оки, близ Серпухова, трех необыкновенных, таинственных путешественников: один из них дал перевозчику семь злотых и сказал: «Знаешь ли нас? Ты перевез государя Димитрия Иоанновича, который спасается от московских изменников, чтобы возвратиться с сильным ополчением, казнить их, а тебя сделать великим человеком. Вот он!»—примолвил незнакомец, казав на младшего из спутников, и немедленно удалился вместе с ними. Многие другие видели их и

далее, за Тулою, около Путивля, и слышали то же. Сии путешественники, или беглецы, выехали из пределов России в Литву, — и вдруг вся Польша заговорила о Димитрии, который будто бы ушел из Москвы в одежде инока, скрывается в Сендомире и ждет счастливой для него перемены обстоятельств в России. Посол Василиев, князь Волконский, будучи в Кракове, сведал, что жена Мнишкова действительно объявила какого-то человека своим зятем Димитрием; что он живет то в Сендомире, то в Самборе, в ее доме и в монастыре, удаляясь от людей; что с ним только один москвитянин, дворянин Заболоцкий, но что многие знатные россияне, и в числе их князь Василий Мосальский, ему тайно благоприятствуют. Новый Самозванец нимало не сходствовал наружностию с первым: имел волосы кудрявые, черные (вместо рыжеватых); глаза большие, брови густые, навислые, нос покляпый, бородавку среди щеки, ус и бороду стриженую; но так же, как Отрепьев, говорил твердо языком польским и разумел латинский. Волконский удостоверился, что сей обманщик был дворянин Михайло Молчанов, гнусный убийца юного царя Феодора, и мнимый чернокнижник, сеченный за то кнутом в Борисово время: он скрылся в начале Василиева царствования. Действуя по условию с Шаховским, Молчанов успел в главном деле: ославил воскресение расстриги, чтобы питать мятеж в земле Северской; но не спешил явиться там, где его знали, и готовился передать имя Димитрия иному, менее известному или дерзновеннейшему злодею.

Уже самый первый слух о бегстве расстриги встревожил московскую чернь, которая, три дня терзав мертвого лжецаря, не знала, верить ли или не верить его спасению: ибо думала, что он, как известный чародей, мог ожить силою адскою или в час опасности сделаться невидимым и подставить другого на свое место; некоторые даже говорили, что человек, убитый вместо Лжедимитрия, походил на одного молодого дворянина, его любимца, который с сего времени пропал без вести. Действовала и любовь к чудесному и любовь к мятежам: «чернь московская (пишут свидетели очевидные) была готова менять царей еженедельно, в надежде доискаться лучшего или своевольствовать в безначалии» — и люди, обагренные, может быть, кровию Самозванца, вдруг начали жалеть о его днях веселых, сравнивая их с унылым царствованием Василия! Но легковерие многих и зломыслие некоторых не могли еще произвести общего движения в пользу расстриги там, где он воскрес бы к ужасу своих изменников и душегуб-

цев, — где все, от вельмож до мещан, хвалились его убиением. Клевреты Шаховского в столице желали единственно волнения, беспокойства народного и вместе с слухами распространяли письма от имени Лжедимитрия, кидали их на улицах, прибивали к стенам: в сих грамотах упрекали россиян неблагодарностию к милостям великодушнейшего из царей, и сказывали, что Димитрий будет в Москве к Новому году. Государь велел искать виновников такого возмущения; призывали всех дьяков, сличали их руки с подметными письмами и не открыли сочинителей.

Еще правительство не уважало сих козней, изъясняя оные бессильною злобою тайных, малочисленных друзей расстригиных; но сведав в одно время о бунте южной России и сендомирском Самозванце, увидело опасность и спешило действовать — сперва убеждением. Василий послал крутицкого митрополита Пафнутия в Северскую землю, образумить ее жителей словом истины и милосердия, закона и совести: митрополита не приняли и не слушали. Царица-инокиня Марфа, исполненная ревности загладить вину свою, писала к жителям всех городов украинских, свидетельствуя пред Богом и Россиею, что она собственными глазами видела убиение Димитрия в Угличе и Самозванца в Москве; что одни ляхи и злодеи утверждают противное; что царь великодушный дал ей слово *покрыть милосердием* вину заблуждения; что не только возмущенные, но даже и возмутители могут жить безопасно и мирно в домах своих, если изъявят раскаяние; что она шлет к ним брата, боярина Григория Нагого, и святый образ Димитриев, да услышат истину, да зрят Ангельское лицо ее сына, который был рожден любить, а не терзать отечество смутами и злодействами. Ни грамоты, ни посольства не имели успеха. Бунт кипел; остервенение возрастало. Действуя неусыпно, Шаховской звал всю Россию соединиться с украйною; писал указы именем Димитрия и прикладывал к ним печать государственную, которую он похитил в день московского мятежа. Рать изменников усиливалась и выступала в поле, с воеводою достойным такого начальства, холопом князя Телятевского, Иваном Болотниковым, Сей человек, взятый в плен татарами, проданный в неволю туркам и выкупленный немцами в Константинополе, жил несколько времени в Венеции, захотел возвратиться в отечество, услышал в Польше о мнимом Димитрии, предложил ему свои услуги и явился с письмом от него к князю Шаховскому в Путивле. Внутренне веря или не веря Самозванцу, Болотников воспламенил других любопытными о нем рассказами;

имея ум сметливый, некоторые знания воинские и дерзость, сделался главным орудием мятежа, к коему пристали еще двое князей Мосальских и Михайло Долгорукий.

Видя необходимость кровопролития, Василий велел полкам идти к Ельцу и Кромам. Предводительствовали боярин Воротынский, сын отца столь знаменитого, и князь Юрий Трубецкой, стольник, удостоенный необыкновенной чести иметь мужей думных под своими знаменами. Воротынский близ Ельца рассеял шайки мятежников; но чиновник царский, везя к нему золотые медали в награду его мужества, вместо победителей встретил беглецов на пути. Где некогда сам Шуйский с сильным войском не умел одолеть горсти изменников и где измена Басманова решила судьбу отечества, там, в виду несчастных Кром, Болотников напал на 5000 царских всадников: они, с князем Трубецким, дали тыл; за ними и Воротынский ушел от Ельца; винили, обгоняли друг друга в срамном бегстве и, как бы еще имея стыд, не хотели явиться в столице: разъехались по домам, сложив с себя обязанность чести и защитников царства.

Победитель Болотников ругался над пленными: называл их кровопийцами, злодеями, бунтовщиками, а царя Василия *Шубником*, велел одних утопить, других вести в Путивль для казни; некоторых сечь плетьми и едва живых отпустить в Москву; шел вперед и восстановлял державу Самозванца. Орел, Мценск, Тула, Калуга, Венев, Кашира, вся земля Рязанская пристали к бунту, вооружились, избрали начальников: сына боярского Истому Пашкова, веневского сотника; Григория Сунбулова, бывшего воеводою в Рязани, и тамошнего дворянина Прокопия Ляпунова, дотоле неизвестного, отселе знаменитого, созданного быть вождем и повелителем людей в безначалии, в мятежах и бурях, — одаренного красотою и крепостию телесною, силою ума и духа, смелостию и мужеством. Сие новое войско отличалось ревностию чистейшею, составленное из граждан, владельцев, людей домовитых. Быв первыми, усерднейшими клевретами Басманова в измене Феодору, они хотя и присягнули Василию, но осуждали дело москвитян, убиение расстриги, и думали, что присяга Шуйскому сама собою уничтожается, когда жив Димитрий, старейший и следственно один венценосец законный. Но ревность их также вела к злодействам: лилась кровь воинов и граждан, верных чести и Василию. Рязанский наместник боярин князь Черкасский, воеводы князь Тростенский, Вердеревский, князь Каркадинов, Измайлов,

были скованные отправлены Ляпуновым в Путивль на суд или смерть. Разбойники северские жгли, опустошали селения; грабя, не щадили и святыни церквей; срамили человечество гнуснейшими делами. Ужас распространял измену, как буря пламень, с неимоверною быстрою, от пределов Тулы и Калуги к Смоленску и Твери: Дорогобуж, Вязьма, Ржев, Зубцов, Старица предались тени Лжедимитрия, чтобы спастися от ярости мятежников; но Тверь, издревле славная в наших летописях верностию, не изменила: достойный ее святитель Феоктист, великодушно негодуя на слабость воевод, явился бодрым стратигом: ополчил духовенство, людей приказных, собственных детей боярских, граждан, разбил многочисленную шайку злодеев и послал к государю несколько сот пленных.

Встревоженный бегством воевод от Ельца и Кром, бегством чиновников и рядовых от воевод и знамен, — наконец силою, успехами бунта, Василий еще не смутился духом, имея данное ему от природы мужество, если не для одоления бедствий, то по крайней мере для великодушной гибели. Летописец говорит, что царь без искусных стратигов и без казны есть орел бескрылый, и что таков был жребий Шуйского. Борис оставил преемнику казну и только одного славного храбростию воеводу, Басманова-изменника: Лжедимитрий-расточитель не оставил ничего, кроме изменников; но Василий делал, что мог. Объявив всенародно о происхождении мятежа — о нелепой басне расстригина спасения, о сонмище воров и негодяев, коим имя Димитрия служит единственно предлогом для злодейства, в самых тех местах, где жители, ими обманутые, встречают их как друзей, — царь выслал в поле новое сильнейшее войско и, как бы спокойным сердцем, как бы в мирное, безмятежное время, удумал загладить несправедливость современников в глазах потомства: снять опалу с памяти венценосца, хотя и ненавистного за многие дела злые, но достойного хвалы за многие государственные благотворения: велел, пышно и великолепно, перенести тело Бориса, Марии, юного Феодора, из бедной обители Св. Варсонофия в знаменитую лавру Сергиеву. Торжественно огласив убиение и святость Димитрия, Шуйский не смел приблизить к его мощам гроб убийцы и снова поставить между царскими памятниками; но хотел сим действием уважить законного монарха в Годунове, будучи также монархом избранным; хотел возбудить жалость, если не к Борису виновному, то к Марии и к Феодору невинным, чтобы произвести живейшее

омерзение к их гнусным умертвителям, сообщникам Шаховского, жадным к новому цареубийству. В присутствии бесчисленного множества людей, всего духовенства, двора и синклита, открыли могилы: двадцать иноков взяли раку Борисову на плечи свои (ибо сей царь скончался иноком); Феодорову и Мариину несли знатные сановники, провождаемые святителями и боярами. Позади ехала, в закрытых *санях*, несчастная Ксения и громко вопила о гибели своего Дома, жалуясь Богу и России на изверга Самозванца. Зрители плакали, воспоминая счастливые дни ее семейства, счастливые и для России в первые два года Борисова царствования. Многие об нем тужили, встревоженные настоящим и страшася будущего. В лавре, вне церкви Успения, с благоговением погребли отца, мать и сына; оставили место и для дочери, которая жила еще 16 горестных лет в Девичьем монастыре Владимирском, не имея никаких утешений, кроме небесных. Новым погребением возвращая сан царю, лишенному оного в могиле, думал ли Василий, что некогда и собственные его кости будут лежать в неизвестности, в презрении, и что великодушная жалость, справедливость и политика также возвратят им честь царскую?

Уже не только политика мирила Василия с Годуновым, но и злополучие, разительное сходство их жребия. Обоим власть изменяла; опоры того и другого, видом крепкие, падали, рушились, как тлен и брение. Рати Василиевы, подобно Борисовым, цепенели, казалось, пред тению Димитрия. Юноша, ближний государев, князь Михаил Скопин-Шуйский, имел успех в битве с неприятельскими толпами на берегах Пахры; но воеводы главные, князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Воротынский, Голицыны, Нагие, имея с собою всех дворян московских, стольников, стряпчих, жильцов, встретились с неприятелем уже в пятидесяти верстах от Москвы, в селе Троицком, сразились и бежали, оставив в его руках множество знатных пленников.

Уже Болотников, Пашков, Ляпунов, взяв, опустошив Коломну, стояли (в октябре месяце) под Москвою, в селе Коломенском; торжественно объявили Василия царем сверженным; писали к москвитянам, духовенству, синклиту и народу, что Димитрий снова на престоле и требует их новой присяги; что война кончилась и царство милосердия начинается. Между тем мятежники злодействовали в окрестностях, звали к себе бродяг, холопей; приказывали им резать дворян и людей торговых, брать их жен и достояние, обещая им *богатство* и *воеводство*, рассыпались

по дорогам, не пускали запасов в столицу, ими осажденную... Войско и самое государство как бы исчезли для Москвы, преданной с ее святынею и славою в добычу неистовому бунту. Но в сей ужасной крайности еще блеснул луч великодушия: оно спасло царя и царство, хотя на время!

Василий, велев написать к мятежникам, что ждет их раскаяния и еще медлит истребить жалкий сонм безумцев, спокойно устроил защиту города, предместий и слобод. Духовенство молилось; народ постился три дни и, видя неустрашимость в государе, сам казался неустрашимым. Воины, граждане по собственному движению обязали друг друга клятвою в верности, и никто из них не бежал к злодеям. Полководцы, князья Скопин-Шуйский, Андрей Голицын и Татев расположились станом у Серпуховских ворот, для наблюдения и для битвы в случае приступа. Высланные из Москвы отряды восстановили ее сообщение с городами, ближними и дальними. Патриарх, святители писали всюду грамоты увещательные: верные одушевились ревностию, изменники устыдились. Тверь, Смоленск служили примером: их дворяне, дети боярские, люди торговые кинули семейства и спешили спасти Москву. К добрым тверитянам присоединились жители Зубцова, Тарицы, Ржева; к добрым смолянам граждане Вязьмы, Дорогобужа, Серпейска, уже не преступники от малодушия, но снова достойные россияне; везде били злодеев; выгнали их из Можайска, Волока, обители Св. Иосифа; не давали им пощады: казнили пленных.

Тогда же в Коломенском стане открылась важная измена. Болотников, называя себя воеводою царским, хотел быть главным; но воеводы, избранные городами, не признавали сей власти, требовали Димитрия от него, от Шаховского: не видали и начинали хладеть в усердии. Ляпунов первый удостоверился в обмане и, стыдясь быть союзником бродяг, холопей, разбойников без всякой государственной, благородной цели, первый явился в столице с повинною (вероятно, вследствие тайных, предварительных сношений с царем); а за Ляпуновым и все рязанцы, Сунбулов и другие. Василий простил их и дал Ляпунову сан думного дворянина. Скоро и многие иные сподвижники бунта, удостоверенные в милосердии государя, перебежали из Коломенского в Москву, где уже не было ни страха, ни печали; все ожило и пылало ревностию ударить на остальных мятежников. Василий медлил; изъявляя человеколюбие и жалость к несчастным жертвам заблуждения, говорил: «Они также русские и христиане: молюся о спасе-

нии их душ, да раскаются, и кровь отечества да не лиется в междоусобии!» Василий или действительно надеялся утишить бунт без дальнейшего кровопролития, торжественно предлагая милость самым главным виновникам оного, или для вернейшей победы ждал смолян и тверитян: они соединились в Можайске с воеводою царским Колычевым и приближались к столице.

Еще мятежники упорствовали в намерении овладеть Москвою; укрепили Коломенский стан валом и тыном, терпеливо сносили ненастье и холод глубокой осени; приступали к Симонову монастырю и к Гонной, или Рогожской, слободе; были отражены, лишились многих людей, и все еще не унывали — по крайней мере Болотников: он не слушал обещаний Василия забыть его вину и дать ему знатный чин, ответствуя: «Я клялся Димитрию умереть за него, и сдержу слово: буду в Москве не изменником, а победителем»; уже видел знамена тверитян и смолян на Девичьем поле; видел движение в войске московском и смело ждал битвы неравной. Василий, сам опытный в деле бранном, еще не хотел и пред стенами Кремлевскими ратоборствовать лично, как бы стыдясь врага подлого; хотел быть только невидимым зрителем сей битвы: вверил главное начальство усерднейшему или счастливейшему витязю: двадцатилетнему князю Скопину-Шуйскому, который свел полки в монастыре Даниловском, и мыслил окружить неприятеля в стане. Болотников и Пашков (2 декабря), встретили воевод царских: первый сразился как лев; второй, не обнажив меча, передался к ним со всеми дворянами и с знатною частию войска. У Болотникова остались козаки, холопы, северские бродяги; но он бился до совершенного изнурения сил и бежал с немногими к Серпухову: остальные рассеялись. Козаки еще держались в укрепленном селении Заборье, и наконец с атаманом Беззубцевым сдалися, присягнув Василию в верности. Кроме их, взяли на бою столь великое число пленных, что они не уместились в темницах московских, и были все утоплены в реке, как злодеи ожесточенные; но козаков не тронули и приняли в царскую службу. Юноше-победителю, князю Скопину, рожденному к чести, утешению и горести отечества, дали сан боярина, а воеводе Колычеву — боярина и дворецкого. Радовались и торжествовали; пели молебны с колокольным звоном и благодарили Небо за истребление мятежников, но прежде времени.

Болотников думал остановиться в Серпухове. Жители не впустили его. Он засел в Калуге; в несколько дней укрепил его глу-

бокими рвами и валом; собрал тысяч десять беглецов, изготовился к осаде, и писал к северской Думе изменников, что ему нужно вспоможение и еще нужнее Димитрий, истинный или мнимый; что имя без человека уже не действует, и что все их клевреты готовы следовать примеру Ляпунова, Сунбулова и Пашкова, если явление вожделенного царя-изгнанника, столь долго славимого и невидимого, не даст им нового усердия и новых сподвижников. Но кого было представить? Сендомирского ли самозванца, Молчанова, известного в России и нимало не сходного с Лжедимитрием, еще известнейшим? Сей беглец мог действовать на легковерных только издали, слухом, а не присутствием, которое изобличило бы его в обмане. Пишут, что злодеи российские хотели назвать Димитрием иного человека, какого-то благородного ляха, но что он — взяв, вероятно, деньги за такую отвагу — раздумал искать гибельного величия в бурях мятежа, мирно остался в Польше жить нескудным дворянином и прервал наконец связь с Шаховским, коему случай дал между тем другое орудие.

Мы упоминали о бродяге Илейке, Лжепетре, мнимом сыне царя Феодора. На пути к Москве узнав о гибели расстриги, он с терскими козаками бежал назад, мимо Казани, где бояре Морозов и Бельский хотели схватить его: козаки обманули их; прислали сказать, что выдадут им Самозванца, и ночью уплыли вниз по Волге; грабили людей торговых и служивых; злодействовали, жгли селения на берегах, до Царицына, где убили князя Ромодановского, ехавшего послом в Персию, и воеводу Акинфеева; остановились зимовать на Дону и расславили в украйне о своем лжецаревиче. Обман способствовал обману: Шаховский признал Илейку сыном Феодоровым, звал к себе вместе с шайкою терских мятежников, встретил в Путивле с честию, как племянника и наместника Димитриева в его отсутствие, и даже не усомнился обещать ему царство, если Димитрий, ими ожидаемый, не явится. Сей союз злодейства праздновали новым душегубством, в доказательство державной власти разбойника Илейки. Он велел умертвить всех знатных пленников, которые еще сидели в темницах: верных воевод рязанских, думного мужа Сабурова, князя Приимкова-Ростовского, начальников города Борисова, и воеводу Путивльского, князя Бахтеярова, взяв его дочь в наложницы. Искали и союзников внешних, там, где вред России всегда считался выгодою, и где старая ненависть к нам усилилась желанием мести за стыд неудачного дружества с бродягою: новый самозванец

Петр также обратился к Сигизмунду, и вельможные паны не устыдились сказать князю Волконскому, который еще находился тогда в Кракове, что они «ждут послов от государя северского, сына Феодорова, который вместе с Димитрием, укрывающимся в Галиции, намерен свергнуть Василия с престола; что если царь возвратит свободу Мнишку и всем знатным ляхам, московским пленникам, то не будет ни Лжедимитрия, ни Лжепетра; а в противном случае оба сделаются истинными и найдут сподвижников в республике!» Но ляхи только грозили Василию; манили, вероятно, мятежников обещаниями и не спешили действовать; Шаховский, Телятевский, Долгорукий, Мосальские, с новым атаманом Илейкою не имели времени ждать их; призвали к себе запорожцев; ополчили всех, кого могли, в земле Северской и выступили в поле, чтобы спасти Болотникова,

Умел ли Василий воспользоваться своею победою, дав мятежникам соединиться и вновь усилиться в Калуге? Он послал к ней войско, но уже чрез несколько дней, и малочисленное, смятое первою смелою вылазкою; послал и другое, сильнейшее с боярином Иваном Шуйским, который, одержав верх в кровопролитном деле с Болотниковым при устье реки Угры, осадил Калугу (30 декабря), но без надежды взять ее скоро. Худые вести, одна за другою, встревожили Москву. В Калужской и Тульской области новые шайки злодеев скопились и заняли Тулу. Бунт вспыхнул в уезде Арзамасском и в Алатырском: мордва, холопы, крестьяне грабили, резали царских чиновников и дворян, утопили алатырского воеводу Сабурова, осадили Нижний Новгород именем Димитрия. Астрахань также изменила: ее знатный воевода, окольничий князь Иван Хворостинин, взял сторону Шаховского: верных умертвили: доброго, мужественного дьяка Карпова и многих иных. Самых границ Сибири коснулось возмущение, но не проникло в оную: там начальствовали усердные Годуновы, хотя и в честной ссылке. Из Вятки, из Перми силою гнали воинов в Москву, а чернь славила Димитрия. К сему смятению присоединилось ужасное естественное бедствие: язва в Новегороде, где умерло множество людей, и в числе их боярин Катырев. Между тем целое войско злодеев разными путями шло от Путивля к Туле, Калуге и Рязани.

Василий бодрствовал неусыпно, распоряжал хладнокровно: послал рати и воевод: знатнейшего саном князя Мстиславского и знаменитейшего мужеством Скопина-Шуйского к Калуге; Воротынского к Туле, Хилкова к Веневу, Измайлова к Козельску, Хован-

ского к Михайлову, боярина Федора Шереметева к Астрахани, Пушкина к Арзамасу; а сам еще остался в Москве с дружиною царскою, чтобы хранить святыню отечества и церкви или явиться на поле битвы в час решительный. Василий думал предупредить соединение мятежников, истребить их отдельно, нападениями разными, единомысленными, чтобы вдруг и везде утушить бунт. Действуя в воинских распоряжениях как стратиг искусный, он хотел действовать и на сердца людей, оживить в них силу нравственную, успокоить совесть, возмущенную беззакониями государственными, и снова скрепить союз царя с царством, нарушенный злодейством.

Имев торжественное совещание с Ермогеном, духовенством, синклитом, людьми чиновными и торговыми, Василий определил звать в Москву бывшего патриарха Иова для *великого земского дела*. Ермоген писал к Иову: «Преклоняем колена: удостой нас видеть благолепное лицо твое и слышать глас твой сладкий: молим тебя именем отечества смятенного». Иов приехал, и (20 февраля [1607 г.]) явился в церкви Успения, извне окруженной и внутри наполненной несметным множеством людей. Он стоял у патриаршего места в виде простого инока, в бедной ризе, но возвышаемый в глазах зрителей памятию его знаменитости и страданий за истину, смирением и святостию: отшельник, вызванный почти из гроба примирить Россию с законом и Небом. Все было изготовлено царем для действия торжественного, в коем патриарх Ермоген с любовию уступал первенство старцу, уже бесчиновному. В глубокой тишине общего безмолвия и внимания поднесли Иову бумагу и велели патриаршему диакону читать ее на амвоне. В сей бумаге народ — и только один народ — молил Иова отпустить ему, именем Божиим, все его грехи пред законом, строптивость, ослепление, вероломство и клялся впредь не нарушать присяги, быть верным государю; требовал прощения для живых и мертвых, дабы успокоить души клятвопреступников и в другом мире: винил себя во всех бедствиях, ниспосланных Богом на Россию, но не винился в цареубийствах, приписывая убиение Феодора и Марии одному расстриге; наконец молил Иова, как святого мужа, благословить Василия, князей, бояр, христолюбивое воинство и всех христиан, да восторжествует царь над мятежниками и да насладится Россия счастием тишины. Иов ответствовал грамотою, заблаговременно, но действительно им сочиненною, писанною известным его слогом, умилительно и не без искусства. Тот же диакон читал ее народу. Изобразив в ней величие России, про-

изведенное умом и счастием ее монархов — хваля особенно государственный ум Иоанна Грозного, Иов соболезновал о гибельных следствиях его преждевременной кончины и Димитриева заклания, но умолчал о виновнике оного, некогда любив и славив Бориса; напомнил единодушное избрание Годунова в цари и народное к нему усердие; дивился ослеплению россиян, прельщенных бродягою; говорил: «Я давал вам страшную на себя клятву в удостоверение, что он самозванец: вы не хотели мне верить — и сделалось, чему нет примера ни в священной, ни в светской истории». Описав все измены, бедствие отечества и церкви, свое изгнание, гнусное цареубийство, если не совершенное, то по крайней мере допущенное народом — воздав хвалу Василию, *царю святому и праведному*, за великодушное избавление России от стыда и гибели — Иов продолжал: «Вы знаете, убит ли самозванец; знаете, что не осталось на земле и *скаредного*[1] тела его — а злодеи дерзают уверять Россию, что он жив и есть истинный Димитрий! Велики грехи наши пред Богом, *в сии времена последние*, когда вымыслы нелепые, когда сволочь мерзостная, тати, разбойники, беглые холопы могут столь ужасно возмущать отечество!» Наконец, исчислив все клятвопреступления россиян, не исключая и данной Лжедимитрию присяги, Иов именем Небесного милосердия, своим и всего духовенства объявлял им разрешение и прощение, в надежде, что они уже не изменят снова царю законному, и добродетелию верности, плодом чистого раскаяния, умилостивят Всевышнего, да победят врагов и возвратят государству мир с тишиною.

Действие было неописанное. Народу казалось, что тяжкие узы клятвы спали с него, и что сам Всевышний устами праведника изрек помилование России. Плакали, радовались — и тем сильнее тронуты были вестию, что Иов, едва успев доехать из Москвы до Старицы, преставился (8 марта). Мысль, что он, уже стоя на праге[2] вечности, беседовал с Москвою, умиляла сердца. Забыли в нем слугу Борисова: видели единственно мужа святого, который в последние минуты жизни и в последних молениях души своей ревностно занимался судьбою горестного отечества, умер, благословляя его и возвестив ему умилостивление Неба!

Но происшествия не соответствовали благоприятным ожиданиям. Воеводы, посланные царем истребить скопища мятежников,

---

[1] Скаредный — гнусный, мерзкий.

[2] Праг — порог.

большею частию не имели успеха. Мстиславский, с главным войском обступив Калугу, стрелял из тяжелых пушек, делал примет к укреплениям, издали вел к ним *деревянную гору* и хотел зажечь ее вместе с тыном острога: но Болотников подкопом взорвал сию гору; не знал и не давал успокоения осаждающим; сражался день и ночь; не жалел людей, ни себя; обливался кровию в битвах непрестанных и выходил из оных победителем, доказывая, что ожесточение злодейства может иногда уподобляться геройству добродетели. Он боялся не смерти, а долговременной осады, предвидя необходимость сдаться от голода: ибо не успел запастися хлебом. Разбойники калужские ели лошадей, не жаловались и не слабели в сечах. Царь велел снова обещать милость их атаману, если покорится: ответом его был: «жду милости единственно от Димитрия!» Тщетно прибегали и к средствам, менее законным: московский лекарь Фидлер вызвался отравить главного злодея, дал на себя страшную клятву и, взяв 100 флоринов, обманул Василия: уехал в Калугу служить за деньги Болотникову, из любви к расстриге. Неудачная осада продолжалась четыре месяца.

Другие воеводы, встретив неприятеля в поле, бежали: Хованский от Михайлова в Переславль Рязанский, Хилков от Венева в Коширу, Воротынский от Тулы в Алексин, наголову разбитый предводителем изменников, князем Андреем Телятевским, который успел прежде его занять и Тулу и Дедилов. Только Измайлов и Пушкин честно сделали свое дело: первый, рассеяв многочисленную шайку изменника князя Михайла Долгорукого, осадил мятежников в Козельске; второй спас Нижний Новгород, усмирил бунт в Арзамасе, в Ардатове, и еще приспел к Хилкову в Коширу, чтобы идти с ним к Серебряным Прудам, где они истребили скопище злодеев и взяли их двух начальников, князя Ивана Мосальского и литвина Сторовского; но близ Дедилова были разбиты сильными дружинами Телятевского и в беспорядке отступили к Кошире: воевода Ададуров положил голову на месте сей несчастной битвы, и множество беглецов утонуло в реке Шате. — Боярин Шереметев, коему надлежало усмирить Астрахань, не мог взять города; укрепился на острове Болдинском, и не взирая на зимний холод, нужду, смертоносную цынгу в своем войске, отражал все приступы тамошних бунтовщиков, которые в исступлении ярости мучили, убивали пленных. Глава их, князь Хворостинин, объявив самого Шереметева изменником, грозил ему лютейшею казнию и звал ногайских владетелей под знамена Димитрия. Но

царь уже не думал о том, что происходило в отдаленной Астрахани, когда судьба его и царства решилась за 160 верст от столицы.

Ежедневно надеясь победить Болотникова если не мечом, то голодом — надеясь, что Воротынский в Алексине и Хилков в Кошире заслоняют осаду Калуги и блюдут безопасность Москвы — главный воевода князь Мстиславский отрядил бояр, Ивана Никитича Романова, Михайла Нагого и князя Мезецкого против злодея, Василия Мосальского, который шел с своими толпами Белевскою дорогою к Калуге. Они сразились с неприятелем на берегах Вырки, смело и мужественно. Целые сутки продолжалась битва. Мосальский пал, оказав храбрость, достойную лучшей цели. Так пали и многие клевреты его: уже не имея вождя, теснимые, расстроенные, не хотели бежать, ни сдаться: умирали в сече; другие зажгли свои пороховые бочки и взлетели на воздух, как жертвы остервенения, свойственного только войнам междоусобным. Романов, дотоле известный единственно великодушным терпением в несчастии, удостоился благодарности царя и золотой медали за оказанную им доблесть.

Но изменники в другом месте были счастливее. Они, подобно царю, соображали свои действия наступательные, следуя общей мысли и стремясь с разных сторон к одной цели: освободить Болотникова. Гибель Мосальского не устрашила Телятевского, который также шел к Калуге и также встретил московских воевод, князей Татева, Черкасского и Борятинского, высланных Мстиславским из калужского стана. В жестокой битве на Пчелне легли Татев и Черкасский со многими из добрых воинов; остальные спаслися бегством в стан калужский и привели его в ужас, коим воспользовался Болотников: сделал вылазку и разогнал войско, еще многочисленное; все обратили тыл, кроме юного князя Скопина-Шуйского и витязя Истомы Пашкова, уже верного слуги царского: они упорным боем дали время малодушным бежать, спасая если не честь, то жизнь их; отступили, сражаясь, к Боровску, где несчастный Мстиславский и другие воеводы соединили рассеянные остатки войска, бросив пушки, обоз, запасы в добычу неприятелю. Еще хуже робости была измена: 15 000 воинов царских, и в числе их около ста немцев, пристали к мятежникам. Узнав, что сделалось под Калугою, Измайлов снял осаду Козельска; по крайней мере не кинул снаряда огнестрельного и засел в Мещовске.

Сии вести поразили Москву. Шуйский снова колебался на престоле, но не в душе: созвал духовенство, бояр, людей чинов-

ных; предложил им меры спасения, дал строгие указы, требовал немедленного исполнения и грозил казнию ослушникам: все россияне, годные для службы, должны были спешить к нему с оружием, монастыри запасти столицу хлебом на случай осады, и самые иноки готовиться к ратным подвигам за веру. Употребили и нравственное средство; святители предали анафеме Болотникова и других известных, главных злодеев: чего царь не хотел дотоле, в надежде на их раскаяние. Время было дорого: к счастию, мятежники не двигались вперед, ожидая Илейки, который с последними силами и с Шаховским еще шел к Туле. 21 мая Василий сел на ратного коня и сам вывел войско, приказав Москву брату Димитрию Шуйскому, князьям Одоевскому и Трубецкому, а всех иных бояр, окольничих, думных дьяков и дворян взяв с собою под царское знамя, коего уже давно не видали в поле с таким блеском и множеством сановников: уже не стыдились идти всем царством на скопище злодеев храбрых! Близ Серпухова соединились с Василием Мстиславский и Воротынский, оба как беглецы в унынии стыда. Довольный числом, но боясь робости сподвижников, царь умел одушевить их своим великодушием: в присутствии ста тысяч воинов целуя крест, громогласно произнес обет возвратиться в Москву победителем или умереть; он не требовал клятвы от других, как бы опасаясь ввести слабых в новый грех вероломства, и дал ее в твердой решимости исполнить. Казалось, что Россия нашла царя, а царь нашел подданных: все с ревностию повторили обет Василиев — и на сей раз не изменили.

Сведав, что Илейка с Шаховским уже в Туле, и что Болотников к ним присоединился, Василий послал князей Андрея Голицына, Лыкова и Прокопия Ляпунова к Кошире. Самозванец Петр, как главный предводитель злодеев, велел также занять сей город Телятевскому. Рати сошлися на берегах Восми (5 июня): началось дело кровопролитное, и мятежники одолевали: но Голицын и Лыков кинулись в пыл битвы с восклицанием: «Нет для нас бегства; одна смерть или победа!» и сильным, отчаянным ударом смяли неприятеля. Телятевский ушел в Тулу, оставив москвитянам все свои знамена, пушки, обоз; гнали бегущих на пространстве тридцати верст и взяли 5000 пленных. Храбрейшие из злодеев, козаки терские, яицкие, донские, украинские, числом 1700, засели в оврагах и стреляли; уже не имели пороха, и все еще не сдавались: их взяли силою на третий день и казнили, кроме семи человек, помилованных за то, что они спасли некогда

жизнь верным дворянам, которые были в руках у злодея Илейки: черта достохвальная в самой неумолимой мести!

Обрадованный столь важным успехом и геройством воевод своих еще более, нежели числом врагов истребленных, Василий изъявил Голицыну и Лыкову живейшую благодарность; двинулся к Алексину, выгнал оттуда мятежников, шел к Туле. Еще злодеи хотели отведать счастия и в семи верстах от города, на речке Воронее, сразились с полком князя Скопина-Шуйского: стояли в месте крепком, в лесу, между топями, и долго противились; наконец москвитяне зашли им в тыл, смешали их и вогнали в город; некоторые вломились за ними даже в улицы, но там пали: ибо воеводы без царского указа не дерзнули на общий приступ; а царь жалел людей или опасался неудачи, зная, что в Туле было еще не менее двадцати тысяч злодеев отчаянных: россияне умели оборонять крепости, не умея брать их. Обложили Тулу. Князь Андрей Голицын занял дорогу Каширскую: Мстиславский, Скопин и другие воеводы Кропивинскую; тяжелый снаряд огнестрельный расставили за турами близ реки Упы; далее, в трех верстах от города, шатры царские. Началась осада (30 июня), медленная и кровопролитная, подобно калужской: тот же Болотников и с тою же смелостию бился в вылазках; презирая смерть, казался и невредимым и неутомимым: три, четыре раза в день нападал на осаждающих, которые одерживали верх единственно превосходством силы и не могли хвалиться действием своих тяжелых стенобитных орудий, стреляя только издали и не метко. Воеводы московские взяли Дедилов, Кропивну, Епифань и не пускали никого ни в Тулу, ни из Тулы: Василий хотел одолеть ее жестокое сопротивление голодом, чтобы в одном гнезде захватить всех главных злодеев и тем прекратить бедственную войну междоусобную. «Но Россия, — говорит летописец, — утопала в пучине крамол, и волны стремились за волнами: рушились одне, поднимались другие».

Замышляя измену, Шаховской надеялся, вероятно, одною сказкою о царе изгнаннике низвергнуть Василия и дать России иного венценосца, нового ли бродягу, или кого-нибудь из вельмож, знаменитых родом, если, невзирая на свою дерзость, не смел мечтать о короне для самого себя; но, обманутый надеждою, уже стоял на краю бездны. Ежедневно уменьшались силы, запасы и ревность стесненных в Туле мятежников, которые спрашивали: «где же тот, за кого умираем? Где Димитрий?» Шаховской и Болотников клялися им: первый, что царь в Литве; вто-

рой, что он видел его там собственными глазами. Оба писали в Галицию, к ближним и друзьям Мнишковым, требуя от них какого-нибудь Димитрия или войска, предлагая даже Россию ляхам, такими словами: «От границы до Москвы все наше: придите и возьмите; только избавьте нас от Шуйского». С письмами и наказом послали в Литву атамана козаков днепровских, Ивана Мартынова Заруцкого, смелого и лукавого: умев ночью пройти сквозь стан московский, он не хотел ехать далее Стародуба, жил в сем городе безопасно и питал в гражданах ненависть к Василию. Послали другого вестника, который достиг Сендомира, не нашел там никакого Димитрия, но заставил ближних Мнишковых искать его: искали и нашли бродягу, жителя Украины, сына поповского, Матвея Веревкина, как уверяют летописцы, или жида, как сказано в современных бумагах государственных. Сей самозванец и видом и свойствами отличался от расстриги: был груб, свиреп, корыстолюбив до низости: только, подобно Отрепьеву, имел дерзость в сердце и некоторую хитрость в уме; владел искусно двумя языками, русским и польским; знал твердо Св. Писание и Круг Церковный; разумел, если верить одному чужеземному историку, и язык еврейский, читал тальмуд, книги раввинов, среди самых опасностей воинских; хвалился мудростию и предвидением будущего. Пан Меховецкий, друг первого обманщика, сделался руководителем и наставником второго; впечатлел ему в память все обстоятельства и случаи Лжедимитриевой истории, — открыл много и тайного, чтобы изумлять тем любопытных; взял на себя чин его гетмана; пригласил сподвижников, как некогда воевода Сендомирский, чтобы возвратить державному изгнаннику царство; находил менее легковерных, но столько же, или еще более, ревнителей славы или корысти. «Не спрашивали, — говорит историк польский, — истинный ли Димитрий или обманщик зовет воителей? Довольно было того, что Шуйский сидел на престоле, обагренном кровию ляхов. Война Ливонская кончилась: юношество, скучая праздностию, кипело любовию к ратной деятельности; не ждало указа королевского и решения чинов государственных: хотело и могло действовать самовольно», но, конечно, с тайного одобрения Сигизмундова и панов думных. Богатые давали деньги бедным на предприятие, коего целью было расхищение целой державы. Выставили знамена, образовалось войско; и весть за вестию приходила к жителям северским, что скоро будет у них Димитрий.

Наконец, 1 августа, явились в Стародубе два человека: один именовал себя дворянином Андреем Нагим, другой Алексеем Рукиным, московским подьячим; они сказали народу, что Димитрий недалеко с войском и велел им ехать вперед, узнать расположение граждан: любят ли они своего царя законного? Хотят ли служить ему усердно? Народ единодушно воскликнул: «где он? где отец наш? идем к нему все головами». Он здесь, ответствовал Рукин, и замолчал, как бы устрашаясь своей нескромности. Тщетно граждане убеждали его изъясниться; вышли из терпения, схватили и хотели пытать безмолвного упрямца: тогда Рукин объявил им, что мнимый Андрей Нагой есть Димитрий. Никто не усомнился: все кинулись лобызать ноги пришельца; вопили: «Хвала Богу! нашлося сокровище наших душ!» Ударили в колокола, пели молебны, честили Самозванца, коего прислал Меховецкий, готовясь идти вслед за ним с войском: прислал с одним клевретом безоружного, беззащитного, по тайному уговору, как вероятно, с главными стародубскими изменниками, желая доказать ляхам, что они могут надеяться на россиян в войне за Димитрия. Путивль, Чернигов, Новгород Северский, едва услышав о прибытии Лжедимитрия, и еще не видя знамен польских, спешили изъявить ему свое усердие, и дать воинов. Заблуждение уже не извиняло злодейства: многие из северян знали первого Самозванца и следственно знали обман, видя второго, человека им неизвестного; но славили его как царя истинного, от ненависти к Шуйскому, от буйности и любви к мятежу. Так атаман Заруцкий, быв наперсником расстригиным, упал к ногам стародубского обманщика, уверяя, что будет служить ему с прежнею ревностию, и бесстыдно исчисляя опасности и битвы, в коих они будто бы вместе храбровали. Но были и легковерные, с горячим сердцем и воображением, слабые умом, твердые душою. Таким оказал себя один стародубец, сын боярский: взял и вручил царю, в стане под Тулою, письмо от городов северских, в котором мятежники советовали Шуйскому уступить престол Димитрию и грозили казнию в случае упорства: сей посол дерзнул сказать в глаза Василию то же, называя его не царем, а злым изменником; терпел пытку, хваляся верностию к Димитрию, и был сожжен в пепел, не изъявив ни чувствительности к мукам, ни сожаления о жизни, в исступлении ревности удивительной.

Василий, узнав о сем явлении Самозванца, о сем новом движении и скопище мятежников в южной России, отрядил воевод, князей Литвинова-Мосальского и Третьяка Сеитова, к ее пределам:

первый стал у Козельска; второй занял Лихвин, Белев и Волхов. Скоро услышали, что Меховецкий уже в Стародубе с сильными литовскими дружинами; что Заруцкий призвал несколько тысяч козаков и соединил их с толпами северскими; что Лжедимитрий, выступив в поле, идет к Туле. Воеводы царские не могли спасти Брянска и велели зажечь его, когда жители вышли с хлебом и солью навстречу к мнимому Димитрию... В сие время один из польских друзей его, Николай Харлеский, исполненный к нему усердия и надежды завоевать Россию, писал к своим ближним в Литву следующее письмо любопытное: «Царь Димитрий и все наши благородные витязи здравствуют. Мы взяли Брянск, соженный людьми Шуйского, которые вывезли оттуда все сокровища, и бежали так скоро, что их нельзя было настигнуть. Димитрий теперь в Карачеве, ожидая знатнейшего вспоможения из Литвы. С ним наших 5000, но многие вооружены худо... Зовите к нам всех храбрых; прельщайте их и славою и жалованьем царским. У вас носится слух, что сей Димитрий есть обманщик: не верьте. Я сам сомневался и хотел видеть его; увидел, и не сомневаюсь. Он набожен, трезв, умен, чувствителен; любит военное искусство; любит наших; милостив и к изменникам: дает пленным волю служить ему или снова Шуйскому. Но есть злодеи: опасаясь их, Димитрий никогда не спит на своем царском ложе, где только для вида велит быть страже: положив там кого-нибудь из русских, сам уходит ночью к гетману или ко мне и возвращается домой на рассвете. Часто бывает тайно между воинами, желая слышать их речи, и все знает. Зная даже и будущее, говорит, что ему властвовать не долее трех лет; что лишится престола изменою, но опять воцарится и распространит государство. Без прибытия новых, сильнейших дружин польских, он не думает спешить к Москве, если возьмет и самого Шуйского, который в ужасе, в смятении снял осаду Тулы; все бегут от него к Димитрию»... Но Самозванец, оставив за собою Волхов, Белев, Козельск, и разбив князя Литвинова-Мосальского близ Мещовска, на пути к Туле сведал, что в ней славится уже не Димитриево, а Василиево имя.

Еще мятежники оборонялись там усильно до конца лета, хотя и терпели недостаток в съестных припасах, в хлебе и соли. Счастливая мысль одного воина, дала царю способ взять сей город без кровопролития. Муромец, сын боярский, именем Сумин Кровков, предложил Василию затопить Тулу, изъяснил возможность успеха и ручался в том жизнию. Приступили к делу; собра-

ли мельников; велели ратникам носить землю в мешках на берег Упы, ниже города, и запрудили реку деревянною плотиною: вода поднялася, вышла из берегов, влилась в острог, в улицы и дворы, так что осажденные ездили из дому в дом на лодках; только высокие места остались сухи и казались грядами островов. Битвы, вылазки пресеклись. Ужас потопа и голода смирил мятежников: они ежедневно целыми толпами приходили в стан к царю, винились, требовали милосердия и находили его, все без исключения. Главные злодеи еще несколько времени упорствовали: наконец и Телятевский, Шаховской, сам непреклонный Болотников, известили Василия, что готовы предать ему Тулу и самозванца Петра, если царским словом удостоверены будут в помиловании, или, в противном случае, умрут с оружием в руках, и скорее *съедят друг друга* от голода, нежели сдадутся. Уже зная, что новый Лжедимитрий недалеко, Василий обещал милость,— и 10 октября боярин Колычев, вступив в Тулу с воинами московскими, взял подлейшего из злодеев, Илейку. Болотников явился с головы до ног вооруженный, пред шатрами царскими, сошел с коня, обнажил саблю, положил ее себе на шею, пал ниц и сказал Василию: «Я исполнил обет свой: служил верно тому, кто называл себя Димитрием в Сендомире: обманщик или царь истинный, не знаю; но он выдал меня. Теперь я в твоей власти: вот сабля, если хочешь головы моей; когда же оставишь мне жизнь, то умру в твоей службе, усерднейшим из рабов верных». Он угадывал, кажется, свою долю. Миловать таких злодеев есть преступление; но Василий обещал, и не хотел явно нарушить слова: Болотникова, Шаховского и других начальников мятежа отправили, вслед за скованным Илейкою, в Москву с приставами; а князя Телятевского, знатнейшего и тем виновнейшего изменника, из уважения к его именитым родственникам, не лишили ни свободы, ни боярства, к посрамлению сего вельможного достоинства и к соблазну государственному: слабость бесстыдная, вреднейшая жестокости!

Но общая радость все прикрывала. Взятие Тулы праздновали как завоевание Казанского царства или Смоленского княжества; и желая, чтобы сия радость была еще искреннее для войска утомленного, царь дал ему отдых: уволили дворян и детей боярских в их поместья, сведав, что Лжедимитрий, испуганный судьбою Лжепетра, ушел назад к Трубчевску. Вопреки опыту презирая нового злодея России, Василий не спешил истребить его; послал только легкие дружины к Брянску, а конницу черемисскую и та-

тарскую в Северскую землю для грабежа и казни виновных ее жителей; не хотел ждать, чтобы сдалася Калуга, где еще держались клевреты Болотникова с атаманом Скотницким: велел осаждать ее малочисленной рати и возвратился в столицу. Москва встретила его как победителя. Он въезжал с необыкновенною пышностию, с двумя тысячами нарядных всадников, в богатой колеснице, на прекрасных белых конях; умиленно слушал речь патриарха, видел знаки народного усердия и казался счастливым! Три дни славили в храмах милость Божию к России; пять дней молился Василий в лавре Св. Сергия, и заключил церковное торжество действием государственного правосудия: злодея Илейку повесили на серпуховской дороге, близ Данилова монастыря. Болотникова, атамана Федора Нагибу и строптивейших мятежников отвезли в Каргополь и тайно утопили. Шаховского сослали в каменную пустыню Кубенского озера, а вероломных немцев, взятых в Туле, числом 52, и с ними медика Фидлера, в Сибирь. Всех других пленников оставили без наказания и свободными. Калуга, Козельск еще противились; вся южная Россия, от Десны до устья Волги, за исключением немногих городов, признавали царем своим мнимого Димитрия: сей злодей, отступив, ждал времени и новых сил, чтобы идти вперед, — а Москва, утомленная тревогами, наслаждалась тишиною, после ужасной грозы и пред ужаснейшею! Испытав ум, твердость царя и собственное мужество, верные россияне думали, что главное сделано; хотели временного успокоения и надеялись легко довершить остальное.

Так думал и сам Василий. Быв дотоле в непрестанных заботах и в беспокойстве, мыслив единственно о спасении царства и себя от гибели, он вспомнил наконец о своем счастии и невесте: жестокою политикою лишенный удовольствия быть супругом и отцом в летах цветущих, спешил вкусить его хотя в летах преклонных, и женился на Марии, дочери боярина князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского. Верить ли сказанию одного летописца, что сей брак имел следствия бедственные: что Василий, алчный к наслаждениям любви, столь долго ему неизвестным, предался неге, роскоши, ленности: начал слабеть в государственной и в ратной деятельности, среди опасностей засыпать духом, и своим небрежением охладил ревность лучших советников Думы, воевод и воинов, в царстве самодержавном, где все живет и движется царем, с ним бодрствует или дремлет? Но согласно ли такое очарование любви с природными свойствами человека, который в недосугах заговора

и властвования смутного целые два года забывал милую ему невесту? И какое очарование могло устоять противу таких бедствий?

По крайней мере до сего времени Василий бодрствовал не только в усилиях истребить мятежников, но с удивительным хладнокровием, едва избавив от них Москву, занимался и земскими или государственными уставами и способами народного образования, как бы среди глубокого мира. В марте 1607 года, имев торжественное рассуждение с патриархом, духовенством и синклитом, он издал соборную грамоту о беглых крестьянах, велел их возвратить тем владельцам, за коими они были записаны в книгах с 1593 года: то есть подтвердил уложение Феодора Иоанновича, но сказав, что оно есть дело Годунова, неодобренное боярами старейшими, и произвело в начале много зла, неизвестного в Иоанново время, когда земледельцы могли свободно переходить из селения в селение. Далее уставлено в сей грамоте, что принимающий чужих крестьян должен платить в казну 10 рублей пени с человека, а господам их три рубля за каждое лето; что подговорщик, сверх денежной пени, наказывается кнутом, что муж беглой девки или вдовы делается рабом ее господина; что если господин не женит раба до двадцати лет, а рабы не выдаст замуж до осьмнадцати, то обязан дать им волю и не имеет права жаловаться в суде на их бегство, даже и в случае кражи или сноса: закон благонамеренный, полезный не только для размножения людей, но и для чистоты нравственной!

Тогда же Василий велел перевести с немецкого и латинского языка *Устав дел ратных*, желая, как сказано в начале оного, чтобы «россияне знали все новые хитрости воинские, коими хвалятся Италия, Франция, Испания, Австрия, Голландия, Англия, Литва, и могли не только силе силою, но и смыслу смыслом противиться с успехом, в такое время, когда ум человеческий всего более вперен в науку необходимую для благосостояния и славы государств: в науку побеждать врагов и хранить целость земли своей». Ничто не забыто в сей любопытной книге: даны правила для образования и разделения войска, для строя, похода, станов, обоза, движений пехоты и конницы, стрельбы пушечной и ружейной, осады и приступов, с ясностию и точностию. Не забыты и нравственные средства. Пред всякою битвою надлежало воеводе ободрять воинов *лицом веселым*, напоминать им отечество и присягу; говорить: «я буду впереди... лучше умереть с честию, нежели жить бесчестно», и с сим вручать себя Богу.

Угождая народу своею любовию к старым обычаям русским, Василий не хотел однако ж, в угодность ему, гнать иноземцев: не оказывал к ним пристрастия, коим упрекали расстригу и даже Годунова, но не давал их в обиду мятежной черни; выслал ревностных телохранителей Лжедимитриевых и четырех медиков германских за тесную связь с поляками,— оставив лучшего из них, лекаря Вазмера, при себе: но старался милостию удержать всех честных немцев в Москве и в царской службе, как воинов, так и людей ученых, художников, ремесленников, любя гражданское образование и зная, что они нужны для успехов его в России; одним словом, имел желание, не имел только времени сделаться просветителем отечества... и в какой век! в каких обстоятельствах ужасных!

Глава II
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ
1607—1609 гг.

Бегство воевод от Калуги. Самозванец усиливается. Дело знаменитое. Грамота Лжедимитриева. Предложение шведов. Победа Лисовского. Победа Самозванца. Ужас в Москве. Измена воевод. Самозванец в Тушине. Перемирие с Литвою. Коварство ляхов. Победа Сапеги. Марина и Мнишек у Самозванца. Скопин послан к шведам. Бегство к Самозванцу. Разврат в Москве. Знаменитая осада лавры. Измена городов. Ужасное состояние России. Тушино. Договор Самозванца с Мнишком. Польша объявляет войну России. Крайность России и перемена к лучшему.

В то время, когда Москва праздновала Василиево бракосочетание, война междоусобная уже снова пылала.

Калуга упорствовала в бунте. От имени царя ездил к ее жителям и людям воинским прощенный изменник атаман Беззубцев с убеждением смириться. Они сказали: «Не знаем царя, кроме Димитрия: ждем и скоро его увидим!» Вероятно, что явление второго Лжедимитрия было им уже известно. Василий, жалея утомлять войско трудами зимней осады, предложил, весьма неосторожно, четырем тысячам донских мятежников, которые в битве под

Москвою ему сдалися, загладить вину свою взятием Калуги: донцы изъявили не только согласие, но и живейшую ревность; клялись оказать чудеса храбрости; прибыли в калужский стан к государевым воеводам и чрез несколько дней взбунтовались так, что устрашенные воеводы бежали от них в Москву. Часть мятежников вступила в Калугу; другие ушли к Самозванцу.

Сей наглый обманщик недолго был в бездействии. Дружины за дружинами приходили к нему из Литвы, конные и пехотные, с вождями знатными: в числе их находились мозырский хорунжий Иосиф Будзило, паны Тишкевичи и Лисовский, беглец, за какое-то преступление осужденный на казнь в своем отечестве: смелостью и мужеством витязь, ремеслом грабитель. Узнав, что Василий распустил главное войско, Лжедимитрий, по совету Лисовского, немедленно выступил из Трубчевска с семью тысячами ляхов, осмью тысячами козаков и немалым числом россиян. Воеводы царские, князь Михайло Кашин и Ржевский, укрепились в Брянске; Самозванец осадил его, но не мог взять, от храбрости защитников, которые терпели голод, ели лошадей и, не имея воды, доставали ее своею кровью, ежедневными вылазками и битвами. Рать Лжедимитриева усилилась шайками новых донских выходцев: они представили ему какого-то неизвестного бродягу, мнимого царевича Феодора, будто бы второго сына Ирины; но Лжедимитрий не хотел признать его племянником и велел умертвить. Осада длилась, и Василий успел принять меры: боярин князь Иван Семенович Куракин из столицы, а князь Литвинов из Мещовска шли спасти Брянск. Литвинов первый с дружинами московскими достиг берегов Десны, видел сей город и стан Лжедимитриев на другой стороне ее, но не мог перейти туда, ибо река покрывалась льдом: осажденные также видели его; кричали своим московским братьям: «спасите нас! не имеем куска хлеба!» и со слезами простирали к ним руки. Сей день (15 декабря 1607) остался памятным в нашей истории: Литвинов кинулся в реку на коне; за Литвиновым все, восклицая: «лучше умереть, нежели выдать своих: с нами Бог!» плыли, разгребая лед, под выстрелами неприятеля, изумленного такою смелостию, вышли на берег и сразились. Кашин и Ржевский сделали вылазку. Неприятель между двумя огнями не устоял, смешался, отступил. Уже победа совершилась, когда приспел Куракин, дивиться мужеству добрых россиян и славить Бога русского; но сам, как главный воевода, не отличился: только запас город всем нужным для осады; укрепился на левом берегу

Десны и дал время неприятелю образумиться. Река стала. Лжедимитрий соединил полки свои и напал на Куракина. Бились мужественно, несколько раз, без решительного следствия, и войско царское, оставив Брянск, заняло Карачев. Не имея надежды взять ни того, ни другого города, Самозванец двинулся вперед, мирно вступил в Орел и написал оттуда следующую грамоту к своему мнимому тестю, воеводе Сендомирскому: «Мы, Димитрий Иоаннович, Божиею милостию царь всея России, великий князь московский, дмитровский, углицкий, городецкий... и других многих земель и татарских Орд, московскому царству подвластных, государь и наследник... Любезному отцу нашему! Судьбы Всевышняго непостижимы для ума человеческого. Все, что бывает в мире, искони предопределено Небом, коего страшный суд совершился и надо мною: за грехи ли наших предков или за мои собственные, изгнанный из отечества и, скитаясь в землях чуждых, сколько терпел я бедствий и печали! Но Бог же милосердый, не помянув моих беззаконий, и спас меня от изменников, возвращает мне царство, карает наших злодеев, преклоняет к нам сердца людей, россиян и чужеземцев, так что надеемся скоро освободить вас и всех друзей наших, к неописанной радости вашего сына. Богу единому слава! Да будет также вам известно, что его величество, король Сигизмунд, наш приятель, и вся Речь Посполитая усердно содействуют мне в отыскании наследственной державы». Сия грамота, вероятно, не дошла до Мнишка, заключенного в Ярославле, но была конечно и писана не для него, а единственно для тех, которые еще могли верить обману.

Самозванец зимовал в Орле спокойно, умножая число подданных обольщением и силою; следуя правилу Шаховского и Болотникова, возмущал крестьян: объявлял независимость и свободу тем, коих господа служили царю; жаловал холопей в чины, давал поместья своим усердным слугам, иноземцам и русским. Там прибыли к нему знатные князья Рожинский и Адам Вишневецкий с двумя или тремя тысячами всадников. Первый, властолюбивый, надменный и необузданный, в жаркой распре собственною рукою умертвил Меховецкого, друга, наставника Лжедимитриева, и заступил место убитого: сделался гетманом бродяги, презираемого им и всеми умными ляхами.

Но Василий уже не мог презирать сего злодея: еще не думая оставить юной супруги и столицы, он вверил рать любимому своему брату, Дмитрию Шуйскому, князьям Василию Голицыну, Лы-

кову, Волконскому, Нагому; велел присоединиться к ним Куракину, коннице татарской и мордовской, посланной еще из Тулы на Северную землю, и если не был, то по крайней мере казался удостоверенным, что власть законная, не взирая на смятение умов в России, одолеет крамолу. В сие время чиновник шведский, Петрей, находясь в Москве, остерегал Василия, доказывая, что явление Лжедимитриев есть дело Сигизмунда и папы, желающих овладеть Россиею, предлагал нам, от имени Карла IX, союз и значительное вспоможение; но Василий — так же, как и Годунов — сказал, что ему нужен только один помощник, Бог, а других не надобно. К несчастию, он должен был скоро переменить мысли.

Главный воевода, Дмитрий Шуйский, отличался единственно величавостию и спесию; не был ни любим, ни уважаем войском; не имел ни духа ратного, ни прозорливости в советах и в выборе людей; имел зависть к достоинствам блестящим и слабость к ласкателям коварным: для того, вероятно, не взял юного, счастливого витязя, Скопина-Шуйского и для того взял князя Василия Голицына, знаменитого изменами. Рать московская остановилась в Болхове; не действовала, за тогдашними глубокими снегами, до самой весны и дала неприятелю усилиться. Шуйский и сподвижники его, утружденные зимним походом, с семидесятью тысячами воинов отдыхали; а толпы Лжедимитриевы, не боясь ни морозов, ни снегов, везде рассыпались, брали города, жгли села и приближались к Москве. Начальники Рязани, князь Хованский и думный дворянин Ляпунов, хотели выгнать мятежников из Пронска, овладели его внешними укреплениями и вломились в город; но Ляпунова тяжело ранили: Хованский отступил — и чрез несколько дней, под стенами Зарайска, был наголову разбит паном Лисовским, который оставил там памятник своей победы, видимый и доныне: высокий курган, насыпанный над могилою убитых в сем деле россиян. Царю надлежало защитить Москву новым войском. Писали к Дмитрию Шуйскому, чтобы он не медлил, шел и действовал: Шуйский наконец выступил (13 апреля) и верстах в десяти от Болхова уже встретил Самозванца.

Первый вступил в дело князь Василий Голицын и первый бежал; главное войско также дрогнуло: но запасное, под начальством Куракина, смелым ударом остановило стремление неприятеля. Бились долго и разошлись без победы. С честию пали многие воины, московские и немецкие, коих главный сановник Ламсдорф, тайно обещал Лжедимитрию передаться к нему со всею дружиною, но

пьяный забыл о сем уговоре и не мешал ей отличиться мужеством в битве. В следующий день возобновилось кровопролитие, и Шуйский, излишно осторожный или робкий, велев преждевременно спасать тяжелые пушки и везти назад к Болхову, дал мысль войску о худом конце сражения: чем воспользовался Лжедимитрий, извещенный переметчиком (боярским сыном Лихаревым), и сильным нападением смял ряды москвитян; все бежали, еще кроме немцев: капитан Ламсдорф, уже не пьяный, предложил им братски соединиться с ляхами; но многие, сказав: «наши жены и дети в Москве», ускакали вслед за россиянами. Остались 200 человек при знаменах с Ламсдорфом, ждали чести от Лжедимитрия — и были изрублены козаками: гетман Рожинский велел умертвить их как обманщиков, за кровь ляхов, убитых ими накануне. Сия измена немцев утаилась от Василия: он наградил их вдов и сирот, думая, что Ламсдорф с добрыми сподвижниками лег за него в жаркой сече.

Царские воеводы и воины бежали к Москве; некоторые с князем Третьяком Сеитовым засели в Болхове; другие ушли в домы. Болхов, где находилось 5000 людей ратных, сдался Лжедимитрию: все они присягнули ему в верности, выступили с ним к Калуге, но шли особенно, под начальством князя Сеитова. Москва была в ужасе. Беглецы, оправдывая себя, в рассказах своих умножали силы Самозванца, число ляхов, козаков и российских изменников; даже уверяли, что сей второй Лжедимитрий есть один человек с первым; что они узнали его в битве по храбрости еще более, нежели по лицу. Чернь начинала уже винить бояр в несчастной измене Самозванцу ожившему и думала, в случае крайности, выдать их ему головами; некоторые только страшились, чтобы он, как волшебник, не увидел на них крови истерзанных ими ляхов или своей собственной! Но в то же время достойные россияне, многие дворяне и дети боярские, оставив семейства, из ближних городов спешили в столицу защитить царя в опасности. Явились и мнимые изменники болховские, князь Третьяк Сеитов с пятью тысячами воинов: удостоверенные, что Самозванец есть подлый злодей, они ушли от него с берегов Оки в Москву, извиняясь минутным страхом и неволею. Василий составил новое войско, и дал начальство — к несчастию, поздно — знаменитому Ивану Романову. Сие войско стало на берегах Незнани, между Москвою и Калугою, ждало неприятеля и готовилось к битве, — но едва не было жертвою гнусного заговора. Главные сподвижники Скопина и Романова, чистых сердцем пред людьми и Богом, не имели их души благородной: воеводы, князья Иван

Катырев, Юрий Трубецкой, Троекуров, думая, что пришла гибель Шуйских, как некогда Годуновых, и что лучше ускорением ее снискать милость бродяги, как сделал Басманов, нежели гибнуть вместе с царем злосчастным, начали тайно склонять дворян и детей боярских к измене. Умысел открылся: Василий приказал их схватить, везти в Москву, пытать — и, несомненно уличенных, осудил единственно на ссылку, из уважения к древним родам княжеским: Катырева удалили в Сибирь, Трубецкого в Тотьму, Троекурова в Нижний; но менее знатных и менее виновных преступников, участников злодейского кова, казнили: Желябовского и Невтева. Встревоженный сим происшествием и вестию, что Самозванец обходит стан воевод царских и приближается к Москве другим путем, государь велел им также идти к столице, для ее защиты.

1 июня Лжедимитрий с своими ляхами и россиянами стал в двенадцати верстах оттуда, на дороге Волоколамской, в селе Тушине, думая одним своим явлением взволновать Москву и свергнуть Василия; писал грамоты к ее жителям и тщетно ждал ответа. Войско, верное царю, заслоняло с сей стороны город. Были кровопролитные сшибки, но ничего не решили. Уверяют, что князь Рожинский хотел взять Москву немедленным приступом, но что Лжедимитрий сказал ему: *Если разорите мою столицу, то где же мне царствовать? если сожжете мою казну, то чем же будет мне наградить вас*? «Сия жалость к Москве погубила его, — пишет историк чужеземный, который доброхотствовал злодею более, нежели России: — Самозванец щадил столицу, но не щадил государства, преданного им в жертву ляхам и разбойникам. На пепле Москвы скоро явилась бы новая; она уцелела, а вся Россия сделалась пепелищем». Но Самозванец, имея тысяч пятнадцать ляхов и козаков, пятьдесят или шестьдесят тысяч российских изменников, большею частию худо вооруженных, действительно ли имел способ взять Москву, обширную твердыню, где, кроме жителей, находилось не менее осьмидесяти тысяч исправных воинов под защитою крепких стен и бесчисленного множества пушек? Лжедимитрий надеялся более на измену, нежели на силу; хотел отрезать Москву от городов северных и перенес стан в село Тайнинское, но был сам отрезан: войско московское заняло Калужскую дорогу и пресекло его сообщение с Украйною, откуда шли к нему новые дружины литовские и везли запасы: дружины были рассеяны, запасы взяты, и Лжедимитрий стеснен на малом пространстве. Усильным боем очистив себе путь, он

19 Зак. № 40

возвратился в Тушино, избрал место выгодное, между реками Москвою и Всходнею, подле Волоколамской дороги, и спешил там укрепиться валом с глубокими рвами (коих следы видим и ныне). Воеводы царские, князь Скопин-Шуйский, Романов и другие, стали между Тушиным и Москвою, на Ходынке; за ними и сам государь, на Пресне или Ваганкове, со всем двором и полками отборными: выезжая из столицы, он видел усердие и любовь народа, слышал его искренние обеты верности и требовал от него тишины, великодушного спокойствия. Столица действительно казалась спокойною, извне оберегаемая царем, внутри особенным *засадным* войском, коим предводительствовали бояре, и которое, храня все укрепления от Кремля до слобод, в случае нападения могло одно спасти город. Воспоминали нашествие, угрозы и гибель Болотникова; надеялись, что будет то же и Самозванцу, а царю новая слава, и ежечасно ждали битвы. Но царь, готовый обороняться, не думал наступать и дал время неприятелю укрепиться в тушинском стане: Василий занимался переговорами.

Уже несколько месяцев находились в Москве чиновники Сигизмундовы, Витовский и князь Друцкий-Соколинский, присланные королем поздравить Василия с воцарением и требовать свободы всех знатных ляхов. Бояре предложили им возобновить мирный договор Годунова времени, нарушенный Сигизмундом столь бессовестно; но чиновники королевские объявили, что им должно видеться для того с литовскими послами, заключенными в Москве, и что без них они не могут ничего сделать. Бояре согласились. Жив 18 месяцев в страхе и в скуке, тщетно хотев бежать и даже силою вырваться из неволи, Олесницкий и Госевский снова явились в Кремлевском дворце, как послы, с верющею грамотою королевскою; говорили, спорили, расходились с неудовольствием, чтобы опять сойтися. Мы желали мира: ляхи желали только освободить единоземцев своих из рук наших. Исполняя их требование, царь велел привезти в Москву воеводу Сендомирского и дозволил ему беседовать с ними тайно, наедине, без сомнения не в миролюбивом к нам расположении... Но Самозванец был уже под Москвою! Имея одну цель: отнять у него союзников-ляхов, Василий дозволил князю Рожинскому наведываться, словесно или письменно, о здоровье послов Сигизмундовых: для чего сановники литовские ездили из тушинского стана в Москву свободно и безопасно. Наконец, 25 июля, послы заключили с боярами следующий договор: «1) В течение трех лет и одиннадца-

ти месяцев не быть войне между Россиею и Литвою. 2) В сие время условиться о вечном мире или двадцатилетнем перемирии. 3) Обоим государствам владеть, чем владеют. 4) Царю не помогать врагам королевским, королю врагам царя ни людьми, ни деньгами. 5) Воеводу Сендомирского с дочерью и всех ляхо̀в освободить и дать им нужное для путешествия до границы. 6) Князьям Рожинскому, Вишневецкому и другим ляхам, без ведома королевского вступившим в службу к злодею, второму Лжедимитрию, немедленно оставить его и впредь не приставать к бродягам, которые вздумают именовать себя царевичами российскими. 7) Воеводе Сендомирскому не называть сего нового обманщика своим зятем и не выдавать за него дочери. 8) Марине не именоваться и не писаться московскою царицею». Договор утвердили с обеих сторон клятвою; но не Василий, а Сигизмунд достиг цели. Коварство ляхов открылось еще во время переговоров.

Чиновники, посланные от князя Рожинского из Тушина в Москву, действовали как лазутчики, высматривая укрепления города и стана ходынского. Царь был неосторожен: воеводы еще неосторожнее. Сперва они бодрствовали неутомимо, днем и ночью, в доспехах и на конях; вдали легкие отряды, вокруг неусыпная стража. Но тишина, бездействие и слух о мире с ляхами уменьшили опасение: россияне уже не береглися; а гетман Лжедимитриев, ночью, с ляхами и козаками внезапно ударил на стан ходынский: захватил обоз и пушки, резал сонных или безоружных и гнал изумленных ужасом беглецов почти до самой Пресни, где их встретило войско, высланное царем с людьми ближними, стольниками, стряпчими и жильцами. Тут началася кровопролитная битва, и неприятель должен был отступить; его теснили и гнали до Ходынки.

Василий мог справедливо жаловаться, что ляхи, заключая мир, воюют и нападают врасплох: он скоро увидел их совершенное вероломство. Исполняя договор, Василий вместе с послами немедленно отпустил в Литву воеводу Сендомирского, Марину и всех их знатных единоземцев из Москвы и других мест, где они содержались; дал им для хранения воинскую дружину под начальством князя Владимира Долгорукого и надеялся, что Рожинский, Вишневецкий и другие паны, извещенные об условиях мира, оставят Лжедимитрия: но никто из них не думал оставить его! Они дали время послам и Мнишку удалиться и снова начали воевать, не внимая убеждениям наших бояр, которые писали к ним, что об-

ман столь гнусный достоин не витязей державы христианской, а подлых слуг злодея подлого; что если Рожинский имеет хотя искру чести в душе, то обязан выдать Самозванца для казни и немедленно выйти из России. Число ляхов грабителей еще умножилось семью тысячами всадников, приведенных в Тушино усвятским старостою Яном Петром Сапегою. Сей рыцарь знатный, воинскими способностями превосходя всех иных сподвижников бродяги, превосходил их и в бесстыдстве: знал, кто он; смеялся над ним и над россиянами; говорил: «мы жалуем в цари московские, кого хотим»; жег, грабил и хвалился *римским* геройством! Сапега хотел битвою решить судьбу Москвы и тревожил нападениями стан ходынский: Рожинский, управляя Самозванцем, медлил, ожидая скорой измены в столице: ибо там уже действовали злодеи, ненавистники Василиевы; сносились еще с послами литовскими, сносились и с гетманом Лжедимитриевым, давали им советы, готовили предательство. Нетерпеливый и гордый Сапега отделился от гетмана; желал начальствовать независимо, завоевать внутренние области России и с пятнадцатью тысячами двинулся к лавре Сергиевой, чтобы разграбить ее богатство. С другой стороны, пан Лисовский, именем Димитрия присоединив к своим шайкам 30 000 изменников тульских и рязанских, взял Коломну, пленил тамошнего воеводу Долгорукого, епископа Иосифа, детей боярских и шел к Москве. Царь выслал против него князей Куракина и Лыкова, которые на берегах Москвы-реки, на Медвежьем броду, сражались целый день, разбили неприятеля, освободили коломенских пленников — и Лисовский, хотев явиться в Тушине победителем, явился там беглецом с немногими всадниками. Царские воеводы Иван Бутурлин и Глебов снова заняли Коломну.

Сей успех был предтечею бедствия. Князья Иван Шуйский и Григорий Ромодановский, посланные с войском вслед за Сапегою, настигли его между селом Здвиженским и Рахманцовым: отразили два нападения и взяли пушки. Казалось, что они победили; но Сапега, раненный пулею в лицо, не выпускал меча из рук и, сказав своим: «отечество далеко; спасение и честь впереди, а за спиною стыд и гибель», третьим отчаянным ударом смешал москвитян. Винили воеводу Федора Головина, который первый дрогнул и бежал; хвалили Ромодановского, который не думал о сыне, подле него убитом, и сражался мужественно: другие следовали примеру Головина, а не Ромодановского, и, быв числом вдвое сильнее неприятеля, рассыпались, как стадо овец. Сапега гнал их 15 верст, взял

20 знамен и множество пленников. Воеводы с главными чиновниками бежали по крайней мере к царю, но воины в домы свои, крича: «идем защитить наших жен и детей от неприятеля!»

Другое важное происшествие имело для Москвы и России еще вреднейшее следствие. Послы литовские и Мнишек, выезжая из столицы, уже знали, чему надлежало случиться, быв в тайном сношении с Лжедимитриевыми советниками, как мы сказали. Василий дал на себя оружие злодеям, дав свободу Марине. Он верил договору и клятве; но мог ли благоразумно верить им в таких обстоятельствах, в таком общем забвении всех уставов чести и справедливости? Князь Долгорукий ехал с послами и с воеводою Сендомирским через Углич, Тверь, Белую к смоленской границе и был встречен сильным отрядом конницы, высланной из тушинского стана с двумя чиновными ляхами Зборовским и Стадницким, чтобы освободить Марину. Долгорукий не мог или не хотел противиться; воины его разбежались: он сам ускакал назад в Москву, а чиновники Лжедимитриевы, объявив Марине, что супруг ждет ее с нетерпением, вручили грамоту отцу ее. «Мы сердечно обрадовались,— писал к нему Самозванец,— услышав о вашем отъезде из Москвы: ибо лучше знать, что вы далее, но свободны, нежели думать, что вы близко, но в плену. Спешите к нежному сыну. Не в уничижении, как теперь, а в чести и в славе, как будет скоро, должна видеть вас Польша. Мать моя, ваша супруга, здорова и благополучна в Сендомире: ей все известно». Мнишек и Марина не колебались. Отечество, безопасность, вельможество и богатство, еще достаточное для жизни роскошной, не имели для них прелести трона и мщения; ни опасности, ни стыд не могли удержать их от нового, вероломного и еще гнуснейшего союза с злодейством. Лжедимитрий звал к себе и послов Сигизмундовых: один Николай Олесницкий возвратился; другие спешили в Литву, не хотев быть свидетелями срамного торжества Марины, которая ехала к мнимому царю своему пышно и безопасно, местами уже ему подвластными. Узнав, что она приближается, Самозванец велел палить из всех пушек; но Марина остановилась в шатрах за версту от Тушина: там было первое свидание, и не радостное, как пишут. Марина знала истину; знала верно, что убитый муж ее не воскрес из мертвых, и заблаговременно приготовилась к обману: с печалию однако ж увидела сего второго самозванца, гадкого наружностию, грубого, низкого душою — и, еще не мертвая для чувств женского сердца, содрогнулась от

мысли разделять ложе с таким человеком. Но поздно! Мнишек и честолюбие убедили Марину преодолеть слабость. Условились, чтобы духовник воеводы Сендомирского, иезуит, тайно обвенчал ее с Лжедимитрием, который дал слово жить с нею как брат с сестрою, до завоевания Москвы. Наконец, 1 сентября Марина торжественно въехала в тушинский стан и лицедействовала столь искусно, что зрители умилялись ее нежностию к супругу: радостные слезы, объятия, слова, внушенные, казалось, истинным чувством, все было употреблено для обмана и не бесполезно: многие верили ему, или по крайней мере говорили, что верят, и российские изменники писали к своим друзьям: «Димитрий есть без сомнения истинный, когда Марина признала в нем мужа». Сии письма имели действие: из разных городов, из самого войска царского приехали к злодею дворяне, люди чиновные, стольники: князья Дмитрий Трубецкой, Черкасский, Алексей Сицкий, Засекины, Михайло Бутурлин, дьяк Грамотин, Третьяков и другие, которые знали первого Лжедимитрия и следственно знали обман второго. В числе сих немаловажных изменников находился и знатнейший вельможа дворецкий Отрепьева, князь Василий Рубец-Мосальский: сосланный воеводствовать в Кексгольм, он был вызван или привезен в Москву как человек подозрительный, видел себя в опале и с дерзостию явился на новом феатре злодейства. Другие, менее бессовестные, но малодушные, не ожидая ничего, кроме бедствий для царя, разъехались от него по домам; не тронулись и были ему *до конца* верны одни украинские дворяне и дети боярские, вопреки бунтам их отчизны клятой.

Видя страшное начало измен и ежедневное уменьшение войска, Василий решился устранить гордость народную: доселе не хотев слышать о вспоможении иноземном, велел своему знаменитому племяннику, князю Михаилу Скопину-Шуйскому, ехать к неприятелю Сигизмундову, Карлу IX, заключить с ним союз и привести шведов для спасения России! Уже царь мог без вины не верить отечеству, зараженному духом предательства — и лучший из воевод, хотя и юнейший, в годину величайшей опасности с печалию удалился от рати, думая, что он возвратится, может быть, уже поздно, не спасти царя, а только умереть последним из достойных россиян!.. Тогда же царь писал к государям Западной Европы, к королю датскому, английскому и к императору, о вероломстве Сигизмундовом, требуя их вспоможения или, по крайней мере, суда беспристрастного. Но не в таких обстоятельствах

державы находят союзников ревностных: касаясь гибели, Россия могла быть только предметом любопытства или бесплодной жалости для отдаленной Европы!

Еще оказывая благородную неустрашимость, Василий искал если не геройства, то стыда в россиянах; собрал воинов и спрашивал, кто хочет стоять с ним за Москву и за царство? Говорил: «Для чего срамить себя бегством? Даю вам волю: идите, куда хотите! Пусть только верные останутся со мною!» Казалось, что воины ждали сего великодушного слова: требовали Евангелия и креста; наперерыв целовали его и клялися умереть за царя... а на другой и в следующие дни толпами бежали в Тушино... те, которые еще недавно служили верно Иоанну ужасному, изменяли царю снисходительному, передавались к бродяге и ляхам, древним неприятелям России, исполненным злобной мести и справедливого к ним презрения! Чудесное исступление страстей, изъясняемое единственно гневом Божиим! Сей народ, безмолвный в грозах самодержавия наследственного, уже играл царями, узнав, что они могут быть избираемы и низвергаемы его властию или дерзким своевольством!

С таким ли войском мог Василий отважиться на решительную битву в поле? Быв дотоле защитником Москвы, он уже искал в ней защиты для себя: вступил со всеми полками в столицу, орошенную кровию Самозванца и ляхов, туда, где страх лютой мести должен был воспламенить и малодушных для отчаянного сопротивления. Все улицы, стены, башни, земляные укрепления пополнились воинами под начальством мужей думных, которые еще с видом усердия ободряли их и народ. Но не было уже ни взаимной доверенности между государственною властию и подданными, ни ревности в душах, как бы утомленных напряжением сил в непрестанном борении с опасностями грозными. Все ослабело: благоговение к сану царскому, уважение к синклиту и духовенству. Блеск Василиевой великодушной твердости затмевался в глазах страждущей России его несчастием, которое ставили ему в вину и в обман: ибо сей властолюбец, принимая скипетр, обещал благоденствие государству. Видели ревностную мольбу Василиеву в храмах; но Бог не внимал ей — и царь злосчастный казался народу царем неблагословенным, отверженным. Духовенство славило высокую добродетель венценосца, и бояре еще изъявляли к нему усердие; но москвитяне помнили, что духовенство славило и кляло Годунова, славило и кляло Отрепьева; что бояре изъявляли усердие и к расстриге накануне его убиения. В смятении

мыслей и чувств, добрые скорбели, слабые недоумевали, злые действовали... и гнусные измены продолжались.

Столица уже не имела войска в поле: конные дружины неприятельские, разъезжая в виду стен ее, прикрывали бегство московских изменников, воинов и чиновников, к Самозванцу; многие из них возвращались с уверением, что он не Димитрий, и снова уходили к нему. Злодейство уже казалось только легкомыслием; уже не мерзили сими обыкновенными беглецами, а шутили над ними, называя их *перелетами*. Разврат был столь ужасен, что родственники и ближние уговаривались между собою, кому оставаться в Москве, кому ехать в Тушино, чтобы пользоваться выгодами той и другой стороны, а в случае несчастия, здесь или там, иметь заступников. Вместе обедав и пировав (тогда еще пировали в Москве!) одни спешили к царю в Кремлевские палаты, другие к *царику*, так именовали второго Лжедимитрия. Взяв жалованье из казны московской, требовали иного из тушинской — и получали! Купцы и дворяне за деньги снабдевали стан неприятельский яствами, солью, платьем, оружием, и не тайно: знали, видели и молчали; а кто доносил царю, именовался *наушником*. Василий колебался: то не смел в крайности быть жестоким подобно Годунову, и спускал преступникам; то хотел строгостью унять их, и веря иногда клеветникам, наказывал невинных, к умножению зла. «Вельможи его, — говорит летописец, — были в смущении и в *двоемыслии*: служили ему языком, а не душою и телом; некоторые дерзали и словами язвить царя заочно, вопреки присяге и совести». Невзирая на то, Москва, наученная примером Отрепьева, еще не думала предать царя; еще верность хотя и сомнительная, одолевала измену в войске и в народе: все колебалось, но еще не падало к ногам Самозванца. Окруженная твердынями, наполненная воинами, столица могла не страшиться приступа, когда гордый Сапега, в сие время, тщетно силился взять и монастырскую ограду, где горсть защитников среди ужасов беззакония и стыда еще помнила Бога и честь русского имени.

Троицкая лавра Св. Сергия (в шестидесяти четырех верстах от столицы), прельщая ляхов своим богатством, множеством золотых и серебряных сосудов, драгоценных каменьев, образов, крестов, была важна и в воинском смысле, способствуя удобному сообщению Москвы с Севером и Востоком России: с Новымгородом, Вологдою, Пермию, Сибирскою землею, с областию Владимирскою, Нижегородскою и Казанскою, откуда шли на помощь к

царю дружины ратные, везли казну и запасы. Основанная в лесной пустыне, среди оврагов и гор, лавра еще в царствование Иоанна IV была ограждена (на пространстве шестисот сорока двух саженей) каменными стенами (вышиною в четыре, толщиною в три сажени) с башнями, острогом и глубоким рвом: предусмотрительный Василий успел занять ее дружинами детей боярских, козаков верных, стрельцов, и с помощью усердных иноков снабдить всем нужным для сопротивления долговременного. Сии иноки — из коих многие, быв мирянами, служили царям в чинах воинских и думных — взяли на себя не только значительные издержки и молитву, но и труды кровавые в бедствиях отечества; не только, сверх ряс надев доспехи, ждали неприятеля под своими стенами, но и выходили вместе с воинами на дороги, чтобы истреблять его разъезды, ловить вестников и лазутчиков, прикрывать обозы царские; действовали и невидимо в стенах вражеских, письменными увещаниями отнимая клевретов у Самозванца, трогая совесть легкомысленных, еще незакоснелых изменников и представляя им в спасительное убежище лавру, где число добрых подвижников, одушевленных чистою ревностию или раскаянием, умножалось. «Доколе,— говорили Лжедимитрию ляхи,— доколе свирепствовать против нас сим кровожадным *вранам, гнездящимся в их каменном гробе*? Города многолюдные и целые области уже твои, Шуйский бежал от тебя с войском, а чернцы ведут дерзкую войну с тобою! Рассыплем их прах и жилище!» Еще Лисовский, злодействуя в Переславской и Владимирской области, мыслил взять лавру: увидев трудность, прошел мимо, и сжег только посад Клементьевский, но Сапега, разбив князей Ивана Шуйского и Ромодановского, хотел чего бы то ни стоило овладеть ею.

Сия осада знаменита в наших летописях не менее Псковской, и еще удивительнее: первая утешила народ во время его страдания от жестокости Иоанновой; другая утешает потомство в страдании за предков, униженных развратом. В общем падении духа увидим доблесть некоторых, и в ней причину государственного спасения: казня Россию, Всевышний не хотел ее гибели и для того еще оставил ей *таких* граждан. Не устраним подробностей в описании дел славных, совершенных хотя и в пределах смиренной обители монашеской, людьми простыми, низкими званием, высокими единственно душою!

23 сентября Сапега, а с ним и Лисовский; князь Константин Вишневецкий, Тишкевичи и многие другие знатные паны, пред-

водительствуя тридцатью тысячами ляхов, козаков и российских изменников, стали в виду монастыря на Клементьевском поле. Осадные воеводы лавры, князь Григорий Долгорукий и Алексей Голохвастов, желая узнать неприятеля и показать ему свое мужество, сделали вылазку и возвратились с малым уроном, дав время жителям монастырских слобод обратить их в пепел: каждый зажег дом свой, спасая только семейство, и спешил в лавру. Неприятель в следующий день, осмотрев места, занял все высоты и все пути, расположился станом и начал укрепляться. Между тем лавра наполнилась множеством людей, которые искали в ней убежища, не могли вместиться в келиях и не имели крова: больные, дети, родильницы лежали на дожде в холодную осень. Легко было предвидеть дальнейшие, гибельные следствия тесноты, но добрые иноки говорили: «Св. Сергий не отвергает злосчастных» — и всех принимали. Воеводы, архимандрит Иосаф и соборные старцы урядили защиту: везде расставили пушки; назначили, кому биться на стенах или в вылазках, и князь Долгорукий с Голохвастовым первые, над гробом Св. Сергия, поцеловали крест в том, чтобы *сидеть в осаде без измены*. Все люди ратные и монастырские следовали их примеру в духе любви и братства, ободряли друг друга и с ревностию готовились к *трапезе кровопролитной*, пить чашу смертную за отечество. С сего времени пение не умолкало в церквах лавры, ни днем, ни ночью.

29 сентября Сапега и Лисовский писали к воеводам: «Покоритесь Димитрию, истинному царю вашему и нашему, который не только сильнее, но и милостивее лжецаря Шуйского, имея, чем жаловать верных, ибо владеет уже едва не всем государством, стеснив своего злодея в Москве осажденной. Если мирно сдадитесь, то будете наместниками *Троицкого града* и владетелями многих сел богатых; в случае бесполезного упорства, падут ваши головы». Они писали и к архимандриту и к инокам, напоминая им милость Иоанна к лавре, и требуя благодарности, ожидаемой от них его сыном и невесткою. Архимандрит и воеводы читали сии грамоты всенародно; а монахи и воины сказали: «Упование наше есть Святая Троица, стена и щит — Богоматерь, Святые Сергий и Никон — сподвижники: не страшимся!» В бранном ответе ляхам не оставили слова на мир; но не тронули изменника, сына боярского, Бессона Руготина, который привозил к ним Сапегины грамоты.

30 сентября неприятель утвердил туры на горе Волкуше, Терентьевской, Круглой и Красной; выкопал ров от Келарева

пруда до Глиняного вра́га, насыпал широкий вал и с 3 октября, в течение шести недель, палил из шестидесяти трех пушек, стараясь разрушить каменную ограду; стены, башни тряслися, но не падали, от худого ли искусства пушкарей или от малости их орудий: сыпались кирпичи, делались отверстия и немедленно заделывались; ядра каленые летели мимо зданий монастырских в пруды, или гасли на пустырях и в ямах, к удивлению осажденных, которые, видя в том чудесную к ним милость Божию, укреплялись духом и в ожидании приступа все исповедались, чтобы с чистою совестию не робеть смерти; многие постриглись, желая умереть в сане монашеском. Иноки, деля с воинами опасности и труды, ежедневно обходили стены с святыми иконами.

Сапега готовился к первому решительному делу не молитвою, не покаянием, а пиром для всего войска. 12 октября с утра до вечера ляхи и российские изменники шумели в стане, пили, стреляли, скакали на лошадях с знаменами вокруг лавры, в сумерки вышли полками к турам, заняли дорогу Углицкую, Переславскую, и ночью устремились к монастырю с лестницами, щитами и тарасами, с криком и музыкою. Их встретили залпом из пушек и пищалей; не допустили до стен; многих убили, ранили, все другие бежали, кинув лестницы, щиты и тарасы. В следующее утро осажденные взяли сии трофеи и предали огню, славя Бога. – Не одолев силою, Сапега еще думал взять лавру угрозами и лестию: ляхи мирно подъезжали к стенам, указывали на свое многочисленное войско, предлагали выгодные условия; но чем более требовали сдачи, тем менее казались страшными для осажденных, которые уже действовали и наступательно.

19 октября, видя малое число неприятелей в огородах монастырских, стрельцы и козаки без повеления воевод спустились на веревках со стены, напали и перерезали там всех ляхов. Пользуясь сею ревностию, князь Долгорукий и Голохвастов тогда же сделали смелую вылазку с конными и пехотными дружинами к турам Красной горы, чтобы разрушить неприятельские бойницы; но в жестокой сече лишились многих добрых воинов. Никто не отдался в плен; раненых и мертвых принесли в лавру, всего более жалея о храбром чиновнике Брехове: он еще дышал, и был вместе с другими умирающими пострижен в монахи... В возмездие за верную службу царю земному, отечество передавало их в Образе Ангельском Царю Небесному.

Гордясь сим делом как победою, неприятель хотел довершить ее: в темную осеннюю ночь (25 октября), когда огни едва светились и все затихло в лавре, дремлющие воины встрепенулись от незапного шума: ляхи и российские изменники под громом всех своих бойниц, с криком и воплем, стремились к монастырю, достигли рва и соломою с берестом зажгли острог: яркое пламя озарило их толпы как бы днем, в цель пушкам и пищалям. Сильною стрельбою и гранатами осажденные побили множество смелейших ляхов и не дали им сжечь острога; неприятель ушел в свои закопы, но и в них не остался: при свете восходящего солнца видя на стенах церковные хоругви, воинов, священников, которые пели там благодарственный молебен за победу, он устрашился нападения и бежал в стан укрепленный. Несколько дней минуло в бездействии.

Но Сапега и Лисовский в тишине готовили гибель лавре: вели подкопы к стенам ее. Угадывая сие тайное дело, князь Долгорукий и Голохвастов хотели добыть языков: сделали вылазку на Княжеское поле, к Мишутинскому врáгу, где, разбив неприятельскую стражу, захватили литовского ротмистра Брушевского и без урона возвратились, не дав Сапеге преградить им пути. Расспрашивали чиновного пленника, и пытали: он сказал, что ляхи действительно ведут подкоп, но не знал места. Воеводы избрали человека искусного в ремесле горном, монастырского слугу Корсакова и велели ему *делать* под башнями так называемые *слухи*, или ямы в глубину земли, чтобы слушать там гóлоса или стука людей копающих в ее недрах; велели еще углубить ров вне лавры, от востока к северу. Сия работа произвела две битвы кровопролитные: неприятель напал на копателей, но был отражен действием монастырских пушек. В другой сече за рвом, ноября 1, ляхи убили 190 человек и взяли несколько пленников; стеснили осажденных, не пускали их черпать воды в прудах вне крепости и приблизили свои окопы к стенам. Сердца уныли и в великодушных: видели уменьшение сил ратных; опасались болезней от тесноты и недостатка в хорошей воде; знали верно, что есть подкоп, но не знали где, и могли ежечасно взлететь на воздух. Тогда же несколько ядер упало в лавру: одно ударило в большой колокол, в церковь, и, к общему ужасу, раздробило святые иконы, пред коими народ молился с усердием; другим убило инокиню; третьим, в день Архангела Михаила, оторвало ногу у старца Корнилия: сей инок благочестивый, исходя кровию, сказал: «Бог архистратигом своим Михаилом отмстит кровь христианскую» — и тихо скончал-

ся. Тогда же между верными россиянами нашлися и неверные: слуга монастырский Селевин бежал к ляхам. Боялись его изветов, козней и тайных единомышленников: один пример измены был уже опасен. В сих обстоятельствах не изменилась ревность добрых старцев: первые на молитве, на страже и в битвах, они словом и делом воспламеняли защитников, представляя им малодушие грехом, неробкую смерть долгом христианским и гибель временную Вечным спасением.

Битвы продолжались. Осажденные сделали в земле ход, изпод стены в ров, с тремя железными воротами для скорейших вылазок; в темные ночи нападали на окопы неприятельские, хватали языков, допрашивали и сведали наконец важную тайну: тяжело раненный пленник козак дедиловский, умирая христианином, указал воеводам место подкопа: ляхи вели его от мельницы к круглой угольной башне нижнего монастыря. Укрепив сие место частоколом и турами, воеводы решились уничтожить опасный замысел Сапеги. Два случая ободрили их: меткою стрельбою им удалось разбить главную литовскую пушку, которая называлась *трещерою*, и более иных вредила монастырю. Другое счастливое происшествие уменьшало силу неприятеля: 500 козаков донских с атаманом Епифанцем устыдились воевать святую обитель и бежали от Сапеги в свою отчизну. 9 ноября, за три часа до света, взяв благословение архимандрита над гробом Св. Сергия, воеводы тихо вышли из крепости с людьми ратными и монахами. Глубокая тьма скрывала их от неприятеля; но как скоро они стали в ряды, сильный порыв ветра рассеял облака: мгла исчезла; ударили в осадный колокол, и все кинулись вперед, восклицая имя Св, Сергия. Нападение было с трех сторон, но стремились к одной цели: выгнали козаков и ляхов из ближайших укреплений, овладели мельницею, нашли и взорвали подкоп, к сожалению, с двумя смельчаками (Шиловым и Слотом, клементьевскими земледельцами), которые наполнили его веществом горючим, зажгли и не успели спастися. Победители были еще не довольны: резались с неприятелем между его бойницами, падали от ядер и меча. Не слушаясь начальников, все остальные иноки и воины, толпа за толпою, прибежали из монастыря в пыл сечи, долго упорной. Несколько раз ляхи сбивали их с высот в лощины, гнали и трубили победу; но россияне снова выходили из оврагов, лезли на горы и наконец взяли Красную со всеми ее турами, немало пленников, знамена, 8 пушек,

множество самопалов, ручниц, копий, палашей, воинских снарядов, труб и литавр; сожгли, чего не могли взять, и в торжестве, облитые кровию, возвратились при колокольном звоне всех церквей монастырских, неся своих мертвых, 174 человека и 66 тяжело раненных, а неприятельские укрепления оставив в пламени. Битва не пресекалась с раннего утра до темного вечера. 1500 российских изменников и ляхов, с панами Угорским и Мазовецким, легли около мельницы, прудов Клементьевского, Келарева, Конюшенного и Круглого, церквей нижнего монастыря и против Красных ворот (ибо ляхи, в средине дела имев выгоду, гнали наших до самой ограды). Иноки и воины хоронили тела с умилением и благодарностию; раненых покоили с любовию в лучших келиях, на иждивении лавры. Славили мужество дворян, Внукова и Есипова убитых, Ходырева и Зубова живых. Брат изменника и переметчика, сотник Данило Селевин сказал: «хочу смертию загладить бесчестие нашего рода», и сдержал слово: пеший напал на дружину атамана Чики, саблею изрубил трех всадников и, смертельно раненный в грудь четвертым, еще имел силу убить его на месте. Другой воин Селевин также удивил храбростию и самых храбрых. Слуга монастырский, Меркурий Айгустов, первый достиг неприятельских бойниц и был застрелен из ружья литовским пушкарем, коему сподвижники Меркуриевы в то же мгновение отсекли голову. Иноки сражались везде впереди.— О сем счастливом деле архимандрит и воеводы известили Москву, которая праздновала оное вместе с лаврою.

Стыдясь своих неудач, Сапега и Лисовский хотели испытать хитрость: ночью скрыли конницу в оврагах и послали несколько дружин к стенам, чтобы выманить осажденных, которые действительно устремились на них и гнали бегущих к засаде; но стражи, увидев ее с высокой башни, звуком осадного колокола известили своих о хитрости неприятельской: они возвратились безвредно, и с пленниками.

Настала зима. Неприятель, большею частию укрываясь в стане, держался и в законах: воеводы троицкие хотели выгнать его из ближних укреплений и на рассвете туманного дня вступили в дело жаркое; заняв овраг Мишутин, Благовещенский лес и Красную гору до Клементьевского пруда, не могли одолеть соединенных сил Лисовского и Сапеги: были притиснуты к стенам; но подкрепленные новыми дружинами, начали вторую битву, еще кровопролитнейшую и для себя отчаянную, ибо уже не имели ничего в запасе. Монастырские бойницы и личное геройство многих

дали им победу. «Св. Сергий, — говорит летописец, — *охрабрил* и невежд; без лат и шлемов, без навыка и знания ратного, они шли на воинов опытных, доспешных, и побеждали». Так житель села Молокова, именем Сута, ростом великан, силою и душою богатырь, всех затмил чудесною доблестию; сделался истинным воеводою, увлекал других за собою в жестокую свалку; на обе стороны сек головы бердышем и двигался вперед по трупам. Слуга Пимен Тененев пустил стрелу в левый висок Лисовского и свалил его с коня. Другого знатного ляха, князя Юрия Горского, убил воин Павлов и примчал мертвого в лавру. Бились врукопашь, резались ножами, и толпы неприятельские редели от сильного действия стенных пушек. Сапега, не готовый к приступу, увидев наконец вред своей запальчивости, удалился; а лавра торжествовала вторую знаменитую победу.

Но предстояло искушение для твердости. В холодную зиму монастырь не имел дров: надлежало кровию доставать их: ибо неприятель стерег дровосеков в рощах, убивал и пленил многих людей. Осажденные едва не лишились и воды: два злодея, из детей боярских, передались к ляхам и сказали Сапеге, что если он велит спустить главный внешний пруд, из коего были проведены трубы в ограду, то все монастырские пруды иссохнут. Неприятель начал работу, и тайно: к счастию, воеводы узнали от пленника и могли уничтожить сей замысел: сделав ночью вылазку, они умертвили работников и, вдруг отворив все подземельные трубы, водою внешнего пруда наполнили свои, внутри обители, на долгое время. — Нашлись и другие, гораздо важнейшие изменники: казначей монастырский, Иосиф Девочкин, и сам воевода Голохвастов, если верить сказанию летописца: ибо в великих опасностях или бедствиях, располагающих умы и сердца к подозрению, нередко вражда личная язвит и невинность клеветою смертоносною. Пишут, что сии два чиновника, сомневаясь в возможности спасти лавру доблестию, хотели спасти себя злодейством и через беглеца Селевина тайно условились с Сапегою предать ему монастырь; что Голохвастов думал, в час вылазки, впустить неприятеля в крепость; что старец Гурий Шишкин хитро выведал от них адскую тайну и донес архимандриту. Иосифу дали время на покаяние: он умер скоропостижно. Голохвастов же остался воеводою: следственно не был уличен ясно; но сия измена, действительная или мнимая, произвела зло: взаимное недоверие между защитниками лавры.

Тогда же открылось зло еще ужаснейшее. «Когда, — говорит летописец лавры, — бедствие и гибель ежедневно нам угрожали, мы думали только о душе; когда гроза начинала слабеть, мы обратились к телесному». Неприятель, изнуренный тщетными усилиями и холодом, кинул окопы, удалился от стен и заключился в земляных укреплениях стана, к великой радости осажденных, которые могли наконец безопасно выходить из тесной для них ограды, чтобы дышать свободнее за стенами, рубить лес, мыть белье в прудах внешних; уже не боялись приступов и только добровольно сражались, от времени до времени тревожа неприятеля вылазками: начинали и прекращали битву, когда хотели. Сей отдых, сия свобода пробудили склонность к удовольствиям чувственным: крепкие меды и молодые женщины кружили головы воинам; увещания и пример трезвых иноков не имели действия. Уже не берегли, как дотоле, запасов монастырских; роскошествовали, пировали, тешились музыкою, пляскою... и скоро оцепенели от ужаса.

Долговременная теснота, зима сырая, употребление худой воды, недостаток в уксусе, в пряных зельях и в хлебном вине произвели цингу: ею заразились беднейшие и заразили других. Больные пухли и гнили; живые смердели как трупы; задыхались от зловония и в келиях и в церквах. Умирало в день от двадцати до пятидесяти человек; не успевали копать могил; за одну платили два, три и пять рублей; клали в нее тридцать и сорок тел. С утра до вечера отпевали усопших и хоронили; ночью стон и вой не умолкали: кто издыхал, кто плакал над издыхающим. И здоровые шатались как тени от изнеможения, особенно священники, коих водили и держали под руки для исправления треб церковных. Томные и слабые, предвидя смерть от страшного недуга, искали ее на стенах, от пули неприятельской. Вылазки пресеклись, к злой радости изменников и ляхов, которые, слыша всегдашний плач в обители, всходили на высоты, взлезали на деревья и видели гибель ее защитников, кучи тел и ряды могил свежих, исполнились дерзости, подъезжали к воротам, звали иноков и воинов на битву, ругались над их бессилием, но не думали приступом увериться в оном, надеясь, что они скоро сдадутся или все изгибнут.

В крайности бедствия архимандрит Иоасаф писал к знаменитому келарю лавры, Аврамию Палицыну, бывшему тогда в Москве, чтобы он убедил царя спасти сию священную твердыню немедленным вспоможением: Аврамий убеждал Василия, братьев его, синк-

лит, патриарха; но столица сама трепетала, ожидая приступа тушинских злодеев. Аврамий доказывал, что лавра может еще держаться только месяц и падением откроет неприятелю весь север России до моря. Наконец Василий послал несколько воинских снарядов и 60 козаков с атаманом Останковым, а келар 20 слуг монастырских. Сия дружина, хотя и слабая числом, утешила осажденных: они видели готовность Москвы помогать им, и новою дерзостию — к сожалению, делом жестоким — явили неприятелю, сколь мало страшатся его злобы. Неосторожно пропустив царского атамана в лавру и захватив только четырех козаков, варвар Лисовский с досады велел умертвить их пред монастырскою стеною. Такое злодейство требовало мести: осажденные вывели целую толпу литовских пленников и казнили из них 42 человека, к ужасу поляков, которые, гнушаясь виновником сего душегубства, хотели убить Лисовского, едва спасенного менее бесчеловечным Сапегою.

Бедствия лавры не уменьшились: болезнь еще свирепствовала; новые сподвижники, атаман Останков с козаками, сделались также ее жертвою, и неприятель удвоил заставы, чтобы лишить осажденных всякой надежды на помощь. Но великодушие не слабело: все готовились к смерти; никто не смел упомянуть о сдаче. Кто выздоравливал, тот отведывал сил своих в битве, и вылазки возобновились. Действуя мечом, употребляли и коварство. Часто ляхи, подъезжая к стенам, дружелюбно разговаривали с осажденными, вызывали их, давали им вино за мед, вместе пили и... хватали друг друга в плен или убивали. В числе таких пленников был один лях, называемый в летописи Мартиасом, умный и столь искусный в льстивом притворстве, что воеводы вверились в него как в изменника Литвы и в друга России: ибо он извещал их о тайных намерениях Сапеги; предсказывал с точностию все движения неприятеля, учил пушкарей меткой стрельбе, выходил даже биться с своими единоземцами за стеною и бился мужественно. Князь Долгорукий столь любил его, что жил с ним в одной комнате, советовался в важных делах и поручал ему иногда ночную стражу. К счастию, перебежал тогда в лавру от Сапеги другой пан литовский, *Немко*, от природы глухий и бессловесный, но в боях витязь неустрашимый, ревнитель нашей Веры и Св. Сергия. Увидев Мартиаса, Немко заскрежетал зубами, выгнал его из горницы, и с видом ужаса знаками изъяснил воеводам, что от сего человека падут монастырские стены. Мартиаса начали пытать и сведали истину: он был лазутчик Сапегин, пускал к нему тайные письма на

стрелах и готовился, по условию, в одну ночь заколотить все пушки монастырские. Коварство неприятеля, усиливая остервенение, возвышало доблесть подвижников лавры. Славнейшие изгибли: их место заступили новые, дотоле презираемые или неизвестные, бесчиновные, слуги, земледельцы. Так Анания Селевин, раб смиренный, заслужил имя Сергиева витязя делами храбрости необыкновенной: российские изменники и ляхи знали его коня и тяжелую руку; *видели издали и не смели видеть вблизи*, по сказанию летописца: дерзнул один Лисовский, и раненый пал на землю. Так стрелец Нехорошев и селянин Никифор Шилов были всегда путеводителями и героями вылазок; оба, единоборствуя с тем же Лисовским, обагрились его кровию: один убил под ним коня, другой рассек ему бедро. Стражи неприятельские бодрствовали, но грамоты утешительные, хотя и без воинов, из Москвы приходили: келарь Аврамий, душою присутствуя в лавре, писал к ее верным россиянам: «будьте непоколебимы до конца!» Архимандрит, иноки рассказывали о видениях и чудесах: уверяли, что Святые Сергий и Никон являются им с благовестием спасения: что ночью, в церквах затворенных, невидимые лики Ангельские поют над усопшими, свидетельствуя тем их сан небесный в награду за смерть добродетельную. Все питало надежду и Веру, огонь в сердцах и воображении; терпели и мужались до самой весны.

Тогда целебное влияние теплого воздуха прекратило болезнь смертоносную, и 9 мая в новосвященном храме Св. Николая иноки и воины пели благодарственный молебен, за коим следовала счастливая вылазка. Хотели доказать неприятелю, что лавра уже снова цветет душевным и телесным здравием. Но силы не соответствовали духу. В течение пяти или шести месяцев умерло там 297 старых иноков, 500 новопостриженных и 2125 детей боярских, стрельцов, козаков, людей даточных и слуг монастырских, Сапега знал, сколь мало осталось живых для защиты, и решился на третий общий приступ. 27 мая зашумел стан неприятельский: ляхи, следуя своему обыкновению, с утра начали веселиться, пить, играть на трубах. В полдень многие всадники объезжали вокруг стен и высматривали места; другие взад и вперед скакали, и мечами грозили осажденным. Ввечеру многочисленная конница с знаменами стала на Клементьевском поле; вышел и Сапега с остальными дружинами, всадниками и пехотою, как бы желая доказать, что презирает выгоду нечаянности в нападении и дает время неприятелю изготовиться к бою. Лавра изготовилась: не толь-

ко монахи с оружием, но и женщины явились на стенах с камнями, с огнем, смолою, известью и серою. Архимандрит и старые иеромонахи в полном облачении стояли пред алтарем и молились. Ждали часа. Уже наступила ночь и скрыла неприятеля; но в глубоком мраке и безмолвии осажденные слышали ближе и ближе шорох: ляхи как змеи ползли ко рву с стенобитными орудиями, щитами, лестницами — и вдруг с Красной горы грянул пушечный гром: неприятель завопил, ударил в бубны и кинулся к ограде; придвинул щиты на колесах, лез на стены. В сей роковой час остаток великодушных увенчал свой подвиг. Готовые к смерти, защитники лавры уже не могли ничего страшиться: без ужаса и смятения каждый делал свое дело; стреляли, кололи из отверстий, метали камни, зажженную смолу и серу; лили вар; ослепляли глаза известию; отбивали щиты, тараны и лестницы. Неприятель оказывал смелость и твердость; отражаемый, с усилием возобновлял приступы, до самого утра, которое осветило спасение лавры: ляхи и российские злодеи начали отступать; а победители, неутомимые и ненасытные, сделав вылазку, еще били их во рвах, гнали в поле и в лощинах, схватили 30 панов и чиновных изменников, взяли множество стенобитных орудий и возвратились славить Бога в храме Троицы. Сим делом важным, но кровопролитным только для неприятеля, решилась судьба осады. Еще держася в стане, еще надеясь одолеть непреклонность лавры совершенным изнеможением ее защитников, Сапега уже берег свое войско; не нападая, единственно отражал смелые их вылазки и ждал, что будет с Москвою. Ждала того и лавра, служа для нее примером, к несчастию, бесплодным.

Когда горсть достойных воинов-монахов, слуг и земледельцев, изнуренных болезнию и трудами — неослабно боролась с полками Сапеги, Москва, имея, кроме граждан, войско многочисленное, все лучшее дворянство, всю нравственную силу государства, давала владычествовать бродяге Лжедимитрию в двенадцати верстах от стен Кремлевских и досуг покорять Россию. Москва находилась в осаде: ибо неприятель своими разъездами мешал ее сообщениям. Хотя царские воеводы иногда выходили в поле, иногда сражались, чтобы очистить пути, и в деле кровопролитном, в коем был ранен гетман Лжедимитриев, имели выгоду: но не предпринимали ничего решительного. Василий ждал вестей от Скопина; ждал и ближайшей помощи, дав указ жителям всех городов северных вооружиться, идти в Ярославль и к Москве, — велев и

боярину Федору Шереметеву оставить Астрахань, взять людей ратных в низовых городах и также спешить к столице. Но для сего требовалось времени, коим неприятель мог воспользоваться, отчасти и воспользовался к ужасу всей России.

Не имея сил овладеть Москвою, не умев овладеть лаврою, Лжедимитрий с изменниками и ляхами послал отряды к Суздалю, Владимиру и другим городам, чтобы действовать обольщением, угрозами или силою. Надежда его исполнилась. Суздаль первый изменил чести, слушаясь злодея, дворянина Шилова: целовал крест Самозванцу, принял Лисовского и воеводу Федора Плещеева от Сапеги. Переславль Залесский очернил себя еще гнуснейшим делом: жители его соединились с ляхами и приступили к Ростову. Там крушился о бедствиях отечества добродетельный митрополит Филарет: не имея крепких стен, граждане предложили ему удалиться вместе с ними в Ярославль; но Филарет сказал, что не бегством, а кровию должно спасать отечество; что великодушная смерть лучше жизни срамной; что есть другая жизнь и венец Мучеников для христиан, верных царю и Богу. Видя бегство народа, Филарет с немногими усердными воинами и гражданами заключился в Соборной церкви: все исповедались, причастились Святых Таин и ждали неприятеля или смерти. Не ляхи, а братья единоверные, переславцы, дерзнули осадить святой храм, стреляли, ломились в двери, и диким ревом ярости ответствовали на голос митрополита, который молил их не быть извергами. Двери пали: добрые ростовцы окружили Филарета и бились до совершенного изнеможения. Храм наполнился трупами. Злодеи победители схватили митрополита и, сорвав с него ризы святительские, одели в рубище, обнажили церковь, сняли золото с гробницы Св. Леонтия и разделили между собою по жеребью; опустошили город, и с добычею святотатства вышли из Ростова, куда Сапега прислал воеводствовать злого изменника Матвея Плещеева. Филарета повезли в Тушинский стан, как узника, босого, в одежде литовской, в татарской шапке; но Самозванец готовил ему бесчестие и срам иного рода: встретил его с знаками чрезвычайного уважения, как племянника Иоанновой супруги Анастасии и жертву Борисовой ненависти; величал как знаменитейшего, достойного архипастыря и назвал патриархом: дал ему златой пояс и святительских чиновников для наружной пышности, но держал его в тесном заключении как непреклонного в верности к царю Василию. Сей второй Лжедимитрий, наученный

бедствием первого, хотел казаться ревностным чтителем церкви и духовенства; учил лицемерию и жену свою, которая с благоговением приняла от Сапеги богатую икону Св. Леонтия, ростовскую добычу; уже не смела гнушаться обрядами православия, молилась в наших церквах и поклонялась мощам Угодников Божиих. Еще притворствовали и хитрили для ослепления умов в век безумия и страстей неистовых!

Город за городом сдавался Лжедимитрию: Владимир, Углич, Кострома, Галич, Вологда и другие, те самые, откуда Василий ждал помощи. Являлась толпа изменников и ляхов, восклицая: «Да здравствует Димитрий!» и жители, ответствуя таким же восклицанием, встречали их как друзей и братьев. Добросовестные безмолвствовали в горести, видя силу на стороне разврата и легкомыслия: ибо многие, вопреки здравому смыслу, еще верили мнимому Димитрию! Другие, зная обман, изменяли от робости или для того, чтобы злодействовать свободно; приставали к шайкам Самозванца и вместе с ними грабили, где и что хотели. Шуя, наследственное владение Василиевых предков, и Кинешма, где защищался воевода Федор Бабарыкин, были взяты, разорены Лисовским; взята и верная Тверь: ибо лучшие воины ее находились с царем в Москве. Отряд легкой Сапегиной конницы вступил и в отдаленный Белозерск, где издревле хранилась часть казны государственной: ляхи не нашли казны, но там и везде освободили ссыльных, а в их числе и злодея Шаховского, себе в усердные сподвижники. Ярославль, обогащенный торговлею английскою, сдался на условии не грабить его церквей, домов и лавок, не бесчестить жен и девиц; принял воеводу от Лжедимитрия, шведа греческой Веры, именем Лоренца Биугге, Иоаннова ливонского пленника; послал в тушинский стан 30 000 рублей, обязался снарядить 1000 всадников. Псков, знаменитый древними и новейшими воспоминаниями славы, сделался вдруг вертепом разбойников и душегубцев. Там снова начальствовал боярин Петр Шереметев, недолго быв в опале: верный царю, нелюбимый народом за лихоимство. Духовенство, дворяне, гости были также верны; но лазутчики и письма тушинского злодея взволновали *мелких* граждан, чернь, стрельцов, козаков, исполненных ненависти к людям сановитым и богатым. Мятежниками предводительствовал дворянин Федор Плещеев: торжествуя числом, силою и дерзостию, они присягнули Лжедимитрию; вопили, что Шуйский отдает Псков шведам; заключили Шереметева и граждан знатнейших; расхитили достояние святительское и

монастырское. Узнав о том, Лжедимитрий прислал к ним свою шайку: начались убийства. Шереметева удавили в темнице; других узников казнили, мучили, сажали на кол. В сие ужасное время сгорела знатная часть Пскова, и кучи пепла облилися новою кровию: неистовые мятежники объявили дворян и богатых купцов зажигателями; грабили, резали невинных, и славили царя тушинского... Кто мог в сих исступлениях злодейства узнать отчизну Св. Ольги, где цвела некогда добродетель, человеческая и государственная; где еще за 26 лет пред тем, жили граждане великодушные, победители Героя Батория, спасители нашей чести и славы?

Но кто мог узнать и всю Россию, где, в течение веков, видели мы столько подвигов достохвальных, столько твердости в бедствиях, столько чувств благородных? Казалось, что россияне уже не имели отечества, ни души, ни Веры; что государство, зараженное нравственною язвою, в страшных судорогах кончалось!.. Так повествует добродетельный свидетель тогдашних ужасов Аврамий Палицын, исполненный любви к злосчастному отечеству и к истине:

«Россию терзали свои более, нежели иноплеменные: путеводителями, наставниками и хранителями ляхов были наши изменники, первые и последние в кровавых сечах: ляхи, с оружием в руках, только смотрели и смеялись безумному междоусобию. В лесах, в болотах непроходимых россияне указывали или готовили им путь и числом превосходным берегли их в опасностях, умирая за тех, которые обходились с ними как с рабами. Вся добыча принадлежала ляхам: они избирали себе лучших из пленников, красных юношей и девиц, или отдавали на выкуп ближним — и снова отнимали, к забаве россиян!.. Сердце трепещет от воспоминания злодейств: там, где стыла теплая кровь, где лежали трупы убиенных, там гнусное любострастие искало одра для своих мерзостных наслаждений... Святых юных инокинь обнажали, позорили; лишенные чести, лишались и жизни в муках срама... Были жены прельщаемые иноплеменниками и развратом; но другие смертию избавляли себя от зверского насилия. Уже не сражаясь за отечество, еще многие умирали за семейства: муж за супругу, отец за дочь, брат за сестру вонзал нож в грудь ляху. Не было милосердия: добрый, верный царю воин, взятый в плен ляхами, иногда находил в них жалость и самое уважение к его верности; но изменники называли их за то женами слабыми и худыми союзниками царя тушинского: всех твердых в добродетели предавали жестокой смерти; метали с крутых берегов в глубину рек, рас-

стреливали из луков и самопалов; в глазах родителей жгли детей, носили головы их на саблях и копьях; грудных младенцев, вырывая из рук матерей, разбивали о камни. Видя сию неслыханную злобу, ляхи содрогались и говорили: *что же будет нам от россиян, когда они и друг друга губят с такою лютостию*? Сердца окаменели, умы омрачились; не имели ни сострадания, ни предвидения: вблизи свирепствовало злодейство, а мы думали: *оно минует нас*! или искали в нем личных для себя выгод. В общем кружении голов все хотели быть выше своего звания: рабы господами, чернь дворянством, дворяне вельможами. Не только простые простых, но и знатные знатных, и разумные разумных обольщали изменою, в домах и в самых битвах; говорили: *мы блаженствуем; идите к нам от скорби к утехам*!.. Гибли отечество и церковь: храмы истинного Бога разорялись, подобно капищам Владимирова времени: скот и псы жили в алтарях; воздухами и пеленами украшались кони, пили из потиров; мяса стояли на дискосах; на иконах играли в кости; хоругви церковные служили вместо знамен; в ризах иерейских плясали блудницы. Иноков, священников палили огнем, допытываясь их сокровищ; отшельников, схимников заставляли петь срамные песни, а безмолвствующих убивали... Люди уступили свои жилища зверям: медведи и волки, оставив леса, витали в пустых городах и весях; враны плотоядные сидели станицами на телах человеческих; малые птицы гнездились в черепах. Могилы как горы везде возвышались. Граждане и земледельцы жили в дебрях, в лесах и в пещерах неведомых, или в болотах, только ночью выходя из них осушиться. И леса не спасали: люди, уже покинув звероловство, ходили туда с чуткими псами на ловлю людей; матери, укрываясь в густоте древесной, страшились вопля своих младенцев, зажимали им рот и душили их до смерти. Не светом луны, а пожарами озарялись ночи: ибо грабители жгли, чего не могли взять с собою, домы и все, да будет Россия пустынею необитаемою!»

Россия бывала пустынею; но в сие время, не Батыевы, а собственные варвары свирепствовали в ее недрах, изумляя и самых неистовых иноплеменников: Россия могла тогда завидовать временам Батыевым, будучи жертвою величайшего из бедствий, разврата государственного, который мертвит и надежду на умилостивление небесное! Сия надежда питалась только великодушною смертию многих россиян: ибо не в одной лавре блистало геройство: сии, по выражению летописца, *горы могил*, всюду видимые,

вмещали в себе персть мучеников верности и закона: добродетель, как Феникс, возрождается из пепла могилы, примером и памятию; там не все погибло, где хотя немногие предпочитают гибель беззаконию. С честию умирали и воины и граждане, и старцы и жены. В духовенстве особенно сияла доблесть, Феоктист, крестом и мечом вооруженный, до последнего издыхания боролся с изменою, и, взятый в плен, удостоился венца страдальческого. Архиепископ Суздальский, Галактион, не хотев благословить Самозванца, скончался в изгнании. Добродетельного коломенского святителя, Иосифа, злодеи влачили привязанного к пушке: он терпел и молил Бога образумить россиян. Святитель псковский, Геннадий, в тщетном усилии обуздать мятежников, умер от горести. Немногие из священников, как сказано в летописи, уцелели, ибо везде противились бунту.

Сей бунт уже поглощал Россию: как рассеянные острова среди бурного моря, являлись еще под знаменем московским вблизи лавра, Коломна, Переславль Рязанский, вдали Смоленск, Новгород Нижний, Саратов, Казань, города сибирские; все другие уже принадлежали к царству беззакония, коего столицею был тушинский стан, действительно подобный городу разными зданиями внутри оного, купеческими лавками, улицами, площадями, где толпилось более ста тысяч разбойников, обогащаемых плодами грабежа; где каждый день, с утра до вечера, казался праздником грубой роскоши: вино и мед лилися из бочек; мяса, вареные и сырые, лежали грудами, пресыщая и людей и псов, которые вместе с изменниками стекались в Тушино. Число сподвижников Лжедимитриевых умножилось татарами, приведенными к нему потешным царем Борисовым, державцем Касимовским, Ураз-Магметом, и крещеным ногайским князем Арасланом Петром, сыном Урусовым: оба, менее россиян виновные, изменили Василию; второй оставил и Веру христианскую и жену (бывшую княгиню Шуйскую), чтобы служить *царику* тушинскому, то есть грабить и злодействовать. Жилище Самозванца, пышно именуемое дворцом, наполнялось лицемерами благоговения, российскими чиновниками и знатными ляхами (между коими унижался и посол Сигизмундов, Олесницкий, выпросив у бродяги в дар себе город Белую). Там бесстыдная Марина с своею поруганною красотою наружно величалась саном театральной царицы, но внутренно тосковала, не властвуя, как ей хотелось, а раболепствуя, и с трепетом завися от мужа-варвара, который даже отказывал ей и в сред-

ствах блистать пышностию; там вельможный отец ее лобызал руку беглого поповича или жида, приняв от него новую владенную грамоту на Смоленск, еще не взятый, и Северскую землю, с обязательством выдать ему (Мнишку) 300 000 рублей из казны московской, еще незавоеванной. Там, упоенный счастием, и господствуя над Россиею от Десны до Чудского и Белого озера, Двины и моря Каспийского — ежедневно слыша о новых успехах мятежа, ежедневно видя новых подданных у ног своих — стесняя Москву, угрожаемую голодом и предательством — Самозванец терпеливо ждал последнего успеха: гибели Шуйского, в надежде скоро взять столицу и без кровопролития, как обещали ему легкомысленные переметчики, которые не хотели видеть в ней ни меча, ни пламени, имея там домы и семейства.

Миновало и возвратилось лето: Самозванец еще стоял в Тушине! Хотя в злодейских предприятиях всякое замедление опасно, и близкая цель требует не отдыха, а быстрейшего к ней стремления; хотя Лжедимитрий, слишком долго смотря на Москву, давал время узнавать и презирать себя, и с умножением сил вещественных лишался нравственной: но торжество злодея могло бы совершиться, если бы ляхи, виновники его счастия, не сделались виновниками и его гибели, невольно услужив нашему отечеству, как и во время первого Лжедимитрия. России издыхающей *помог* новый *неприятель*!

Доселе король Сигизмунд враждовал нам тайно, не снимая с себя личины мирной, и содействуя самозванцам только наемными дружинами или вольницею: настало время снять личину и действовать открыто.

Соединив, уже неразрывно, судьбу Марины и мнимую честь свою с судьбою обманщика, боясь худого оборота в делах его и надеясь быть зятю полезнее в королевской Думе, нежели в тушинском стане, воевода Сендомирский (в январе 1609 года) уехал в Варшаву, так скоро, что не успел и благословить дочери, которая в письмах к нему жаловалась на сию холодность. Вслед за Мнишком, надлежало ехать и послам Лжедимитриевым, туда, где все с живейшим любопытством занималось нашими бедствиями, желая ими воспользоваться и для государственных и для частных выгод: ибо еще многие благородные ляхи, пылая страстию удальства и корысти, думали искать счастия в смятенной России. Уже друзья воеводы Сендомирского действовали ревностно на сейме, представляя, что торжество мнимого Димитрия есть торжество Польши; что нужно довершить оное силами рес-

публики, дать корону бродяге и взять Смоленск, Северскую и другие, некогда литовские земли. Они хотели, чего хотел Мнишек: войны за Самозванца, и — если бы Сигизмунд, признав Лжедимитрия царем, усердно и заблаговременно помог ему как союзнику новым войском: то едва ли Москва, едва ли шесть или семь городов, еще верных, устояли бы в сей буре общего мятежа и разрушения. Что сделалось бы тогда с Россиею, вторичною гнусною добычею самозванства и его пестунов? могла ли бы она еще восстать из сей бездны срама и быть, чем видим ее ныне? Так, судьба России зависела от политики Сигизмундовой; но Сигизмунд, к счастию, не имел духа Баториева: властолюбивый с малодушием и с умом недальновидным, он не вразумился в причины действий; не знал, что ляхи единственно под знаменами российскими могли терзать, унижать, топтать Россию, не своим геройством, а Димитриевым именем чудесно обезоруживая народ ее слепотствующий,— не знал, и политикою, грубо-стяжательною, открыл ему глаза, воспламенил в нем искру великодушия, оживил, усилил старую ненависть к Литве и, сделав много зла России, дал ей спастися для ужасного, хотя и медленного возмездия ее врагам непримиримым.

Уверяют, что многие знатные россияне, в искренних разговорах с ляхами, изъявляли желание видеть на престоле московском юного Сигизмундова сына, Владислава, вместо обманщиков и бродяг, безрассудно покровительствуемых королем и вельможными панами; некоторые даже прибавляли, что сам Шуйский желает уступить ему царство. Искренно ли, и действительно ли так объяснялись россияне, неизвестно; но король верил и, в надежде приобрести Россию для сына или для себя, уже не доброхотствовал Лжедимитрию. Друзья королевские предложили сейму объявить войну царю Василию, за убиение мирных ляхов в Москве и за долговременную бесчестную неволю послов республики, Олесницкого и Госевского; доказывали, что Россия не только виновна, но и слаба; что война с нею не только справедлива, но и выгодна; говорили: «Шуйский зовет шведов, и если их вспоможением утвердит власть свою, то чего доброго ждать республике от союза двух врагов ее? Еще хуже, если шведы овладеют Москвою; не лучше, если она, утомленная бедствиями, покорится и султану или татарам. Должно предупредить опасность, и легко: 3000 ляхов в 1605 году дали бродяге Московское царство; ныне дружины вольницы угрожают Шуйскому пленом: можем ли бояться сопротивления?» Были од-

нако ж сенаторы благоразумные, которые не восхищались мыслию о завоевании Москвы и думали, что республика едва ли не виновнее России, дозволив *первому* Лжедимитрию, вопреки миру, ополчаться в Галиции и в Литве на Годунова и не мешая ляхам участвовать в злодействах *второго*; что Польша, быв еще недавно жертвою междоусобия, не должна легкомысленно начинать войны с государством обширным и многолюдным; что в сем случае надлежит иметь четыре войска: два против Шуйского и мнимого Димитрия, два против шведов и собственных мятежников; что такие ополчения без тягостных налогов невозможны, а налоги опасны. Им ответствовали: «Богатая Россия будет наша» — и сейм исполнил желание короля: не взирая на перемирие, вновь заключенное в Москве, одобрил войну с Россиею, без всякого сношения с Лжедимитрием, к горести Мнишка, который, приехав в отечество, уже не мог ничего сделать для своего зятя и должен был удалиться от двора, где только сожалели о нем, и не без презрения.

Сигизмунд казался новым Баторием, с необыкновенною ревностию готовясь к походу; собирал войско, не имея денег для жалованья, но тем более обещая, в надежде, что кончит войну одною угрозою, и что Россия изнуренная встретит его не с мечом, а с венцом Мономаховым, как спасителя. Узнав толки злословия, которое приписывало ему намерение завоевать Москву и силами ее подавить вольность в республике — то есть, сделаться обоих государств самодержцем — король окружным письмом удостоверил сенаторов в нелепости сих разглашений, клялся не мыслить о личных выгодах, и действовать единственно для блага республики; выехал из Кракова в июне месяце к войску и еще не знал, куда вести оное: в землю ли Северскую, где царствовало беззаконие под именем Димитрия, или к Смоленску, где еще царствовали закон и Василий, или прямо к Москве, чтобы истребить Лжедимитрия, отвлечь от него и ляхов и россиян, а после истребить и Шуйского, как советовал умный гетман Жолкевский? Сигизмунд колебался, медлил — и наконец пошел к Смоленску: ибо канцлер Лев Сапега и пан Госевский уверили короля, что сей город желает ему сдаться, желая избавиться от ненавистной власти Самозванца. Но в Смоленске начальствовал доблий Шеин!

Границы России были отверсты, сообщения прерваны, воины рассеяны, города и селения в пепле или в бунте, сердца в ужасе или в ожесточении, правительство в бессилии, царь в осаде и среди изменников... Но когда Сигизмунд, согласно с пользою своей

державы, шел к нам за легкою добычею властолюбия, в то время бедствия России, достигнув крайности, уже являли признаки оборота и возможность спасения, рождая надежду, что Бог не оставляет государства, где многие или немногие граждане еще любят отечество и добродетель.

Глава III
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ
1608—1610 гг.

Князь Пожарский. Доблесть Нижнего Новагорода. Восстание и других городов низовых. Восстание Северной России. Крамолы в Москве. Голод. Весть о князе Михаиле и его подвиги. Приступы Лжедимитрия к Москве. Победа царского войска. Три самозванца. Некоторые удачи Лжедимитриевы. Новый мятеж в Москве. Слобода Александровская. Победа над Сапегою. Любовь к князю Михаилу. Предлагают венец герою. Разбои. Пожарский. Осада Смоленска. Смятение Лжедимитриевых ляхов. Распря между Сигизмундом и конфедератами. Посольство королевское в Тушино. Переговоры с тушинскими изменниками. Бегство Лжедимитрия. Высокомерие Марины. Злодейства Самозванца в Калуге. Волнение в Тушине. Бегство Марины. Посольство тушинское к королю. Изменники признают Владислава царем. Марина в Калуге. Успехи князя Михаила. Освобождение лавры. Бегство Сапеги. Опустение Тушина. Дело князя Михаила. Торжественное вступление Героя в Москву.

Первое счастливое дело сего времени было под Коломною, где воеводы царские, князь Прозоровский и Сукин, разбили пана Хмелевского. Во втором деле оказалось мужество и счастие юного, еще неизвестного стратига, коему Провидение готовило благотворнейшую славу в мире: славу Героя — спасителя отечества. Князь Димитрий Михайлович Пожарский, происходя от Всеволода III и князей Стародубских, царедворец бесчиновный в Борисово время и стольник при расстриге, опасностями России вызванный на феатр кровопролития, должен был вторично защитить Коломну от нападения Литвы и наших изменников, шедших

из Владимира. Пожарский не хотел ждать их: встретил в селе Высоцком, в тридцати верстах от Коломны, и на утренней заре незапным, сильным ударом изумил неприятеля; взял множество пленников, запасов и богатую казну, одержал победу с малым уроном, явив не только смелость, но и редкое искусство, в предвестие своего великого назначения.

Тогда же и в иных местах судьба начинала благоприятствовать царю. Мятежники мордва, черемисы и Лжедимитриевы шайки, ляхи, россияне с воеводою князем Вяземским осаждали Нижний Новгород: верные жители обрекли себя на смерть; простились с женами, детьми и единодушною вылазкою разбили осаждающих наголову: взяли Вяземского и немедленно повесили как изменника. Так добрые нижегородцы воспрянули к подвигам, коим надлежало увенчаться их бессмертною, святою для самых отдаленных веков утешительною славою в нашей истории. Они не удовольствовались своим избавлением, только временным: сведав, что боярин Федор Шереметев в исполнение Василиева указа оставил наконец Астрахань, идет к Казани, везде смиряет бунт, везде бьет и гонит шайки мятежников, нижегородцы выступили в поле, взяли Балахну и с ее жителей присягу в верности к Василию; обратили к закону и другие низовые города, воспламеняя в них ревность добродетельную. Восстали и жители Юрьевца, Гороховца, Луха, Решмы, Холуя, и под начальством сотника Красного, мещан Кувшинникова, Нагавицына, Денгина и крестьянина Лапши разбили неприятеля в Лухе и в селе Дунилове: ляхи и наши изменники с воеводою Федором Плещеевым, сподвижником Лисовского, бежали в Суздаль. Победители взяли многих недостойных дворян, отправили как пленников в Нижний Новгород и разорили их домы.

Москва осажденная не знала о сих важных происшествиях, но знала о других, еще важнейших. Не теряя надежды усовестить изменников, Василий писал к жителям городов северных, Галича, Ярославля, Костромы, Вологды, Устюга. «Несчастные! Кому вы рабски целовали крест и служите? Злодею и злодеям, бродяге и ляхам! Уже видите их дела, и еще гнуснейшие увидите! Когда своим малодушием предадите им государство и церковь; когда падет Москва, а с нею и святое отечество и Святая Вера: то будете ответствовать уже не нам, а Богу... есть Бог мститель! В случае же раскаяния и новой верной службы, обещаем вам, чего у вас нет и на уме: милости, льготу, торговлю беспошлинную на многие лета».

Сии письма, доставляемые усердными слугами гражданам обольщенным, имели действие; всего же сильнее действовали наглость ляхов и неистовство российских клевретов Самозванца, которые, губя врагов, не щадили и друзей. Присяга Лжедимитрию не спасала от грабежа; а народ, лишась чести, тем более стоит за имение. Земледельцы первые ополчились на грабителей; встречали ляхов уже не с хлебом и солью, а при звуке набата, с дрекольем, копьями, секирами и ножами; убивали, топили в реках и кричали: «Вы опустошили наши житницы и хлевы: теперь питайтесь рыбою!» Примеру земледельцев следовали и города, от Романова до Перми: свергали с себя иго злодейства, изгоняли чиновников Лжедимитриевых. Люди слабые раскаялись; люди твердые ободрились, и между ими два человека прославились особенною ревностию: знаменитый гость, Петр Строганов, и немец греческого исповедания, богатый владелец Даниил Эйлоф. Первый не только удержал Соль-Вычегодскую, где находились его богатые заведения, в неизменном подданстве царю, но и другие города, пермские и казанские, жертвуя своим достоянием для ополчения граждан и крестьян; второго именуют главным виновником сего восстания, которое встревожило стан тушинский и Сапегин, замешало царство злодейское, отвлекло знатную часть сил неприятельских от Москвы и лавры. Паны Тишкевич и Лисовский выступили с полками усмирять мятеж, сожгли предместие Ярославля, Юрьевец, Кинешму: Зборовский и князь Григорий Шаховской Старицу. Жители противились мужественно в городах; делали в селениях остроги, в лесах засеки; не имели только единодушия, ни устройства. Изменники и ляхи побили их несколько тысяч в шестидесяти верстах от Ярославля, в селении Даниловском, и пылая злобою, все жгли и губили: жен, детей, старцев — и тем усиливали взаимное остервенение. Верные россияне также не знали ни жалости, ни человечества в мести, одерживая иногда верх в сшибках, убивали пленных; казнили воевод Самозванцевых, Застолпского, Нащокина и пана Мартиаса; немца Шмита, ярославского жителя, сварили в котле за то, что он, выехав к тамошним гражданам для переговоров, дерзнул склонять их к новой измене. Бедствия сего края, душегубство, пожары еще умножились, но уже знаменовали великодушное сопротивление злодейству, и вести о счастливой перемене, сквозь пламя и кровь, доходили до Москвы. Уже Василий писал благодарные грамоты к добрым северным россиянам; посылал к ним чиновников для образования войска; велел их дружинам идти в Ярославль, открыть со-

общение с городами низовыми и с боярином Федором Шереметевым; наконец спешить к столице.

Но столица была феатром козней и мятежей. Там, где опасались не измены, а доносов на измену — где страшились мести ляхов и Самозванца более, нежели царя и закона — где власть верховная, ужасаясь явного и тайного множества злодеев, умышленным послаблением хотела, казалось, только продлить тень бытия своего и на час удалить гибель — там надлежало дивиться не смятению, а призраку тишины и спокойствия, когда государство едва существовало и Москва видела себя среди России в уединении, будучи отрезана, угрожаема всеми бедствиями долговременной осады, без надежды на избавление, без доверенности к правительству, без любви к царю: ибо москвитяне, некогда усердные к боярину Шуйскому, уже не любили в нем венценосца, приписывая государственные злополучия его неразумию или несчастию: обвинение равно важное в глазах народа! Еще какая-то невидимая сила, закон, совесть, нерешительность, разномыслие, хранили Василия. Желали перемены; но кому отдать венец? в тайных прениях не соглашались. Самозванцем вообще гнушались; ляхов вообще ненавидели, и никто из вельмож не имел ни столько достоинств, ни столько клевретов, чтобы обещать себе державство. Дни текли, и Василий еще сидел на троне, измеряя взорами глубину бездны пред собою, мысля о средствах спасения, но готовый и погибнуть без малодушия. Уже блеснул луч надежды: оружие царское снова имело успехи; лавра стояла непоколебимо; восток и север России ополчились за Москву, — и в сие время крамольники дерзнули явно, решительно восстать на царя, боясь ли упустить время? боясь ли, чтобы счастливая перемена обстоятельств не утвердила Василиева державства?

Известными начальниками кова были царедворец князь Роман Гагарин, воевода Григорий Сунбулов (прощенный изменник) и дворянин Тимофей Грязной: знатнейшие, вероятно, скрывались за ними до времени. 17 февраля вдруг сделалась тревога: заговорщики звали граждан на лобное место; силою привели туда и патриарха Ермогена; звали и всех думных бояр, торжественно предлагая им свести Василия с царства и доказывая, что он избран не Россиею, а только своими угодниками, обманом и насилием; что сие беззаконие произвело все распри и мятежи, междоусобие и самозванцев; что Шуйский и не царь, и не умеет быть царем, имея более тщеславия, нежели разума и способностей, нужных

для успокоения державы в таком волнении. Не стыдились и клеветы грубой: обвиняли Василия даже в нетрезвости и распутстве. Они умолчали о преемнике Шуйского и мнимом Димитрии; не сказали, где взять царя нового, лучшего, и тем затруднили для себя удачу. Немногие из граждан и воинов соединились с ними; другие, подумав, ответствовали им хладнокровно: «Мы все были свидетелями Василиева избрания, добровольного, общего; все мы, и вы с нами, присягали ему как государю законному. Пороков его не ведаем. И кто дал вам право располагать царством без чинов государственных?» Ермоген, презирая угрозы, заклинал народ не участвовать в злодействе, и возвратился в Кремль. Синклит также остался верным, и только один муж думный, старый изменник, князь Василий Голицын — вероятно, тайный благоприятель сего кова — выехал к мятежникам на Красную площадь; все иные бояре, с негодованием выслушав предложение свергнуть царя и быть участниками беззаконного веча, с дружинами усердными окружили Шуйского. Не взирая на то, мятежники вломились в Кремль; но были побеждены без оружия. В час опасный, Василий снова явил себя неустрашимым: смело вышел к их сонму; *стал им в лицо* и сказал голосом твердым: «Чего хотите? Если убить меня, то я пред вами, и не боюсь смерти; но свергнуть меня с царства не можете без Думы земской. Да соберутся великие бояре и чины государственные, и в моем присутствии да решат судьбу отечества и мою собственную: их суд будет для меня законом, но не воля крамольников!» Дерзость злодейства обратилась в ужас: Гагарин, Сунбулов, Грязной и с ними 300 человек бежали; а вся Москва как бы снова избрала Шуйского в государи: столь живо было усердие к нему, столь сильно действие оказанного им мужества!

К несчастию, торжество закона и великодушия было недолговременно. Мятежники ушли в Тушино для того ли, что доброжелательствовали Самозванцу, или единственно для своего личного спасения, как в место безопаснейшее для злодеев? Их бегством Москва не очистилась от крамолы. Муж знатный, воевода Василий Бутурлин, донес царю, что боярин и дворецкий Крюк-Колычев есть изменник и тайно сносится с Лжедимитрием. Измены тогда не удивляли: Колычев, быв верен, мог сделаться предателем, подобно Юрию Трубецкому и столь многим другим, но мог быть и нагло оклеветан врагами личными. Его судили, пытали и казнили на лобном месте. Пытали и всех мнимых участников нового ко-

ва и наполняли ими темницы, обещая невинным, спокойным гражданам утвердить их безопасность искоренением мятежников.

Но зло иного рода уже начинало свирепствовать в столице. Лишаемая подвозов, она истощила свои запасы; имела сообщение с одною Коломною и того лишилась: ибо рать Лжедимитриева вторично осадила сей город. Предвидев недостаток, алчные корыстолюбцы скупили весь хлеб в Москве и в окрестностях и ежедневно возвышали его цену, так что четверть ржи стоила наконец семь рублей, к ужасу людей бедных. Тщетно Василий желал умерить дороговизну неслыханную, уставлял цену справедливую и запрещал безбожную; купцы не слушались: скрывали свое изобилие и продавали тайно, кому и как хотели. Тщетно царь и патриарх надеялись разбудить совесть и жалость в людях: призывали вельмож, купцов, богачей в храм Успения, и пред алтарем Всевышнего заклинали быть человеколюбивыми: не торговать жизнию христиан и спустить цену хлеба; не скупать его в большом количестве и тем не отнимать у бедных. Лицемеры со слезами уверяли, что у них нет запасов, и бессовестно обманывали, думая единственно о своей выгоде, как и во время дороговизны 1603 года. Народ впал в отчаяние. Кричали на улицах: «Мы гибнем от царя злосчастного; от него кровопролитие и голод!» Люди, уверенные в обмане мнимого Димитрия, уходили к нему единственно для того, чтобы не умереть в Москве без пищи; другие толпами врывались в Кремль и вопили пред дворцом. «Долго ли нам сидеть в осаде и ждать голодной смерти?» Они требовали избавления, победы и хлеба — или царя счастливейшего! Василий не скрывался от народа: выходил к нему с лицом спокойным, увещал и грозил; смирял дерзость страждущих, но только на время. Радея о бедных, он убедил троицкого келаря Аврамия отворить для них московские житницы его обители: цена хлеба вдруг упала от семи до двух рублей. Сих запасов не могло стать надолго; но вопль умолк в столице, и счастливая весть ободрила Москву.

Князь Гагарин, первый из мятежников, ушедших к Самозванцу, несмотря на крамольство, имел душу: увидел, узнал Лжедимитрия и явился к царю с раскаянием; принес ему свою виновную голову; сказал, что лучше хочет умереть на плахе, нежели служить бродяге гнусному — и был помилован Василием: выведенный к народу, Гагарин именем Божиим заклинал его не прельщаться Диавольским обманом, не верить злодею тушинскому, орудию ляхов, желающих единственно гибели России и святой

20 Зак. № 40

церкви. Сии убеждения произвели действие, и еще несравненно более, когда Гагарин объявил москвитянам, что стан тушинский в сильной тревоге; что Лжедимитрий и ляхи сведали о соединении шведов с россиянами; что князь Михаил Скопин-Шуйский ведет их к столице и побеждает. Удивление радости изменило лица печальные: все славили Бога; многие устыдились своего намерения бежать в Тушино; укрепились в верности — и с того дня уже никто не уходил к Самозванцу.

Гагарин сказал истину о тревоге злодеев тушинских. Опишем начало подвигов знаменитого юноши, который в бедственные времена родился счастливым, и коему надлежало бы только жить, чтобы спасти царя, ознаменованного Судьбою для злополучия. Мы видели, как Михаил Шуйский, во время величайшей опасности, с горестию удалился от войска, чтобы искать защитников России вне России: прибыв в Новгород, где начальствовали боярин князь Андрей Куракин и царедворец Татищев, он немедленно доставил королю шведскому грамоту Василиеву; писал к нему и сам, писал и к его воеводам, финляндскому и ливонскому, Арвиду Вильдману и графу Мансфельду, требуя вспоможения и представляя им, что ляхи воцарением Лжедимитрия хотят обратить силы России на Швецию для торжества латинской Веры, будучи побуждаемы к тому папою, иезуитами и королем испанским. Ничто не было естественнее союза между шведским и российским венценосцами, искренними друзьями от их общей ненависти к ляхам. Надлежало единственно удостоверить Карла, что шведы еще найдут и могут утвердить Василия на престоле: для чего князь Михаил, следуя своему наказу и внушению политики, таил от Карла ужасные обстоятельства России; говорил только о частных в ней мятежах, об измене тысяч осьми или десяти россиян, которые вместе с пятью или шестью тысячами ляхов злодействуют близ Москвы. Требовалось немало времени для объяснений. Секретарь Мансфельдов виделся с князем Михаилом в Новегороде, а воевода Головин, шурин Скопина, поехал в Выборг, где знатные чиновники шведские ждали его, чтобы условиться в мерах вспоможения. Между тем князь Михаил, желая спасти Москву и царя не одною рукою иноплеменников, мыслил ополчить всю северо-западную Россию, и грамотою убедительною звал к себе псковитян, хваля их древнюю доблесть; но псковитяне, уже хвалясь злодейством, ответствовали ему угрозою — и самые новогородцы оказывали расположение столь подозрительное, что князь Михаил решился искать усердия или безо-

пасности в ином месте; вышел из Новагорода с Татищевым, дьяком Телепневым и малочисленною дружиною верных, и требовал убежища в Иванегороде: там их не приняли, ни в Орешке, где воевода, предатель боярин Михайло Салтыков, считая Лжедимитрия победителем, уже именовал себя его наместником. В то время, когда Михаил, оставленный и некоторыми из робких спутников, при устье Невы думал в печали, что делать? явились послы от Новагорода с молением, чтобы он возвратился к Святой Софии. Митрополит Исидор и достойные россияне одержали там верх над беззаконием и встретили князя Михаила как утешителя, в лице его приветствуя отечество и верность; искренно клялися умереть за царя Василия, как предки их умирали за Ярослава Великого, и сведав, что воевода Лжедимитриев, Керносицкий, с ляхами и россиянами идет от Тушина к берегам Ильменя, готовились выступить в поле. Древний Новгород, казалось, воскрес с своим великодушием; к несчастию, ревность достохвальная имела действие зловредное.

Татищев, известный мужеством, вызвался вести передовой отряд к Бронницам; но князю Михаилу донесли, что сей царедворец лукавый замышляет предательство. Извет был важен, а князь Шуйский молод и пылок: он созвал воинов и граждан, объявил им донос и хотел с ними торжественно судить, уличить или оправдать винимого. Вместо суда народ в исступлении ярости умертвил Татищева, не дав ему сказать ни единого слова, к горести Михаила, увидевшего поздно, что народ, в кипении страстей, может быть скорее палачом, нежели судиею. Татищева, едва ли виновного, схоронили с честию в обители Св. Антония, и многие дворяне, вероятно устрашенные его судьбою, бежали из города, даже к неприятелю, который шел вперед невозбранно, занял Хутынский и другие окрестные монастыри, жег, грабил — и вдруг скрылся, услышав от пленников, что сильное войско вступило в село Грузино и спешит на помощь к Новугороду. Пленники обманули неприятеля: мнимое войско состояло единственно из тысячи областных жителей, ополченных дворянами Горихвостовым и Рязановым в Тихвине и за Онегою. Сии добрые россияне, будучи в шесть раз слабее Керносицкого, имели счастие без кровопролития избавить Новгород, где князь Михаил с нетерпением ждал вестей от Головина.

Вести были благоприятны. Король шведский словом и делом доказал свою искренность. Еще генералы его, Бое и Вильдман, не успели заключить договора с Головиным и дьяком Зиновьевым, а войско королевское уже стояло под знаменами в Финляндии. С

обеих сторон не хотели тратить времени и 28 февраля подписали в Выборге следующие условия: «1) Мирный договор 1595 года возобновляется между Россиею и Швециею на веки веков. 2) Первой не вступаться в Ливонию. 3) Карл дает Василию 2000 конных и 3000 пеших ратников, а Василий 100 000 ефимков в месяц на их жалованье. 4) Сие войско в полном распоряжении князя Михаила Шуйского; должно занимать города единственно именем царским, и не может выводить пленников из России, кроме ляхов. 5) Съестные припасы будут ему доставляемы по цене умеренной. 6) Царь взаимно обязывается помогать королю войском на Сигизмунда в Ливонии, куда открыл путь шведам из Финляндии чрез российские владения. 7) Ни та, ни другая держава без общего согласия не вольна мириться с Сигизмундом. 8) Царь, в знак признательности, уступает Швеции Кексгольм в вечное владение, но *тайно* до времени: ибо сия уступка может произвести сильное неудовольствие между россиянами. 9) Князь Михаил Шуйский дарит шведскому войску 5000 рублей не в счет определенного жалованья. — Сия грамота будет утверждена в Новегороде им, князем Шуйским, воеводою, бояриной и *ближним приятелем* царским, а в Москве самим царем».

26 марта уже вступил в Россию полководец шведский, Иаков Делагарди, сын Понтусов, юный, двадцатисемилетний витязь, ученик и сподвижник славного Морица Нассавского в долговременном кровопролитном борении за свободу Голландской республики. На границе встретил союзников воевода Ододуров, высланный князем Михаилом, и 2300 россиян, которые в первый раз увидели себя под одними знаменами с шведами и наемниками их, французами, англичанами, шотландцами, немцами и нидерландцами. Сии 5000 разноземцев, большею частию людей без отечества и нравственности, исполненных любви не к ратной чести, а к низкой корысти, шли спасать преемника монархов, ославленных[1] в Европе и в Азии несметными их силами! Союзникам указали стан близ Новагорода, куда звали Делагарди и генералов его для свидания с князем Шуйским...

Там сии два полководца, оба юные, приветствовали друг друга с ласкою, с уважением взаимным. «Князь Михаил, — пишет современный шведский историк, — имел 23 года от рождения, прекрасную душу, ум не по летам зрелый, наружность, осанку при-

[1] Ославленный — прославленный.

ятную, искусство в битвах и в обхождении с иноземным войском. Делагарди сказал ему, что королю известны все ухищрения ляхов; что он прислал рать и готовит еще сильнейшую для вспоможения России, желая благоденствия царю и народу ее, а врагам их желая гибели. Князь Михаил, кланяясь, опустил руку до земли; изъявлял благодарность; уверял, что Россия усердна к царю и волнуема только малым числом изменников, коих легко одолеть единодушным действием союзников! Рассуждали, как действовать и с чего начать. Делагарди требовал вперед жалованья войску: князь Шуйский обещал немедленно выдать 8000 рублей, 5000 деньгами и 3000 соболями; утвердил (4 апреля) выборгский договор и сам проводил Делагарди до ворот крепости».

Грязи и разлитие рек мешали походу. Шведский военачальник хотел ждать просухи, и для безопасного сообщения с Ливониею и Финляндиею, заняться прежде всего осадою Копорья, Иванягорода и Ямы, где царствовала измена: князь Михаил имел другую мысль. Еще до прибытия шведов воевода Осинин ходил из Новагорода с детьми боярскими и козаками к мятежному Пскову, разбил тамошних злодеев в поле и надеялся взять город; но Скопин велел ему возвратиться, чтобы не тратить времени в предприятиях частных, и склонил Делагарди немедленно идти к Москве. Воевода Чулков и шведский генерал Эверт Горн вступили в Русу, гнали изменников и ляхов до уезда Торопецкого, одержали (25 апреля) победу над Керносицким в селе Каменках, взяли 9 пушек, знамена и пленников. Порхов, Торопец сдалися мирно — и Торжок другому воеводе, Чоглокову. Узнав, что пан Зборовский и князь Григорий Шаховской с тремя тысячами изменников и ляхов идут из Твери на Чоглокова, князь Михаил отрядил туда Головина и Горна: имея не более двух тысяч воинов, они сразились с неприятелем; Чоглоков сделал вылазку, и Зборовский, после дела кровопролитного, отступил к Твери.

Сам князь Михаил, отпев молебен в Софийском храме, исполненном древних знаменитых воспоминаний, вывел (10 мая) главную рать. Новгород, некогда великий, столь многолюдный и воинственный, дал ему все, что мог: тысячи две подвижников неопытных! Но войско российское усилилось в Торжке (24 июня) новыми дружинами: князь Борятинский, воевода усердный и мужественный, привел туда 3000 детей боярских и земледельцев из Смоленских уездов, смирив на пути Дорогобуж и Вязьму. Союзники спешили к Твери; там засели Зборовский и Керносицкий,

быв подкреплены тушинским войском. Ляхи и российские изменники вышли из города и сразились мужественно, во время сильного дождя, который препятствовал действию пальбы: неприятель, ударив с копьями на левое крыло шведов, обратил французов в бегство; немцы, финляндцы, россияне также дали тыл, — и хотя правое крыло, где начальствовал Делагарди, имело выгоду и втеснило ляхов в город; хотя сам воевода Зборовский раненый едва спасся от плена; но союзники отступили. Дождь лил целые сутки. В следующую ночь, когда ляхи беспечно спали в Остроге, князь Михаил тихо приближился, напал и взял его без урона: восходящее солнце осветило там царские хоругви и кучи неприятельских тел. Юный полководец российский обнял Делагарди с живейшим чувством признательности за мужество шведов, которые хотели вломиться и в город, где остальные изменники и ляхи заключились; но князь Михаил, жалея людей, велел прекратить сечу кровопролитную и не нужную: ибо угадывал, что неприятель, уже слабый, или мирно сдастся на договор или бежит. Чрез несколько часов действительно ляхи и клевреты их ушли из Твери, до половины сожженной и наполненной трупами. Таким образом, князь Михаил в два месяца очистил все места от новогородских до московских пределов; думал скоро освободить и Москву, надеясь на ужас неприятелей и содействие войска царского. Доселе он мог быть доволен шведами. Карл IX писал к нашему духовенству, боярам, дворянам и купцам, что он готов всеми силами действовать для защиты их *древней греческой Веры, вольности и льготы*, — для истребления польской сволочи и бродяг, жалуемых ею в цари с умыслом изгубить знатнейшие роды, цвет и славу нашего отечества. Делагарди уклонялся от всякого сношения с ляхами, и в ответ на дружелюбную, лукавую грамоту Зборовского, писанную из Твери (11 июня) к шведским генералам о правах мнимого Димитрия, сказал: «мое дело воевать, а не рассуждать с вами о Димитриях». Тщетно и лазутчики Зборовского старались возмутить союзное войско: их ловили и казнили. Но чего не произвело обольщение, то произвела буйность. Оставив Тверь и шведов позади себя, князь Михаил шел к столице и сведал в Городне, что союзники идут не за ним, а назад к Новугороду! Сия неожидаемая измена была следствием мятежа. Выступив из Твери, финляндцы первые объявили своему генералу, что не хотят идти в глубину России на верную гибель; что им не выдано полного жалованья: что вероломство московско-

го народа всем известно; что жены и дети их без защиты дома. Французы, немцы, наконец и шведы также взволновались; не слушались генералов; бросили знамена. Делагарди обнажил меч, грозил — и должен был уступить мятежникам, чтобы не остаться военачальником без войска: он сам повел их к шведской границе, для прикрытия бунта, жалуясь, что россияне не исполняют договора: не сдают Кексгольма и не платят обещанных денег. Изумленный князь Михаил спешил удержать союзников нужных, хотя и ненадежных, и послал к ним Ододурова с убеждением не изменять чести, не срамить имени шведского, не выдавать друзей, в то время, когда неприятель, более раздраженный, нежели ослабленный, готовится к решительному делу. Сии представления и серебро, врученное наемникам корыстолюбивым, их усовестили: генерал Зоме с частию пехоты и конницы возвратился к князю Михаилу накануне величайшей для него опасности и славы. Здесь подвиги юного героя уже связуются с происшествиями знаменитой Троицкой осады.

Еще Сапега стоял под лаврою: рассылал отряды, занимал или жег города, обуздывал или карал жителей, мешал сообщению Москвы с Востоком и Севером России и подкреплял Зборовского, чтобы отразить шведов. Между тем слух о движениях Скопина и Шереметева уже достиг лавры: защитники ее ждали следствий, надеялись и вдруг увидели необычайное волнение в неприятельском стане: Зборовский прибежал туда с остатком рассеянного войска и с вестию, что Тверь уже взята союзниками; прибежали и многие изменники, дворяне, дети боярские, которые изменою хотели единственно избавить свои поместья от грабежа, не думая служить царику тушинскому, и до того времени жили в них спокойно, но не дерзнули ждать князя Михаила. Все отряды возвратились к Сапеге: Лжедимитрий усилил его и частию тушинской рати, велев ему идти против Скопина и шведов. Ляхи, как обыкновенно, готовились к битве шумными играми, пили, веселились и дали знать троицкому воеводе Долгорукому, что они торжествуют победы: что шведы истреблены, а Скопин и Шереметев сдалися. Их не слушали. Тогда подъехали к стенам два человека, некогда знаменитые на степени мужей государственных: боярин Салтыков (изгнанный из Орешка успехами князя Михаила) и думный дьяк Грамотин: оба уверяли, что междоусобная война уже прекратилась в России; что Москва встречает Димитрия, и Шуйский с синклитом в его руках. Клевреты их, дворяне

изменники, утверждали то же, прибавляя: «Не мы ли были с Шереметевым, а теперь служим Димитрию? Кого еще ждете? Все у ног Иоаннова сына — и если одни будете противиться, то немедленно увидите здесь царя гневного со всем литовским войском, Скопиным и Шереметевым, для казни вашего ослушания». Им ответствовали единогласно люди умные и простые (как говорит летописец): «Всевышний с нами, и никого не боимся. Хотите ли, чтобы мы вам верили? Скажите, что князь Михаил под Тверию телами литовскими и вашими сравнял Волгу с берегами и напитал зверей плотоядных: не усомнимся и восхвалим Бога! Ложь не победа: идите с мечом на меч и Господь рассудит виновного с правым!» Так еще мужались сии Герои верности, числом уже не более двухсот. Сапега не мог медлить, однако ж дозволил Зборовскому с его дружинами еще приступить к стенам обители, которую сей гордый лях, шутя над ним и Лисовским, уподоблял *лукну* и *гнезду ворон**. Зборовский приступил ночью, стрелял, убил одну женщину на стене, и ничего более не сделав, удалился. Вероятно, что неприятель хотел в сию ночь не взять, а только устрашить лавру для своей безопасности: Сапега спешил к берегам Волги, вверив облежание монастыря и хранение стана козакам, российским изменникам и немногим ляхам.

Не зная, что делается в Москве, но зная, что вся Россия полунощная, от Углича до Белого моря и Перми, уже снова верна царю, князь Михаил, исполненный надежды, но тем более осторожный, послал, для вестей к столице, чиновника Безобразова, а сам, не дерзая идти вперед с малыми силами, двинулся влево по течению Волги, к монастырю Колязину, для удобного сообщения с Ярославлем, богатым и многолюдным. Туда прибыл к нему царский дворянин Волуев, умертвитель Отрепьева, сказывая, что Москва цела и Василий еще державствует. Царь писал к Михаилу. «Слышим о твоем великом радении, и славим Бога. Когда ужасом или победою избавишь государство, то какой хвалы сподобишься от нас и добрых россиян! какого веселия исполнишь сердца их! Имя твое и дело будут памятны во веки веков не только в нашей, но и во всех державах окрестных. А мы на тебя надежны, как на свою душу».— За вестию радостною следовала другая: Сапега, Зборовский, Лисовский и Лжедимитриев атаман

---

* «Что бездельное ваше стояние под *лукошком*? что то лукошко взяти, да ворон передавити?..» (XII, 397.)

Заруцкий находился уже близ Колязина, в селе Пирогове. Имея едва ли тысяч десять собственных воинов и не более тысячи шведов, приведенных к нему генералом Зоме, князь Михаил решился однако ж встретить неприятеля, хотя и гораздо сильнейшего. Передовые рати сошлися на топких берегах Жабны: чиновники Головин, Борятинский, Волуев и Жеребцов отличились мужеством; втоптали неприятеля в болота и дали время князю Михаилу изготовиться, занять места выгодные, распорядить движения. Сапега напал стремительно, с громким воплем: россияне и шведы стояли твердо и сами нападали, где слабел неприятель. Пальба и сеча продолжались несколько часов. На закате солнца верные россияне, призывая имя Св. Макария Колязинского, двинулись вперед так дружно и сильно, что утомленные ляхи не могли удержать места битвы; их теснили до Рябова монастыря, и князь Михаил вступил в Колязин с пленниками и трофеями, не хваляся победою, но хваля единодушную доблесть своих и шведов, в надежде на успехи будущие и важнейшие. Он не гнал ляхов и не мешал им возвратиться к постыдной для них осаде Троицкой, готовясь быть избавителем и лавры и Москвы — и России, если бы Небо оставило ей сего Героя-юношу!

Там на берегу Волги, в пустынных келиях Св. Макария, князь Михаил, оглашаемый церковным пением иноков и звуком труб воинских как Гений отечества, неусыпно бодрствовал день и ночь для спасения царства; сносился с городами северными, принимал от них дары, казну и воинов; поручил генералу Зоме устроение дружин, образование людей неопытных в ратном деле, и нетерпеливо ждал всех шведов для дальнейших предприятий. Но Делагарди, увлеченный новым бунтом войска, опять шел к границе: послы Скопина настигли его в Крестцах; заплатили ему 6000 рублей деньгами, 5000 рублей соболями, и князь Михаил взял на себя, без утверждения царского, отдать Кексгольм шведам. В сих переговорах миновало недель шесть: Делагарди пошел наконец к Колязину, где князь Михаил, не тревожимый изменниками и ляхами, усиливался ежедневно.

Видя пред собою Москву неодолимую, вокруг себя города уже неприятельские, пепелища, леса, пустыни, в коих изгнанные жители, воспламененные злобою, стерегли, истребляли ляхов малочисленных в их разъездах — будучи с севера угрожаем князем Михаилом, с востока Шереметевым, Лжедимитрий еще мыслил одним ударом кончить войну; взять силою, чего

долго и тщетно ждал от измены и голода: взять Москву вместе с царем и царством. В сей надежде утвердил его пан Бобовский, который, прибыв к нему тогда из Литвы с дружиною удальцов, винил Рожинского в слабости духа, уверяя, что Москва спасается единственно бездействием тушинского войска и неминуемо падет от первого дружного приступа. Лжедимитрий дал ему несколько полков: хваляся наперед делом славным, Бобовский устремился к городу; но царские воеводы не допустили его и до предместия: вышли, напали, разбили — и Москва торжествовала свою первую блестящую победу; а скоро и вторую, еще важнейшую, над всею тушинскою силою. Сам Лжедимитрий, гетман Рожинский, атаман Заруцкий, все знатные изменники и бояре вели дружины на приступ (в день Троицы), и хотели сжечь деревянный город; но Василий успел выслать войско с князем Дмитрием Шуйским. Неприятель быстрым движением вломился в средину царских полков, смял конницу и замешал пехоту: тут с одной стороны воевода князь Иван Куракин, с другой князья Андрей Голицын и Борис Лыков, уже известные достоинствами ратными, напали на изменников и ляхов. Зачался бой, в коем, по уверению летописца, московские воины превзошли себя в блестящем мужестве, сражаясь, как еще не сражались дотоле с тушинскими злодеями; одолели, гнали их до Ходынки и взяли 700 пленников. Ужас неприятеля был так велик, что беглецы не удержались бы и в Тушине, если бы победители, слишком умеренные, не остановились на Ходынке. Одним словом, московитяне сами дивились своей храбрости, вселенной в них счастливыми вестями о восстании северной России, об успехах князя Михаила и войска низового, коего чиновник, дворянин Соловой, прибыл тогда к царю с донесением Шереметева. Сей боярин везде истреблял неприятеля и власть Лжедимитрия от Казани до Нижнего Новагорода; близ Юрьевца побил наголову Лисовского, отряженного Сапегою для усмирения Костромской области; мирно вступил в Муром и, взяв Касимов, освободил там многих верных россиян, заключенных изменниками. Довольный его службою, но не довольный медленностию, царь послал к нему князя Прозоровского с милостивым словом и с указом спешить к Москве. В то же время древняя столица Боголюбского обратилась к закону: жители Владимира снова присягнули царю — все, кроме воеводы Вельяминова, ревностного слуги Лжедимитриева. Народ велел ему исповедаться в церкви, вывел

его на площадь, объявил врагом государства, убил каменьем и с живейшим усердием принял воевод царских.

Уже без легкомыслия можно было предаваться надежде. Царство обмана падало: царство закона восстановлялось. Образовались полки верных — стремились к одной цели, к Москве, почти освобожденной двумя важными успехами собственного оружия. Народ опомнился и радостными кликами приветствовал знамена любезного отечества и Святой Веры. Ждали только соединения сил, чтобы дружно наступить на гнездо злодейства, столь долго ужасное Тушино... и вдруг едва не впали в новое отчаяние!

Как изменники и ляхи в явном омрачении ума давали князю Михаилу спокойно готовить им гибель, так войско московское, худо веря своим победам, дало отдохнуть Самозванцу разбитому. Он усилился новыми толпами козаков, вышедших из Астрахани с тремя мнимыми царевичами: Августом, *Осиновиком* и Лавром; первый назывался сыном, второй и третий внуками Иоанна Грозного. «Злодеи рабского племени, — говорит летописец, — холопи, крестьяне, считая Россию привольем наглых обманщиков, являлись один за другим под именем царевичей, даже небывалых, и надеялись властвовать в ней как союзники и ближние тушинского злодея». Но сами козаки, отбитые от верного Саратова воеводою Замятнею Сабуровым, с досады умертвили Осиновика на берегу Волги: Августа и Лавра велел повесить Лжедимитрий на московской дороге, чтобы их казнию засвидетельствовать свое небратство с ними. В опасностях не теряя дерзости — еще имея тысяч шестьдесят или более сподвижников — еще властвуя над знатною частию России южной и западной, от Тушина до Астрахани, пределов крымских и литовских — Самозванец тревожил нападениями слободы московские, перехватывал обозы на дорогах, теснил Коломну. Воевода его, лях Млоцкий, побил рязанцев, хотевших освободить сей город, им осажденный; а Лисовский, всегда храбрый, не всегда счастливый, загладил свои неудачи важным успехом. Винимый царем в медленности, Шереметев спешил из Владимира к Суздалю, еще неприятельскому, и стал на равнинах, где Лисовский ударом конницы смял всю его многочисленную, худо устроенную пехоту. Легло немалое число низовых жителей в битве кровопролитной и беспорядочной; с остальными Шереметев бежал к Владимиру. Москва узнала о том и смутилась. Народ уже не хотел верить и победам князя Михаила. В сие время голод снова усилился. Житницы Аврамиевы ис-

тощились, и четверть хлеба опять возвысилась ценою от двух до семи рублей. Чернь бунтовала; с шумом стремилась в Кремль; осаждала дворец; кричала: «Хлеба! хлеба! или да здравствует Тушинский!»... Но в час величайшего волнения явился Безобразов с дружиною: сквозь разъезды неприятельские он благополучно достиг Москвы и вручил царю письмо от князя Михаила; а царь велел читать оное всенародно, при звуке колоколов и пении благодарственного молебна во всех церквах. Князь Михаил писал, что Бог ему помогает. Исчезло отчаяние, сомнения и мятеж. Надежда на скорое избавление уменьшила и дороговизну с голодом. Новые вести еще более обрадовали Москву.

Ожидая Делагарди, князь Михаил хотел выгнать неприятеля из Переславля Залесского, чтобы беспрепятственно сноситься с Шереметевым и низовыми областями. Головин, Волуев и Зоме (1 сентября) ночью взяли сей город, убив 500 человек и пленив 150 шляхтичей Сапегиной рати. 16 сентября пришел наконец и Делагарди. Казна, доставленная Скопину усердием городов, дала ему средство удовлетворить вполне корыстолюбию шведов: им заплатили 15 000 рублей мехами и тем оживили их ревность. Полководцы, оба юные и пылкие духом, служили примером искреннего братства для воинов. 26 сентября князь Михаил и Делагарди двинулись вперед; оставили в Переславле сильную дружину и шли далее на юг; встретили, гнали малочисленных ляхов и заняли Александровскую Слободу, прославленную Иоанном. Там все еще напоминало его время: дворец, пять богатых храмов, чистые пруды, глубокие рвы и высокие стены, где Грозный искал безопасного убежища от России и совести. Место ужасов обратилось в место надежды и спасения. Там Михаил остановился; велел немедленно делать новые деревянные укрепления, выслал разъезды на дороги, открыл сообщение с Москвою и ежедневно писал к царю, чтобы условиться с ним в дальнейших действиях. Москва ожила изобилием. Уже с трех сторон везли к ней запасы: из Переславля, Владимира и Коломны: ибо лях Млоцкий, сведав о вступлении союзников в Александровскую Слободу, удалился к Серпухову. Уже князь Михаил имел 18 000 воинов, кроме шведов; но зная, что к нему идут новые дружины из городов северных, хотел до времени только отражать неприятеля.

Между тем изнуренная лавра, все еще осаждаемая Сапегою, простирала руки к избавителю. Горсть ее неутомимых воителей еще уменьшилась в новых делах кровопролитных, хотя и счастливых.

Узнав о Колязинской победе, они торжествовали ее дерзкими вылазками, били изменников и ляхов, отнимали у них запасы и стада. Князь Михаил дал чиновнику Жеребцову 900 воинов и велел силою или хитростию проникнуть в лавру: Жеребцов обманул неприятеля и, к радости ее защитников, без боя соединился с ними.

Тогда, встревоженный близостию князя Михаила и шведов, Сапега (18 октября) с 4000 ляхов вышел из Троицкого стана, чтобы узнать их силу; встретил передовую дружину россиян в селе Коринском и гнал ее до укреплений слободы. Тут было жаркое дело. Начали шведы, кончили россияне: Сапега уступил, если не мужеству, то числу превосходному — и возвратился к своей бесконечной осаде, как бы все еще надеясь взять лавру! Но он сам находился уже едва не в осаде: разъезды, высылаемые князем Михаилом из слободы, Шереметевым из Владимира и царем из Москвы, прерывали сообщения изменников и ляхов между лаврою и Тушиным; не пускали к ним ни гонцов, ни хлеба, портили дороги, делали засеки. К счастию князя Михаила, главные вожди польские, гетман Рожинский и Сапега, оба гордые, властолюбивые, не могли быть единодушными: видя его опасное наступление, съехались для совета и расстались в жаркой ссоре, чтобы действовать независимо друг от друга: гетман ускакал назад в Тушино, а Сапега возобновил бесполезные приступы к лавре, почти на глазах князя Михаила, коего войско умножалось.

Уже Слобода Александровская как бы представляла Россию и затмевала Москву своею важностию. Туда стремились взоры и сердца сынов отечества; туда и воины, толпами и порознь, конные и пешие, не многие в доспехах, все с мечом или копием и с ревностию. Новые дружины, из Ярославля, боярин Шереметев из Владимира с низовою ратию, князья Иван Куракин и Лыков из Москвы с полками царскими присоединились к князю Михаилу. Ждали и сильнейшего вспоможения от Карла IX: Делагарди писал к нему, что должно победить Сигизмунда не в Ливонии, а в России. Все благоприятствовало юному Герою: доверенность царя и союзников, усердие и единодушие своих, смятение и раздор неприятелей. Наконец россияне видели, чего уже давно не видали: ум, мужество, добродетель и счастие в одном лице; видели мужа великого в прекрасном юноше и славили его с любовию, которая столь долго была жаждою, потребностию неудовлетворяемою их сердца, и нашла предмет столь чистый. Но сия любовь, способствуя успеху великого дела, избавлению отечества, имела и несчастное следствие.

Князь Михаил служил царю и царству по закону и совести, без всяких намерений властолюбия, в невинной, смиренной душе едва ли пленяясь и славою: не так мыслили за него другие, уже с бедственным навыком к переменам, низвержениям и беззакониям. Многим казалось, что если Бог восстановит Россию, то она в награду за свои великодушные усилия должна иметь царя лучшего, не Василия, который предал государство разбойникам, сравнял Москву с Тушиным и едва, на главе слабой, удерживает венец, срываемый с него буйною чернию; а мысль о новом царе была мыслию о князе Михаиле — и человек, сильный духом, дерзнул всенародно изъявить оную. Тот, кто господством ума своего решил судьбу первого бунта, способствовал успехам и гибели опасного Болотникова, изменил Василию и загладил измену важными услугами,— не только не пристал ко второму Лжедимитрию, но и не дал ему Рязани — думный дворянин Ляпунов вдруг, и торжественно, именем России, предложил царство Скопину, называя его в льстивом письме единым достойным венца, а Василия осыпая укоризнами. Сию грамоту вручили князю Михаилу послы рязанские: не дочитав, он изодрал ее, велел схватить их как мятежников и представить царю. Послы упали на колени, обливались слезами, винили одного Ляпунова, клялися в верности к Василию. Еще более милосердый, нежели строгий, князь Михаил дозволил им мирно возвратиться в Рязань, надеясь, может быть, образумить ее дерзкого воеводу и сохранить в нем знаменитого слугу для отечества. Он сохранил Ляпунова, но не спас себя от клеветы: сказали Василию, что Скопин с удивительным великодушием милует злодеев, которые предлагают ему измену и царство. Подозрение гибельное уязвило Василиево сердце; но еще имели нужду в Герое, и злоба таилась.

Еще, не взирая на близость спасения, Москва тревожилась некоторыми удачами и дерзостию неприятеля. Млоцкий в набегах своих из Серпухова грабил обозы между Коломною и столицею. Там же явились многочисленные толпы разбойников с атаманом Салковым, хатунским крестьянином; присоединились к Млоцкому и побили воеводу, князя Литвинова-Мосальского, высланного царем очистить Коломенскую дорогу; а на Слободской злодействовал изменник князь Петр Урусов с шайками татар юртовских. Цена хлеба снова возвысилась в Москве; открылась даже и нечаянная измена. Царский атаман Гороховый, будучи с козаками и детьми боярскими в Красном селе на страже, ночью впустил в не-

го отряд Лжедимитриев: верные дети боярские имели время спастися, а козаки передались к Самозванцу, выжгли Красное село и бежали в Тушино. В другую ночь такие же изменники подвели неприятеля, выше Неглинной, к деревянному городу и зажгли стены; но москвитяне, отбив злодеев, утушили огонь. Между тем разбойник Салков в пятнадцати верстах от столицы одержал верх над воеводою московским, Сукиным, и занял Владимирскую дорогу. Надлежало избрать лучшего стратега, чтобы одолеть сего второго Хлопка: выступил князь Дмитрий Пожарский, уже знаменитый,— встретил на берегах Пехорки и совершенно истребил его злую шайку; осталося только тридцать человек, которые, вместе с их атаманом, дерзнули явиться в Москве с повинною! Другие отряды царские прогнали Млоцкого к Можайску.—Из Слободы князья Лыков и Борятинский с россиянами и шведами ходили к Суздалю и думали взять его незапно, в темную ночь: там бодрствовал Лисовский и встретил их неустрашимо: они уклонились от битвы.

В то время, когда князь Михаил, умножая, образуя войско и щитом своим уже прикрывая вместе и лавру и столицу, готовился действовать наступательно—когда Москва, долго отлученная от России, снова соединилась с нею, как глава с телом, видя вокруг себя уже немногие города под знаменами Лжедимитрия — в то время новый неприятель, не с шайками бродяг и разбойников, но с войском стройным, с предводителями искусными, с силами целой, знаменитой державы, находился в недрах России и делал, что ему угодно, как бы не возбуждая ни малейшего внимания ни в Москве, ни в стане Александровском!.. Обращаемся к Сигизмунду. Василий не противился его вступлению в наше княжество Смоленское, ибо не имел сил противиться: оказалось, что сие вероломное нападение было для Василия лучшим средством избавиться от врага опаснейшего и ближайшего.

Веря слухам, что жители Смоленска нетерпеливо ждут Сигизмунда как избавителя, он (в сентябре месяце) подступил к сей древней столице княжества Мономахова с двенадцатью тысячами отборных всадников, пехотою немецкою, литовскими татарами и десятью тысячами козаков запорожских; расположился станом на берегу Днепра, между монастырями Троицким, Спасским, Борисоглебским, и послал универсал, или манифест, к гражданам, объявляя, что Бог казнит Россию за Годунова и *других* властолюбцев, которые беззаконно в ней царствовали и царствуют, вос-

паляя междоусобие и призывая иноплеменников терзать ее недра; что шведы хотят овладеть Московским государством, истребить Веру православную и дать нам свою ложную; что многие россияне тайными письмами убеждали его (Сигизмунда), венценосца истинно христианского, брата и союзника их царей законных, спасти отечество и церковь; что он, движимый любовию, единственно снисходя к такому слезному молению, идет с войском и с помощию Богоматери избавить Россию от всех неприятелей; что жители Смоленска в знак душевной радости, должны встретить его с хлебом и солью. За мирное подданство Сигизмунд обещал им новые права и милости; за упрямство грозил огнем и мечом. На сию пышную грамоту ответствовали словесно воеводы, боярин Шеин и князь Горчаков, архиепископ Сергий, люди служивые и народ. «Мы в храме Богоматери дали обет не изменять государю нашему, Василию Иоанновичу, а тебе, литовскому королю, и твоим панам не раболепствовать во веки». Послав Сигизмундову грамоту в Москву, они писали к царю: «Не оставь сирот твоих в крайности. Людей ратных у нас мало. Жители уездные не хотели к нам присоединиться: ибо король обманывает их вольностию; но мы будем стоять усердно». Воеводы советовались с дворянами и гражданами; выжгли посады и слободы; заключились в крепости и выдержали осаду, если не знаменитейшую Псковской или Троицкой, то еще долговременнейшую и равно блистательную в летописях нашей воинской славы.

Видя, что Смоленск надобно взять не красноречием, а силою, король велел громить стены пушками; но ядра или не достигали вершины косогора, где стоит крепость, или безвредно падали к подножию ее высоких, твердых башен, воздвигнутых Годуновым; а пальба осажденных, гораздо действительнейшая, выгнала ляхов из монастыря Спасского. Зная, вероятно, что в крепости более жен и детей, нежели воинов, Сигизмунд решился на приступ: 23 сентября, за два часа до света, ляхи подкрались к стене и разбили петардою Аврамовские ворота, но не могли вломиться в крепость. 26 сентября, также ночью, взяли острог Пятницкого конца; а в следующую ночь всеми силами приступили к Большим воротам: тут было дело кровопролитное, счастливое для осажденных, и неприятель, везде отбитый, с того времени уже не выходил из стана; только стрелял день и ночь в город, напрасно желая проломить стену, и вел подкопы бесполезные: ибо россияне, имея слухи, или ходы в глубине земли, всегда узнавали место сей тайной

работы, сами делали подкопы и взрывали неприятельские с людьми на воздух. Историки польские отдают справедливость мужеству и разуму Шеина, также и блестящей смелости его сподвижников, сказывая, что однажды, среди белого дня, шесть воинов смоленских приплыли в лодке к стану маршала Дорогостайского, схватили знамя литовское и возвратились с ним в крепость. — Наступила зима. Сигизмунд, упрямством подобный Баторию, хотел непременно завоевать Смоленск; терял время и людей в праздной осаде, и думая свергнуть Шуйского, губил Самозванца!

Весть о вступлении Сигизмундовом в Россию встревожила не столько Москву, сколько Тушино, где скоро узнали, что шайки запорожцев, служа королю, берут города его именем, и что Путивль, Чернигов, Брянск, вместе с иными областями Северскими, волею или неволею ему покорились, изменив Лжедимитрию. «Чего хочет Сигизмунд? — говорили тушинские и Сапегины ляхи с негодованием: — лишить нас славы и возмездия за труды; взять даром, что мы в два года приобрели своею кровию и победами! Северская земля есть наша собственность: из ее доходов Димитрий обещал платить нам жалованье — и кто же в ней теперь властвует? новые пришельцы, богатые грабежом; а мы остаемся в бедности, с одними ранами!» Так говорили чиновники и дворяне: воеводы же главные негодовали еще сильнее; лишаясь надежды разделить с Лжедимитрием все богатства державы Российской и привыкнув видеть в нем не властителя, а клеврета, не могли спокойно воображать себя под знаменами республики наравне с другими воеводами королевскими. Сапега колебался: Рожинский действовал и заключил с своими товарищами новый союз: они клялися умереть или воцарить Лжедимитрия, назвалися конфедератами и послали сказать Сигизмунду: «Если сила и беззаконие готовы исхитить из наших рук достояние меча и геройства, то не признаем ни короля королем, ни отечества отечеством, ни братьев братьями!» Рожинский писал к своему монарху: «Ваше величество все знали, и единственно нам предоставляли кончить войну за Димитрия, еще более для республики, нежели для нас выгодную; но вдруг, неожиданно, вы являетесь с полками, отнимаете у него землю Северскую, волнуете, смущаете россиян, усиливаете Шуйского и вредите делу, уже почти совершенному нами!.. Сия земля нашею кровию увлажена, нашею славою блистает. В сих могилах, от Днепра до Волги, лежат кости моих храбрых сподвижников... Уступим ли другому Россию? Скорее все

мы, остальные, положим также свои головы... и враг Димитрия, кто бы он ни был, есть наш неприятель!» Гетману Жолкевскому говорили послы конфедератов: «Издревле витязи республики, рожденные в недрах златой свободы, любили искать воинской славы в землях чуждых: так и мы своим мечом, *истинным Марсовым ралом, возделывали землю Московскую, чтобы пожать на ней честь и корысть*. Сколь же горестно нам видеть противников в единоземцах и братьях! В сей горести простираем руки к тебе, гетману отечественного воинства, нашему учителю в делах славы! Изъясни сенату, блюстителю законов и свободы, чего мы требуем справедливо: да удержит Сигизмунда»... Тут паны и дворяне королевские воплем негодования прервали дерзкую речь; велели послам удалиться, язвительно издевались над ними; спрашивали в насмешку о здоровье *их государя Димитрия*, о втором бракосочетании царицы Марии — и дали им, от имени Сигизмундова, следующий ответ письменный: «Вам надлежало не посылать к королю, а ждать его посольства: тогда вы узнали бы, для чего он вступил в Россию. Отечество наше конечно славится редкою свободою; но и свобода имеет законы, без коих государство стоять не может. Закон республики не дозволяет воевать и королю без согласия чинов государственных; а вы, люди частные, своевольным нападением раздражаете опаснейшего из врагов ее: вами озлобленный Шуйский мстит ей крымцами и шведами. Легко призвать, трудно удалить опасность. Хвáлитесь победами; но вы еще среди неприятелей сильных... Идите и скажите своим клевретам, что искать славы и корысти беззаконием, мятежничать и нагло оскорблять Верховную Власть есть дело не граждан свободных, а людей диких и хищных».

Одним словом, казалось, что не подданные с государем и государством, а две особенные державы находятся в жарком прении между собою и грозят друг другу войною! Изъясняясь с некоторою твердостию, Сигизмунд не думал однако ж быть строгим для усмирения крамольников, ибо имел в них нужду и надеялся вернее обольстить, нежели устрашить их: разведывал, что делается в Лжедимитриевом стане; узнал о несогласии Сапеги и Зборовского с Рожинским, о явном презрении умных ляхов к Самозванцу, о желании многих из них, вопреки клятвенно утвержденному союзу между ними, действовать заодно с королевским войском, — и торжественно назначил (в декабре 1609) послов в Тушино: панов Стадницкого, князя Збараского, Тишкевича, с дружиною

знатною. Он предписал им, что говорить воинам и начальникам, гласно и тайно; дал грамоту к царю Василию, доказывая в ней справедливость своего нападения, но изъявляя и готовность к миру на условиях, выгодных для республики; дал еще особенную грамоту к патриарху, духовенству, синклиту, дворянству и гражданству московскому, в коей, уже снимая с себя личину, вызывался прекратить их жалостные бедствия, если они с благодарным сердцем прибегнут к его державной власти, и королевским словом уверял в целости нашего богослужения и всех уставов священных. В таком же смысле писал Сигизмунд и к россиянам, служащим мнимому Димитрию; а к Самозванцу писали только сенаторы, называя его в титуле ***яснейшим князем*** и прося оказать послам достойную честь из уважения к республике, не сказывая, зачем они едут в стан Тушинский,

Уже конфедераты, лишаясь надежды взять Москву, более и более опасаясь князя Михаила и страшась недостатка в хлебе, отнимаемом у них разъездами воевод царских, умерили свою гордость; ждали сих послов нетерпеливо и встретили пышно. Любопытный Самозванец вместе с Мариною смотрел из окна на их торжественный въезд в Тушино, едва ли угадывая, что они везут ему гибель! Рожинский советовал им представиться Лжедимитрию: Стадницкий и Збараский отвечали, что имеют дело единственно до войска — и, после великолепного пира, созвали всех ляхов слушать наказ королевский. Среди обширной равнины послы сидели в креслах: воеводы, чиновники, дворяне стояли в глубоком молчании. Сигизмунд объявлял, что извлекая меч на Шуйского за многие неприятельские действия россиян, спасает тем конфедератов, уже малочисленных, изнуренных долговременною войною и теснимых соединенными силами москвитян и шведов; ждет добрых сынов отечества под свои хоругви, забывает вину дерзких, обещает всем жалованье и награды. Выслушав речь посольскую, многие изъявили готовность исполнить волю Сигизмунда; другие желали, чтобы он, взяв Смоленск и Северскую землю от Димитрия, мирно возвратился в отечество, а войско республики присоединил к конфедератам для завоевания всего царства Московского. «Согласно ли с достоинством короля, — возражали послы, — иметь владенную грамоту на российские земли от того, кому большая часть россиян дает имя обманщика? и благоразумно ли проливать за него драгоценную кровь ляхов?» Конфедераты требовали по крайней мере двух миллионов злотых;

требовали еще, чтобы Сигизмунд назначил пристойное содержание для мнимого Димитрия и жены его. «Вспомните, — ответствовали им, — что у нас нет Перуанских рудников. Удовольствуйтесь ныне жалованьем обыкновенным; когда же Бог покорит Сигизмунду великую державу Московскую, тогда и прежняя ваша служба не останется без возмездия, хотя вы служили не государю, не республике, а человеку стороннему, без их ведома и согласия». О будущей доле Самозванца послы не сказали ни слова. Вожди и воины просили времени для размышления.

Что ж делал Самозванец, еще окруженный множеством знатных россиян, еще глава войска и стана? Как бы ничего не зная, сидел в высоких хоромах тушинских и ждал спокойного решения судьбы своей от людей, которые назывались его слугами; упоенный сновидением величия, боялся пробуждения и смыкал глаза под ударом смертоносным. Уже давно терпел он наглость ляхов и презрение россиян, не смея быть взыскательным или строгим: так гетман вспыльчивый, в присутствии Лжедимитрия, изломал палку об его любимца, князя Вишневецкого, и заставил царика бежать от страха вон из комнаты; а Тишкевич в глаза называл Самозванца обманщиком. Многие россияне, долго лицемерив и честив бродягу, уже явно гнушались им, досаждали ему невниманием, словами грубыми и думали между собою, как избыть вместе и Шуйского и Лжедимитрия. Сие спокойствие злодея, в роковой час оставленного умом и смелостию, способствовало успеху послов Сигизмундовых.

Они пригласили к себе знатнейших россиян Лжедимитриева стана и, вручив им грамоту Сигизмундову, изъяснили, что хотя король вступил в Россию с оружием, но единственно для ее мира и благоденствия, желая утишить бунт, истребить бесстыдного Самозванца, низвергнуть тирана вероломного (Шуйского), освободить народ, утвердить Веру и церковь. «Сии люди, — пишет историк польский, — угнетенные долговременным злосчастием, не могли найти слов для выражения своей благодарности: печальные лица их осветились радостию; они плакали от умиления, читали друг другу письмо королевское, целовали, прижимали к сердцу начертание его руки, восклицая: *не можем иметь государя лучшего*!.. Так замысел Сигизмундов на венец Мономахов был торжественно объявлен и торжественно одобрен россиянами; но какими? Сонмом изменников: боярином Михайлом Салтыковым, князем Василием Рубцем-Мосальским и клевретами их, вероломными

цами опытными, которые, нарушив три присяги[1], и нарушая четвертую, не усомнились предать иноплеменнику и Лжедимитрия и Россию, чтобы спастися от мести Шуйского, ранним усердием снискать благоволение короля и под сению нового царствующего Дома вкусить счастливое забвение своих беззаконий! В сей думе крамольников присутствовал, как пишут, и муж добродетельный, пленник Филарет, ее невольный и безгласный участник.

Уверенные в согласии тушинских россиян иметь царем Сигизмунда, послы в то же время готовы были вступить в сношение и с Василием, как законным монархом: доставили ему грамоту королевскую и, вероятно, предложили бы мир на условии возвратить Литве Смоленск или землю Северскую: чем могло бы удовольствоваться властолюбие Сигизмундово, если бы россияне не захотели изменить своему венценосцу. Но Василий, перехватив возмутительные письма королевские к духовенству, боярам и гражданам столицы, не отвечал Сигизмунду, в знак презрения: обнародовал только его вероломство и козни, чтобы исполнить негодования сердца россиян. Москва была спокойна; а в Тушине вспыхнул мятеж.

Дав конфедератам время на размышление, послы Сигизмундовы уже тайно склонили князя Рожинского и главных воевод присоединиться к королю. Не хотели вдруг оставить Самозванца, боясь, чтобы многолюдная сволочь тушинская не передалась к Василию: условились до времени терпеть в стане мнимое господство Лжедимитриево для устрашения Москвы, а действовать по воле Сигизмунда, имея главною целию низвергнуть Шуйского. Но ослепление и спокойствие бродяги уже исчезли: угадывая или сведав замышляемую измену, он призвал Рожинского и с видом гордым спросил, что делают в Тушине вельможи Сигизмундовы, и для чего к нему не являются? Гетман нетрезвый забыл лицемерие: отвечал бранью и даже поднял руку. Самозванец в ужасе бежал к Марине; кинулся к ее ногам; сказал ей: «Гетман выдает меня королю; я должен спасаться: прости» — и ночью (29 декабря), надев крестьянское платье, с шутом своим, Петром Кошелевым, в навозных санях уехал искать нового гнезда для злодейства: ибо царство злодея еще не кончилось!

На рассвете узнали в тушинском стане, что мнимый Димитрий пропал: все изумились. Многие думали, что он убит и брошен в

---

[1] Годунову, Расстриге, Василию. (XII, 460.)

реку. Сделалось ужасное смятение: ибо знатная часть войска еще усердствовала Самозванцу, любя в нем атамана разбойников. Толпы с яростным криком приступили к гетману, требуя своего Димитрия и в то же время грабя обоз сего беглеца, серебряные и золотые сосуды, им оставленные. Гетман и другие начальники едва могли смирить мятежников, уверив их, что Самозванец, не убитый, не изгнанный, добровольно скрылся в чувстве малодушного страха, и что не бунтом, а твердостию и единодушием должно им выйти из положения весьма опасного. Не менее волновались и российские изменники, лишенные главы: одни бежали вслед за Самозванцем, другие в Москву; знатнейшие пристали к конфедератам и вместе с ними отправили посольство к Сигизмунду.

Между тем Марина, оставленная мужем и двором, не изменяла высокомерию и твердости в злосчастии; видя себя в стане под строгим надзором и как бы пленницею ненавистного ей гетмана, упрекала ляхов и россиян предательством; хотела жить или умереть царицею; ответствовала своему дяде, пану Стадницкому, который убеждал ее прибегнуть к Сигизмундовой милости и назвал в письме только дочерью Сендомирского воеводы, а не государынею московскою: «Благодарю за добрые желания и советы; но правосудие Всевышнего не даст злодею моему, Шуйскому, насладиться плодом вероломства. Кому Бог единожды дает величие, тот уже никогда не лишается сего блеска, подобно солнцу, всегда лучезарному, хотя и затмеваемому на час облаками». Она писала к королю: «Счастие меня оставило, но не лишило права властительского, утвержденного моим царским венчанием и двукратною присягою россиян»; желала ему успеха в войне, не уступая венца Мономахова, — ждала случая действовать и воспользовалась первым.

Скоро сведали, где Лжедимитрий: он уехал в Калугу; стал близ города в монастыре и велел инокам объявить ее жителям, что король Сигизмунд требовал от него земли Северской, желая обратить ее в латинство, но получив отказ, склонил гетмана и все тушинское войско к измене; что его (Самозванца) хотели схватить или умертвить; что он удалился к ним, достойным гражданам знаменитой Калуги, надеясь с ними и с другими верными ему городами изгнать Шуйского из Москвы и ляхов из России или погибнуть славно за целость государства и за святость Веры. Дух буйности жил в Калуге, где оставались еще многие из сподвижников атамана Болотникова: они с усердием встретили злодея как государя законного, ввели в лучший дом, наделили всем нужным,

богатыми одеждами, конями. Прибежали из Тушина некоторые ближние чиновники Самозванцевы; пришел главный крамольник князь Григорий Шаховской с полками козаков из Царева-Займища, где он наблюдал движения Сигизмундовой рати. Составились дружины телохранителей и воинов, двор и правительство, достойное Лжецаря, коего первым указом в сем новом вертепе злодейства было истребление ляхов и немцев за неприятельские действия Сигизмунда и шведов: их убивали, вместе с верными царю россиянами, во всех городах, еще подвластных Самозванцу: Туле, Перемышле, Козельске; грабили купцов иноземных на пути из Литвы к Тушину. В Калуге утопили бывшего воеводу ее, ляха Скотницкого, подозреваемого Лжедимитрием в измене. Там же истерзали доброго окольничего Ивана Ивановича Годунова, как усердного слугу Василиева. Взяв его в плен, свергнули с башни и еще живого кинули в реку; он ухватился за лодку: злодей Михайло Бутурлин отсек ему руку, и сей мученик верности утонул в глазах отчаянной жены своей, сестры Филаретовой. Быв дотоле в некоторой зависимости от гетмана и других знатных клевретов, Самозванец уже мог действовать свободно, зверствовать до безумия, хваляся особенно ненавистию ко всему нерусскому и говоря, что когда будет царем на Москве, то не оставит в живых ни единого иноплеменника, ни грудного младенца, ни зародыша в утробе матери! И кровию ляхов обагренный, тогда же искал в них еще усердия к его злодейству!

В тушинском стане читали тайные грамоты Лжедимитриевы: Самозванец писал, что возвратится к своим добрым сподвижникам с богатою казною, если они дадут ему новую клятву в верности и накажут главных виновников измены. Прибыли и тайные послы его, лях Казимирский и Глазун-Плещеев: они внушали ляхам и козакам, что один Димитрий может обогатить их, имея еще владения обширные и миллионы готовые. Люди, сколько-нибудь благоразумные, не слушали; но бродяги, грабители снова взволновались, и еще более, когда Марина, пользуясь смятением, явилась между воинами с растрепанными волосами, с лицом бледным, с глубокою горестию и слезами; не упрекала, но трогала, видом и словами; убеждала не оставлять Димитрия, исполненного к ним любви и благодарности: не лишать себя праведного возмездия за труды, для него понесенные,— не обольщаться королевскою милостию, ничем незаслуженною и следственно ненадежною; ходила из ставки в ставку; каждого из чиновников называла именем, ла-

сково приветствовала, молила соединиться с ее мужем. Все было в движении; стремились видеть и слушать прелестную женщину, красноречивую от живых чувств и разительных обстоятельств судьбы ее. Говорили: «Послы королевские нас обманули и разлучили с Димитрием! Где тот, за кого мы умирали? От кого будем требовать награды?» Еще гетман и воеводы нашли средство обуздать ляхов; но донцы сели на коней и выступили полками из Тушина к Калуге. Гетман с своими латниками настиг их, изрубил более тысячи и заставил побежденных возвратиться.

Спокойствие было кратковременно. Не имев совершенного успеха в намерении взбунтовать тушинский стан и боясь мести гетмана, Марина, в одежде воина, с луком и тулом за плечами, [11 февраля 1610 г.] ночью, в трескучий мороз ускакала верхом к мужу, провождаемая только слугою и служанкою. Поутру нашли в ее комнатах следующее письмо к войску: «Без друзей и ближних, одна с своею горестию, я должна спасать себя от наглости моих мнимых защитников. В упоении шумных пиров, клеветники гнусные равняют меня с женами презрительными, умышляют измену и ковы. Сохрани Боже, чтобы кто-нибудь дерзнул торговать мною и выдать меня человеку, которому ни я, ни мое царство не подвластны! Утесненная и гонимая, свидетельствуюсь Всевышним, что не престану блюсти своей чести и славы, и быв властительницею народов, уже никогда не соглашусь возвратиться в звание польской дворянки. Надеясь, что храброе воинство не забудет присяги, моей благодарности и наград ему обещанных, удаляюсь». Сие письмо читали всенародно в Тушине благоприятели Марины и произвели желаемое действие: новый мятеж, еще сильнейший прежних. Неистовые, с обнаженными саблями окружив ставку гетмана, вопили: «Злодей! Ты выгнал злосчастную Марину твоею буйностию, в чаду высокоумия и пьянства! Ты, вероломец, подкупленный королем, чтобы обманом вырвать из наших рук казну московскую! Возврати нам Димитрия или умри, изменник!» Стреляли из пистолетов; хотели действительно убить Рожинского, выбрать иного начальника и немедленно идти к Самозванцу; но снова одумались, примирились с неустрашимым гетманом и дали ему слово ждать ответа королевского. «Ни за что не ручаюсь, — писал Рожинский к Сигизмунду, — если Ваше Величество не благоволите удовлетворить желаниям войска и бояр московских, с нами соединенных».

Сии желания или требования были объявлены королю послами россиян и ляхов тушинских. В числе сорока двух первых на-

ходились Михайло Салтыков и сын его Иван, князь Рубец-Мосальский и Юрий Хворостинин, Лев Плещеев, Молчанов (тот самый, который в Галиции выдавал себя за Димитрия), дьяки Грамотин, Андронов, Чичерин, Апраксин и многие дворяне. Сигизмунд принял их (31 генваря) с великою пышностию, сидя на престоле, в кругу сенаторов и знатных панов. Седовласый изменник Салтыков говорил длинную речь о бедствиях России, о доверенности ее к королю, и замолчал от усталости. Сын его и дьяк Грамотин продолжали: один исчислил всех наших государей от Рюрика до Иоанна и Феодора; другой молил Сигизмунда быть заступником нашего православия и тем снискать милость Всевышнего. Наконец боярин Салтыков предложил венец Мономахов не Сигизмунду, но юному королевичу Владиславу; а Грамотин заключил изображением выгод, безопасности, благоденствия обеих держав, которые со временем будут единою под скиптром Владислава. Литовский канцлер Лев Сапега ответствовал, что Сигизмунд благодарит за оказываемую ему честь и доверенность, соглашается быть покровителем Российской державы и церкви и назначит сенаторов для переговоров о деле столь важном.

Переговоры началися немедленно, и послы изменников тушинских сказали сенаторам: «С того времени, как смертию Иоаннова наследника извелося державное племя Рюриково, мы всегда желали иметь одного венценосца с вами: в чем может удостоверить вас сей думный боярин Михайло Глебович Салтыков, зная все тайны государственные. Препятствием были грозное властвование Борисово, успехи Лжедимитрия, беззаконное воцарение Шуйского и явление второго Самозванца, к коему мы пристали, не веря ему, но от ненависти к Василию, и только до времени. Обрадованные вступлением короля в Россию, мы тайно снеслися с людьми знатнейшими в Москве, сведали их единомыслие с нами и давно прибегнули бы к Сигизмунду, если бы ляхи Лжедимитриевы тому не противились. Ныне же, когда вожди и войско готовы повиноваться законному монарху, объявившему нам чистоту своих намерений, — ныне смело убеждаем его величество дать нам сына в цари: ибо ему самому, государю иной великой державы, нельзя оставить ее, ни управлять Московскою чрез наместника. Вся Россия встретит царя вожделенного с радостию; города и крепости отворят врата; патриарх и духовенство благословят его усердно. Только да не медлит Сигизмунд; да идет прямо к Москве и подкрепит войско, угрожаемое превосходными си-

лами Скопина и шведов. Мы впереди: укажем ему путь и средства взять столицу; сами свергнем, истребим Шуйского, как жертву, уже давно обреченную на гибель. Тогда и Смоленск, осаждаемый с таким усилием тягостным, доселе бесполезным — тогда и все государство последует нашему примеру». Но, боясь ли, как пишут, вверить судьбу шестнадцатилетнего королевича народу, ославленному строптивостию и мятежами, или от личного властолюбия не расположенный уступить Московское царство даже и сыну, Сигизмунд изъяснился двусмысленно. Сенаторы его ответствовали изменникам, что *если* Всевышний благословит доброе желание россиян; *если* грозные тучи, висящие над их державою, удалятся, и тихие дни в ней снова воссияют; *если* в мире и согласии, духовенство, вельможи, войско, граждане все единодушно захотят Владислава в цари: то Сигизмунд конечно удовлетворит их общей воле — и готов идти к Москве, как скоро тушинская рать к нему присоединится.

В дальнейших объяснениях послы требовали, чтобы Владислав принял нашу Веру: им сказали, что Вера есть дело совести и не терпит насилия; что можно внушать и склонять, а не велеть. «Сии люди,— говорит польский историк,— мало заботились о правах и вольностях государственных: твердили единственно о церкви, монастырях, обрядах; только ими дорожили, как главным, существенным предметом, необходимым для их мира душевного и счастия». Именем королевским сенаторы письменно утвердили неприкосновенность всех наших священных уставов и согласились, чтобы королевич, *если* Бог даст ему государство Московское, был венчан патриархом; обязались также соблюсти целость России, ее законы и достояние людей частных; а послы клялися оставить Шуйского и Самозванца, верно служить государю Владиславу, и доколе он еще не царствует, служить отцу его. В то же время король писал к сенату, что Москва в смятении, и князь Михаил в раздоре с Василием; что должно пользоваться обстоятельствами, расширить владения республики и завоевать часть России или всю Россию! Не могли Салтыков и клевреты его быть слепыми: они видели, что король готовит царство себе, а не Владиславу; знали, что и Владислав не мог ни в каком случае принять нашего Закона: но ужасаясь близкого торжества Василиева, как своей гибели, и давно погрязнув в злодействах, не усомнились предать отечество из рук низкого Самозванца в руки венценосца иноверного; предлагали условия единственно для ослепления других россиян,

и лицемерно восхищаясь мнимою готовностию Сигизмунда исполнить все их желания, громогласно благодарили его и плакали от радости. Пировали, обедали у короля, гетмана Жолкевского и Льва Сапеги. Сидя на возвышенном месте, король пил за здравие послов: они пили за здравие царя Владислава. Написали грамоты к воеводам городов окрестных, славя великодушие Сигизмунда, убеждая их присягнуть королевичу, соединиться с братьями ляхами, и некоторых обольстили: Ржев и Зубцов поддалися царю новому, мнимому. Но знаменитый Шеин, уже пять месяцев осаждаемый в Смоленске, к его славе и бедствию королевского войска, истребляемого трудами, битвами и морозами, не обольстился: вызванный из крепости изменниками для свидания, слушал их с презрением и возвратился верным, непоколебимым.

Довольный тушинскими россиянами, Сигизмунд тем менее был доволен тушинскими ляхами, коих послы снова требовали миллионов, и хотели, чтобы он, взяв Московское государство, дал Марине Новгород и Псков, а мужу ее княжество особенное. Опасаясь раздражить людей буйных и лишиться их важного, необходимого содействия, король обещал уступить им доходы земли Северской и Рязанской, милостиво наделить Марину и Лжедимитрия, если они смирятся, и немедленно прислать в Тушино вельможу Потоцкого с деньгами и с войском, чтобы истребить или прогнать князя Михаила, стеснить Москву и низвергнуть Шуйского. Но сей ответ не успокоил конфедератов: не верили обещаниям; ждали денег — а Сигизмунд медлил и морил людей под стенами Смоленска; не присылал ни серебра, ни войска к мятежникам: ибо его любимец Потоцкий, к досаде гетмана Жолкевского, распоряжая осадою, не хотел двинуться с места, чтобы отсутствием не утратить выгод временщика.

Вести калужские еще более взволновали конфедератов: там Лжедимитрий снова усиливался и царствовал; там явилась и жена его, славимая как героиня. Выехав из Тушина, она сбилась с дороги и попала в Дмитров, занятый войском Сапеги, который советовал ей удалиться к отцу. «Царица московская, — сказала Марина, — не будет жалкою изгнанницею в доме родительском», — и взяв у Сапеги немецкую дружину для безопасности, прискакала к мужу, который встретил ее торжественно вместе с народом, восхищенным ее красотою в убранстве юного витязя. Калуга веселилась и пировала; хвалилась призраком двора, многолюдством, изобилием, покоем, — а тушинские ляхи терпели го-

лод и холод, сидели в своих укреплениях как в осаде или, толпами выезжая на грабеж, встречали пули и сабли царских или Михайловых отрядов. Кричали, что вместе с Димитрием оставило их и счастие; что в Тушине бедность и смерть, в Калуге честь и богатство; не слушали новых послов королевских, прибывших к ним только с ласковыми словами; кляли измену своих предводителей и козни Сигизмундовы; хотели грабить стан и с сею добычею идти к Самозванцу. Но гетман, в последний раз, обуздал буйность страхом.

Уже князь Михаил действовал. Войско его умножилось, образовалось. Пришло еще 3000 шведов из Выборга и Нарвы. Готовились идти прямо на Сапегу и Рожинского, но хотели озаботить их и с другой стороны: послали воевод Хованского, Борятинского и Горна занять южную часть Тверской и северную Смоленской области, чтобы препятствовать сообщению конфедератов с Сигизмундом. Между тем чиновник Волуев с пятьюстами ратников должен был осмотреть вблизи укрепления Сапегины. Он сделал более: ночью (генваря 4) вступил в лавру, взял там дружину Жеребцова, утром напал на ляхов и возвратился к князю Михаилу с толпою пленников и с вестию о слабости неприятеля. Войско ревностно желало битвы, надеясь поразить Сапегу и гетмана отдельно. Но дерзость первого уже исчезла: будучи в несогласии с Рожинским, оставив Лжедимитрия и еще не пристав к королю, едва ли имея 6000 сподвижников, изнуренных болезнями и трудами, Сапега увидел поздно, что не время мыслить о завоевании монастыря, а время спасаться: снял осаду (12 генваря) и бежал к Дмитрову. Иноки и воины лавры не верили глазам своим, смотря на сие бегство врага, столь долго упорного! Оглядели безмолвный стан изменников и ляхов; нашли там множество запасов и даже немало вещей драгоценных; думали, что Сапега возвратится — и чрез восемь дней послали наконец инока Макария со Святою водою в Москву, объявить царю, что лавра спасена Богом и князем Михаилом, быв 16 месяцев в тесном облежании. Уже сияя не только святостию, но и славою редкою — любовию к отечеству и Вере преодолев искусство и число неприятеля, нужду и язву — обратив свои башни и стены, дебри и холмы в памятники доблести бессмертной — лавра увенчала сей подвиг новым государственным благодеянием. Россияне требовали тогда единственно оружия и хлеба, чтобы сражаться; но союзники их, шведы, требовали денег: иноки троицкие, встретив

князя Михаила и войско его с любовию, отдали ему все, что еще имели в житницах, а шведам несколько тысяч рублей из казны монастырской. — Глубина снегов затрудняла воинские действия: князь Иван Куракин с россиянами и шведами выступил на лыжах из лавры к Дмитрову и под стенами его увидел Сапегу. Началось кровопролитное дело, в коем россияне блестящим мужеством заслужили громкую хвалу шведов, судей непристрастных; победили, взяли знамена, пушки, город Дмитров и гнали неприятеля легкими отрядами к Клину, нигде не находя ни жителей, ни хлеба в сих местах, опустошенных войною и разбоями. Предав ляхов тушинских судьбе их, Сапега шел день и ночь к калужским и смоленским границам, чтобы присоединиться к королю или Лжедимитрию, смотря по обстоятельствам.

До сего времени Сапега был щитом для Тушина, стоя между им и Слободою Александровскою: сведав о бегстве его — сведав тогда же, что воеводы, отряженные князем Михаилом, заняли Старицу, Ржев и приступают к Белому — конфедераты не хотели медлить ни часу в стане, угрожаемом вблизи и вдали царскими войсками; но смиренные ужасом, изъявили покорность гетману: он вывел их с распущенными знаменами, при звуке труб и под дымом пылающего, им зажженного стана, чтобы идти к королю. Изменники, клевреты Салтыкова, соединились с ляхами; гнуснейшие из них ушли к Самозванцу; менее виновные в Москву и в другие города, надеясь на милосердие Василиево или свою неизвестность, — и чрез несколько часов остался только пепел в уединенном Тушине, которое 18 месяцев кипело шумным многолюдством, величалось именем царства и боролось с Москвою! Жарко преследуемый дружинами князя Михаила, изгнанный из крепких стен Иосифовской обители и разбитый в поле мужественным Волуевым (который в сем деле освободил знаменитого пленника Филарета), Рожинский, князь племени Гедиминова, еще юный летами, от изнурения сил и горести кончил бурную жизнь в Волоколамске, жалуясь на измену счастия, безумие второго Лжедимитрия, крамольный дух сподвижников и медленность Сигизмундову: полководец искусный, как уверяют его единоземцы, или только смелый наездник и грабитель, как свидетельствуют наши летописи. Смерть начальника рушила состав войска: оно рассеялось; толпы бежали к Сигизмунду, толпы к Лжедимитрию и Сапеге, который стал на берегах Угры, в местах еще изобильных хлебом, и предлагал своему государю условия

для верной ему службы, сносяся и с Калугою. — Так исчезло главное, страшное ополчение удальцов и разбойников чужеземных, изменников и злодеев российских, быв на шаг от своей цели, гибели нашего отечества, и вдруг остановлено великодушным усилием добрых россиян, и вдруг уничтожено действиями грубой политики Сигизмундовой!.. Один Лисовский с изменником атаманом Просовецким, с шайками козаков и вольницы, держался еще несколько времени в Суздале, но весною ушел оттуда в мятежный Псков, разграбив на пути монастырь Колязинский, где честный воевода Давид Жеребцов пал в битве. Наконец вся внутренность государства успокоилась.

Так успел Герой-юноша в своем деле великом! За 5 месяцев пред тем оставив царя почти без царства, войско в оцепенении ужаса, среди врагов и предателей — находив везде отчаяние или зложелательство, но умев тронуть, оживить сердца добродетельною ревностию, собрать на краю государства новое войско отечественное, благовременно призвать иноземное, восстановить целость России от запада до востока, рассеять сонмы неприятелей многочисленных и взять одною угрозою крепкие, годовые их станы — князь Михаил двинулся из лавры, им освобожденной, к столице, им же спасенной, чтобы вкусить сладость добродетели, увенчанной славою.

Россияне и шведы, одни с веселием, другие с гордостию, шли как братья, воеводы и воины, на торжество редкое в летописях мира. Царь велел знатным чиновникам встретить князя Михаила: народ предупредил чиновников; стеснил дорогу Троицкую; поднес ему (2 марта) хлеб и соль, *бил челом* за спасение государства Московского, давал имя *отца отечества*, благодарил и сподвижника его, Делагарди. Василий также благодарил обоих, с слезами на глазах, с видом искреннего умиления. Казалось, что одно чувство всех одушевляло, от царя до последнего гражданина. Москва, быв еще недавно столицею без государства, окруженная неприятельскими владениями, смятенная внутренними крамолами, терзаемая голодом, и ввечеру не знав, кого утреннее солнце осветит в ней на престоле, законного ли венценосца российского или бродягу, клеврета разбойников иноземных — Москва снова возвышала главу над обширным царством, простирая руку к Ильменю и к Енисею, к морю Белому и Каспийскому, — опираясь в стенах своих на легионы победоносные, и наслаждаясь спокойствием, славою, изобилием; видела в князе Михаиле виновни-

ка сей разительной перемены и не щадила ни его смирения, ни его безопасности: где он являлся, везде торжествовал и слышал клики живейшей к нему любви, естественной, справедливой, но опасной: ибо зависть, уже не окованная страхом, готовила жало на знаменитого подвижника России, и раздражаемая сим народным восторгом, тем более кипела ядом, в слепой злобе не предвидя, что будет сама его жертвою!

Еще не спаслось, а только спасалось отечество — и князь Михаил среди светлых пиров столицы не упоенный ни честию, ни славою, требовал указа царского довершить великое дело: истребить Лжедимитрия в Калуге, изгнать Сигизмунда из России, очистить южные пределы ее, успокоить государство навеки, имея все для успеха несомнительного: войско, доблесть, счастие или милость Небесную. Но судьба Шуйского противилась такому концу благословенному: не в его бедственное царствование отечество наше должно было возродиться для величия!

Глава IV
НИЗВЕРЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ И МЕЖДОЦАРСТВИЕ
1610—1611 гг.

Наушники. Кончина Скопина-Шуйского. Горесть народная. Князь Димитрий Шуйский военачальником. Бунт Ляпунова. Битва под Клушиным. Делагарди отступает к Новугороду. Поляки занимают Царево-Займище. Отчаяние столицы. Новые успехи Самозванца. Твердость Пожарского. Ропот народный. Василий лишен престола. Тщетные увещания патриарха. Пострижение Василия и супруги его. Совет князя Мстиславского. Переговоры с Жолкевским. Условия. Присяга Владиславу. Намерение Сигизмунда. Бегство Самозванца в Калугу. Политика Жолкевского. Посольство к королю. Вступление поляков в Москву. Действия послов московских. Отъезд Жолкевского. Шуйский предан полякам. Неудачные приступы к Смоленску. Самовластие Сигизмунда. Нетерпение народа. Неприятельские действия Делагарди. Злодейства Лисовского. Измена Казани. Смерть Самозванца. Новый обман. Начальники восстания народного. Грамоты смолян и москвитян. Слабость московской Думы. Ссоры с поляками. Состав ополчения

за Россию. Кровопролитие в столице. Пожар Москвы. Прибытие Струса. Подвиги Пожарского. Неистовства поляков в Москве. Заключение Ермогена.

В то время, когда всякой час был дорог, чтобы совершенно избавить Россию от всех неприятелей, смятенных ужасом, ослабленных разделением — когда все друзья отечества изъявляли князю Михаилу живейшую ревность, а князь Михаил живейшее нетерпение царю идти в поле — минуло около месяца в бездействии для отечества, но в деятельных происках злобы личной.

Робкие в бедствиях, надменные в успехах, низкие душою, трепетав за себя более нежели за отечество, и мысля, что все труднейшее уже сделано,— что остальное легко и не превышает силы их собственного ума или мужества, ближние царедворцы в тайных думах немедленно начали внушать Василию, сколь юный князь Михаил для него опасен, любимый Россиею до чрезмерности, явно уважаемый более царя и явно в цари готовимый единомыслием народа и войска. Славя Героя, многие дворяне и граждане действительно говорили нескромно, что спаситель России должен и властвовать над нею; многие нескромно уподобляли Василия Саулу, а Михаила Давиду. Общее усердие к знаменитому юноше питалось и суеверием: какие-то гадатели предсказывали, что в России будет венценосец, именем *Михаил*, назначенный Судьбою умирить государство: «чрез два года благодатное воцарение Филаретова сына оправдало гадателей»,— пишет историк чужеземный; но россияне относили мнимое пророчество к Скопину и видели в нем если не совместника, то преемника дяди его, к особенной досаде любимого Василиева брата, Димитрия Шуйского, который мыслил, вероятно, правом наследия уловить державство: ибо шестидесятилетний царь не имел детей, кроме новорожденной дочери, Анастасии. Князь Дмитрий, духом слабый, сердцем жестокий, был первым наушником и первым клеветником: не довольствуясь истиною, что народ желает царства Михаилу, он сказал Василию, что Михаил в заговоре с народом, хочет похитить верховную власть и действует уже как царь, отдав шведам Кексгольм без указа государева. Еще Василий ужасался или стыдился неблагодарности: велел умолкнуть брату,—даже выгнал его с гневом; ежедневно приветствовал, честил героя — но медлил снова вверить ему войско! Узнав о наветах, князь Михаил спешил изъясниться с царем; говорил спокойно о своей невинно-

сти, свидетельствуясь в том чистою совестию, службою верною, а всего более оком Всевышнего; говорил свободно и смело о безумии зависти преждевременной, когда еще всякая остановка в войне, всякое охлаждение, несогласие и внушение личных страстей могут быть гибельны для отечества. Василий слушал не без внутреннего смятения: ибо собственное сердце его уже волновалось завистию и беспокойством: он не имел счастия верить добродетели! Но успокоил Михаила ласкою; велел ему и думным боярам условиться с генералом Делагарди о будущих воинских действиях; утвердил договор Выборгский и Колязинский; обещал немедленно заплатить весь долг шведам.

Между тем умный Делагарди в частых свиданиях с ближними царедворцами заметил их худое расположение к князю Михаилу и предостерегал его как друга: двор казался ему опаснее ратного поля для Героя. Оба нетерпеливо желали идти к Смоленску и неохотно участвовали в пирах московских. 23 апреля (1610 г.) князь Димитрий Шуйский давал обед Скопину. Беседовали дружественно и весело. Жена Димитриева, княгиня Екатерина — дочь того, кто жил смертоубийствами: Малюты Скуратова — явилась с ласкою и чашею пред гостем знаменитым: Михаил выпил чашу... и был принесен в дом, исходя кровию, беспрестанно лившеюся из носа; успел только исполнить долг христианина и предал свою душу Богу, вместе с судьбою отечества!.. Москва в ужасе онемела.

Сию незапную смерть юноши, цветущего здравием, приписали яду, и народ, в первом движении, с воплем ярости устремился к дому князя Дмитрия Шуйского: дружина царская защитила и дом и хозяина. Уверяли народ в естественном конце сей жизни драгоценной, но не могли уверить. Видели или угадывали злорадство и винили оное в злодействе без доказательств: ибо одна скоропостижность, а не род Михайловой смерти (напомнившей Борисову), утверждала подозрение, бедственное для Василия и его ближних.

Не находя слов для изображения общей скорби, летописцы говорят единственно, что Москва оплакивала князя Михаила столь же неутешно, как царя Феодора Иоанновича: любив Феодора за добродушие и теряя в нем последнего из наследственных венценосцев Рюрикова племени, она страшилась неизвестности в будущем жребии государства; а кончина Михайлова, столь неожидаемая, казалась ей явным действием гнева Небесного: думали, что Бог осуждает Россию на верную гибель, среди преждевременно-

21 Зак. № 40

го торжества вдруг лишив ее защитника, который *один* вселял надежду и бодрость в души, *один* мог спасти государство, снова ввергаемое в пучину мятежей без кормчего! Россия имела государя, но россияне плакали как сироты, без любви и доверенности к Василию, омраченному в их глазах и несчастным царствованием и мыслию, что князь Михаил сделался жертвою его тайной вражды. Сам Василий лил горькие слезы о Герое: их считали притворством, и взоры подданных убегали царя, в то время когда он, знаменуя общественную и свою благодарность, оказывал необыкновенную честь усопшему: отпевали, хоронили его великолепно, как бы державного: дали ему могилу пышную, где лежат наши венценосцы: в Архангельском соборе; там, в приделе Иоанна Крестителя, стоит уединенно гробница сего юноши, единственного добродетелию и любовию народною в век ужасный! От древних до новейших времен России никто из подданных не заслуживал ни такой любви в жизни, ни такой горести и чести в могиле!.. Именуя Михаила Ахиллом и Гектором российским, летописцы не менее славят в нем и *милость* беспримерную, *уветливость*, смирение Ангельское, прибавляя, что огорчать и презирать людей было мукою для его нежного сердца. В двадцать три года жизни успев стяжать (доля редкая!) лучезарное бессмертие, он скончался рано не для себя, а только для отечества, которое желало ему венца, ибо желало быть счастливым!

Все переменилось — и завистники Скопина, думав, что Россия уже может без него обойтися, скоро увидели противное. Союз между царем и царством, восстановленный Михаилом, рушился, и злополучие Василиево, как бы одоленное на время Михаиловым счастием, снова явилось во всем ужасе над государством и государем.

Надлежало избрать военачальника: избрали того, кто уже давно был нелюбим, а в сие время ненавидим: князя Дмитрия Шуйского. Россияне вышли в поле с унынием и без ревности: шведы ждали обещанных денег. Не имея готового серебра, Василий требовал его от иноков лавры; но иноки говорили, что они, дав Борису 15 000, расстриге 30 000, самому Василию 20 000 рублей, остальною казною едва могут исправить стены и башни свои, поврежденные неприятельскою стрельбою. Царь силою взял у них и деньги и множество церковных сосудов, золотых и серебряных для сплавки. Иноки роптали: народ изъявлял негодование, уподобляя такое дело святотатству. Одни шведы, изъявив участие в народной скорби о Михаиле, ими также любимом, казались утешенными и

довольными, получив жалованье — и Делагарди выступил вслед за князем Дмитрием к Можайску, чтобы освободить Смоленск. Ждали еще новых союзников, не бывалых под хоругвями христианскими: крымских царевичей с толпами разбойников, чтобы примкнуть к ним несколько дружин московских и вести их к Калуге для истребления Самозванца. Не думали о стыде иметь нужду в таких сподвижниках! Довольно было сил: недоставало только человека, коего в бедствиях государственных и миллионы людей не заменяют... Орошая слезами, искренними или притворными, тело Михаила, Василий погребал с ним свое державство, и два раза спасенный от близкой гибели, уже не спасся в третий!

Первая страшная весть пришла в Москву из Рязани, где Ляпунов, явный злодей царя, сильный духом более, нежели знатностию сана, не обольстив Михаила властолюбием беззаконным и предвидя неминуемую для себя опалу в случае решительного торжества Василиева, именем Героя верности дерзнул на бунт и междоусобие. Что Москва подозревала, то Ляпунов объявил всенародно за истину несомнительную: Дмитрия Шуйского и самого Василия убийцами, отравителями Скопина, звал мстителей и нашел усердных: ибо горестная любовь к усопшему Михаилу представляла и бунт за него в виде подвига славного! Княжество Рязанское отложилось от Москвы и Василия, все, кроме Зарайска: там явился племянник Ляпунова с грамотою от дяди; но там воеводствовал князь Димитрий Михайлович Пожарский. Заслуживая будущую свою знаменитость и храбростию и добродетелию, князь Дмитрий выгнал гонца крамолы, прислал мятежную грамоту в Москву и требовал вспоможения: царь отрядил к нему чиновника Глебова с дружиною, и Зарайск остался верным. Но в то же время стрельцы московские, посланные к Шацку (где явился воевода Лжедимитриев, князь Черкасский, и разбил царского воеводу, князя Литвинова) были остановлены на пути Ляпуновым и передались к нему добровольно. Чего хотел сей мятежник! Свергнуть Василия, избавить Россию от Лжедимитрия, от ляхов, и быть государем ее, как утверждает один историк; другие пишут вероятнее, что Ляпунов желал единственно гибели Шуйских, имея тайные сношения с знатнейшим крамольником, боярином князем Василием Голицыным в Москве и даже с Самозванцем в Калуге, но недолго: он презрел бродягу, как орудие срамное, видя и без того легкое исполнение желаемого им и многими иными врагами царя несчастного.

Бунт Ляпунова встревожил Москву: другие вести были еще ужаснее. Князь Дмитрий Шуйский и Делагарди шли к Смоленску, а ляхи к ним навстречу. Доселе опасливый, нерешительный, Сигизмунд вдруг оказал смелость, узнав, что Россия лишилась своего Героя, и веря нашим изменникам, Салтыкову с клевретами, что сия кончина есть падение Василия, ненавистного Москве и войску. Еще Сигизмунд не хотел оставить Смоленск; но дав гетману Жолкевскому 2000 всадников и 1000 пехотных воинов, велел ему с сею горстию людей искать неприятеля и славы в поле. Гетман двинулся сперва к Белому, теснимому Хованским и Горном: имея 6500 россиян и шведов, они уклонились от битвы и спешили присоединиться к Дмитрию Шуйскому, который стоял в Можайске, отделив 6000 детей боярских с князем Елецким и Волуевым в Царево-Займище, чтобы там укрепиться и служить щитом для главной рати. Будучи вдесятеро сильнее неприятеля, Шуйский хотел уподобиться Скопину осторожностию: медлил и тратил время. Тем быстрее действовал гетман: соединился с остатками тушинского войска, приведенного к нему Зборовским, и (13 июня) подступил к Займищу; имел там выгоду в битве с россиянами, но не взял укреплений — и сведал, что Шуйский и Делагарди идут от Можайска на помощь к Елецкому и Волуеву. Сподвижники гетмана смутились: он убеждал их в необходимости кончить войну одним смелым ударом; говорил о чести и доблести, а ждал успеха от измены: ибо клевреты Салтыкова окружали, вели его, — сносились с своими единомышленниками в царском войске, знали общее уныние, негодование и ручались Жолкевскому за победу; ручались и беглецы шведские, немцы, французы, шотландцы, являясь к нему толпами и сказывая, что все их товарищи, недовольные Шуйским, готовы передаться к ляхам. Шведы действительно, едва вышедши из Москвы, начали снова требовать жалованья и бунтовать: князь Дмитрий дал им еще 10 000 рублей, но не мог удовольствовать, ни сам Делагарди смирить сих мятежных корыстолюбцев: они шли нехотя и грозили, казалось, более союзникам, нежели врагам. Такие обстоятельства изъясняют для нас удивительное дело Жолкевского, еще более проницательного, нежели смелого.

Оставив малочисленную пехоту в обозе у Займища, гетман ввечеру (23 июня) с десятью тысячами всадников и с легкими пушками выступил навстречу к Шуйскому, столь тихо, что Елецкий и Волуев не заметили сего движения и сидели спокойно в

укреплениях, воображая всю рать неприятельскую пред собою; а гетман, принужденный идти верст двадцать медленно, ночью, узкою, худою дорогою, на рассвете увидел, близ села Клушина, между полями и лесом, плетнями и двумя деревеньками, обширный стан тридцати тысяч россиян и пяти тысяч шведов, нимало не готовых к бою, беспечных, сонных. Он еще ждал усталых дружин и пушек; зажег плетник и треском огня, пламенем, дымом пробудил спящих. Изумленные незапным явлением ляхов, Шуйский и Делагарди спешили устроить войско: конницу впереди, пехоту за нею, в кустарнике, — россиян и шведов особенно. Гетман с трубным звуком ударил вместе на тех и других: конница московская дрогнула; но подкрепленная новым войском, стеснила неприятеля в своих густых толпах, так что Жолкевский, стоя на холме, едва мог видеть хоругвь республики в облаках пыли и дыма. Шведы удержали стремление ляхов сильным залпом. Гетман пустил в дело запасные дружины; стрелял из всех пушек в шведов; напал на россиян сбоку — и победил. Конница наша, обратив тыл, смешала пехоту; шведы отступили к лесу; французы, немцы, англичане, шотландцы передались к ляхам. Сделалось неописанное смятение. Все бежало без памяти: сто гнало тысячу. Князья Шуйский, Андрей Голицын и Мезецкий засели было в стане с пехотою и пушками; но узнав вероломство союзников, также бежали в лес, усыпая дорогу разными вещами драгоценными, чтобы прелестию добычи остановить неприятеля. Делагарди — в искренней горести, как пишут, — ни угрозами, ни молением не удержав своих от бесчестной измены, вступил в переговоры: дал слово гетману не помогать Василию и, захватив казну Шуйского, 5450 рублей деньгами и мехов на 7000 рублей, с генералом Горном и четырьмястами шведов удалился к Новугороду, жалуясь на малодушие россиян столько же, как и на мятежный дух англичан и французов, письменно обещая царю новое вспоможение от короля шведского, а королю легкое завоевание северо-западной России для Швеции!

Но стыд союзников уменьшался стыдом россиян, которые, в бедственном ослеплении, жертвовали нелюбви к царю любовию к отечеству, не хотели мужествовать за мнимого убийцу Михаилова, думая, кажется, что победа ляхов губит только несчастного Василия, и гнусным бегством от врага слабого предали ему Россию. Без сомнения оказав ум необыкновенный, гетман хвалился числом своих и неприятелей, скромно уступал всю честь геройству спо-

движников и всего искреннее славил ревность тушинских изменников, сына и друзей Михайла Салтыкова, которые находились в сей битве, действуя тайно, чрез лазутчиков, на царское войско. Не многие легли в деле: один знатный князь Яков Борятинский пал, сражаясь; воевода Бутурлин отдался в плен. Гораздо более кололи, секли и топтали россиян в погоне. 11 пушек, несколько знамен, бархатная хоругвь князя Дмитрия Шуйского, его карета, шлем, меч и булава, также немало богатства, сукон, соболей, присланных царем для шведов, были трофеями и добычею ляхов. Несчастный князь Дмитрий скакал не оглядываясь, увязил коня в болоте, пеший достиг Можайска и, сказав гражданам, что все погибло, с сею вестию спешил к державному брату в столицу.

Деятельный гетман в тот же день возвратился к Займищу, где россияне, ночью, были пробуждены шумом и кликом: ляхи громогласно извещали их о следствиях Клушинской битвы. Князь Елецкий и Волуев не хотели верить: гетман на рассвете показал им царские знамена и пленников, требуя, чтобы они мирно сдалися не ляхам, а новому царю своему, Владиславу, будто бы уже избранному знатною частию России. Елецкий и Волуев убеждали гетмана идти к Москве и начать с нею переговоры: им ответствовали: «когда вы сдадитесь, то и Москва будет наша». Волуев, более Елецкого властвуя над умами сподвижников, решил их недоумение: присягнул Владиславу, на условиях, заключенных Михайлом Салтыковым и клевретами его с Сигизмундом; другие также присягнули и вместе с ляхами, уже братьями, пошли к столице... Смелый в битвах, Жолкевский изъявил смелость и в важном деле государственном: но без указа королевского желал воцарить юного Владислава, по удостоверению изменников тушинских и собственному, что нет иного, лучшего, надежнейшего способа кончить сию войну с истинною славою и выгодою для республики! Гетман мирно занял Можайск и другие места окрестные именем королевича, везде гоня пред собою рассеянные остатки полков Шуйского.

В одно время столица узнала о сем бедствии и читала воззвание Жолкевского к ее жителям, распространенное в ней деятельными единомышленниками Салтыкова. «Виною всех ваших зол,— писал гетман,— есть Шуйский: от него царство в крови и в пепле. Для одного ли человека гибнуть миллионам? Спасение пред вами: победоносное войско королевское и новый царь благодатный: да здравствует Владислав!» Еще Василий, не изменяясь духом, верный твердости в злосчастии, писал указы, чтобы из всех

городов спешили к нему последние люди воинские, и в последний раз, для спасения царства; ободрял москвитян, давал деньги стрельцам; хотел писать к гетману, назначил гонца, но отменил, чтобы не унизиться бесполезно в таких обстоятельствах, когда не переговорами, а битвами надлежало спастися. Города не выслали в Москву ни одного воина: рязанский мятежник Ляпунов не велел им слушаться царя, вместе с князем Василием Голицыным крамольствуя и в столице, волнуемой отчаянием... Грозы внешние еще умножились: явился и Лжедимитрий в поле с бесстыдным Сапегою, который за несколько тысяч рублей, доставленных ему из Калуги, снова обязался служить злодею. Они надеялись предупредить гетмана и взять Москву, думая, что она в смятении ужаса скорее сдастся дерзкому бродяге, нежели ляхам. Сей подлый неприятель еще казался опаснейшим царю: сведав, что союзники, вызванные им из гнезда разбоев, сыновья хана, уже близ Серпухова, Василий отрядил туда знатных мужей: князя Воротынского, Лыкова и чиновника Измайлова с дружиною детей боярских и с пушками, чтобы вести их против Самозванца: но крымцы, встретив его в Боровском уезде, после дела кровопролитного ушли назад в степи, а Воротынский и Лыков едва спаслися бегством в Москву. Все кончилось для Василия! Снова торжествовал Самозванец; снова обратились к нему изменники и счастие. Сапегины ляхи осадили крепкий монастырь Пафнутиев, где начальствовали верный князь Михайло Волконский и два предателя: первый сражался как Герой; но младшие чиновники Змеев и Челищев впустили неприятеля. Волконский пал в сече над гробом Св. Пафнутия (оставив для веков память своей доблести в гербе Боровска), а ляхи наполнили ограду и церковь трупами иноков, стрельцов и жителей монастырских. Коломна, дотоле непоколебимая в верности, вдруг изменила, возмущенная сотником Бобыниным. Не слушая доброго епископа Иосифа, народ кричал, что Василию уже не быть царем, и что лучше служить Димитрию, нежели Сигизмунду. Воеводы коломенские, бояре князь Туренин и Долгорукий, в ужасе сами присягнули обманщику: также и воевода коширский князь Ромодановский вместе с гражданами. Едва уцелел и Зарайск, спасенный твердостию князя Пожарского: видя бунт жителей и не страшась ни угроз, ни смерти, он с усердною дружиною выгнал их из крепости и восстановил тишину договором, заключенным с ними, остаться верными Василию, если Василий останется царем, или служить царю новому, кого изберет Россия. В

сем случае ревностным сподвижником князя Дмитрия был достойный протоиерей никольский. Но усмирение Зарайска не отвратило гибельного мятежа в столице.

Лжедимитрий спешил к Москве и расположился станом в селе Коломенском, памятном первою славою юного князя Михаила, коего уже не имело отечество для надежды! Что мог предприять царь злосчастный, побежденный гетманом и Самозванцем, угрожаемый Ляпуновым и крамолою, малодушием и зломыслием, без войска и любви народной? Рожденный не в век Катонов и Брутов, он мог предаться только в волю Божию: так и сделал, спокойно ожидая своего жребия и еще держась рукою за кормило государственное, хотя уже и бесполезное в час гибели; еще давал повеления, не внимаемые, не исполняемые, будучи уже более зрителем, нежели действователем с того времени, как узнали в Москве о бунте или неповиновении городов, видели под ее стенами знамена Лжедимитриевы и ежечасно ждали Сигизмундовых с гетманом. Дворец опустел: улицы и площади кипели народом; все спрашивали друг у друга, что делается, и что делать? Ненавистники Василиевы уже громогласно требовали его свержения; кричали: «Он сел на престол без ведома земли Русской: для того земля разделилась; для того льется кровь христианская. Братья Василиевы ядом умертвили своего племянника, а нашего отца-защитника. Не хотим царя Василия!» *Ни Самозванца, ни ляхов*! прибавляли многие, благороднейшие духом, следуя внушению Ляпунова Рязанского, брата его Захарии и князя Василия Голицына. Они превозмогли числом и знатностию единомышленников; гнушаясь Лжедимитрием, думали усовестить его клевретов, чтобы усилиться их союзом, и предложили им свидание. Еще люди чиновные окружали злодея тушинского: князья Сицкий и Засекин, дворяне Нагой, Сунбулов, Плещеев, дьяк Третьяков и другие. Съехались в поле, у Даниловского монастыря, как братья; мирно́ рассуждали о чрезвычайных обстоятельствах государства и вернейших средствах спасения; наконец взаимно дали клятву, москвитяне оставить Василия, изменники предать им Лжедимитрия, избрать вместе нового царя и выгнать ляхов. Сей договор объявили столице брат Ляпунова и дворянин Хомутов, выехав с сонмом единомышленников на лобное место, где, кроме черни, находилось и множество людей сановных, лучших граждан, гостей и купцов: все громким кликом изъявили радость; все казались уверенными, что новый царь необходим для России. Но тут не было ни знатного духовенства, ни синклита: пошли в Кремль, взяли па-

триарха, бояр; вывели их к Серпуховским воротам, за Москвою-рекою, и в виду неприятельского стана — указывая на разъезды Лжедимитриевой конницы и на Смоленскую дорогу, где всякое облако пыли грозило явлением гетмана — предложили им избавить Россию от стыда и гибели, избавить Россию от Шуйского; соблюдали умеренность в речах: укоряли Василия только несчастием. Говорили, что «земля Северская и все бывшие слуги Лжедимитриевы немедленно возвратятся под сень отечества, как скоро не будет Шуйского, для них ненавистного и страшного; что государство бессильно только от разделения сил: соединится, усмирится... и враги исчезнут!» Раздался один голос в пользу закона и царя злосчастного: Ермогенов; с жаром и твердостию патриарх изъяснял народу, что нет спасения, где нет благословения свыше; что измена царю есть злодейство, всегда казнимое Богом, и не избавит, а еще глубже погрузит Россию в бездну ужасов. Весьма немногие бояре, и весьма не твердо, стояли за Шуйского; самые его искренние и ближние уклонились, видя решительную общую волю; сам патриарх с горестию удалился, чтобы не быть свидетелем дела мятежного, — и сия народная Дума единодушно, единогласно приговорила: «1) *бить челом* Василию, да оставит царство и да возьмет себе в удел Нижний-Новгород; 2) уже никогда не возвращать ему престола, но блюсти жизнь его, царицы, братьев Василиевых; 3) целовать крест всем миром в неизменной верности к церкви и государству для истребления их злодеев, ляхов и Лжедимитрия; 4) всею землею выбрать в цари, кого Бог даст; а между тем управлять ею боярам, князю Мстиславскому с товарищами, коих власть и суд будут священны; 5) в сей Думе верховной не сидеть Шуйским, ни князю Дмитрию, ни князю Ивану; 6) всем забыть вражду личную, месть и злобу; всем помнить только Бога и Россию». В действии беззаконном еще блистал призрак великодушия: щадили царя свергаемого и хотели умереть за отечество, за честь и независимость.

Послали к Василию, еще венценосцу, знатного боярина, его свояка, князя Ивана Воротынского, с главными крамольниками, Захариею Ляпуновым и другими, объявить ему приговор Думы. Дотоле тихий Кремлевский дворец наполнился людьми и шумом: ибо вслед за послами стремилось множество дерзких мятежников и любопытных. Василий ожидал их без трепета, воспоминая, может быть, невольно о таком же стремлении шумных сонмов под его собственным предводительством, к сему же дворцу, в день расстригиной гибели!.. Захария Ляпунов, увидев царя, сказал:

«Василий Иоаннович! ты не умел царствовать: отдай же венец и скипетр». Шуйский ответствовал: «как смеешь!»... и вынул нож из-за пояса. Наглый Ляпунов, великан ростом, силы необычайной, грозил ему своею тяжкою рукою... Другие хотели сладкоречием убедить царя к повиновению воле Божией и народной. Василий отвергнул все предложения, готовый умереть, но венценосцем, и волю мятежников, испровергающих закон, не признавая народною. Он уступил только насилию, и был, вместе с юною супругою (17 июля), перевезен из палат Кремлевских в старый дом свой, где ждал участи Борисова семейства, зная, что шаг с престола есть шаг к могиле.

В столице господствовало смятение, и скоро еще умножилось, когда народ сведал, что тушинские изменники обманули московских. Ляпунов и клевреты его немедленно объявили первым, в новом свидании с ними у монастыря Даниловского, что Шуйский сведен с престола, и что Москва, вследствие договора, ждет от них связанного Лжедимитрия для казни. Тушинцы ответствовали: «Хвалим ваше дело. Вы свергнули царя беззаконного: служите же истинному: да здравствует сын Иоаннов! Если вы клятвопреступники, то мы верны в обетах. Умрем за Димитрия!» Достойно осмеянные злодеями, москвитяне изумились. Сим часом думал еще воспользоваться Ермоген: вышел к народу, молил, заклинал снова возвести Василия на царство; но убеждениям доброго патриарха не внимали: страшились мести Василиевой и тем скорее хотели себя успокоить.

Всеми оставленный, многим ненавистный или противный, не многим жалкий, царь сидел под стражею в своем боярском доме, где за четыре года пред тем, в ночном совете знаменитейших россиян, им собранных и движимых, решилась гибель Отрепьева. Там, в следующее утро, явились Захария Ляпунов, князь Петр Засекин, несколько сановников с чудовскими иноками и священниками, с толпою людей вооруженных, и велели Шуйскому готовиться к пострижению, еще гнушаясь новым цареубийством и считая келию надежным преддверием гроба. «Нет! — сказал Василий с твердостию: — никогда не буду монахом» — и на угрозы ответствовал видом презрения; но смотря на многих известных ему москвитян, с умилением говорил им: «Вы некогда любили меня... и за что возненавидели? за казнь ли Отрепьева и клевретов его? Я хотел добра вам и России; наказывал единственно злодеев — и кого не миловал?» Вопль Ляпунова и других неистовых за-

глушил речь трогательную. Читали молитвы пострижения, совершали обряд священный и не слыхали уже ни единого слова от Василия: он безмолвствовал, и вместо его произносил страшные обеты монашества князь Туренин. Постригли и несчастную царицу, Марию, также безмолвную в обетах, но красноречивую в изъявлении любви к супругу: она рвалась к нему, стенала, называла его своим *государем милым*, царем великим народа недостойного, ее супругом законным и в рясе инока. Их разлучили силою: отвели Василия в монастырь Чудовский, Марию в Ивановский; двух братьев Василиевых заключили в их дома. Никто не противился насилию безбожному, кроме Ермогена: он торжественно молился за Шуйского в храмах, как за помазанника Божия, царя России, хотя и невольника; торжественно клял бунт и признавал иноком не Василия, а князя Туренина, который вместо его связал себя обетами монашества. Уважение к сану и лицу первосвятителя давало смелость Ермогену, но бесполезную.

Так Москва поступила с венценосцем, который хотел снискать ее и России любовь подчинением своей воли закону, бережливостию государственною, беспристрастием в наградах, умеренностию в наказаниях, терпимостию общественной свободы, ревностию к гражданскому образованию — который не изумлялся в самых чрезвычайных бедствиях, оказывал неустрашимость в бунтах, готовность умереть верным достоинству монаршему, и не был никогда столь знаменит, столь достоин престола, как свергаемый с оного изменою: влекомый в келию толпою злодеев, несчастный Шуйский являлся один истинно великодушным в мятежной столице... Но удивительная судьба его ни в уничижении, ни в славе. еще не совершилась!

Доселе властвовала беспрекословно сторона Ляпуновых и Голицына, решительных противников и Шуйского, и Самозванца, и ляхов: она хотела *своего* царя — и в сем смысле Дума писала от имени синклита, людей приказных и воинских, стольников, стряпчих, дворян и детей боярских, гостей и купцов, ко всем областным воеводам и жителям, что Шуйский, *вняв челобитью земли Русской, оставил государство и мир*, для спасения отечества; что Москва целовала крест не поддаваться ни Сигизмунду, ни злодею тушинскому; что все россияне должны восстать, устремиться к столице, сокрушить врагов и выбрать всею землею самодержца вожделенного. В сем же смысле ответствовали бояре и гетману Жолкевскому, который, узнав в Можайске о Василиевом

низвержении, объявил им грамотою, что идет защитить их в бедствиях. «Не требуем твоей защиты, – писали они: – не приближайся, или встретим тебя как неприятеля». Но Дума боярская, присвоив себе верховную власть, не могла утвердить ее в слабых руках своих, ни утишить всеобщей тревоги, ни обуздать мятежной черни. Самозванец грозил Москве нападением, гетман к ней приближался, народ вольничал, холопи не слушались господ и многие люди чиновные, страшась быть жертвою безначалия и бунта, уходили из столицы, даже в стан к Лжедимитрию, единственно для безопасности личной. В сих обстоятельствах ужасных сторону Ляпуновых и Голицына превозмогла другая, менее лукавая: ибо ее главою был князь Федор Мстиславский, известный добродушием и верностию, чуждый властолюбия и козней.

В то время, когда Москва без царя, без устройства, всего более опасалась злодея тушинского и собственных злодеев, готовых душегубствовать и грабить в стенах ее, когда отечество смятенное не видало между своими ни одного человека, столь знаменитого родом и делами, чтобы оно могло возложить на него венец единодушно, с любовию и надеждою — когда измены и предательства в глазах народа унизили самых первых вельмож и два несчастные избрания доказали, сколь трудно бывшему подданному державствовать в России и бороться с завистью: тогда мысль искать государя вне отечества, как древние новогородцы искали князей в земле Варяжской, могла естественно представиться уму и добрых граждан, Мстиславский, одушевленный чистым усердием — вероятно, после тайных совещаний с людьми важнейшими — торжественно объявил боярам, духовенству, всем чинам и гражданам, что для спасения царства должно вручить скипетр... Владиславу. Кто мог сам и не хотел быть венценосцем, того мнение и голос имели силу; имели оную и домогательства единомышленников Салтыкова, особенно Волуева, и наконец явные выгоды сего избрания. Жолкевский, грозный победитель, делался нам усердным другом, чтобы избавить Москву от злодеев: он писал о том (31 июля) к Думе боярской, вместе с Иваном Салтыковым и Волуевым, которые сообщили ей договор тушинских послов с Сигизмундом и новейший, заключенный гетманом в Цареве-Займище для целости Веры и государства. Надеялись, что король пленится честию видеть сына монархом великой державы и дозволит ему переменить Закон, или Владислав юный, еще не твердый в догматах латинства, легко склонится к нашим и вопреки отцу,

когда сядет на престол Московский, увидит необходимость единоверия для крепкого союза между царем и народом, возмужает в обычаях православия и, будучи уважаем как венценосец знаменитого державного племени, будет любим как истинный россиянин духом. Еще благородная гордость страшилась уничижения взять невольно властителя от ляхов, молить их о спасении России и тем оказать ее постыдную слабость. Еще духовенство страшилось за Веру, и патриарх убеждал бояр не жертвовать церковию никаким выгодам государственным: уже не имея средства возвратить венец Шуйскому, он предлагал им в цари или князя Василия Голицына или юного Михаила, сына Филаретова, внука первой супруги Иоанновой. Духовенство благоприятствовало Голицыну, народ Михаилу, любезному для него памятию Анастасии, добродетелию отца и даже тезоименитством с усопшим Героем России... Так Ермоген бессмертный предвестил ей волю Небес! Но время еще не наступило — и гетман уже стоял под Москвою, на Сетуни, против Коломенского и Лжедимитрия: ни Голицын, крамольник в синклите и беглец на поле ратном, ни юноша, питомец келий, едва известный свету, не обещали спасения Москве, извне теснимой двумя неприятелями, внутри волнуемой мятежом; каждый час был дорог — и большинство голосов в Думе, на самом лобном месте, решило: «принять совет Мстиславского!»

Немедленно послали к гетману спросить, друг ли он Москве или неприятель? «Желаю не крови вашей, а блага России, — отвечал Жолкевский: — предлагаю вам державство Владислава и гибель Самозванца». Дали взаимно аманатов: вступили в переговоры, на Девичьем поле, в шатре, где бояре, князья Мстиславский, Василий Голицын и Шереметев, окольничий князь Мезецкий и дьяки думные Телепнев и Луговской с честию встретили гетмана, объявляя, что Россия готова признать Владислава царем, но с условиями, необходимыми для ее достоинства и спокойствия. Дьяк Телепнев, развернув свиток, прочитал сии условия, столь важные, что гетман ни в каком случае не мог бы принять их без решительного согласия королевского: король же не только медлил дать ему наказ, но и не ответствовал ни слова на все его донесения после Клушинского дела, заботясь единственно о взятии Смоленска и с гордостию являя гетмановы трофеи, знамена и пленников, Шеину непреклонному! Жолкевский, равно смелый и благоразумный, скрыв от бояр свое затруднение, спокойно рассуждал с ними о каждой статье предлагаемого дого-

вора: отвергал и соглашался королевским именем. Выслушав первое требование, чтобы *Владислав крестился в нашу Веру*, он дал им надежду, но устранил обязательство, говоря: «да будет королевич царем, и тогда, внимая гласу совести и пользы государственной, может добровольно исполнить желание России». Устранил, *до особенного Сигизмундова разрешения*, и другие статьи: «1) Владиславу не сноситься с папою о Законе; 2) утвердить в России смертную казнь для всякого, кто оставит греческую Веру для латинской; 3) не иметь при себе более пятисот ляхов; 4) соблюсти все титла царские (следственно Государя Киевского и Ливонского) и жениться на россиянке»; но все прочее, как согласное с договором Салтыкова и Волуева, было одобрено Жолкевским, хотя и не вдруг: ибо он с умыслом замедлял переговоры, тщетно ожидая вестей от короля; наконец уже не мог медлить, опасаясь нетерпения россиян и своих ляхов, готовых к бунту за невыдачу им жалованья, — и 17 августа подписал следующие достопамятные условия:

«1) Святейшему патриарху, всему духовенству и синклиту, дворянам и дьякам думным, стольникам, дворянам, стряпчим, жильцам и городским дворянам, головам стрелецким, приказным людям, детям боярским, гостям и купцам, стрельцам, козакам, пушкарям и всех чинов служивым и *жилецким* людям Московского государства бить челом великому государю Сигизмунду, да пожалует им сына своего, Владислава, в цари, коего все россияне единодушно желают, целуя святый крест с обетом служить верно ему и потомству его, как они служили прежним великим государям московским.

2) Королевичу Владиславу венчаться царским венцом и диадемою от святейшего патриарха и духовенства греческой церкви, как издревле венчались самодержцы российские.

3) Владиславу-царю блюсти и чтить святые храмы, иконы и мощи целебные, патриарха и все духовенство; не отнимать имения и доходов у церквей и монастырей; в духовные и святительские дела не вступаться.

4) Не быть в России ни латинским, ни других исповеданий костелам и молебным храмам; не склонять никого в римскую, ни в другие веры, и жидам не въезжать для торговли в Московское государство.

5) Не переменять древних обычаев. Бояре и все чиновники, воинские и земские, будут, как и всегда, одни россияне; а польским и литовским людям не иметь ни мест, ни чинов: которые же

из них останутся при государе, тем может он дать денежное жалованье или поместья, не стесняя чести московских, боярских и княжеских родов честию новых выходцев иноземных.

6) Жалованье, поместья и вотчины россиян неприкосновенны. Если же некоторые наделены сверх достоинства, а другие обижены, то советоваться государю с боярами и сделать, что уложат вместе.

7) Основанием *гражданского правосудия быть Судебнику, коего нужное исправление и дополнение зависит от государя, Думы боярской и земской*.

8) Уличенных государственных и гражданских преступников казнить единственно по осуждению царя с боярами и людьми думными; имение же казненных наследуют их невинные жены, дети и родственники. Без сего торжественного суда боярского никто не лишается ни жизни, ни свободы, ни чести.

9) Кто умрет бездетен, того имение отдавать ближним его или кому он прикажет; а в случае недоумения решить такие дела государю с боярами.

10) Доходы государственные остаются прежние; *а новых налогов не вводить государю без согласия бояр*, и с их же согласия дать льготу областям, поместьям и вотчинам разоренным в сии времена смутные.

11) Земледельцам не переходить ни в Литву, *ни в России от господина к господину*, и всем крепостным людям быть навсегда такими.

12) Великому государю Сигизмунду, Польше и Литве утвердить с великим государем Владиславом и с Россиею мир и любовь навеки и стоять друг за друга против всех неприятелей.

13) Ни из России в Литву и Польшу, ни из Литвы и Польши в Россию не переводить жителей.

14) Торговле между обоими государствами быть свободною.

15) Королю уже не приступать к Смоленску и немедленно вывести войско из всех городов российских; а платеж из московской казны за убытки и на жалованье рати литовской и польской будет уставлен в договоре особенном.

16) Всех пленных освободить без выкупа, все обиды и насилия предать вечному забвению.

17) Гетману отвести Сапегу и других ляхов от Лжедимитрия, вместе с боярами взять меры для его истребления, идти к Можайску, как скоро уже не будет сего злодея, и там ждать указа королевского.

18) Между тем стоять ему с войском у Девичьего монастыря и не пускать никого из своих людей в Москву, для нужных покупок, без дозволения бояр и без письменного вида.

19) Дочери воеводы Сендомирского, Марине, ехать в Польшу и не именоваться государынею Московскою.

20) Отправиться великим послам российским к государю Сигизмунду и бить челом, да крестится государь Владислав в Веру греческую, и да будут приняты все иные условия, оставленные гетманом на разрешение его королевского величества».

Итак россияне, быв недовольны собственным желанием царя Василия умерить самодержавие, в четыре года переменили мысли и хотели еще более ограничить верховную власть, уделяя часть ее не только боярам, в правосудии и в налогах, но и *Земской думе* в гражданском законодательстве. Они боялись не самодержавия вообще (как увидим в истории 1613 года), но самодержавия в руках иноплеменного, еще иноверного монарха, избираемого в крайности, невольно и без любви, — и для того предписали ему условия, согласные с выгодами боярского властолюбия и с видами хитрого Жолкевского, который, любя вольность, не хотел приучить наследника Сигизмундова, будущего монарха польского, к беспредельной власти в России.

Утвердив договорную грамоту подписями и печатями — с одной стороны, Жолкевский и все его чиновники, а с другой, бояре — звали народ к присяге*. Среди Девичьего поля, в сени двух шатров великолепных, стояли два алтаря, богато украшенные; вокруг алтарей духовенство, патриарх, святители с иконами и крестами за духовенством бояре и сановники, в одеждах блестящих серебром и золотом; далее бесчисленное множество людей, ряды конницы и пехоты, с распущенными знаменами, ляхи и россияне. Все было тихо и чинно. Гетман с своими воеводами вступил в шатер, приблизился к алтарю, положил на него руку и дал клятву в верном соблюдении условий, за короля и королевича, Республику Польскую и Великое княжество Литовское, за себя и войско. Тут два архиерея, обратясь к боярам и чиновникам, сказали громогласно: «Волею святейшего патриарха, Ермогена, призываем вас к исполнению торжественного обряда: целуйте крест, вы, мужи думные, все чины и народ, в верности к царю и вели-

* Обряд присяги продолжался в течение семи недель ежедневных, кроме дней воскресных и больших праздников. (XII, 599.)

кому князю Владиславу Сигизмундовичу, ныне благополучно избранному, да будет Россия, со всеми ее жителями и достоянием, его наследственною державою!» Раздался звук литавр и бубнов, гром пушечный и клик народный: «Многие лета государю Владиславу! Да царствует с победою, миром и счастием!» Тогда началася присяга: бояре и сановники, дворянство и купечество, воины и граждане, числом не менее трехсот тысяч, как уверяют, целовали крест с видом усердия и благоговения. Тогда изменники прежние, Иван Салков, Волуев и клевреты их, ревностные участники и главные пособники договора, обнялися с москвитянами, уже как с братьями в общей измене Василию и в общем подданстве Владиславу!.. Гонцы от Думы боярской спешили во все города, объявить им нового царя, конец смятениям и бедствиям; а гетман великолепным пиром в стане угостил знатнейших россиян и каждого из них одарил щедро, раздав им всю добычу Клушинской битвы, коней азиатских, богатые чаши, сабли, и не оставив ничего драгоценного ни у себя, ни у своих чиновников, в надежде на сокровища московские. Первый вельможа, князь Мстиславский, отплатил ему таким же роскошным пиром и такими же дарами богатыми.

Одним словом, умный гетман достиг цели — и Владислав, хотя только Москвою избранный, без ведома других городов, и следственно незаконно, подобно Шуйскому, остался бы, как вероятно, царем России и переменил бы ее судьбу ослаблением самодержавия — переменил бы тем, может быть, и судьбу Европы на многие веки, если бы отец его имел ум Жолкевского!

Но еще крест и Евангелие лежали на алтарях Девичьего поля, когда вручили гетману грамоту Сигизмундову, привезенную Федором Андроновым, печатником и думным дьяком, усердным слугою ляхов, изменником государства и православия: Сигизмунд писал к гетману, чтобы он занял Москву именем королевским, а не Владиславовым; о том же писал к нему и с другим, знатнейшим послом, Госевским. Гетман изумился. Торжественно заключить и бесстыдно нарушить условия; вместо юноши беспорочного и любезного представить России в венценосцы старого, коварного врага ее, виновника или питателя наших мятежей, известного ревнителя латинской Веры и братства иезуитского; действовать одною силою с войском малочисленным против целого народа, ожесточенного бедствиями, озлобленного ляхами, казалось гетману более, нежели дерзостию — казалось безумием. Он решился испол-

нить договор, утаить волю королевскую от россиян и своих сподвижников, сделать требуемое честию и благом республики, вопреки Сигизмунду и в надежде склонить его к лучшей политике.

Согласно с договором, надлежало прежде всего отвлечь ляхов от Самозванца, Сей злодей думал ослепить Жолкевского разными льстивыми уверениями: клялся царским словом выдать королю 300 000 злотых и в течение десяти лет ежегодно платить республике столько же, а королевичу 100 000 — завоевать Ливонию для Польши и Швецию для Сигизмунда — не стоять и за Северскую землю, когда будет царем; но Жолкевский, известив Сапегу, что Россия есть уже царство Владислава, убеждал его присоединиться к войску республики, а бродягу упасть к ногам королевским, обещая ему за такое смирение Гродно или Самбор в удел. Послы гетмановы нашли Лжедимитрия в обители Угрешской, где жила Марина: выслушав их предложение, он сказал: «хочу лучше жить в избе крестьянской, нежели милостию Сигизмундовою!» Тут Марина вбежала в горницу; пылая гневом, злословила, поносила короля и с насмешкою примолвила: «Теперь слушайте *мое* предложение: пусть Сигизмунд уступит царю Димитрию Краков и возьмет от него, в знак милости, Варшаву!» Ляхи также гордились и не слушали гетмана, который, видя необходимость употребить силу, вместе с князем Мстиславским и пятнадцатью тысячами москвитян, выступил против своих мятежных единоземцев. Уже начиналось и кровопролитие; но малочисленное и худое войско Лжедимитриево не могло обещать себе победы: Сапега выехал из рядов, снял шапку пред Жолкевским, дал ему руку в знак братства — и чрез несколько часов все усмирилось. Ляхи и россияне оставили Лжедимитрия: первые объявили себя до времени слугами республики; последние целовали крест Владиславу, и между ими бояре князья Туренин и Долгорукий, воеводы коломенские; а Самозванец и Марина ночью (26 августа) ускакали верхом в Калугу, с атаманом Заруцким, с шайкою козаков, татар и россиян немногих.

Гетман действовал усердно: бояре усердно и прямодушно. Началося беспрекословно царствование Владислава в Москве и в других городах: в Коломне, Туле, Рязани, Твери, Владимире, Ярославле и далее. Молились в храмах за государя нового; все указы писались, все суды производились его именем; спешили изобразить оное на медалях и монетах. Многие радовались искренно, алкая тишины после таких мятежей бурных. Многие: — и

в их числе патриарх — скрывали горесть, не ожидая ничего доброго от ляхов. Всего более торжествовали старые изменники тушинские, первые имев мысль о Владиславе: Михайло Салтыков, князь Рубец-Мосальский и Федор Мещерский, дворяне Кологривов, Василий Юрьев, Молчанов, быв дотоле у Сигизмунда, явились в столице с видом лицемерного умиления, как бы великодушные изгнанники и страдальцы за любовь к отечеству, им возвращаемому милостию Божиею, их невинностию и добродетелию. Они целою толпою пришли в храм Успения и требовали благословения от Ермогена, который, велев удалиться одному Молчанову, мнимому еретику и чародею, сказал другим: «Благословляю вас, если вы действительно хотите добра государству; но еси вы ляхи душою, лукавствуете и замышляете гибель православия, то кляну вас именем церкви». Обливаясь слезами, Михайло Салтыков уверял, что государство и православие спасены навеки — уверял, может быть, непритворно, желая, чего желала столица вместе с знатною частию России: Владиславова царствования на заключенных условиях. Сам гетман не имел иной мысли, ежедневными письмами убеждая Сигизмунда не разрушать дела, счастливо совершенного добрым Гением республики, а бояр московских пленяя изображением златого века России под державою венценосца юного, любезного, готового внимать их мудрым наставлениям и быть сильным единственно силою закона. Жолкевский не хотел явно властвовать над Думою, довольствуясь единственно внушениями и советами. Так он доказывал ей необходимость изгладить в сердцах память минувшего общим примирением, забыть вину клевретов Самозванца, оставить им чины и дать все выгоды россиян беспорочных. Бояре не согласились, ответствуя: «возможно ли слугам обманщика равняться с нами?»... и *сделали неблагоразумно*, как мыслил Жолкевский: ибо многие из сих людей, оскорбленные презрением, снова ушли к Самозванцу в Калугу. Но гетман умел выслать из Москвы двух человек, опасаясь их знаменитости и тайного неудовольствия: князя Василия Голицына, одобренного духовенством искателя державы, и Филарета, коего сыну желали венца народ и лучшие граждане: оба, как устроил гетман, должны были в качестве великих послов ехать к Сигизмунду, чтобы вручить ему хартию Владиславова избрания, а Владиславу утварь царскую — требовать их согласия на статьи договора, не решенные гетманом, и между тем служить королю аманатами; ответствовать своею головою за верность россиян! Товарищами Филаре-

та и Голицына были окольничий князь Мезецкий, думный дворянин Сукин, дьяки Луговский и Сыдавный-Васильев, архимандрит новоспасский Евфимий, келарь лавры Аврамий, угрешский игумен Иона и вознесенский протоиерей Кирилл. Отпев молебен с коленопреклонением в соборе Успенском, дав послам благословение на путь и грамоту к юному Владиславу о величии и православии *России*, Ермоген заклинал их не изменять церкви, не пленяться *мирскою лестию* — и ревностный Филарет с жаром произнес обет умереть верным. Сие важное, великолепное посольство, сопровождаемое множеством людей чиновных и пятьюстами воинских, выехало 11 сентября из Москвы... а чрез десять дней ляхи были уже в стенах Кремлевских!

Таким образом случилось первое нарушение договора, по коему надлежало гетману отступить к Можайску. Употребили лукавство. Опасаясь непостоянства россиян и желая скорее иметь все в руках своих, гетман склонил не только Михаила Салтыкова с тушинскими изменниками, но и Мстиславского, и других бояр легкоумных, хотя и честных, требовать вступления ляхов в Москву для усмирения мятежной черни, будто бы готовой призвать Лжедимитрия. Не слушали ни патриарха, ни вельмож благоразумнейших, еще ревностных к государственной независимости. Впустили иноземцев ночью; велели им свернуть знамена, идти безмолвно в тишине пустых улиц, — и жители на рассвете увидели себя как бы пленниками между воинами королевскими: изумились, негодовали, однако ж успокоились, веря торжественному объявлению Думы, что ляхи будут у них не господствовать, а служить: хранить жизнь и достояние Владиславовых подданных. Сии мнимые хранители заняли все укрепления, башни, ворота в Кремле, Китае и Белом городе; овладели пушками и снарядами, расположились в палатах царских и в лучших домах целыми дружинами для безопасности. По крайней мере не дерзали своевольствовать, ни грабить, ни оскорблять жителей; избрали чиновников, для доставления запасов войску, и судей, для разбора всяких жалоб. Гетман властвовал, но только указами Думы; изъявлял снисходительность к народу, честил бояр и духовенство. Дворец Кремлевский, где пили и веселились сонмы иноплеменных ратников, уподоблялся шумной гостинице; Кремлевский дом Борисов, занятый Жолкевским, представлял благолепие истинного дворца, ежечасно наполняясь, как в Феодорово время, знатнейшими россиянами, которые искали там совета в делах отечества и

милостей личных: так гетман именем царя Владислава дал первому боярину, князю Мстиславскому, не хотевшему быть венценосцем, сан *конюшего* и *слуги*. Утратив честь, хвалились тишиною, даром умного Жолкевского! Довольные тем, что он не впустил Сапеги с шайками разбойников в столицу, выдав ему из царской казны 10 000 злотых и склонив его идти на зиму в Северскую землю, россияне спокойно видели несчастного Василия в руках ляхов: вопреки намерению бояр удалить сего невольного инока в Соловки, гетман послал его с литовскими приставами в Иосифовскую обитель, чтобы иметь в нем залог на всякий случай. Россияне снесли также избрание ляха Госевского в предводители осьмнадцати тысяч московских стрельцов, которые со времен расстриги, едва не спасенного ими, уже чувствовали свою силу и могли быть опасны для иноплеменников: Госевский снискал их любовь ласкою, щедростию и пирами, «Упорствовал в зложелательстве к нам, — пишут ляхи, — только осьмидесятилетний патриарх, боясь государя иноверного; но и его, уже хладное, загрубелое сердце смягчалось приветливостию и любезным обхождением гетмана, в частых с ним беседах всегда хвалившего греческую Веру, так что и патриарх казался наконец искренним ему другом». Ермоген был другом единственно отечества, и в глубокой старости еще пылал духом, как увидим скоро!

Утвердив спокойствие в Москве, и заняв отрядами все города Смоленской дороги для безопасного сношения с королем, гетман ждал нетерпеливо вестей из его стана; ждал согласия души слабой на дело смелое, великое — и решительно уверял бояр в немедленном прибытии к ним Владислава... Но Судьба, благословенная для России, влекла ее к другому назначению, готовя ей новые искушения и новые имена для бессмертия!

Как несчастный царь Василий с своими братьями завидовал князю Михаилу Шуйскому, так Сигизмунд с своими панами завидовал гетману, хотя слава обоих великих мужей была славою их отечества и государя: ослепление страстей, удивительное для разума, и тем не менее обыкновенное в действиях человеческих! Недоброжелатели гетмановы, Потоцкие и друзья их, говорили королю: «Не успехи случайные, но правила твердые, внушаемые зрелою мудростию, должны быть нам руководством в деле столь важном. Извлекая меч, ты, государь, объявил, что думаешь единственно о благе республики: теперь, имея случай распространить ее владения, можешь ли упустить его только для чести видеть сы-

на на престоле Московском? Отдашь ли пятнадцатилетнего юношу, без советников и блюстителей, в руки людей упоенных духом мятежа и крамолы? Что ответствует за их верность и безопасность сего престола, облиянного кровию? Не скажет ли народ твой, ревнитель свободы, что ты пленяешься властию самодержавною? Если же царство Российское столь завидно, то, взяв Смоленск, иди в Москву, и собственною рукою, как победитель, возьми ее державу!» Хотя рассудительные вельможи, Лев Сапега и другие, умоляли короля немедленно принять договор гетманов, немедленно отпустить Владислава в Москву, дать ему Жолкевского в наставники и легион поляков в блюстители, обогатить казну республики казною царскою, удовлетворить ею всем требованиям войска, — наконец утвердить вечный союз Литвы с Россиею; но король следовал мнению первых советников: хотел сам быть царем или завоевателем России — и в сем расположении ждал послов московских, Филарета и Голицына, коих личное избрание — то есть удаление — должно было содействовать видам хитрого гетмана, но обратилось единственно во славу их великодушной твердости, без пользы для Литвы, без пользы и для России, кроме чести иметь таких мужей государственных!

Менее других веря гетману, или Сигизмунду, они еще с дороги известили Думу, что вопреки условиям ляхи грабят в уездах Осташкова, Ржева и Зубцова; что Сигизмунд велит дворянам российским присягать ему и Владиславу вместе, обещая им за то жалованье и земли. 7 октября послы увидели Смоленск и стан королевский, куда их не впустили: указали им место на пустом берегу Днепра, где они расположились в шатрах терпеть ненастье, холод и голод... Те, которые предлагали царство Владиславу, требовали пищи от Сигизмунда, жалуясь на бедность, следствие долговременных опустошений и мятежей в России; а вельможи литовские отвечали: «Король здесь на войне, и сам терпит нужду!» Представленные Сигизмунду (12 октября), Голицын, Мезецкий и дьяки, — один за другим, как обыкновенно — торжественными речами изъяснили вину своего посольства и, сказав, что Шуйский добровольно оставил царство, именем России били челом о Владиславе. Вместо короля гордо ответствовал канцлер Сапега: «Всевечный *Бог богов* назначил степени для монархов и подданных. Кто дерзает возноситься выше звания, того он казнит и низвергает: казнил Годунова и низвергнул Шуйского, венценосцев, рожденных слугами!.. Вы узнаете волю королевскую». И чрез несколько дней объявили им сию волю!

Как ни важны были статьи договора, устраненные Жолкевским; хотя патриарх и бояре в наказе, данном послам, велели им неотступно «требовать и *молить слезно*, чтобы королевич — находившийся тогда в Литве — принял греческую Веру от Филарета и смоленского епископа, ехал в Москву уже православный и тем отвратил соблазн, нетерпимый и в Польше, где государи должны быть всегда одной Веры с народом»: но царствование Владислава зависело единственно от согласия королевского на статьи, утвержденные гетманом: ибо россияне целовали крест первому без всякой оговорки, довольствуясь *надеждою* склонить его к своему Закону уже в царском сане. Главным делом для послов было возвратиться в Москву с Владиславом, *дать отца сиротам*, жизнь, душу составу государственному, полумертвому без государя... И что же? Вельможи королевские объявили им в самом начале переговоров, что Владислав малолетний не может устроить царства смятенного; что Сигизмунд должен прежде утишить оное и занять Смоленск, будто бы преклонный к Лжедимитрию. Послы отвечали: «Королевич молод, но Бог устроит державу разумом его и счастием, нашим радением и вашими советами, вельможи думные. Смоленск не имеет нужды в воинах иноземных: оказав столько верности во времена самые бедственные, столько доблести в защите против вас, изменит ли чести ныне, чтобы служить бродяге? Ручаемся вам душами за боярина Шеина и граждан: они искренне, вместе с Россиею, присягнут Владиславу». *Для чего же и не Сигизмунду?* возразили паны: *государи суть земные Боги, и воля их священна. Вы оскорбляете короля своим недоверием, дерзая разделять отца с сыном: Смоленск должен присягнуть им обоим.* Филарет и Голицын изумились. «Мы избрали Владислава, а не Сигизмунда, — сказали они, — и вы, избрав шведского принца в короли, не целовали креста родителю его, Иоанну». *Сравнение нелепое!* воскликнули паны: *Иоанн не спасал нашей республики, как Сигизмунд спасает Россию: ибо, взяв Смоленск, древнюю собственность Литвы, пойдет с войском к Калуге, чтобы истребить Лжедимитрия и тем успокоить Москву, где еще не все жители усердствуют королевичу — где много людей зломысленных и мятежных.* «Нет надобности Сигизмунду, — говорили послы, — и для великого монарха унизительно идти самому против злодея калужского: пусть велит только Жолкевскому соединиться с россиянами, чтобы общими силами истребить его, как уставлено в

договоре! Поход королевский внутрь государства разоренного еще умножил бы зло. Ты, Лев Сапега, бывал в России; знал ее богатство, многолюдство, цветущие города и селения: ныне осталась единственно тень их, пепелища, обгорелые стены; жители изгибли, отведены пленниками в Литву, разбежались в иные земли... А кто виною? ваши грабители еще более, нежели самозванцы: да удалятся же навеки, и Россия будет, что была, — по крайней мере в течение времени. Гнусный Лжедимитрий и без вашего содействия исчезнет. Упорнейшие из клевретов тушинских и целые города, обольщенные именем Димитрия, возвратились под сень отечества, как скоро услышали о новом царе законном. Вы говорите о московских мятежниках: их не знаем, видев собственными глазами, что все, *от мала до велика*, и там и в других городах целовали крест Владиславу с живейшею радостию. Нет, синклит и народ немедленно казнили бы первого, кто дерзнул бы изменить святому обету верности. Одним словом, исполните только договор, утвержденный клятвою гетмана от имени короля и республики. Дело было кончено, к обоюдному удовольствию: не вымышляйте нового, *чтобы нашедши не потерять и не каяться*. В случае вероломства, какие откроются бедствия! Вы знаете, что государство Московское обширно: еще не все разрушено, не все пало; есть Новгород Великий, многолюдная земля Поморская и Низовая; есть царство Казанское, Астраханское и Сибирское! Не снесут обмана и восстанут... Господь да спасет и вас и нас от следствий ужасных!»

Послы велели дьяку читать гетмановы условия: паны не хотели слушать; но вдруг как бы одумались и, ссылаясь на сей договор, требовали миллионов в уплату жалованья королевскому и даже Сапегину войску. «За то ли, — спросил Голицын, — что Сапега, клеврет низкого злодея, обнажил наши церкви, иконы, гробы Святых и пил кровь христиан? Да и войско королевское что сделало и делает в России? губит людей и достояние; какое право на мзду и благодарность? Но когда успокоится держава, тогда царь Владислав, патриарх, бояре и чины государственные условятся с Сигизмундом о вознаграждении ваших убытков. Договор помним; хотели напомнить его вам, и спрашиваем: дает ли король сына на престол Московский?»... *Жалует*, сказали наконец паны (октября 23). Тут Филарет, Голицын, Мезецкий встали и поклонились до земли, изъявляя радость, славя мудрость Сигизмундову и счастливое царствование Владислава; а Лев Сапега

в ответ на статьи, не решенные гетманом, объявил королевским именем: 1) что в *крещении* и женитьбе Владислава *волен Бог и Владислав*, 2) что он не будет сноситься о Вере с папою*; 3) что смертная казнь для отметников греческого исповедания в России утверждается; 4) что о числе ляхов, коим быть при особе царя, послы могут условиться с ним самим; 5) что все иные желания и требования россиян предложатся сейму в Варшаве, где, *с его согласия*, король *даст* им сына в цари, но *прежде заняв Смоленск, истребив Лжедимитрия и совершенно умирив Россию*... Тут исчезла радость послов! Паны изъясняли им, что если бы Сигизмунд, не сделав ничего, выступил из России, то вольные ляхи и козаки, числом не менее восьмидесяти тысяч в ее пределах, соединились бы с Лжедимитрием; что король хочет Смоленска не для себя, а для Владислава: ибо оставит ему все в наследство, и Литву и Польшу; что смоленские граждане должны присягнуть королю единственно из чести! Но Филарет и Голицын, видя намерение Сигизмунда только манить Россию Владиславом и взять ее себе в добычу или раздробить, выразили негодование столь сильно, что гневные паны уже не хотели говорить с ними, воскликнув: «Конец терпению и Смоленску! На вас будет его пепел и кровь жителей!»

О сем худом успехе посольства сведали в Москве с равною горестию и бояре благонамеренные и гетман честолюбивый, который, все еще уверяя их в непременном исполнении своего договора, решился употребить крайнее средство: оставить Москву, только им утишаемую, и лично объясниться с королем. Сами россияне удерживали, заклинали его не предавать столицы опасностям безначалия и мятежей. Пожав руку у князя Мстиславского, он сказал ему: «Еду довершить мое дело и спокойствие России»; а ляхам: «Я дал слово боярам, что вы будете вести себя примерно для вашей собственной безопасности; поручаю вам царство Владислава, честь и славу республики». Преемникам его, то есть истинным градоначальникам Москвы, надлежало быть ляху Госевскому, с усердною помощию Михайла Салтыкова и дьяка Федора Андронова, названного государственным казначеем. Устроив все для хранения тишины, Жолкевский сел в колесницу и тихо ехал Москвою, провождаемый синклитом и толпами жителей.

---

* Сие сказано было после продолжительного спора о происхождении Св. Духа и ненадобности Владиславу повторять обряд крещения в России. (XII, 638.)

Улицы и кровли домов были наполнены людьми. Везде раздавались громкие клики: желали ему счастливого пути и скорого возвращения! Сие торжество гетманово ознаменовалось делом бесславнейшим для Боярской думы: она выдала бывшего царя своего иноплеменнику! Жолкевский взял с собою двух братьев Василиевых — и народ московский любопытно смотрел, как их везли в особенных колесницах пред гетманом! Жене князя Дмитрия Шуйского дозволили ехать с мужем; а несчастную царицу удалили в Суздальскую девичью обитель. Гетман заехал в Иосифов монастырь, взял там самого Василия и в мирской, литовской одежде, как узника, повез к Сигизмунду! «О время стыда и бесчувствия! — восклицает современник: — Мы забыли Бога! Какой ответ дадим ему и людям? Что скажем чужим государствам себе в оправдание, самовольно отдав царство и царя в плен иноверным? Не многие злодействовали; но мы видели и терпели, не имев великодушия умереть за добродетель». Так лучшие россияне скорбели внутренно, и в искреннем негодовании готовились, еще не зная и не думая, к восстанию отчаянному: час приближался!

Гетмана встретили пышно воеводы королевские и сенаторы; говорили ему речи и славили его как Героя. Жолкевский, вместе с трофеями, представил Сигизмунду и своего державного пленника в богатой одежде. Все взоры устремились на Василия, безмолвного и неподвижного. Хотели, чтобы он поклонился королю: *Царь московский*, ответствовал Василий, *не кланяется королям. Судьбами Всевышняго я пленник, но взят не вашими руками: выдан вам моими подданными изменниками.* «Его твердость, величие, разум заслужили удивление ляхов, — говорит летописец: — и Василий, лишенный венца, сделался честию России». Он еще имел нужду в сей твердости, чтобы великодушно сносить неволю, и тем заплатить последний долг отечеству в удостоверение, что оно могло без стыда именовать его четыре года своим венценосцем!.. Изъявив гетману благодарность за мнимую славу иметь такого пленника и за мнимое взятие Москвы, король не хотел однако ж утвердить его договора. Напрасно Жолкевский доказывал, грозил: доказывал, что воцарением королевича Московская и Польская держава будут навеки единою к их обоюдному счастию и что никогда первая не признает Сигизмунда царем; грозил новою, жестокою, необозримою в бедствиях войною. Считая гетмана пристрастным к своему делу и жадным к личной славе, Сигизмунд не верил ему; твердил, что занятие Смоленска необходи-

мо для блага республики и для его королевской чести; наконец велел самому Жолкевскому склонять послов московских к уступчивости миролюбивой.

С отчаянием в сердце гетман должен был исполнить королевскую волю; но, властвуя над собою, в переговорах с Филаретом и Голицыным казался убежденным в ее справедливости, и требовал от них Смоленска единственно в залог временный, для безопасного сообщения войска Сигизмундова с Литвою. «Вы боялись, — сказал он, — впустить нас и в Москву; а впустив, радовались! Не упорствуйте, или договор, заключенный мною с вами, столь благонамеренный, столь благословенный для обеих держав, уничтожится неминуемо. Король думает, что не взять Смоленска есть для него бесчестие; возьмет силою, и только из уважения к моему ходатайству медлит: секира лежит у корня!» Не хотели дать времени послам списаться с Москвою, говоря: «не Москва указывает королю, а король Москве»; требовали неукоснительного решения. В сих обстоятельствах Филарет и князь Голицын советовались с чиновниками и дворянами посольскими; желали знать мнение и *смоленских* детей боярских, которые приехали с ними, усердно служив Шуйскому до его низвержения. Все ответствовали: «Не вводить в Смоленск ни единого ляха. Если король дерзнет лить кровь, то она будет на нем, вероломном; им, не вами священный договор рушится». Дети боярские примолвили: «Наши матери и жены в Смоленске: пусть там гибнут; но города верного не отдавайте ляхам. И знайте, что вы не можете отдать его: защитники смоленские не послушаются вас как изменников». С твердостию отказав панам, Филарет и Голицын еще *слезно* заклинали их не испровергать дела гетманова и быть навеки братьями россиян; но тщетно! 24 ноября ляхи, новым подкопом взорвав Грановитую башню и часть городской стены, с немцами и козаками устремились к смоленской крепости; приступали три раза и были славно отражены Шеиным, в глазах Сигизмунда, гетмана и наших послов!.. Еще переговоры длились, хотя и бесполезно. Послы российские жили в тесном заключении: им не дозволяли писать в Смоленск; мешали сношениям их с Москвою и с другими городами, так что они долгое время не имели никаких вестей, никаких предписаний от Думы боярской, слыша единственно от панов, что шведы воюют Россию, и Самозванец усиливается в Калуге, ожидая к себе крымцев и турков в сподвижники; что король датский готовится взять Архангельск; что все

восстают, все идут на Россию; что она гибнет и может быть спасена только великодушным Сигизмундом.

Россия действительно гибла и могла быть спасена только Богом и собственною добродетелию! Столица, без осады, без приступа взятая иноплеменниками, *казалась* нечувствительною к своему уничижению и стыду. Бояре сидели в Думе и писали указы, но слушаясь Госевского, который, уже зная Сигизмундову волю отвергнуть договор гетманов и предвидя следствия, употреблял все нужные меры для своей безопасности: высылал стрельцов из Москвы, чтобы уменьшить в ней число людей ратных; велел истребить все рогатки на улицах; запретил жителям носить оружие, толпиться на площадях, выходить ночью из домов, и везде усилил стражу. Выгнали дворян и богатейших купцов из Китая и Белого города за вал деревянного, чтобы в их домах поместить немцев и ляхов. Однако ж благоразумные предписания гетмановы исполнялись строго: не касались ни чести, ни собственности жителей, ни святыни церквей; наглость унимали и наказывали без милосердия. Один лях выстрелил в икону Богоматери, другой обесчестил девицу: их судили, и первого сожгли, а второго высекли кнутом. Еще тишина царствовала, и москвитяне пировали с ляхами, скрывая взаимное опасение и неприязнь, называясь братьями и *нося камень за пазухою*, как говорит историк-очевидец. Ляхи не верили терпению россиян, а россияне доброму намерению ляхов, видя их беззаконное господство в столице, угодное только немногим знатным крамольникам: Салтыкову, Рубцу-Мосальскому и другим тушинским злодеям, которые хотя и предлагали иноплеменнику условия благовидные для нашей свободы, но вместо Владислава готовы были отдать Россию и Сигизмунду без всяких условий, чтобы под его державою спастися от праведной казни. Сильные мечом ляхов, они законодательствовали в робкой Думе, утверждая князя Мстиславского и других бояр слабых в надежде, что Сигизмунд даст им сына в цари, невзирая на свою медленность и требования несправедливые. Прошло около двух месяцев. Дума знала, что наши послы живут у короля в неволе; знала о приступе ляхов к Смоленску и все еще ждала Владислава! Долго молчав, король написал к ней, что он не продаст России в жертву злодею калужскому и гнусным его сообщникам: должен искоренить их, смирить мятежный Смоленск — и тогда возвратится в Литву, чтобы на сейме, в присутствии наших послов, утвердить договор московский. Между тем король *от соб-*

ственного имени давал указы Думе о вознаграждении бояр и сановников, к нему усердных: Салтыковых, Мосальского, Хворостинина, Мещерского, Долгорукого, Молчанова, печатника Грамотина и других, разоренных Шуйским: жаловал чины и места, земли и деньги; одним словом, уже действовал как властелин России, не имея ни тени права, – и Дума уважала его волю, как будто бы нераздельную с волею царя малолетнего! И люди знатные ездили из Москвы в стан королевский, просить милостей, равно беззаконных и срамных!.. Уже народ, менее Думы терпеливый, изъявлял досаду, не видя Владислава, и бояре, опасаясь мятежа, заклинали Сигизмунда удовлетворить сему нетерпению без отлагательства и без сейма: о Владиславе не было слуха, а король заботился единственно о взятии Смоленска!

В таком положении могла ли столица с ее мнимым правительством быть главою и душою государства? Все волновалось в неустройстве, без связи в частях целого, без единства в движениях. Областные жители, присягнув королевичу, с неудовольствием слышали о господстве ляхов в столице, с негодованием видели их чиновников, разосланных гетманом и Госевским для собрания дани на жалованье королевскому войску. Везде кричали: «Мы присягали Владиславу, а не гетману и не Госевскому!» Жалобы еще удвоились от неистовства ляхов, которые вели себя благоразумно в одной Москве: презирая договор, они не только не выходили из наших городов, не только самовольствовали в них и грабили, но и жгли, мучили, убивали россиян. Где нет защиты от правительства, там нет к нему и повиновения. Новогородцы затворили ворота и долго не хотели впустить боярина Ивана Салтыкова, известного друга гетманова, присланного к ним Думою с дружинами стрельцов, чтобы выгнать шведов из северной России: ибо союзник Делагарди, после несчастной Клушинской битвы отступая к финляндским границам, уже действовал как неприятель; занял Ладогу, осадил Кексгольм и с горстию воинов мыслил отнять царство у Владислава, сам собою, без ведома Карлова, торжественно предлагая одного из шведских принцев нам в государи. Дав клятву новогородцам не вводить к ним ни одного ляха, Салтыков убедил их, как подданных Владиславовых, содействовать ему в изгнании шведов и в усмирении мятежников: вытеснил первых из Ладоги, но не мог выгнать из России, — ни смирить Пскова, где еще царствовало имя Лжедимитрия, и где злодействовал Лисовский, торгуя добычею разбоев и святотатства, пируя с жителями

как с братьями и грабя их как неприятель. Великие Луки, занятые его сподвижником, изменником Просовецким, Яма, Иваньгород, Копорье, Орешек также упорствовали в верности к Самозванцу, от ненависти к ляхам. Сия ненависть произвела тогда еще новую, разительную измену. Знаменитая именем царства, Казань, в счастливейшие дни тушинского злодея быв верною Москве, вдруг пристала к нему, уже почти всеми отверженному и презренному! Ее чернь и граждане, сведав о вступлении гетмана в столицу, возмутились; объявили, что лучше хотят служить калужскому *царику*, нежели зловерной Литве, и целовали крест Лжедимитрию, следуя внушению лазутчиков и слуг его, которые были им тогда посланы в Астрахань* и находились в Казани. Воевода, славный любимец Иоаннов, Бельский, уговаривал народ не присягать ни Владиславу, ни Лжедимитрию, а *будущему* венценосцу московскому, без имени; стыдил, заклинал — и был жертвою яростной черни, подстрекаемой дьяком Шульгиным: Бельского схватили, кинули с высокой башни и растерзали — того, кто служил шести царям, не служа ни отечеству, ни добродетели; лукавствовал, изменял... и погиб в лучший час своей государственной жизни как страдалец за достоинство народа российского! Другой воевода казанский, боярин Морозов, и люди чиновные не дерзнули противиться ослепленным гражданам и вместе с ними писали к жителям северных областей, что Москва сделалась Литвою, а Калуга столицею отечества; что имя Димитрия должно соединить всех истинных россиян для восстановления государства и церкви. Но казанцы присягнули уже тени!

Никем не тревожимый в Калуге и до времени нужный Сигизмунду как пугалище для Москвы, Самозванец, имея тысяч пять козаков, татар и россиян, еще грозил и Москве и Сигизмунду, мучил ляхов, захватываемых его шайками в разъездах, и говорил: «Христиане мне изменили: итак, обращусь к магометанам; с ними завоюю Россию, или не оставлю в ней камня на камне: доколе я жив, ей не знать покоя». Он думал, как пишут, удалиться в Астрахань, призвать к себе всех донцов и ногаев, основать там новую державу и заключить братский союз с турками! Между тем веселился, безумствовал и, хваляся дружбою магометан,

---

* Лжедимитрий отправил в Астрахань Керносицкого с объявлением милости ее жителям и с известием, что желает у них основать свою столицу: ибо Москва и Север окрестились *некрестями*. (XII, 664.)

то ласкал, то казнил их, на свою гибель. Судьба его решилась незапно. Хан или царь касимовский Ураз-Магмет во время Лжедимитриева бегства из Тушина не пристал ни к ляхам, ни к россиянам, и с новым усердием явился к нему в Калуге: но сын ханский донес, что отец его мыслит тайно уехать в Москву, — и Лжедимитрий, без всякого исследования, велел палачам своим Михайлу Бутурлину и Михневу умертвить несчастного Ураз-Магмета и кинуть в Оку; а князя ногайского Петра Араслана Урусова, хотевшего мстить сыну-клеветнику, посадил в темницу. Чрез несколько дней освобожденный и снова ласкаемый Самозванцем, Араслан уже пылал злобою непримиримою и, выехав с ним на охоту (декабря 11), в месте уединенном прострелил его насквозь пулею, сказав: «я научу тебя топить ханов и сажать мурз в темницу», отсек ему голову и с ногаями ушел в Тавриду, прославив себя злодейским истреблением злодея, который едва не овладел обширнейшим царством в мире, к стыду России не имев ничего, кроме подлой души и безумной дерзости.

С вестию о сем убийстве прискакал в Калугу шут Лжедимитриев, Кошелев, быв свидетелем оного. Сделалось страшное смятение. Ударили в набат. Марина отчаянная, полунагая, ночью с зажженным факелом бегала из улицы в улицу, требуя мести — и к утру не осталось ни единого татарина живого в Калуге: их всех, хотя и невинных в Араслановом деле, безжалостно умертвили козаки и граждане. Обезглавленный труп Лжедимитриев с честию предали земле в Соборной церкви, и Марина, в отчаянии не теряя ни ума, ни властолюбия, немедленно объявила себя беременною; немедленно и родила... сына, торжественно крещенного и названного царевичем Иоанном, к живейшему удовольствию народа. Готовился новый обман; но россияне чиновные, которые еще находились между последними клевретами Самозванца: князь Дмитрий Трубецкой, Черкасский, Бутурлин, Микулин и другие, уже не хотели служить ни срамной вдове двух обманщиков, ни ее сыну, действительному или мнимому; целовали крест государю законному, тому, кто волею Божиею и всенародною утвердится на Московском престоле; дали знать о сем Думе боярской; овладели Калугою и взяли Марину под стражу.

Россия, казалось, ждала только сего происшествия, чтобы единодушным движением явить себя еще не мертвою для чувств благородных: любви к отечеству и к независимости государственной. Что может народ в крайности уничижения без

вождей смелых и решительных? Два мужа, избранные Провидением начать великое дело... и быть жертвою оного, бодрствовали за Россию: один старец ветхий, но адамант церкви и государства — патриарх Ермоген; другой, крепкий мышцею и духом, стремительный на пути закона и беззакония — Ляпунов Рязанский. Первому надлежало увенчать свою добродетель: второму примириться с добродетелию. Ляпунов враждовал, Ермоген усердствовал несчастному Шуйскому: новые бедствия отечества согласили их. Оба, уступив силе, признали Владислава, но с условием — и не безмолвствовали, когда, нарушая договор, гетман овладел столицею. Сигизмунд давал указы от своего имени и громил Смоленск, а ляхи злодействовали в мнимом Владиславовом царстве. Ляпунов знал все, что делалось в королевском стане, где находился его брат в числе дворян с Филаретом и Голицыным. Сей человек дерзкий и лукавый — известный Захария, один из главных виновников Василиева низвержения, в личине изменника пировал с вельможными панами, грубо смеялся над послами, винил их в упрямстве, но обманывал ляхов: наблюдал, выведывал и тайно сносился с братом, как ревностный противник Владиславова царствования. Так и некоторые из послов, светские и духовные, лицемерно изъявляли доброжелательство к Сигизмунду и были милостиво уволены им в Москву, обещая содействовать в ней его видам: думный дворянин Сукин, дьяк Васильев, архимандрит Евфимий и келарь Аврамий; но возвратились единственно для того, чтобы огласить в столице и в России вероломство гетманово или Сигизмундово. Уже Ермоген в искренних беседах с людьми надежными, Ляпунов в переписке с духовенством и чиновниками областей, убеждал их не терпеть насилия иноплеменников. Убеждения действовали, негодование возрастало — и как скоро услышали москвитяне о смерти Лжедимитрия, страшилища для их воображения, то, радуясь и славя Бога, вдруг заговорили смело о необходимости соединиться *душами и головами* для изгнания ляхов. Тщетно Сигизмунд — уже знав, вероятно, о гибели Самозванца и лишась предлога оставаться в России, будто бы для его истребления — писал (от 13 декабря) к боярам, что «Владислав скоро будет в Москву, а войско королевское идет против калужского злодея»: Россия уже не хотела Владислава! Дума, в своем ответе, благодарила Сигизмунда за милость, требуя однако ж скорости и

прибавляя, что россияне уже не могут терпеть сиротства, *будучи стадом без пастыря или великим зверем без главы*; но патриарх, удостоверенный в единомыслии добрых граждан, объявил торжественно, что Владиславу не царствовать, *если не крестится в нашу Веру* и не вышлет всех ляхов из державы Московской, Ермоген сказал: столица и государство повторили. Уже не довольствовались ропотом. Москва, под саблею ляхов, еще не двигалась, ожидая часа; но в пределах соседственных блеснули мечи и копья: начали вооружаться. Город сносился с городом; писали и наказывали друг к другу словесно, что пришло время стать за Веру и Государство. Особенное действие имели две грамоты, всюду разосланные из Москвы: одна к ее жителям от *уездных* смолян, другая от москвитян ко всем россиянам. Смоляне писали: «Обольщенные королем, мы ему не противились. Что же видим? гибель душевную и телесную. Святые церкви разорены; ближние наши в могиле или в узах. Хотите ли такой же доли? Вы ждете Владислава и служите ляхам, угождая извергам, Салтыкову и Андронову; но Польша и Литва не уступят своего будущего венценосца вам, ославленным изменами. Нет, король и сейм, долго думав, решились взять Россию без условий, вывести ее лучших граждан и господствовать в ней над развалинами. Восстаньте, доколе вы еще вместе и не в узах; поднимите и другие области, да спасутся души и царство! Знаете, что делается в Смоленске: там горсть верных стоит неуклонно под щитом Богоматери и разит сонмы иноплеменников!» Москвитяне писали к братьям во все города: «Не слухом слышим, а глазами видим бедствие неизглаголанное. Заклинаем вас именем Судии живых и мертвых: восстаньте и к нам спешите! Здесь корень царства, здесь знамя отечества, здесь Богоматерь, изображенная евангелистом Лукою; здесь светильники и хранители церкви, митрополиты Петр, Алексий, Иона! Известны виновники ужаса, предатели студные: к счастию, их мало; не многие идут во след Салтыкову и Андронову — а за нас Бог, и все добрые с нами, хотя и не явно до времени: святейший патриарх Ермоген, прямый учитель, прямый наставник, и все христиане истинные! Дадите ли нас в плен и в латинство?» — Кроме Рязани, Владимир, Суздаль, Нижний, Романов, Ярославль, Кострома, Вологда ополчились усердно, для избавления Москвы от ляхов, по мысли Ляпунова и благословению Ермогена.

22 Зак. № 40

Что же сделало так называемое правительство, Боярская дума, сведав о сем движении, признаке души и жизни в государстве истерзанном?.. Донесло Сигизмунду на Ляпунова, как на мятежника, требуя казни его брата и единомышленника, Захарии; велело послам, Филарету и Голицыну, уважать Сигизмундову волю и ехать в Литву к Владиславу, если так будет угодно королю; велело Шеину впустить ляхов в Смоленск; выслало даже войско с князем Иваном Куракиным для усмирения мнимого бунта в Владимире. Но Филарет и Голицын уже все знали и благоприятствовали великому начинанию Ляпунова; заметили, что грамота боярская не скреплена патриархом, и не хотели повиноваться; дали тайно знать и смоленскому воеводе, чтобы он не исполнял указа Думы, — и доблий Шеин ответствовал королевским панам: «исполните прежде договор гетманов»; длил время в сношениях с ними и ждал избавления, готовый и на славную гибель. С другой стороны войско союзных городов близ Владимира встретило и разбило Куракина. Сим междоусобным кровопролитием рушилась государственная власть Думы, оттоле признаваемая единственно невольною Москвою. Ляпунов, остановив все доходы казенные и не велев пускать хлеба в столицу, всенародно объявил вельмож синклита богоотступниками, *преданными славе мира и враждебному Западу, не пастырями, а губителями христианского стада.* Таковы действительно были Салтыков и клевреты его; не таковы Мстиславский и другие, единственно запутанные в их сетях, единственно слабодушные, и с любовию к отечеству без умения избрать для него лучшее в обстоятельствах чрезвычайных: страшась народных мятежей более, нежели государственного уничижения, они думали спасти Россию Владиславом, верили гетману, верили Сигизмунду — не верили только добродетели своего народа и заслужили его презрение, уступив добрую славу трем из мужей думных, князьям Андрею Голицыну, Воротынскому и Засекину, которые не таили своего единомыслия с Ермогеном, обличали предательство или заблуждение других бояр и были отданы под стражу в виде крамольников.

Уже москвитяне, слыша о ревностном восстании городов, переменились в обхождении с ляхами: быв долго смиренны, начали оказывать неуступчивость, строптивость, дух враждебный и сварливый, как было пред гибелью расстриги. Кричали на улицах: «Мы по глупости выбрали ляха в цари, однако ж не с тем, чтобы идти в неволю к ляхам; время разделаться с ними!» В грубых на-

смешках давали им прозвание хохлов, а купцы за все требовали с них вдвое. Уже начинались ссоры и драки. Госевский требовал от своих благоразумия, терпения и неусыпности. Они бодрствовали день и ночь, не снимая с себя доспехов, ни седел с коней; ежедневно, три и четыре раза, били тревогу; имели везде лазутчиков; осматривали на заставах возы с дровами, сеном, хлебом и находили в них иногда скрытое оружие. Высылали конные дружины на дороги, перехватили тайное письмо из Москвы к областным жителям и сведали, что они в заговоре с ними и что патриарх есть глава его; что москвитяне надеются не оставить ни одного ляха живого, как скоро увидят войско избавителей под своими стенами. Не взирая на то, Госевский еще не смел употребить средств жестоких, ни обезоружить стрельцов и граждан, ни свергнуть патриарха; довольствовался угрозами, сказав Ермогену, что святость сана не есть право быть возмутителем. Более наглости оказали злодеи российские. Михайло Салтыков требовал, чтобы Ермоген не велел ополчаться Ляпунову. «Не велю, — ответствовал патриарх, — если увижу крещенного Владислава в Москве и ляхов, выходящих из России; велю, если не будет того, и разрешаю всех от данной королевичу присяги». Салтыков в бешенстве выхватил нож: Ермоген осенил его крестным знамением и сказал громогласно: «Сие знамение против ножа твоего, да взыдет вечная клятва на главу изменника!» И взглянув на печального Мстиславского, примолвил тихо: «твое начало: ты должен первый умереть за Веру и государство; а если пленишься кознями сатанинскими, то Бог истребит корень твой на земле живых — и сам умрешь какою смертию?» Предсказание исполнилось, говорит летописец: ибо Мстиславский никак не хотел одобрить народного восстания и писал от имени синклита грамоту за грамотою к королю, что обстоятельства ужасны и время дорого; что одна столица еще не изменяет Владиславу, а держава в безначалии готова разделиться; что Ивань-город и Псков, обольщенные генералом Делагарди, желают иметь царем шведского принца; что Астрахань и Казань, где господствует злосчастие Магометово, умышляют предаться шаху Аббасу; что области низовые, степные, восточные и северные до пустынь сибирских возмущены Ляпуновым; но что немедленное прибытие королевича еще может все исправить, спасти Россию и честь королевскую. Изменники же, Салтыков и Андронов, звали в Москву не Владислава, а самого короля с войском, ответствуя ему за успех, то есть за порабощение России обманом и насилием.

Но Сигизмунд, вопреки настоянию бояр и даже многих польских сенаторов, вопреки собственному обету, не думал отправить сына в Москву; не думал и сам идти к ней с войском, как предлагали ему наши изменники; сильно, упорно хотел одного: взять Смоленск — и ничего не делал; писал только указы синклиту уже вместе, от себя и Владислава, именуя его однако ж не царем, а просто королевичем; уверял бояр и всю Россию, что желает ее мира и счастия, умиленный нашими бедствиями, и будучи ревностным заступником греческого православия; желает соединить ее с республикою узами любви и блага общего, под нераздельным державством своего рода; что виною всего зла есть упрямство Шеина и князя Василия Голицына, не хотящих ни Владислава, ни тишины; что до усмирения Смоленска нельзя предпринять ничего решительного для успокоения государства. Между тем, как бы уже спокойно властвуя над Россиею, Сигизмунд непрестанно извещал Думу о своих милостях: производил дворян в стольники и бояре, раздавал имения, вершил дела старые, предписывал казне платить долги купцам иноземным еще за Иоанна, в то время когда указы ее были уже ничтожны для России; когда города один за другим восставали на ляхов; когда и жители Смоленской области стерегли, истребляли их в разъездах, тревожа нападениями и в стане, откуда многие россияне, дотоле служив королю, уходили служить отечеству: так Иван Никитич Салтыков, пожалованный в бояре Сигизмундом, мнимый доброхот его, мнимый противник Ермогена, Филарета и Голицына, с целою дружиною ушел к Ляпунову. Напрасно Госевский ждал вспоможения от короля: видя необходимость действовать только собственными силами, он выслал шайки днепровских козаков и московского изменника Исая Сунбулова воевать места рязанские. Ляпунов, имея еще мало рати, выгнал толпы неприятельские из Пронска, но чрез несколько дней был осажден ими в сем городе и спасен князем Дмитрием Пожарским, уже ревностным его сподвижником: обратив их в бегство, и скоро разбив наголову у Зарайска, добрый князь Дмитрий избавил вместе и Ляпунова от плена и землю Рязанскую от грабежа; блеснул новым лучом славы и, с чистою душою пристав к великому делу, дал ему новую силу... Козаки бежали в украйну, предвидя несгоду злодейства, а Сунбулов в Москву с худою вестию для изменников и ляхов, устрашаемых и восстанием областей и ножами москвитян. Но Го-

севский хвалился презрением к россиянам: надеялся управиться с боязливою Москвою, вопреки неблагоразумию короля соблюсти ее как важное завоевание для республики и с малым числом удалых воинов победить многолюдную сволочь.

Рать Ляпунова и других областных начальников была действительно странною смесью людей воинских и мирных граждан с бродягами и хищниками, коими в сии бедственные времена кипела Россия, и которые искали единственно добычи под знаменами силы, законной или беззаконной: грабив прежде с ляхами, они шли тогда на ляхов, чтобы также грабить, и более мешать, нежели способствовать добру. Так атаман Просовецкий, быв клевретом и став неприятелем Лисовского, имев даже близ Пскова кровопролитную с ним битву как разбойник с разбойником, вдруг явился в Суздаль как честный слуга России, привел к Ляпунову тысяч шесть козаков и сделался одним из главных воевод народного ополчения! Всех звали в союз, чтобы только умножить число людей. Приняли князя Дмитрия Трубецкого, атамана Заруцкого и всю остальную дружину тушинскую; ибо сии долго упорные мятежники вдруг воспламенились усердием к государственной чести, отвергнули указ московских бояр, не дав клятвы в верности к Владиславу, и выгнали из Калуги посла их князя Никиту Трубецкого. Звали и бесстыдного Сапегу, который, не хотев удалиться в Северскую землю, писал из Перемышля к калужанам, что он служит не королю, не королевичу, а вольности, — не слушает бояр, убеждающих его идти на Ляпунова, и готов стоять за независимость России. Чего надлежало ждать и в святом предприятии от такого несчастного состава? не единства, а раздора и беспорядка. Но кто верил таинственной силе добра, мог чаять успеха благословенного, видя, сколь многие, и сколь ревностно шли умирать за отечество сирое, кинув домы и семейства. Раздор и беспорядок долженствовали уступить великодушию!

Около трех месяцев готовились — и наконец (в марте) выступили к Москве: Ляпунов из Рязани, князь Дмитрий Трубецкой из Калуги, Заруцкий из Тулы, князь Литвинов-Мосальский и Артемий Измайлов из Владимира, Просовецкий из Суздаля, князь Федор Волконский из Костромы, Иван Волынский из Ярославля, князь Козловский из Романова, с дворянами, детьми боярскими, стрельцами, гражданами, земледельцами, татарами и козаками; были на пути встречаемы жителями с хлебом и солью, иконами и крестами, с усердными кликами и пальбою; шли бодро, но

тихо — и сия, вероятно невольная, неминуемая по обстоятельствам медленность имела для Москвы ужасное следствие.

В то время, когда ее граждане с нетерпением ждали избавителей, бояре, исполняя волю Госевского, в последний раз заклинали Ермогена удалить бурю, спасти Россию от междоусобия и Москву от крайнего бедствия: писать к Ляпунову и сподвижникам его, чтобы они шли назад и распустили войско. *Ты дал им оружие в руки*, говорил Салтыков: *ты можешь и смирить их.* «Все смирится, — ответствовал патриарх, — когда ты, изменник, с своею литвою исчезнешь; но в царственном граде видя ваше злое господство, в святых храмах Кремлевских оглашаясь латинским пением (ибо ляхи в доме Годунова устроили себе божницу), благословляю достойных вождей христианских утолить печаль отечества и церкви». Дерзнули наконец приставить воинскую стражу к непреклонному иерарху; не пускали к нему ни мирян, ни духовенства; обходились с ним то жестоко и бесчинно, то с уважением, опасаясь народа. В неделю Ваий велели или дозволили Ермогену священнодействовать и взяли меры для обуздания жителей, которые в сей день обыкновенно стекались из всех частей города и ближних селений в Китай и Кремль, быть зрителями великолепного обряда церковного. Ляхи и немцы, пехота и всадники, заняли Красную площадь с обнаженными саблями, пушками и горящими фитилями. Но улицы были пусты! Патриарх ехал между уединенными рядами иноверных воинов; узду его осляти держал, вместо царя, князь Гундуров, за коим шло несколько бояр и сановников, унылых, мрачных видом. Граждане не выходили из домов, воображая, что ляхи умышляют незапное кровопролитие и будут стрелять в толпы народа безоружного. День прошел мирно; также и следующий. Госевский, имея только 7000 воинов против двух или трехсот тысяч жителей, не хотел кровопролития: ни москвитяне. Первый, слыша, что Ляпунов и Заруцкий уже недалеко, мыслил идти к ним навстречу и разбить их отдельно; а москвитяне, готовые к восстанию, откладывали его до появления избавителей. Но взаимная злоба вспыхнула, не дав ни Госевскому выступить из Москвы, ни воеводам российским спасти ее. Кто начал? Неизвестно; но вероятнее, ляхи, с досадою терпев насмешки, грубости жителей, и думая, что лучше управиться с ними заблаговременно, нежели поставить себя между их тайно остримыми ножами и войском городов союзных, — наконец удовлетворяя своему алчному корыс-

толюбию разграблением богатой столицы. Так началось и свершилось ее бедствие ужасное:

19 марта, во Вторник Страстной недели, в час Обедни, услышали в Китае-городе тревогу, вопль и стук оружия. Госевский прискакал из Кремля: увидел кровопролитие между ляхами и россиянами, хотел остановить, не мог, и дал волю первым, которые действовали наступательно, резали купцов и грабили лавки; вломились в дом к боярину верному, князю Андрею Голицыну, и бесчеловечно умертвили его. Жители Китая искали спасения в Белом городе и за Москвою-рекою: конные ляхи гнали, топтали, рубили их; но в Тверских воротах были удержаны стрельцами. Еще сильнейшая битва закипела на Сретенке: там явился витязь знаменитый, отряженный ли вперед Ляпуновым или собственною ревностию приведенный одушевить Москву: князь Дмитрий Пожарский. Он кликнул доблих, устроил дружины, снял пушки с башен и встретил ляхов ядрами и пулями, отбил и втоптал в Китай. Иван Бутурлин в Яузских воротах и Колтовский за Москвою-рекою также стали против них с воинами и народом. Бились еще в улицах Тверской, Никитской и Чертольской, на Арбате и Знаменке. Госевский подкреплял своих; но число россиян несравненно более умножалось: при звуке набата старые и малые, вооруженные дрекольем и топорами, бежали в пыл сечи; из окон и с кровель разили неприятеля камнями и чурками, дровами: стреляли из-за них и двигали сие укрепление вперед, где ляхи отступали. Уже москвитяне везде имели верх, когда приспел из Кремля с немцами капитан Маржерет, верный слуга Годунова и расстриги, изгнанный Шуйским и принятый гетманом в королевскую службу: торгуя верностию и жизнию, сей честный наемник ободрил ляхов неустрашимостию и, некогда лив кровь свою за россиян, жадно облился их кровию. Битва снова сделалась упорною; многолюдство однако ж преодолевало, и москвитяне теснили неприятеля к Кремлю, его последней ограде и надежде. Тут, в час решительный, услышали голос: «огня! огня!» и первый вспыхнул в Белом городе дом Михайла Салтыкова, зажженный собственною рукою хозяина: гнусный изменник уже не мог иметь жилища в столице отечества, им преданного иноплеменнику! Зажгли и в других местах: сильный ветер раздувал пламя в лицо москвитянам, с густым дымом, несносным жаром, в улицах тесных. Многие кинулись тушить, спасать домы; битва ослабела, и ночь прекратила ее, к счастию изнуренного непри-

ятеля, который удержался в Китае-городе, опираясь на Кремль. Там все затихло; но другие части Москвы представляли шумное смятение. Белый город пылал; набат гремел без умолку; жители с воплем гасили огонь, или бегали, искали, кликали жен и детей, забытых в часы жаркого боя. После такого дня, и предвидя такой же, никто не думал успокоиться.

Ляхи в пустых домах Китая-города, среди трупов, отдыхали; а в Кремле, при свете зарева, бодрствовали и рассуждали вожди их, что делать? Там еще находилось мнимое правительство российское с знатнейшими сановниками, воинскими и гражданскими: ужасаясь мысли желать победы иноплеменникам, дымящимся кровию москвитян, но малодушно боясь и мести своего народа, или не веря успеху восстания, Мстиславский и другие легкоумные вельможи, упорные в верности к Владиславу, были в изумлении и бездействии; тем ревностнее действовали изменники ожесточенные: прервав навеки связь с отечеством, заслужив его ненависть и клятву церковную, пылая адскою злобою и жаждою губительства, они сидели в сей ночной Думе ляхов и советовали им разрушить Москву для их спасения. Госевский принял совет — и в следующее утро 2000 немцев с отрядом конным вышли из Кремля и Китая в Белый город и к Москве-реке, зажгли в разных местах домы, церкви, монастыри и гнали народ из улицы в улицу не столько оружием, сколько пламенем. В сей самый час прискакали к стенам уже пылающего деревянного города от Ляпунова воевода Иван Плещеев, из Можайска королевский полковник Струс, каждый для вспоможения своим, оба с легкими дружинами, равными в силах, не в мужестве. Ляхи напали: россияне обратили тыл —, и вождь первых, кликнув: «за мною, храбрые!» сквозь пыл и треск деревянных падающих стен вринулся в город, где жители, осыпаемые искрами и головнями, задыхаясь от жара и дыма, уже не хотели сражаться за пепелище: бежали во все стороны, на конях и пешие, не с богатством, а только с семействами. Несколько сот тысяч людей вдруг рассыпалось по дорогам к лавре, Владимиру, Коломне, Туле; шли и без дорог, вязли в снегу, еще глубоком; цепенели от сильного, холодного ветра; смотрели на горящую Москву и вопили, думая, что с нею исчезает и Россия! Некоторые засели в крепкой Симоновской обители ждать избавителей. Но оставленная народом и войском в жертву огню и ляхам, Москва еще имела ратоборца: князь Димитрий Пожарский еще стоял твердо в облаках дыма, между Сре-

тенкою и Мясницкою, в укреплении, им сделанном: бился с ляхами и долго не давал им жечь за каменною городскою стеною; не берег себя от пуль и мечей, изнемог от ран и пал на землю. Верные ему до конца немногие сподвижники взяли и спасли будущего спасителя России: отвезли в лавру... До самой ночи уже беспрепятственно губив огнем столицу, ляхи с гордостию победителей возвратились в Китай и Кремль, любоваться зрелищем, ими произведенным; бурным пламенным морем, которое, разливаясь вокруг их, *обещало им безопасность*, как они думали, не заботясь о дальнейших, вековых следствиях такого дела и презирая месть россиян!

Москва пустая горела двое суток. Где угасал огонь, там ляхи, выезжая из Китая, снова зажигали, в Белом городе, в Деревянном и в предместиях. Наконец везде утухло пламя, ибо все сделалось пеплом, среди коего возвышались только черные стены, церкви и погреба каменные. Сия громада золы, в окружности на двадцать верст или более, курилась еще несколько дней, так что ляхи в Китае и Кремле, дыша смрадом, жили как в тумане — но ликовали; грабили казну царскую: взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать к Сигизмунду или употребить вместо денег на жалованье войску; сносили добычу, найденную в гостином дворе, в жилищах купцов и людей знатных; сдирали с икон оклады; делили на равные части золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные, с презрением кидая медь, олово, холсты, сукна; рядились в бархаты и штофы; пили из бочек венгерское и мальвазию. Изобиловали всем роскошным, не имея только нужного: хлеба! Бражничали, играли в зернь и в карты, распутствовали и пьяные резали друг друга!.. А россияне, их клевреты гнусные или невольники малодушные, праздновали в Кремле Светлое Воскресение и молились за царя Владислава, с иерархом достойным такой паствы: Игнатием, угодником расстригиным, коего вывели из Чудовской обители, где он пять лет жил опальным иноком, и снова назвали патриархом, свергнув и заключив Ермогена на Кирилловском подворье. Сей муж бессмертный, один среди врагов неистовых и россиян презрительных—между памятниками нашей славы, в ограде, священной для веков могилами Димитрия Донского, Иоанна III, Михаила Шуйского — в темной келии сиял добродетелию как лучезарное светило отечества, готовое угаснуть, но уже воспламенив в нем жизнь и ревность к великому делу!

Глава V
МЕЖДОЦАРСТВИЕ
1611—1612 гг.

Следствия сожжения Москвы. Поляки осаждены. Твердость Ермогена. Избрание главных военачальников. Действия Сапеги. Приступ к Китаю-городу. Послы московские отправлены в Литву. Взятие Смоленска. Шуйские в Варшаве. Умысел Заруцкого и Марины. Уставная грамота. Виды Ляпунова. Дела с шведами. Новгород взят генералом Делагарди. Договор шведов с Новымгородом. Мятеж в войске генерала Делагарди. Убиение Ляпунова. Последствия. Состояние России.

Весть о бедствии Москвы, распространив ужас, дала новую силу народному движению. Ревностные иноки лавры, едва услышав, что делается в столице, послали к ней всех ратных людей монастырских, написали умилительные грамоты к областным воеводам и заклинали их угасить ее дымящийся пепел кровию изменников и ляхов. Воеводы уже не медлили и шли вперед, на каждом шагу встречая толпы бегущих москвитян, которые, с воплем о мести, примыкали к войску, поручая жен и детей своих великодушию народа. 25 марта ляхи увидели на Владимирской дороге легкий отряд россиян, козаков атамана Просовецкого; напали — и возвратились, хвалясь победою. В следующий день пришел Ляпунов от Коломны, Заруцкий от Тулы; соединились с другими воеводами близ обители Угрешской и 28 марта двинулись к пепелищу московскому. Неприятель, встретив их за Яузскими воротами, скоро отступил к Китаю и Кремлю, где россияне, числом не менее ста тысяч, но без устройства и взаимной доверенности, осадили шесть или семь тысяч храбрецов иноземных, исполненных к ним презрения. Ляпунов стал на берегах Яузы, князь Дмитрий Трубецкий с атаманом Заруцким против Воронцовского поля, ярославское и костромское ополчение у ворот Покровских, Измайлов у Сретенских, князь Литвинов-Мосальский у Тверских, внутри обожженных стен Белого города. Тут прибыл к войску келарь Аврамий с Святою водою от лавры, оживить сердца ревностию, укрепить мужеством. Тут, на завоеванных кучах пепла водрузив знамена, воины и воеводы с торжественными обрядами дали клятву не чтить ни Владислава царем, ни бояр московских правителями, служить

церкви и государству до избрания государя нового, не крамольствовать ни делом, ни словом,— блюсти закон, тишину и братство, ненавидеть единственно врагов отечества, злодеев, изменников, и сражаться с ними усердно.

Битвы началися. Делая вылазки, осажденные дивились несметности россиян и еще более умным распоряжениям их вождей— то есть Ляпунова, который в битве 6 апреля стяжал имя *львообразного* стратига: его звучным голосом и примером одушевляемые россияне кидались пешие на всадников, резались человек с человеком, и втеснив неприятеля в крепость, ночью заняли берег Москвы-реки и Неглинной. Ляхи тщетно хотели выгнать их оттуда; нападали конные и пешие, имели выгоды и невыгоды в ежедневных схватках, но видели уменьшение только своих: во многолюдстве осаждающих урон был незаметен. Россияне надеялись на время: ляхи страшились времени, скудные людьми и хлебом. Гонсевский желал прекратить бесполезные вылазки, но сражался иногда невольно, для спасения кормовщиков, высылаемых им тайно, ночью, в окрестные деревни; сражался и для того, чтобы иметь пленников для размена. Известив короля о сожжении Москвы и приступе россиян к ее пепелищу, он требовал скорого вспоможения, ободрял товарищей, советовался с гнусным Салтыковым — и еще испытал силу души Ермогеновой. К старцу ветхому, изнуренному добровольным постом и тесным заключением, приходили наши изменники и сам Госевский с увещаниями и с угрозами: хотели, чтобы он велел Ляпунову и сподвижникам его удалиться. Ответ Ермогенов был тот же: «Пусть удалятся ляхи!» Грозили ему злою смертию: старец указывал им на небо, говоря: «боюся Единого, там живущего!» Невидимый для добрых россиян, великий иерарх сообщался с ними молитвою; слышал звук битв за свободу отечества, и тайно, из глубины сердца, пылающего неугасимым огнем добродетели, слал благословение верным подвижникам!

К несчастию, между сими подвижниками господствовало несогласие: воеводы не слушались друг друга, и ратные действия без общей цели, единства и связи, не могли иметь и важного успеха. Решились торжественно избрать начальника; но, вместо одного, выбрали трех: верные Ляпунова, чиновные мятежники тушинские князя Дмитрия Трубецкого, грабители-козаки атамана Заруцкого, чтобы таким зловещим выбором утвердить мнимый союз россиян добрых с изменниками и разбойниками, коих находилось множество в войске. Трубецкий, сверх знатности, имел по

крайней мере ум стратига и некоторые еще благородные свойства, усердствуя оказать себя достойным высокого сана: Заруцкий же, вместе с ним выслужив боярство в Тушине, имел одну смелую предприимчивость для удовлетворения своим гнусным страстям, не зная ничего святого, ни Бога, ни отечества. Сии ратные триумвиры сделались и государственными: ибо войско представляло Россию. Они писали указы в города, требуя запасов и денег еще более, нежели людей: города повиновались, *многолетствовали в церквах благоверным князьям и боярам*, а в своих донесениях *били челом синклиту великого Российского государства* и давали, что могли. Казань, стыдясь своего заблуждения, снова присоединилась к отечеству, целовала крест быть *в любви, в единодушии со всею землею* и выслала дружины к Москве: области низовые и поморские также. Пришли и смоленские уездные дворяне и дети боярские, бежав от Сигизмунда. Ляхи гнались за ними и многих из них умертвили, как изменников: остальные тем ревностней желали участвовать в народном подвиге россиян. Пришел и Сапега с своими шайками и занял Поклонную гору, объявляя себя другом России. Ему не верили; предложения его выслушали, но отвергнули. Атаман разбойников, осыпанный пеплом наших городов, утучненный нашею кровию, хотел, как пишут, венца Мономахова: вероятнее, что он хотел миллионов, предлагая свои услуги. Не обольстив россиян, Сапега ударил на часть их стана против Лужников; отбитый, напал с другой стороны, близ Тверских ворот: не мог одолеть многолюдства, и, по совету Госевского, взяв от него 1500 ляхов в сподвижники и князя Григория Ромодановского в путеводители, удалился к Переславлю, чтобы грабить внутри России и тревожить осаждающих. Вслед за ним Ляпунов отрядил несколько легких дружин: Сапега разбил их в Александровской Слободе, осадил Переславль, жег, злодействовал, где хотел — и россияне московского стана, видя за собою дым пылающих селений, вдруг услышали, в Китае и Кремле, необыкновенный шум, громкие восклицания, звон колоколов, стрельбу из пушек и ружей: ждали вылазки, но узнали, что ляхи только веселились и праздновали счастливую весть о скором прибытии к ним гетмана с сильным войском — весть еще несправедливую, которая однако ж решила Ляпунова и товарищей его не медлить. Они изготовились в тишине, и за час до рассвета (22 маия) приступив к Китаю-городу, взяли одну башню, где находилось 400 ляхов. Место было важно: россияне могли от-

туда громить пушками внутренность Китая. Госевский избрал смелых и велел им, чего бы то ни стоило, вырвать сию башню из рук неприятеля: с обнаженными саблями, под картечею, ляхи шли к ней узкою стеною, человек за человеком; кинулись на пушки, рубили, выгнали россиян и мужественно отбили все их новые приступы. В других местах Ляпунов, везде первый, и Трубецкий имели более успеха: очистили весь Белый город, взяли укрепления на Козьем болоте, башни Никитскую, Алексеевскую, ворота Тресвятские, Чертольские, Арбатские, везде после жаркого кровопролития. Чрез пять дней сдался им и Девичий монастырь с двумя ротами ляхов и пятьюстами немцев. В то же время россияне сделали укрепления за Москвою-рекою, стреляли из них в Кремль и препятствовали сношению осажденных с Сигизмундом, от коего Госевский, стесненный, изнуряемый, с малым числом людей и без хлеба, ждал избавления.

Но король все еще думал только о Смоленске. Донесение Госевского о сожжении Москвы и наступательном действии многочисленного российского войска, полученное Сигизмундом вместе с трофеями (или с частию разграбленной ляхами утвари и казны царской), не переменило его мыслей. Паны в новой беседе с Филаретом и Голицыным (8 апреля), жалея о несчастии столицы, следствии *ее мятежного духа*, спрашивали их мнения о лучшем способе *изгладить зло*. С слезами ответствовал митрополит: «Уже не знаем! Вы легко могли предупредить сие зло; исправить едва ли можете». Послы соглашались однако ж писать к Ермогену, боярам и войску об унятии кровопролития, если Сигизмунд обяжется немедленно выступить из России: чего он никак не хотел, упорно требуя Смоленска, и в гневе велел им наконец готовиться к ссылке в Литву. «Ни ссылки, ни Литвы не боимся, — сказал умный дьяк Луговской: — но делами насилия достигнете ли желаемого?» Угроза совершилась: вопреки всему священному для государей и народов, взяли послов... еще мало: ограбили их как в темном лесу или в вертепе разбойников; отдали воинам, повезли в ладиях к Киеву; бесчестили, срамили мужей, винимых только в добродетели, в ревности ко благу отечества и к исполнению государственных условий!.. Один из ляхов еще стыдился за короля, республику и самого себя: Жолкевский. Сигизмунд предлагал ему главное начальство в Москве и в России. «Поздно!» — ответствовал гетман и с негодованием удалился в свои местности, мимо коих везли Филарета и Голицына: он прислал к ним, в знак

уважения и ласки, спросить о здоровье. Знаменитые страдальцы написали к Жолкевскому: «Вспомни крестное целование: вспомни душу! В чем клялся ты московскому государству? и что делается? Есть Бог и вечное правосудие!»

Не страшась сего правосудия, король в письмах к боярам московским хвалился своею милостию к России, благодарил за их верность и непричастие к бунту Ермогена и Ляпунова, обещал скорое усмирение всех мятежей, а Госевскому скорое избавление, дозволяя ему употреблять на жалованье войску не только сокровища царские, но и все имение богатых москвитян — и возобновил приступы к Смоленску, снова неудачные. Шеин, воины его и граждане оказывали более, нежели храбрость: истинное геройство, безбоязненность неизменную, хладнокровную, нечувствительность к ужасу и страданию, решительность терпеть до конца, умереть, а не сдаться. Уже двадцать месяцев продолжалась осада: запасы, силы, все истощилось, кроме великодушия; все сносили, безмолвно, не жалуясь, в тишине и повиновении, львы для врагов, агнцы для начальников. Осталась едва пятая доля защитников, не столько от ядер, пуль и сабель неприятельских, сколько от трудов и болезней; смертоносная цинга*, произведенная недостатком в соли и в уксусе, довершила бедствие — но еще сражались! Еще ляхи имели нужду в злодейской измене, чтобы овладеть городом: беглец смоленский Андрей Дедишин указал им слабое место крепости: новую стену, деланную в осень наскоро и непрочно. Сию стену беспрестанною пальбою обрушили — и в полночь (3 июня) ляхи вломились в крепость, тут и в других местах, оставленных малочисленными россиянами для защиты пролома. Бились долго в развалинах, на стенах, в улицах, при звуке всех колоколов и святом пении в церквах, где жены и старцы молились. Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлися многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения: россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением — и славою! От страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели. На улицах и пло-

---

* В Смоленске оставалось едва 300 или 400 человек здоровых. (XII, 769.)

щадях лежали груды тел сожженных. Смоленск явился новым Сагунтом, и не Польша, но Россия могла торжествовать сей день, великий в ее летописях.

Еще один воин стоял на высокой башне с мечом окровавленным и противился ляхам: доблий Шеин. Он хотел смерти; но пред ним плакали жена, юная дочь, сын малолетний: тронутый их слезами, Шеин объявил, что сдается вождю ляхов — и сдался Потоцкому. Верить ли летописцу, что сего Героя оковали цепями в стане королевском и пытали, доведываясь о казне смоленской, будто бы им сокрытой? Король взял к себе его сына; жену и дочь отдал Льву Сапеге; самого Шеина послал в Литву узником. — Пленниками были еще архиепископ Сергий, воевода князь Горчаков и 300 или 400 детей боярских. Во время осады изгибло в городе, как уверяют, не менее семидесяти тысяч людей; она дорого стоила и ляхам: едва третья доля королевской рати осталась в живых, огнем лишенная добычи, а с нею и ревности к дальнейшим подвигам, так что слушая торжественное благодарение Сигизмундово, за ее великое дело, и новые щедрые обеты его, воины смеялись, столько раз манимые наградами и столько раз обманутые. Но Сигизмунд восхищался своим блестящим успехом; дал Потоцкому грамоту на староство Каменецкое, три дни угощал сподвижников, велел изобразить на медалях завоевание Смоленска и с гордостию известил о том бояр московских, которые ответствовали, что сетуя о гибели единокровных братьев, радуются его победе над непослушными и славят Бога!.. Торжество еще разительнейшее ожидало Сигизмунда, но уже не в России.

Историки польские, строго осуждая его неблагоразумие в сем случае, пишут, что если бы он, взяв Смоленск, немедленно устремился к Москве, то войско осаждающих, видя с одной стороны наступление короля, с другой смелого витязя Сапегу, а пред собою неодолимого Госевского, рассеялось бы в ужасе как стадо овец; что король вошел бы победителем в Москву, с Думою боярскою умирил бы государство, или дав ему Владислава, или присоединив оное к республике, и возвратился бы в Варшаву завоевателем не одного Смоленска, но целой державы Российской. Заключение едва ли справедливое: ибо тысяч пять усталых воинов, с королем мало уважаемым ляхами и ненавидимым россиянами, не сделали бы, вероятно, более того, что сделал после новый его военачальник, как увидим: не пременило бы судьбы, назначенной Провидением для России!

Сей военачальник, гетман литовский, Ходкевич, знаменитый опытностию и мужеством, дотоле действовав с успехом против шведов, был вызван из Ливонии, чтобы идти с войском к Москве, вместо Сигизмунда, который нетерпеливо желал успокоиться на лаврах и немедленно уехал в Варшаву, где сенат и народ с веселием приветствовали в нем Героя. Но блестящее торжество для него и республики совершилось в день достопамятный, когда Жолкевский явился в столице с своим державным пленником, несчастным Шуйским. Сие зрелище, данное тщеславием тщеславию, надмевало ляхов от монарха до последнего шляхтича и было, как они думали, несомнительным знаком их уже решенного первенства над нами, концом долговременного борения между двумя великими народами славянскими. Утром (19 октября), при несметном стечении любопытных, гетман ехал Краковским предместием ко дворцу с дружиною благородных всадников, с вельможами коронными и литовскими, в шестидесяти каретах; за ними, в открытой богатой колеснице, на шести белых аргамаках, Василий, в парчовой одежде и в черной лисьей шапке, с двумя братьями, князьями Шуйскими, и с капитаном гвардии; далее Шеин, архиепископ Сергий и другие смоленские пленники в особенных каретах. Король ждал их во дворце, сидя на троне, окруженный сенаторами и чиновниками, в глубокой тишине. Гетман ввел царя-невольника и представил Сигизмунду. Лицо Василия изображало печаль, без стыда и робости: он держал шапку в руке и легким наклонением головы приветствовал Сигизмунда. Все взоры были устремлены на сверженного монарха с живейшим любопытством и наслаждением: мысль о превратностях Рока и жалость к злосчастию не мешала восторгу ляхов. Продолжалось молчание: Василий также внимательно смотрел на лица вельмож польских, как бы искал знакомых между ими, и нашел: отца Маринина, им спасенного от ужасной смерти, и в сию минуту счастливого его бедствием!.. Наконец гетман прервал безмолвие высокопарною речью, не весьма искреннею и скромною: «дивился в ней разительным переменам в судьбе государств и счастию Сигизмунда; хвалил его мужество и твердость в обстоятельствах трудных; славил завоевание Смоленска и Москвы; указывал на царя, преемника великих самодержцев, еще недавно ужасных для республики и всех государей соседственных, даже султана и почти целого мира; указывал и на Дмитрия Шуйского, предводителя *ста осьмидесяти*

тысяч воинов *храбрых*, исчислял *царства*, княжения, области, народы и богатство, коими владели сии пленники, всего лишенные умом Сигизмундовым, взятые, повергаемые к ногам королевским... Тут (*пишут ляхи*) Василий, кланяясь Сигизмунду, опустил правую руку до земли и приложил себе к устам: Дмитрий Шуйский ударил челом в землю, а князь Иван три раза, и заливаясь слезами. Гетман поручал их Сигизмундову великодушию; доказывал историею, что и самые знаменитейшие венценосцы не могут назваться счастливыми до конца своей жизни, и ходатайствовал за несчастных».

Великодушие Сигизмунда состояло в обуздании мстительных друзей воеводы Сендомирского, которые пылали нетерпением сказать торжественно Василию, что «он не царь, а злодей и недостоин милосердия, изменив Димитрию, упоив стогны московские кровию благородных ляхов, обесчестив послов королевских, венчанную Марину, ее вельможного отца, и в бедствии, в неволе дерзая быть *гордым, упрямым*, как бы в посмеяние над судьбою»: упрек достохвальный для царя злополучного и несогласный с известием о мнимом уничижении его пред королем! — Насытив глаза и сердце зрелищем лестным для народного самолюбия, послали Василия в Гостинский замок, близ Варшавы, где он чрез несколько месяцев (12 сентября 1612) кончил жизнь бедственную, но не бесславную; где умерли и его братья, менее твердые в уничижении и в неволе. Чтобы увековечить свое торжество, Сигизмунд воздвигнул мраморный памятник над могилою Василия и князя Дмитрия в Варшаве, в предместии Краковском, в новой часовне у церкви Креста Господня, с следующею надписью: «Во славу Царя Царей, одержав победу в Клушине, заняв Москву, возвратив Смоленск республике, пленив великого князя московского, Василия, с братом его, князем Дмитрием, главным воеводою российским, король Сигизмунд, по их смерти, велел здесь честно схоронить тела их, не забывая общей судьбы человеческой, и в доказательство, что во дни его царствования не лишались погребения и враги, венценосцы беззаконные!» — Во времена лучшие для России, в государствование Михаила, Польша должна была отдать ей кости Шуйских; во времена еще славнейшие, в государствование Петра Великого, отдала сему ревностному заступнику Августа II и другой памятник нашей незгоды: картину взятия Смоленска и Василиева позора в неволе, писанную искусным художником Долабеллою. Рукою могущества стерты знамения слабости!

Еще имея некоторый стыд, король не явил Филарета, Голицына и Мезецкого в виде пленников в Варшаве: их, вместе с Шеиным, томили в неволе девять лет, славных особенно для Филаретовой добродетели: ибо не только литовские единоверцы наши, но и вельможи польские, дивясь его твердости, разуму, великодушию, оказывали искреннее к нему уважение. Он дожил, к счастию, до свободы; дожил и знаменитый Шеин, к несчастию своему и к горести России!..

Между тем, невзирая на падение Смоленска, на торжество Сигизмундово и важные приготовления гетмана Ходкевича, воеводы московского стана имели бы время и способ одолеть упорную защиту Госевского, если бы они действовали с единодушною ревностию; но с Ляпуновым и Трубецким сидел в совете, начальствовал в битвах, делил власть государственную и воинскую... злодей, коего умысел гнусный уже не был тайною. Атаман Заруцкий, сильный числом и дерзостию своих козаков-разбойников, алчный, ненасытный в любостяжании, пользуясь смутными обстоятельствами, не только хватал все, что мог, целые города и волости себе в добычу — не только давал козакам опустошать селения, жить грабежом, как бы в земле неприятельской, и плавал с ними в изобилии, когда другие воины едва не умирали с голоду в стане: но мыслил схватить и царство! Марина была в руках его: тщетно писав из Калуги жалобные грамоты к Сапеге, чтобы он спас ее честь и жизнь от свирепых россиян, сия бесстыдная кинулась в объятия козака, с условием, чтобы Заруцкий возвел на престол Лжедимитриева сына-младенца и, в качестве правителя, властвовал *с нею*! Что нелепое и безумное могло казаться тогда несбыточным в России? Лицемерно пристав к Трубецкому и Ляпунову — взяв под надзор Марину, переведенную в Коломну — имея дружелюбные сношения и с Госевским, обманывая россиян и ляхов, Заруцкий умножал свои шайки прелестию добычи, искал единомышленников, в пользу лжецаревича Иоанна, между людьми чиновными, и находил, но еще не довольно для успеха вероятного. Ков огласился — и Ляпунов предприял, один, без слабого Трубецкого, если не вдруг обличить злодея в атамане многолюдных шаек, то обуздать его беззакония, которые давали ему силу.

Ляпунов сделал, что все дворяне, дети боярские, люди служивые написали челобитную к триумвирам о собрании Думы земской, требуя уставов для благоустройства и казни для преступников. К досаде Заруцкого и даже Трубецкого, сия Дума состави-

лась из выборных войска, чтобы действовать именем отечества и чинов государственных, хотя и без знатного духовенства, без мужей синклита. Она утвердила власть триумвиров, но предписала им правила; уставила: «1) Взять поместья у людей сильных, которые завладели ими в мятежные времена без земского приговора, раздать скудным детям боярским или употребить доходы оных на содержание войска; взять также все данное именем Владислава или Сигизмунда, *сверх старых окладов*, боярам и дворянам, оставшимся в Москве с Литвою; взять поместья у всех худых россиян, не хотящих в годину чрезвычайных опасностей ехать на службу отечества или самовольно уезжающих из московского стана; взять в казну все доходы питейные и таможенные, беззаконно присвоенные себе некоторыми *воеводами* (вероятно Заруцким). 2) Снова учредить ведомство поместное, казенное и дворцовое для сборов хлебных и денежных. 3) Уравнять, землями и жалованьем, всех сановников *без разбора, где кто служил*: в Москве ли, в *Тушине* или *в Калуге*, смотря по их достоинству и чину. 4) Не касаться имения добрых россиян, убитых или плененных Литвою, но отдать его их семействам или соблюсти до возвращения пленников; не касаться также имения церквей, монастырей и патриаршего; не касаться ничего, данного царем Василием в награду *сподвижникам князя Михаила Скопина-Шуйского* и другим воинам за верную службу. 5) Назначить жалованье и доходы сановникам и детям боярским, коих поместья заняты или опустошены Литвою, и которые стоят ныне *со всею землею* против изменников и врагов. 6) Для посылок в города употреблять единственно дворян раненых и неспособных к бою, а всем здоровым возвратиться к знаменам. 7) Кто ныне умрет за отечество или будет изувечен в битвах, тех имена да внесутся в Разрядные книги, вместе с неложным описанием всех дел знаменитых, на память векам. 8) Атаманам и козакам строго запретить всякие разъезды и насилия; а *для кормов* посылать только *дворян добрых* с детьми боярскими. Кто же из людей воинских дерзнет грабить в селениях и на дорогах, тех казнить без милосердия: для чего восстановится старый московский *приказ, разбойный* или земский. 9) Управлять войском и землею трем избранным властителям, но *не казнить никого смертию и не ссылать без торжественного земского приговора*, без суда и вины законной; кто же убьет человека самовольно, того лишить жизни, как злодея. 10) А если избранные властители не будут радеть вседушно

о благе земли и следовать уставленным здесь правилам или воеводы не будут слушаться их беспрекословно: то мы вольны *всею землею* переменить властителей и воевод, и выбрать иных, способных к бою и делу земскому».

Сию важную, уставную грамоту, ознаменованную духом умеренности, любви к общему государственному благу и снисхождения к несчастным обстоятельствам времени, подписали триумвиры (Ляпунов вместо Заруцкого, вероятно безграмотного), три дьяка, окольничий Артемий Измайлов, князь Иван Голицын, Вельяминов, Иван Шереметев и множество людей бесчиновных от имени *двадцати пяти* городов и войска. Дали и старались исполнить закон; восстановили хотя тень правительства, бездушного в самодержавии без самодержца. Но Ляпунов уже занимался и главным делом: вопросом, где искать *лучшего* царя для одушевления России? Уже переменив мысли, он думал, подобно Мстиславскому и другим, что сей *лучший* царь должен быть иноземец державного племени, без связей наследственных и личных, родственников и клевретов, врагов и завистников между подданными. Недоставало времени обозреть все державы христианские, искать далеко, сноситься долго: ближайшее казалось и выгоднейшим, обещая нам, вместо вражды, мир и союз. Ляхи нас обманули: мы еще могли испытать шведов, менее противных российскому народу. Ненависть к ляхам кипела во всех сердцах: ненависть к шведам была только историческим воспоминанием новогородским и даже Новгород, как уверяют, мыслил в случае крайности поддаться скорее шведам, нежели Сигизмунду. Что предлагал Делагарди сам собою, того уже ревностно хотел Карл IX: дать нам сына в цари; уполномочил вождя своего для всех важных договоров с Россиею и писал к ее чинам государственным, что Сигизмунд, будучи орудием иезуитов или папы, желает властвовать над нею единственно для искоренения греческой Веры; что король испанский в заговоре с ними и намерен занять Архангельск или гавань Св. Николая; но что Россия в тесном союзе с Швециею может презирать и ляхов и папу и короля испанского. Россия видела шведов в Клушине! Могла однако ж извинять их неверность неверностию своих, и помнила, что они с незабвенным князем Михаилом освободили Москву, Ляпунов решился вступить в переговоры с генералом Делагарди.

Желая утвердить вечную дружбу с нами, шведы в сие время продолжали бессовестную войну свою в древних областях ново-

городских и, тщетно хотев взять Орешек, взяли наконец Кексгольм, где из трех тысяч россиян, истребленных битвами и цингою, оставалось только сто человек, вышедших свободно, с имением и знаменами: ибо неприятель еще страшился их отчаяния, сведав, что они готовы взорвать крепость и взлететь с нею на воздух! Дикие скалы корельские прославились великодушием защитников, достойных сравнения с Героями лавры и Смоленска! К сожалению, новогородцы не имели такого духа и, хваляся ненавистию к одному врагу, к ляхам, как бы беспечно видели завоевания другого: уже Делагарди стоял на берегах Волхова! Боярин Иван Салтыков, начальствуя в Новегороде, внутренно благоприятствовал, может быть, Сигизмунду: по крайней мере действовал усердно против шведов; но его уже не было. Сведав, что он намерен идти с войском к Москве, новогородцы встревожились; не верили сыну злодея и ревнителю Владиславова царствования, опасаясь в нем готового сподвижника ляхов; призвали Салтыкова из Ладожского стана, удостоверили крестным обетом в личной безопасности — и посадили на кол, возбужденные к делу столь гнусному злым дьяком Самсоновым! Издыхая в муках, злосчастный клялся в своей невинности; говорил: «не знаю отца, знаю только отечество, и буду везде резаться с ляхами»... Жертва беззакония человеческого и правосудия Небесного: ибо сей юный, умный боярин в день клушинской битвы усерднее других изменников способствовал торжеству ляхов и сраму россиян!.. На место Салтыкова Ляпунов прислал воеводу Бутурлина, а вслед за ним и князя Троекурова, думного дворянина Собакина, дьяка Васильева, чтобы немедленно условиться во всем с генералом Делагарди, который с пятью тысячами воинов находился уже близ Хутынской обители. Переговоры началися в его стане. «Судьба России, — сказал ему Бутурлин, — не терпит венценосца отечественного: два бедственные избрания доказали, что подданному нельзя быть у нас царем благословенным». Ляпунов хотел мира, союза с шведами и принца их, юного Филиппа, в государи; а Делагарди прежде всего хотел денег и крепостей в залог нашей искренности: требовал Орешка, Ладоги, Ямы, Копорья, Иваногорода, Гдова. «Лучше умереть на своей земле, нежели искать спасения такими уступками», — ответствовали российские сановники и заключили только перемирие, чтобы списаться с Ляпуновым. Наученный обманом Сигизмунда, сей властитель не думал делиться Россиею с шведами; соглашался однако ж впустить их в

Невскую крепость и выдать им несколько тысяч рублей из казны новогородской, если они поспешат к Москве, чтобы вместе с верными россиянами очистить ее престол от тени Владиславовой — для Филиппа. Все зависело от Делагарди, как прежде от Сигизмунда, — и Делагарди сделал то же, что Сигизмунд: предпочел город державе!.. Если бы он неукоснительно присоединился к нашему войску под столицею, чтобы усилить Ляпунова, разделить с ним славу успеха, истребить Госевского и Сапегу, отразить Ходкевича, восстановить Россию: то венец Мономахов, исторгнутый из рук литовских, возвратился бы, вероятно, потомству варяжскому, и брат Густава Адольфа или сам Адольф, в освобожденной Москве законно избранный, законно утвержденный на престоле Великою Думою земскою, включил бы Россию в систему держав, которые, чрез несколько лет, Вестфальским миром основали равновесие Европы до времен новейших!

Но Делагарди, снискав личную приязнь Бутурлина, бывшего гетманова пленника и ревностного ненавистника ляхов, вздумал, по тайному совету сего легкомысленного воеводы, как пишут — захватить древнюю столицу Рюрикову, чтобы возвратить ее московскому царю-шведу или удержать как важное приобретение для Швеции. Срок перемирия минул, и Делагарди, жалуясь, что новогородцы не дают ему денег, изъявляют расположение неприятельское, укрепляются, жгут деревянные здания близ вала, ставят пушки на стенах и башнях, приближился к Колмову монастырю, устроил войско для нападения, тайно высматривал места и дружелюбно угощал послов Ляпунова. Бутурлин с ним не разлучался, празднуя в его стане. Другие воеводы также беспечно пили в Новегороде; не берегли ни стен, ни башен; жители ссорились с людьми ратными; купцы возили товары к шведам. Ночью с 15 на 16 июля Делагарди, объявив своим чиновникам, что *враждебный* Новгород, *великий* именем, славный богатством, не страшный силами, должен быть их легкою добычею и важным залогом, с помощию одного слуги изменника, Ивана Швала, незапно вломился в западную часть города, в Чудинцовские ворота. Все спали: обыватели и стража. Шведы резали безоружных. Скоро раздался вопль из конца в конец, но не для битвы: кидались от ужаса в реку, спасались в крепость, бежали в поле и в леса; а Бутурлин Московскою дорогою с детьми боярскими и стрельцами, имев однако ж время выграбить лавки и домы знатнейших купцов. Сражалась только горсть людей под начальст-

вом головы стрелецкого, Василия Гаютина, атамана Шарова, дьяков Голенищева и Орлова; не хотела сдаться и легла на месте. Еще один дом на Торговой стороне казался неодолимою твердынею: шведы приступали и не могли взять его. Там мужествовал протоиерей Софийского храма, Аммос, с своими друзьями, в глазах митрополита Исидора, который на стенах крепости пел молебны и, видя такую доблесть, издали давал ему благословение крестом и рукою, сняв с него какую-то эпитимию церковную. Шведы сожгли наконец и дом и хозяина, последнего славного новогородца в истории! Уже не находя сопротивления, они искали добычи; но пламя объяло вдруг несколько улиц, и воевода боярин князь Никита Одоевский, будучи в крепости с митрополитом, немногими детьми боярскими и народом малодушным, предложил генералу Делагарди мирные условия. Заключили, 17 июля, следующий договор, от имени Карла IX и Новагорода, с *ведома бояр и народа московского*, утверждая всякую статью крестным целованием за себя и *потомство*:

1) Быть вечному миру между обеими державами, на основании *Теузинского* договора. Мы, новогородцы, отвергнув короля Сигизмунда и наследников его, литву и ляхов вероломных, признаем своим защитником и покровителем короля шведского с тем, чтобы России и Швеции вместе противиться сему врагу общему и не мириться одной без другой.

2) Да будет царем и великим князем Владимирским и Московским сын короля шведского, Густав Адольф или Филипп. Новгород целует ему крест в верности, и до его прибытия обязывается слушать военачальника Иакова Делагарди во всем, что касается до чести упомянутого сына королевского и до государственного, общего блага; вместе с ним, Иаковом, утвердить в верности к королевичу все города своего княжества, оборонять их и не жалеть для того самой жизни. Мы, Исидор митрополит, воевода князь Одоевский и все иные сановники, клянемся ему, Иакову, быть искренними в совете и ревностными на деле; немедленно сообщать все, что узнаем из Москвы и других мест России; без его ведома не замышлять ничего важного, особенно вредного для шведов, но предостерегать и хранить их во всех случаях; также объявить добросовестно все приходы казенные, наличные деньги и запасы, чтобы удовольствовать войско, снабдить крепости всем нужным для их безопасности и тем успешнее смирить непослушных королевичу и Великому Новугороду.

3) Взаимно и мы, Иаков Делагарди и все шведские сановники, клянемся, что *если* княжество Новогородское и государство Московское признают короля шведского и наследников его своими покровителями, заключив союз, против ляхов, на вышеозначенных условиях: то король даст им сына своего, Густава или Филиппа, в цари, как скоро они единодушно, торжественным посольством, изъявят его величеству свое желание; а я, Делагарди, именем моего государя обещаю Новугороду и России, что их древняя греческая Вера и богослужение останутся свободны и невредимы, храмы и монастыри целы, духовенство в чести и в уважении, имение святительское и церковное неприкосновенно.

4) Области Новогородского княжества и другие, которые захотят также иметь государя моего покровителем, а сына его царем, не будут присоединены к Швеции, но останутся российскими, исключая Кексгольм с уездом; а что Россия должна за наем шведского войска, о том король, дав ей сына в цари и смирив все мятежи ее, с боярами и народом сделает расчет и постановление особенное.

5) Без ведома и согласия российского правительства не вывозить в Швецию ни денег, ни воинских снарядов и не сманивать россиян в шведскую землю, но жить им спокойно на своих древних правах, как было от времени Рюрика до Феодора Иоанновича.

6) В судах, вместе с российскими сановниками должно заседать такое же число и шведских для наблюдений общей справедливости. Преступников, шведов и россиян, наказывать строго; не укрывать ни тех, ни других, и в силу Теузинского договора, выдавать обидчиков истцам.

7) Бояре, чиновники, дворянство и люди воинские сохраняют отчины, жалованье, поместья и права свои; могут заслужить и новые, усердием и верностию.

8) Будут награждаемы и достойные шведы, за их службу в России, имением, жалованьем, землями, но единственно с согласия вельмож российских, и не касаясь собственности церковной, монастырской и частной.

9) Утверждается свобода торговли между обеими державами.

10) Козакам дерптским, ямским и другим из шведских владений открыть путь в Россию и назад, как было уставлено до Борисова царствования.

11) Крепостные люди, или холопи, как издревле ведется, принадлежат господам, и не могут искать вольности.

12) Пленники, российские и шведские, освобождаются.

13) Сии условия тверды и ненарушимы как для Новагорода, так и для всей Московской державы, если она признает государя шведского покровителем, а королевича Густава или Филиппа царем. О всем дальнейшем, что будет нужно, король условится с Россиею по воцарении его сына.

14) Между тем, ожидая новых повелений от государя моего, я, Делагарди, введу в Новгород столько воинов, сколько нужно для его безопасности; остальную же рать употреблю или для смирения непослушных, или для защиты верных областных жителей; а княжеством Новогородским, с помощию Божиею, митрополита Исидора, воеводы князя Одоевского и товарищей его, буду править радетельно и добросовестно, охраняя граждан и строгостию удерживая воинов от всякого насилия.

15) Жители обязаны шведскому войску давать жалованье и припасы, чтобы оно тем ревностнее содействовало общему благу.

16) Боярам и ратным людям не дозволяется, без моего ведома, ни выезжать, ни вывозить своего имения из города.

17) Сии взаимные условия ненарушимы для Новагорода, и в таком случае, если бы, сверх чаяния, государство Московское не приняло оных: в удостоверение чего мы, воевода Иаков Делагарди, полковники и сотники шведской рати, даем клятву, утвержденную нашими печатями и рукоприкладством.

18) И мы, Исидор митрополит с духовенством, бояре, чиновники, купцы и всякого звания люди новогородские, также клянемся в верном исполнении договора нашему покровителю, его величеству Карлу IX и сыну его, будущему государю нашему, хотя бы, сверх чаяния, Московское царство и не приняло сего договора.

О Вере избираемого не сказано ни слова: Делагарди без сомнения успокоил новогородцев, как Жолкевский москвитян, единственно надеждою, что королевич исполнит их желание и будет сыном нашей церкви. В крайности обстоятельств молчала и ревность к православию! Думали только спастися от государственной гибели, хотя и с соблазном, хотя и с опасностию для Веры.

Шведы, вступив в крепость, нашли в ней множество пушек, но мало воинских и съестных припасов и только 500 рублей в казне, так что Делагарди, мыслив обогатиться несметными богатствами новогородскими, должен был требовать денег от короля: ибо войско его нетерпеливо хотело жалованья, волновалось, бунтовало, и целые дружины с распущенными знаменами бежали в Финляндию.

К счастию шведов, новогородцы оставались зрителями их мятежа, и дали генералу Делагарди время усмирить его, верно исполняя договор, утвержденный и присягою всех дворян, всех людей ратных, которые ушли с Бутурлиным, но возвратились из Бронниц. Сам же Бутурлин, если не изменник, то безумец, жив несколько дней в Бронницах, чтобы дождаться там своих пожитков из Новагорода, им злодейски ограбленного, спешил в стан московский, вместе с Делагардиевым чиновником, Георгом Бромме, известить наших воевод, что шведы, взяв Новгород как неприятели, готовы как друзья стоять за Россию против ляхов.

Но стан московский представлялся уже не Россиею вооруженною, а мятежным скопищем людей буйных, между коими честь и добродетель в слезах и в отчаянии укрывались! — Один россиянин был душою всего и пал, казалось, на гроб отечества. Врагам иноплеменным ненавистный, еще ненавистнейший изменникам и злодеям российским, тот, на кого атаман разбойников, в личине государственного властителя, изверг Заруцкий, скрежетал зубами — Ляпунов действовал под ножами. Уважаемый, но мало любимый за свою гордость, он не имел, по крайней мере, смирения Михаилова; знал цену себе и другим; снисходил редко, презирал явно; жил в избе, как во дворце недоступном, и самые знатные чиновники, самые раболепные уставали в ожидании его выхода, как бы царского. Хищники, им унимаемые, пылали злобою и замышляли убийство в надежде угодить многим личным неприятелям сего величавого мужа. Первое покушение обратилось ему в славу; 20 козаков, кинутых воеводою Плещеевым в реку за разбой близ Угрешской обители, были спасены их товарищами и приведены в стан московский. Сделался мятеж: грабители, вступаясь за грабителей, требовали головы Ляпунова. Видя остервенение злых и холодность добрых, он в порыве негодования сел на коня и выехал на Рязанскую дорогу, чтобы удалиться от недостойных сподвижников. Козаки догнали его у Симонова монастыря, но не дерзнули тронуть: напротив того убеждали остаться с ними. Он ночевал в Никитском укреплении, где в следующий день явилось все войско: кричало, требовало, слезно молило именем России, чтобы ее главный поборник не жертвовал ею своему гневу. Ляпунов смягчился, или одумался: занял прежнее место в стане и в совете, одолев врагов, или только углубив ненависть к себе в их сердце. Мятеж утих; возник гнусный ков, с участием и внешнего неприятеля. Имея тайную

связь с атаманом-триумвиром, Госевский из Кремля подал ему руку на гибель человека, для обоих страшного: вместе умыслили и написали именем Ляпунова указ к городским воеводам о немедленном истреблении всех козаков в один день и час. Сию подложную, будто бы отнятую у гонца бумагу представил товарищам атаман Заварзин: рука и печать казались несомнительными. Звали Ляпунова на сход: он медлил; наконец уверенный в безопасности двумя чиновниками, Толстым и Потемкиным, явился среди шумного сборища козаков; выслушал обвинения; увидел грамоту и печать; сказал: «писано не мною, а врагами России»; свидетельствовался Богом; говорил с твердостию; смыкал уста и буйных; не усовестил единственно злодеев: его убили, и только один россиянин, личный неприятель Ляпунова, Иван Ржевский, стал между им и ножами: ибо любил отечество; не хотел пережить такого убийства и великодушно приял смерть от извергов: жертва единственная, но драгоценная, в честь Герою своего времени, главе восстания, животворцу государственному, коего великая тень, уже примиренная с законом, является лучезарно в преданиях истории, а тело, искаженное злодеями, осталось, может быть, без христианского погребения и служило пищею вранам, в упрек современникам неблагодарным, или малодушным, и к жалости потомства!

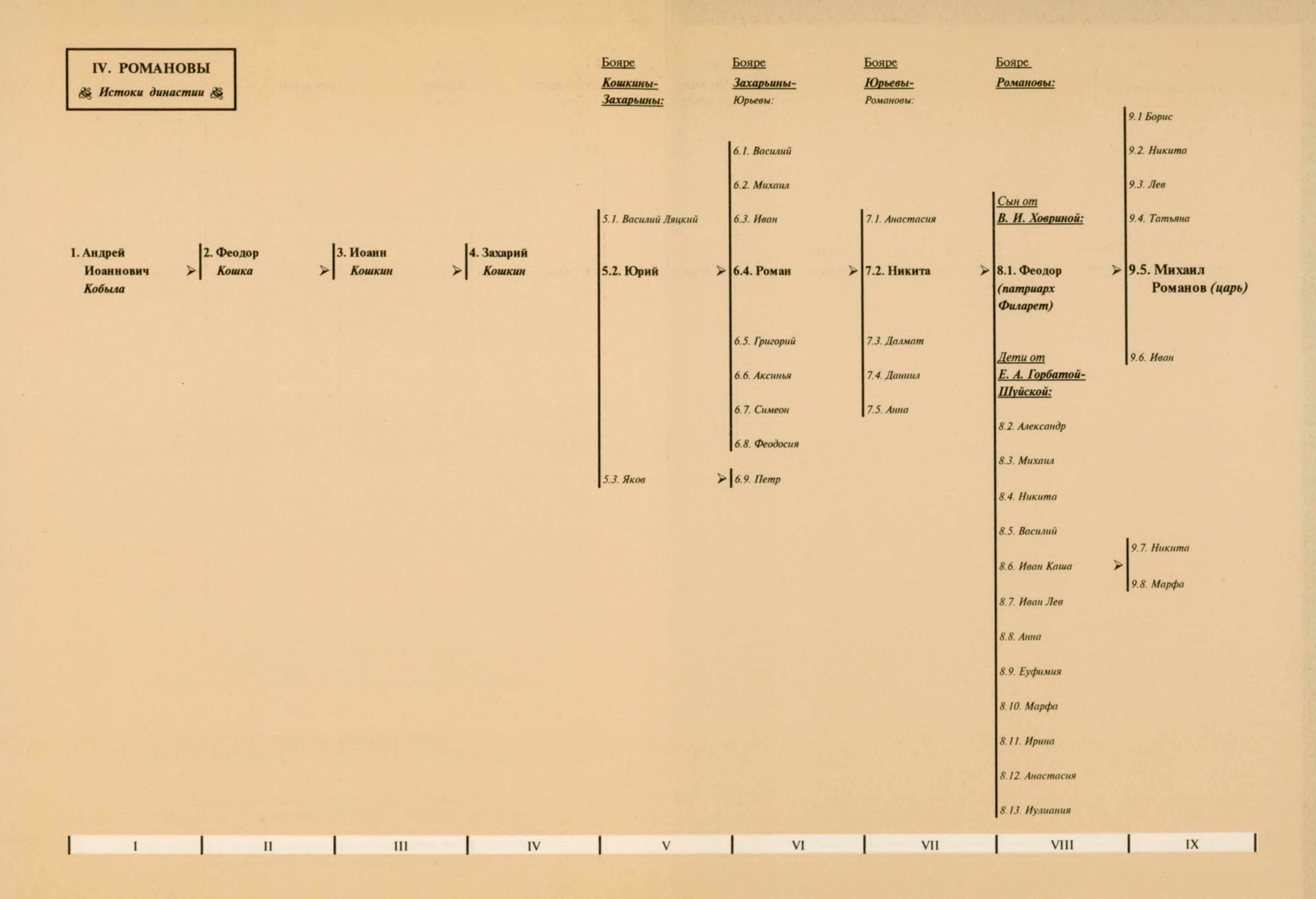
Следствия были ужасны. Не умев защитить мужа силы, достойного стратига и властителя, войско пришло в неописанное смятение; надежда, доверенность, мужество, устройство исчезли. Злодейство и Заруцкий торжествовали; грабительства и смертоубийства возобновились, не только в селах, но и в стане, где неистовые козаки, расхитив имение Ляпунова и других, умертвили многих дворян и детей боярских. Многие воины бежали из полков, думая о жизни более, нежели о чести, и везде распространили отчаяние; лучшие, благороднейшие искали смерти в битвах с ляхами... В сие время явился Сапега от Переславля, а Госевский сделал вылазку: напали дружно, и снова взяли все от Алексеевской башни до Тверских ворот, весь Белый город и все укрепления за Москвою-рекою. Россияне везде противились слабо, уступив малочисленному неприятелю и монастырь Девичий. Сапега вошел в Кремль с победою и запасами. Хотя Россия еще видела знамена свои на пепле столицы, но чего могла ждать от войска, коего срамными главами оставались тушинский Лжебоярин и злодей, сообщник Марины, вместе с изменниками, атаманом Просо-

вецким и другими, не воинами, а разбойниками и губителями?

И что была тогда Россия? Вся полуденная беззащитною жертвою грабителей ногайских и крымских: пепелищем кровавым, пустынею; вся юго-западная, от Десны до Оки, в руках ляхов, которые, по убиении Лжедимитрия в Калуге, взяли, разорили верные ему города: Орел, Болхов, Белев, Карачев, Алексин и другие; Астрахань, гнездо мелких самозванцев, как бы отделилась от России и думала существовать в виде особенного царства, не слушаясь ни Думы боярской, ни воевод московского стана; шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присвоивали себе наши северо-западные владения, где господствовало безначалие, — где явился еще новый, третий или четвертый Лжедимитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду россиян современных и новыми гнусностями обременить историю, — и где еще держался Лисовский с своими злодейскими шайками. Высланный наконец жителями изо Пскова и не впущенный в крепкий Иваньгород, он взял Вороночь, Красный, Заволочье; нападал на малочисленные отряды шведов; грабил, где и кого мог. Тихвин, Ладога сдалися генералу Делагарди на условиях новогородских; Орешек не сдавался...

Конец XII тома


III. РЮРИКОВИЧИ
Московская Русь
Мономахов дом
1. Андрей
Иван
Михаил
Василий Удалой
Василий Косой
2. Юрий
Дмитрий Шемяка
Иван Шемякин
Василий Шемячич
Иван
Мария
Дмитрий Красный
Иван Молодой
Дмитрий Внук
Даниил
Юрий
Юрий
Елена
Софья
Иван
Юрий Молодой
Юрий
Дмитрий
Иван
Дмитрий
Василий
Димитрий Донской
1363-89 (См. Таблицу II)
Василий
1389—1425
Василий Темный
1425—62
Иван III Великий
1462—1505
Василий III
1505—33
Иван IV Грозный
1533—84
Феодор
1584—98
Феодосия
Симеон
Юрий
Василий
Анастасия
Анастасия
Дмитрий Жилка
Константин
Василиса
Симеон
Евдокия
Василий
Андрей
Владимир
Еуфимия
Симеон
Даниил
Анна
Феодосия
Юрий
Иван
Анна
Андрей Большой
Иван
Иван
Дмитрий
Мария
Петр
Симеон
Андрей Молодой
Федор
Борис
Иван
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Кн. Рязанские
Родислав
Олег Рязанский
(См. Таблицу II)
Федор
Иван
Василий
Иван
Иван
Василий
Федор
Василий
Федор



IV. РОМАНОВЫ
Истоки династии
Бояре Кошкины-Захарьины:
Бояре Захарьины-Юрьевы:
Бояре Юрьевы-Романовы:
Бояре Романовы:
1. Андрей Иоаннович Кобыла
2. Феодор Кошка
3. Иоанн Кошкин
4. Захарий Кошкин
5.1. Василий Ляцкий
5.2. Юрий
5.3. Яков
6.1. Василий
6.2. Михаил
6.3. Иван
6.4. Роман
6.5. Григорий
6.6. Аксинья
6.7. Симеон
6.8. Феодосия
6.9. Петр
7.1. Анастасия
7.2. Никита
7.3. Далмат
7.4. Даниил
7.5. Анна
Сын от В. И. Ховриной:
8.1. Феодор (патриарх Филарет)
Дети от Е. А. Горбатой-Шуйской:
8.2. Александр
8.3. Михаил
8.4. Никита
8.5. Василий
8.6. Иван Каша
8.7. Иван Лев
8.8. Анна
8.9. Еуфимия
8.10. Марфа
8.11. Ирина
8.12. Анастасия
8.13. Иулиания
9.1 Борис
9.2. Никита
9.3. Лев
9.4. Татьяна
9.5. Михаил Романов (царь)
9.6. Иван
9.7. Никита
9.8. Марфа
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX



РОДОСЛОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ РЮРИКОВИЧЕЙ[1]

III. МОСКОВСКАЯ РУСЬ. РОД ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО

16.1. Андрей, 1382–1432, кн. Можайский, Верейский, Белозерский; жена — Аграфена, дочь Александра Патрикеевича, кн. Стародубского. 16.2. Юрий, 1374–1434, кн. Галицкий, Звенигородский, Дмитровский, в. кн. Московский; жена — Анастасия, † 1422, дочь Юрия Святославича, кн. Смоленского. 16.3. Мария, † 1399. 16.4. Даниил (1377–1389). 16.5. Софья. 16.6. Василий I (1371–1425), в. кн. Владимирский и Московский, жена — Софья, † 1453, дочь Витовта, в. кн. Литовского. 16.7. Анастасия. 16.8. Константин (1389–1433), кн. Угличский. 16.9. Симеон, † 1379. 16.10. Иоанн (1380–1389). 16.11. Петр (1385–1428), кн. Дмитровский, Угличский.

17.1. Иоанн (1430–1471). 17.2. Михаил (1432–1486), кн. Верейский. 17.3. Василий Косой (1433–1448), в. кн. Московский, кн. Галицкий. 17.4. Димитрий Шемяка (1433–1453), кн. Галицкий, в. кн. Московский; жена — Софья, дочь кн. Димитрия Заозерского. 17.5 Димитрий Красный (1433–1441), кн. Галицкий. 17.6. Юрий (1395–1400). 17.7. Иоанн (род. 1396). 17.8. Василий II Темный (1415–1462), вел. кн. Московский, кн. Коломенский; жена — Мария Ярославна 17.9. Анастасия, † 1470. 17.10. Василиса. 17.11. Даниил (1401–1402). 17.12. Анна, † 1414. 17.13. Симеон, 1405.

18.1. Василий Удалой (1468–1501). 18.2. Иоанн Шемякин (1446–1471). 18.3. Юрий Большой (1437–1441). 18.4. Юрий Молодой (1441–1472), кн. Дмитровский, Можайский, Серпуховский. 18.5. Иоанн III Великий (1440–1505), в. кн. Московский; жена 1 — Мария (1442–1467), дочь Бориса Александровича, в. кн. Тверского; 2 — Софья (1448–1503), дочь Фомы Палеолога. 18.6. Симеон (1447–1449). 18.7. Анна (1451–1501). 18.8. Андрей Большой. 18.9. Андрей Молодой (1446–1494), кн. Угличский, Звенигородский, Можайский. 18.10. Борис (1449–1494), кн. Волоцкий и Рузский.

19.1. Василий Шемячич, † 1529. 19.2. Иоанн Молодой (1458–1490), в. кн. Тверской. 19.3. Елена (1476–1513). 19.4. Юрий (1480–1536), кн. Дмитровский. 19.5. Василий III (1479–1533), в. кн. Московский; жена 1 — Соломония, дочь Георгия Сабурова, разведены 1526; 2 — Елена, † 1538, дочь кн. Василия Глинского. 19.6. Симеон (1487–1517), кн. Калужский. 19.7. Димитрий Жилка (1481–1521), кн. Угличский. 19.8. Евдокия (1492–1513). 19.9. Андрей (1490–1536), кн. Старицкий. 19.10. Феодосия (1485–1505). 19.11. Иоанн, † 1522. 19.12. Димитрий, 1540. 19.13. Феодор (1476–1513), кн. Волоцкий. 19.14. Иоанн (1490–1503), кн. Рузский.

20.1. Иоанн, † 1561. 20.2. Димитрий Внук (1483–1509), в. кн. Владимирский. 20.3. Иоанн IV Грозный (1530–1584), в. кн. Московский, царь с 1547; жена 1 — Анастасия, дочь Романа Юрьевича Захарьина, одного из предков дома Романовых, † 1560; 2 — Мария, дочь Темрюка, кн. Кабардинского, † 1569; 3 — Марфа, дочь Василия Собакина, † 1571; 4 — Анна, дочь Алексея Колтовского, разведены 1575; 5 — Анна Васильчикова, разведены 1576; 6 — Мария, дочь Федора Нагого, † 1612. 20.4. — Юрий (1533–1563), кн. Угличский; 20.5. — Владимир (1533–1569), кн. Старицкий; жена 1 — Евдокия, дочь Александра Нагого, † 1554, 2 — Евдокия, дочь кн. Романа Одоевского, † 1569.

---

[1] Продолжение. Начало см. кн. 1-я и 2-я.

21.1. Анна. 21.2. Мария. 21.3. Димитрий (1552 – 1553). 21.4. Иоанн (1554 – 1582). 21.5. Св. Димитрий (1582 – 1591). 21.6. Василий (2 марта – 6 мая 1563). 21.7. Феодор (1557 – 1598), жена – Ирина, дочь Федора Годунова, сестра Бориса Годунова. 21.8. Василий. 21.9. Василий (1552 – 1573). 21.10. Еуфимия (1553 – 1571). 21.11. Юрий (1563 – 1569). 21.12. Иоанн (6 января 1569 – 1569). 21.13. Мария (1560 – 1597). 21.14. Евдокия (1561 – 1570).

22.1. Федосия (1592 – 1594).

РЯЗАНСКИЕ КНЯЗЬЯ

18.1. Родислав, † 1406. 18.2. Феодор, 1409. 19.1. Иоанн, † 1456. 19.2. Василий, † 1407. 20.1. Василий, † 1483. 21.1. Иоанн, † 1500. 21.2. Феодор, † 1502. 22.1. Иоанн, 1521. 22.2. Василий. 22.3. Феодор.

IV. РОДОСЛОВНАЯ ТАБЛИЦА РОМАНОВЫХ. ИСТОКИ ДИНАСТИИ

1. Андрей Иоаннович Кобыла, † после 1350 (выходец из прусских или литовских князей)?
2. Феодор Кошкин, † после 1391.
3. Иоанн Кошкин, † после 1425, боярин и воевода при Дмитрии Донском и Василии Ш.
4. Захарий Кошкин, † около 1461.

5.1. Василий Ляцкий. Юрий, † около 1504. Яков, † около 1530.

6.1 Василий, † 1599. 6.3. Михаил, † 1539. 6.4. Иван, † 1503. 6.5. Ромин, † 1543; жена – Ульяна (Чулиания) Федоровна, † 1579. 6.6. Григорий, † 1567. 6.7. Аксинья. 6.8. Силеон. 6.9. Феодосия.6.10. Петр, † 1561.

7.1. Анастасия, † 1560; замужем за Иоанном Грозным, царица с 1547 г. 7.2. Никита, 1586; жена 1 – Варвара Ивановна Ховрина; жена 2 – Евдокия Александровна, кн. Горбатая-Шуйская, † 1581. 7.3. Далмат, † 1545. 7.4. Даниил, † 1564. 7.5. Анна, † 1573.

8.1 Феодор (патриарх Филарет с 1619 г.), 1550 – 1633; жена Ксения Ивановна Шестова, в монашестве – Марфа, † 1631. 8.2. Александр, † 1601. 8.3. Михаил, † 1601. 8.4. Никита, † 1602. 8.5. Василий, † 1602. 8.6. Иван Каша, † 1640. 8.7. Иван Лев, † 1595. 8.8. Анна, † 1585. 8.9. Еуфимия, † 1602. 8.10. Марфа, † 1610. 8.11. Ирина, † 1635. 8.12. Анастасия, † 1655. 8.13. Иулиания.

9.1. Брис, † 1592. 9.2. Никита, † 1592. 9.3. Лев, † 1597. 9.4. Татьян, † 1611. 9.5. Михаил Романов, 1613 – 1645, первый царь династии Романовых. 9.6. Иван, † 1599. 9.7. Никита, † 1654. 9.8. Марфа.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОМ IX

ТОМ X

ТОМ XI

ТОМ XII

КАРАМЗИН
Николай Михайлович

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

в 12 томах

Том IX—XII

Ответственный редактор *М. С. Зимина*
Художественный редактор *Ю. П. Амбросов*
Ответственные за выпуск *Н. А. Мяготина, Н. В. Гаджиева*

ЛР №064423 от 29 января 1996 г.
ООО «Золотой век», Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 56

Подписано в печать 25.10.97. Формат $70 \times 100^1/_{16}$.
Объем 44 п. л. Печать офсетная. Тираж 15 000 экз. Зак. № 40.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии им. Володарского
Лениздата. 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 57.